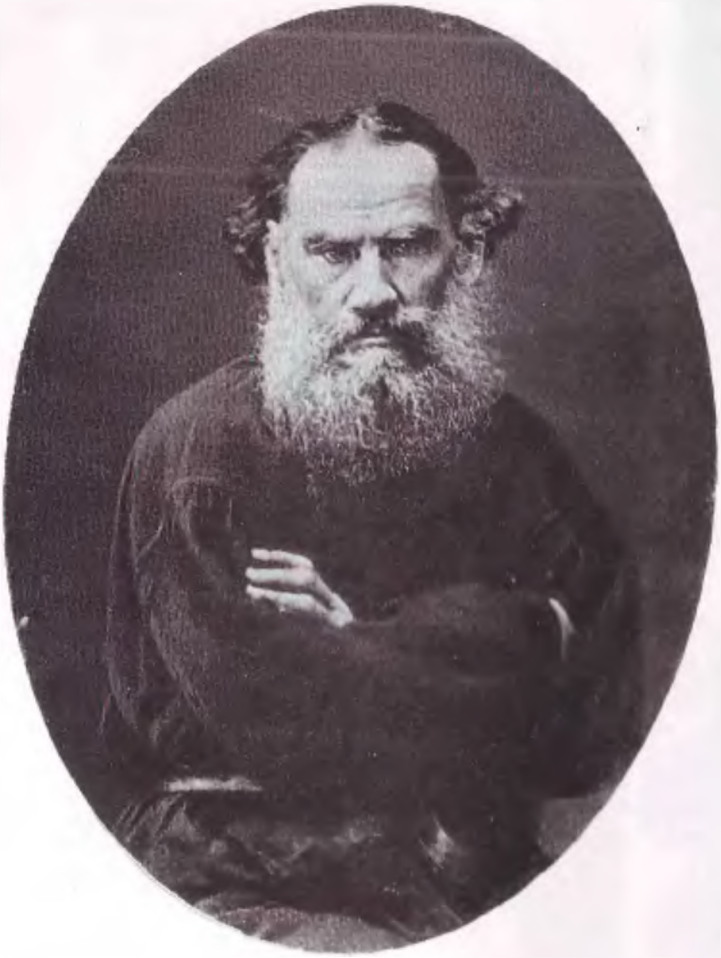


Л.Н.ТОЛСТОЙ

Собрание сочинений

Л·Н·ТОЛСТОЙ

Собрание сочинений в двадцати двух томах

Редакционная коллегия:
М·Б·ХРАПЧЕНКО
(главный редактор)
Н·Н·АКОПОВА
К·Н·ЛОМУНОВ
С·А·МАКАШИН
Л·Д·ОПУЛЬСКАЯ

Москва
Художественная литература
1982

Л·Н·ТОЛСТОЙ

ТОМ ДЕСЯТЫЙ

Повести

— и —

рассказы

1872~1886

БИБЛИОТЕКА
Инв. № 116052

Москва
Художественная литература
1982

013922

P1
T53

Комментарии
Л. Д. ОПУЛЬСКОЙ

Оформление художников
Е. ГАННУШКИНА, М. ШЛОСБЕРГА

© Комментарии. Издательство «Художественная литература», 1982 г.

Т $\frac{4702010100\text{-}294}{028(01)\text{-}82}$ подписное

Повести

— и —

рассказы



ТРИ МЕДВЕДЯ

(Сказка)

Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику.

Дверь была отворена: она посмотрела в дверь, видит — в домике никого нет, и вошла. В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец, звали его Михаил Иваныч. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше, и звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома, они ушли гулять по лесу.

В домике было две комнаты: одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в столовую и увидела на столе три чашки с похлебкой. Первая чашка, очень большая, была Михайлы Ивановичева. Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровнина; третья, синенькая чашечка, была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка: большая, средняя и маленькая.

Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки; потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки, потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки; и Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех.

Девочка захотела сесть и видит у стола три стула: один большой, Михайлы Иваныча, другой поменьше, Настасьи Петровнин, и третий, маленький, с синенькой подушечкой — Мишуткин. Она полезла на большой стул

и упала; потом села на средний стул, на нем было неловко, потом села на маленький стульчик и засмеялась, так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колена и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле.

Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли три кровати: одна большая — Михайлы Иванычева, другая средняя — Настасьи Петровнина, третья маленькая — Мишенькина. Девочка легла в большую, ей было слишком просторно; легла в среднюю — было слишком высоко; легла в маленькую — кроватка пришлась ей как раз впору, и она заснула.

А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел страшным голосом: «Кто хлебал в моей чашке!»

Настасья Петровна посмотрела свою чашку и зарычала не так громко: «Кто хлебал в моей чашке!»

А Мишутка увидал свою пустую чашечку и запищал тонким голосом: «Кто хлебал в моей чашке и все выхлебал!»

Михайло Иваныч взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места!»

Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места!»

Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал: «Кто сидел на моем стуле и сломал его!»

Медведи пришли в другую горницу. «Кто ложился в мою постель и смял ее!» — заревел Михайло Иваныч страшным голосом. «Кто ложился в мою постель и смял ее!» — зарычала Настасья Петровна не так громко. А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тонким голосом: «Кто ложился в мою постель!» И вдруг он увидал девочку и завизжал так, как будто его режут: «Вот она! Держи, держи! Вот она! Вот она! Айяяй! Держи!»

Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Окно было открыто, она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее.

КАК ДЯДЯ СЕМЕН РАССКАЗЫВАЛ ПРО ТО, ЧТО С НИМ В ЛЕСУ БЫЛО

(Рассказ)

Поехал я раз зимою в лес за деревами, срубил три дерева, обрубил сучья, обтесал, смотрю, уж поздно, надо домой ехать. А погода была дурная: снег шел и мело. Думаю, ночь захватит и дороги не найдешь. Погнал я лошадь; еду, еду — все выезду нет. Все лес. Думаю, шуба на мне плохая, замерзнешь. Ездил, ездил, нет дороги и темно. Хотел уж сани отпрягать, да под сани ложиться, слышу — недалеко бубенцы погромыхивают. Поехал я на бубенчики, вижу, тройка коней саврасых, гривы заплетены лентами, бубенцы светятся и сидят двое молодцов.

— Здорово, братцы! — Здорово, мужик! — Где, братцы, дорога? — Да вот мы на самой дороге. — Выехал я к ним, смотрю, что за чудо — дорога гладкая и не заметенная. — Ступай, говорят, за нами,— и погнали коней. Моя кобылка плохая, не поспевает. Стал я кричать: подождите, братцы! Остановились, смеются. — Садись, говорят, с нами. Твоей лошади порожнем легче будет. — Спасибо, говорю. — Перелез я к ним в сани. Сани хорошие, ковровые. Только сел я, как свистнут: ну, вы, любезные! Завились саврасые кони так, что снег столбом. Смотрю, что за чудо. Светлей стало, и дорога гладкая, как лед, и палим мы так, что дух захватывает, только по лицу ветками стегает. Уж мне жутко стало. Смотрю вперед: гора крутая-прекрутая, и под горой пропасть. Саврасые прямо в пропасть летят. Испугался я, кричу: батюшки! легче, убьете! Куда тут, только смеются, свищут. Вижу я, пропадать. Над самой пропастью сани. Гляжу, у меня над головой сук. Ну, думаю: пропадайте одни. Приподнялся, схватился за сук и повис. Только повис и кричу: держи! А сам слышу тоже, кричат бабы: дядя Семен! чего ты? Бабы, а бабы! дуйте огонь. С дядей Семеном что-то недоброе, кричит. Вздули огонь. Очнулся я. А я в избе, за полати ухватился руками, вишу и кричу непутевым голосом. А это я — все во сне видел.

КОРОВА

(Быль)

Жила вдова Марья с своей матерью и с шестью детьми. Жили они бедно. Но купили на последние деньги бурую корову, чтоб было молоко для детей. Старшие дети кормили Буренушку в поле и давали ей помои дома. Один раз мать вышла со двора, а старший мальчик Миша полез за хлебом на полку, уронил стакан и разбил его. Миша испугался, что мать его будет бранить, подобрал большие стекла от стакана, вынес на двор и зарыл в навозе, а маленькие стеклышки все подобрал и бросил в лоханку. Мать хватилась стакана, стала спрашивать, но Миша не сказал; и так дело осталось.

На другой день после обеда пошла мать давать Буренушке помои из лоханки, видит, Буренушка скучна и не ест корма. Стали лечить корову, позвали бабку. Бабка сказала: корова жива не будет, надо ее убить на мясо. Позвали мужика, стали бить корову. Дети услыхали, как на дворе заревела Буренушка. Собрались все на печку и стали плакать. Когда убили Буренушку, сняли шкуру и разрезали на части, у ней в горле нашли стекло.

И узнали, что она издохла оттого, что ей попало стекло в помоях. Когда Миша узнал это, он стал горько плакать и признался матери об стакане. Мать ничего не сказала и сама заплакала. Она сказала: убили мы свою Буренушку, купить теперь не на что. Как проживут малые дети без молока? Миша еще пуще стал плакать и не слезал с печи, когда ели студень из коровьей головы. Он каждый день во сне видел, как дядя Василий нес за рога мертвую, бурую голову Буренушки с открытыми глазами и красной шеей. С тех пор у детей молока не было. Только по праздникам бывало молоко, когда Марья попросит у соседей горшочек. Случилось, барыне той деревни понадобилась к дитяти няня. Старушка и говорит дочери: отпусти меня, я пойду в няни, и тебе, может, бог поможет одной с детьми управляться. А я, бог даст, заслужу в год на корову. Так и сделали. Старушка ушла к барыне. А Марье еще тяжелее с детьми стало. И дети без молока целый год жили: один кисель и тюрю ели и стали худые и бледные. Прошел год, пришла старушка

домой и принесла двадцать рублей. Ну, дочка! говорит, теперь купим корову. Обрадовалась Марья, обрадовались все дети. Собрались Марья с старухой на базар покупать корову. Соседку попросили с детьми побыть, а соседа дядю Захара попросили с ними поехать, выбирать корову. Помолились богу, поехали в город. Дети пообедали и вышли на улицу смотреть: не ведут ли корову. Стали дети судить: какая будет корова — бурая или черная. Стали они говорить, как ее кормить будут. Ждали они, ждали целый день. За версту ушли встречать корову, уж смеркаться стало, вернулись назад. Вдруг, видят: по улице едет на телеге бабушка, а у заднего колеса идет пестрая корова, за рога привязана, и идет сзади мать, хворостиной подгоняет. Подбежали дети, стали смотреть корову. Набрали хлеба, травы, стали кормить. Мать пошла в избу, разделась и вышла на двор с полотенцем и подойником. Она села под корову, обтерла вымя. Господи благослови! стала доить корову, а дети сели кругом и смотрели, как молоко брызнуло из вымя в край подойника и засвистело у матери из-под пальцев. Надоила мать половину подойника, снесла на погреб и отлила детям горшочек к ужину.

ФИЛИПОК

(Быль)

Был мальчик, звали его Филипп. Пошли раз все ребята в школу. Филипп взял шапку и хотел тоже идти. Но мать сказала ему: куда ты, Филипок, собрался? — В школу. — Ты еще мал, не ходи,—и мать оставила его дома. Ребята ушли в школу. Отец еще с утра уехал в лес, мать ушла на поденную работу. Остались в избе Филипок да бабушка на печке. Стало Филипку скучно одному, бабушка заснула, а он стал искать шапку. Своей не нашел, взял старую, отцовскую и пошел в школу.

Школа была за селом у церкви. Когда Филипп шел по своей слободе, собаки не трогали его, они его знали. Но когда он вышел к чужим дворам, выскочила Жучка, залаяла, а за Жучкой большая собака Волчок. Филипок бросился бежать, собаки за ним. Филипок стал кричать, споткнулся и упал. Вышел мужик, отогнал собак и ска-

зал: куда ты, постреленок, один бежишь? Филипок ничего не сказал, подобрал полы и пустился бежать во весь дух. Прибежал он к школе. На крыльце никого нет, а в школе слышны гудят голоса ребят. На Филипка нашел страх: что, как учитель меня прогонит? И стал он думать, что ему делать. Назад идти — опять собака заест, в школу идти — учителя боится. Шла мимо школы баба с ведром и говорит: все учатся, а ты что тут стоишь? Филипок и пошел в школу. В сенцах снял шапку и отворил дверь. Школа вся была полна ребят. Все кричали свое, и учитель в красном шарфе ходил посередине.

— Ты что? — закричал он на Филипка. Филипок ухватился за шапку и ничего не говорил. — Да ты кто? — Филипок молчал. — Или ты немой? — Филипок так напугался, что говорить не мог. — Ну так иди домой, коли говорить не хочешь. — А Филипок и рад бы что сказать, да в горле у него от страха пересохло. Он посмотрел на учителя и заплакал. Тогда учителю жалко его стало. Он погладил его по голове и спросил у ребят, кто этот мальчик.

— Это Филипок, Костюшкин брат, он давно просится в школу, да мать не пускает его, и он украдкой пришел в школу.

— Ну, садись на лавку возле брата, а я твою мать попрошу, чтоб пускала тебя в школу.

Учитель стал показывать Филипку буквы, а Филипок их уж знал и немножко читать умел.

— Ну-ка, сложи свое имя. — Филипок сказал: хве-и-хви, -ле-и-ли, -пеок-пок. — Все засмеялись.

— Молодец,— сказал учитель. — Кто же тебя учил читать?

Филипок осмелился и сказал: Костюшка. Я бедовый, я сразу все понял. Я страсть какой ловкий! — Учитель засмеялся и сказал: а молитвы ты знаешь? — Филипок сказал: знаю,— и начал говорить Богородицу; но всякое слово говорил не так. Учитель остановил его и сказал: ты погоди хвалиться, а поучись.

С тех пор Филипок стал ходить с ребятами в школу.

МУРАВЕЙ И ГОЛУБКА

(Басня)

Муравей спустился к ручью: захотел напиться. Волна захлестнула его и чуть не потопила. Голубка несла ветку; она увидела — муравей тонет, и бросила ему ветку в ручей. Муравей сел на ветку и спасся. Потом охотник расставил сеть на голубку и хотел захлопнуть. Муравей подполз к охотнику и укусил его за ногу; охотник охнул и уронил сеть. Голубка вспорхнула и улетела.

СЛЕПОЙ И ГЛУХОЙ

(Быль)

Слепой и глухой пошли в чужое поле за горохом. Глухой сказал слепому: «Ты слушай и мне сказывай; а я буду смотреть — тебе скажу».

Вот они зашли в горох и сели. Слепой ощупал горох и говорит: «Стручист». А глухой говорит: «Где стучит?» Слепой спотыкнулся на межу и упал. Глухой спросил: «Что ты?» Слепой говорит: «Межа!» Глухой говорит: «Бежать?» — и побежал. А слепой за ним.

ЧЕРЕПАХА И ОРЕЛ

(Басня)

Черепаха просила орла, чтобы научил ее летать. Орел не советовал, потому что ей не пристало, а она все просила. Орел взял ее в когти, поднял вверх и пустил: она упала на камни и разбилась.

ПОДКИДЫШ

(Быль)

У бедной женщины была дочь Маша. Маша утром пошла за водой и увидала, что у двери лежит что-то завернутое в тряпки. Маша поставила ведра и развернула тряпки. Когда она тронула тряпки, из них закричало что-то: уа! уа! уа! Маша нагнулась и увидала, что это был маленький красный ребеночек. Он громко кричал: уа! уа! Маша взяла его в руки и понесла в дом, и стала с ложки поить молоком. Мать сказала: «Что ты принесла?» Маша сказала: «Ребеночка; я нашла у нашей двери». Мать сказала: «Мы и так бедны, где нам кормить еще ребенка; я пойду к начальнику и скажу, чтоб его взяли». Маша заплакала и сказала: «Матушка, он не много будет есть, оставь его. Посмотри, какие у него красненькие сморщенные ручки и пальчики». Мать посмотрела, ей стало жалко. Она оставила ребеночка. Маша кормила и пеленала ребеночка, и пела ему песни, когда он ложился спать.

ГОЛОВА И ХВОСТ ЗМЕИ

(Басня)

Змеиный хвост заспорил с змеиной головой о том, кому ходить впереди? Голова сказала: «Ты не можешь ходить спереди, у тебя нет глаз и ушей». Хвост сказал: «А зато во мне сила, я тебя двигаю: если захочу да обернусь вокруг дерева, ты с места не тронешься». Голова сказала: «Разойдемся!»

И хвост оторвался от головы и пополз вперед. Но только что он отполз от головы, попал в трещину и провалился.

КАМЕНЬ

(Быль)

Один бедный пришел к богатому и стал просить милостыню. Богатый не дал ничего и сказал: «Поди вон!» Но бедный не уходил. Тогда богатый рассердился, под-

нял камень и бросил им в бедного. Бедный поднял камень, положил за пазуху и сказал: «До тех пор буду носить этот камень, пока не придется и мне бросить в него». И пришло это время. Богатый сделал дурное дело; у него отняли всё, что у него было, и повезли в тюрьму. Когда его везли в тюрьму, бедный подошел к нему, вынул из-за пазухи камень и замахнулся; потом пораздумался, бросил камень наземь и сказал: «Напрасно я так долго носил этот камень: когда он был богат и силен, я боялся его; а теперь мне жалко его».

ЭСКИМОСЫ

(Описание)

На свете есть земля, где только три месяца бывает лето, а остальное время бывает зима. Зимой дни бывают такие короткие, что только взойдет солнце, тотчас и сядет. А три месяца, в самую середину зимы, солнце совсем не восходит, и все три месяца темно. В этой земле живут люди; их называют эскимосами. Люди эти говорят своим языком, других языков не понимают и никуда из своей земли не ездят. Ростом эскимосы бывают невелики, но головы у них очень большие. Тело у них не белое, а бурое, волосы черны и жестки. Носы у них тонкие, скулы широкие, глаза маленькие. Эскимосы живут в снеговых домах. Они строят их так: набурят из снегу кирпичей и сложат из них дом, как печку. Вместо стекол они вставляют в стены льдины, а вместо дверей они делают длинную трубу под снегом и через эту трубу влезают в свои дома. Когда приходит зима, их дома совсем заносит снегом, и у них делается тепло. Едят эскимосы оленей, волков, белых медведей. Они ловят рыбу в море крючками на палках и сетями. Зверей они убивают из луков стрелами и копьями. Эскимосы едят, как звери, сырое мясо. У них нет льна и пеньки, чтобы делать рубахи и веревки, нет и шерсти, чтобы делать сукно; веревки они делают из жил зверей, а платье — из звериных кож.

Они складывают две кожи шерстью наружу, протыкают рыбьими костями и сшивают жилами. Так же они делают рубахи, штаны и сапоги. Железа у них тоже нет.

Они делают копья и стрелы из костей. Больше всего они любят есть звериный и рыбий жир. Женщины и мужчины одеваются одинаково. У женщин только бывают очень широки сапоги. В эти широкие голенища сапогов они кладут маленьких детей и так носят их.

В средине зимы у эскимосов бывает три месяца темно. А летом солнце совсем не садится, и ночей совсем не бывает.

ХОРЕК

(Басня)

Хорек зашел к меднику и стал лизать подпилок. Из языка пошла кровь, а хорек радовался, лизал,— думал, что из железа кровь идет, и погубил весь язык.

КАК ТЕТУШКА РАССКАЗЫВАЛА О ТОМ, КАК ОНА ВЫУЧИЛАСЬ ШИТЬ

(Рассказ)

Когда мне было шесть лет, я просила мать дать мне шить. Она сказала: «Ты еще мала, ты только пальцы наколешь»; а я все приставала. Мать достала из сундука красный лоскут и дала мне; потом вдела в иголку красную нитку и показала мне, как держать. Я стала шить, но не могла делать ровных стежков; один стежок выходил большой, а другой попадал на самый край и прорывался насквозь. Потом я уколола палец и хотела не заплакать, да мать спросила меня: «Что ты?» — я не удержалась и заплакала. Тогда мать велела мне идти играть.

Когда я легла спать, мне все мерещились стежки: я все думала о том, как бы мне скорее выучиться шить, и мне казалось так трудно, что я никогда не выучусь. А теперь я выросла большая и не помню, как выучилась шить; и когда я учу шить свою девочку, удивляюсь, как она не может держать иголку.

ТОНКИЕ НИТКИ

(Басня)

Один человек заказал пряхе тонкие нитки. Пряха спряла тонкие нитки, но человек сказал: «Нитки не хороши, мне нужны нитки самые тонкие». Пряха сказала: «Если тебе эти не тонки, так вот тебе другие», и она показала на пустое место. Он сказал, что не видит. Пряха сказала: «Оттого и не видишь, что очень тонки; я и сама не вижу».

Дурак обрадовался и заказал себе еще таких ниток, а за эти заплатил деньги.

ОТ СКОРОСТИ СИЛА

(Быль)

Один раз машина ехала очень скоро по железной дороге. А на самой дороге, на переезде, стояла лошадь с тяжелым возом. Мужик гнал лошадь через дорогу, но лошадь не могла сдвинуть воз, потому что заднее колесо соскочило. Кондуктор закричал машинисту: «Держи», но машинист не послушался. Он смекнул, что мужик не может ни согнать лошадь с телегой, ни своротить ее и что машины сразу остановить нельзя. Он не стал останавливать, а самым скорым ходом пустил машину и во весь дух налетел на телегу. Мужик отбежал от телеги, а машина, как щепку, сбросила с дороги телегу и лошадь, а сама не тряхнулась, пробежала дальше. Тогда машинист сказал кондуктору: «Теперь мы только убили одну лошадь и сломали телегу, а если бы я тебя послушал, мы сами бы убились и перебили бы всех пассажиров. На скором ходу мы сбросили телегу и не слыхали толчка, а на тихом ходу нас бы выбросило из рельсов».

ЛЕВ И МЫШЬ

(Басня)

Лев спал. Мышь пробежала ему по телу. Он проснулся и поймал ее. Мышь стала просить, чтобы он пустил ее; она сказала: «Если ты меня пустишь, и я тебе добро

БИБЛИОТЕКА

сделаю». Лев засмеялся, что мышь обещает ему добро сделать, и пустил ее.

Потом охотники поймали льва и привязали веревкой к дереву. Мышь услыхала львиный рев, прибежала, перегрызла веревку и сказала: «Помнишь, ты смеялся, не думал, чтобы я могла тебе добро сделать, а теперь видишь,— бывает и от мыши добро».

ПОЖАРНЫЕ СОБАКИ

(Быль)

Бывает часто, что в городах на пожарах остаются дети в домах и их нельзя вытащить, потому что они от испуга спрячутся и молчат, а от дыма нельзя их рассмотреть. Для этого в Лондоне[1] приучены собаки. Собаки эти живут с пожарными, и когда загорится дом, то пожарные посылают собак вытаскивать детей. Одна такая собака в Лондоне спасла двенадцать детей; ее звали Боб.

Один раз загорелся дом. И когда пожарные приехали к дому, к ним выбежала женщина. Она плакала и говорила, что в доме осталась двухлетняя девочка. Пожарные послали Боба. Боб побежал по лестнице и скрылся в дыме. Через пять минут он выбежал из дома и в зубах за рубашонку нес девочку. Мать бросилась к дочери и плакала от радости, что дочь была жива. Пожарные ласкали собаку и осматривали ее — не обгорела ли она; но Боб рвался опять в дом. Пожарные подумали, что в доме есть еще что-нибудь живое, и пустили его. Собака побежала в дом и скоро выбежала с чем-то в зубах. Когда народ рассмотрел то, что она несла, то все расхохотались: она несла большую куклу.

ОБЕЗЬЯНА

(Басня)

Один человек пошел в лес, срубил дерево и стал распиливать. Он поднял конец дерева на пень, сел верхом и стал пилить. Потом он забил клин в распиленное место

[1] Лондон — главный город у англичан. (*Примеч. Л. Н. Толстого.*)

и стал пилить дальше. Распилил, вынул клин и переложил его еще дальше.

Обезьяна сидела на дереве и смотрела. Когда человек лег спать, обезьяна села верхом на дерево и хотела то же делать; но когда она вынула клин, дерево сжалось и прищемило ей хвост. Она стала рваться и кричать. Человек проснулся, прибил обезьяну и привязал на веревку.

КАК МАЛЬЧИК РАССКАЗЫВАЛ ПРО ТО, КАК ЕГО НЕ ВЗЯЛИ В ГОРОД

(Рассказ)

Собрался батюшка в город, а я ему говорю: «Батя, возьми меня с собой». А он говорит: «Ты там замерзнешь; куда тебя». Я повернулся, заплакал и пошел в чулан. Плакал-плакал и заснул. И вижу я во сне, будто от нашей деревни небольшая дорожка к часовне, и вижу я — по этой дорожке идет батя. Я догнал его, и мы пошли с ним вместе в город. Иду я и вижу — впереди топится печка. Я говорю: «Батя, это город?» А он говорит: «Он самый». Потом мы дошли до печки, и вижу я — там пекут калачи. Я говорю: «Купи мне калачика». Он купил и дал мне. Тут я проснулся, встал, обулся, взял рукавицы и пошел на улицу. На улице ребята катаются на ледянках и на салазках. Я стал с ними кататься и катался до тех пор, пока не иззяб. Только я вернулся и влез на печку, слышу — батя вернулся из города. Я обрадовался, вскочил и говорю: «Батя, что — купил мне калачика?» Он говорит: «Купил», и дал мне калач. Я с печи скочил на лавку и стал плясать от радости.

ЛГУН

(Басня)

Мальчик стерег овец и, будто увидав волка, стал звать: «Помогите, волк! волк!» Мужики прибежали и видят: неправда. Как сделал он так и два и три раза, случилось — и вправду набежал волк. Мальчик стал кричать: «Сюда, сюда скорей, волк!» Мужики подумали, что опять по-всегдашнему обманывает,— не послушали его. Волк видит, бояться нечего: на просторе перерезал все стадо.

КАК В ГОРОДЕ ПАРИЖЕ[1] ПОЧИНИЛИ ДОМ

(Быль)

В одном большом доме разошлись врозь стены. Стали думать, как их свести так, чтобы не ломать крыши. Один человек придумал. Он вделал с обеих сторон в стены железные ушки; потом сделал железную полосу, такую, чтобы она на вершок не хватала от ушка до ушка. Потом загнул на ней крюки по концам так, чтобы крюки входили в ушки. Потом разогрел полосу на огне; она раздалась и достала от ушка до ушка. Тогда он задел крюками за ушки и оставил ее так. Полоса стала остывать и сжиматься и стянула стены.

ОСЕЛ И ЛОШАДЬ

(Басня)

У одного человека были осел и лошадь. Шли они по дороге; осел сказал лошади: «Мне тяжело, не дотащу я всего, возьми с меня хоть немного». Лошадь не послушалась. Осел упал от натуги и умер. Хозяин как наложил все с осла на лошадь, да еще и шкуру ослиную, лошадь и взвыла: «Ох, горе мне, бедной, горюшко мне, несчастной! Не хотела я немножко ему подсобить, теперь вот все тащу да еще и шкуру».

КАК МАЛЬЧИК РАССКАЗЫВАЛ ПРО ТО, КАК ЕГО В ЛЕСУ ЗАСТАЛА ГРОЗА

(Быль)

Когда я был маленький, меня послали в лес за грибами. Я дошел до лесу, набрал грибов и хотел идти домой. Вдруг стало темно, пошел дождь и загремело. Я испугался и сел под большой дуб. Блеснула молния такая светлая, что мне глазам больно стало, и я зажмурился. Над моей головой что-то затрещало и загремело; потом

[1] Париж — главный город у французов. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

что-то ударило меня в голову. Я упал и лежал до тех пор, пока перестал дождь. Когда я очнулся, по всему лесу капало с деревьев, пели птицы и играло солнышко. Большой дуб сломался, и из пня шел дым. Вокруг меня лежали оскретки от дуба. Платье на мне было все мокрое и липло к телу; на голове была шишка, и было немножко больно. Я нашел свою шапку, взял грибы и побежал домой. Дома никого не было, я достал в столе хлеба и влез на печку. Когда я проснулся, я увидал с печки, что грибы мои изжарили, поставили на стол и уже хотят есть. Я закричал: «Что вы без меня едите?» Они говорят: «Что ж ты спишь? Иди скорей, ешь».

ГАЛКА И ГОЛУБИ

(Басня)

Галка увидала, что голубей хорошо кормят,— выбелилась и влетела в голубятню. Голуби подумали сперва, что она такой же голубь, и пустили ее. Но галка забылась и закричала по-галчьи. Тогда ее голуби стали клевать и прогнали. Галка полетела назад к своим, но галки испугались ее оттого, что она была белая, и тоже прогнали.

МУЖИК И ОГУРЦЫ

(Басня)

Пошел раз мужик к огороднику огурцы воровать. Подполз он к огурцам и думает: «Вот дай унесу мешок огурцов, продам: на эти деньги курочку куплю. Нанесет мне курица яиц, сядет наседочкой, выведет много цыплят. Выкормлю я цыплят, продам, куплю поросеночка — свинку; напоросит мне свинка поросят. Продам поросят, куплю кобылку; ожеребит мне кобылка жеребят. Выкормлю жеребят, продам; куплю дом и заведу огород. Заведу огород, насажу огурцов, воровать не дам, караул буду крепкий держать. Найму караульщиков, посажу на огурцы, а сам так-то пойду сторонкой да крикну: «Эй вы, караульте крепче!» Мужик так задумался, что и забыл совсем, что он на чужом огороде, и закричал во всю глотку. Караульщики услыхали, выскочили, избили мужика.

БАБА И КУРИЦА

(Басня)

Одна курица несла каждый день по яичку. Хозяйка подумала, что если больше давать корму, курица вдвое будет нестись. Так и сделала. А курица зажирела и вовсе перестала нестись.

СТАРЫЙ ДЕД И ВНУЧЕК

(Басня)

Стал дед очень стар. Ноги у него не ходили, глаза не видели, уши не слышали, зубов не было. И когда он ел, у него текло назад изо рта. Сын и невестка перестали его за стол сажать, а давали ему обедать за печкой. Снесли ему раз обедать в чашке. Он хотел ее подвинуть, да уронил и разбил. Невестка стала бранить старика за то, что он им все в доме портит и чашки бьет, и сказала, что теперь она ему будет давать обедать в лоханке. Старик только вздохнул и ничего не сказал. Сидят раз муж с женой дома и смотрят — сынишка их на полу дощечками играет — что-то слаживает. Отец и спросил: «Что ты это делаешь, Миша?» А Миша и говорит: «Это я, батюшка, лоханку делаю. Когда вы с матушкой стары будете, чтобы вас из этой лоханки кормить».

Муж с женой поглядели друг на друга и заплакали. Им стало стыдно за то, что они так обижали старика; и стали с тех пор сажать его за стол и ухаживать за ним.

ДЕЛЕЖ НАСЛЕДСТВА

(Басня)

У одного отца было два сына. Он сказал им: «Умру — разделите всё пополам». Когда отец умер, сыновья не могли разделиться без спора. Они пошли судиться к соседу. Сосед спросил у них: «Как вам отец велел делиться?» Они сказали: «Он велел делить все пополам». Сосед сказал: «Так разорвите пополам все платья, разбейте пополам всю посуду и пополам разрежьте всю скотину». Братья послушали соседа, и у них ничего не осталось.

КУДА ДЕВАЕТСЯ ВОДА ИЗ МОРЯ?

(Рассуждение)

Из родников, ключей и болот вода течет в ручьи, из ручьев в речки, из речек в большие реки, а из больших рек течет в моря. С других сторон в моря текут другие реки, и все реки текут в моря с тех пор, как мир сотворен. Куда девается вода из моря? Отчего она не течет через край?

Вода из моря поднимается туманом; туман поднимается выше, и из тумана делаются тучи. Тучи гонит ветром и разносит по земле. Из туч вода падает на землю. С земли стекает в болота и ручьи. Из ручьев течет в реки; из рек в море. Из моря опять вода поднимается в тучи, и тучи разносятся по земле...

ЛЕВ, МЕДВЕДЬ И ЛИСИЦА

(Басня)

Лев и медведь добыли мяса и стали за него драться. Медведь не хотел уступить, и лев не уступал. Они так долго бились, что ослабели оба и легли. Лиса увидала промеж них мясо, подхватила его и убежала.

КАК МАЛЬЧИК РАССКАЗЫВАЛ О ТОМ, КАК ОН ДЕДУШКЕ НАШЕЛ ПЧЕЛИНЫХ МАТОК

(Рассказ)

Мой дедушка летом жил на пчельнике. Когда я прихаживал к нему, он давал мне меду.

Один раз я пришел на пчельник и стал ходить промеж ульев. Я не боялся пчел, потому что дед научил меня тихо ходить по осеку [1].

И пчелы привыкли ко мне и не кусали. В одном улье я услыхал, что-то квохчет. Я пришел к деду в избушку и рассказал ему.

Он пошел со мною, сам послушал и сказал: «Из этого улья уже вылетел один рой, первак, с старой маткой;

[1] Место, где ставят пчел. (*Примеч. Л. Н. Толстого.*)

а теперь молодые матки вывелись. Это они кричат. Они завтра с другим роем вылетать будут». Я спросил у дедушки, какие такие бывают матки? Он сказал:

«А матка все равно, что царь в народе; без нее нельзя быть пчелам».

Я спрашивал: «А из себя они какие?»

Он сказал: «Приходи завтра; бог даст, отроится,— я тебе покажу и меду дам».

Когда я на другой день пришел к дедушке, у него в сенях висели две закрытые роевни с пчелами. Дед велел мне надеть сетку и обвязал мне ее платком по шее; потом взял одну закрытую роевню с пчелами и понес ее на пчельник. Пчелы гудели в ней. Я боялся их и запрятал руки в портки; но мне хотелось посмотреть матку, и я пошел за дедом.

На осеке дед подошел к пустой колоде, приладил корытце, открыл роевню и вытряхнул из нее пчел на корыто. Пчелы поползли по корыту в колоду и всё трубели, а дед веничком пошевеливал их.

«А вот и матка!» — Дед указал мне веничком, и я увидал длинную пчелу с короткими крылышками. Она проползла с другими и скрылась. Потом дед снял с меня сетку и пошел в избушку. Там он дал мне большой кусок меду, я съел его и обмазал себе щеки и руки. Когда я пришел домой, мать сказала:

«Опять тебя баловник-дед медом кормил». А я сказал: «Он за то мне дал меду, что я ему вчера нашел улей с молодыми матками, а нынче мы с ним рой сажали».

СОБАКА, ПЕТУХ И ЛИСИЦА

(Басня)

Собака и петух пошли странствовать. Ввечеру петух уснул на дереве, а собака пристроилась у того же дерева, промеж кореньев. Как пришло время, петух запел. Лисица услыхала петуха, прибежала и стала снизу просить, чтобы он сошел к ней, будто ей хочется оказать почтенье ему за то, что у него голос хорош. Петух сказал: «Надо прежде разбудить дворника, он спит промеж кореньев. Пусть отопрет, тогда я сойду». Лисица стала искать дворника и забрехала. Собака живо вскочила и задушила лисицу.

МОРЕ

(Описание)

Море широко и глубоко; конца морю не видно. В море солнце встает и в море садится. Дна моря никто не достал и не знает. Когда ветра нет, море сине и гладко; когда подует ветер, море всколыхается и станет неровно. Подымутся по морю волны; одна волна догоняет другую; они сходятся, сталкиваются, и с них брызжет белая пена. Тогда корабли волнами кидает как щепки. Кто на море не бывал, тот богу не маливался.

ЛОШАДЬ И КОНЮХ

(Басня)

Конюх крал у лошади овес и продавал, а лошадь каждый день чистил. Лошадь и говорит: «Если вправду хочешь, чтоб я была хороша,— овес мой не продавай».

ПОЖАР

(Быль)

В жнитво мужики и бабы ушли на работу. В деревне остались только старые да малые. В одной избе оставались бабушка и трое внучат. Бабушка истопила печку и легла отдохнуть. На нее садились мухи и кусали ее. Она закрыла голову полотенцем и заснула. Одна из внучек, Маша (ей было три года), открыла печку, нагребла угольев в черепок и пошла в сени. А в сенях лежали снопы. Бабы приготовили эти снопы на свясла[1]. Маша принесла уголья, положила под снопы и стала дуть. Когда солома стала загораться, она обрадовалась, пошла в избу и привела за руку брата, Кирюшку (ему было полтора года, и он только что выучился ходить), и сказала: «Глянь, Килюска, какую я печку вздула». Снопы уже горели и трещали. Когда застлало сени дымом, Маша испугалась и побежала назад в избу. Кирюшка

[1] Соломенные жгуты, чтоб вязать снопы. (*Примеч. Л. Н. Толстого.*)

упал на пороге, расшиб нос и заплакал; Маша втащила его в избу, и они оба спрятались под лавку. Бабушка ничего не слыхала и спала. Старший мальчик, Ваня (ему было восемь лет), был на улице. Когда он увидал, что из сеней валит дым, он вбежал в дверь, сквозь дым проскочил в избу и стал будить бабушку; но бабушка спросонков ошалела и забыла про детей, выскочила и побежала по дворам за народом. Маша тем временем сидела под лавкой и молчала; только маленький мальчик кричал, потому что больно разбил себе нос. Ваня услыхал его крик, поглядел под лавку и закричал Маше: «Беги, сгоришь!» Маша побежала в сени, но от дыма и от огня нельзя было пройти. Она вернулась назад. Тогда Ваня поднял окно и велел ей лезть. Когда она пролезла, Ваня схватил брата и потащил его. Но мальчик был тяжел и не давался брату. Он плакал и толкал Ваню. Ваня два раза упал, пока дотащил его к окну, дверь в избе уже загорелась. Ваня просунул мальчикову голову в окно и хотел протолкнуть его; но мальчик (он очень испугался) ухватился ручонками и не пускал их. Тогда Ваня закричал Маше: «Тащи его за голову!» — а сам толкал сзади. И так они вытащили его в окно на улицу и сами выскочили.

ЛЯГУШКА И ЛЕВ

(Басня)

Лев услыхал — лягушка громко квакает, и испугался. Он подумал, что большой зверь так громко кричит. Он подождал немного, видит — вышла лягушка из болота. Лев раздавил ее лапой и сказал: «Вперед не рассмотревши, не буду пугаться».

СЛОН

(Быль)

У одного индейца был слон. Хозяин дурно кормил его и заставлял много работать. Один раз слон рассердился и наступил ногою на своего хозяина. Индеец умер. Тогда жена индейца заплакала, принесла своих детей

к слону и бросила их слону под ноги. Она сказала: «Слон! ты убил отца, убей и их». Слон посмотрел на детей, взял хоботом старшего, потихоньку поднял и посадил его себе на шею. И слон стал слушаться этого мальчика и работать для него.

ОБЕЗЬЯНА И ГОРОХ

(Басня)

Обезьяна несла две полные горсти гороху. Выскочила одна горошинка; обезьяна хотела поднять и просыпала двадцать горошинок. Она бросилась поднимать и просыпала все. Тогда она рассердилась, разметала весь горох и убежала.

КАК МАЛЬЧИК РАССКАЗЫВАЛ О ТОМ, КАК ОН ПЕРЕСТАЛ БОЯТЬСЯ СЛЕПЫХ НИЩИХ

(Рассказ)

Когда я был маленький, меня пугали слепыми нищими, и я боялся их. Один раз я пришел домой, а на крыльце сидело двое слепых нищих. Я не знал, что мне делать; я боялся бежать назад и боялся пройти мимо них: я думал, что они схватят меня. Вдруг один из них (у него были белые, как молоко, глаза) поднялся, взял меня за руку и сказал: «Паренек! что же милостыньку?» Я вырвался от него и прибежал к матери. Она выслала со мною денег и хлеба. Нищие обрадовались хлебу, стали креститься и есть. Потом нищий с белыми глазами сказал: «Хлеб твой хороший — спаси бог». И он опять взял меня за руку и ощупал ее. Мне его стало жалко, и с тех пор я перестал бояться слепых нищих.

ДОЙНАЯ КОРОВА

(Басня)

У одного человека была корова; она давала каждый день горшок молока. Человек позвал гостей; и чтобы набрать для гостей больше молока, он десять дней не доил

коровы. Он думал, что на десятый день корова даст ему десять кувшинов молока.

Но в корове перегорело все молоко, и она дала меньше молока, чем прежде.

КИТАЙСКАЯ ЦАРИЦА СИЛИНЧИ

(Быль)

У китайского императора Гоангчи была любимая жена Силинчи. Император хотел, чтобы весь народ помнил его любимую царицу. Он показал жене шелковичного червя и сказал: «Научись, что с этим червяком делать и как его водить, и тебя народ никогда не забудет».

Силинчи стала смотреть червей и увидала, что когда они замирают, то на них бывает паутина. Она размотала эту паутину, спряла ее в нитки и соткала шелковый платок. Потом она приметила, что черви водятся на тутовых деревьях. Она стала собирать лист с тутового дерева и кормить им червей. Она развела много червей и научила свой народ, как водить их.

С тех пор прошло пять тысяч лет, а китайцы до сих пор помнят императрицу Силинчи и в честь ее празднуют.

СТРЕКОЗА И МУРАВЬИ

(Басня)

Осенью у муравьев подмокла пшеница: они ее сушили. Голодная стрекоза попросила у них корму. Муравьи сказали: «Что ж ты летом не собрала корму?» Она сказала: «Недосуг было: песни пела». Они засмеялись и говорят: «Если летом играла, зимой пляши».

МЫШЬ-ДЕВОЧКА

(Сказка)

Один человек шел подле реки и увидал, что ворон несет мышь. Он бросил в него камень, и ворон выпустил мышь; мышь упала в воду. Человек достал ее из воды

и принёс домой. У него не было детей, и он сказал: «Ах! если б эта мышь сделалась девочкой!» И мышь сделалась девочкой. Когда девочка выросла, человек спросил ее: «За кого ты хочешь замуж?» Девочка сказала: «Хочу выйти за того, кто сильнее всех на свете». Человек пошел к солнцу и сказал: «Солнце! моя девочка хочет выйти замуж за того, кто сильнее всех на свете. Ты сильнее всех; женись на моей девочке». Солнце сказало: «Я не сильнее всех: тучи заслоняют меня».

Человек пошел к тучам и сказал: «Тучи! вы сильнее всех; женитесь на моей девочке». Тучи сказали: «Нет, мы не сильнее всех, ветер гоняет нас».

Человек пошел к ветру и сказал: «Ветер! ты сильнее всех; женись на моей девочке». Ветер сказал: «Я не сильнее всех: горы останавливают меня».

Человек пошел к горам и сказал: «Горы! женитесь на моей девочке; вы сильнее всех». Горы сказали: «Сильнее нас крыса: она грызет нас».

Тогда человек пошел к крысе и сказал: «Крыса! ты сильнее всех; женись на моей девочке». Крыса согласилась. Человек вернулся к девочке и сказал: «Крыса сильнее всех: она грызет горы, горы останавливают ветер, ветер гонит тучи, а тучи заслоняют солнце, и крыса хочет жениться на тебе». Но девочка сказала: «Ах! что мне теперь делать! как же я выйду замуж за крысу?» Тогда человек сказал: «Ах! если б моя девочка сделалась опять мышью!»

Из девочки сделалась мышь, и мышь вышла замуж за крысу.

КУРИЦА И ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА

(Басня)

У одного хозяина курица несла золотые яйца. Ему захотелось сразу побольше золота, и он убил курицу (он думал, что внутри ее большой ком золота); а она была такая же, как и все курицы.

ЛИПУНЮШКА

(Сказка)

Жил старик со старухою. У них не было детей. Старик поехал в поле пахать, а старуха осталась дома блины печь. Старуха напекла блинов и говорит:

«Если бы был у нас сын, он бы отцу блинов отнес; а теперь с кем я пошлю?»

Вдруг из хлопка вылез маленький сыночек и говорит: «Здравствуй, матушка!..»

А старуха и говорит: «Откуда ты, сыночек, взялся и как тебя звать?»

А сыночек и говорит: «Ты, матушка, отпряла хлопочек и положила в столбочек, я там и вывелся. А звать меня Липунюшкой. Дай, матушка, я отнесу блинов батюшке».

Старуха и говорит: «Ты донесешь ли, Липунюшка?»

— Донесу, матушка...

Старуха завязала блины в узелок и дала сыночку. Липунюшка взял узел и побежал в поле.

В поле попалась ему на дороге кочка; он и кричит: «Батюшка, батюшка, пересади меня через кочку! Я тебе блинов принес».

Старик услыхал с поля, кто-то его зовет, пошел к сыну навстречу, пересадил его через кочку и говорит: «Откуда ты, сынок?» А мальчик говорит: «Я, батюшка, в хлопочке вывелся», и подал отцу блинов. Старик сел завтракать, а мальчик говорит: «Дай, батюшка, я буду пахать».

А старик говорит: «У тебя силы недостанет пахать».

А Липунюшка взялся за соху и стал пахать. Сам пашет и сам песни поет.

Ехал мимо этого поля барин и увидал, что старик сидит завтракает, а лошадь одна пашет. Барин вышел из кареты и говорит старику: «Как это у тебя, старик, лошадь одна пашет?»

А старик говорит: «У меня там мальчик пашет, он и песни поет». Барин подошел ближе, услыхал песни и увидал Липунюшку.

Барин и говорит: «Старик! продай мне мальчика». А старик говорит: «Нет, мне нельзя продать, у меня один только и есть».

А Липунюшка говорит старику: «Продай, батюшка, я убегу от него».

Мужик и продал мальчика за сто рублей. Барин отдал деньги, взял мальчика, завернул его в платочек и положил в карман. Барин приехал домой и говорит жене: «Я тебе радость привез». А жена говорит: «Покажи, что такое?» Барин достал платочек из кармана, развернул его, а в платочке ничего нету. Липунюшка уж давно к отцу убежал.

ВОЛК И СТАРУХА

(Басня)

Голодный волк разыскивал добычу. На краю деревни он услыхал — в избе плачет мальчик, и старуха говорит:

— Не перестанешь плакать, я тебя волку отдам.

Волк не пошел дальше и стал дожидаться, когда ему отдадут мальчика. Вот пришла ночь; он все ждет и слышит — старуха опять приговаривает:

— Не плачь, дитятко; не отдам тебя волку; только приди волк, убьем его.

Волк и подумал: видно, тут говорят одно, а делают другое; и пошел прочь от деревни.

КОТЕНОК

(Быль)

Были брат и сестра — Вася и Катя; и у них была кошка. Весной кошка пропала. Дети искали ее везде, но не могли найти. Один раз они играли подле амбара и услыхали, над головой что-то мяучит тонкими голосами. Вася влез по лестнице под крышу амбара. А Катя стояла внизу и все спрашивала: «Нашел? Нашел?» Но Вася не отвечал ей. Наконец, Вася закричал ей: «Нашел! наша кошка... и у нее котята; такие чудесные; иди сюда скорее». Катя побежала домой, достала молока и принесла кошке.

Котят было пять. Когда они выросли немножко и стали вылезать из-под угла, где вывелись, дети выбрали

себе одного котенка, серого с белыми лапками, и принесли в дом. Мать раздала всех остальных котят, а этого оставила детям. Дети кормили его, играли с ним и клали с собой спать.

Один раз дети пошли играть на дорогу и взяли с собой котенка.

Ветер шевелил солому по дороге, а котенок играл с соломой, и дети радовались на него. Потом они нашли подле дороги щавель, пошли собирать его и забыли про котенка. Вдруг они услыхали, что кто-то громко кричит: «Назад, назад!» — и увидали, что скачет охотник, а впереди его две собаки увидали котенка и хотят схватить его. А котенок глупый, вместо того чтобы бежать, присел к земле, сгорбил спину и смотрит на собак. Катя испугалась собак, закричала и побежала прочь от них. А Вася что было духу пустился к котенку и в одно время с собаками подбежал к нему. Собаки хотели схватить котенка, но Вася упал животом на котенка и закрыл его от собак.

Охотник подскакал и отогнал собак; а Вася принес домой котенка и уж больше не брал его с собой в поле.

УЧЕНЫЙ СЫН

(Басня)

Сын приехал из города к отцу в деревню. Отец сказал: «Нынче покос, возьми грабли и пойдем, пособи мне». А сыну не хотелось работать, он и говорит: «Я учился наукам, а все мужицкие слова забыл; что такое грабли?» Только он пошел по двору, наступил на грабли; они его ударили в лоб. Тогда он и вспомнил, что такое грабли, хватился за лоб и говорит: «И что за дурак тут грабли бросил!»

КАК НАУЧИЛИСЬ БУХАРЦЫ РАЗВОДИТЬ ШЕЛКОВИЧНЫХ ЧЕРВЕЙ

(Быль)

Китайцы долго одни умели разводить шелк и никому этого искусства не показывали, а продавали за дорогие деньги шелковые ткани.

Бу[illegible]ий царь услыхал об этом, и ему захотелось доста[illegible] и научиться этому делу. Он просил китайце[illegible]у семян и червей и деревьев. Они отказали. [illegible]харский царь послал сватать за себя дочь у кит[illegible]императора и велел сказать невесте, что у него [illegible]о много в царство, нет только одного — шелковых [illegible]ой,— так чтобы она с собою потихоньку привезла [illegible]и шелковицы и червей, а то не во что ей будет [illegible]жаться.

[illegible] набрала семян червей и деревьев и положила [illegible]это в головную повязку.

[illegible]ца на границе стали осматривать, не везет ли она с [illegible] потихоньку чего запрещенного, никто не посмел развязать ее повязку.

[illegible]харцы развели у себя тутовые деревья и шелковичных червей, и царевна научила водить их.

МУЖИК И ЛОШАДЬ

(Басня)

Поехал мужик в город за овсом для лошади. Только что выехал из деревни, лошадь стала заворачивать назад к дому. Мужик ударил лошадь кнутом. Она пошла и думает про мужика: «Куда он, дурак, меня гонит; лучше бы домой». Не доезжая до города, мужик видит, что лошади тяжело по грязи, своротил на мостовую, а лошадь воротит прочь от мостовой. Мужик ударил кнутом и дернул лошадь: она пошла на мостовую и думает: «Зачем он меня повернул на мостовую, только копыта обломаешь. Тут под ногами жестко».

Мужик подъехал к лавке, купил овса и поехал домой. Когда приехал домой, дал лошади овса. Лошадь стала есть и думает: «Какие люди глупые! Только любят над нами умничать, а ума у них меньше нашего. О чем он хлопотал? Куда-то ездил и гонял меня. Сколько мы ни ездили, а вернулись же домой. Лучше бы с самого начала оставаться нам с ним дома; он бы сидел на печи, а я бы ела овес».

КАК ТЕТУШКА РАССКАЗЫВАЛА БАБУШКЕ О ТОМ, КАК ЕЙ РАЗБОЙНИК ЕМЕЛЬКА ПУГАЧЕВ ДАЛ ГРИВЕННИК

(Быль)

Мне было лет 8, и мы жили в Казанской губернии, в своей деревне. Помню я, что отец с матерью стали тревожиться и всё поминали о Пугачеве. Потом уж я узнала, что появился тогда Пугачев-разбойник. Он называл себя царем Петром III, собрал много разбойников и вешал всех дворян, а крепостных всех отпускал на волю. И говорили, что он с своим народом уже недалеко от нас. Отец хотел уехать в Казань, да побоялся нас, детей, везти с собой, потому что погода была холодная и дороги дурные. Было это дело в ноябре, и по дорогам опасно было. И собрался отец ехать один с матерью в Казань и оттуда обещался взять казаков и приехать за нами.

Они уехали, а мы остались одни с няней Анной Трофимовной, и все жили внизу, в одной комнате. Помню я, сидим мы вечером, няня качает сестру и носит по комнате: у нее животик болел, а я куклу одеваю. А Параша, девушка наша, и дьячиха сидят у стола, пьют чай и разговаривают; и всё про Пугачева. Я куклу одеваю, а сама все слушаю, какие страсти дьячиха рассказывает.

— Помню я,— рассказывала она,— как к соседям нашим за сорок верст Пугачев приходил и как он барина на воротах повесил, а детей всех перебил.

— Как же они их, злодеи, убивали? — спросила Параша.

— Да так, матка моя. Игнатыч сказывал: возьмут за ножки да об угол.

— И, будет вам страсти рассказывать при ребенке,— сказала няня. — Иди, Катенька, спать, уж пора.

Я хотела уже собираться спать, вдруг слышим мы — стучат в ворота, собаки лают и голоса кричат.

Дьячиха с Парашей побежали смотреть и сейчас же прибежали назад: «Он! Он!»

Няня забыла и думать, что у сестры животик болит, бросила ее на постельку, побежала к сундуку, достала оттуда рубашку и сарафанчик маленький. Сняла с меня все, разула и надела крестьянское платье. Голову мне повязала платком и говорит:

— Смотри, если спрашивать будут, говори, что ты моя внучка.

Не успели меня одеть, слышим: наверху уже стучат сапогами. Слышно, много народа нашло. Прибежала к нам дьячиха, Михайла-лакей.

— Сам, сам приехал! Баранов бить велит. Вина, наливок спрашивает.

Анна Трофимовна говорит: «Всего давай. Да смотри не сказывай, что барские дети. Говори, все уехали. А про нее говори, что моя внучка».

Всю ночь эту мы не спали. Всё к нам заходили пьяные казаки.

Но Анна Трофимовна их не боялась. Как придет какой, она говорит: «Чего, голубчик, надо? У нас про вас ничего нет. Малые дети, да я, старая».

И казаки уходили.

К утру я заснула, и когда проснулась, то увидала, что у нас в горнице казак в зеленой бархатной шубе, и Анна Трофимовна ему низко кланяется.

Он показал на мою сестру, говорит: «Это чья же?» А Анна Трофимовна говорит: «Внучка моя, дочернина. Дочь с господами уехала, мне оставила».

— А эта девчонка? — Он показал на меня.

— Тоже внучка, государь.

Он поманил меня пальцем.

— Поди сюда, умница. — Я заробела.

А Анна Трофимовна говорит:

— Иди, Катюшка, не бойся. — Я подошла.

Он взял меня за щеку и говорит:

— Вишь, белолицая какая, красавица будет. — Вынул из кармана горсть серебра, выбрал гривенник и дал мне.

— На тебе, помни государя,— и ушел.

Погостили они у нас так 2 дня, все поели, попили, поломали, но ничего не сожгли и уехали.

Когда отец с матерью вернулись, они не знали, как благодарить Анну Трофимовну, дали ей вольную, но она не взяла и до старости жила и умерла у нас. А меня шутя звали с тех пор: Пугачева невеста. А гривенник тот, что мне дал Пугачев, я до сих пор храню; и как взгляну на него, вспоминаю свои детские годы и добрую Анну Трофимовну.

ВИЗИРЬ АБДУЛ

(Сказка)

Был у персидского царя правдивый визирь Абдул. Поехал он раз к царю через город. А в городе собрался народ бунтовать. Как только увидали визиря, обступили его, остановили лошадь и стали грозить ему, что они его убьют, если он по-ихнему не сделает. Один человек так осмелился, что взял его за бороду и подергал ему бороду.

Когда они отпустили визиря, он приехал к царю и упросил его помочь народу и не наказывать за то, что они его так обидели.

На другое утро пришел к визирю лавочник. Визирь спросил, что ему надо. Лавочник говорит: «Я пришел выдать тебе того самого человека, который тебя обидел вчера. Я его знаю — это мой сосед, его звать Нагим; пошли за ним и накажи его!»

Визирь отпустил лавочника и послал за Нагимом. Нагим догадался, что его выдали, пришел ни жив ни мертв к визирю и упал в ноги.

Визирь поднял его и сказал: «Я не затем призвал тебя, чтобы наказывать, а только затем, чтобы сказать тебе, что у тебя сосед нехорош. Он тебя выдал, берегись его. Ступай с богом».

КАК ВОР САМ СЕБЯ ВЫДАЛ

(Быль)

Один вор залез ночью к купцу на чердак. Он отобрал шубы, полотна и хотел слезать, да споткнулся на перемёт и загремел. Купец услыхал, что что-то зашумело над головой, разбудил работника и пошел со свечой на чердак. Работник разоспался и говорит купцу: «Что смотреть, никого нет, нешто кошка?» Но купец все-таки пошел на чердак. Как только вор услыхал, что идет кто-то, он положил шубы и полотна на прежнее место и стал искать места, куда бы спрятаться. Увидал он: большая куча чего-то. А это была куча табаку листового. Вор раскопал табак, влез в середину и при-

крылся табаком. И слышит вор, что вошли двое — входят и говорят. Купец говорит: «Я слышал, что-то тяжелое загремело». А работник говорит: «Чему греметь, либо кошка, либо домовой». Купец прошел мимо табаку, ничего не заметил и говорит: «И то, видно, показалось: никого нет; ну, пойдем». И слышит вор, что они уходят, и думает: «Теперь все опять соберу и вылезу в окно». Только вдруг чувствует вор, что ему в носу защекотало от табаку и чихнуть хочется. Зажал он рот рукой, еще больше щекочет, и не может держаться, чтобы не чихнуть. Купец с работником уже стали выходить. Слышат — в углу кто-то чихает. «Чих, чих! а чих!» Вернулись и поймали вора.

НОША

(Басня)

Два человека шли вместе по дороге и несли на плечах каждый свою ношу. Один человек нес, не снимая всю дорогу, а другой всё останавливался, снимал ношу и садился отдыхать. Но ему надо было всякий раз опять поднимать ношу и опять взваливать на плечи. И тот, который снимал ношу, больше устал, чем тот, который нес, не снимая.

КОСТОЧКА

(Быль)

Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они лежали на тарелке. Ваня никогда не ел слив и все нюхал их. И очень они ему нравились. Очень хотелось съесть. Он все ходил мимо слив. Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. Перед обедом мать сочла сливы и видит, одной нет. Она сказала отцу.

За обедом отец и говорит: «А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу?» Все сказали: «Нет». Ваня покраснел как рак, и сказал тоже: «Нет, я не ел».

Тогда отец сказал: «Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо; но не в том беда. Беда в том, что в сливах

есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день умрет. Я этого боюсь».

Ваня побледнел и сказал: «Нет, я косточку бросил за окошко».

И все засмеялись, а Ваня заплакал.

ДВА КУПЦА

(Басня)

Один бедный купец уезжал в дорогу и отдал весь свой железный товар под сохранение богатому купцу. Когда он вернулся, он пришел к богатому купцу и попросил назад свое железо.

Богатый купец продал весь железный товар и, чтобы отговориться чем-нибудь, сказал: «С твоим железом несчастье случилось».

— А что?

— Да я его сложил в хлебный амбар. А там мышей пропасть. Они все железо источили. Я сам видел, как они грызли. Если не веришь — поди посмотри.

Бедный купец не стал спорить. Он сказал: «Чего смотреть. Я и так верю. Я знаю, мыши всегда железо грызут. Прощай». И бедный купец ушел.

На улице он увидал, играет мальчик — сын богатого купца. Бедный купец приласкал мальчика, взял на руки и унес к себе.

На другой день богатый купец встречает бедного и рассказывает свое горе, что у него сын пропал, и спрашивает: «Не видал ли, не слыхал ли?»

Бедный купец и говорит:

— Как же, видел. Только стал я вчера от тебя выходить, вижу: ястреб налетел прямо на твоего мальчика, схватил и унес.

Богатый купец рассердился и говорит:

— Стыдно тебе надо мной смеяться. Разве статочное дело, чтоб ястреб мог мальчика унесть.

— Нет, я не смеюсь. Что ж удивительного, что ястреб мальчика унес, когда мыши сто пудов железа съели. Всё бывает.

Тогда богатый купец понял и говорит: «Мыши не съели твоего железа, а я его продал и вдвое тебе заплачу».

— А если так, то и ястреб сына твоего не уносил, и я его тебе отдам.

САН-ГОТАРДСКАЯ СОБАКА

(Описание)

Есть рядом две земли: Швейцария и Италия. Между этими двумя землями есть горы Альпы. Горы эти так высоки, что снег на них никогда не тает. По дороге из Швейцарии в Италию надо переходить через эти горы. Дорога идет через гору Сан-Готард. На самом верху этой горы, на дороге, построен монастырь. И в этом монастыре живут монахи. Монахи эти молятся богу и пускают к себе дорожных людей на отдых и на ночлег. На Сан-Готарде всегда бывает пасмурно; летом туман, и ничего не видно. А зимой бывают такие метели, что на пять аршин заносит снегом. И проезжие и прохожие часто замерзают в эти метели. У монахов есть собаки. И собаки эти приучены отыскивать в снегу людей.

Один раз по дороге в Швейцарию шла женщина с ребеночком. Началась метель; женщина сбилась с дороги, села в снегу и застыла. Монахи вышли с собаками и нашли женщину с ребеночком. Монахи отогрели ребеночка и выкормили. А женщину они принесли уже мертвую и похоронили у себя в монастыре.

РАССКАЗ МУЖИКА О ТОМ, ЗА ЧТО ОН СТАРШЕГО БРАТА СВОЕГО ЛЮБИТ

Я и так брата люблю, а больше за то, что он за меня в солдаты пошел. Вот как было дело: стали бросать жеребий. Жеребий пал на меня, мне надо были идти в солдаты, а я тогда неделю как женился. Не хотелось мне от молодой жены уходить.

Матушка стала выть и говорит: «Как Петрушке идти, он молод». Делать было нечего, стали меня собирать. Сшила мне жена рубахи, собрала мне денег, и назавтра надо было идти на ставку в город. Матушка убивалась — плакала, а я как подумаю, что идти надо, так сердце сожмется, точно на смерть иду.

Собрались мы ввечеру все ужинать. Никому и есть не хотелось. Старший брат, Николай, лежал на печи и все молчал. Молодайка моя выла. Отец сидел сердитый. Как матушка поставила на стол кашу, так никто ее и не

тронул. Матушка стала звать Николая с печи ужинать. Он сошел, перекрестился, сел у стола, да и говорит: «Не убивайся, матушка. Я пойду за Петрушку в солдаты, я старше его. Авось не пропаду. Отслужу, да и приду домой. А ты, Петр, без меня покой батюшку с матушкой и жену мою не обижай». Я обрадовался, матушка тоже перестала убиваться; стали собирать Николая.

Поутру, когда я проснулся, как пораздумал, что за меня брат идет, стало мне тошно. Я и говорю: «Не ходи, Николай, мой черед, я и пойду». А он молчит и собирается. И я собираюсь. Пошли мы оба в город на ставку. Он становится, и я становлюсь. Оба мы ребята хорошие, стоим — ждем, не бракуют нас. Старший брат посмотрел на меня — усмехнулся и говорит: «Будет, Петр, ступай домой. Да не скучайте по мне, я своей охотой иду». Заплакал я и пошел домой. А теперь как вспомню про брата, кажется бы жизнь за него отдал.

КАК Я В ПЕРВЫЙ РАЗ УБИЛ ЗАЙЦА

(Рассказ барина)

У меня был дядька Иван Андреич. Он выучил меня стрелять, когда мне было еще 13 лет. Он достал маленькое ружьецо и давал мне из него стрелять, когда мы ходили гулять. И я убил раз галку и другой раз сороку. Но отец не знал, что я умею стрелять. Один раз, это было осенью, в маменькины именины, и мы ожидали дядюшку к обеду, и я сидел на окне и смотрел в ту сторону, откуда ему надо было приехать, а отец ходил по комнате. Я увидел из-за рощи четверню серых и коляску и закричал: «Едет! едет!..»

Отец поглядел в окно, увидал коляску, взял картуз и пошел на крыльцо встречать. Я побежал за ним. Отец поздоровался с дядей и сказал: «Выходи же». Но дядя сказал: «Нет, возьми лучше ружье, да поедем со мной. Вон там, сейчас за рощей, русак лежит в зеленях. Возьми ружье, поедем убьем». Отец велел себе подать шубку и ружье, а я побежал к себе, наверх, надел шапку и взял свое ружье. Когда отец сел с дядей в коляску, я приснастился с ружьем сзади на запятки, так что никто не видал меня.

Только что выехали за рощу, дядя велел кучеру остановиться, поднялся и говорит: «Видишь, вон в той меже сереется? Справа бурьянчик, а влево, шагов на пять — видишь?» Отец долго смотрел и все ничего не видал. А мне снизу и вовсе не видно было. Наконец, отец увидал, и они с дядей пошли по полю. Отец нес ружье наготове, а дядя ему указывал. Я шел сзади с своим ружьем и ничего не мог видеть. Но я рад был, что меня не заметили. Прошли так шагов 100. Отец остановился, хотел прикладываться, но дядя остановил его: «Нет, далеко, еще подойдем. Он поднустит». Отец послушался, но только они прошли немного, русак вскочил, и тут я только увидал его. Русак был большой, почти белый, только спинка серебряная. Он вскочил, поднял одно ухо и слегка запрыгал от нас. Отец прицелился — хлоп! Русак бежит. Отец из другого ствола. Русак бежит. Я уж забыл и про отца и про все. Прицелился сзади их — хлоп! Смотрю и сам глазам не верю — русак перевернулся через голову, лежит и одной задней ногой брыкает. Отец и дядя оглянулись. «Ты откуда взялся! Ну, молодец». И с тех пор мне дали ружье и позволили стрелять.

МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК

(Сказка)

У одного бедного человека было семеро детей мал мала меньше. Самый меньшой был так мал, что когда он родился, он был не больше пальца. Потом он подрос немножко, но все-таки был немного больше пальца, и оттого его звали: *мальчик с пальчик*. Но мальчик с пальчик, даром что был мал, был очень ловок и хитер.

Отец с матерью все становились беднее и беднее, и пришло им под конец так плохо, что нечем стало и детей кормить. Подумали, подумали отец с матерью и положили отвести детей в лес подальше и оставить их там, так чтобы они домой не вернулись. Когда отец с матерью говорили про это, мальчик с пальчик не спал и все слышал. Наутро мальчик с пальчик прежде всех проснулся и побежал на ручей и набрал полны карманы белых камушков. Когда отец с матерью повели детей в лес, мальчик с пальчик шел сзади всех и все брал по одному камушку из кармана и кидал на дорогу.

Когда отец с матерью завели детей далеко в лес, они зашли за деревья и убежали. Дети стали звать их, и когда увидали, что никто нейдет, стали плакать.

Только один мальчик с пальчик не плакал. Он кричал своим тоненьким голосом: «Перестаньте плакать, я вас выведу из лесу»; но братья так громко плакали, что не слышали его. Когда они услышали его, он рассказал им, что он накидал на дороге белых камушков и выведет их из леса; они обрадовались и пошли за ним. Мальчик с пальчик шел с камушка на камушек и так довел их до дома.

Случилось так, что в тот самый день, как отец с матерью отвели детей в лес, отец получил деньги. Отец с матерью и говорят: «Зачем мы отвели детей в лес? Они пропадут там. А теперь у нас деньги есть, и мы можем прокормить детей». Мать стала плакать и говорит: «Ах! если бы только дети с нами были!» А мальчик с пальчик услыхал из-под окошка и говорит: «А мы вот они!»

Мать обрадовалась, побежала на крыльцо, и все дети один за другим вошли в горницу.

Купили все, что надо, и стали жить по-прежнему; и жили хорошо до тех пор, пока деньги не вышли.

Но деньги опять все вышли, опять стали отец с матерью судить, как им быть, и опять положили свести детей в лес и оставить их там.

Мальчик с пальчик опять услыхал и, как пришло утро, хотел идти потихоньку в ручей за камушками. Только подошел он к двери, хотел отворить, но дверь была заперта на задвижку; хотел отодвинуть, да, как ни бился, не мог достать до задвижки.

Камушков нельзя было ему набрать, он и взял хлеба. Наложил в карманы и думает: «Как они нас поведут, я накидаю крошки хлеба по дороге и по ним опять выведу братьев».

Отец с матерью опять свели детей в лес и их там бросили, и опять мальчик с пальчик кидал по дороге крошки хлеба.

Когда старшие братья стали плакать, мальчик с пальчик опять обещал их вывести.

Но только в этот раз он не нашел дороги, потому что птицы поклевали все крошки хлеба.

Дети ходили, ходили по лесу и не нашли дороги до самой ночи. Плакали, плакали и все заснули. Мальчик с пальчик проснулся раньше всех и влез на дерево, осмо-

трел кругом и увидел избушку. Он слез с дерева, разбудил братьев и повел их к избушке.

Они постучались, и вышла к ним на крыльцо старушка и спросила, чего им надо. Они сказали, что заблудились в лесу. Тогда старушка пустила их в дом и сказала: «Жалко мне вас за то, что вы к нам зашли. Мужик мой людоед. И если он вас увидит, он съест вас. Мне вас жалко. Спрячьтесь сюда под кровать, а завтра я вас выпущу».

Дети испугались и залезли под кровать. Вдруг слышат они, кто-то постучался в дверь и вошел в горницу. Мальчик с пальчик выглянул из-под кровати и видит — страшный людоед сел за стол и крикнул на старушку: «Давай вина». Старушка подала вина, он выпил, стал нюхать: «А что у нас людским духом пахнет! Кто-нибудь у тебя спрятан?» Старушка стала говорить, что никого нет, но людоед стал нюхать все ближе и ближе и добрался чутьем до кровати. Стал шарить под кроватью руками, поймал за ножку мальчика с пальчика и закричал: «А, вот они!» И он вытащил их всех и стал радоваться. Потом взял нож и хотел их резать, но жена уговорила его. Она сказала: «Видишь, какие они худые и плохие. Дай мы их покормим немножко, они свежей и вкусней будут». Людоед послушался, велел их накормить и положить спать вместе с своими девочками.

А у людоеда было 7 девочек, такие же маленькие, как мальчиковы братья. Девочки все лежали и спали на одной кровати, и у каждой девочки на голове была золотая шапочка. Мальчик с пальчик приметил это, и, когда людоед с женой ушли, он потихоньку снял шапочки с людоедовых дочерей и надел их на себя и на братьев, а свою и братнины шапочки надел на девочек.

Людоед всю ночь пил вино. И, когда он много выпил, ему захотелось опять есть. Он встал и пошел в ту горницу, где спали мальчик с пальчик с братьями и 7 девочек. Он подошел к мальчикам, ощупал на них золотые шапочки и говорит: «Вот спьяну чуть своих дочерей не порезал». Оставил мальчиков и пошел к дочерям, ощупал на них мягкие шапочки и всех перерезал и заснул.

Тогда мальчик с пальчик поднял братьев, отворил дверь и побежал с ними в лес.

Дети ходили всю ночь и весь день и все не могли выйти из леса.

А людоед, когда проснулся поутру и увидал, что он вместо чужих перерезал своих детей, надел свои семиверстные сапоги и побежал в лес искать детей.

А семиверстные сапоги были такие, что, кто их наденет, тот каждый шаг в 7 верст ступает.

Людоед искал, искал детей; не нашел и подле самых их присел отдохнуть и заснул.

Мальчик с пальчик увидал, что людоед спит, подкрался к нему и вынул у него из кармана горсть золота, роздал братьям. Потом он потихоньку разул его. Когда он разул его, он надел сам семиверстные сапоги, велел братьям крепче взяться рука с рукой и держаться за него. И он побежал так скоро, что сейчас же вышел из леса и нашел дом.

И когда они вернулись, то отдали отцу с матерью золото. Они стали богаты и больше уже не отсылали их.

ДУРЕНЬ

(Стихи-сказка)

Задумал дурень
На Русь гуляти,
Людей видати,
Себя казати.
Увидел дурень
Две избы пусты;
Глянул в подполье:
В подполье черти,
Востроголовы,
Глаза, что ложки,
Усы, что вилы,
Руки, что грабли,
В карты играют,
Костью бросают,
Деньги считают.
Дурень им молвил:
«Бог да на помочь
Вам, добрым людям».
Черти не любят,—
Схватили дурня,
Зачали бити,

Стали давити,
Еле живого
Дурня пустили.
Приходит дурень
Домой, сам плачет,
На голос воет.
А мать бранити,
Жена пеняти,
Сестра-то тоже:
«Дурень ты дурень,
Глупый ты Бабин,
То же ты слово
Не так бы молвил;
А ты бы молвил:
«Будь ты, враг, проклят
Имем господним!»
Черти ушли бы,
Тебе бы, дурню,
Деньги достались
Заместо клада».
«Добро же, баба,
Ты, бабариха.
Матерь Лукерья,
Сестра Чернава,
Вперед я, дурень,
Таков не буду».
Пошел он, дурень,
На Русь гуляти,
Людей видати,
Себя казати.
Увидел дурень,—
Четырех братов,—
Ячмень молотят.
Он братьям молвил:
«Будь ты, враг, проклят
Имем господним!»
Как сграбят дурня
Четыре брата,
Зачали бити,
Еле живого
Дурня пустили.
Приходит дурень
Домой, сам плачет

На голос воет.
А мать бранити,
Жена пенять,
Сестра-то также:
«Дурень ты дурень,
Глупый ты Бабин,
То же ты слово
Не так бы молвил.
Ты бы им молвил:
«Бог вам на помочь,
Чтоб по сту на день,
Чтоб не сносити».
«Добро же, баба,
Ты, бабариха,
Матерь Лукерья,
Сестра Чернава,
Вперед я, дурень,
Таков не буду».
Пошел он, дурень,
На Русь гуляти,
Людей видати,
Себя казати.
Увидел дурень,—
Семеро братьев
Матерь хоронят;
Все они плачут,
Голосом воют.
Он им и молвил:
«Бог вам на помочь,
Семеро братьев,
Мать хоронити,
Чтоб по сту на день,
Чтоб не сносити».
Сграбили дурня
Семеро братьев,
Зачали бити,
Стали таскати,
В грязи валяти,
Еле живого
Дурня пустили.
Идет он, дурень,
Домой да плачет,
На голос воет.

А мать бранити,
Жена пеняти,
Сестра-то также:
«Дурень ты дурень,
То же ты слово
Не так бы молвил,
А ты бы молвил:
«Канун да ладан,
Дай же господь бог
Царство небесно,
Пресветлый рай ей».
Тебя бы, дурня,
Там накормили
Кутьей с блинами».
«Добро же, баба,
Ты, бабариха,
Матерь Лукерья,
Вперед я, дурень,
Таков не буду».
Пошел он, дурень,
На Русь гуляти,
Людей видати,
Себя казати;
Навстречу свадьба,—
Он им и молвил:
«Канун да ладан,
Дай господь бог вам
Царство небесно,
Пресветлый рай всем».
Скочили дружки,
Схватили дурня,
Зачали бити,
Плетьми стегати,
В лицо хлестати.
Пошел, заплакал,
Идет да воет.
А мать бранити,
Жена пеняти,
Сестра-то также:
«Дурень ты дурень,
Ты глупый Бабин;
Ты то же слово
Не так бы молвил;

А ты бы молвил:
«Дай господь бог вам,
Князю с княгиней,
Закон приняти,
Любовно жити,
Детей сводити».
«Вперед я, дурень,
Таков не буду».
Пошел он, дурень,
На Русь гуляти,
Людей видати,
Себя казати.
Попался дурню
Навстречу старец.
Он ему молвил:
«Дай бог те, старцу,
Закон приняти,
Любовно жити,
Детей сводити».
Как схватит старец
За ворот дурня,
Стал его бити,
Стал колотити,
Сломал костыль весь.
Пошел он, дурень,
Домой, сам плачет,
А мать бранити,
Жена журити,
Сестра-то также:
«Ты дурень, дурень,
Ты глупый Бабин;
Ты то же слово
Не так бы молвил;
А ты бы молвил:
«Благослови мя,
Святой игумен».
«Добро же, баба,
Ты, бабариха,
Матерь Лукерья,
Вперед я, дурень,
Таков не буду».
Пошел он, дурень,
На Русь гуляти,

В лесу ходити.
Увидел дурень
В бору медведя,—
Медведь за елью
Дерет корову.
Он ему молвит:
«Благослови мя,
Святой игумен».
Медведь на дурня
Кинулся, сграбил,
Зачал коверкать,
Зачал ломати:
Едва живого
Дурня оставил.
Приходит дурень
Домой, сам плачет,
На голос воет,
Матери скажет.
А мать бранити,
Жена пеняти,
Сестра-то также:
«Ты дурень, дурень,
Ты глупый Бабин;
Ты то же слово
Не так бы молвил,
Ты бы зауськал,
Ты бы загайкал,
Заулюлюкал».
«Добро же, баба,
Ты, бабариха,
Матерь Лукерья,
Сестра Чернава,
Вперед я, дурень,
Таков не буду».
Пошел он, дурень,
На Русь гуляти,
Людей видати,
Себя казати.
Идет он, дурень,
Во чистом поле,—
Навстречу дурню
Идет полковник.
Зауськал дурень,

Загайкал дурень,
Заулюлюкал.
Сказал полковник
Своим солдатам.
Схватили дурня,—
Зачали бити;
До смерти дурня
Тут и убили.

СВЯТОГОР-БОГАТЫРЬ

(Стихи-сказка)

Выезжал ли Святогор гулять в чисто поле,
Никого-то, Святогор, он не нахаживал,
С кем бы силой богатырскою померяться;
А сам чует в себе силу он великую,
Чует — живчиком по жилкам разливается.
Грузно с силы Святогору, как от бремени.
И промолвил Святогор-свет похваляючись:
«По моей ли да по силе богатырской
Каб державу мне найти, всю землю поднял бы».
С тех слов увидел Святогор прохожего —
Сдалека в степи идет прохожий с сумочкой,—
И поехал Святогор к тому прохожему,
Едет рысью, все прохожий идет передом,—
Во всю прыть не может он догнать прохожего.
Закричал тут Святогор да громким голосом:
«Гой, прохожий человек, пожди немножечко.
Не могу догнать тебя я на добром коне».
Сдалека прохожий Святогора слушался,
Становился, с плеч на землю бросал сумочку.
Наезжает Святогор на эту сумочку.
Своей плеточкой он сумочку пощуповал,—
Как уроспая, та сумочка не тронется.
Святогор с коня перстом ее потрогивал,—
Не сворохнется та сумка, не шевельнется.
Святогор с коня хватал рукой, потягивал,—
Как уроспая, та сумка не поднимется.
Слез с коня тут Святогор, взялся за сумочку,
Он приладился, взялся руками обеими,
Во всю силу богатырску принатужился,—

От натуги по белу лицу ала кровь пошла,
А поднял суму от земи только на волос.
По колена ж сам он в мать сыру землю угряз.
Взговорит ли Святогор тут громким голосом:
«Ты скажи же мне, прохожий, правду истинну,
А и что, скажи ты, в сумочке накладено?»
Взговорит ему прохожий да на те слова:
«Тяга в сумочке от матери сырой земли».
Взговорит тут Святогор да ко прохожему:
«А ты сам кто есть, как звать тебя по имени?»
Взговорит ему прохожий ли на те слова:
«Я Микула есмь; мужик я, Селянинович,
Я Микула,— меня любит мать сыра земля».

ДЕВОЧКА И ГРИБЫ

(Быль)

Две девочки шли домой с грибами.

Им надо было переходить через железную дорогу.

Они думали, что машина далеко, взлезли на насыпь и пошли через рельсы.

Вдруг зашумела машина. Старшая девочка побежала назад, а меньшая — перебежала через дорогу.

Старшая девочка закричала сестре: «Не ходи назад!»

Но машина была так близко и так громко шумела, что меньшая девочка не расслышала; она подумала, что ей велят бежать назад. Она побежала назад через рельсы, споткнулась, выронила грибы и стала подбирать их.

Машина уже была близко, и машинист свистел что было силы.

Старшая девочка кричала: «Брось грибы!», а маленькая девочка думала, что ей велят собрать грибы, и ползала по дороге.

Машинист не мог удержать машины. Она свистала изо всех сил и наехала на девочку.

Старшая девочка кричала и плакала. Все проезжающие смотрели из окон вагонов, а кондуктор побежал на конец поезда, чтобы видеть, что сделалось с девочкой.

Когда поезд прошел, все увидали, что девочка лежит между рельсами головой вниз и не шевелится.

Потом, когда поезд уже отъехал далеко, девочка подняла голову, вскочила на колени, собрала грибы и побежала к сестре.

ОСЕЛ В ЛЬВИНОЙ ШКУРЕ

(Басня)

Осел надел львиную шкуру, и все думали — лев. Побежал народ и скотина. Подул ветер, шкура распахнулась, и стало видно осла. Сбежался народ: исколотили осла.

КАКАЯ БЫВАЕТ РОСА НА ТРАВЕ

(Описание)

Когда в солнечное утро летом пойдешь в лес, то на полях, в траве видны алмазы. Все алмазы эти блестят и переливаются на солнце разными цветами — и желтым, и красным, и синим. Когда подойдешь ближе и разглядишь, что это такое, то увидишь, что это капли росы собрались в треугольных листах травы и блестят на солнце.

Листок этой травы внутри мохнат и пушист, как бархат. И капли катаются по листку и не мочат его.

Когда неосторожно сорвешь листок с росинкой, то капелька скатится, как шарик светлый, и не увидишь, как проскользнет мимо стебля. Бывало, сорвешь такую чашечку, потихоньку поднесешь ко рту и выпьешь росинку, и росинка эта вкуснее всякого напитка кажется.

КУРИЦА И ЛАСТОЧКА

(Басня)

Курица нашла змеиные яйца и стала их высиживать. Ласточка увидала и говорит:

«То-то, глупая! Ты их выведешь, а как вырастут, они тебя первую обидят».

ИНДЕЕЦ И АНГЛИЧАНИН

(Быль)

Индейцы взяли на войне в плен молодого англичанина, привязали его к дереву и хотели убить.

Старый индеец подошел и сказал: «Не убивайте его, а отдайте мне».

Его отдали.

Старый индеец отвязал англичанина, свел его в свой шалаш, накормил и положил ночевать.

На другое утро индеец велел англичанину идти за собой. Они шли долго, и когда подошли близко к английскому лагерю, индеец сказал:

«Ваши убили моего сына, я спас тебе жизнь; иди к своим и убивай нас».

Англичанин удивился и сказал: «Зачем ты смеешься надо мною? Я знаю, что наши убили твоего сына: убивай же меня скорее».

Тогда индеец сказал: «Когда тебя стали убивать, я вспомнил о своем сыне, и мне стало жаль тебя. Я не смеюсь: иди к своим и убивай нас, если хочешь». И индеец отпустил англичанина.

ОЛЕНЬ И ЛАНЧУК

(Басня)

Ланчук[1] сказал раз оленю:

«Батюшка, ты и больше и резвее собак, да еще и рога у тебя огромные на защиту; отчего же ты так боишься собак?»

Олень засмеялся и говорит:

«Правду говоришь, дитятко. Одна беда: как только услышу собачий лай, не успею подумать, а уж бегу».

ЖИЛЕТКА

(Быль)

Один мужик занялся торговлей и так разбогател, что стал первым богачом. У него служили сотни приказчиков, и он их всех и по имени не знал.

Пропало раз у купца двадцать тысяч денег. Стали старшие приказчики разыскивать и разыскали того, кто украл деньги.

---

[1] Молодой олень. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

Пришел старший приказчик к купцу и говорит: «Я вора нашел. Надо его в Сибирь сослать».

Купец говорит: «А кто украл?» Старший приказчик говорит:

«Иван Петров, сам признался».

Купец подумал и говорит: «Ивана Петрова надо простить».

Приказчик удивился и говорит: «Как же простить? Этак и те приказчики то же будут делать: все добро растаскают». Купец говорит: «Ивана Петрова надо простить: когда я начинал торговать, мы с ним товарищами были. Когда я женился, мне под венец надеть нечего было. Он мне свою жилетку дал надеть. Ивана Петрова надо простить».

Так и простили Ивана Петрова.

ЛИСИЦА И ВИНОГРАД

(Басня)

Лисица увидала — висят спелые кисти винограда, и стала прилаживаться, как бы их съесть.

Она долго билась, но не могла достать. Чтобы досаду заглушить, она говорит: «Зелены еще».

УДАЧА

(Быль)

Приехали люди на остров, где было много дорогих каменьев. Люди старались найти больше; они мало ели, мало спали, а все работали. Один только из них ничего не делал, а сидел на месте, ел, пил и спал. Когда стали собираться домой, они разбудили этого человека и сказали: «Ты с чем же домой поедешь?» Он тоже поднял горсть земли под ногами и положил в сумку.

Когда все приехали домой, этот человек достал свою землю из сумки и в ней нашел камень драгоценнее всех других вместе.

РАБОТНИЦЫ И ПЕТУХ

(Басня)

Хозяйка по ночам будила работниц и, как запоют петухи, сажала за дело. Работницам тяжело показалось, и они вздумали убить петуха, чтобы не будил хозяйки. Убили, им стало хуже: хозяйка боялась проспать и еще раньше стала поднимать работниц.

САМОКРУТКА

(Быль)

Один мужик выучился мельничному мастерству и стал делать мельницы водяные, ветряные и конные.

Потом он задумал сделать такую мельницу, чтобы не нужно было ни воды, ни ветра, ни лошадей; он хотел сделать так, чтобы тяжелый камень спускался книзу и своей тяжестью вертел колесо, и опять бы поднимался кверху, и опять спускался — так, чтобы мельница ходила сама.

Мужик пошел к барину и сказал: «Я придумал такую мельницу-самокрутку, что сама будет ходить, без воды и без лошадей; только раз завести,— она и будет ходить до тех пор, пока остановишь. Нет только у меня денег на лес да на чугун. Дай мне, барин, триста рублей денег, я тебе первому сделаю такую мельницу».

Барин спросил у мужика — знает ли он грамоте.

Мужик сказал, что не знает.

Тогда барин сказал: «Вот если бы ты знал грамоте, я бы тебе книжку дал о механике, и там ты бы прочел о такой мельнице и увидал бы, что такой мельницы сделать нельзя, что много людей ученых посходили с ума — все выдумывали такую мельницу, чтоб сама ходила».

Мужик не поверил барину и сказал: «В книгах ваших много дурно пишут. Так-то ученый машинист построил крупорушку купцу в городе, да только испортил; а я хоть неграмотный, да как взгляпул, так увидал и переладил рушку — стала работать».

Барин сказал: «Чем же ты подымешь свой камень, когда он спустится?»

Мужик сказал: «Сам по колесу поднимется».

Барин сказал: «Поднимется, да ниже, а другой раз поднимется еще ниже и станет, какие ты колеса не прилаживай. Все равно, как если на салазках с большой горы съедешь — на маленькую поднимешься, а с маленькой назад на большую никак не поднимешься».

Мужик не поверил, а пошел к купцу и обещал ему сделать мельницу без воды и лошадей.

Купец дал денег. Мужик строил, строил, простроил все 300 рублей, а мельница не ходит.

Тогда мужик стал свое имение продавать и все простроил.

А купец говорит: «Давай мне мельницу, чтобы сама ходила, без лошадей, или деньги давай назад».

Пришел мужик к барину и рассказал о своем горе.

Барин дал ему денег и говорит: «Оставайся у меня работать: строй ты мне мельницы, только водяные да конные — на это ты мастер, а вперед за то не берись, чего и поумнее тебя люди не сделали».

РЫБАК И РЫБКА

(Басня)

Поймал рыбак рыбку. Рыбка и говорит:

«Рыбак, пусти меня в воду; видишь, я мелка: тебе от меня пользы мало будет. А пустишь, да я вырасту, тогда поймаешь — тебе пользы больше будет».

Рыбак и говорит:

«Дурак тот будет, кто станет большой пользы ждать, а малую из рук упустит».

ОСЯЗАНИЕ И ЗРЕНИЕ

(Рассуждение)

Заплети указательный палец с средним и заплетенными пальцами потрогивай маленький шарик так, чтобы он катался промеж обоих пальцев, а сам закрой глаза. Тебе покажется, что два шарика. Открой глаза,— уви-

дишь, что один шарик. Пальцы обманули, а глаза поправили.

Погляди (всего лучше сбоку) на хорошее чистое зеркало: тебе покажется, что это окно или дверь и что там сзади что-то есть. Ощупай пальцем,— увидишь, что это зеркало. Глаза обманули, а пальцы поправили.

ЛИСИЦА И КОЗЕЛ

(Басня)

Захотелось козлу напиться: он слез под кручь к колодцу, напился и отяжелел. Стал он выбираться назад и не может. И стал он реветь. Лисица увидала и говорит:

«То-то, бестолковый! Коли бы у тебя сколько в бороде волос, столько бы в голове ума было, то прежде, чем слезать, подумал бы, как назад выбраться».

КАК МУЖИК УБРАЛ КАМЕНЬ

(Быль)

На площади в одном городе лежал огромный камень. Камень занимал много места и мешал езде по городу. Призвали инженеров и спросили их, как убрать этот камень и сколько это будет стоить.

Один инженер сказал, что камень надо разбивать на куски порохом и потом по частям свезти его, и что это будет стоить 8000 рублей; другой сказал, что под камень надо подвести большой каток и на катке свезти камень, и что это будет стоить 6000 рублей.

А один мужик сказал: «А я уберу камень и возьму за это 100 рублей».

У него спросили, как он это сделает. И он сказал: «Я выкопаю подле самого камня большую яму; землю из ямы развалю по площади, свалю камень в яму и заровняю землею».

Мужик так и сделал, и ему дали 100 рублей и еще 100 рублей за умную выдумку.

СОБАКА И ЕЕ ТЕНЬ

(Басня)

Собака шла по дощечке через речку, а в зубах несла мясо. Увидала она себя в воде и подумала, что там другая собака мясо несет,— она бросила свое мясо и кинулась отнимать у той собаки: того мяса вовсе не было, а свое волною унесло.

И осталась собака ни при чем.

ШАТ И ДОН

(Сказка)

У старика Ивана было два сына: Шат Иваныч и Дон Иваныч. Шат Иваныч был старший брат; он был сильнее и больше, а Дон Иваныч был меньший и был меньше и слабее. Отец показал каждому дорогу и велел им слушаться. Шат Иваныч не послушался отца и не пошел по показанной дороге, сбился с пути и пропал. А Дон Иваныч слушал отца и шел туда, куда отец приказывал. Зато он прошел всю Россию и стал славен.

В Тульской губернии, в Епифанском уезде, есть деревня «Иван-озеро», и в самой деревне есть озеро. Из озера вытекают в разные стороны два ручья. Один ручей так узок, что через него перешагнуть можно. Этот ручей называют Дон. Другой ручеек широкий, и его называют Шат.

Дон идет все прямо, и чем дальше он идет, тем шире становится.

Шат вертится с одной стороны на другую. Дон прошел через всю Россию и впал в Азовское море. В нем много рыбы, и по нем ходят барки и пароходы.

Шат зашатался, не вышел из Тульской губернии и впал в реку Упу.

ЖУРАВЛЬ И АИСТ

(Басня)

Мужик расставил на журавлей сети за то, что они сбивали у него посев. В сети попались журавли, а с журавлями один аист.

Аист и говорит мужику:

«Ты меня отпусти: я не журавль, а аист; мы самые почетные птицы; я у твоего отца на доме живу. И по перу видно, что я не журавль».

Мужик говорит:

«С журавлями поймал, с ними и зарежу».

СУДОМА

(Сказка)

В Псковской губернии, в Пороховском уезде, есть речка Судома, и на берегах этой речки есть две горы, друг против дружки.

На одной горе был прежде городок Вышгород, на другой горе в прежние времена судились славяне. Старики рассказывают, что на этой горе в старину с неба висела цепь и что кто был прав, тот до цепи доставал рукой, а кто был виноват, тот не мог достать. Один человек занял у другого деньги и отперся. Привели их обоих на гору Судому и велели доставать до цепи. Тот, кто давал деньги, поднял руку и сразу достал. Пришел черед виноватому доставать. Он не отпирался, а только отдал свой костыль подержать тому, с кем судился, чтобы ловчее было руками достать до цепи; протянул руки и достал. Тогда народ удивился: как, оба правы? А у виноватого костыль был пустой, и в костыле были запрятаны те самые деньги, в каких он отпирался. Когда он отдал в руки костыль с деньгами подержать тому, кому он должен был, он с костылем отдал и деньги, и потому достал цепь.

Так он обманул всех. Но с тех пор цепь поднялась на небо и больше не спускалась. Так рассказывают старики.

САДОВНИК И СЫНОВЬЯ

(Басня)

Хотел садовник сыновей приучить к садовому делу. Когда он стал умирать, позвал их и сказал:

«Вот, дети, когда я умру, вы в виноградном саду поищите, что там спрятано».

Дети подумали, что там клад, и когда отец умер, стали рыть и всю землю перекопали. Клада не нашли, а землю в винограднике так хорошо перекопали, что стало плода родиться много больше. И они стали богаты.

СОВА И ЗАЯЦ

(Басня)

Смеркло. Стали совы летать в лесу по оврагу, высматривать добычу.

Выскочил на полянку большой русак, стал охорашиваться. Старая сова посмотрела на русака и села на сук, а молодая сова говорит: «Что ж ты зайца не ловишь?» Старая говорит: «Не по силам — велик русак: ты в него вцепишься, а он тебя уволочет в чащу». А молодая сова говорит: «А я одной лапой вцеплюсь, а другой поскорее за дерево придержусь».

И пустилась молодая сова за зайцем, вцепилась ему лапой в спину так, что все когти ушли, а другую лапу приготовила за дерево уцепиться. Как поволок заяц сову, она уцепилась другой лапой за дерево и думала: «Не уйдет». Заяц рванулся и разорвал сову. Одна лапа осталась на дереве, другая на спине у зайца. На другой год охотник убил этого зайца и дивился тому, что у него в спине были заросшие совиные когти.

ВОЛК И ЖУРАВЛЬ

(Басня)

Подавился волк костью и не мог выперхнуть. Он подозвал журавля и сказал:

«Ну-ка, ты, журавль, у тебя шея длинная, засунь ты мне в глотку голову и вытащи кость: я тебя награжу».

Журавль засунул голову, вытащил кость и говорит:

«Давай же награду».

Волк заскрипел зубами, да и говорит:

«Или тебе мало награды, что я тебе голову не откусил, когда она у меня в зубах была?»

ОРЕЛ

(Быль)

Орел свил себе гнездо на большой дороге, вдали от моря, и вывел детей.

Один раз подле дерева работал народ, а орел подлетал к гнезду с большой рыбой в когтях. Люди увидали рыбу, окружили дерево, стали кричать и бросать в орла каменьями.

Орел выронил рыбу, а люди подняли ее и ушли.

Орел сел на край гнезда, а орлята подняли свои головы и стали пищать: они просили корма.

Орел устал и не мог лететь опять на море; он спустился в гнездо, прикрыл орлят крыльями, ласкал их, оправлял им перышки и как будто просил их, чтобы они подождали немного. Но чем больше он их ласкал, тем громче они пищали.

Тогда орел отлетел от них и сел на верхний сук дерева.

Орлята засвистали и запищали еще жалобнее.

Тогда орел вдруг сам громко закричал, расправил крылья и тяжело полетел к морю. Он вернулся только поздно вечером: он летел тихо и низко над землею, в когтях у него опять была большая рыба.

Когда он подлетал к дереву, он оглянулся,— нет ли опять вблизи людей, быстро сложил крылья и сел на край гнезда.

Орлята подняли головы и разинули рты, а орел разорвал рыбу и накормил детей.

УТКА И МЕСЯЦ

(Басня)

Утка плавала по реке, отыскивала рыбу и в целый день не нашла ни одной. Когда пришла ночь, она увидала месяц в воде, подумала, что это рыба, и нырнула, чтоб поймать месяц. Другие утки увидали это и стали над ней смеяться.

С тех пор утка так застыдилась и заробела, что когда и видала рыбу под водой, она уж не ловила ее и умерла с голода.

МЕДВЕДЬ НА ПОВОЗКЕ

(Басня)

Поводырь с медведем подошел к кабаку, привязал медведя к воротам, а сам вошел в кабак выпить. Ямщик на тройке подъехал к кабаку, закрутил коренную и тоже вошел в кабак. А в телеге у ямщика были калачи. Медведь учуял в повозке калачи, отвязался, подошел к повозке, влез и стал шарить в сене. Лошади оглянулись и шаркнули от кабака по дороге. Медведь ухватился лапами за грядки и не знает, как ему быть. А лошади, что дальше, то пуще разгораются. Медведь держится передними лапами за грядки и только голову поворачивает то на ту сторону, то на другую. А лошади оглянутся-оглянутся — еще шибче катят по дороге, под гору, на гору... Проезжие не успевают посторониваться. Катит тройка вся в мыле, на телеге сидит медведь, держится за грядки да по сторонам оглядывается. Видит медведь, что дело плохо — убьют его лошади; начал он реветь. Еще пуще лошади понеслись. Скакали-скакали, прискакали домой в деревню. Все смотрят, что такое скачет. Уткнулись лошади в свой двор, в ворота. Хозяйка глядит, что такое? Не путем прискакал хозяин — видно, пьян. Выходит на двор, а с телеги не хозяин — медведь лезет. Соскочил медведь, да в поле, да в лес.

ВОЛК В ПЫЛИ

(Басня)

Волк хотел поймать из стада овцу и зашел под ветер, чтобы на него несло пыль от стада.

Овчарная собака увидала его и говорит:

«Напрасно ты, волк, в пыли ходишь, глаза заболят».

А волк говорит: «То-то и горе, собаченька, что у меня уж давно глаза болят, а говорят — от овечьего стада пыль хорошо глаза вылечивает».

ЛОЗИНА

(Быль)

На святой пошел мужик посмотреть — оттаяла ли земля?

Он вышел на огород и колом ощупал землю. Земля раскисла. Мужик пошел в лес. В лесу на лозине уже надулись почки. Мужик и подумал: «Дай обсажу огород лозиной, вырастет — защита будет!» Взял топор, нарубил десяток лозиннику, затесал с толстых концов кольями и воткнул в землю.

Все лозинки выпустили побеги вверху с листьями и внизу под землею выпустили такие же побеги заместо кореньев; и одни зацепились за землю и принялись, а другие неловко зацепились за землю кореньями — замерли и повалились.

К осени мужик порадовался на свои лозины: шесть штук принялись. На другую весну овцы обгрызли четыре лозины, и две только остались. На другую весну и эти обгрызли овцы. Одна совсем пропала, а другая справилась, стала окореняться и разрослась деревом. По веснам пчелы гудьмя гудели на лозине. В роевщину часто на лозину сажались рои, и мужики огребали их. Бабы и мужики часто завтракали и спали под лозиной; а ребята лазили на нее и выламывали из нее прутья.

Мужик — тот, что посадил лозину, давно уже умер, а она все росла. Старший сын два раза срубал с нее сучья и топил ими. Лозина все росла. Обрубят ее кругом, сделают шишку, а она на весну выпустит опять сучья, хоть и тоньше, но вдвое больше прежних, как вихор у жеребенка.

И старший сын перестал хозяйничать, и деревню сселили, а лозина все росла на чистом поле. Чужие мужики ездили, рубили ее — она все росла. Грозой ударило в лозину; она справилась боковыми сучьями, и все росла и цвела. Один мужик хотел срубить ее на колоду, да бросил: она была дюже гнила. Лозина свалилась на бок и держалась только одним боком, а все росла, и все каждый год прилетали пчелы обирать с ее цветов поноску.

Собрались раз ребята рано весной стеречь лошадей под лозину. Показалось им холодно: они стали разводить огонь, набрали жнивья, чернобылу, хворосту. Один взлез

на лозину, с нее же наломал сучьев. Склали они все в дупло лозины и зажгли. Зашипела лозина, закипел в ней сок, пошел дым, и стал перебегать огонь; все нутро ее почернело. Сморщились молодые побеги, цветы завяли. Ребята угнали домой лошадей. Обгорелая лозина осталась одна в поле. Прилетел черный ворон, сел на нее и закричал: «Что, издохла, старая кочерга, давно пора было!»

МЫШЬ ПОД АМБАРОМ

(Басня)

Жила одна мышь под амбаром. В полу амбара была дырочка, и хлеб сыпался в дырочку. Мыши житье было хорошее, но она захотела похвастаться своим житьем. Прогрызла больше дыру и позвала других мышей к себе в гости.

«Идите,— говорит,— ко мне гулять. Я вас угощу. Корму на всех достанет». Когда она привела мышей, она увидала, что дыры совсем не было. Мужик приметил большую дыру в полу и заделал ее.

КАК ВОЛКИ УЧАТ СВОИХ ДЕТЕЙ

(Рассказ)

Я шел по дороге и сзади себя услыхал крик. Кричал мальчик-пастух. Он бежал полем и на кого-то показывал.

Я поглядел и увидал — по полю бегут два волка: один матерой, другой молодой. Молодой нес на спине зарезанного ягненка, а зубами держал его за ногу. Матерой волк бежал позади.

Когда я увидал волков, я вместе с пастухом побежал за ними, и мы стали кричать. На наш крик прибежали мужики с собаками.

Как только старый волк увидал собак и народ, он подбежал к молодому, выхватил у него ягненка, перекинул себе на спину, и оба волка побежали скорее и скрылись из глаз.

Тогда мальчик стал рассказывать, как было дело: из оврага выскочил большой волк, схватил ягненка, зарезал его и понес.

Навстречу выбежал волчонок и бросился к ягненку. Старый отдал нести ягненка молодому волку, а сам налегке побежал возле.

Только когда пришла беда, старый оставил ученье и сам взял ягненка.

ЗАЙЦЫ И ЛЯГУШКИ

(Басня)

Сошлись раз зайцы и стали плакаться на свою жизнь: «И от людей, и от собак, и от орлов, и от прочих зверей погибаем. Уж лучше раз умереть, чем в страхе жить и мучиться. Давайте утопимся!»

И поскакали зайцы на озеро топиться. Лягушки услыхали зайцев и забултыхали в воду. Один заяц и говорит:

«Стойте, ребята! Подождем топиться; вот лягушачье житье, видно, еще хуже нашего: они и нас боятся».

КАК ТЕТУШКА РАССКАЗЫВАЛА О ТОМ, КАК У НЕЕ БЫЛ РУЧНОЙ ВОРОБЕЙ — ЖИВЧИК

(Рассказ)

В нашем доме за ставнем окна воробей свил гнездо и положил пять яичек. Мы с сестрами смотрели, как воробей по соломинке и по перышку носил за ставень и вил там гнездышко. А потом, когда он положил туда яйца, мы очень обрадовались. Воробей не стал больше прилетать с перышками и соломой, а сел на яйца. Другой воробей — нам сказали, что один муж, а другой жена — приносил жене червей и кормил ее.

Через несколько дней мы услыхали из-за ставни писк и посмотрели, что сделалось в воробьином гнезде; в нем было пять крошечных голых птичек, без крыльев и без перьев; носики у них были желтые и мягкие, и головы большие.

Они показались нам очень некрасивы, и мы перестали на них радоваться, а только иногда смотрели на то, что они делали. Мать часто от них улетала за кормом, и ко-

гда она возвращалась, воробушки с писком открывали свои желтые клювики, и мать оделяла их кусочками червяков.

Через неделю маленькие воробьи подросли, покрылись пухом и стали красивее, и тогда мы опять стали часто на них смотреть. Мы пришли утром к ставню посмотреть наших воробьев и увидали, что старый воробей лежит мертвый подле ставня. Мы догадались, что воробей сел на ночь на ставень и заснул и что его раздавили, когда закрывали ставень.

Мы подняли старого воробья и бросили в траву. Маленькие пищали, высовывали свои головки и открывали клювики, но их некому было кормить.

Старшая сестра сказала: «Вот у них теперь нет матери, некому их кормить; давайте выкормим их!»

Мы обрадовались, взяли коробок, наклали в него хлопчатой бумаги, уложили в него гнездо с птичками и понесли к себе наверх. Потом мы нарыли червяков, намочили хлеб в молоке и стали кормить воробушков. Они ели хорошо, трясли головками, чистили клювики об стенки коробка и все были очень веселы.

Так мы их кормили весь день и очень на них радовались. На другое утро, когда мы посмотрели в коробок, мы увидали, что самый маленький воробушек лежит мертвый, а лапки его запутались в хлопчатую бумагу. Мы его выкинули и вынули всю хлопчатую бумагу, чтобы другой в ней не запутался, и положили в коробок травы и моху. Но к вечеру еще два воробья растопырили свои перышки и раскрыли рты, закрыли глаза и тоже померли.

Через два дня умер и четвертый воробушек, и остался только один. Нам сказали, что мы их окормили.

Сестра плакала о своих воробьях и последнего воробья стала кормить одна, а мы только смотрели. Последний — пятый воробушек, был веселый, здоровый и живой; мы называли его Живчиком.

Этот Живчик жил так долго, что уже стал летать и знать свою кличку.

Когда, бывало, сестра закричит: «Живчик, Живчик!», он прилетит, сядет ей на плечо, на голову или на руку, и она его кормит.

Потом он вырос и стал сам кормиться. Он жил у нас в горнице наверху, улетал иногда в окно, но всегда прилетал ночевать на свое место, в коробок.

Раз он утром никуда не полетел из своего коробка: перья у него стали мокрые, и он их растопырил, как и другие воробьи, когда они умирали. Сестра не отходила от Живчика, ходила за ним; но он ничего не ел и не пил.

Три дня он был болен и на четвертый умер. Когда мы увидели его мертвым, на спинке, с подкорюченными лапками, мы все три сестры стали так плакать, что мать прибежала наверх узнать, что случилось. Когда она вошла, она увидала на столе мертвого воробья и поняла наше горе. Сестра несколько дней не ела, не играла, а все плакала.

Живчика мы завернули в наши самые лучшие лоскутки, положили в деревянный ящичек и зарыли в саду, в ямке. Потом сделали над его могилкой бугорок и положили камушек.

ТРИ КАЛАЧА И ОДНА БАРАНКА

(Басня)

Одному мужику захотелось есть. Он купил калач и съел; ему все еще хотелось есть. Он купил другой калач и съел; ему все еще хотелось есть. Он купил третий калач и съел, и ему все еще хотелось есть. Потом он купил баранок и, когда съел одну, стал сыт. Тогда мужик ударил себя по голове и сказал:

«Экой я дурак! что ж я напрасно съел столько калачей? Мне бы надо сначала съесть одну баранку».

1000 ЗОЛОТЫХ

(Быль)

Богатый человек захотел отдать 1000 золотых бедным, но не знал, каким бедным дать эти деньги.

Он пришел к священнику и говорит: «Хочу дать 1000 золотых бедным, да не знаю, кому дать. Возьмите деньги и раздайте, кому знаете».

Священник сказал: «Деньги большие, я тоже не знаю, кому дать: может быть, я одному дам много, а другому мало. Скажите, каким бедным и по скольку дать ваших денег?»

Богатый сказал: «Если вы не знаете, кому дать деньги, то бог знает: кто первый бедный придет к вам, тому и отдайте деньги».

В том же приходе жил бедный человек. У него было много детей, а сам он был болен и не мог работать. Бедный человек читал раз псалтырь и прочел эти слова: *я был молод и состарелся и не видал праведного оставленного и детей его просящих хлеба.*

Бедный подумал: «Я вот оставлен богом! а я дурного ничего не сделал. Дай пойду к священнику, спрошу его, как так неправда сказана в Писании».

Он пошел к священнику.

Священник увидал его и сказал: «Этот бедный первый пришел ко мне», и отдал ему все 1000 золотых богатого человека.

ПЕТР I И МУЖИК

(Быль)

Наехал царь Петр на мужика в лесу. Мужик дрова рубит.

Царь и говорит: «Божья помощь, мужик!»

Мужик и говорит: «И то мне нужна божья помощь».

Царь спрашивает: «А велика ли у тебя семья?»

— У меня семьи два сына да две дочери.

— Ну не велико твое семейство. Куда ж ты деньги кладешь?

— А я деньги на три части кладу: во-первых — долг плачу, в-других — в долг даю, в-третьих — в воду мечу.

Царь подумал и не знает, что это значит, что старик и долг платит, и в долг дает, и в воду мечет.

А старик говорит: «Долг плачу — отца-мать кормлю; в долг даю — сыновей кормлю; а в воду мечу — дочерей рощу».

Царь и говорит: «Умная твоя голова, старичок. Теперь выведи меня из лесу в поле, я дороги не найду».

Мужик говорит: «Найдешь и сам дорогу: иди прямо, потом сверни вправо, а потом влево, потом опять вправо».

Царь и говорит: «Я этой грамоты не понимаю, ты сведи меня».

— Мне, сударь, водить некогда: нам в крестьянстве день дорого стоит.

— Ну, дорого стоит, так я заплачу.

— А заплатишь — пойдем.

Сели они на одноколку, поехали.

Стал доро́гой царь мужика спрашивать: «Далече ли ты, мужичок, бывал?»

— Кое-где бывал.

— А видал ли царя?

— Царя не видал, а надо бы посмотреть.

— Так вот, как выедем в поле — и увидишь царя.

— А как я его узнаю?

— Все без шапок будут, один царь в шапке.

Вот приехали они в поле. Увидал народ царя — все поснимали шапки. Мужик пялит глаза, а не ви́дит царя.

Вот он и спрашивает: «А где же царь?»

Говорит ему Петр Алексеевич: «Видишь, только мы двое в шапках — кто-нибудь из нас да царь».

БЕШЕНАЯ СОБАКА

(Быль)

Барин купил легавого щенка в городе и в рукаве шубы привез его в деревню. Барыня полюбила щенка и в горницах выхаживала его. Щенок вырос, и его назвали Дружком.

Он ходил на охоту с барином, караулил дом и играл с детьми.

Один раз в сад забежала собака. Собака эта бежала прямо по дорожке, хвост у ней был опущен, рот был открыт и изо рта текли слюни. Дети были в саду.

Барин увидал эту собаку и закричал:

— Дети! Бегите скорее домой,— бешеная собака!

Дети услыхали, что кричал отец, но не видали собаки и бежали ей прямо навстречу. Бешеная собака хотела броситься на одного из детей, но в это время Дружок кинулся на собаку и стал с ней грызться.

Дети убежали, но когда Дружок вернулся в дом, он визжал и на шее у него была кровь.

Через десять дней Дружок стал скучен, не пил, не ел и бросился грызть щенка. Дружка заперли в пустую горницу.

Дети не понимали, зачем заперли Дружка, и пошли потихоньку посмотреть собаку.

Они отперли дверь и стали кликать Дружка. Дружок чуть не сбил их с ног, выбежал на двор и лег в саду под кустом. Когда барыня увидала Дружка, она кликнула его, но Дружок не послушался, не замахал хвостом и не взглянул на нее. Глаза у него были мутные, изо рта текла слюна. Тогда барыня позвала мужа и сказала:

— Иди скорей! Кто-то выпустил Дружка, он совсем бешеный. Ради бога, сделай с ним что-нибудь.

Барин вынес ружье и подошел к Дружку. Он прицелился в него, но рука тряслась у него, когда он целился. Он выстрелил и не попал в голову, а в зад.

Собака завизжала и забилась.

Барин подошел ближе, чтобы рассмотреть, что с ним.

Весь зад у Дружка был в крови и обе задние ноги перебиты.

Дружок подполз к барину и стал лизать ему ногу. Барин затрясся, заплакал и убежал в дом.

Тогда кликнули охотника, и охотник из другого ружья до смерти убил собаку и унес ее.

ДВЕ ЛОШАДИ

(Басня)

Две лошади везли два воза. Передняя лошадь везла хорошо, а задняя останавливалась. На переднюю лошадь стали поклажу перекладывать с заднего воза; когда все переложили, задняя лошадь пошла налегке и сказала передней:

«Мучься и потей. Что больше будешь стараться, то больше тебя будут мучить».

Когда приехали на постоялый двор, хозяин и говорит:

«Что мне двух лошадей кормить, а на одной возить, лучше одной дам вволю корму, а ту зарежу: хоть шкуру возьму».

Так и сделал.

ЛЕВ И СОБАЧКА

(Быль)

В Лондоне показывали диких зверей и за смотренье брали деньгами или собаками и кошками на корм диким зверям.

Одному человеку захотелось поглядеть зверей: он ухватил на улице собачонку и принес ее в зверинец. Его пустили смотреть, а собачонку взяли и бросили в клетку ко льву на съеденье.

Собачка поджала хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошел к ней и понюхал ее.

Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком.

Лев тронул ее лапой и перевернул.

Собачка вскочила и стала перед львом на задние лапки.

Лев смотрел на собачку, поворачивал голову со стороны на сторону и не трогал ее.

Когда хозяин бросил льву мяса, лев оторвал кусок и оставил собачке.

Вечером, когда лев лег спать, собачка легла подле него и положила свою голову ему на лапу.

С тех пор собачка жила в одной клетке со львом, лев не трогал ее, ел корм, спал с ней вместе, а иногда играл с ней.

Один раз барин пришел в зверинец и узнал свою собачку; он сказал, что собачка его собственная, и попросил хозяина зверинца отдать ему. Хозяин хотел отдать, но как только стали звать собачку, чтобы взять ее из клетки, лев ощетинился и зарычал.

Так прожили лев и собачка целый год в одной клетке.

Через год собачка заболела и издохла. Лев перестал есть, а все нюхал, лизал собачку и трогал ее лапой.

Когда он понял, что она умерла, он вдруг вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по бокам, бросился на стену клетки и стал грызть засовы и пол.

Целый день он бился, метался в клетке и ревел, потом лег подле мертвой собачки и затих. Хозяин хотел унести мертвую собачку, но лев никого не подпускал к ней.

Хозяин думал, что лев забудет свое горе, если ему дать другую собачку, и пустил к нему в клетку живую

собачку; но лев тотчас разорвал ее на куски. Потом он обнял своими лапами мертвую собачку и так лежал пять дней.

На шестой день лев умер.

РОВНОЕ НАСЛЕДСТВО

(Басня)

У одного купца было два сына. Старший был любимец отца, и отец все свое наследство хотел отдать ему. Мать жалела меньшого сына и просила мужа не объявлять до времени сыновьям, как их разделят: она хотела как-нибудь сравнять двух сыновей. Купец ее послушал и не объявлял своего решения.

Один раз мать сидела у окна и плакала; к окну подошел странник и спросил, о чем она плачет?

Она сказала: «Как мне не плакать: оба сына мне равны, а отец хочет одному сыну все отдать, а другому ничего. Я просила мужа не объявлять своего решения сыновьям, пока я не придумаю, как помочь меньшому. Но денег у меня своих нет, и я не знаю, как помочь горю».

Странник сказал: «Твоему горю легко помочь; поди объяви сыновьям, что старшему достанется все богатство, а меньшому ничего, и у них будет поровну».

Меньшой сын, как узнал, что у него ничего не будет, ушел в чужие страны и выучился мастерствам и наукам, а старший жил при отце и ничему не учился, потому что знал, что будет богат.

Когда отец умер, старший ничего не умел делать, прожил все свое имение, а младший выучился наживать на чужой стороне и стал богат.

ТРИ ВОРА

(Быль)

Один мужик вел в город продавать осла и козу.

На козе был бубенчик.

Три вора увидали мужика, и один сказал: «Я украду козу, так что мужик и не заметит».

Другой вор сказал: «А я из рук у мужика украду осла».

Третий сказал: «И это не трудно, а я так все платье с мужика украду».

Первый вор подкрался к козе, снял с нее бубенчик и привесил к хвосту осла, а козу увел в поле.

Мужик на повороте оглянулся, увидал, что козы нет, стал искать.

Тогда к нему подошел второй вор и спросил, чего он ищет?

Мужик сказал, что у него украли козу. Второй вор сказал: «Я видел твою козу: вот сейчас только в этот лес пробежал человек с козою. Его можно поймать».

Мужик побежал догонять козу и попросил вора подержать осла. Второй вор увел осла.

Когда мужик вернулся из лесу и увидал, что и осла его нет, он заплакал и пошел по дороге.

На дороге, у пруда, увидал он — сидит человек и плачет. Мужик спросил, что с ним?

Человек сказал, что ему велели отнести в город мешок с золотом и что он сел отдохнуть у пруда, заснул и во сне столкнул мешок в воду.

Мужик спросил, отчего он не лезет доставать его?

Человек сказал: «Я боюсь воды и не умею плавать, но я дам 20 золотых тому, кто достанет мешок». Мужик обрадовался и подумал: «Мне бог дал счастье за то, что у меня украли козу и осла». Он разделся, полез в воду, но мешка с золотом не нашел; а когда он вылез из воды, его платья уже не было.

Это был третий вор: он украл и платье.

ОТЕЦ И СЫНОВЬЯ

(Басня)

Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии; они не слушались. Вот он велел принесть веник и говорит:

«Сломайте!»

Сколько они ни бились, не могли сломать. Тогда отец развязал веник и велел ломать по одному пруту.

Они легко переломали прутья поодиночке.

Отец и говорит:

«Так-то и вы: если в согласии жить будете, никто вас не одолеет; а если будете ссориться, да всё врозь — вас всякий легко погубит».

ОТЧЕГО БЫВАЕТ ВЕТЕР?

(Рассуждение)

Рыбы живут в воде, а люди в воздухе. Рыбам не слышно и не видно воды, пока сами рыбы не шевелятся или пока вода не шевелится. И нам также не слышно воздуха, пока мы не шевелимся или воздух не шевелится.

Но как только мы побежим, мы слышим воздух — нам дует в лицо; а иногда слышно, когда мы бежим, как воздух в ушах свистит. Когда же отворим дверь в теплую горницу, то всегда дует ветер *низом* со двора в горницу, а *верхом* дует из горницы на двор.

Когда кто-нибудь ходит по комнате или машет платьем, то мы говорим: «он ветер делает», а когда топят печку, всегда в нее дует ветер. Когда на дворе дует ветер, то он дует целые дни и ночи, иногда в одну сторону, иногда в другую. Это бывает оттого, что где-нибудь на земле воздух очень разогреется, а в другом месте остынет,— тогда и начинается ветер, и низом идет холодный дух, а верхом — теплый, так же как с надворья в избу. И до тех пор дует, пока не согреется там, где было холодно, и не остынет там, где было жарко.

ДЛЯ ЧЕГО ВЕТЕР?

(Рассуждение)

Свяжут крест из двух лучин и кругом креста обвяжут еще четыре лучины. На все наклеят бумаги. К одному концу привяжут мочальный хвост, а к другому привяжут длинную бечевку, и выйдет змей. Потом возьмут змей, разбегутся на ветер и пустят. Ветер подхватит змей, занесет его высоко в небо. И змей подрагивает, и гудит, и рвется, и поворачивается, и развевается мочальным хвостом.

Если бы не было ветра, нельзя бы было пускать змея.

Сделают из теса четыре крыла, утвердят их крестом в вал и приделают к валу шестерни и колеса с кулачьями, так чтобы, когда вал вертится, он бы цеплял за шестерни и колеса, а колеса бы вертели жернов. Потом крылья поставят против ветра: крылья начнут вертеться, станут шестерни и колеса цеплять друг за друга, и жернов станет вертеться на другом жернове. И тогда сыплют зерно промежду двух жерновов; зерно растирается, и высыпается в ковш мука.

Если бы ветра не было, нельзя бы было молоть зерно на ветряных мельницах.

Когда плывут на лодке и хотят плыть скорее, то возьмут, на середине лодки, вставят в дыру большой шест, к шесту этому приделана поперек перекладина. К этой перекладине прикрепят холстинный парус, к низу паруса привяжут веревку и держат ее в руках. Потом поставят паруса против ветра. И тогда ветер надует парус так крепко, что лодка нагибается набок, веревка рвется из рук, и лодка поплывет по ветру так скоро, что под носом лодки забурчит вода, и берега точно бегут назад мимо лодки.

Если бы не было ветра, нельзя бы было плавать с парусом.

Там, где люди живут, бывает дурной дух; если бы не было ветра, дух этот так и оставался бы. А придет ветер, разгонит дурной дух и принесет из лесов и с полей хороший, чистый воздух. Если бы не было ветра, люди бы надышали и испортили воздух. Воздух все бы стоял на месте, и людям надо бы уходить из того места, где они надышали.

Когда дикие звери ходят по лесам и полям, то они всегда ходят на ветер, и слышат ушами, и чуют носом то, что впереди их. Если бы не было ветра, они бы не знали, куда им идти.

Почти все травы, кусты и деревья такие, что для того, чтобы на траве, кусте или дереве завязалось семя, нужно, чтоб с одного цветка пыль перелетала на другой цветок. Цветки бывают далеко друг от друга, и им нельзя пересылать свою пыль с одного на другой.

Когда огурцы растут в парниках, где ветра нет, тогда люди сами срывают один цветок и накладывают на другой, чтобы цветовая пыль попала на плодовой цветок и

была бы *завязь*. Пчелы и другие насекомые иногда переносят на лапках пыль с цветка на цветок, но больше всего пыль эту переносит ветер. Если бы не было ветра, половина растений была бы без семени.

В теплое время над водой поднимается пар. Пар этот поднимается выше, и когда остынет наверху, то падает вниз каплями дождя.

Над землей поднимается пар только там, где есть вода,— над ручьями, над болотами, над прудами и реками, больше всего над морем. Если бы ветру не было, пары не ходили бы, а собирались бы в тучи над водой и падали бы опять там, где поднялись. Над ручьем, над болотом, над рекой, над морем был бы дождь, а на земле, на полях и лесах дождя бы не было. Ветер разносит тучи и поливает землю. Если бы ветра не было, то где вода, там бы было больше воды, а земля вся бы пересохла.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ ГРУШИ

(Басня)

Один барин послал слугу за грушами и сказал ему: «Купи мне самых хороших». Слуга пришел в лавку и спросил груш. Купец подал ему, но слуга сказал:

«Нет, дай мне самых лучших».

Купец сказал:

«Отведай одну, ты увидишь, что они хороши».

«Как я узнаю,— сказал слуга,—что они все хороши,— если отведаю только одну?»

Он откусил понемногу от каждой груши и принес их барину. Тогда барин прогнал его.

ВОЛГА И ВАЗУЗА

(Сказка)

Были две сестры: Волга и Вазуза. Они стали спорить, кто из них умнее и кто лучше проживет.

Волга сказала: «Зачем нам спорить,— мы обе на возрасте. Давай выйдем завтра поутру из дому и пойдем

каждая своей дорогой; тогда увидим, кто из двух лучше пройдет и скорее придет в Хвалынское царство».

Вазуза согласилась, но обманула Волгу. Только что Волга заснула, Вазуза ночью побежала прямой дорогой в Хвалынское царство.

Когда Волга встала и увидала, что сестра ее ушла, она ни тихо, ни скоро пошла своей дорогой и догнала Вазузу.

Вазуза испугалась, чтоб Волга не наказала ее, назвалась меньшой сестрой и попросила Волгу довести ее до Хвалынского царства. Волга простила сестру и взяла с собой.

Река Волга начинается в Осташковском уезде из болот в деревне Волго. Там есть небольшой колодезь, из него течет Волга. А река Вазуза начинается в горах. Вазуза течет прямо, а Волга поворачивает.

Вазуза весной раньше ломает лед и проходит, а Волга позднее. Но когда обе реки сходятся, в Волге уже 30 саженей ширины, а Вазуза еще узкая и маленькая речка. Волга проходит через всю Россию на три тысячи сто шестьдесят верст и впадает в Хвалынское (Каспийское) море. И ширины в ней в полую воду бывает до двенадцати верст.

ТЕЛЕНОК НА ЛЬДУ

(Басня)

Теленок скакал по закуте и выучился делать круги и повороты. Когда пришла зима, теленка выпустили с другою скотиною на лед к водопою. Все коровы осторожно подошли к корыту, а теленок разбежался на лед, загнул хвост, приложил уши и стал кружиться. На первом же кругу нога его раскатилась, и он ударился головою о корыто.

Он заревел:

«Несчастный я! По колено в соломе скакал — не падал, а тут на гладком поскользнулся».

Старая корова сказала:

«Кабы ты был не теленок, ты бы знал, что, где легче скакать, там труднее держаться».

ЗОЛОТОВОЛОСАЯ ЦАРЕВНА

(Сказка)

В Индии была одна царевна с золотыми волосами; у нее была злая мачеха. Мачеха возненавидела золотоволосую падчерицу и уговорила царя сослать ее в пустыню. Золотоволосую свели далеко в пустыню и бросили. На пятый день золотоволосая царевна вернулась верхом на льве назад к своему отцу.

Тогда мачеха уговорила царя сослать золотоволосую падчерицу в дикие горы, где жили только коршуны. Коршуны на четвертый день принесли ее назад.

Тогда мачеха сослала царевну на остров среди моря. Рыбаки увидали золотоволосую царевну и на шестой день привезли ее назад к царю.

Тогда мачеха велела на дворе вырыть глубокий колодезь, опустила туда золотоволосую царевну и засыпала землей.

Через шесть дней из того места, куда зарыли царевну, засветился свет, и когда царь велел раскопать землю, там нашли золотоволосую царевну.

Тогда мачеха велела выдолбить колоду тутового[1] дерева, заделала туда царевну и пустила ее по морю.

На девятый день море принесло золотоволосую царевну в Японскую землю, и там ее японцы вынули из колоды. Она была жива.

Но как только она вышла на берег, она умерла, и из нее сделался шелковичный червь.

Шелковичный червь всполз на тутовое дерево и стал есть тутовый лист. Когда он повырос, он вдруг сделался мертвый: *не ел и не шевелился.*

На пятый день, в тот самый срок, как царевну принес лев из пустыни,— червь ожил и опять стал есть лист.

Когда червь опять повырос, он опять умер, и на четвертый день, в тот самый срок, как коршуны принесли царевну, червь ожил и опять стал есть.

И опять умер, и в тот самый срок, как царевна вернулась на лодке, опять ожил.

И опять умер в четвертый раз и ожил на шестой день, когда царевну выкопали из колодца.

[1] На тутовом дереве растут ягоды — похожи на малину, а лист похож на березовый; этим листом кормят шелковичных червей. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

И опять в последний раз умер, и на девятый день, в тот самый срок, как царевна приплыла в Японию, ожил в золотой, шелковой куколке. Из куколки вылетела бабочка и положила яички, а из яичек вывелись черви и повелись в Японии. Черви пять раз засыпают и пять раз оживают.

Японцы разводят много червей, делают много шелка; и первый сон червя называется *сном льва,* второй — *сном коршуна,* третий — *сном лодки,* четвертый — *сном двора,* и пятый — *сном колоды.*

СОКОЛ И ПЕТУХ

(Басня)

Сокол привык к хозяину и ходил на руку, когда его кликали; петух бегал от хозяина и кричал, когда к нему подходили. Сокол и говорит петуху:

«В вас, петухах, нет благодарности; видна холопская порода. Вы, только когда голодны, идете к хозяевам. То ли дело мы, дикая птица: в нас и силы много, и летать мы можем быстрее всех; а мы не бегаем от людей, а сами еще ходим к ним на руку, когда нас кличут. Мы помним, что они кормят нас».

Петух и говорит:

«Вы не бегаете от людей оттого, что никогда не видали жареного сокола, а мы то и дело видим жареных петухов».

ТЕПЛО

(Рассуждение)

I

Отчего на чугунке кладут рельсы так, чтобы концы не сходились с концами?

Оттого, что зимой железо от холода сжимается, а летом от жару растягивается. Если бы зимой вплотную сомкнуть рельсы концы с концами, они бы летом растянулись, уперлись бы друг в друга и поднялись.

От жару все раздается, от холода все сжимается.

Если винт не входит в гайку, то погреть гайку, и винт взойдет. А если винт слаб, то нагреть винт, и он будет туг.

Отчего стакан лопается, если нальешь в него кипяток?

Оттого, что то место, где кипяток, разогревается, растягивается, а то место, где нет кипятка, остается по-прежнему: внизу тянет стакан врозь, а вверху не пускает, и он лопается.

ТЕПЛО

II

Отчего, когда в оттепель идет снег, он тает на руке, а на шубе остается?

Оттого, что тепло лица и руки переходит в снег и распускает его; от этого то место лица, где растаял снег, делается холодно.

Отчего, если подержать жестяную кружку с холодной водой в ладонях, вода согреется, а ладони охолодеют?

Оттого, что тепло из рук перейдет в жесть, а потом в воду.

Если держать кружку рукавицами, отчего она не скоро согревается?

Оттого, что рукавицы не позволяют теплу из руки перейти в воду, а жесть пропускает тепло из рук в воду. Железо и жесть пропускают тепло и холод, а шуба и дерево не пропускают. От этого железо, жесть, медь и всякий металл [1] разогреваются на солнце сильнее дерева, шерсти, бумаги и скорее остывают. От этого-то в холода одеваются в меха, шерсть и во все, что не пропускает тепла.

Для чего закрывают квашню шубой, а не заслонкой?

Для того, что шуба не пропустит тепла и хлебы (квашни) не остынут, а заслонка пропустит тепло наружу и хлебы остынут.

Отчего под щепой и соломой снег не тает, а лежит до петровок?

---

[1] Металлы: золото, серебро, медь, железо, олово, ртуть и другие. (*Примеч. Л. Н. Толстого.*)

Отчего лед лучше держится в погребах под соломенной крышей?

Отчего, когда хотят высушить доски, то кладут их под железную, а не под соломенную крышу?

Для чего на покосе и жнитве мужики, чтобы не согрелась вода, обертывают кувшины полотенцем?

ТЕПЛО

III

Отчего, когда ветрено без мороза, то зябнешь больше, чем в мороз без ветра?

Оттого, что тепло из тела переходит в воздух и если тихо, то воздух вокруг тела нагревается и стоит теплый. Но когда дует ветер, он относит нагретый воздух и приносит холодный. Опять из тела выходит тепло и нагревает воздух вокруг него, и опять ветер относит теплый воздух. Когда выйдет много тепла из тела, тогда и зябнешь.

Отчего, когда горяч чай в чашке, на него дуют?

ШАКАЛЫ И СЛОН

(Басня)

Шакалы[1] поели всю падаль в лесу, и им нечего стало есть. Вот старый шакал и придумал, как им прокормиться. Он пошел к слону и говорит:

«Был у нас царь, да избаловался: приказывал нам делать такие дела, каких нельзя исполнить; хотим мы другого царя выбрать — и послал меня наш народ просить тебя в цари. У нас житье хорошее: что велишь, все то будем делать и почитать тебя во всем будем. Пойдем в наше царство». Слон согласился и пошел за шакалом. Шакал привел его в болото. Когда слон завяз, шакал и говорит:

«Теперь приказывай: что велишь, то и будем делать».

Слон сказал:

«Я приказываю вытащить меня отсюда».

---

[1] Звери, похожие на маленьких волков. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

Шакал рассмеялся и говорит: «Хватайся хоботом мне за хвост — сейчас вытащу».

Слон говорит:

«Разве можно меня хвостом вытащить?» А шакал и говорит: «Так зачем же ты приказываешь, чего нельзя сделать? Мы и первого царя за то прогнали, что он приказывал то, чего нельзя делать».

Когда слон издох в болоте, шакалы пришли и съели его.

МАГНИТ

(Описание)

В старину был пастух; звали его Магнис. Пропала у Магниса овца. Он пошел в горы искать. Пришел на одно место, где одни голые камни. Он пошел по этим камням и чувствует, что сапоги на нем прилипают к этим камням. Он потрогал рукой — камни сухие и к рукам не липнут. Пошел опять — опять сапоги прилипают. Он сел, разулся, взял сапог в руки и стал трогать им камни.

Тронет кожей и подошвой — не прилипают, а как тронет гвоздями, так прилипнет.

Была у Магниса палка с железным наконечником. Он тронул камень деревом — не прилипает; тронул железом — прилипло так, что отрывать надо.

Магнис рассмотрел камень,— видит, что похож на железо, и принес куски камня домой. С тех пор узнали этот камень и прозвали его магнитом.

Магнит находят в земле с железной рудой. Там, где есть магнит в руде, и железо самое лучшее. Из себя магнит похож на железо.

Если положить кусок железа на магнит, то и железо станет притягивать другое железо. А если положить стальную иголку на магнит да подержать подольше, то иголка сделается магнитом и станет к себе притягивать железо. Если два магнита сводить концы с концами, то одни концы будут отворачиваться друг от друга, а другие будут сцепляться.

Если одну магнитную палочку разрубить пополам, то опять каждая половинка будет с одной стороны цепляться, а с другой отворачиваться. И еще разруби — то

же будет, и еще руби сколько хочешь — все то же будет: одинакие концы будут отворачиваться, разные цепляться, как будто с одного конца магнит выпирает, а с другого втягивает. И как его ни разломи, все с одного конца он будет выпирать, а с другого втягивать. Все равно, как еловую шишку, где ни разломи, все будет с одного конца пупом, а с другого чашечкой. С того ли, с другого ли конца,— чашечка с пупом сойдется, а пуп с пупом и чашечка с чашечкой не сойдутся.

Если намагнитить иголку (подержать подольше с магнитом) и насадить ее серединкой на шпенек, так, чтобы она ходила вольно на шпеньке, то как хочешь верти магнитную иголку, как пустишь, она станет одним концом на полдни (юг), другим — на полночь (север).

Когда не знали магнита, по морю не плавали далеко. Как выйдут далеко в море, что земли не видать, то только по солнцу и по звездам и знали, куда плыть. А если пасмурно, не видать солнца и звезд, то и не знают сами, куда плыть. А корабль несет ветром и занесет на камни и разобьет.

Пока не знали магнита, не плавали по морям вдаль от берега; а когда узнали магнит, то сделали иголку магнитную на шпеньке, чтоб она вольно ходила. По этой иголке и стали узнавать, в какую сторону плывут. С магнитной иголкой стали ездить дальше от берегов и с тех пор много новых морей узнали.

На кораблях всегда бывает магнитная иголка (компас) и есть мерная веревка с узлами на конце корабля. И веревка приделана так, что она разматывается и по ней видно, сколько корабль проехал.

Так что, когда плывут на корабле, всегда знают, на каком теперь месте корабль, далеко ли от берега и в какую сторону.

ЦАПЛЯ, РЫБЫ И РАК

(Басня)

Жила цапля у пруда и состарелась; не стало уж в ней силы ловить рыбу. Стала она придумывать, как бы ей хитростью прожить. Она и говорит рыбам: «А вы, рыбы, не знаете, что на вас беда собирается; слышала я

от людей — хотят они пруд спустить и вас всех повыловить. Знаю я, тут за горой хорош прудок есть. Я бы помогла, да стара стала: тяжело летать». Рыбы стали просить цаплю, чтоб помогла.

Цапля и говорит:

«Пожалуй, постараюсь для вас, перенесу вас, только вдруг не могу, а поодиночке».

Вот рыбы и рады; все просят: «Меня отнеси, меня отнеси!»

И принялась цапля носить их: возьмет, вынесет в поле, да и съест. И переела она так много рыб.

Жил в пруду старый рак. Как стала цапля выносить рыбу, он смекнул дело и говорит:

«Ну, теперь, цапля, и меня снеси на новоселье».

Цапля взяла рака и понесла. Как вылетела она на поле, хотела сбросить рака. Но рак увидал рыбьи косточки на поле, стиснул клещами цаплю за шею и удавил ее, а сам приполз назад к пруду и рассказал рыбам.

КАК ДЯДЯ РАССКАЗЫВАЛ ПРО ТО, КАК ОН ЕЗДИЛ ВЕРХОМ

(Рассказ)

У нас был старый старик, Пимен Тимофеич. Ему было 90 лет. Он жил у своего внука без дела. Спина у него была согнутая, он ходил с палкой и тихо передвигал ногами. Зубов у него совсем не было, лицо было сморщенное. Нижняя губа его тряслась; когда он ходил и когда говорил, он шлепал губами, и нельзя было понять, что он говорит.

Нас было четыре брата, и все мы любили ездить верхом. Но смирных лошадей у нас для езды не было. Только на одной старой лошади нам позволяли ездить: эту лошадь звали Воронок.

Один раз матушка позволила нам ездить верхом, и мы все пошли в конюшню с дядькой. Кучер оседлал нам Воронка, и первый поехал старший брат. Он долго ездил; ездил на гумно и кругом сада, и когда он подъезжал назад, мы закричали: «Ну, теперь проскачи!»

Старший брат стал бить Воронка ногами и хлыстом, и Воронок проскакал мимо нас.

После старшего сел другой брат, и он ездил долго и тоже хлыстом разогнал Воронка и проскакал из-под горы. Он еще хотел ездить, но третий брат просил, чтобы он поскорее пустил его. Третий брат проехал и на гумно, и вокруг сада, да еще и по деревне, и шибко проскакал из-под горы к конюшне. Когда он подъехал к нам, Воронок сопел, а шея и лопатки потемнели у него от пота.

Когда пришел мой черед, я хотел удивить братьев и показать им, как я хорошо езжу,—стал погонять Воронка изо всех сил, но Воронок не хотел идти от конюшни. И сколько я ни колотил его, он не хотел скакать, а шел шагом и то все заворачивал назад. Я злился на лошадь и изо всех сил бил ее хлыстом и ногами.

Я старался бить ее в те места, где ей больнее, сломал хлыст и остатком хлыста стал бить по голове. Но Воронок все не хотел скакать. Тогда я поворотил назад, подъехал к дядьке и попросил хлыстика покрепче. Но дядька сказал мне:

«Будет вам ездить, сударь, слезайте. Что лошадь мучить?»

Я обиделся и сказал: «Как же, я совсем не ездил? Посмотри, как я сейчас проскачу! Дай, пожалуйста, мне хлыст покрепче. Я его разожгу».

Тогда дядька покачал головой и сказал:

«Ах, сударь, жалости в вас нет. Что его разжигать? Ведь ему 20 лет. Лошадь измучена, насилу дышит, да и стара. Ведь она такая старая! Все равно как Пимен Тимофеич. Вы бы сели на Тимофеича, да так-то чрез силу погоняли бы его хлыстом. Что же, вам не жалко бы было?»

Я вспомнил про Пимена и послушал дядьки. Я слез с лошади, и, когда я посмотрел, как она носила потными боками, тяжело дышала ноздрями и помахивала облезшим хвостиком, я понял, что лошади трудно было. А то я думал, что ей было так же весело, как мне. Мне так жалко стало Воронка, что я стал целовать его в потную шею и просить у него прощенья за то, что я его бил.

С тех пор я вырос большой и всегда жалею лошадей и всегда вспоминаю Воронка и Пимена Тимофеича, когда вижу, что мучают лошадей.

ЕЖ И ЗАЯЦ

(Басня)

Повстречал заяц ежа и говорит:

«Всем бы ты хорош, еж, только ноги у тебя кривые, заплетаются».

Еж рассердился и говорит:

«Ты что ж смеешься; мои кривые ноги скорее твоих прямых бегают. Вот дай только схожу домой, а потом давай побежим наперегонку!»

Еж пошел домой и говорит жене: «Я с зайцем поспорил: хотим бежать наперегонку!»

Ежова жена и говорит: «Ты, видно, с ума сошел! Где тебе с зайцем бежать? У него ноги быстрые, а у тебя кривые и тупые».

А еж говорит: «У него ноги быстрые, а у меня ум быстрый. Только ты делай, что я велю. Пойдем в поле».

Вот пришли они на вспаханное поле к зайцу; еж и говорит жене:

«Спрячься ты на этом конце борозды, а мы с зайцем побежим с другого конца; как он разбежится, я вернусь назад; а как прибежит к твоему концу, ты выходи и скажи: а я уже давно жду. Он тебя от меня не узнает — подумает, что это я».

Ежова жена спряталась в борозде, а еж с зайцем побежали с другого конца.

Как заяц разбежался, еж вернулся назад и спрятался в борозду. Заяц прискакал на другой конец борозды: глядь! — а ежова жена уже там сидит. Она увидала зайца и говорит ему: «А я уже давно жду!»

Заяц не узнал ежову жену от ежа и думает: «Что за чудо! Как это он меня обогнал?»

«Ну,— говорит,— давай еще раз побежим!»

«Давай!»

Заяц пустился назад, прибежал на другой конец: глядь! — а еж уже там, да и говорит: «Э, брат, ты только теперь, а я уже давно тут».

«Что за чудо! — думает заяц,— уж как я шибко скакал, а все он обогнал меня. Ну, так побежим еще раз, теперь уж не обгонишь».

«Побежим!»

Поскакал заяц что было духу: глядь! — еж впереди сидит и дожидается.

Итак, заяц до тех пор скакал из конца в конец, что из сил выбился.

Заяц покорился и сказал, что вперед никогда не будет спорить.

ДВА БРАТА

(Сказка)

Два брата пошли вместе путешествовать. В полдень они легли отдохнуть в лесу. Когда они проснулись, то увидали — подле них лежит камень и на камне что-то написано. Они стали разбирать и прочли:

«Кто найдет этот камень, тот пускай идет прямо в лес на восход солнца. В лесу придет река: пускай плывет через эту реку на другую сторону. Увидишь медведицу с медвежатами: отними медвежат у медведицы и беги без оглядки прямо в гору. На горе увидишь дом, и в доме том найдешь счастие».

Братья прочли, что было написано, и меньшой сказал: «Давай пойдем вместе. Может быть, мы переплывем эту реку, донесем медвежат до дому и вместе найдем счастие».

Тогда старший сказал: «Я не пойду в лес за медвежатами и тебе не советую. Первое дело: никто не знает — правда ли написана на этом камне; может быть, все это написано на смех. Да может быть, мы и не так разобрали. Второе: если и правда написана — пойдем мы в лес, придет ночь, мы не попадем на реку и заблудимся. Да если и найдем реку, как мы переплывем ее? Может быть, она быстра и широка? Третье: если и переплывем реку — разве легкое дело отнять у медведицы медвежат: она нас задерет, и мы вместо счастия пропадем ни за что. Четвертое дело: если нам и удастся унести медвежат — мы не добежим без отдыха в гору. Главное же дело, не сказано: *какое счастие мы найдем в этом доме? Может быть, нас там ждет такое счастие, какого нам вовсе не нужно».*

А меньшой сказал: «По-моему, не так. Напрасно этого писать на камне не стали бы. И все написано ясно. Первое дело: нам беды не будет, если и попытаемся. Второе дело: если мы не пойдем, кто-нибудь другой прочтет надпись на камне и найдет счастье, а мы останемся ни

при чем. Третье дело: не потрудиться, да не поработать, ничто в свете не радует. Четвертое: не хочу я, чтоб подумали, что я чего-нибудь да побоялся».

Тогда старший сказал: «И пословица говорит: *искать большого счастия — малое потерять;* да еще: *не сули журавля в небе, а дай синицу в руки».*

А меньшой сказал: «А я слыхал — *волков бояться, в лес не ходить;* да еще: *под лежачий камень вода не потечет.* По мне, надо идти».

Меньшой брат пошел, а старший остался.

Как только меньшой брат вошел в лес, он напал на реку, переплыл ее и тут же на берегу увидал медведицу. Она спала. Он ухватил медвежат и побежал без оглядки на гору. Только что добежал до верху — выходит ему навстречу народ, подвезли ему карету, повезли в город и сделали царем.

Он царствовал пять лет. На 6-й год пришел на него войной другой царь, сильнее его; завоевал город и прогнал его. Тогда меньшой брат пошел опять странствовать и пришел к старшему брату.

Старший брат жил в деревне ни богато, ни бедно. Братья обрадовались друг другу и стали рассказывать про свою жизнь.

Старший брат и говорит: «Вот и вышла моя правда: я все время жил тихо и хорошо, а ты хошь и был царем, зато много горя видел».

А меньшой сказал: «Я не тужу, что пошел тогда в лес на гору; хоть мне и плохо теперь, зато есть чем помянуть мою жизнь, а тебе и помянуть-то нечем».

ВОДЯНОЙ И ЖЕМЧУЖИНА

(Басня)

Один человек ехал на лодке и уронил драгоценный жемчуг в море. Человек вернулся к берегу, взял ведро и стал черпать воду и выливать на землю. Он черпал и выливал три дня без устали.

На четвертый день вышел из моря водяной и спросил:

«Зачем ты черпаешь?»

Человек говорит:

«Я черпаю затем, что уронил жемчуг».

Водяной спросил:
«А скоро ли ты перестанешь?»
Человек говорит:
«Когда высушу море, тогда перестану».
Тогда водяной вернулся в море, принес тот самый жемчуг и отдал человеку.

УЖ

(Сказка)

У одной женщины была дочь Маша. Маша пошла с подругами купаться. Девочки сняли рубашки, положили на берег и попрыгали в воду.

Из воды выполз большой уж и, свернувшись, лег на Машину рубашку. Девочки вылезли из воды, надели свои рубашки и побежали домой. Когда Маша подошла к своей рубашке и увидала, что на ней лежит ужак, она взяла палку и хотела согнать его; но уж поднял голову и засипел человечьим голосом:

«Маша, Маша, обещай за меня замуж».

Маша заплакала и сказала: «Только отдай мне рубашку, а я все сделаю».

«Пойдешь ли замуж?»

Маша сказала: «Пойду». И уж сполз с рубашки и ушел в воду.

Маша надела рубашку и побежала домой. Дома она сказала матери: «Матушка, ужак лег на мою рубашку и сказал: иди за меня замуж, а то не отдам рубашки. Я ему обещала».

Мать посмеялась и сказала: «Это тебе приснилось».

Через неделю целое стадо ужей приползло к Машиному дому.

Маша увидала ужей, испугалась и сказала: «Матушка, за мной ужи приползли».

Мать не поверила, но как увидала, сама испугалась и заперла сени и дверь в избу. Ужи проползли под ворота и вползли в сени, но не могли пройти в избу. Тогда они выползли назад, все вместе свернулись клубком и бросились в окно. Они разбили стекло, упали на пол в избу и поползли по лавкам, столам и на печку. Маша забилась в угол на печи, но ужи нашли ее, стащили оттуда и повели к воде.

Мать плакала и бежала за ними, но не догнала. Ужи вместе с Машей бросились в воду.

Мать плакала о дочери и думала, что она умерла.

Один раз мать сидела у окна и смотрела на улицу. Вдруг она увидала, что к ней идет ее Маша и ведет за руку маленького мальчика, а на руках несет девочку.

Мать обрадовалась и стала целовать Машу и спрашивать ее, где она была и чьи это дети? Маша сказала, что это ее дети, что уж взял ее замуж и что она живет с ним в водяном царстве.

Мать спросила дочь, хорошо ли ей жить в водяном царстве, и дочь сказала, что лучше, чем на земле.

Мать просила Машу, чтоб она осталась с нею, но Маша не согласилась. Она сказала, что обещала мужу вернуться.

Тогда мать спросила дочь:

«А как же ты домой пойдешь?»

«Пойду, покличу: «Осип, Осип, выйди сюда и возьми меня», он и выйдет на берег и возьмет меня».

Мать сказала тогда Маше: «Ну, хорошо, только переночуй у меня».

Маша легла и заснула, а мать взяла топор и пошла к воде.

Она пришла к воде и стала звать: «Осип, Осип, выйди сюда».

Уж выплыл на берег. Тогда мать ударила его топором и отрубила ему голову. Вода сделалась красною от крови.

Мать пришла домой, а дочь проснулась и говорит: «Я пойду домой, матушка; мне скучно стало», и она пошла.

Маша взяла девочку на руки, а мальчика повела за руку.

Когда они пришли к воде, она стала кликать: «Осип, Осип, выйди ко мне». Но никто не выходил.

Тогда она посмотрела на воду и увидала, что вода красная и ужовая голова плавает по ней.

Тогда Маша поцеловала дочь и сына и сказала им:

«Нет у вас батюшки, не будет у вас и матушки. Ты, дочка, будь птичкой ласточкой, летай над водой; ты, сынок, будь соловейчиком, распевай по зарям; а я буду кукушечкой, буду куковать по убитому по своему мужу».

И они все разлетелись в разные стороны.

ВОРОБЕЙ И ЛАСТОЧКИ

(Рассказ)

Раз я стоял на дворе и смотрел на гнездо ласточек под крышей. Обе ласточки при мне улетели, и гнездо осталось пустое.

В то время, когда они были в отлучке, с крыши слетел воробей, прыгнул на гнездо, оглянулся, взмахнул крылышками и юркнул в гнездо; потом высунул оттуда свою головку и зачирикал.

Скоро после того прилетела к гнезду ласточка. Она сунулась в гнездо, но, как только увидала гостя, запищала, побилась крыльями на месте и улетела.

Воробей сидел и чирикал.

Вдруг прилетел табунок ласточек: все ласточки подлетали к гнезду — как будто для того, чтоб посмотреть на воробья, и опять улетали.

Воробей не робел, поворачивал голову и чирикал.

Ласточки опять подлетали к гнезду, что-то делали и опять улетали.

Ласточки недаром подлетали: они приносили каждая в клювике грязь и понемногу замазывали отверстие гнезда.

Опять улетали и опять прилетали ласточки, и всё больше и больше замазывали гнездо, и отверстие становилось все теснее и теснее.

Сначала видна была шея воробья, потом уже одна головка, потом носик, а потом и ничего не стало видно; ласточки совсем замазали его в гнезде, улетели и со свистом стали кружиться вокруг дома.

КАМБИЗ И ПСАМЕНИТ

(История)

Когда царь персидский Камбиз завоевал Египет и полонил царя египетского Псаменита, он велел вывесть на площадь царя Псаменита с другими египтянами и велел вывести на площадь две тысячи человек, а с ними вместе Псаменитову дочь, приказал одеть ее в лохмотья и выслать с ведрами за водой; вместе с нею он послал в такой же одежде и дочерей самых знатных египтян. Ко-

гда девицы с воем и плачем прошли мимо отцов, отцы заплакали, глядя на дочерей. Один только Псаменит не заплакал, а только потупился.

Когда девицы прошли, Камбиз выслал сына Псаменита с другими египтянами. У всех их вокруг шеи были обвязаны веревки, а во рту были удила. Их вели убивать.

Псаменит видел это и понял, что сына ведут на смерть. Но так же, как и при виде дочери, когда другие отцы плакали, глядя на своих детей, он только потупился.

Потом прошел мимо Псаменита прежний товарищ его и родственник.

Он прежде был богат, а теперь, как нищий, просил милостыню по войску. Как только Псаменит увидал его, он назвал его по имени, ударил себя по голове и зарыдал. Камбиз удивился тому, что́ Псаменит сделал, и послал спросить его так:

«Псаменит! Господин твой Камбиз спрашивает: отчего, когда дочь твою осрамили и сына вели на смерть, ты не плакал, а нищего, и вовсе не родного, так пожалел?»

Псаменит отвечал:

«Камбиз! Мое собственное горе так велико, что о нем и плакать нельзя; а товарища мне жалко стало за то, что он в старости из богатства попал в нищету».

Был при этом другой пленный царь — Крез. Когда он услыхал эти слова, ему больнее показалось свое горе, и он заплакал — и все персы, что тут были, все заплакали.

И на самого Камбиза нашла жалость, и он велел вернуть назад Псаменитова сына, а самого Псаменита привесть к себе. Но сына не застали живым — он уже был убит, а самого Псаменита привели к Камбизу, и Камбиз помиловал его.

АКУЛА

(Рассказ)

Наш корабль стоял на якоре у берега Африки. День был прекрасный, с моря дул свежий ветер; но к вечеру погода изменилась: стало душно и точно из топленной печки несло на нас горячим воздухом с пустыни Сахары.

Перед закатом солнца капитан вышел на палубу, крикнул: «Купаться!» — и в одну минуту матросы попрыгали в воду, спустили в воду парус, привязали его и в парусе устроили купальню.

На корабле с нами было два мальчика. Мальчики первые попрыгали в воду, но им тесно было в парусе, они вздумали плавать наперегонки в открытом море.

Оба, как ящерицы, вытягивались в воде и что было силы поплыли к тому месту, где был бочонок над якорем.

Один мальчик сначала перегнал товарища, но потом стал отставать. Отец мальчика, старый артиллерист, стоял на палубе и любовался на своего сынишку. Когда сын стал отставать, отец крикнул ему: «Не выдавай! понатужься!»

Вдруг с палубы кто-то крикнул: «Акула!» — и все мы увидали в воде спину морского чудовища.

Акула плыла прямо на мальчиков.

— Назад! назад! вернитесь! акула! — закричал артиллерист. Но ребята не слыхали его, плыли дальше, смеялись и кричали еще веселее и громче прежнего.

Артиллерист, бледный как полотно, не шевелясь, смотрел на детей.

Матросы спустили лодку, бросились в нее и, сгибая весла, понеслись что было силы к мальчикам; но они были еще далеко от них, когда акула уже была не дальше 20-ти шагов.

Мальчики сначала не слыхали того, что́ им кричали, и не видали акулы; но потом один из них оглянулся, и мы все услыхали пронзительный визг, и мальчики поплыли в разные стороны.

Визг этот как будто разбудил артиллериста. Он сорвался с места и побежал к пушкам. Он повернул хобот, прилег к пушке, прицелился и взял фитиль.

Мы все, сколько нас ни было на корабле, замерли от страха и ждали, что будет.

Раздался выстрел, и мы увидали, что артиллерист упал подле пушки и закрыл лицо руками. Что сделалось с акулой и с мальчиками, мы не видали, потому что на минуту дым застлал нам глаза.

Но когда дым разошелся над водою, со всех сторон послышался сначала тихий ропот, потом ропот этот стал

сильнее, и, наконец, со всех сторон раздался громкий, радостный крик.

Старый артиллерист открыл лицо, поднялся и посмотрел на море.

По волнам колыхалось желтое брюхо мертвой акулы. В несколько минут лодка подплыла к мальчикам и привезла их на корабль.

ОТЧЕГО ПОТЕЮТ ОКНА И БЫВАЕТ РОСА?

(Рассуждение)

Когда сохнет вода, что делается с этой водой?

От тепла все вещи раздаются. Вода от тепла раздается и вся разойдется на такие маленькие частички, что их глазом не видать, и уйдет в воздух. Частички эти, пары, носятся в воздухе, и их не видно, покуда воздух тепел. Но остуди воздух, и сейчас пар остынет и станет виден.

Если натопить жарко баню и налить воду на кирпичи, вода вся уйдет паром, и будет сухо. Поддай еще — вода опять разойдется. Если баня горяча, летучей воды разойдется в воздухе ушат. Ушат воды будет стоять в горячем воздухе бани, и его не будет видно. Воздух бани впитает в себя весь ушат. Но если станешь еще поддавать, то воздух уже напитается и не станет больше принимать воды, а лишняя вода потечет каплями. Один ушат будет держаться, а лишняя вода вытечет.

Если в ту же баню нетопленную принесешь горячие кирпичи и станешь лить на них воду,— выльешь шайку — она разойдется, и не будет видно,— воздух всосет ее в себя. Но если станешь лить другую шайку, вода потечет каплями. Лишняя вода стечет каплями, и холодный воздух только будет держать одну шайку. В той же бане воздух, когда был горяч, впитал ушат, а когда холоден, может впитать только шайку.

Если подуть на стекло, на стекле сядут капли. И чем холоднее, тем больше сядет капель. Отчего это будет? Оттого, что дыхание человека теплее, чем стекло, и в дыхании много летучей воды. Как только это дыхание сядет на холодное стекло, из него выйдет вода.

Губка держит в себе воду, и воды не видать, покуда ее не сожмется; но только что пожмешь ее, вода

польется. Так же и воздух держит в себе воду, пока он горяч, а как он остынет, так вода польется.

Если летом вынесешь из погреба холодный горшок, по нем сейчас сядут капли воды. Откуда взялась эта вода? Она тут и была. Только пока тепло было, ее не видно было, а как ушло тепло из воздуха в холодный горшок, воздух вокруг горшка остыл, и капли сели. То же бывает и на окнах. В горнице тепло, и пары держатся в воздухе; но с надворья остынут окна, и снутри, подле окон, воздух охолодеет, и потекут капли.

От этого же бывает роса. Как остынет земля ночью, над ней воздух остынет, и из холодного воздуха выходят пары каплями и садятся на землю.

Иногда бывает, что и холодно на дворе, а в горнице тепло,— а не потеют окна; а иногда и теплее на дворе, а в горнице не так тепло,— а потеют окна.

Тоже иногда ночь теплая, а большая роса; а то холодная ночь и нет росы.

Отчего это бывает? Оттого, что бывает сухой и сырой воздух. Сухой воздух бывает тогда, когда он, не нагреваясь, может поднять еще много паров, а сырой тогда, когда он, не нагреваясь, не может больше поднять паров. Сухой воздух — это губка, не вся еще напитанная водой, а сырой воздух — губка, вся напитанная водой. Чуть похолоднеет воздух и чуть пожать губку, и потечет. В сыром воздухе всякая вещь, если она холоднее воздуха, намокнет, а в сухом всякая мокрая вещь высохнет. Пары выйдут из нее, и воздух впитает их в себя.

АРХИЕРЕЙ И РАЗБОЙНИК

(Быль)

Одного разбойника давно искали. Раз он переоделся и пришел в город. В городе его узнали полицейские и погнались за ним. Разбойник бежал от них и прибежал к архиерейскому дому; ворота были открыты: он вошел во двор.

Послушник спросил его: что ему нужно?

Разбойник не знал, что отвечать, и наобум сказал: «Мне нужно архиерея».

Архиерей принял разбойника и спросил, за каким он делом пришел к нему?

Разбойник отвечал: «Я разбойник, за мною погоня; спрячь меня, а не то я убью тебя».

Архиерей сказал: «Я — старик, смерти не боюсь; но мне жаль тебя. Поди в ту горницу, ты устал, отдохни, а я тебе пришлю поесть».

Полицейские не посмели войти к архиерею в дом, и разбойник остался у него ночевать.

Когда разбойник отдохнул, архиерей пришел к нему и сказал: «Мне жаль тебя, что ты холоден и голоден и что за тобой гоняются, как за волком, но мне всего более жаль тебя за то, что ты зла много сделал и душу свою губишь. Брось дурные дела!»

Разбойник сказал: «Нет, мне уже не отвыкнуть от худого: разбойником жил, таким и умру».

Архиерей ушел от него, растворил все двери и лег спать.

Ночью разбойник встал и пошел ходить по горницам. Ему удивительно показалось, что архиерей ничего не запер и оставил все двери настежь.

Разбойник стал оглядываться кругом — что́ бы ему украсть, увидал большой серебряный подсвечник и думает: «Возьму я эту вещь — она много денег стоит — и уйду отсюда, а старика убивать не буду». — Так и сделал.

Полицейские не отходили от архиерейского дома и все время караулили разбойника. Как только он вышел из дому, его окружили и нашли у него под полой подсвечник.

Разбойник стал отпираться, но полицейские сказали: «Если ты от прежних дел своих отпираешься, то от кражи подсвечника отклепаться не можешь. Пойдем к архиерею — он тебя уличит».

Привели вора к архиерею, показали ему подсвечник и спросили: «Ваша ли это вещь?» Он говорит: «Моя».

Полицейские сказали: «У вас украли эту вещь, а вот вор».

Разбойник молчал, и у него, как у волка, бегали глаза.

Архиерей ничего не сказал, вернулся в горницу, взял там дружку от того же подсвечника, подал разбойнику и говорит: «Зачем же ты, дружок, только один подсвечник взял? Ведь я тебе оба подарил».

Разбойник заплакал и сказал полицейским: «Я вор и разбойник, ведите меня!»

Потом он сказал архиерею: «Прости меня, ради Христа, и помолись за меня богу».

ЕРМАК

(История)

При царе Иване Васильевиче Грозном были богатые купцы Строгоновы, и жили они в Перми, на реке Каме. Прослышали они, что по реке Каме на 140 верст в кругу есть хороша земля: пашня не пахана от века, леса черные от века не рублены. В лесах зверя много, а по реке озера рыбные, и никто на той земле не живет, только захаживают татары.

Строгоновы написали царю письмо: «Отдай нам эту землю, а мы сами по ней городки построим и народ соберем, заселим и не будем давать через эту землю ходу татарам».

Царь согласился и отдал им землю. Строгоновы послали приказчиков собирать народ. И сошлось к ним много гуляющего народа. Кто приходил, тем Строгоновы отводили землю, лес, давали скотину и никаких оброков не брали, только живи, и когда нужда, выходи с народом биться с татарами. Так и заселилась эта земля русским народом.

Прошло лет 20-ть. Строгоновы-купцы еще сильнее разбогатели, и мало им стало той земли на 140 верст. Захотели они еще более земли. Верст за 100 от них были высокие горы Уральские, и за этими горами, прослышали они, есть прекраснейшая земля, и земле той конца нет. Владел этой землей сибирский князек Кучум. Кучум в прежнее время покорился царю русскому, а потом стал бунтовать и грозил разорить Строгоновские городки.

Вот Строгоновы и написали царю: «Отдал ты нам землю, мы ее под твою руку покорили; теперь воровской царек Кучум против тебя бунтует и хочет и эту землю отнять, и нас разорить. Вели ты нам занять землю за Уральскими горами; мы Кучума завоюем и всю его землю под твою руку подведем». Царь согласился и отписал:

«Если сила у вас есть, отберите у Кучума землю. Только из России много народу не сманивайте».

Вот Строгоновы, как получили от царя письмо, послали приказчиков еще собирать народ к себе. И больше велели подговаривать казаков с Волги и с Дону. А в то время по Волге, по Дону казаков много ходило. Соберутся шайками по 200, 300, 600 человек, выберут атамана и плавают на стругах, перехватывают суда, грабят, а на зиму становятся городком на берегу.

Приехали приказчики на Волгу и стали спрашивать: какие тут казаки слывут? Им и говорят: «Казаков много. Житья от них не стало. Есть Мишка Черкашенин; есть Сары-Азман... Но нет злее Ермака Тимофеича, атамана. У того человек 1000 народа, и его не только народ и купцы боятся, а царское войско к нему приступить не смеет».

И поехали приказчики к Ермаку-атаману и стали его уговаривать идти к Строгонову. Ермак принял приказчиков, отслушал их речи и обещал прийти с народом своим к успенью.

К успенью пришли к Строгонову казаки — человек 600 с атаманом Ермаком Тимофеевичем. Напустил их сначала Строгонов на ближних татар. Казаки их побили. Потом, когда нечего было делать, стали казаки по округу ходить и грабить.

Призывает Строгонов Ермака и говорит: «Я вас теперь больше держать не стану, если вы так шалить будете». А Ермак и говорит: «Я и сам не рад, да с народом моим не совладаешь — набаловались. Дай нам работу». Строгонов и говорит: «Идите за Урал воевать с Кучумом, завладейте его землею. Вас и царь наградит». И показал Ермаку царское письмо. Ермак обрадовался, собрал казаков и говорит:

«Вы меня срамите перед хозяином — всё без толку грабите. Если не бросите, он вас прогонит, а куда пойдете? На Волге царского войска много: нас переловят и прежние дела худо будет. А если скучно вам, то вот вам работа».

И показал им царское письмо, что позволено Строгонову за Уралом землю завоевать. Поговорили казаки и согласились идти. Пошел Ермак к Строгонову, стал с ним думать, как им идти.

Обсудили, сколько стругов надо, сколько хлеба, скотины, ружей, пороху, свинцу, сколько переводчиков — татар пленных, сколько немцев — мастеров ружейных.

Строгонов думает: «Хоть и дорого мне станет, а надо дать ему всего, а то здесь останутся — разорят меня». Согласился Строгонов, собрал всего и снарядил Ермака с казаками.

1-го сентября поплыли казаки с Ермаком вверх по реке Чусовой на 32-х стругах, на каждом струге было 20 человек. Плыли они четыре дня на веслах вверх по реке и выплыли в Серебряную реку. Оттуда уж плыть нельзя. Расспросили проводников и узнали, что надо им тут перевалиться через горы и верст двести сухопутьем пройти, а потом пойдут опять реки. Остановились тут казаки, построили город и выгрузили всю снасть; и струга побросали, а наладили телеги, уложили всё и пошли сухопутьем — через горы. Места всё были лесные, и народу не жило никакого. Прошли они 10 дней сухопутьем, попали на Жаровню, на реку. Тут опять постояли и стали ладить струги. Наладили и поплыли по реке вниз. Проплыли пять дней, и пришли места еще веселее: луга, леса, озера. И рыбы, и зверя много; и зверь непуганый. Проплыли еще день, выплыли на Туру-реку. Тут по Туре-реке стал попадаться народ и городки татарские.

Послал Ермак казаков посмотреть один городок, что за городок и много ли в нем силы. Пошли 20 казаков, распугали всех татар и забрали весь городок и скотину всю забрали. Каких татар перебили, а каких привели живьем.

Стал Ермак через переводчиков спрашивать татар: какие они люди и под чьей рукой живут? Татары говорят, что они Сибирского царства и царь их Кучум.

Ермак отпустил татар, а троих, поумнее, взял с собой, чтобы они ему дорогу показывали.

Поплыли дальше. Что дальше плывут, то река все больше становится; а места, что дальше, то лучше.

И народа стало больше попадаться. Только народ не сильный. И все городки, какие были по реке, казаки повоевали.

Забрали они в одном городке много татар и одного почетного старика татарина. Стали спрашивать татарина, что он за человек? Он говорит: «Я Таузик, я своего царя Кучума слуга и от него начальником в этом городе».

Ермак стал спрашивать Таузика про его царя. Далеко ли его город Сибирь? Много ли у Кучума силы, много ли у него богатства? Таузик все рассказал. Говорит: «Кучум первейший царь на свете. Город его Сибирь — самый большой город на свете. В городе этом, говорит, людей и скотины столько, сколько звезд на небе. А силы у Кучума-царя счету нет, его все цари вместе не завоюют».

А Ермак говорит: «Мы, русские, пришли сюда твоего царя завоевать и его город взять; русскому царю под руку подвести. Силы у нас много. Что со мной пришли — это только передние, а сзади плывут в стругах — счету им нет, и у всех ружья. А ружья наши насквозь дерево пробивают, не то что ваши луки, стрелы. Вот, смотри».

И Ермак выпалил в дерево, и дерево раскололось, и со всех сторон стали палить казаки. Таузик от страха на колени упал. Ермак и говорит ему: «Ступай же ты к своему царю Кучуму и скажи ему, что ты видел. Пускай он покоряется, а не покорится, так и его погубим». И отпустил Таузика.

Поплыли казаки дальше. Выплыли в большую реку Тобол, и всё к Сибири-городу приближаются. Подплыли они к речке Бабасан, смотрят — на берегу городок стоит, и кругом городка татар много.

Послали они переводчика к татарам узнать, что за люди. Приходит назад переводчик, говорит: «Это войско Кучумово собралось. А начальником над войском сам есть Кучумов — Маметкул. Он меня призывал и велел вам сказать, чтобы вы назад шли, а то он вас перебьет».

Ермак собрал казаков, вышел на берег и начал стрелять в татар. Как услыхали татары пальбу, так и побежали. Стали их казаки догонять и каких перебили, а каких забрали. Насилу сам Маметкул ушел.

Поплыли казаки дальше. Выплыли в широкую, быструю реку Иртыш. По Иртышу-реке проплыли день, подплыли к городку хорошему и остановились. Пошли казаки в городок. Только стали подходить, начали в них татары стрелы пускать и поранили трех казаков. Послал Ермак переводчика сказать татарам, чтобы сдали город, а то всех перебьют. Переводчик пошел, вернулся и говорит: «Тут живет Кучумов слуга Атик Мурза Качара. У него силы много, и он говорит, что не сдаст городка».

Ермак собрал казаков и говорит:

«Ну, ребята, если не возьмем этого городка, татары запирают. И нам ходу не дадут. Что скорее страха зададим, то нам легче будет. Выходи все. Кидайся все разом». Так и сделали. Татар много тут было, и татары лихие.

Как бросились казаки, стали татары стрелять из луков. Засыпали казаков стрелами. Которых до смерти перебили, которых переранили.

Озлились и казаки, добрались до татар и, какие попались, всех перебили.

В городке этом нашли казаки много добра, скотины, ковров, мехов и меду много, похоронили мертвых, отдохнули, забрали добро с собой и поплыли дальше. Недалеко проплыли, смотрят — на берегу как город стоит, войска конца-края не видать, и все войско окопано канавой, и канава лесом завалена. Остановились казаки. Стали думать; собрал Ермак круг. «Ну, что, ребята, как быть?»

Казаки заробели. Одни говорят: надо мимо плыть, другие говорят: назад идти.

И стали они скучать, бранить Ермака. Говорят: «Зачем ты нас завел сюда? Вот перебили уже из нас сколько да переранили; и все мы тут пропадем». Стали плакать.

Ермак и говорит своему податаманью, Ивану Кольцо: «Ну, а ты, Ваня, как думаешь?» А Кольцо и говорит: «А я что думаю? Не нынче убьют, так завтра; а не завтра, так даром на печи помрем. По мне — выйти на берег, да и валить прямо лавой на татар — что бог даст».

Ермак и говорит: «Ай, молодец, Ваня! Так и надо. Эх вы, ребята! Не казаки вы, а бабы. Видно, белужину ловить да баб татарских пугать, только на то вас и взять. Разве не видите сами? Назад идти — перебьют; мимо плыть — перебьют; здесь стоять — перебьют. Куда же нам попясться? Раз потрудишься, после полегчает. Так-то, ребята, у батюшки кобыла здоровая была. Как под горку — везет, и по ровному везет, а как придется в гору — заноровится, назад воротит, думает — легче будет. Так взял батюшка кол, возил-возил ее колом-то. Уж она крутилась, билась, всю телегу разбила. Выпряг ее батюшка из воза и ободрал. А везла бы воз, никакой бы муки не видала. Так-то и нам, ребята. Одно только место осталось — прямо на татар ломить».

Засмеялись казаки, говорят: «Видно ты, Тимофеич, ума-разума нашего; нас, дураков, и спрашивать нечего. Веди, куда знаешь. Двух смертей не бывать, а одной не миновать».

Ермак и говорит: «Ну, слушай, ребята! Вот как делать. Они еще нас всех не видали. Разобьемтесь мы на три кучки. Одни в середину прямо на них пойдут, а другие две кучки в обход зайдут справа и слева. Вот как станут средние подходить, они подумают, что мы все тут,— выскочат. А тогда с боков и ударим. Так-то, ребята. А этих перебьем, уж бояться некого. Царями сами будем».

Так и сделали. Как пошли средние с Ермаком, татары завизжали, выскочили; тут ударили: справа — Иван Кольцо, слева — Мещеряк-атаман. Испугались татары, побежали. Перебили их казаки. Тут уж Ермаку никто противиться не смел. И так он вошел в самый город Сибирь. И насел туда Ермак все равно как царем.

Стали приезжать к Ермаку царьки с поклонами. Стали татары приезжать селиться в Сибири; а Кучум с зятем Маметкулом боялись на Ермака прямо идти, а только кругом ходили, придумывали, как бы его погубить.

Весною по водополью прибежали к Ермаку татары, говорят: «Маметкул опять на тебя идет, собрал войска много, стоит на Вагае-реке».

Ермак собрался через реки, болота, ручьи, леса, подкрался с казаками, бросился на Маметкула и побил много татар и самого Маметкула забрал живьем и привез в Сибирь. Тут уж мало немирных татар осталось, а какие не покорялись, на тех Ермак ходил в это лето; и по Иртышу, и по Оби рекам завоевал Ермак столько земли, что в два месяца не обойдешь.

Как забрал Ермак всю эту землю, послал Ермак посла к Строгоновым и письмо. «Я, говорит, Кучума город взял, и Маметкула в плен забрал, и весь здешний народ под свою руку привел. Только казаков много истратилось. Присылайте народа, чтобы нам веселее было. А добра в здешней земле и конца нет». И послал он дорогих мехов: лисиц, куниц и соболей.

Прошло тому делу два года. Ермак все держал Сибирь, а помощь из России все не приходила, и стало у Ермака мало русского народа.

Прислал раз к Ермаку татарин Карача посла, говорит: «Мы тебе покорились, а нас ногайцы обижают, пришли к

нам своих молодцов на помощь. Мы вместе ногайцев покорим. А что мы твоих молодцов не обидим, так мы тебе клятву дадим».

Ермак поверил их клятве и отпустил с Иваном Кольцом 40 человек. Как пришли эти сорок человек, татары бросились на них и побили; казаков еще меньше стало.

Прислали другой раз бухарские купцы весть Ермаку, что они собрались к нему в Сибирь-город товары везти, да что им на дороге Кучум с войском стоит и не пускает их пройти.

Ермак взял с собой 50 человек и пошел очистить дорогу бухарцам. Пришел он к Иртышу-реке и не нашел бухарцев. Остановился ночевать. Ночь была темная и дождь. Только полегли спать казаки, откуда ни взялись татары, бросились на сонных, начали их бить. Вскочил Ермак, стал биться. Ранили его ножом в руку. Бросился он бежать к реке. Татары за ним. Он в реку. Только его и видели. И тела его не нашли, и никто не узнал, как он умер.

На другой год пришло царское войско, и татары замирились.

СУХМАН

(Стихи-сказка)

Как у ласкова князь Владимира
Пированье шло, шел почестен пир
На бояр, князей, добрых молодцев.
На пиру-то все порасхвастались:
Один хвастает золотой казной,
Другой хвастает что добрым конем,
Сильный хвастает своей силою,
Глупый хвастает молодой женой,
Умный хвастает старой матерью.
За столом сидит, призадумавшись,
Богатырь Сухман Одихмантьевич,
И ничем Сухман он не хвастает.
Тут Владимир-князь, красно солнышко,
Сам по горенке он похажива(е)т,
Желтыми кудрями он потряхива(е)т,
Одихмантьичу выговарива(е)т:
«Что, Сухмантьюшка, ты задумался?

Что не ешь, не пьешь и не кушаешь,
Белой лебеди ты не рушаешь,
И ничем в пиру ты не хвастаешь?»
Взговорил Сухман таковы слова:
«Если хвастать мне ты приказываешь,
Привезу ж тебе я, похвастаю,
Лебедь белую не кровавлену
И не ранену, а живьем в руках».
И вставал Сухман на резвы ноги,
Он седлал коня свого доброго,
Выезжал Сухман ко синю морю,
Ко синю морю, к тихим заводям.
Подъезжал Сухман к первой заводи,
Не наезживал белых лебедей.
Подъезжал Сухман к другой заводи,
Не нахаживал гусей-лебедей,
И у третией тихой заводи —
Нет серых гусей, белых лебедей.
Тут Сухмантьюшка призадумался:
«Как поеду я в славный Киев-град?
Что сказать будет князь Владимиру?»
И поехал он к мать Непре-реке:
Глядь, течет Непра не по-старому,
Не по-старому, не по-прежнему,
А вода с песком в ней смутилася.
Тут Непру-реку Сухман спрашивал:
«Что течешь ты так, мать Непра-река,
Не по-старому, не по-прежнему,
А вода с песком помутилася?»
Испровещится мать Непра-река:
«Я затем теку не по-старому,
Не по-прежнему, по-старинному,
Что стоят за мной, за Непрой-рекой,
Сорок тысячей злых татаровей.
Они мост мостят с утра до ночи.
Что намостят днем, то в ночь вырою.
Да из сил уж я выбиваюся».
Взговорил Сухман таковы слова:
«То не честь-хвала молодецкая —
Не отведать мне сил татарскиих».
И пустил коня свого доброго.
Чрез Непру-реку перескакивал,
Не мочил копыт его добрый конь.

Подбежал Сухман ко сыру дубу,
Ко сыру дубу, кряковистому,
Дуб с кореньями выворачивал.
А с комля дуба белый сок бежал;
Ту дубиночку за вершину брал
И пустил коня на татаровей.
Стал Сухмантьюшка поворачивать,
Той дубиночкой стал помахивать.
Как махнет вперед — станет улица,
Отвернет назад — переулочек.
Всех побил татар Одихмантьевич,
Убежало ли три тата́рченка,—
Под кусточками, под ракитовыми
У Непры-реки схоронилися.
Подъезжал Сухман к мать Непре-реке,
Из-под кустиков в Одихмантьича
Три тата́рченка стрелки пустили
Во его бока, в тело белое.
Свет Сухмантьюшка стрелки выдернул
Из своих боков, из кровавых ран,
Листьем маковым позатыкивал
И спорол ножом трех тата́рченков.
Приезжал Сухман к князь Владимиру.
Привязал коня на дворе к столбу.
Сам входил Сухман во столовую.
Тут Владимир-князь, красно солнышко,
Сам по горенке он похаживает,
Одихмантьичу выговаривает:
«Что ж, Сухмантьюшка, не привез ты мне
Лебедь белую не кровавлену?»
Взговорит Сухман таковы слова:
«Гой, Владимир-князь, за Непрой-рекой
Доходило мне не до лебедей.
Повстречалась мне за Непрой-рекой
Сила ратная в сорок тысячей:
Шли во Киев-град злы татаровья,
С утра до ночи мосты ладили,
А Непра-река вырывала в ночь,
Да из сил она выбивалася.
Я пустил коня на татаровей
И побил их всех до единого».
Володимир-князь, красно солнышко,
Тем словам его не уверовал,

Приказал слугам своим верным
Брать Сухмантия за белы руки,
В погреба сажать во глубокие;
А Добрынюшку посылал к Непре
Про Сухмантьевы сведать заработки.
Встал Добрынюшка на резвы ноги,
Он седлал коня свого доброго,
Выезжал в поле к мать Непре-реке,
Увидал — лежит сила ратная,
В сорок тысячей, вся побитая.
И валяется дуб с кореньями,
На лучиночки весь исщепанный.
Дуб Добрынюшка подымал с земли,
Привозил его ко Владимиру,
Так Добрынюшка выговаривал:
«Правдой хвастает Одихмантьевич:
За Непрой-рекой я видал — лежат
Сорок тысячей злых татаровей,
И дубиночка Одихмантьича
На лучиночки вся исщепана».
Тут велел слугам Володимир-князь
В погреба идти во глубокие,
Выводить скорей Одихмантьича,
Приводить к себе на ясны очи;
Таковы слова выговаривал:
«За услуги те за великие
Добра молодца буду миловать,
Буду жаловать его до люби
Городами ли с пригородками,
Еще селами да с приселками,
Золотой казной да бессчетною».
В погреба идут во глубокие
К Одихмантьичу слуги верные,
Говорят ему таковы слова:
«Выходи, Сухман, ты из погреба:
Володимир-князь тебя милует,
За твои труды за великие
Хочет солнышко тебя жаловать
Городами ли с пригородками,
Еще селами да с приселками,
Золотой казной да бессчетною».
Выходил Сухман во чисто поле,
Говорил Сухман таковы слова:

«Гой, Владимир-князь, красно солнышко,
Не умел меня в пору миловать,
Не умел же ты в пору жаловать,
А теперь тебе не видать будет,
Не видать меня во ясны очи».
И выдергивал Одихмантьевич
Из кровавых ран листье маково,
Свет Сухмантьюшка приговаривал:
«Потеки река от моей крови,
От моей крови от горючие,
От горючие, от напрасные,
Потеки Сухман, ах Сухман-река,
Будь Непре-реке ты родна сестра».

ЦАРЬ И СОКОЛ

(Басня)

Один царь на охоте пустил за зайцем любимого сокола и поскакал.

Сокол поймал зайца. Царь отнял зайца и стал искать воды, где бы напиться. В бугре царь нашел воду. Только она по капле капала. Вот царь достал чашу с седла и подставил под воду. Вода текла по капле, и когда чаша набралась полная, царь поднял ее ко рту и хотел пить. Вдруг сокол встрепенулся на руке у царя, забил крыльями и выплеснул воду. Царь опять подставил чашу. Он долго ждал, пока она наберется вровень с краями, и опять, когда он стал подносить ее ко рту, сокол затрепыхался и разлил воду.

Когда в третий раз царь набрал полную чашу и стал подносить ее к губам, сокол опять разлил ее. Царь рассердился и, со всего размаха ударив сокола об камень, убил его. Тут подъехали царские слуги, и один из них побежал вверх к роднику, чтобы найти побольше воды и скорее набрать полную чашу. Только и слуга не принес воды; он вернулся с пустой чашкой и сказал: «Ту воду нельзя пить: в роднике змея, и она выпустила свой яд в воду. Хорошо, что сокол разлил воду. Если бы ты выпил этой воды, ты бы умер».

Царь сказал: «Дурно же я отплатил соколу: он спас мне жизнь, а я убил его».

ЛИСИЦА

(Басня)

Попалась лиса в капкан, оторвала хвост и ушла. И стала она придумывать, как бы ей свой стыд прикрыть. Созвала она лисиц и стала их уговаривать, чтобы отрубили хвосты. «Хвост,— говорит,— совсем не кстати, только напрасно лишнюю тягость за собой таскаем». Одна лисица и говорит: «Ох, не говорила бы ты этого, кабы не была купая!»

Купая лисица смолчала и ушла.

СТРОГОЕ НАКАЗАНИЕ

(Сказка)

Один человек пошел на торг и купил говядины. На торгу его обманули: дали дурной говядины, да еще обвесили.

Вот он идет домой с говядиной и бранится. Встречается ему царь и спрашивает: «Кого ты бранишь?» А он говорит: «Я браню того, кто меня обманул. Я заплатил за три фунта, а мне дали только два, и то дурную говядину». Царь и говорит: «Пойдем назад на торг, покажи того, кто тебя обманул». Человек пошел назад и показал купца. Царь свесил при себе мясо: видит, точно, обманули. Царь и говорит: «Ну, как ты хочешь, чтобы я наказал купца?» Тот говорит: «Вели вырезать из его спины столько мяса, на сколько он обманул меня».

Царь и говорит: «Хорошо, возьми нож и вырежь из купца фунт мяса; только смотри, чтобы у тебя вес был бы верен, а если вырежешь больше или меньше фунта, ты виноват останешься».

Человек смолчал и ушел домой.

ДИКИЙ И РУЧНОЙ ОСЕЛ

(Басня)

Дикий осел увидал ручного осла, подошел к нему и стал хвалить его жизнь: как и телом-то он гладок и какой ему корм сладкий. Потом, как навьючили ручного осла,

да как сзади стал погонщик подгонять его дубиной, дикий осел и говорит: «Нет, брат, теперь не завидую,— вижу, что твое житье тебе соком достается».

ЗАЯЦ И ГОНЧАЯ СОБАКА

(Басня)

Заяц сказал раз гончей собаке: «Для чего ты лаешь, когда гонишься за нами? Ты бы скорее поймала нас, если бы бежала молча. А с лаем ты только нагоняешь нас на охотника: ему слышно, где мы бежим, и он забегает с ружьем нам навстречу, убивает нас и ничего не дает тебе».

Собака сказала: «Я не для этого лаю, а лаю только потому, что когда слышу твой запах, то и сержусь, и радуюсь, что я вот сейчас поймаю тебя; и сама не знаю зачем, но не могу удержаться от лая».

ОЛЕНЬ

(Басня)

Олень подошел к речке напиться, увидал себя в воде и стал радоваться на свои рога, что они велики и развилисты, а на ноги посмотрел и говорит: «Только ноги мои плохи и жидки». Вдруг выскочи лев и бросься на оленя. Олень пустился скакать по чистому полю. Он уходил, а как пришел в лес, запутался рогами за сучья, и лев схватил его. Как пришло погибать оленю, он и говорит: «То-то глупый я! Про кого думал, что плохи и жидки, те спасали, а на кого радовался, от тех пропал».

ЗАЙЦЫ

(Описание)

Зайцы по ночам кормятся. Зимой зайцы лесные кормятся корою деревьев, зайцы полевые — озимями и травой, гумешники — хлебными зернами на гумнах. За ночь зайцы прокладывают по снегу глубокий, видный след,

До зайцев охотники — и люди, и собаки, и волки, и лисицы, и вороны, и орлы. Если бы заяц ходил просто и прямо, то поутру его сейчас бы нашли по следу и поймали; но бог дал зайцу трусость, и трусость спасает его.

Заяц ходит ночью по полям и лесам без страха и прокладывает прямые следы; но как только приходит утро, враги его просыпаются: заяц начинает слышать то лай собак, то визг саней, то голоса мужиков, то треск волка по лесу, и начинает от страха метаться из стороны в сторону. Проскачет вперед, испугается чего-нибудь и побежит назад по своему следу. Еще услышит что-нибудь — и со всего размаха прыгнет в сторону и поскачет прочь от прежнего следа. Опять стукнет что-нибудь — опять заяц повернется назад и опять поскачет в сторону. Когда светло станет, он ляжет.

Наутро охотники начинают разбирать заячий след, путаются по двойным следам и далеким прыжкам и удивляются хитрости зайца. А заяц и не думал хитрить. Он только всего боится.

СОБАКА И ВОЛК

(Басня)

Собака заснула за двором. Голодный волк набежал и хотел съесть ее. Собака и говорит: «Волк! подожди меня есть,— теперь я костлява, худа. А вот, дай срок, хозяева будут свадьбу играть, тогда мне еды будет вволю, я разжирею,— лучше тогда меня съесть». Волк поверил и ушел. Вот приходит он в другой раз и видит — собака лежит на крыше. Волк и говорит: «Что ж, была свадьба?» А собака и говорит: «Вот что, волк: коли другой раз застанешь меня сонную перед двором, не дожидайся больше свадьбы».

ЦАРСКИЕ БРАТЬЯ

(Сказка)

Один царь шел по улице. Нищий подошел к нему и стал просить милостыню.

Царь не дал ничего. Нищий сказал: «Царь, ты, видно, забыл, что бог всем один отец; мы все братья, и нам всем

делиться надо». Тогда царь остановился и сказал: «Ты правду говоришь, мы братья и нам делиться надо»,— и дал нищему золотую деньгу. Нищий взял золотую деньгу и сказал: «Ты мало дал; разве так делятся с братьями? Надо делить поровну. У тебя миллион денег, а ты мне дал одну». Тогда царь сказал: «То правда, что у меня миллион денег, а я тебе дал одну; но у меня и братьев столько же, сколько денег».

СЛЕПОЙ И МОЛОКО

(Басня)

Один слепой отроду спросил зрячего: «Какого цвета молоко?»

Зрячий сказал: «Цвет молока такой, как бумага белая».

Слепой спросил: «А что, этот цвет так же шуршит под руками, как бумага?»

Зрячий сказал: «Нет, он белый, как мука белая».

Слепой спросил: «А что, он такой же мягкий и сыпучий, как мука?»

Зрячий сказал: «Нет, он просто белый, как заяц-беляк».

Слепой спросил: «Что же, он пушистый и мягкий, как заяц?»

Зрячий сказал: «Нет, белый цвет такой точно, как снег».

Слепой спросил: «Что же, он холодный, как снег?»

И сколько примеров зрячий ни говорил, слепой не мог понять, какой бывает белый цвет молока.

РУСАК

(Описание)

Заяц-русак жил зимою подле деревни. Когда пришла ночь, он поднял одно ухо, послушал; потом поднял другое, поводил усами, понюхал и сел на задние лапы. Потом он прыгнул раз-другой по глубокому снегу и опять сел

До зайцев охотники — и люди, и собаки, и волки, и лисицы, и вороны, и орлы. Если бы заяц ходил просто и прямо, то поутру его сейчас бы нашли по следу и поймали; но бог дал зайцу трусость, и трусость спасает его.

Заяц ходит ночью по полям и лесам без страха и прокладывает прямые следы; но как только приходит утро, враги его просыпаются: заяц начинает слышать то лай собак, то визг саней, то голоса мужиков, то треск волка по лесу, и начинает от страха метаться из стороны в сторону. Проскачет вперед, испугается чего-нибудь и побежит назад по своему следу. Еще услышит что-нибудь — и со всего размаха прыгнет в сторону и поскачет прочь от прежнего следа. Опять стукнет что-нибудь — опять заяц повернется назад и опять поскачет в сторону. Когда светло станет, он ляжет.

Наутро охотники начинают разбирать заячий след, путаются по двойным следам и далеким прыжкам и удивляются хитрости зайца. А заяц и не думал хитрить. Он только всего боится.

СОБАКА И ВОЛК

(Басня)

Собака заснула за двором. Голодный волк набежал и хотел съесть ее. Собака и говорит: «Волк! подожди меня есть,— теперь я костлява, худа. А вот, дай срок, хозяева будут свадьбу играть, тогда мне еды будет вволю, я разжирею,— лучше тогда меня съесть». Волк поверил и ушел. Вот приходит он в другой раз и видит — собака лежит на крыше. Волк и говорит: «Что ж, была свадьба?» А собака и говорит: «Вот что, волк: коли другой раз застанешь меня сонную перед двором, не дожидайся больше свадьбы».

ЦАРСКИЕ БРАТЬЯ

(Сказка)

Один царь шел по улице. Нищий подошел к нему и стал просить милостыню.

Царь не дал ничего. Нищий сказал: «Царь, ты, видно, забыл, что бог всем один отец; мы все братья, и нам всем

делиться надо». Тогда царь остановился и сказал: «Ты правду говоришь, мы братья и нам делиться надо»,— и дал нищему золотую деньгу. Нищий взял золотую деньгу и сказал: «Ты мало дал; разве так делятся с братьями? Надо делить поровну. У тебя миллион денег, а ты мне дал одну». Тогда царь сказал: «То правда, что у меня миллион денег, а я тебе дал одну; но у меня и братьев столько же, сколько денег».

СЛЕПОЙ И МОЛОКО

(Басня)

Один слепой отроду спросил зрячего: «Какого цвета молоко?»

Зрячий сказал: «Цвет молока такой, как бумага белая».

Слепой спросил: «А что, этот цвет так же шуршит под руками, как бумага?»

Зрячий сказал: «Нет, он белый, как мука белая».

Слепой спросил: «А что, он такой же мягкий и сыпучий, как мука?»

Зрячий сказал: «Нет, он просто белый, как заяц-беляк».

Слепой спросил: «Что же, он пушистый и мягкий, как заяц?»

Зрячий сказал: «Нет, белый цвет такой точно, как снег».

Слепой спросил: «Что же, он холодный, как снег?»

И сколько примеров зрячий ни говорил, слепой не мог понять, какой бывает белый цвет молока.

РУСАК

(Описание)

Заяц-русак жил зимою подле деревни. Когда пришла ночь, он поднял одно ухо, послушал; потом поднял другое, поводил усами, понюхал и сел на задние лапы. Потом он прыгнул раз-другой по глубокому снегу и опять сел

на задние лапы и стал оглядываться. Со всех сторон ничего не было видно, кроме снега. Снег лежал волнами и блестел, как сахар. Над головой зайца стоял морозный пар, и сквозь этот пар виднелись большие яркие звезды.

Зайцу нужно было перейти через большую дорогу, чтобы прийти на знакомое гумно. На большой дороге слышно было, как визжали полозья, фыркали лошади, скрипели кресла в санях.

Заяц опять остановился подле дороги. Мужики шли подле саней с поднятыми воротниками кафтанов. Лица их были чуть видны. Бороды, усы, ресницы их были белые. Изо ртов и носов их шел пар. Лошади их были потные, и к поту пристал иней. Лошади толкались в хомутах, ныряли, выныривали в ухабах. Мужики догоняли, обгоняли, били кнутами лошадей. Два старика шли рядом, и один рассказывал другому, как у него украли лошадь.

Когда обоз проехал, заяц перескочил дорогу и полегоньку пошел к гумну. Собачонка от обоза увидала зайца. Она залаяла и бросилась за ним. Заяц поскакал к к гумну по субоям; зайца держали субои, а собака на десятом прыжке завязла в снегу и остановилась. Тогда заяц тоже остановился, посидел на задних лапах и потихоньку пошел к гумну. По дороге он, на зеленях, встретил двух зайцев. Они кормились и играли. Заяц поиграл с товарищами, покопал с ними морозный снег, поел озими и пошел дальше. На деревне было все тихо, огни были потушены. Только слышался плач ребенка в избе через стены да треск мороза в бревнах изб. Заяц прошел на гумно и там нашел товарищей. Он поиграл с ними на расчищенном току, поел овса из начатой кладушки, взобрался по крыше, занесенной снегом, на овин и через плетень пошел назад к своему оврагу. На востоке светилась заря, звезд стало меньше, и еще гуще морозный пар подымался над землею. В ближней деревне проснулись бабы и шли за водой; мужики несли корм с гумен, дети кричали и плакали. По дороге еще больше шло обозов, и мужики громче разговаривали.

Заяц перескочил через дорогу, подошел к своей старой норе, выбрал местечко повыше, раскопал снег, лег задом в новую нору, уложил на спине уши и заснул с открытыми глазами.

ВОЛК И ЛУК

(Басня)

Охотник с луком и стрелами пошел на охоту, убил козу, взвалил на плечи и понес ее. По дороге увидал он кабана. Охотник сбросил козу, выстрелил в кабана и ранил его. Кабан бросился на охотника, спорол его до смерти, да и сам тут же издох. Волк почуял кровь и пришел к тому месту, где лежали коза, кабан, человек и его лук. Волк обрадовался и подумал: «Теперь я буду долго сыт; только я не стану есть всего вдруг, а буду есть понемногу, чтобы ничего не пропало: сперва съем что пожестче, а потом закушу тем, что помягче и послаще».

Волк понюхал козу, кабана и человека и сказал: «Это кушанье мягкое, я съем это после, а прежде дай съем эти жилы на луке». И он стал грызть жилы на луке. Когда он перекусил тетиву, лук расскочился и ударил волка по брюху. Волк тут же издох, а другие волки съели и человека, и козу, и кабана, и волка.

КАК МУЖИК ГУСЕЙ ДЕЛИЛ

(Сказка)

У одного бедного мужика не стало хлеба. Вот он и замал попросить хлеба у барина. Чтобы было с чем идти барину, он поймал гуся, изжарил его и понес. Барин принял гуся и говорит мужику: «Спасибо, мужик, тебе гуся, только не знаю, как мы твоего гуся делить будем. У меня жена, два сына и две дочери. Как бы нам разделить гуся без обиды?» Мужик говорит: «Я разделю». Взял ножик, отрезал голову и говорит барину: «Ты всему голова, тебе голову». Потом отрезал задок, подает жене: «Тебе, говорит, дома сидеть, за домом смотреть, задок». Потом отрезал лапки и подает сыновьям: «Вам, говорит, ножки — топтать отцовские дорожки». Дочерям дал крылья: «Вы, говорит, скоро из дома улетите, вот вам по крылышку. А остаточки себе возьму!» — взял себе всего гуся.

Барин посмеялся, дал мужику хлеба и денег.

Услыхал богатый мужик, что барин за гуся наградил бедного мужика хлебом и деньгами, зажарил пять гусей и понес к барину.

Барин говорит: «Спасибо за гусей. Да вот у меня жена, два сына, две дочери, всех шестеро,— как бы нам поровну разделить твоих гусей?»

Стал богатый мужик думать и ничего не придумал.

Послал барин за бедным мужиком и велел делить. Бедный мужик взял одного гуся — дал барину с барыней и говорит: «Вот вас трое с гусем»; одного дал сыновьям: «И вас, говорит, трое»; одного дал дочерям: «И вас трое»; а себе взял двух гусей: «Вот, говорит, и нас трое с гусями,— все поровну».

Барин посмеялся и дал бедному мужику еще денег и хлеба, а богатого прогнал.

КОМАР И ЛЕВ

(Басня)

Комар прилетел ко льву и говорит: «Ты думаешь, в тебе силы больше моего? Как бы не так! Какая в тебе сила? Что царапаешь когтями и грызешь зубами, это и бабы так-то с мужиками дерутся. Я сильнее тебя; хочешь, выходи на войну!» И комар затрубил и стал кусать льва в голые щеки и в нос. Лев стал бить себя по лицу лапами и драть когтями; изодрал себе в кровь все лицо и из сил выбился.

Комар затрубил с радости и улетел. Потом запутался в паутину к пауку, и стал паук его сосать. Комар и говорит: «Сильного зверя, льва, одолел, а вот от дрянного паука погибаю».

ЯБЛОНИ

(Рассказ)

Я посадил двести молодых яблонь и три года весною и осенью окапывал их, и на зиму завертывал соломой от зайцев. На четвертый год, когда сошел снег, я пошел смотреть свои яблони. Они потолстели в зиму; кора на них была глянцевитая и налитая; сучки все были целы,

и на всех кончиках и на развилинках сидели круглые, как горошинки, цветовые почки. Кое-где уже лопнули распуколки и виднелись алые края цветовых листьев. Я знал, что все распуколки будут цветами и плодами, и радовался, глядя на свои яблони. Но когда я развернул первую яблоню, я увидал, что внизу, над самой землею, кора яблони обгрызена кругом по самую древесину, как белое кольцо. Это сделали мыши. Я развернул другую яблоню — и на другой было то же самое. Из двухсот яблонь ни одной не осталось целой. Я замазал обгрызенные места смолою и воском; но когда яблони распустились, цветы их сейчас же спали. Вышли маленькие листики — и те завяли и засохли. Кора сморщилась и почернела. Из двухсот яблонь осталось только девять. На этих девяти яблонях кора была не кругом объедена, а в белом кольце оставалась полоска коры. На этих полосках, в том месте, где расходилась кора, сделались наросты, и яблони хотя и поболели, но пошли. Остальные все пропали, только ниже обгрызенных мест пошли отростки, и то всё дикие.

Кора у деревьев — те же жилы у человека: чрез жилы кровь ходит по человеку — и чрез кору сок ходит по дереву и поднимается в сучья, листья и цвет. Можно из дерева выдолбить все нутро, как это бывает у старых ловин, но только бы кора была жива — и дерево будет жить; но если кора пропадет, дерево пропало. Если человеку подрезать жилы, он умрет, во-первых, потому, что кровь вытечет, а во-вторых, потому, что крови не будет уже ходу по телу.

Так и береза засыхает, когда ребята продолбят лунку, чтобы пить сок, и весь сок вытечет.

Так и яблони пропали оттого, что мыши объели всю кору кругом, и соку уже не было хода из кореньев в сучья, листья и цвет.

ЛОШАДЬ И ХОЗЯЕВА

(Басня)

У садовника была лошадь. Работы ей было много, а корму мало. И стала она молить бога, чтобы ей перейти к другому хозяину. Так и сделалось. Садовник продал

лошадь горшечнику. Лошадь была рада, но у горшечника еще больше прежнего стало работы. И опять стала лошадь на судьбу свою жаловаться и молиться, чтобы перейти ей к лучшему хозяину. И то исполнилось. Горшечник продал лошадь кожевнику. Вот как увидала лошадь на кожевенном дворе конины шкуры, она и завыла: «Ох, горе мне, бедной! Лучше б у прежних хозяев оставаться: теперь уж, видно, не на работу продали меня, а на шкуру».

КЛОПЫ

(Рассказ)

Я остановился ночевать на постоялом дворе. Прежде чем ложиться спать, я взял свечу и посмотрел углы кровати и стен, и когда увидал, что во всех углах были клопы, стал придумывать, как бы устроиться на ночь так, чтобы клопы не добрались до меня.

Со мною была складная кровать, но я знал, что, поставь я ее и посредине комнаты, клопы сползут со стен на пол и с полу, по ножкам кровати, доберутся и до меня; а потому я попросил у хозяина четыре деревянные чашки, налил в чашки воды и каждую ножку кровати поставил в чашку с водой. Я лег, поставил свечу на пол и стал смотреть, что будут делать клопы. Клопов было много, и они уже чуяли меня; я видел, как они поползли по полу, влезали на край чашки, и одни падали в воду, другие ворочались назад. «Перехитрил я вас,— подумал я,— теперь не доберетесь», и хотел уже тушить свечу, как вдруг почувствовал, что меня кусает что-то. Осматриваюсь: клоп. Как он попал ко мне? Не прошло минуты, я нашел другого. Я стал оглядываться и допытываться, как до меня они добрались.

Долго я не мог понять, но, наконец, взглянул на потолок и увидал — клоп лез по потолку; как только он дополз вровень с кроватью, он отцепился от потолка и упал на меня. «Нет,— подумал я,— вас не перехитришь», надел шубу и вышел на двор.

СТАРИК И СМЕРТЬ

(Басня)

Старик раз нарубил дров и понес. Нести было далеко; он измучился, сложил вязанку и говорит: «Эх, хоть бы смерть пришла!» Смерть пришла и говорит: «Вот и я, что тебе надо?» Старик испугался и говорит: «Мне вязанку поднять».

КАК ГУСИ РИМ СПАСЛИ

(История)

В 390-м году до р. Х. дикие народы галлы напали на римлян. Римляне не могли с ними справиться, и которые убежали совсем вон из города, а которые заперлись в кремле. Кремль этот назывался Капитолий. Остались только в городе одни сенаторы. Галлы вошли в город, перебили всех сенаторов и сожгли Рим. В середине Рима оставался только кремль — Капитолий, куда не могли добраться галлы. Галлам хотелось разграбить Капитолий, потому что они знали, что там много богатств. Но Капитолий стоял на крутой горе: с одной стороны были стены ворота, а с другой был крутой обрыв. Ночью галлы украдкою полезли из-под обрыва на Капитолий: они подсаживали друг друга снизу и передавали друг другу щиты и мечи.

Так они потихоньку взобрались на обрыв, ни одна душа не услыхала их.

Они уже полезли через стену, как вдруг гуси почуяли беду, загоготали и захлопали крыльями. Один римлянин проснулся, бросился к стене и сбил под обрыв одного галла. Галл упал и свалил за собою других. Тогда сбежались римляне и стали кидать бревна и каменья под обрыв и перебили много галлов. Потом пришла помощь к ним, и галлов прогнали.

С тех пор римляне в память этого дня завели у себя обычай. Жрецы идут наряженные по городу; один из них несет гуся, а за ним на веревке тащат собаку. И народ подходит к гусю и кланяется ему и жрецу: для гусей дары, а собаку бьют палками до тех пор, пока она издохнет.

ОТЧЕГО В МОРОЗЫ ТРЕЩАТ ДЕРЕВЬЯ?

(Рассуждение)

Оттого, что в деревьях есть сырость, и сырость эта замерзает, как вода. Когда вода замерзнет, она раздается; а когда ей нет места раздаться, она разрывает деревья.

Если налить воды в бутылку и поставить на мороз, вода замерзнет и разорвет бутылку.

Когда из воды делается лед, то во льду этом такая сила, что если наполнить чугунную пушку водой и заморозить, то льдом разорвет ее.

Отчего вода не сжимается, как железо, от холода, а раздается, когда замерзнет? Оттого, что, когда вода замерзнет, ее частицы связываются между собою по-другому и промеж них больше пустых мест.

Для чего вода не сжимается, когда замерзнет? Для того, чтобы вода в реках и озерах не замерзла до дна.

Лед раздается от мороза, оттого делается легче воды и плавает на воде, и только снизу подмерзает и делается толще и толще, но никогда не замерзает до дна. А если бы вода сжималась от мороза, как сжимается железо, то верхняя вода замерзала бы на реке и тонула бы, потому что лед был бы тяжелее воды. Потом опять бы замерзла верхняя вода и тонула бы, и так замерзли бы озера и реки от дна и до верху.

СЫРОСТЬ

(Рассуждение)

I

Отчего паук иногда делает частую паутину и сидит в самой середине гнезда, а иногда выходит из гнезда и выводит новую паутину?

Паук делает паутину по погоде, какая есть и какая будет. Глядя на паутину, можно узнать, какая будет погода; если паук сидит, забившись в середине паутины, и не выходит,— это к дождю. Если он выходит из гнезда и делает новые паутины, то это к погоде.

Как может паук знать вперед, какая будет погода?

Чувства у паука так тонки, что когда в воздухе начнет только собираться сырость, и мы этой сырости не слышим, и для нас погода еще ясная,— для паука уже идет дождь.

Точно так же, как и человек раздетый сейчас почувствует сырость, а одетый не заметит ее, так и для паука идет дождь, когда для нас он только собирается.

СЫРОСТЬ

(Рассуждение)

II

Отчего осенью и зимою двери разбухают и не затворяются, а летом ссыхаются и притворяются?

Оттого, что осенью и зимою дерево насытится водой, как губка, и его разопрет, а летом вода выйдет паром, и оно съежится.

Отчего слабое дерево — осина — больше разбухает, а дуб меньше?

Оттого, что в крепком дереве — дубе — пустого места меньше и воде некуда набраться, а в слабом дереве — осине — пустого места больше и воде есть куда набраться. В гнилом дереве еще больше пустого места, и оттого гнилое дерево больше всего разбухает и больше садится.

Колоды для пчел делают из самого слабого и гнилого дерева: самые лучшие ульи бывают из гнилой лозины. Отчего это? — Оттого, что через гнилую колоду проходит воздух, и для пчел в такой колоде воздух легче.

Отчего сырые доски коробятся?

Оттого, что неровно сохнут. Если приставить сырую доску одной стороной к печке, вода выйдет, и дерево сожмется с этой стороны и потянет за собой другую сторону; а сырой стороне сжаться нельзя, потому что в ней вода,— и вся доска погнется.

Для того, чтобы не коробились полы, их режут из сухих досок на куски, и куски эти вываривают в кипятке. Когда из них вода вся выкипит, их клеят, и они уже не коробятся (паркет).

РАЗНАЯ СВЯЗЬ ЧАСТИЦ

(Рассуждение)

Отчего подушки под телеги вырезают и ступицы под колеса точат не из дуба, а из березы? Подушки и ступицы нужны крепкие, а дуб не дороже березы.—Оттого, что дуб колется вдоль, а береза не расколется, а вся измочалится.

Оттого, что дуб хоть и плотнее связан, чем береза, да связан так, что расходится вдоль, а береза не расходится.

Отчего колеса и полозья гнут из дуба и вяза, а не гнут из березы и липы?

Оттого, что дуб и вяз, когда их распарят в бане, гнутся и не ломаются, а береза и липа на все стороны мочалятся.

Все оттого же, что частицы дерева в дубе и березе иначе связаны.

ЛЕВ И ЛИСИЦА

(Басня)

Лев от старости не мог уже ловить зверей и задумал хитростию жить: зашел он в пещеру, лег и притворился больным. Стали ходить звери его проведывать, и он съедал тех, которые входили к нему в пещеру. Лисица смекнула дело, стала у входа в пещеру и говорит: «Что, лев, как можешь?»

Лев говорит: «Плохо. Да ты отчего же не входишь?»

А лисица говорит: «Оттого не вхожу, что по следам вижу — входов много, а выходов нет».

ПРАВЕДНЫЙ СУДЬЯ

(Сказка)

Один алжирский царь Бауакас захотел сам узнать, правду ли ему говорили, что в одном из его городов есть праведный судья, что он сразу узнаёт правду и что от него ни один плут не может укрыться. Бауакас переоделся в купца и поехал верхом на лошади в тот город,

где жил судья. У въезда в город к Бауакасу подошел калека и стал просить милостыню. Бауакас подал ему и хотел ехать дальше, но калека уцепился ему за платье. «Что тебе нужно? — спросил Бауакас. — Разве я не дал тебе милостыню?» — «Милостыню ты дал,— сказал калека,— но еще сделай милость — довези меня на твоей лошади до площади, а то лошади и верблюды как бы не раздавили меня». Бауакас посадил калеку сзади себя и довез его до площади. На площади Бауакас остановил лошадь. Но нищий не слезал. Бауакас сказал: «Что ж сидишь, слезай, мы приехали». А нищий сказал: «Зачем слезать, — лошадь моя; а не хочешь добром отдать лошадь, пойдем к судье». Народ собрался вокруг них и слушал, как они спорили; все закричали: «Ступайте к судье, он вас рассудит».

Бауакас с калекой пошли к судье. В суде был народ, и судья вызывал по очереди тех, кого судил. Прежде чем черед дошел до Бауакаса, судья вызвал ученого и мужика: они судились за жену. Мужик говорил, что это его жена, а ученый говорил, что его жена. Судья выслушал их, помолчал и сказал: «Оставьте женщину у меня, а сами приходите завтра».

Когда эти ушли, вошли мясник и масленник. Мясник был весь в крови, а масленник в масле. Мясник держал в руке деньги, масленник — руку мясника. Мясник сказал: «Я купил у этого человека масло и вынул кошелек, чтобы расплатиться, а он схватил меня за руку и хотел отнять деньги. Так мы и пришли к тебе,— я держу в руке кошелек, а он держит меня за руку. Но деньги мои, а он — вор».

А масленник сказал: «Это неправда. Мясник пришел ко мне покупать масло. Когда я налил ему полный кувшин, он просил меня разменять ему золотой. Я достал деньги и положил их на лавку, а он взял их и хотел бежать. Я поймал его за руку и привел сюда».

Судья помолчал и сказал: «Оставьте деньги здесь и приходите завтра».

Когда очередь дошла до Бауакаса и до калеки, Бауакас рассказал, как было дело. Судья выслушал его и спросил нищего. Нищий сказал: «Это все неправда. Я ехал верхом через город, а он сидел на земле и просил меня подвезти его. Я посадил его на лошадь и довез, куда ему

нужно было; но он не хотел слезать и сказал, что лошадь его. Это неправда».

Судья подумал и сказал: «Оставьте лошадь у меня и приходите завтра».

На другой день собралось много народа слушать, как рассудит судья.

Первые подошли ученый и мужик.

— Возьми свою жену, — сказал судья ученому, — а мужику дать пятьдесят палок. — Ученый взял свою жену, а мужика тут же наказали.

Потом судья вызвал мясника.

— Деньги твои,— сказал он мяснику; потом он указал на масленника и сказал ему: — А ему дать пятьдесят палок.

Тогда позвали Бауакаса и калеку. «Узнаешь ты свою лошадь из двадцати других?» — спросил судья Бауакаса.

— Узнаю.

— А ты?

— И я узнаю, — сказал калека.

— Иди за мною,— сказал судья Бауакасу.

Они пошли в конюшню. Бауакас сейчас же промеж других двадцати лошадей показал на свою. Потом судья вызвал калеку в конюшню и тоже велел ему указать на лошадь. Калека признал лошадь и показал ее. Тогда судья сел на свое место и сказал Бауакасу:

— Лошадь твоя: возьми ее. А калеке дать пятьдесят палок.

После суда судья пошел домой, а Бауакас пошел за ним.

— Что же ты, или не доволен моим решением? — спросил судья.

— Нет, я доволен,— сказал Бауакас. — Только хотелось бы мне знать, почем ты узнал, что жена была ученого, а не мужика, что деньги были мясниковы, а не масленниковы и что лошадь была моя, а не нищего?

— Про женщину я узнал вот как: позвал ее утром к себе и сказал ей: налей чернил в мою чернильницу. Она взяла чернильницу, вымыла ее скоро и ловко и налила чернил. Стало быть, она привыкла это делать. Будь она жена мужика, она не сумела бы этого сделать. Выходит, что ученый был прав. — Про деньги я узнал вот как: положил я деньги в чашку с водой и сегодня утром посмотрел — всплыло ли на воде масло. Если бы деньги

были масленниковы, то они были бы запачканы его масленными руками. На воде масла не было, стало быть, мясник говорит правду.

— Про лошадь узнать было труднее. Калека так же, как и ты, из двадцати лошадей сейчас же указал на лошадь. Да я не для того приводил вас обоих в конюшню, чтобы видеть, узнаете ли вы лошадь, а для того, чтобы видеть — кого из вас двоих узнает лошадь. Когда ты подошел к ней, она обернула голову, потянулась к тебе; а когда калека тронул ее, она прижала уши и подняла ногу. По этому я узнал, что ты настоящий хозяин лошади.

Тогда Бауакас сказал:

— Я не купец, а царь Бауакас. Я приехал сюда, чтобы видеть, правда ли то, что говорят про тебя. Я вижу теперь, что ты мудрый судья. Проси у меня, чего хочешь, я награжу тебя.

Судья сказал: «Мне не нужно награды; я счастлив уже тем, что царь мой похвалил меня».

ОЛЕНЬ И ВИНОГРАДНИК

(Басня)

Олень спрятался от охотников в виноградник. Когда охотники проминовали его, олень стал объедать виноградные листья.

Охотники приметили, что листья шевелятся, и думают: «Не зверь ли тут под листьями?» — выстрелили и ранили оленя.

Олень и говорит, умираючи: «Поделом мне за то, что я хотел съесть листья, те самые, какие спасли меня».

ЦАРСКИЙ СЫН И ЕГО ТОВАРИЩИ

(Сказка)

У царя было два сына. Царь любил старшего и отдал ему все царство. Мать жалела меньшего сына и спорила с царем. Царь на нее за то сердился, и каждый день были у них из-за этого ссора. Меньший царевич и подумал:

«Лучше мне уйти куда-нибудь»,— простился с отцом и матерью, оделся в простое платье и пошел странствовать.

На пути сошелся он с купцом. Купец рассказал царевичу, что был он прежде богат, но что все его товары потонули в море и что он идет теперь в чужие края поискать счастья.

Они пошли вместе. На третий день сошелся с ними еще товарищ. Они разговорились, и новый товарищ рассказал, что он мужик; были у него дом и земля, но что была война, поля его стоптали и двор его сожгли,— не при чем ему стало жить,— и что идет он теперь искать работы на чужую сторону.

Они пошли все вместе. Подошли они к большому городу и сели отдохнуть. Вот мужик и говорит: «Ну, братцы, будет нам гулять, теперь мы пришли к городу, надо нам за работу приниматься, кто какую умеет».

Купец говорит: «Я умею торговать. Если б у меня было хоть немного денег, я бы много наторговал».

А царевич говорит: «А я не умею ни работать, ни торговать, я только умею царствовать. Если б было у меня царство, я бы хорошо царствовал».

А мужик говорит: «А мне ни денег, ни царства не нужно; у меня только бы ноги ходили, да руки ворочали,— я проживу и вас еще прокормлю. А то вы, пока кто денег, а кто царства дожидаетесь, с голоду помрете».

А царевич говорит: «Купцу деньги нужны, мне царство нужно, тебе сила нужна, чтоб работать: а и деньги, и царство, и сила — нам от бога. Захочет бог — и мне царство даст, и тебе силу, а не захочет — ни тебе силы, ни мне царства не даст».

Мужик не стал слушать, а пошел в город. В городе он нанялся таскать дрова. Ввечеру ему заплатили деньги. Он их принес товарищам и говорит: «Вы покуда собираетесь царствовать, а я уж заработал».

На другой день купец выпросил денег у мужика и пошел в город.

На торгу купец узнал, что в городе мало масла и каждый день ждут нового привоза. Купец пошел на пристань и стал высматривать корабли. При нем пришел корабль с маслом. Купец прежде всех вошел на корабль, отыскал хозяина, купил все масло и дал задаток. Потом купец побежал в город, перепродал масло и за свои хлопоты

заработал денег в 10 раз больше против мужика и принес товарищам.

Царевич и говорит: «Ну, теперь мой черед идти в город. Вам обоим посчастливилось, может, и мне то же будет. Для бога ничего не трудно,— что тебе, мужику, дать работу, что купцу барыши, что царевичу царство».

Входит царевич в город, видит он — народ ходит по улицам и плачет. Царевич стал спрашивать, о чем плачут. Ему говорят: «Разве не знаешь, нынче в ночь наш царь умер, и другого царя нам такого не найти». — «Отчего же он умер?» — «Да, должно быть, злодеи наши отравили». Царевич рассмеялся и говорит: «Это не может быть».

Вдруг один человек присмотрелся к царевичу, приметил, что он говорит не чисто по-ихнему и одет не так, как все в городе, и крикнул: «Ребята! этот человек подослан к нам от наших злодеев разузнавать про наш город. Может, он сам отравил царя. Видите, он и говорит не по-нашему, и смеется, когда мы все плачем. Хватайте его, ведите в тюрьму!»

Царевича схватили, отвели в тюрьму и два дня не давали ему пищи. На третий день пришли за царевичем и повели его на суд. Народа собралось много слушать, как будут судить царевича.

На суде царевича спросили, кто он и зачем пришел в их город. Царевич сказал: «Я — царский сын. Мой отец отдал все царство старшему брату, а мать за меня заступалась, и из-за меня отец с матерью ссорились. Я этого не захотел, простился с отцом и матерью и ушел странствовать. По дороге встретил я двух товарищей: купца и мужика — и с ними подошел к вашему городу. Когда мы сидели и отдыхали за городом, мужик сказал, что надо теперь работать, кто что умеет; купец сказал, что он умеет торговать, но что у него денег нет; а я сказал, что я умею только царствовать, да у меня царства нет. Мужик сказал, что мы с голоду помрем, дожидаючи денег да царства, а что у него есть сила в руках и что он и себя и нас прокормит. И он пошел в город, заработал деньги и принес нам. Купец на эти деньги пошел и наторговал вдесятеро; а я пошел в город, и вот меня взяли и понапрасну посадили в тюрьму и два дня не давали есть и теперь хотят казнить. Да я этого ничего не боюсь, потому что знаю, что всё от бога, и захочет бог, так вы меня казните понапрасну, а захочет, так вы меня царем сделаете».

Когда он все это сказал, судья замолчал и не знал, что говорить. Вдруг один человек из народа закричал: «Нам бог послал этого царевича. Мы не найдем себе лучшего царя! Выбирайте его в цари!»

И все выбрали его царем.

Когда его выбрали царем, царевич послал за город привести к себе своих товарищей. Когда им сказали, что их требует царь, они испугались: думали, что они сделали какую-нибудь вину в городе. Но им нельзя было убежать, и их привели к царю. Они упали ему в ноги, но царь велел встать. Тогда они узнали своего товарища. Царь рассказал им все, что с ним было, и сказал им: «Видите ли вы, что моя правда? Худое и доброе — всё от бога. И богу не труднее дать царство царевичу, чем купцу — барыш, а мужику — работу».

Он наградил их и оставил жить в своем царстве.

ГАЛЧОНОК

(Басня)

Пустынник увидал раз в лесу сокола. Сокол принес в гнездо кусок мяса, разорвал мясо на маленькие куски и стал кормить галчонка.

Пустынник удивился, как так сокол кормит галчонка, и подумал: «Галчонок, и тот у бога не пропадет, и научил же бог этого сокола кормить чужого сироту. Видно, бог всех тварей кормит, а мы всё о себе думаем. Перестану я о себе заботиться, не буду себе припасать пищи. Бог всех тварей не оставляет, и меня не оставит».

Так и сделал: сел в лесу и не вставал с места, а только молился богу. Три дня и три ночи он пробыл без питья и еды. На третий день пустынник так ослабел, что уж не мог поднять руки. От слабости он заснул. И приснился ему старец. Старец будто подошел к нему и говорит: «Ты зачем себе пищи не припасаешь? Ты думаешь богу угодить, а ты грешишь. Бог так мир устроил, чтоб каждая тварь добывала себе нужное. Бог велел соколу кормить галчонка, потому что галчонок пропал бы без сокола; а ты можешь сам работать. Ты хочешь испытывать бога, а это грех. Проснись и работай по-прежнему».

Пустынник проснулся и стал жить по-прежнему.

КАК Я ВЫУЧИЛСЯ ЕЗДИТЬ ВЕРХОМ

(Рассказ барина)

Когда жили в городе, мы каждый день учились, только по воскресеньям и по праздникам ходили гулять и играли с братьями. Один раз батюшка сказал: «Надо старшим детям учиться ездить верхом. Послать их в манеж». Я был меньше всех братьев и спросил: «А мне можно учиться?» Батюшка сказал: «Ты упадешь». Я стал просить его, чтоб меня тоже учили, и чуть не заплакал. Батюшка сказал: «Ну, хорошо, и тебя тоже. Только смотри: не плачь, когда упадешь. Кто ни разу не упадет с лошади, не выучится верхом ездить».

Когда пришла середа, нас троих повезли в манеж. Мы вошли на большое крыльцо, а с большого крыльца прошли на маленькое крылечко. А под крылечком была очень большая комната. В комнате вместо пола был песок. И по этой комнате ездили верхом господа и барыни и такие же мальчики, как мы. Это и был манеж. В манеже было не совсем светло и пахло лошадьми, и слышно было, как хлопают бичами, кричат на лошадей, и лошади стучат копытами о деревянные стены. Я сначала испугался и не мог ничего рассмотреть. Потом наш дядька позвал берейтора и сказал: «Вот этим мальчикам дайте лошадей, они будут учиться ездить верхом». Берейтор сказал: «Хорошо».

Потом он посмотрел на меня и сказал: «Этот мал очень». А дядька сказал: «Он обещает не плакать, когда упадет». Берейтор засмеялся и ушел.

Потом привели трех оседланных лошадей; мы сняли шинели и сошли по лестнице вниз в манеж, берейтор держал лошадь за корду[1], а братья ездили кругом него.

Сначала они ездили шагом, потом рысью. Потом привели маленькую лошадку. Она была рыжая, и хвост у нее был обрезан. Ее звали Червончик. Берейтор засмеялся и сказал мне: «Ну, кавалер, садитесь». Я и радовался, и боялся, и старался так сделать, чтоб никто этого не заметил. Я долго старался попасть ногою в стремя, но никак

[1] К о р д а — веревка, для того чтобы по кругу гонять лошадей. (*Примеч. Л. Н. Толстого.*)

не мог, потому что я был слишком мал. Тогда берейтор поднял меня на руки и посадил. Он сказал: «Не тяжел барин,— фунта два, больше не будет».

Он сначала держал меня за руку; но я видел, что братьев не держали, и просил, чтобы меня пустили. Он сказал: «А не боитесь?» Я очень боялся, но сказал, что не боюсь. Боялся я больше оттого, что Червончик все поджимал уши. Я думал, что он на меня сердится. Берейтор сказал: «Ну, смотрите ж, не падайте!» — и пустил меня. Сначала Червончик ходил шагом, и я держался прямо. Но седло было скользкое, и я боялся свернуться. Берейтор меня спросил: «Ну, что, утвердились?» Я ему сказал: «Утвердился». — «Ну, теперь рысцой!» — и берейтор защелкал языком.

Червончик побежал маленькой рысью, и меня стало подкидывать. Но я все молчал и старался не свернуться на бок. Берейтор меня похвалил: «Ай да кавалер, хорошо!» Я был очень этому рад.

В это время к берейтору подошел его товарищ и стал с ним разговаривать, и берейтор перестал смотреть на меня.

Только вдруг я почувствовал, что я свернулся немножко на бок седла. Я хотел поправиться, но никак не мог. Я хотел закричать берейтору, чтоб он остановил, но думал, что будет стыдно, если я это сделаю, и молчал. Берейтор не смотрел на меня. Червончик все бежал рысью, и я еще больше сбился на бок. Я посмотрел на берейтора и думал, что он поможет мне; а он все разговаривал с своим товарищем и, не глядя на меня, приговаривал: «Молодец, кавалер!» Я уже совсем был на боку и очень испугался. Я думал, что я пропал. Но кричать мне стыдно было. Червончик тряхнул меня еще раз, я совсем соскользнул и упал на землю. Тогда Червончик остановился, берейтор оглянулся и увидал, что на Червончике меня нет. Он сказал: «Вот-те на! свалился кавалер мой»,— и подошел ко мне. Когда я ему сказал, что не ушибся, он засмеялся и сказал: «Детское тело мягкое». А мне хотелось плакать. Я попросил, чтобы меня опять посадили, и меня посадили. И я уж больше не падал.

Так мы ездили в манеже два раза в неделю, и я скоро выучился ездить хорошо и ничего не боялся.

ТОПОР И ПИЛА

(Басня)

Пошли два мужика в лес за деревом. У одного был топор, а у другого пила. Вот они выбрали дерево и стали спорить. Один говорит — надо дерево срубить, а другой говорит — надо спилить.

Третий мужик и говорит: «Я сейчас помирю вас: если топор востер, то лучше рубить, а если пила еще вострее, то лучше пилить». Он взял топор и стал рубить дерево. Но топор был так туп, что им нельзя было рубить.

Он взял пилу: пила была плохая и совсем не резала. Тогда он сказал: «Вы подождите спорить,— топор не рубит, а пила не режет. Вы прежде отточите топор да поправьте пилу, а потом уж спорьте». Но те мужики еще пуще рассердились друг на друга за то, что у одного был неточеный топор, а у другого пила тупая, и они стали драться.

СОЛДАТКИНО ЖИТЬЕ

(Рассказ мужика)

Мы жили бедно на краю деревни. Была у меня мать, нянька (старшая сестра) и бабушка. Бабушка ходила в старом чупруне и худенькой паневе, а голову завязывала какой-то ветошкой, и под горлом у ней висел мешочек. Бабушка любила и жалела меня больше матери. Отец мой был в солдатах. Говорили про него, что он много пил и за то его отдали в солдаты. Я как сквозь сон помню, он приходил к нам на побывку. Изба наша была тесная и подпертая в середине рогулиной, и я помню, как я лазил на эту подпорку, оборвался и разбил себе лоб об лавку. И до сих пор метина эта осталась у меня на лбу.

В избе были два маленькие окна, и одно всегда было заткнуто ветошкой. Двор наш был тесный и раскрытый. В середине стояло старое корыто. На дворе была только одна старая кособокая лошаденка; коровы у нас не было, были две плохонькие овчонки и один ягненок. Я всегда спал с этим ягненком. Ели мы хлеб с водою. Работать у нас было некому; мать моя всегда жаловалась от живота,

а бабушка — от головы и всегда была около печки. Работала только одна моя нянька, и то в свою долю, а не в семью, покупала себе наряды и собиралась замуж.

Помню я, мать стала больнее, и потом родился у ней мальчик. Мамушку положили в сени. Бабушка заняла у соседа крупиц и послала дядю Нефеда за попом. А сестра пошла собирать народ на крестины.

Собрался народ, принесли три ковриги хлеба. Родня стала расставлять столы и покрывать скатертями. Потом принесли скамейки и ушат с водой. И все сели по местам. Когда приехал священник, кум с кумой стали впереди, а позади стала тетка Акулина с мальчиком. Стали молиться. Потом вынули мальчика, и священник взял его и опустил в воду. Я испугался и закричал: «Дай мальчика сюда!» Но бабушка рассердилась на меня и сказала: «Молчи, а то побью».

Священник окунул его три раза и отдал тетке Акулине. Тетка завернула его в миткаль и отнесла к матери в сени.

Потом все сели за столы, бабушка наложила каши две чашки, налила постное масло и подала народу. Когда все наелись, вылезли из-за столов, поблагодарили бабушку и ушли.

Я пошел к матери и говорю:

«Ма, как его зовут?»

Мать говорит: «Так же, как тебя». Мальчик был худой; ножки, ручки у него были тоненькие, и он все кричал. Когда ни проснешься ночью, он все кричит, а мамушка все баюкает, припевает. Сама кряхтит, а все поет.

Один раз ночью я проснулся и слышу — мать плачет. Бабушка встала и говорит: «Что ты, Христос с тобой!» Мать говорит: «Мальчик помер». Бабушка зажгла огонь, обмыла мальчика, надела чистую рубашечку, подпоясала и положила под святые. Когда рассвело, бабушка вышла из избы и привела дядю Нефеда. Дядя принес две старенькие тесинки и стал делать гробик. Сделал маленькое домовище и положил мальчика туда. Потом мать села к гробику и тонким голосом стала причитать и завыла. Потом дядя Нефед взял гробик под мышку и понес хоронить.

Только у нас и было радости, как мы няньку отдавали замуж. Приехали к нам раз мужики и принесли с собой ковригу хлеба и вина. И стали подносить свое вино

матери. Мать выпила. Дядя Иван отрезал ломоть хлеба и подал ей. Я стоял подле стола, и мне захотелось хлебушка. Я нагнул мать и сказал ей на ухо. Мать засмеялась, а дядя Иван говорит: «Что он, хлебца?» — и отрезал мне большой ломоть. Я взял хлеб и ушел в чулан. А нянька сидела в чулане. Она стала меня спрашивать: «Что там мужики говорят?» Я сказал: «Вино пьют». Она засмеялась и говорит: «Это они меня сватают за Кондрашку».

Потом собрались играть свадьбу. Все встали рано. Бабушка топила печку, мать месила пироги, а тетка Акулина мыла говядину.

Нянька нарядилась в новые коты, надела сарафан красный и платок хороший и ничего не делала. Потом, когда истопили избу, мать тоже нарядилась, и пришло к нам много народу,— полная изба.

Потом подъехали к нашему двору три пары с колоколами. И на задней паре сидел жених Кондрашка в новом кафтане и в высокой шапке. Жених слез с телеги и пошел в избу. Надели на няньку новую шубу и вывели ее к жениху. Посадили жениха с невестой за стол, и бабы стали их величать. Потом вылезли из-за стола, помолились богу и вышли на двор. Кондрашка посадил няньку в телегу, а сам сел в другую. Все посажались в телеги, перекрестились и поехали. Я вернулся в избу и сел к окну ждать, когда свадьба вернется. Мать дала мне кусочек хлебца; я поел, да тут и заснул. Потом меня разбудила мать, говорит: «Едут!» — дала мне скалку и велела сесть за стол. Кондрашка с нянькой вошли в избу и за ними много народа, больше прежнего. И на улице был народ, и все смотрели к нам в окна. Дядя Герасим был дружкою; он подошел ко мне и говорит: «Вылезай». Я испугался и хотел лезть, а бабушка говорит: «Ты покажи скалку и скажи: а это что?» Я так и сделал. Дядя Герасим положил денег в стакан и налил вина и подал мне. Я взял стакан и подал бабушке. Тогда мы вылезли, а они сели.

Потом стали подносить вино, студень, говядину; стали петь песни и плясать. Дяде Герасиму поднесли вина, он выпил немного и говорит: «Что-то вино горько». Тогда нянька взяла Кондрашку за уши и стала его целовать. Долго играли песни и плясали, а потом все ушли, и Кондрашка повел няньку к себе домой.

После этого мы стали еще беднее жить. Продали лошадь и последних овец, и хлеба у нас часто не было. Мать ходила занимать у родных. Вскоре и бабушка померла. Помню я, как матушка по ней выла и причитала: «Уже родимая моя матушка! На кого ты меня оставила, горькую, горемычную? На кого покинула свое дитятко бессчастное? Где я ума-разума возьму? Как мне век прожить?» И так она долго плакала и причитала.

Один раз пошел я с ребятами на большую дорогу лошадей стеречь и вижу — идет солдат с сумочкой за плечами. Он подошел к ребятам и говорит: «Вы из какой деревни, ребята?» Мы говорим: «Из Никольского». — «А что, живет у вас солдатка Матрена?» А я говорю: «Жива, она мне матушка». Солдат поглядел на меня и говорит: «А отца своего видал?» Я говорю: «Он в солдатах, не видал». Солдат и говорит: «Ну, пойдем, проводи меня к Матрене, я ей письмо от отца привез». Я говорю: «Какое письмо?» А он говорит: «Вот пойдем, увидишь». — «Ну, что ж, пойдем».

Солдат пошел со мной, да так скоро, что я бегом за ним не поспевал. Вот пришли мы в свой дом. Солдат помолился богу и говорит: «Здравствуйте!» Потом разделся, сел на конник и стал оглядывать избу и говорит: «Что ж, у вас семьи только-то?» Мать оробела и ничего не говорит, только смотрит на солдата. Он и говорит: «Где ж матушка?» — а сам заплакал. Тут мать подбежала к отцу и стала его целовать. И я тоже взлез к нему на колени и стал его обшаривать руками. А он перестал плакать и стал смеяться.

Потом пришел народ, и отец со всеми здоровался и рассказывал, что он теперь совсем по билету вышел.

Как пригнали скотину, пришла и нянька и поцеловалась с отцом. А отец и говорит: «Это чья же молодая бабочка?» А мать засмеялась и говорит: «Свою дочь не узнал». Отец позвал ее еще к себе и поцеловал и спрашивал, как она живет. Потом мать ушла варить яичницу, а няньку послала за вином. Нянька принесла штофчик, заткнутый бумажкой, и поставила на стол. Отец и говорит: «Это что?» А мать говорит: «Тебе вина». А он говорит: «Нет уж, пятый год не пью; а вот яичницу подавай!» Он помолился богу, сел за стол и стал есть. Потом он говорит: «Кабы я не бросил пить, я бы и унтер-офицером не был, и домой бы ничего не принес, а теперь

слава богу». Он достал в сумке кошель с деньгами и отдал матери. Мать обрадовалась, заторопилась и понесла хоронить.

Потом, когда все разошлись, отец лег спать на задней лавке и меня положил с собой, а мать легла у нас в ногах. И долго они разговаривали, почти до полуночи. Потом я уснул.

Поутру мать говорит: «Ох, дров-то нет у меня!» А отец говорит: «Топор есть?» — «Есть, да щербатый, плохой». Отец обулся, взял топор и вышел на двор. Я побежал за ним.

Отец сдернул с крыши жердь, положил на колоду, взмахнул топором, живо перерубил и принес в избу и говорит: «Ну, вот тебе и дрова, топи печь; а я нынче пойду — приищу купить избу да лесу на двор. Корову также купить надо».

Мать говорит: «Ох, денег много на все надо».

А отец говорит: «А работать будем. Вон мужик-то растет!» Отец показал на меня.

Вот отец помолился богу, поел хлебца, оделся и говорит матери: «А есть яички свежие, так испеки в золе к обеду». И пошел со двора.

Отец долго не ворочался. Я стал проситься у матери за отцом. Она не пускала. Я хотел уйти, а мать не пустила меня и побила. Я сел на печку и стал плакать. Тут отец вошел в избу и говорит: «О чем плачешь?» Я говорю: «Я хотел за тобой бечь, а мать меня не пустила, да еще побила»,— и еще пуще заплакал. Отец засмеялся, подошел к матери и стал ее бить нарочно, а сам приговаривал: «Не бей Федьку, не бей Федьку!» Мать нарочно будто заплакала, отец засмеялся и говорит: «Вот вы с Федькой какие на слезы слабые, сейчас и плакать». Потом отец сел за стол, посадил меня с собой рядом и закричал: «Ну, теперь давай нам, мать, с Федюшкой обедать: мы есть хотим».

Мать дала нам каши и яиц, и мы стали есть. А мать говорит: «Ну, что же,— иструб?» А отец говорит: «Купил: восемьдесят целковых, липовый, белый, как стекло. Вот дай срок, мужикам купим винца, они мне и свезут воскресным делом».

С тех пор мы стали хорошо жить.

КОТ И МЫШИ

(Басня)

Завелось в одном доме много мышей. Кот забрался в этот дом и стал ловить мышей. Увидали мыши, что дело плохо, и говорят: «Давайте, мыши, не будем больше сходить с потолка, а сюда к нам коту не добраться!» Как перестали мыши сходить вниз, кот и задумал, как бы их перехитрить. Уцепился он одной лапой за потолок, свесился и притворился мертвым. Одна мышь выглянула на него, да и говорит: «Нет, брат! хоть мешком сделайся, и то не подойду».

ЛЕД, ВОДА И ПАР

(Рассуждение)

Лед бывает крепкий, как камень. Если во льду вмерзнет палка, то палку эту не выломаешь изо льда, пока не оттаешь. Когда лед холоден, то по нем воза ездят и не проваливаются, и брось на него 10 пудов железа, лед не провалится.

Чем холоднее лед, тем он крепче. Как согреется лед, так он слабнет, сделается, как каша; что в нем вмерзло, рукой можно вынуть; он проваливается под ногами и не удержит и фунта железа. Когда лед еще больше согреется, то он станет водой. Из воды всякую вещь легко вынуть, и вода уже ничего не держит, кроме дерева. Если еще станешь согревать воду, она еще меньше станет держать. В холодной воде легче плавать, чем в теплой. А в горячей воде и дерево тонет.

Если еще согреть воду, она и вовсе разойдется паром; и пар уже ничего не держит и сам идет во все стороны.

Если кипятить воду под крышкой, то вода испарится и сядет каплями под крышкой, стечет вниз и опять станет вода. Собрать эту воду и выставить на мороз — опять станет лед.

Согрей воду — будет пар; застуди воду — будет лед. Все та же вода бывает летучая, когда согреется, и крепкая, когда остынет.

Во льду нет тепла, в воде есть немного, а в паре — очень много.

Если ко льду приставить льдину, то льдина не согреется и не похолодеет.

А если польешь воды на лед, то лед потеплеет, а вода похолодеет. Лед растает, если воды много, и вода замерзнет, если льду много.

А если на лед пустить пар, то лед потеплеет, а пар похолодеет: лед растает, станет водой, а пар охолодеет и тоже станет водой.

Если вода холодная и воздух холодный, то ни вода не согреется, ни воздух не похолодеет. Но если воздух теплый, а вода холодная, что будет? — Из воздуха тепло будет переходить в воду, вода станет все теплее, а воздух все холоднее, до тех пор, пока они сравняются.

Если воздух теплее воды, то вода согреется, а воздух остынет; а если вода теплее, то воздух согреется, а вода остынет.

Если на воздухе из жидкой воды делается мерзлая вода, то, значит, вода теплее воздуха,— она будет холодеть, а воздух теплеть.

Если на воздухе летучая вода делается жидкой водой — значит, воздух холоднее летучей воды, и вода будет стыть, а воздух греться.

Если из крепкой воды делается на воздухе жидкая вода — значит, воздух теплее, он будет стыть, крепнуть, а лед греться.

Если на воздухе из воды делается пар, высыхает вода — значит, воздух теплее, он будет стыть, а вода греться.

Льдом нельзя греть, а водой и паром можно греть. Водой можно вот как греть: провести в холодный дом воду. Когда вода замерзнет, так лед выносить вон; опять замерзнет,— опять выносить вон. И в доме все будет теплее, и так станет тепло, что вода не станет уж мерзнуть. Отчего это так будет? — Оттого, что как вода замерзнет, так она выпустит из себя лишнее тепло в воздух, и до тех пор будет выпускать, пока воздух согреется, и вода перестанет мерзнуть.

Паром греют вот как: напустят пару в холодный дом. Пар станет охолаживаться, каплями потечет книзу и станет водой. Воду эту выносят, и в доме становится тепло.

Отчего это так будет? — Оттого, что как только пар станет водой, он выпустит из себя лишнее тепло в воздух.

Когда из воды делается лед, а из пара делается вода, то в воздух выходит тепло из воды и из пара — и воздух становится теплее. А когда из льда делается вода, а из воды делается пар, то тепло из воздуха выходит в воду и в пар — и воздух становится холоднее.

Если хочешь остудить теплую горницу, принеси льду и дай ему растаять. Отчего станет холоднее? — Оттого, что лед, чтоб ему сделаться водой, заберет в себя тепло из воздуха.

Если хочешь остудить, налей воды и дай ей высохнуть. Отчего так будет? — Оттого, что из воды сделается пар. А чтобы из воды сделаться паром, она заберет много тепла из воздуха.

От этого бывает холоднее, когда идет дождь, и теплее, когда собирается дождь. Когда идет дождь, то вода сохнет, испаряется и забирает в себя тепло. А когда собирается дождь, то в воздухе ходят пары и охлаждаются в тучи: от них-то и тепло.

Так и говорят, что парит.

ПЕРЕПЕЛКА И ПЕРЕПЕЛЯТА

(Басня)

Мужики косили луга, а в лугу, под кочкой, было перепелиное гнездо.

Перепелка с кормом прилетела к гнезду и увидала, что кругом все обкошено. Она и говорит перепелятам: «Ну, дети, беда пришла! Теперь молчите и не шевелитесь, а то пропадете; вечером переведу вас». А перепелята радовались, что в лугу светлее стало, и говорили: «Мать — старая, оттого и не хочет, чтобы мы веселились»,— и стали пищать и свистать.

Ребята принесли мужикам на покос обедать; услыхали перепелят и порвали им головы.

БУЛЬКА

(Рассказ офицера)

У меня была мордашка. Ее звали Булькой. Она была вся черная, только кончики передних лап были белые.

У всех мордашек нижняя челюсть длиннее верхней и верхние зубы заходят за нижние; но у Бульки нижняя челюсть так выдавалась вперед, что палец можно было заложить между нижними и верхними зубами. Лицо у Бульки было широкое; глаза большие, черные и блестящие; и зубы и клыки белые всегда торчали наружу. Он был похож на арапа. Булька был смирный и не кусался, но он был очень силен и цепок. Когда он, бывало, уцепится за что-нибудь, то стиснет зубы и повиснет, как тряпка, и его, как клещука, нельзя никак оторвать.

Один раз его пускали на медведя, и он вцепился медведю в ухо и повис, как пиявка. Медведь бил его лапами, прижимал к себе, кидал из стороны в сторону, но не мог оторвать и повалился на голову, чтобы раздавить Бульку; но Булька до тех пор на нем держался, пока его не отлили холодной водой.

Я взял его щенком и сам выкормил. Когда я ехал служить на Кавказ, я не хотел брать его и ушел от него потихоньку, а его велел запереть. На первой станции я хотел уже садиться на другую перекладную, как вдруг увидал, что по дороге катится что-то черное и блестящее. Это был Булька в своем медном ошейнике. Он летел во весь дух к станции. Он бросился ко мне, лизнул мою руку и растянулся в тени под телегой. Язык его высунулся на целую ладонь. Он то втягивал его назад, глотая слюни, то опять высовывал на целую ладонь. Он торопился, не поспевал дышать, бока его так и прыгали. Он поворачивался с боку на бок и постукивал хвостом о землю.

Я узнал потом, что он после меня пробил раму и выскочил из окна и прямо, по моему следу, поскакал по дороге и проскакал так верст двадцать в самый жар.

БУЛЬКА И КАБАН

(Рассказ)

Один раз на Кавказе мы пошли на охоту за кабанами, и Булька прибежал со мной. Только что гончие погнали, Булька бросился на их голос и скрылся в лесу. Это было в ноябре месяце; кабаны и свиньи тогда бывают очень жирные.

На Кавказе, в лесах, где живут кабаны, бывает много вкусных плодов: дикого винограду, шишек, яблок, груш, ежевики, желудей, терновнику. И когда все эти плоды поспеют и тронутся морозом,— кабаны отъедаются и жиреют.

В то время кабан так бывает жирен, что не долго может бегать под собаками. Когда его погоняют часа два, он забивается в чащу и останавливается. Тогда охотники бегут к тому месту, где он стоит, и стреляют. По лаю собак можно знать, стал ли кабан, или бежит. Если он бежит, то собаки лают с визгом, как будто их бьют; а если он стоит, то они лают, как на человека, и подвывают.

В эту охоту я долго бегал по лесу, но ни разу мне не удалось перебежать дорогу кабану. Наконец, я услыхал протяжный лай и вой гончих собак и побежал к тому месту. Уж я был близко от кабана. Мне уже слышен был треск по чаще. Это ворочался кабан с собаками. Но слышно было по лаю, что они не брали его, а только кружились около. Вдруг я услыхал — зашуршало что-то сзади, и увидал Бульку. Он, видно, потерял гончих в лесу и спутался, а теперь слышал их лай и так же, как я, что было духу катился в ту сторону. Он бежал через полянку, по высокой траве, и мне от него видна только была его черная голова и закушенный язык в белых зубах. Я окликнул его, но он не оглянулся, обогнал меня и скрылся в чаще. Я побежал за ним, но чем дальше я шел, тем лес становился чаще и чаще. Сучки сбивали с меня шапку, били по лицу, иглы терновника цеплялись за платье. Я уже был близок к лаю, но ничего не мог видеть.

Вдруг я услыхал, что собаки громче залаяли, что-то сильно затрещало, и кабан стал отдуваться и захрипел. Я так и думал, что теперь Булька добрался до него и возится с ним. Я из последних сил побежал чрез чащу к тому месту. В самой глухой чаще я увидал пеструю гончую собаку. Она лаяла и выла на одном месте, и в трех шагах от нее возилось и чернело что-то.

Когда я подвинулся ближе, я рассмотрел кабана и услыхал, что Булька пронзительно завизжал. Кабан захрюкал и посунулся на гончую,— гончая поджала хвост и отскочила. Мне стал виден бок кабана и его голова. Я прицелился в бок и выстрелил. Я видел, что попал.

Кабан хрюкнул и затрещал прочь от меня по чаще. Собаки визжали, лаяли следом за ним, я по чаще ломился за ними. Вдруг, почти у себя под ногами, я увидал и услыхал что-то. Это был Булька. Он лежал на боку и визжал. Под ним была лужа крови. Я подумал: пропала собака; но мне теперь не до него было, я ломился дальше. Скоро я увидал кабана. Собаки хватали его сзади, а он поворачивался то на ту, то на другую сторону. Когда кабан увидал меня, он сунулся ко мне. Я выстрелил другой раз, почти в упор, так что щетина загорелась на кабане, и кабан захрипел, зашатался и всей тушей тяжело хлопнулся наземь.

Когда я подошел, кабан уже был мертвый и только то там, то тут его пучило и подергивало. Но собаки, ощетинившись, одни рвали его за брюхо и за ноги, а другие лакали кровь из раны.

Тут я вспомнил про Бульку и пошел его искать. Он полз мне навстречу и стонал. Я подошел к нему, присел и посмотрел его рану. У него был распорот живот и целый комок кишок из живота волочился по сухим листьям. Когда товарищи подошли ко мне, мы вправили Бульке кишки и зашили ему живот. Пока зашивали живот и прокалывали кожу, он все лизал мне руки.

Кабана привязали к хвосту лошади, чтоб вывезти из лесу, а Бульку положили на лошадь и так привезли его домой. Булька проболел недель шесть и выздоровел.

ФАЗАНЫ

(Описание)

На Кавказе диких кур зовут фазанами. Их так много, что они там дешевле домашней курицы. За фазанами охотятся *с кобылкой, с подсаду и из-под собаки.*

С кобылкой вот как охотятся: возьмут парусины, натянут на рамку, в середине рамки сделают перекладину, а в парусине сделают прорешку. Эта рамка с парусиной называется кобылкой. С этой кобылкой и с ружьем на заре выходят в лес. Кобылку несут перед собой и высматривают в прорешку фазанов. Фазаны по зарям кормятся на полянках; иногда целый выводок — наседка с

цыплятами, иногда петух с курицей, иногда несколько петухов вместе.

Фазаны не видят человека, а не боятся парусины и подпускают к себе близко. Тогда охотник ставит кобылку, высовывает ружье в прореху и стреляет по выбору.

С подсаду охотятся вот как: пустят дворную собачонку в лес и ходят за ней. Когда собака найдет фазана, она бросится за ним. Фазан взлетит на дерево, и тогда собачонка начинает на него лаять. Охотник подходит на лай и стреляет фазана на дереве. Охота эта была бы легка, если бы фазан садился на дерево на чистом месте и сидел бы прямо на дереве — так, чтобы его бы видно было. Но фазаны всегда садятся на густые деревья, в чаще, и как завидят охотника, так прячутся в сучках. И бывает трудно пролезть в чаще к дереву, где сидит фазан, и трудно рассмотреть его. Когда собака одна лает на фазана, он не боится ее, сидит на сучке и еще петушится на нее и хлопает крыльями. Но как только он увидит человека, то сейчас же вытягивается по сучку, так что только привычный охотник различит его, а непривычный будет стоять подле и ничего не увидит.

Когда казаки подкрадываются к фазанам, то они надвигают шапку на свое лицо и не глядят вверх, потому что фазан боится человека с ружьем, а больше всего боится его глаз.

Из-под собаки охотятся вот как: берут легавую собаку и ходят за ней по лесу. Собака чутьем услышит, где на заре ходили и кормились фазаны, и станет разбирать их следы. И сколько бы ни напутали фазаны, хорошая собака всегда найдет последний след, выход с того места, где кормились. Чем дальше будет идти собака по следу, тем сильнее ей будет пахнуть, и так она дойдет до того места, где днем сидит в траве или ходит фазан. Когда она подойдет близко, тогда ей будет казаться, что фазан уж тут, прямо перед ней, и она все будет идти осторожнее, чтобы не спугнуть его, и будет останавливаться, чтобы сразу прыгнуть и поймать его. Когда собака подойдет совсем близко, тогда фазан вылетает, и охотник стреляет.

МИЛЬТОН И БУЛЬКА

(Рассказ)

Я завел себе для фазанов легавую собаку. Собаку эту звали Мильтон: она была высокая, худая, крапчатая по серому, с длинными брылами и ушами и очень сильная и умная. С Булькой они не грызлись. Ни одна собака никогда не огрызалась на Бульку. Он, бывало, только покажет свои зубы, и собаки поджимают хвосты и отходят прочь. Один раз я пошел с Мильтоном за фазанами. Вдруг Булька прибежал за мной в лес. Я хотел прогнать его, но никак не мог. А идти домой, чтобы отвести его, было далеко. Я думал, что он не будет мешать мне, и пошел дальше; но только что Мильтон почуял в траве фазана и стал искать, Булька бросился вперед и стал соваться во все стороны. Он ста́рался прежде Мильтона поднять фазана. Он что-то такое слышал в траве, прыгал, вертелся: но чутье у него плохое, и он не мог найти следа один, а смотрел на Мильтона и бежал туда, куда шел Мильтон. Только что Мильтон тронется по следу, Булька забежит вперед. Я отзывал Бульку, бил, но ничего не мог сделать с ним. Как только Мильтон начинал искать, он бросался вперед и мешал ему. Я хотел уже идти домой, потому что думал, что охота моя испорчена, но Мильтон лучше меня придумал, как обмануть Бульку. Он вот что сделал: как только Булька забежит ему вперед, Мильтон бросит след, повернет в другую сторону и притворится, что он ищет. Булька бросится туда, куда показал Мильтон, а Мильтон оглянется на меня, махнет хвостом и пойдет опять по настоящему следу. Булька опять прибегает к Мильтону, забегает вперед, и опять Мильтон нарочно сделает шагов десять в сторону, обманет Бульку и опять поведет меня прямо. Так что всю охоту он обманывал Бульку и не дал ему испортить дело.

ЧЕРЕПАХА

(Рассказ)

Один раз я пошел с Мильтоном на охоту. Подле леса он начал искать, вытянул хвост, поднял уши и стал принюхиваться. Я приготовил ружье и пошел за ним. Я ду-

мал, что он ищет куропатку, фазана или зайца. Но Мильтон не пошел в лес, а в поле. Я шел за ним и глядел вперед. Вдруг я увидал то, что он искал. Впереди его бежала небольшая черепаха, величиною с шапку. Голая темно-серая голова на длинной шее была вытянута, как пестик; черепаха широко перебирала голыми лапами, а спина ее вся была покрыта корой.

Когда она увидала собаку, она спрятала ноги и голову и опустилась на траву, так что видна была только одна скорлупа. Мильтон схватил ее и стал грызть, но не мог прокусить ее, потому что у черепахи на брюхе такая же скорлупа, как и на спине. Только спереди, сзади и с боков есть отверстия, куда она пропускает голову, ноги и хвост.

Я отнял черепаху у Мильтона и рассмотрел, как у нее разрисована спина, и какая скорлупа, и как она туда прячется. Когда держишь ее в руках и смотришь под скорлупу, то только внутри, как в подвале, видно что-то черное и живое. Я бросил черепаху на траву и пошел дальше, но Мильтон не хотел ее оставить, а нес в зубах за мною. Вдруг Мильтон взвизгнул и пустил ее. Черепаха у него во рту выпустила лапу и царапнула ему рот. Он так рассердился на нее за это, что стал лаять, и опять схватил ее и понес за мною. Я опять велел бросить, но Мильтон не слушался меня. Тогда я отнял у него черепаху и бросил. Но он не оставил ее. Он стал торопиться лапами подле нее рыть яму. И когда вырыл яму, то лапами завалил в яму черепаху и закопал землею.

Черепахи живут и на земле, и в воде, как ужи и лягушки. Детей они выводят яйцами, и яйца кладут на земле, и не высиживают их, а яйца сами, как рыбья икра, лопаются — и выводятся черепахи. Черепахи бывают маленькие, не больше блюдечка, и большие, в три аршина длины и весом в 20 пудов. Большие черепахи живут в морях.

Одна черепаха в весну кладет сотни яиц. Скорлупа черепахи — это ее ребра. Только у людей и других животных ребра бывают каждое отдельно, а у черепахи ребра срослись в скорлупу. Главное же то, что у всех животных ребра бывают внутри, под мясом, а у черепахи ребра сверху, а мясо под ними.

БУЛЬКА И ВОЛК

(Рассказ)

Когда я уезжал с Кавказа, тогда еще там была война, и ночью опасно было ездить без конвоя.

Я хотел выехать как можно раньше утром и для этого не ложился спать.

Мой приятель пришел провожать меня, и мы сидели весь вечер и ночь на улице станицы перед моей хатой.

Была месячная ночь с туманом, и было так светло, что читать можно, хотя месяца и не видно было.

В середине ночи мы вдруг услыхали, что через улицу на дворе пищит поросенок. Один из нас закричал: «Это волк душит поросенка».

Я побежал к себе в хату, схватил заряженное ружье и выбежал на улицу. Все стояли у ворот того двора, где пищал поросенок, и кричали мне: «Сюда!» Мильтон бросился за мной,— верно, думал, что я на охоту иду с ружьем,— а Булька поднял свои короткие уши и метался из стороны в сторону, как будто спрашивал, в кого ему велят вцепиться. Когда я подбежал к плетню, я увидал, что с той стороны двора, прямо ко мне, бежит зверь. Это был волк. Он подбежал к плетню и вскочил на него. Я отсторонился от него и приготовил ружье. Как только волк соскочил с плетня на мою сторону, я приложился почти в упор и спустил курок; но ружье сделало «чик» и не выстрелило. Волк не остановился и побежал через улицу. Мильтон и Булька пустились за ним. Мильтон был близко от волка, но, видно, боялся схватить его, а Булька, как ни торопился на своих коротких ногах, не мог поспеть. Мы бежали что было силы за волком, но и волк и собаки скрылись у нас из виду. Только у канавы, на углу станицы, мы услыхали подлаиванье, визг и видели сквозь месячный туман, что поднялась пыль и что собаки возились с волком. Когда мы прибежали к канаве, волка уже не было, и обе собаки вернулись к нам с поднятыми хвостами и рассерженными лицами. Булька рычал и толкал меня головой,— он, видно, хотел что-то рассказать, но не умел.

Мы осмотрели собак и нашли, что у Бульки на голове была маленькая рана. Он, видно, догнал волка перед канавой, но не успел захватить, и волк огрызнулся и убе-

жал. Рана была небольшая, так что ничего опасного не было.

Мы вернулись назад к хате, сидели и разговаривали о том, что случилось. Я досадовал на то, что ружье мое осеклось, и все думал о том, как бы тут же на месте остался волк, если б оно выстрелило. Приятель мой удивлялся, как волк мог залезть на двор. Старый казак говорил, что тут нет ничего удивительного, что это был не волк, что это была ведьма и что она заколдовала мое ружье. Так мы сидели и разговаривали. Вдруг собаки бросились, и мы увидали на средине улицы, перед нами, опять того же волка; но в этот раз он, от нашего крика, так скоро побежал, что собаки уже не догнали его.

Старый казак после этого уже совсем уверился, что это был не волк, а ведьма; а я подумал, что не бешеный ли это был волк, потому что я никогда не видывал и не слыхивал, чтобы волк, после того как его прогнали, вернулся опять на народ.

На всякий случай я посыпал Бульке на рану пороху и зажег его. Порох вспыхнул и выжег больное место.

Я выжег порохом рану затем, чтобы выжечь бешеную слюну, если она еще не успела войти в кровь. Если же попала слюна и вошла уже в кровь, то я знал, что по крови она разойдется по всему телу, и тогда уже нельзя вылечить.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С БУЛЬКОЙ В ПЯТИГОРСКЕ

(Рассказ)

Из станицы я поехал не прямо в Россию, а сначала в Пятигорск, и там пробыл два месяца. Мильтона я подарил казаку-охотнику, а Бульку взял с собой в Пятигорск.

Пятигорск так называется оттого, что он стоит на горе Бештау. А Беш по-татарски значит пять, тау — гора. Из этой горы течет горячая серная вода. Вода эта горяча, как кипяток, и над местом, где идет вода из горы, всегда стоит пар, как над самоваром. Все место, где стоит город, очень веселое. Из гор текут горячие родники, под горой течет речка Подкумок. По горе — леса, кругом — поля, а вдалеке всегда видны большие Кавказские горы. На этих горах снег никогда не тает, и они всегда белые, как са-

хар. Одна большая гора Эльбрус, как сахарная белая голова, видна отовсюду, когда ясная погода. На горячие ключи приезжают лечиться; и над ключами сделаны беседки, навесы, кругом разбиты сады и дорожки. По утрам играет музыка, и народ пьет воду или купается и гуляет.

Самый город стоит на горе, а под горой есть слобода. Я жил в этой слободе в маленьком домике. Домик стоял на дворе, и перед окнами был садик, а в саду стояли хозяйские пчелы — не в колодах, как в России, а в круглых плетушках. Пчелы там так смирны, что я всегда по утрам с Булькой сиживал в этом садике промежду ульев.

Булька ходил промежду ульев, удивлялся на пчел, нюхал, слушал, как они гудят, но так осторожно ходил около них, что не мешал им, и они его не трогали.

Один раз утром я вернулся домой с вод и сел пить кофей в палисаднике. Булька стал чесать себе за ушами и греметь ошейником. Шум тревожил пчел, и я снял с Бульки ошейник. Немного погодя я услыхал из города с горы странный и страшный шум. Собаки лаяли, выли, визжали, люди кричали, и шум этот спускался с горы и подходил все ближе и ближе к нашей слободе. Булька перестал чесаться, уложил свою широкую голову с белыми зубами промеж передних белых лапок, уложил и язык, как ему надо было, и смирно лежал подле меня. Когда он услыхал шум, он как будто понял, что это такое, насторожил уши, оскалил зубы, вскочил и начал рычать. Шум приближался. Точно собаки со всего города выли, визжали и лаяли. Я вышел к воротам посмотреть, и хозяйка моего дома подошла тоже. Я спросил: «Что это такое?» Она сказала: «Это колодники из острога ходят — собак бьют. Развелось много собак, и городское начальство велело бить всех собак по городу».

— Как, и Бульку убьют, если попадется?

— Нет, в ошейниках не велят бить.

В то самое время, как я говорил, колодники подошли уже к нашему двору.

Впереди шли солдаты, сзади четыре колодника в цепях. У двух колодников в руках были длинные железные крючья и у двух дубины. Перед нашими воротами один колодник крючком зацепил дворную собачонку, притянул ее на середину улицы, а другой колодник стал бить ее дубиной. Собачонка визжала ужасно, а колодни-

ки кричали что-то и смеялись. Колодник с крючком перевернул собачонку, и когда увидал, что она издохла, он вынул крючок и стал оглядываться, нет ли еще собаки.

В это время Булька стремглав, как он кидался на медведя, бросился на этого колодника. Я вспомнил, что он без ошейника, и закричал: «Булька, назад!» — и кричал колодникам, чтобы они не били Бульку. Но колодник увидал Бульку, захохотал и крючком ловко ударил в Бульку и зацепил его за ляжку. Булька бросился прочь; но колодник тянул к себе и кричал другому: «Бей!» Другой замахнулся дубиной, и Булька был бы убит, но он рванулся, кожа прорвалась на ляжке, и он, поджав хвост, с красной раной на ноге, стремглав влетел в калитку, в дом и забился под мою постель.

Он спасся тем, что кожа его прорвалась насквозь в том месте, где был крючок.

КОНЕЦ БУЛЬКИ И МИЛЬТОНА

(Рассказ)

Булька и Мильтон кончились в одно и то же время. Старый казак не умел обращаться с Мильтоном. Вместо того чтобы брать его с собою только на птицу, он стал водить его за кабанами. И в ту же осень секач[1] кабан спорол его. Никто не умел его зашить, и Мильтон издох.

Булька тоже недолго жил после того, как он спасся от колодников. Скоро после своего спасения от колодников он стал скучать и стал лизать все, что ему попадалось. Он лизал мне руки, но не так, как прежде, когда ласкался. Он лизал долго и сильно налегал языком, а потом начинал прихватывать зубами. Видно, ему нужно было кусать руку, но он не хотел. Я не стал давать ему руку. Тогда он стал лизать мой сапог, ножку стола и потом кусать сапог или ножку стола. Это продолжалось два дня, а на третий день он пропал, и никто не видал и не слыхал про него.

Украсть его нельзя было, и уйти от меня он не мог, а случилось это с ним шесть недель после того, как его укусил волк. Стало быть, волк, точно, был бешеный.

---

[1] Секач — двухгодовалый кабан с острым, не загнутым клыком. (*Примеч. Л. Н. Толстого.*)

Булька взбесился и ушел. С ним сделалось то, что называют по-охотничьи — стечка. Говорят, что бешенство в том состоит, что у бешеного животного в горле делаются судороги. Бешеные животные хотят пить и не могут, потому что от воды судороги делаются сильнее. Тогда они от боли и от жажды выходят из себя и начинают кусать. Верно, у Бульки начинались эти судороги, когда он начинал лизать, а потом кусать мою руку и ножку стола.

Я ездил везде по округе и спрашивал про Бульку, но не мог узнать, куда он делся и как он издох. Если бы он бегал и кусал, как делают бешеные собаки, то я бы услыхал про него. А верно, он забежал куда-нибудь в глушь и один умер там. Охотники говорят, что когда с умной собакой сделается стечка, то она убегает в поля или леса и там ищет травы, какой ей нужно, вываливается по росам и сама лечится. Видно, Булька не мог вылечиться. Он не вернулся и пропал.

ПТИЦЫ И СЕТИ

(Басня)

Охотник поставил у озера сети и накрыл много птиц. Птицы были большие, подняли сеть и улетели с ней. Охотник побежал за птицами. Мужик увидал, что охотник бежит, и говорит: «И куда бежишь? Разве пешком можно догнать птицу?» Охотник сказал: «Кабы одна была птица, я бы не догнал, а теперь догоню».

Так и сделалось. Как пришел вечер, птицы потянули на ночлег, каждая в свою сторону: одна к лесу, другая к болоту, третья в поле; и все с сетью упали на землю, и охотник взял их.

ЧУТЬЕ

(Рассуждение)

Человек видит глазами, слышит ушами, нюхает носом, отведывает языком и щупает пальцами. У одного человека лучше видят глаза, а у другого хуже. Один слышит издали, а другой глух. У одного чутье сильнее, и он

слышит, чем пахнет издалека, а другой нюхает гнилое яйцо, а не чует. Один ощупью узнает всякую вещь, а другой ничего на ощупь не узнает, не разберет дерева от бумаги. Один чуть возьмет в рот, слышит, что сладко, а другой проглотит и не разберет, горько или сладко.

Так и у зверей разных разные чувства сильнее. Но у всех зверей чутье сильнее, чем у человека.

Человек, когда захочет узнать вещь, посмотрит ее, послушает, как она шумит, иногда понюхает и отведает; но человеку для того, чтобы узнать вещь, нужнее всего ее пощупать.

А для зверей почти для всех нужнее всего понюхать вещь. Лошадь, волк, собака, корова, медведь до тех пор не знают вещи, пока ее не понюхают.

Когда лошадь чего-нибудь боится, она фыркает — прочищает себе нос, чтобы лучше чуять, и до тех пор не перестанет бояться, пока не обнюхает.

Собака часто бежит за хозяином по следу, а увидит хозяина — испугается, не узна́ет и начнет лаять до тех пор, пока не обнюхает его и не узна́ет, что то, что ей на глаз страшно, есть самый ее хозяин.

Быки видят, как бьют быков, слышат, как ревут быки на бойне, и всё не понимают, что такое делается. Но стоит корове или быку найти на место, где бычачья кровь, да понюхать, и он поймет, начнет реветь, бить ногами, и его не отгонишь от того места.

У одного старика заболела жена; он пошел сам доить корову. Корова фыркнула, узнала, что не хозяйка, и не давала молока. Хозяйка велела мужу надеть свою шубейку и платок на голову,— корова дала молоко; но старик распахнулся, корова понюхала и опять остановила молоко.

Гончие собаки, когда гоняют зверя по следу, то никогда не бегут по самому следу, а стороной, шагов на 20. Когда незнающий охотник хочет навесть собаку на след зверя и ткнет собаку носом в самый след, то собака всегда отскочит в сторону. Для нее след так сильно пахнет, что она ничего не разберет на самом следе и не знает, вперед или назад побежал зверь. Она отбежит в сторону и тогда только чует, в какую сторону сильнее пахнет, и бежит за зверем. Она делает то же, что мы делаем, если нам говорят громко над самым ухом: мы отой-

дем и тогда издали только разберем, что говорят; или когда слишком близко от нас то, что мы рассматриваем,— мы отстранимся и тогда рассмотрим.

Собаки узнают друг друга и дают друг другу знаки по запаху.

Еще тоньше чутье у насекомых. Пчела прямо летит на тот цветок, какой ей нужен. Червяк ползет к своему листу. Клоп, блоха, комар чуют человека на сотни тысяч клопиных шагов.

Если малы частицы те, которые отделяются от вещества и попадают в наш нос, то как же малы должны быть частицы те, которые попадают в чутье насекомых!

СОБАКИ И ПОВАР

(Басня)

Повар готовил обед; собаки лежали у дверей кухни. Повар убил теленка и бросил кишки на двор. Собаки подхватили, поели и говорят: «Повар хороший: хорошо стряпает».

Немного погодя повар стал чистить горох, репу и лук и выбросил обрезки. Собаки кинулись, отвернули носы и говорят: «Испортился наш повар — прежде хорошо готовил, а теперь никуда не годится».

Но повар не слушал собак, а стряпал обед по-своему. Обед съели и похвалили хозяева, а не собаки.

ОСНОВАНИЕ РИМА

(История)

Был один царь, и у него было два сына: Нумитор и Амулий. Когда он умирал, он сказал сыновьям: «Как вы хотите разделиться между собою? Кто возьмет себе царство, а кто все мои богатства?» Нумитор взял царство, а Амулий взял богатства. Когда Амулий взял богатства, ему стало завидно, что брат его царем, и он стал дарить солдат и уговаривать, чтобы они прогнали Нумитора, а его бы поставили царем. Солдаты так и сделали, и Амулий стал царем. У Нумитора была дочь. У дочери

этой родилась двойня — два мальчика. Оба были велики и красивы.

Амулий боялся, чтобы народ не полюбил этих близнецов, когда они вырастут, и не выбрал бы их царями. Он позвал своего слугу, Фаустина, и сказал ему: «Возьми этих двух мальчиков и брось их в реку».

Река называлась Тибр.

Фаустин положил детей в зыбку, отнес на берег и положил там. Фаустин думал, что они помрут сами. Но Тибр разлился до берега, поднял колыбельку, понес ее и поставил у высокого дерева. Ночью пришла волчица и стала своим молоком кормить близнецов.

Мальчики выросли большие и стали красивые и сильные. Они жили в лесу недалеко от того города, где жил Амулий, научились бить зверей и тем кормились. Народ узнал их и полюбил за их красоту. Большого прозвали *Ромулом*, а *меньшого — Ремом*.

Один раз пастухи Нумитора и Амулия стерегли скотину недалеко от леса и поссорились: Амулиевы пастухи угнали стада Нумитора. Близнецы увидали это и побежали за пастухами, догнали их и отняли скотину.

Пастухи Нумитора были сердиты за это на близнецов, выбрали время, когда Ромула не было, схватили Рема и привели в город к Нумитору и говорят: «Проявились в лесу два брата, отбивают скотину и разбойничают. Вот мы одного поймали и привели». Нумитор велел отвести Рема к царю Амулию. Амулий сказал: «Они обидели братниных пастухов, пускай брат их и судит». Рема опять привели к Нумитору. Нумитор позвал его к себе и спросил: «Откуда ты и кто ты такой?»

Рем сказал: «Нас два брата; когда мы были маленькие, нас принесло в колыбельке к дереву на берегу Тибра, и там нас кормили дикие звери и птицы. И там мы выросли. А чтобы узнать, кто мы такие,— у нас осталась наша зыбка. На ней медные полоски и на полосках что-то написано».

Нумитор удивился и подумал: не его ли это внуки? Он оставил у себя Рема и послал за Фаустином, чтобы спросить его.

Между тем Ромул искал брата и нигде не мог найти его. Когда ему сказали пастухи, что брата повели в город,— он взял с собою зыбку и пошел за ним. Фаустин сейчас узнал зыбку и сказал народу, что это внуки Ну-

митора, что Амулий хотел утопить их. Тогда народ озлобился на Амулия и убил его, а Ромула и Рема выбрал царями. Но Ромул и Рем не захотели жить в этом городе и оставили тут царствовать своего деда Нумитора. А сами пошли назад к тому месту под деревом, где их выкормила волчица, подле реки Тибра, и построили там новый город — Рим.

БОГ ПРАВДУ ВИДИТ, ДА НЕ СКОРО СКАЖЕТ

(Быль)

В городе Владимире жил молодой купец Аксенов. У него были две лавки и дом.

Из себя Аксенов был русый, кудрявый, красивый и первый весельчак и песенник. Смолоду Аксенов много пил, и когда напивался — буянил, но с тех пор как женился, он бросил пить, и только изредка это случалось с ним.

Раз летом Аксенов поехал в Нижний на ярмарку. Когда он стал прощаться с семьей, жена сказала ему:

— Иван Дмитриевич, не езди ты нынче, я про тебя дурно во сне видела.

Аксенов посмеялся и сказал:

— Ты все боишься, как бы не загулял я на ярмарке?

Жена сказала:

— Не знаю сама, чего боюсь, а так дурно видела,— видела, будто ты приходишь из города, снял шапку, а я гляжу: голова у тебя вся седая.

Аксенов засмеялся.

— Ну, это к прибыли. Смотри, как расторгуюсь, дорогих гостинцев привезу.

И он простился с семьей и уехал.

На половине дороги съехался он с знакомым купцом и с ним вместе остановился ночевать. Они напились чаю вместе и легли спать в двух комнатах рядом. Аксенов не любил долго спать; он проснулся среди ночи и, чтобы легче холодком было ехать, взбудил ямщика и велел запрягать. Потом вышел в черную избу, расчелся с хозяином и уехал.

Отъехавши верст сорок, он опять остановился кормить, отдохнул в сенях на постоялом дворе и в обед

вышел на крыльцо и велел поставить самовар; достал гитару и стал играть; вдруг ко двору подъезжает тройка с колокольчиком, и из повозки выходит чиновник с двумя солдатами, подходит к Аксенову и спрашивает: кто, откуда? Аксенов все рассказывает, как есть, и просит: не угодно ли чайку вместе выпить? Только чиновник все пристает с расспросами: «Где ночевал прошлую ночь? Один или с купцом? Видел ли купца поутру? Зачем рано уехал со двора?» Аксенов удивился, зачем его обо всем спрашивают: все рассказал, как было, да и говорит: «Что ж вы меня так выспрашиваете? Я не вор, не разбойник какой-нибудь. Еду по своему делу, и нечего меня спрашивать».

Тогда чиновник кликнул солдат и сказал:

— Я исправник и спрашиваю тебя затем, что купец, с каким ты ночевал прошлую ночь, зарезан. Покажи вещи, а вы обыщите его.

Взошли в избу, взяли чемодан и мешок и стали развязывать и искать. Вдруг исправник вынул из мешка ножик и закричал:

— Это чей ножик?

Аксенов поглядел, видит — ножик в крови из его мешка достали, и испугался.

— А отчего кровь на ноже?

Аксенов хотел отвечать, но не мог выговорить слова.

— Я... я не знаю... я... нож... я... не мой...

Тогда исправник сказал:

— Поутру купца нашли зарезанным на постели. Кроме тебя, некому было это сделать. Изба была заперта изнутри, а в избе никого, кроме тебя, не было. Вот и ножик в крови у тебя в мешке, да и по лицу видно. Говори, как ты убил его и сколько ты ограбил денег?

Аксенов божился, что не он это сделал, что не видал купца после того, как пил чай с ним, что деньги у него свои 8000, что ножик не его. Но голос у него обрывался, лицо было бледно, и он весь трясся от страха, как виноватый.

Исправник позвал солдат, велел связать и вести его на телегу. Когда его с связанными ногами взвалили на телегу, Аксенов перекрестился и заплакал. У Аксенова обобрали вещи и деньги, отослали его в ближний город, в острог. Послали во Владимир узнать, какой человек был Аксенов, и все купцы и жители владимирские пока-

знали, что Аксенов смолоду пил и гулял, но был человек хороший. Тогда его стали судить. Судили его за то, что он убил рязанского купца и украл 20 000 денег.

Жена убивалась о муже и не знала, что думать. Дети ее еще все были малы, а один был у груди. Она забрала всех с собою и поехала в тот город, где ее муж содержался в остроге. Сначала ее не пускали, но потом она упросила начальников, и ее привели к мужу. Когда она увидала его в острожном платье, в цепях, вместе с разбойниками,— она ударилась о землю и долго не могла очнуться. Потом она поставила детей вокруг себя, села с ним рядышком и стала сказывать ему про домашние дела и спрашивать его про все, что с ним случилось. Он все рассказал ей. Она сказала:

— Как же быть теперь?

Он сказал:

— Надо просить царя. Нельзя же невинному погибать!

Жена сказала, что она уже подавала прошение царю, но что прошение не дошло. Аксенов ничего не сказал и только потупился. Тогда жена сказала:

— Недаром я тогда, помнишь, видела сон, что ты сед стал. Вот уж и вправду ты с горя поседел. Не ездить бы тебе тогда.

И она начала перебирать его волоса и сказала:

— Ваня, друг сердечный, жене скажи правду: не ты сделал это?

Аксенов сказал: «И ты подумала на меня!» — закрылся руками и заплакал. Потом пришел солдат и сказал, что жене с детьми надо уходить. И Аксенов в последний раз простился с семьей.

Когда жена ушла, Аксенов стал вспоминать, что говорили. Когда он вспомнил, что жена тоже подумала на него и спрашивала его, он ли убил купца, он сказал себе: «Видно, кроме бога, никто не может знать правды, и только его надо просить и от него только ждать милости». И с тех пор Аксенов перестал подавать прошения, перестал надеяться и только молился богу.

Аксенова присудили наказать кнутом и сослать в каторжную работу. Так и сделали.

Его высекли кнутом и потом, когда от кнута раны зажили, его погнали с другими каторжниками в Сибирь.

В Сибири, на каторге, Аксенов жил 26 лет. Волоса его на голове стали белые как снег, и борода отросла длинная, узкая и седая. Вся веселость его пропала. Он сгорбился, стал ходить тихо, говорил мало, никогда не смеялся и часто молился богу.

В остроге Аксенов выучился шить сапоги и на заработанные деньги купил Четьи-Минеи и читал их, когда был свет в остроге; а по праздникам ходил в острожную церковь, читал Апостол и пел на клиросе,— голос у него все еще был хорош. Начальство любило Аксенова за его смиренство, а товарищи острожные почитали его и называли «дедушкой» и «божьим человеком». Когда бывали просьбы по острогу, товарищи всегда Аксенова посылали просить начальство, и когда промеж каторжных были ссоры, то они всегда к Аксенову приходили судиться.

Из дому никто не писал писем Аксенову, и он не знал, живы ли его жена и дети.

Привели раз на каторгу новых колодников. Вечером все старые колодники собрались вокруг новых и стали их расспрашивать, кто из какого города или деревни и кто за какие дела. Аксенов тоже подсел на нары подле новых и, потупившись, слушал, кто что рассказывал. Один из новых колодников был высокий, здоровый старик лет 60-ти, с седой стриженой бородой. Он рассказывал, за что его взяли. Он говорил:

— Так, братцы, ни за что сюда попал. У ямщика лошадь отвязал от саней. Поймали, говорят: украл. А я говорю: я только доехать скорей хотел,— я лошадь пустил. Да и ямщик мне приятель. Порядок, я говорю?— Нет, говорят, украл. А того не знают, что и где украл. Были дела, давно бы следовало сюда попасть, да не могли уличить, а теперь не по закону сюда загнали. Да врешь,— бывал в Сибири, да недолго гащивал...

— А ты откуда будешь? — спросил один из колодников.

— А мы из города Владимира, тамошние мещане. Звать Макаром, а величают Семеновичем.

Аксенов поднял голову и спросил:

— А что, не слыхал ли, Семеныч, во Владимире-городе про Аксеновых-купцов? Живы ли?

— Как не слыхать! Богатые купцы, даром что отец в Сибири. Такой же, видно, как и мы, грешные. А ты сам, дедушка, за какие дела?

Аксенов не любил говорить про свое несчастье; он вздохнул и сказал:

— По грехам своим двадцать шестой год нахожусь в каторжной работе.

Макар Семенов сказал:

— А по каким же таким грехам?

Аксенов сказал: «Стало быть, стоило того», и не хотел больше рассказывать, но другие острожные товарищи рассказали новому, как Аксенов попал в Сибирь. Они рассказали, как на дороге кто-то убил купца и подсунул Аксенову ножик и как за это его понапрасну засудили.

Когда Макар Семенов услыхал это, он взглянул на Аксенова, хлопнул себя руками по коленам и сказал:

— Ну, чудо! Вот чудо-то! Постарел же ты, дедушка!

Его стали спрашивать, чему он удивлялся и где он видел Аксенова; но Макар Семенов не отвечал, он только сказал:

— Чудеса, ребята, где свидеться пришлось!

И с этих слов пришло Аксенову в мысли, что не знает ли этот человек про то, кто убил купца. Он сказал:

— Или ты слыхал, Семеныч, прежде про это дело, или видал меня прежде?

— Как не слыхать! Земля слухом полнится. Да давно уж дело было: что и слыхал, то забыл,— сказал Макар Семенов.

— Может, слыхал, кто купца убил? — спросил Аксенов.

Макар Семенов засмеялся и сказал:

— Да, видно, тот убил, у кого ножик в мешке нашелся. Если кто и подсунул тебе ножик, не пойман — не вор. Да и как же тебе ножик в мешок сунуть? Ведь он у тебя в головах стоял? Ты бы услыхал.

Как только Аксенов услыхал эти слова, он подумал, что этот самый человек убил купца. Он встал и отошел прочь. Всю эту ночь Аксенов не мог заснуть. Нашла на него скука, и стало ему представляться: то представлялась ему его жена такою, какою она была, когда провожала его в последний раз на ярмарку. Так и видел он ее как живую, и видел ее лицо и глаза, и слышал, как она говорила ему и смеялась. Потом представлялись ему дети, такие, какие они были тогда,— маленькие, один в шубке, другой у груди. И себя он вспоминал, каким он был тогда — веселым, молодым; вспоминал, как он сидел

на крылечке на постоялом дворе, где его взяли, и играл на гитаре, и как у него на душе весело было тогда. И вспомнил лобное место, где его секли, и палача, и народ кругом, и цепи, и колодников, и всю 26-летнюю острожную жизнь, и свою старость вспомнил. И такая скука нашла на Аксенова, что хоть руки на себя наложить.

«И все от того злодея!» — думал Аксенов.

И нашла на него такая злость на Макара Семенова, что хоть самому пропасть, а хотелось отмстить ему. Он читал молитвы всю ночь, но не мог успокоиться. Днем он не подходил к Макару Семенову и не смотрел на него.

Так прошли две недели. По ночам Аксенов не мог спать, и на него находила такая скука, что он не знал, куда деваться.

Один раз, ночью, он пошел по острогу и увидал, что из-под одной пары сыплется земля. Он остановился посмотреть. Вдруг Макар Семенов выскочил из-под нары и с испуганным лицом взглянул на Аксенова. Аксенов хотел пройти, чтоб не видеть его; но Макар ухватил его за руку и рассказал, как он прокопал проход под стенами и как он землю каждый день выносит в голенищах и высыпает на улицу, когда их гоняют на работу. Он сказал:

— Только молчи, старик, я и тебя выведу. А если скажешь,— меня засекут, да и тебе не спущу — убью.

Когда Аксенов увидал своего злодея, он весь затрясся от злости, выдернул руку и сказал:

— Выходить мне незачем и убивать меня нечего,— ты меня уже давно убил. А сказывать про тебя буду или нет,— как бог на душу положит.

На другой день, когда вывели колодников на работу, солдаты приметили, что Макар Семенов высыпал землю, стали искать в остроге и нашли дыру. Начальник приехал в острог и стал всех допрашивать: кто выкопал дыру? Все отпирались. Те, которые знали, не выдавали Макара Семенова, потому что знали, что за это дело его засекут до полусмерти. Тогда начальник обратился к Аксенову. Он знал, что Аксенов был справедливый человек, и сказал:

— Старик, ты правдив; скажи мне перед богом, кто это сделал?

Макар Семенов стоял как ни в чем не бывало, и смотрел на начальника, и не оглядывался на Аксенова. У Ак-

Семенова тряслись руки и губы, и он долго не мог слова выговорить. Он думал: «Если скрыть его, за что же я его прощу, когда он меня погубил? Пускай поплатится за мое мученье. А сказать на него, точно — его засекут. А что, как я понапрасну на него думаю? Да что ж, мне легче разве будет?»

Начальник еще раз сказал: «Ну, что ж, старик, говори правду: кто подкопался?»

Аксенов поглядел на Макара Семенова и сказал:

— Я не видал и не знаю.

Так и не узнали, кто подкопался.

На другую ночь, когда Аксенов лег на свою нару и чуть задремал, он услыхал, что кто-то подошел и сел у него в ногах. Он посмотрел в темноте и узнал Макара.

Аксенов сказал:

— Что тебе еще от меня надо? Что ты тут делаешь?

Макар Семенов молчал. Аксенов приподнялся и сказал:

— Что надо? Уйди! А то я солдата кликну.

Макар Семенов нагнулся близко к Аксенову и шепотом сказал:

— Иван Дмитриевич, прости меня!

Аксенов сказал:

— За что тебя прощать?

— Я купца убил, я и ножик тебе подсунул. Я и тебя хотел убить, да на дворе зашумели: я сунул тебе ножик в мешок и вылез в окно. — Аксенов молчал и не знал, что сказать. Макар Семенов спустился с нары, поклонился в землю и сказал:

— Иван Дмитриевич, прости меня, прости, ради бога. Я объявлюсь, что я купца убил,— тебя простят. Ты домой вернешься.

Аксенов сказал:

— Тебе говорить легко, а мне терпеть каково! Куда я пойду теперь?.. Жена померла, дети забыли; мне ходить некуда...

Макар Семенов не вставал с полу и бился головой о землю и говорил:

— Иван Дмитрич, прости! Когда меня кнутом секли, мне легче было, чем теперь на тебя смотреть... А ты еще пожалел меня — не сказал. Прости меня, ради Христа! Прости ты меня, злодея окаянного! — и он зарыдал.

Когда Аксенов услыхал, что Макар Семенов плачет, он сам заплакал и сказал:

— Бог простит тебя; может быть, я во сто раз хуже тебя! — И вдруг у него на душе легко стало. И он перестал скучать о доме, и никуда не хотел из острога, а только думал о последнем часе.

Макар Семенов не послушался Аксенова и объявился виноватым. Когда вышло Аксенову разрешение вернуться, Аксенов уже умер.

КРИСТАЛЛЫ

(Рассуждение)

Если сыпать в воду соль и мешать, то соль станет расходиться и так разойдется в воде, что не видать будет соли; но если сыпать еще и еще соли, то под конец соль уж перестанет распускаться, а сколько ты ее ни мешай, так и останется белым порошком в воде. Вода насытилась солью и больше уж принять не может. Но если разогреть воду, она примет еще; и соль, та, которая не распускалась в холодной воде, распустится в горячей. Но если еще насыпать соли, тогда уж и горячая вода не примет больше соли. А если больше станешь греть воду, то сама вода уйдет паром, и соли еще больше останется. Так на каждую вещь, какую вода распускает, у воды есть мера, дальше чего ей нельзя распустить. Каждой вещи вода распускает больше, когда горяча, чем когда холодна, но все же — как насытится горячая вода, так дальше уж не принимает. Вещь останется сама по себе, а вода уйдет паром.

Если насытить воду селитряным порошком, а потом подсыпать еще селитры лишней, всё согреть и не мешавши дать остынуть, то селитра лишняя не ляжет порошком на дне воды, а соберется вся шестигранными столбиками и сядет на дне и по бокам, столбик подле столбика. Если насытить воду селитряным порошком и поставить в теплом месте, то вода уйдет паром, а селитра лишняя также сложится столбиками шестигранными.

Если насытить воду простою солью, согреть и также дать уйти воде паром, то лишняя соль сложится тоже не порошком, а кубиками. Если насытить воду селитрой

с солью вместе, лишняя селитра и соль не смешаются, сложатся каждая по-своему — селитра столбиками, а соль кубиками.

Если насытить воду известкой, или другою солью, или еще чем-нибудь, то каждая вещь, когда вода выйдет паром, сложится по-своему: какая в трехгранные столбики, какая в восьмигранные, какая кирпичиками, какая звездочками,— каждая по-своему. Эти-то фигуры разные бывают во всех крепких вещах. Иногда фигуры эти большие, в руку; такие находят камни в земле. Иногда фигуры эти так малы, что простым глазом не разберешь их; но в каждой вещи есть свои фигуры.

Если, когда вода насыщена селитрой и в ней начинают складываться фигуры, отломить иголочкой край фигуры, то опять на то же место придут новые кусочки селитры и опять заделают отломанный край точно так, как ему надо быть,— шестигранными столбиками. То же самое и с солью и со всякой другой вещью. Все маленькие порошинки сами ворочаются и приставляются той стороной, какой надо.

Когда замерзает лед, то делается то же самое.

Летит снежинка — в ней не видать никакой фигуры; но как только она сядет на что-нибудь темное и холодное, на сукно, на мех, в ней можно разобрать фигуру: увидишь звездочку или шестиугольную дощечку. На окнах пар примерзает не как попало, а как он станет примерзать, так сейчас сложится в звездочку.

Что такое лед? Это холодная, крепкая вода. Когда из жидкой воды делается крепкая вода, она складывается в фигуры, и из нее выходит тепло. То же самое делается с селитрой: когда она из жидкой складывается в крепкие фигуры, из нее выходит тепло. То же с солью, то же с плавленым чугуном, когда он из жидкого делается крепким. Когда какая-нибудь вещь из жидкой делается крепкой,— из нее выходит тепло, и она складывается в фигуры. А когда из крепкой делается жидкая, то вещь забирает в себя тепло, и из нее выходит холод, и фигуры ее распускаются.

Принеси плавленого железа и дай ему остывать; принеси теста горячего и дай ему остывать; принеси извести гашеной и дай ей остывать,— будет тепло. Принеси льду и тай его,— станет холодно. Принеси селитры, соли и

всякой вещи, какая в воде расходится, и распускай ее в воде,— станет холодно. Чтоб заморозить мороженое, сыплют соль в воду.

ВОЛК И КОЗА

(Басня)

Волк видит — коза пасется на каменной горе, и нельзя ему к ней подобраться; он ей и говорит: «Пошла бы ты вниз: тут и место поровнее, и трава тебе для корма много слаще».

А коза и говорит: «Не за тем ты, волк, меня вниз зовешь,— ты не об моем, а о своем корме хлопочешь».

ПОЛИКРАТ САМОССКИЙ

(История)

Был один греческий царь Поликрат. Он во всем был счастлив. Он завоевал много городов и стал очень богат. Поликрат и описал в письме всю свою счастливую жизнь и послал это письмо своему другу, царю Амазису, в Египет. Амазис прочел письмо и написал Поликрату ответ, он писал так: «Приятно бывает знать друга в удаче. Но мне твое счастье не нравится. По-моему, лучше бывает, когда человеку в одном деле удача, а в другом нет,— чтобы было вперемежку. Послушай меня и сделай вот что: что есть у тебя дороже всего, то возьми и брось куда-нибудь в такое место, чтобы не попалось людям. И тогда у тебя будет счастье вперемежку с несчастьем».

Поликрат прочел это и послушался своего друга. Он сделал вот что: был у него дорогой перстень; взял он этот перстень, собрал много народа и сел со всем народом в лодку. Потом велел ехать в море. И когда выехал далеко за острова, тогда при всем народе бросил перстень в море и вернулся домой.

На пятый день одному рыбаку случилось поймать очень большую, прекрасную рыбу, и захотел он подарить ее царю. Вот пришел он к Поликрату на двор, и когда Поликрат вышел к нему, рыбак сказал: «Царь, я поймал эту рыбу и принес тебе, потому что такую прекрасную

рыбу только царю кушать». Поликрат поблагодарил рыбака и позвал его к себе обедать. Рыбак отдал рыбу и пошел к царю, а повара разрезали рыбу и нашли в ней тот самый перстень, что Поликрат бросил в море.

Когда повара принесли Поликрату его перстень и рассказали, как они нашли его,— Поликрат написал другое письмо в Египет к своему другу Амазису и описал, как он бросил перстень и как он нашелся. Амазис прочел письмо и подумал: «Это не к добру,— видно, нельзя уйти от судьбы. А лучше мне разойтись с своим другом, чтобы потом не жалеть его»,— и он послал сказать Поликрату, что дружбе их конец.

В то время был один человек — Оройтес. Этот Оройтес был сердит на Поликрата и хотел погубить его. Вот Оройтес придумал какую хитрость. Написал он Поликрату, что будто персидский царь Камбиз обидел его и хотел убить и что он будто ушел от него. Оройтес так писал Поликрату: «У меня много богатств, но я не знаю, где мне жить. Прими ты меня к себе с моими богатствами, и тогда мы с тобой сделаемся самые сильные цари. А если ты не веришь, что у меня много богатств, так пришли кого-нибудь посмотреть».

Поликрат и послал своего слугу посмотреть, правда ли, что Оройтес привез столько богатств. Когда слуга приехал смотреть богатства, Оройтес так обманул его: он взял много лодок и во все наложил камни, а сверх камней до краев заложил золотом.

Когда слуга Поликрата увидел эти лодки, он поверил, что лодки все по края были полны золотом; так и рассказал Поликрату.

Тогда Поликрат захотел сам ехать к Оройтесу — смотреть его богатства. В эту самую ночь дочь Поликрата увидела во сне, что он будто висит на воздухе. Дочь и стала просить отца, чтоб он не ездил к Оройтесу; но отец рассердился и сказал, что он ее не отдаст замуж, если она не замолчит сейчас. А дочь сказала: «Я рада никогда не идти замуж, только не езди ты к Оройтесу: я боюсь, что с тобой случится беда».

Отец не послушался ее и поехал. Когда он приехал, Оройтес схватил его и повесил до смерти. Так-то сон дочери и совершился.

Так и случилось, как угадал Амазис, что большое счастье Поликрата кончилось большим несчастьем.

ВОЛЬГА-БОГАТЫРЬ

(Стихи-сказка)

Что не мелки часты звездочки
Рассажалися по поднебесью,
Что ни ясен светел месяц
Просветил в небе высокоем,—
Осветило красно солнышко
Нашу землю святорусскую:
На святой Руси на матушке
Народился удал молодец
Свет Вольга — сударь Буслаевич;
От рожденья богатырского
Потряслася мать сыра земля,
Море синe всколыбалося,
Рыбы в глубь моря забилися,
Звери в чащи схоронилися,
Потряслось царство турецкое.
Вырастал Вольга семи годов —
Захотел он много мудрости.
К мудрецам задался в выучку,
И в наук пошло учение.
Понимал Вольга все мудрости:
Обучился первой мудрости —
Оборачиваться птицею;
Обучился другой мудрости —
Оборачиваться рыбою;
Обучился третьей мудрости —
Серым волком ся обертывать.
Как и стал Вольга в пятнадцать лет,
Подбирал Вольга дружинушку;
И собрал он себе ровнюшек —
Удалых ли добрых молодцев —
Тридцать братьев без единого,
Становился сам в тридцатыих.
Как и стал Вольга с дружиною
На крутом яру у Киева,
Взговорит Вольга Буслаевич:
«Вы, дружина моя храбрая,
Тридцать братьев без единого,
Сам Вольга я во тридцатыих,—
Вы большого брата слушайте,

Повелено дело делайте:
Повяжите сети шелковы,
Опускайте в море синее».
Тут Вольгу дружина слушалась:
Повязала сети шелковы,
Опускала в море синее.
Рыбой Вольга ся обертывал,
Рыбой-щукою зубастою,
Во станы поплыл глубокие,
Распугал всю рыбу красную,
Загонял рыбу во часты сети.
Как и стал Вольга с дружиною
На крутом яру у Киева,
Взговорит Вольга Буслаевич:
«Вы, дружина моя храбрая,
Тридцать братьев без единого,
Сам Вольга я во тридцатых,—
Брата большего вы слушайте,
Повелено дело делайте:
Вейте шелковы веревочки,
Расстанавливайте по лесу,
На звериных ли на троночках».
Тут Вольгу дружина слушалась:
Вила шелковы веревочки,
Расстанавливала по лесу,
Зверем Вольга ся обертывал,
Серым волком голенастым,
Поскакал в леса дремучие,
Во глухи ломы, во чащицы.
Распугал он зверя кунного,
Загонял зверя во петельки.
Как и стал Вольга с дружиною
На крутом яру у Киева,
Взговорит Вольга Буслаевич:
«Половили мы всю рыбушку
Из синя моря глубокого,
Половили зверя кунного
Из темных лесов дремучих:
А и будет ли тот молодец,
Чтоб сходил в царство турецкое
Ко царю Салтан Бекетычу,
Сведать думу его царскую».
Молодцы тут стали прятаться,

Что большой да за середнего,
А середний что за меньшего,
А ответа нет от меньшего.
Говорит Вольга Буслаевич:
«Вольге будет самому идти».
Птицей Вольга ся обертывал,
Высоко взвился под небесью:
Прилетал в царство турецкое,
На оконце сел косящато.
Сидит царь Салтан Бекетович
Со царицею Давыдьевной,—
Разговоры разговарива(е)т:
Говорит Салтан Бекетович:
«Ты, жена моя возлюбленна,
Молода ли свет Давыдьевна,
Воевать хочу святую Русь,
Хочу взять я славный Киев-град,
Подарить хочу по городу
Девяти сынам по русскому;
Да привезть хочу я шубоньку
Дорогую, соболиную».
Взговорит ему Давыдьевна:
«Гой ты, царь Салтан Бекетович!
Ты напрасно спаряжаешься
Воевать на землю русскую.
Али ты того не ведаешь —
На Руси все не по-старому.
Осветило красно солнышко
Славну землю святорусскую:
Народился удал молодец
Богатырь Вольга Буслаевич.
Он теперь, Вольга Буслаевич,
На окне сидит и слушает
Наши речи с тобой тайные.
Не возьмешь ты славный Киев-град,
Не подаришь ты по городу
Девяти сынам по русскому,
А пропасть твоей головушке
От того Вольги Бусла(е)вича».
Тем словам Салтан не веровал,
На царицу царь прогневался —
По лицу ударил белому,
Прогонял он с глаз Давыдьевну.

Догадался Вольг Буслаевич,
Горностаем ся обертывал,
В погреба бежал глубокие.
Он тетивочки шелковые
На луках тугих накусывал,
С каленых-от стрел железочки
Он повынимал — закапывал,
Оборачивался птицею,
Прилетал назад ко Киеву,
Собирал свою дружинушку,
Подходил к царству турецкому.
Царство крепко огорожено
Стеной каменной, высокою.
Во стене ворота крепкие,
По булату золоченые,
А засовы — крюки медные,
Подворотня — дорог рыбий зуб,
Мелким вырезом вырезана,
По мудреным мелким вырезам
В пору ли пролезть мурашику.
Тут дружина закручинилась:
«Как пройти нам стены каменны?
Погубить ли добрым молодцам
Нам головушки напрасные?»
Догадался Вольг Буслаевич:
Мурашом себя обертывал,
Добрых молодцев мурашками,—
Пролезал с своей дружиною
В подворотню зуба рыбьего;
За стеной Вольга Буслаевич
Оборачивал мурашиков
Молодцами с сбруей ратною.
Взговорит ли Вольг Буслаевич:
«Вы большого брата слушайте.
Повелено дело делайте:
В славном царстве во турецкиим
Вырубайте стар и малого.
Изведите всех до кореня:
Оставляйте только лучшиих
Тридцать душек красных девушек».
Тут Вольгу дружина слушалась:
В славном царстве во турецкиим
Вырубала стар и малого,

Изводила всех до кореня,
Не оставила на семена;
Оставляла только лучших
Тридцать душек красных девушек.
Сам Вольга царя отыскивал
Во палатах его каменных:
Двери заперты железные,
Во дверях засовы крепкие;
Взговорит ли Вольг Буслаевич:
«Хоть ногу сломать, а выставить!»
Пнул ногой двери железные,
Поломал засовы крепкие;
Царя славного турецкого
Брал Вольга за ручки белые.
Говорил Вольга Буслаевич:
«А не бьют царей, не казнят вас»,—
Царя хлопнул о кирпищат пол,
И расшиб Салтана вдребезги.
Тут дружину свою храбрую
Вольга поровну оделивал —
Табунов коней по тысяче,
По бочонку красна золота
Да по девушке на молодца.

ЦАРЬ И РУБАШКА

(Сказка)

Один царь был болен и сказал: «Половину царства отдам тому, кто меня вылечит». Тогда собрались все мудрецы и стали судить, как царя вылечить. Никто не знал. Один только мудрец сказал, что царя можно вылечить. Он сказал: если найти счастливого человека, снять с него рубашку и надеть на царя — царь выздоровеет. Царь и послал искать по своему царству счастливого человека; но послы царя долго ездили по всему царству и не могли найти счастливого человека. Не было ни одного такого, чтобы всем был доволен. Кто богат, да хворает; кто здоров, да беден; кто и здоров и богат, да жена не хороша, а у кого дети не хороши; все на что-нибудь да жалуются. Один раз идет поздно вечером царский сын мимо избушки, и слышно ему — кто-то говорит: «Вот слава богу, наработался, наелся и спать лягу; чего мне еще нужно?» Царский сын обрадовался, велел снять с этого человека рубашку, а ему дать за это денег, сколько он захочет, а рубашку отнести к царю. Посланные пришли к счастливому человеку и хотели с него снять рубашку; но счастливый был так беден, что на нем не было и рубашки.

КАМЫШ И МАСЛИНА

(Басня)

Маслина и камыш заспорили о том, кто крепче и сильнее. Маслина посмеялась над камышом за то, что он от всякого ветра гнется. Камыш молчал. Пришла буря: ка-

мыш шатался, мотался, до земли сгибался — уцелел. Маслина напружилась сучьями против ветра — и сломилась.

ВОЛК И МУЖИК

(Сказка)

Гнались за волком охотники. И набежал волк на мужика. Мужик шел с гумна и нес цеп и мешок.

Волк и говорит: «Мужик, спрячь меня,— меня охотники гонят». Мужик пожалел волка, спрятал его в мешок и взвалил на плечи. Наезжают охотники и спрашивают мужика, не видал ли волка?

— Нет, не видал.

Охотники уехали. Волк выскочил из мешка и бросился на мужика, хочет его съесть. Мужик и говорит:

— Ах, волк, нет в тебе совести: я тебя спас, а ты ж меня съесть хочешь. — А волк и говорит:

— Старая хлеб-соль не помнится.

— Нет, старая хлеб-соль помнится, хоть у кого хочешь спроси,— всякий скажет, что помнится. — Волк и говорит:

— Давай, пойдем вместе по дороге. Кого первого встретим, спросим: забывается ли старая хлеб-соль, или помнится? Если скажут: помнится,— я пущу тебя, а скажут: забывается,— съем.

Пошли они по дороге, и повстречалась им старая, слепая кобыла. Мужик и спрашивает: «Скажи, кобыла, что, помнится старая хлеб-соль или забывается?»

Кобыла говорит:

— Да вот как: жила я у хозяина двенадцать лет, принесла ему двенадцать жеребят, и все то время пахала да возила, а прошлым годом ослепла и все работала на рушалке; а вот намедни стало мне не в силу кружиться, я и упала на колесо. Меня били, били, стащили за хвост под кручь и бросили. Очнулась я, насилу выбралась, и куда иду — сама не знаю. — Волк говорит:

— Мужик, видишь — старая хлеб-соль не помнится.

Мужик говорит:

— Погоди, еще спросим.

Пошли дальше. Встречается им старая собака. Ползет, зад волочит.

Мужик говорит:

— Ну, скажи, собака, забывается ли старая хлеб-соль, или помнится?

— А вот как: жила я у хозяина пятнадцать лет, его дом стерегла, лаяла и бросалась кусаться; а вот состарилась, зуб не стало,— меня со двора прогнали, да еще зад оглоблею отбили. Вот и волочусь, сама не знаю куда, подальше от старого хозяина.

Волк говорит:

— Слышишь, что говорит?

А мужик говорит:

— Погоди еще до третьей встречи.

И встречается им лисица. Мужик говорит: «Скажи, лиса, что, помнится старая хлеб-соль или забывается?»

А лиса говорит:

— Тебе зачем знать?

А мужик говорит:

— Да вот бежал волк от охотников, стал меня просить,— и я спрятал его в мешок, а теперь он меня съесть хочет.

Лисица и говорит:

— Да разве можно большому волку в такой мешок уместиться? Кабы я видела, я бы вас рассудила.

Мужик говорит:

— Весь поместился, хоть у него сама спроси.

И волк сказал: «Правда».

Тогда лисица говорит:

— Не поверю, пока не увижу. Покажи, как ты лазил.

Тогда волк всунул голову в мешок и говорит: «Вот как».

Лисица говорит:

— Ты весь влезь, а то я так не вижу.

Волк и влез в мешок. Лисица и говорит мужику: «Теперь завяжи». Мужик завязал мешок. Лисица и говорит:

— Ну теперь покажи, мужик, как ты на току хлеб молотишь. — Мужик обрадовался и стал бить цепом по волку.

А потом говорит: «А посмотри, лисица, как на току хлеб отворачивают»,— и ударил лисицу по голове и убил, а сам говорит: «Старая хлеб-соль не помнится!»

ДВА ТОВАРИЩА

(Басня)

Шли по лесу два товарища, и выскочил на них медведь. Один бросился бежать, влез на дерево и спрятался, а другой остался на дороге. Делать было ему нечего — он упал наземь и притворился мертвым.

Медведь подошел к нему и стал нюхать: он и дышать перестал.

Медведь понюхал ему лицо, подумал, что мертвый, и отошел.

Когда медведь ушел, тот слез с дерева и смеется: «Ну что,— говорит,— медведь тебе на ухо говорил?»

«А он сказал мне, что — плохие люди те, которые в опасности от товарищей убегают».

ПРЫЖОК

(Быль)

Один корабль обошел вокруг света и возвращался домой. Была тихая погода, весь народ был на палубе. Посреди народа вертелась большая обезьяна и забавляла всех. Обезьяна эта корчилась, прыгала, делала смешные рожи, передразнивала людей, и видно было — она знала, что ею забавляются, и оттого еще больше расходилась.

Она подпрыгнула к 12-летнему мальчику, сыну капитана корабля, сорвала с его головы шляпу, надела и живо взобралась на мачту. Все засмеялись, а мальчик остался без шляпы и сам не знал, смеяться ли ему, или плакать.

Обезьяна села на первой перекладине мачты, сняла шляпу и стала зубами и лапами рвать ее. Она как будто дразнила мальчика, показывала на него и делала ему рожи. Мальчик погрозил ей и крикнул на нее, но она еще злее рвала шляпу. Матросы громче стали смеяться, а мальчик покраснел, скинул куртку и бросился за обезьяной на мачту. В одну минуту он взобрался по веревке на первую перекладину; но обезьяна еще ловчее и быстрее его, в ту самую минуту, как он думал схватить шляпу, взобралась еще выше.

— Так не уйдешь же ты от меня! — закричал мальчик и полез выше. Обезьяна опять подманила его, по-

лезла еще выше, но мальчика уже разобрал задор, и он не отставал. Так обезьяна и мальчик в одну минуту добрались до самого верха. На самом верху обезьяна вытянулась во всю длину и, зацепившись задней рукой[1] за веревку, повесила шляпу на край последней перекладины, а сама взобралась на макушку мачты и оттуда корчилась, показывала зубы и радовалась. От мачты до конца перекладины, где висела шляпа, было аршина два, так что достать ее нельзя было иначе, как выпустить из рук веревку и мачту.

Но мальчик очень раззадорился. Он бросил мачту и ступил на перекладину. На палубе все смотрели и смеялись тому, что выделывали обезьяна и капитанский сын; но как увидали, что он пустил веревку и ступил на перекладину, покачивая руками, все замерли от страха.

Стоило ему только оступиться — и он бы вдребезги разбился о палубу. Да если б даже он и не оступился, а дошел до края перекладины и взял шляпу, то трудно было ему повернуться и дойти назад до мачты. Все молча смотрели на него и ждали, что будет.

Вдруг в народе кто-то ахнул от страха. Мальчик от этого крика опомнился, глянул вниз и зашатался.

В это время капитан корабля, отец мальчика, вышел из каюты. Он нес ружье, чтобы стрелять чаек[2]. Он увидал сына на мачте, и тотчас же прицелился в сына и закричал: «В воду! прыгай сейчас в воду! застрелю!» Мальчик шатался, но не понимал. «Прыгай или застрелю!.. Раз, два...» и как только отец крикнул: «три» — мальчик размахнулся головой вниз и прыгнул.

Точно пушечное ядро, шлепнуло тело мальчика в море, и не успели волны закрыть его, как уже 20 молодцов матросов спрыгнули с корабля в море. Секунд через 40 — они долги показались всем — вынырнуло тело мальчика. Его схватили и вытащили на корабль. Через несколько минут у него изо рта и из носа полилась вода, и он стал дышать.

Когда капитан увидал это, он вдруг закричал, как будто его что-то душило, и убежал к себе в каюту, чтоб никто не видал, как он плачет.

---

[1] У обезьян 4 руки. (*Примеч. Л. Н. Толстого.*).
[2] Морские птицы. (*Примеч. Л. Н. Толстого.*)

было всего шесть аршин глубины, и только на аршин стояла вода. Староста спускал за колесо потихоньку и все спрашивал: «Еще, что ли?» Скотница кричала оттуда: «Еще немного!»

Вдруг староста почувствовал, что веревка ослабла; он окликнул скотницу, но она не отвечала. Староста поглядел в колодезь и увидел, что баба лежит в воде головой и кверху ногами. Староста стал кричать и звать народ; но никого не было. Пришел только один конюх. Староста велел ему держать колесо, а сам вытянул веревку, сел на палку и полез в колодезь.

Только что конюх спустил старосту до воды, с старостой сделалось то же самое. Он бросил веревку и упал головой вниз на бабу. Конюх стал кричать, потом побежал в церковь за народом. Обедня отошла, и народ шел из церкви. Все мужики и бабы побежали к колодцу. Все столпились у колодца, и всякий кричал свое, но никто не знал, что делать. Молодой плотник Иван пробился сквозь толпу к колодцу, схватил веревку, сел на палку и велел себя спускать. Иван только привязал себя к веревке кушаком. Двое спускали его, а другие все смотрели в колодезь, что будет с Иваном. Как только он стал доходить до воды, он бросил веревку руками и упал бы головой, но кушак держал его. Все закричали: «Тащи его назад!» — и Ивана вытащили.

Он как мертвый висел на кушаке, голова его тоже висела и билась о края колодца. Лицо было сине-багровое. Его вынули, сняли с веревки и положили на землю. Думали, что он мертвый; но он вдруг тяжело дохнул, стал перхать и ожил.

Тогда хотели лезть еще, но один старый мужик сказал, что лазить нельзя, потому что в колодце дурной воздух, и что этот дурной воздух убивает людей. Тогда мужики побежали за баграми и стали вытаскивать старосту и бабу. Старостина жена и мать голосили у колодца, другие их унимали, а мужики цепляли в колодце баграми и старались вытащить мертвых. Раза два они дотаскивали старосту до половины колодца за его платье; но он был тяжел, платье прорывалось, и он срывался. Наконец, зацепили его за два багра и вытащили. Потом вытащили и скотницу. Оба уже были совсем мертвые и не ожили.

Потом, когда стали осматривать колодезь, то узнали, что точно,— внизу колодца был дурной воздух.

ДУРНОЙ ВОЗДУХ

(Рассуждение)

Дурной воздух бывает такой тяжелый, что в нем ни человек и никакое животное жить не может.

Бывают места под землей, где этот воздух собирается, и если попадешь в такое место, то сейчас умираешь. Для этого в рудниках делают лампы, и прежде чем человеку идти в такое место, спускают туда лампу. Если лампа тухнет, то и человеку нельзя идти; тогда пускают туда чистого воздуха до тех пор, пока может огонь гореть.

Подле города Неаполя есть одна такая пещера. В ней дурной воздух всегда стоит внизу на аршин от земли, а выше хороший воздух. Человек будет ходить по этой пещере, и ему ничего не сделается; а собака — как войдет, так и задохнется.

Откуда берется этот дурной воздух? Он делается из того самого хорошего воздуха, каким мы дышим. Если собрать много людей в одно место и закрыть все двери и окна так, чтобы не проходил свежий воздух, то сделается такой же воздух, как в колодце, и люди помрут.

Сто лет тому назад, на войне, индейцы взяли в плен 146 англичан. Их заперли в подземную пещеру, куда не мог проходить воздух.

Пленные англичане, когда побыли там несколько часов, стали задыхаться,— и под конец ночи из них 123 умерло, а остальные вышли еле живые и больные. Сначала в пещере воздух был хорош; но когда пленные выдышали весь хороший воздух, а нового не проходило,— сделался дурной воздух, похожий на тот, что был в колодце, и они померли. Отчего делается дурной воздух из хорошего, когда соберутся много людей? Оттого, что люди, когда дышат, то собирают в себя хороший воздух, а выдыхают дурной.

ВОЛК И ЯГНЕНОК

(Басня)

Волк увидал — ягненок пьет у реки.

Захотелось волку съесть ягненка, и стал он к нему придираться. «Ты,— говорит,— мне воду мутишь и пить не даешь».

Ягненок говорит: «Ах, волк, как я могу тебе воду мутить? Ведь я ниже по воде стою, да и то кончиками губ пью». А волк говорит: «Ну, так зачем ты прошлым летом моего отца ругал?» Ягненок говорит: «Да я, волк, и не родился еще прошлым летом». Волк рассердился и говорит: «Тебя не переговоришь. Так я натощак, за то и съем тебя».

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

(История)

Греческий царь Гиерон Сиракузский заказал своему золотых дел мастеру Димитрию золотую корону для идола Юпитера и дал 12 фунтов золота. Димитрий сделал корону, и когда царь ее свесил, то в короне было ровно 12 фунтов. Только царь прослышал, что Димитрий украл много золота и в корону подмешал серебра. Царю хотелось доискаться, много ли подмешано серебра в короне, и он велел ее перетопить, чтобы видеть середину. Был один умный и ученый человек, родной царю, Архимед. Он сказал царю: «Не вели ломать корону, чтобы даром не пропала работа; а я, не ломаючи короны, узнаю, сколько в ней серебра и сколько золота». Царь согласился с Архимедом, и Архимед сделал так:

Он взял фунт золота и фунт серебра и свесил их просто на весах, а потом свесил их в воде. Фунт золота в воде потянул на одну гирьку меньше, чем прежде, а фунт серебра на две гирьки меньше.

Потом Архимед всю корону свесил в воде, позвал царя и сказал: «С фунта чистого золота, если весить в воде, остается гирька; а если весить серебро в воде, остаются две гирьки с фунта; стало быть, если корона вся из чистого золота и в ней 12 фунтов, то в двенадцати фунтах надо снять с весов 12 гирек. Вот смотри». Он положил на весы 11 фунтов и стал вешать корону в воде. Корона не потянула двенадцати фунтов без 12 гирек, а меньше. Сняли еще гирек, Архимед и говорит: «Вот сколько тут снято лишних гирек, на столько Димитрий и обманул тебя». Так Архимед верно узнал, сколько было серебра подмешано в корону.

ЛЕВ, ВОЛК И ЛИСИЦА

(Басня)

Старый больной лев лежал в пещере. Приходили все звери проведывать царя, только лисица не бывала. Вот волк обрадовался случаю и стал пред львом оговаривать лисицу.

— Она,— говорит,— тебя ни во что считает, ни разу не зашла царя проведать.

На эти слова и прибеги лисица. Она услыхала, что волк говорит, и думает: «Погоди ж, волк, я тебе вымещу».

Вот лев зарычал на лисицу, а она и говорит: «Не вели казнить, вели слово вымолвить. Я оттого не бывала, что недосуг было. А недосуг было оттого, что по всему свету бегала, у лекарей для тебя лекарства спрашивала. Только теперь нашла, вот и прибежала».

Лев и говорит:

— Какое лекарство?

— А вот какое: если живого волка обдерешь да шкуру его тепленькую наденешь...

Как растянул лев волка, лисица засмеялась и говорит:

— Так-то, брат; господ не на зло, а на добро наводить надо.

ЦАРСКОЕ НОВОЕ ПЛАТЬЕ

(Сказка)

Один царь был охотник до хороших платьев. Он ни о чем больше не думал, только как бы ему получше нарядиться. Пришли к нему один раз два портные мастера и говорят: «Мы можем сшить такое нарядное платье, какого еще никогда ни у кого не было. Только, если кто глуп и к своей должности не годится, тот платья нашего не может видеть. Кто умен, тот будет видеть, а кто глуп, тот рядом будет стоять и не будет видеть платья нашей работы». Царь обрадовался портным и велел им сшить на себя платье. Портным отвели во дворце горницу и дали им бархату, шелку, золота,— всего, что нужно было для платья.

Когда прошла неделя, царь послал своего министра узнать, готово ли новое платье. Министр пришел и спросил; портные сказали, что готово, и показали министру пустое место. Министр знал, что если кто глуп и к своей должности не годится, то тот не может видеть платья, и он притворился, что видит платье, и похвалил. Царь велел себе принести платье. Ему принесли и показали пустое место. Царь тоже притворился, что он видит новое платье, снял свое старое платье и велел надеть на себя новое. Когда царь пошел в новом платье гулять по городу,— все видели, что на царе нет никакого платья; но все боялись сказать, что они не видят платья, потому что слышали, что только глупый не может видеть нового платья. И каждый думал только про себя, что он не видит, а думал, что другие все видят. Так царь гулял по городу, и все хвалили новое платье. Вдруг один дурачок увидал царя и закричал: «Смотрите: царь по улицам ходит раздевшись!» И царю стало стыдно, что он не одет, и увидали, что на царе ничего не было.

ЛИСИЙ ХВОСТ

(Басня)

Человек поймал лисицу и спросил ее: «Кто научил лисиц обманывать хвостом собак?» Лисица спросила: «Как обманывать? Мы не обманываем собак, а просто бежим от них что есть силы». Человек сказал: «Нет, вы обманываете хвостом. Когда собаки догоняют вас и хотят схватить, вы поворачиваете хвостом в одну сторону; собака круто поворачивает за хвостом, а вы тогда бежите в противную сторону». Лисица засмеялась и сказала: «Мы делаем это не для того, чтобы обманывать собак; а делаем это для того, чтобы поворачиваться: когда собака догоняет нас и мы видим, что не можем уйти прямо,— мы поворачиваем в сторону; а для того, чтобы поворотиться вдруг в одну сторону, нам нужно взмахнуть хвостом в другую,— так, как вы это делаете руками, когда хотите на бегу поворотиться. Это не наша выдумка: это придумал сам бог еще тогда, когда он сотворил нас,— для того, чтобы собаки не могли переловить всех лисиц».

ШЕЛКОВИЧНЫЙ ЧЕРВЬ

(Рассказ)

У меня были старые тутовые деревья в саду. Еще дедушка мой посадил их. Мне дали осенью золотник семян шелковичных червей и присоветовали выводить червей и делать шелк. Семена эти темно-серые и такие маленькие, что в моем золотнике я сосчитал их 5835. Они меньше самой маленькой булавочной головки. Они совсем мертвые: только когда раздавишь, так они щелкнут.

Семечки валялись у меня на столе, и я было забыл про них.

Но раз весной я пошел в сад и заметил, что почка на тутовнике стала распускаться, и на припоре солнечном уж был лист. Я вспомнил про семена червей и дома стал перебирать их и рассыпал попросторнее. Большая часть семечек были уже не темно-серые, как прежде, а одни были светло-серые, а другие еще светлее, с молочным отливом.

На другое утро я рано посмотрел яички и увидал, что из одних червячки уже вышли, а другие разбухли и налились. Они, видно, почувствовали в своих скорлупках, что корм их поспел.

Червячки были черные, мохнатые и такие маленькие, что трудно было их рассмотреть. Я поглядел в увеличительное стекло на них и увидал, что они в яичке лежат свернутые колечком, и как выходят, так выпрямляются. Я пошел в сад за тутовыми листьями, набрал пригоршни три, положил к себе на стол и принялся готовить для червей место, так, как меня учили.

Пока я готовил бумагу, червячки почуяли на столе свой корм и поползли к нему. Я отодвинул и стал манить червей на лист, и они, как собаки за куском мяса, ползли за листом по сукну стола через карандаши, ножницы и бумагу. Тогда я нарезал бумаги, протыкал ее ножичком, на бумагу наложил листья и совсем с листом наложил бумагу на червяков. Червяки пролезли в дырочки, все взобрались на лист и сейчас же принялись за еду.

На других червей, когда они вывелись, я так же наложил бумагу с листом, и все пролезли в дырочки и принялись есть. На каждом листе бумаги все червяки собирались вместе и с краев объедали лист. Потом, когда съедали всё, то ползли по бумаге и искали нового корма.

Тогда я накладывал на них новые листы дырявой бумаги с тутовым листом, и они перелезали на новый корм.

Они лежали у меня на полке, и когда листа не было, они ползали по полке, приползали к самому краю, но никогда не спадали вниз, даром что они слепые. Как только червяк подойдет к обрыву, он, прежде чем спускаться, изо рта выпустит паутину и на ней приклеится к краю, спустится, повисит, поосмотрится, и если хочет спуститься — спустится, а если хочет вернуться назад, то втянется назад по своей паутинке.

Целые сутки червяки только и делали, что ели. И листу всё им надо было подавать больше и больше. Когда им принесешь свежий лист и они переберутся на него, то делается шум, точно дождь по листьям; это они начинают есть свежий лист.

Так старшие черви жили пять дней. Уже они очень выросли и стали есть в 10 раз больше против прежнего. На пятый день я знал, что им надо засыпать, и всё ждал, когда это будет. К вечеру на 5-й день точно один старший червяк прилип к бумаге и перестал есть и шевелиться.

На другие сутки я долго караулил его. Я знал, что черви несколько раз линяют, потому что вырастают и им тесно в прежней шкуре, и они надевают новую.

Мы караулили по переменкам с моим товарищем. Ввечеру товарищ закричал: «Раздеваться начал, идите!» Я пришел и увидал, что точно,— этот червяк прицепился старою шкурой к бумаге, прорвал около рта дыру, высунул голову и тужится-извивается,— как бы выбраться, но старая рубашка не пускает его. Долго я смотрел на него, как он бился и не мог выбраться, и захотел помочь ему. Я ковырнул чуть-чуть ногтем, но тотчас же увидал, что сделал глупость. Под ногтем было что-то жидкое, и червяк замер. Я думал, что это кровь, но потом я узнал, что это у червяка под кожей есть жидкий сок — для того, чтобы по смазке легче сходила его рубашка. Ногтем я, верно, расстроил новую рубашку, потому что червяк хотя и вылез, но скоро умер.

Других уже я не трогал, а они все так же выбирались из своих рубашек; и только некоторые пропадали, а все почти, хотя и долго мучались, но выползали-таки из старой рубашки.

Перелинявши, червяки сильнее стали есть, и листу пошло еще больше. Через 4 дня они опять заснули

и опять стали вылезать из шкур. Листу пошло еще больше, и они были уже ростом в осьмушку вершка. Потом через шесть дней опять заснули и вышли опять в новых шкурах из старых, и стали уже очень велики и толсты, и мы едва поспевали готовить им лист.

На 9-й день старшие червяки совсем перестали есть и поползли вверх по полкам и по столбам. Я собрал их и положил им свежего листа, но они отворачивали головы от листа и ползли прочь. Я вспомнил тогда, что червяки, когда готовятся завиваться в куклы, то перестают совсем есть и ползут вверх.

Я оставил их и стал смотреть, что они будут делать.

Старшие влезли на потолок, разошлись врозь, поползли и стали протягивать по одной паутинке в разные стороны. Я смотрел за одним. Он забрался в угол, протянул ниток шесть на вершок от себя во все стороны, повис на них, перегнулся подковой вдвое и стал кружить головой и выпускать шелковую паутину, так, что паутина обматывалась вокруг него. К вечеру он уже был как в тумане в своей паутине. Чуть видно его было; а на другое утро уж его и совсем не видно было за паутиной: он весь обмотался шелком, и всё еще мотал.

Через три дня он кончил мотать и замер.

Потом я узнал, сколько он выпускает в длину паутины за эти три дня. Если размотать всю его паутину, то выйдет иногда больше версты, а редко меньше. И если счесть, сколько раз надо мотнуть червячку головой в эти три дня, чтобы выпустить паутину, то выйдет, что он повернется вокруг себя в эти три дня 300 000 раз. Значит, он не переставая делает каждую секунду по обороту. Зато уже после этой работы, когда мы сняли несколько куколок и разломили их, то мы нашли в куколках червяков совсем высохших, белых, точно восковых.

Я знал, что из этих куколок с белыми, восковыми мертвецами внутри должны выйти бабочки; но, глядя на них, не мог этому верить. Однако все-таки я на 20-й день стал смотреть, что будет с теми, каких я оставил.

На 20-й день я знал, что должна быть перемена. Ничего не было видно, и я уже думал, что-нибудь не так, как вдруг приметил — на одном коконе кончик потемнел и намок. Я подумал уже — не испортился ли, и хотел выбросить. Но подумал, не так ли начинается? и стал смотреть, что будет. И точно: из мокрого места что-то тронулось.

Я долго не мог разобрать, что это такое. Но потом показалось что-то похожее на головку с усиками. Усики шевелились. Потом я заметил, что лапка просунулась в дырку, потом другая,— и лапки цеплялись и выкарабкивались из куколки. Всё дальше и дальше выдиралось что-то, и я разобрал — мокрую бабочку. Когда выбрались все шесть лапок,— задок выскочил, она вылезла и тут же села. Когда бабочка обсохла, она стала белая, расправила крылья, полетала, покружилась и села на окно.

Через два дня бабочка на подоконнике рядком наклала яиц и приклеила их. Яички были желтые, 25 бабочек положили яйца. И я набрал 5000 яичек.

На другой год я выкормил уже больше червей и больше вымотал шелку.

ЦАРЬ И СЛОНЫ

(Басня)

Один индейский царь велел собрать всех слепых и, когда они пришли, велел им показать своих слонов. Слепые пошли в конюшню и стали щупать слонов. Один ощупал ногу, другой — хвост, третий — репицу [1], четвертый — брюхо, пятый — спину, шестой — уши, седьмой — клыки, осьмой — хобот. Потом царь позвал слепых к себе и спросил: каковы мои слоны? Один слепой сказал: «Слоны твои похожи на столбы»; этот слепой щупал ноги. Другой слепой сказал: «Они похожи на веники»; этот щупал хвост. Третий сказал: «Они похожи на сучья»; этот щупал репицу. Тот, что щупал живот, сказал: «Слоны похожи на кучу земли». Тот, что щупал бока, сказал: «Они похожи на стену»; тот, что щупал спину, сказал: «Они похожи на гору»; тот, что щупал уши, сказал: «Они похожи на платки»; тот, что щупал голову, сказал: «Они похожи на ступу»; тот, что щупал клыки, сказал: «Они похожи на рога»; тот, что щупал хобот, сказал, что «они похожи на толстую веревку».

И все слепые стали спорить и ссориться.

---

[1] Репица — та часть хвоста, где на нем есть мясо. (*Примеч. Л. Н. Толстого.*)

ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ

(Рассказ охотника)

Мы были на охоте за медведями. Товарищу пришлось стрелять по медведю; он ранил его, да в мягкое место. Осталось немного крови на снегу, а медведь ушел.

Мы сошлись в лесу и стали судить, как нам быть: идти ли теперь отыскивать этого медведя, или подождать три дня, пока медведь уляжется.

Стали мы спрашивать мужиков-медвежатников, можно или нельзя обойти теперь этого медведя? Старик медвежатник говорит: «Нельзя, надо медведю дать остепениться; дней чрез пять обойти можно, а теперь за ним ходить — только напугаешь, он и не ляжет».

А молодой мужик-медвежатник спорил со стариком и говорил, что обойти теперь можно. «По этому снегу,— говорит,— медведь далеко не уйдет,— медведь жирный. Он нынче же ляжет. А не ляжет, так я его на лыжах догоню».

И товарищ мой тоже не хотел теперь обходить и советовал подождать.

Я и говорю: «Да что спорить. Вы делайте, как хотите, а я пойду с Демьяном по следу. Обойдем — хорошо, не обойдем — всё равно делать нынче нечего, а еще не поздно».

Так и сделали.

Товарищи пошли к саням, да в деревню, а мы с Демьяном взяли с собой хлеба и остались в лесу.

Как ушли все от нас, мы с Демьяном осмотрели ружья, подоткнули шубы за пояса и пошли по следу.

Погода была хорошая: морозно и тихо. Но ходьба на лыжах была трудная: снег был глубокий и праховый. Осадки снега в лесу не было, да еще снежок выпал накануне, так что лыжи уходили в снег на четверть, а где и больше.

Медвежий след издалека был виден. Видно было, как шел медведь, как местами по брюхо проваливался и выворачивал снег. Мы шли сначала в виду от следа, крупным лесом; а потом, как пошел след в мелкий ельник, Демьян остановился. «Надо,— говорит,— бросать след. Должно быть, здесь ляжет. Присаживаться стал — на снегу видно. Пойдем прочь от следа и круг дадим,

Только тише надо, не кричать, не кашлять, а то спугнешь».

Пошли мы прочь от следа, влево. Прошли шагов пятьсот, глядим — след медвежий опять перед нами. Пошли мы опять по следу, и вывел нас этот след на дорогу. Остановились мы на дороге и стали рассматривать, в какую сторону пошел медведь. Кое-где по дороге видно было, как всю лапу с пальцами отпечатал медведь, а кое-где — как в лаптях мужик ступал по дороге. Видно, что пошел он к деревне.

Пошли мы по дороге. Демьян и говорит: «Теперь смотреть нечего на дорогу; где сойдет с дороги вправо или влево, видно будет в снегу. Где-нибудь своротит, не пойдет же в деревню».

Прошли мы так по дороге с версту; видим впереди — след с дороги. Посмотрели — что за чудо! след медвежий, да не с дороги в лес, а из лесу на дорогу идет: пальцами к дороге. Я говорю: «Это другой медведь». Демьян посмотрел, подумал. «Нет,— говорит,— это он самый, только обманывать начал. Он задом с дороги сошел». Пошли мы по следу, так и есть. Видно, медведь прошел с дороги шагов десять задом, зашел за сосну, повернулся и пошел прямо. Демьян остановился и говорит: «Теперь верно обойдем. Больше ему и лечь негде, как в этом болоте. Пойдем в обход».

Пошли мы в обход, по частому ельнику. Я уж уморился, да и труднее стало ехать. То на куст можжевеловый наедешь, зацепишь, то промеж ног елочка подвернется, то лыжа свернется без привычки, то на пень, то на колоду наедешь под снегом. Стал я уж уставать. Снял я шубу, и пот с меня так и льет. А Демьян как на лодке плывет. Точно сами под ним лыжи ходят. Ни зацепит нигде, ни свернется. И мою шубу еще себе за плечи перекинул и всё меня понукает.

Дали мы круг версты в три, обошли болото. Я уже отставать стал — лыжи сворачиваются, ноги путаются. Остановился вдруг впереди меня Демьян и машет рукой. Я подошел. Демьян пригнулся, шепчет и показывает: «Видишь, сорока над ломом щекочет; птица издалече его дух слышит. Это он».

Взяли мы прочь, прошли еще с версту и нашли опять на старый след. Так что мы кругом обошли медведя, и он в средине нашего обхода остался. Остановились мы,

Я и шапку снял и расстегнулся весь: жарко мне, как в бане, весь, как мышь, мокрый. И Демьян раскраснелся, рукавом утирается. «Ну,— говорит,— барин, дело сделали, теперь отдохнуть надо».

А уж заря сквозь лес краснеться стала. Сели мы на лыжи отдыхать. Достали хлеб из мешка и соль; поел я сначала снегу, а потом хлеба. И такой мне хлеб вкусный показался, что я в жизнь такого не ел. Посидели мы; уж и смеркаться стало. Я спросил Демьяна, далеко ли до деревни. «Да верст двенадцать будет. Дойдем ночью, а теперь отдохнуть надо. Надевай-ка шубу, барин, а то остудишься».

Наломал Демьян ветвей еловых, обил снег, настлал кровать, и легли мы с ним рядышком, руки под головы подложили. И сам не помню я, как заснул. Проснулся я часа через два. Треснуло что-то.

Я так крепко спал, что и забыл, где я заснул. Оглянулся я — что за чудо! Где я? Палаты какие-то белые надо мной, и столбы белые, и на всем блестки блестят. Глянул вверх — разводы белые, а промеж разводов свод какой-то вороненый, и огни разноцветные горят. Огляделся я, вспомнил, что мы в лесу и что это деревья в снегу и в инее мне за палаты показались, а огни — это звезды на небе промеж сучьев дрожат.

В ночь иней выпал: и на сучьях иней, и на шубе моей иней, и Демьян весь под инеем, и сыплется сверху иней. Разбудил я Демьяна. Стали мы на лыжи и пошли. Тихо в лесу; только слышно, как мы лыжами по мягкому снегу посовываем, да кое-где треснет дерево от мороза, и по всему лесу голк раздается. Один раз только живое что-то зашумело близехонько от нас и прочь побежало. Я так и думал, что медведь. Подошли к тому месту, откуда зашумело, увидали следы заячьи, и осинки обглоданы. Это зайцы кормились.

Вышли мы на дорогу, привязали лыжи за собой и пошли по дороге. Идти легко стало. Лыжи сзади по накатанной дороге раскатываются, громыхают, снежок под сапогами поскрипывает, холодный иней на лицо, как пушок, липнет. А звезды вдоль по сучьям точно навстречу бегут, засветятся, потухнут,— точно всё небо ходуном ходит.

Товарищ спал,— я разбудил его. Мы рассказали, как обошли медведя, и велели хозяину к утру собрать загонщиков-мужиков. Поужинали и легли спать.

Я бы с усталости проспал до обеда, да товарищ разбудил меня. Вскочил я, смотрю: товарищ уж одет, с ружьем что-то возится.

«А где Демьян?» — «Он уже давно в лесу. Уж и обклад поверил, сюда прибегал; а теперь повел загонщиков заводить». Умылся я, оделся, зарядил свои ружья; сели в сани, поехали.

Мороз все держал крепкий, тихо было, и солнца не видать было; туман стоял наверху, и иней садился.

Проехали мы версты три по дороге, подъехали к лесу. Видим: в низочке дымок синеет и народ стоит,— мужики и бабы с дубинами.

Слезли мы, подошли к народу. Мужики сидят, картошки жарят, смеются с бабами.

И Демьян с ними. Поднялся народ; повел их Демьян расставлять кругом по нашему вчерашнему обходу. Вытянулись мужики и бабы ниткой, 30 человек — только по пояс их видно — зашли в лес; потом пошли мы с товарищем по их следу.

Дорожка хоть и натоптана, да тяжело идти; зато падать некуда,— как промежду двух стен идешь.

Прошли мы так с полверсты; смотрим — уж Демьян с другой стороны к нам бежит на лыжах, машет рукой, чтоб к нему шли.

Подошли мы к нему, показал нам места. Стал я на свое место, огляделся.

Налево от меня высокий ельник; сквозь него далеко видно, и за деревьями чернеется мне мужик-загонщик. Против меня частый, молодой ельник в рост человека. И на ельнике сучья повисли и слиплись от снега. В средине ельника дорожка, засыпанная снегом. Дорожка эта прямо на меня идет. Направо от меня частый ельник, а на конце ельника полянка. И на этой полянке, вижу я, что Демьян ставит товарища.

Осмотрел я свои два ружья, взвел курки и стал раздумывать, где бы мне получше стать. Сзади меня в трех шагах большая сосна. «Дай стану у сосны и ружье другое к ней прислоню». Полез я к сосне, провалился выше колен, обтоптал у сосны площадку аршина в полтора и на ней устроился. Одно ружье взял в руки, а другое с взведенными курками прислонил к сосне. Кинжал я вынул и вложил, чтобы знать, что в случае нужды он легко вынимается.

Только я устроился, слышу, кричит в лесу Демьян: «Пошел! в ход пошел! пошел!» И как закричал Демьян, на кругу закричали мужики разными голосами. «Пошел! Уууу!..» — кричали мужики. «Ай! И-их!» — кричали бабы тонкими голосами.

Медведь был в кругу. Демьян гнал его. Кругом везде кричал народ, только я и товарищ стояли, молчали и не шевелились, ждали медведя. Стою я, смотрю, слушаю, сердце у меня так и стучит. Держусь за ружье, подрагиваю. Вот-вот, думаю, выскочит, прицелюсь, выстрелю, упадет... Вдруг налево слышу я, в снегу обваливается что-то, только далеко. Глянул я в высокий ельник: шагов на 50, за деревьями, стоит что-то черное, большое. Приложился я и жду. Думаю, не подбежит ли ближе. Смотрю: шевельнул он ушами, повернулся и назад. Сбоку мне его всего видно стало. Здоровенный зверище! Нацелился я сгоряча. Хлоп! — слышу: шлепнулась об дерево моя пуля. Смотрю из-за дыма,— медведь мой назад катит в обклад и скрылся за лесом. Ну, думаю, пропало мое дело; теперь уж не набежит на меня; либо товарищу стрелять, либо через мужиков пойдет, а уж не на меня. Стою я, зарядил опять ружье и слушаю. Кричат мужики со всех сторон, но с правой стороны, недалеко от товарища, слышу, непутем кричит какая-то баба: «Вот он! Вот он! Вот он! Сюда! Сюда! Ой, ой! Ай, ай, ай!»

Видно — на глазах медведь. Не жду уже я к себе медведя и гляжу направо, на товарища. Смотрю: Демьян с палочкой без лыж, по тропинке бежит к товарищу; присел подле него и палкой указывает ему на что-то, как будто целится. Вижу: товарищ вскинул ружье, целится туда, куда показывает Демьян. Хлоп! — выпалил. «Ну,— думаю,— убил». Только, смотрю, не бежит товарищ за медведем. «Видно, промах или плохо попал,— уйдет,— думаю,— теперь медведь назад, а ко мне уже не выскочит!» Что такое? Впереди себя слышу вдруг — как вихорь летит кто-то, близехонько сыплется снег, и пыхтит. Поглядел я перед собой: а он прямехонько на меня по дорожке между частым ельником катит стремглав и, видно, со страху сам себя не помнит. Шагах от меня в пяти весь мне виден: грудь черная, и головища огромная с рыжинкой. Летит прямехонько на меня лбом и сыплет снег во все стороны. И вижу я по глазам медведя, что он не видит меня, а с испугу катит благим матом,

куда попало. Только ход ему прямо на сосну, где я стою. Вскинул я ружье, выстрелил,— а уже он еще ближе. Вижу, не попал, пулю пронесло; а он и не слышит, катит на меня и всё не видит. Пригнул я ружье, чуть не упер в него, в голову. Хлоп! — вижу, попал, а не убил.

Приподнял он голову, прижал уши, осклабился и прямо ко мне. Хватился я за другое ружье; но только взялся рукой, уж он налетел на меня, сбил с ног в снег и перескочил через. «Ну,— думаю,— хорошо, что он бросил меня». Стал я подниматься, слышу — давит меня что-то, не пускает. Он с налету не удержался, перескочил через меня, да повернулся передом назад и навалился на меня всею грудью. Слышу я, лежит на мне тяжелое, слышу теплое над лицом и слышу, забирает он в пасть все лицо мое. Нос мой уж у него во рту, и чую я — жарко и кровью от него пахнет. Надавил он меня лапами за плечи, и не могу я шевельнуться. Только подгибаю голову к груди, из пасти нос и глаза выворачиваю. А он норовит как раз в глаза и нос зацепить. Слышу: зацепил он зубами верхней челюстью в лоб под волосами, а нижней челюстью в маслак под глазами, стиснул зубы, начал давить. Как ножами режут мне голову; бьюсь я, выдергиваюсь, а он торопится и как собака грызет — жамкнет, жамкнет. Я вывернусь, он опять забирает. «Ну,— думаю,— конец мой пришел». Слышу, вдруг полегчало на мне. Смотрю, нет его: соскочил он с меня и убежал.

Когда товарищ и Демьян увидали, что медведь сбил меня в снег и грызет, они бросились ко мне. Товарищ хотел поскорее поспеть, да ошибся; вместо того, чтобы бежать по протоптанной дорожке, он побежал целиком и упал. Пока он выкарабкивался из снега, медведь все грыз меня. А Демьян, как был, без ружья, с одной хворостиной, пустился по дорожке, сам кричит: «Барина заел! Барина заел!» Сам бежит и кричит на медведя: «Ах ты, баламутный! Что делает! Брось! Брось!»

Послушался медведь, бросил меня и побежал. Когда я поднялся, на снегу крови было, точно барана зарезали, и над глазами лохмотьями висело мясо, а сгоряча больно не было.

Прибежал товарищ, собрался народ, смотрят мою рану, снегом примачивают. А я забыл про рану, спрашиваю: «Где медведь, куда ушел?» Вдруг слышим: «Вот он!

вот он!» Видим: медведь бежит опять к нам. Схватились мы за ружья, да не поспел никто выстрелить,— уж он пробежал. Медведь остервенел,— хотелось ему еще погрызть, да увидал, что народу много, испугался. По следу мы увидели, что из медвежьей головы идет кровь; хотели идти догонять, но у меня разболелась голова, и поехали в город к доктору.

Доктор зашил мне раны шелком, и они стали заживать.

Через месяц мы поехали опять на этого медведя; но мне не удалось добить его. Медведь не выходил из обклада, а все ходил кругом и ревел страшным голосом. Демьян добил его. У медведя этого моим выстрелом была перебита нижняя челюсть и выбит зуб.

Медведь этот был очень велик и на нем прекрасная черная шкура.

Я сделал из нее чучелу, и она лежит у меня в горнице. Раны у меня на лбу зажили, так что только чуть-чуть видно, где они были.

НАСЕДКА И ЦЫПЛЯТА

(Басня)

Наседка вывела цыплят и не знала, как их уберечь. Она и сказала им: «Полезайте опять в скорлупу; когда вы будете в скорлупе, я сяду на вас, как прежде сидела, и уберегу вас». Цыплята послушались, полезли в скорлупу, но не могли никак влезть в нее и только помяли себе крылья. Тогда один цыпленок и сказал матери:

«Если нам всегда оставаться в скорлупе, ты бы лучше и не выводила нас».

ГАЗЫ

(Рассуждение)

I

Воздух бывает разный, хотя он всегда светлый и не видный.

Вода расходится в воздухе, делается летучею; и когда много воды в воздухе, он бывает сырой, когда мало —

сухой. Когда в закрытом месте надышат люди, воздух бывает дурной, нездоровый; а на открытых местах или в лесу — воздух здоровый, хороший. Это бывает оттого, что в закрытой комнате к обыкновенному воздуху прибавился тот дурной воздух, который выдыхают из себя люди и все животные.

Стало быть, в воздухе есть разные части, и их глазом нельзя отличить: все похожи на обыкновенный воздух. Эти разные вещества, разные газы смешаны в воздухе так, как вода с уксусом или с вином. Если в воду налить водки, то вода и водка перемешаются так, что глазом не разберешь,— есть ли в воде водка, или нет, и много ли ее, или мало. Но понюхать — и можно разобрать; так и в воздухе бывает разная смесь, и глазами ничего нельзя видеть, а можно только почувствовать, когда долго подышишь. В хорошем воздухе дышать приятно и здорово, в дурном тяжело и иногда вредно.

Для дыхания нужнее всех частей воздуха одна, называемая *кислородом*. Если собрать этот газ отдельно и всунуть в него курилку, то она сейчас загорится огнем. Стало быть, от него дерево и всякая другая вещь горит сильнее. А если кислорода нет в воздухе и всунуть в такой воздух курилку, она погаснет.

Оттого воздух и нужен для горения, что в нем есть кислород. Чтобы огонь разгорелся, на него дуют, машут, а если хочешь, чтобы загоревшаяся вещь погасла, сделай так, чтобы вокруг нее не было воздуха: накрой ее, зажми со всех сторон, и она погаснет.

Другая часть воздуха — *азот*. В нем дышать нельзя, и вещи не могут гореть.

Третья часть воздуха — углекислый газ, *углекислота*. Она тоже не годится ни для дыхания, ни для горения. Этого газа мало в воздухе, но он везде есть. Когда же его наберется много, то он опускается и собирается внизу, потому что он тяжелее других газов.

Четвертая часть воздуха — водяные пары, летучая вода.

Когда мы дышим, то кислород уходит в наше тело, и в том воздухе, который мы выдыхаем, кислорода меньше, чем в обыкновенном воздухе, а зато больше углекислоты. Вот отчего воздух становится дурным от дыхания.

Деревья, травы и все растения тоже дышат, только они не втягивают в себя воздух, как мы втягиваем грудью, а вбирают его всеми листочками и молодою корой. И из всех листочков тоже незаметно выдыхается воздух; и этот воздух тоже не такой, как обыкновенный: в нем меньше углекислоты и больше кислорода. Стало быть, растениям нужна углекислота, которая не нужна и вредна животным. И вот отчего в лесу воздух такой здоровый: там углекислоты меньше и кислорода больше.

ГАЗЫ

(Рассуждение)

II

Если в ведро с водой набросать камней, пробок, соломы, дерева сухого и сырого, насыпать песку, глины, соли, налить туда же масла, водки, и все это взболтать и смешать и потом посмотреть, что будет делаться, то увидишь, что камни, глина, песок пойдут на дно, сухое дерево, солома, пробки, масло всплывут кверху, соль и водка распустятся, так что их не будет видно. Все это будет сначала кружиться, шевелиться, толкать друг друга, а потом все найдет себе место и расстановится: что тяжелее, то скорее пойдет книзу; что легче, то скорее пойдет наверх.

Точно так же в воздухе, над землею, размещаются все газы. Какие тяжелее воздуха, те садятся ниже; какие легче, те поднимаются выше; какие могут распуститься, те расходятся по всему воздуху.

Если бы газы не делались новые, не смешивались бы с другими, не переменялись бы, то воздух бы стоял над землею и не шевелился бы, как вода в ведре, когда она устоится; но на земле беспрестанно делаются новые газы, и те, какие есть, смешиваются с другими веществами.

Каждый человек, каждое животное когда дышит, то выбирает из воздуха кислород и в самом себе смешивает его с веществами своего тела, а выпускает уже другим газом. Всякое растение — трава, дерево — забирает в себя углекислоту и выпускает кислород. Вода в одном месте

из жидкой делается летучею, водяным газом, невидимым паром; в другом месте из летучей воды делается жидкая. От этого в воздухе всегда ходят разные газы: какие легче, те идут вверх, какие тяжелее, те опускаются вниз, и ходят газы беспрестанно, как в ведре с водой разные вещества. Но всего больше весь воздух шевелится и ходит оттого, что — как он где нагреется, так поднимается кверху, а как остынет, так идет книзу. Когда в солнечный день солнце сбоку светит в окно, то в лучах солнца видно, как кружатся и прыгают кверху и книзу пылинки. Это кружится теплый и холодный воздух и носит с собою легкие пылинки.

ЛЕВ, ОСЕЛ И ЛИСИЦА

(Басня)

Лев, осел и лисица вышли на добычу. Наловили они много зверей, и лев велел ослу делить. Осел разделил поровну на три части и говорит: «Ну, теперь берите!» Лев рассердился, съел осла и велел лисице переделить. Лисица все собрала в одну кучу, а себе чуточку оставила. Лев посмотрел и говорит: «Ну, умница! Кто ж тебя научил так хорошо делить?»

Она говорит: «А с ослом-то что было?»

СТАРЫЙ ТОПОЛЬ

(Рассказ)

Пять лет наш сад был заброшен; я нанял работников с топорами и лопатами и сам стал работать с ними в саду. Мы вырубали и вырезывали сушь и дичь и лишние кусты и деревья. Больше всего разрослись и глушили другие деревья — тополь и черемуха. Тополь идет от корней, и его нельзя вырыть, а в земле надо вырубать корни. За прудом стоял огромный в два обхвата тополь. Вокруг него была полянка; она вся заросла отростками тополей. Я велел их рубить: мне хотелось, чтобы место было веселее, а главное,— мне хотелось облегчить старый тополь, потому что я думал: все эти молодые деревья от него

идут и из него тянут сок. Когда мы вырубали эти молодые тополюки, мне иногда жалко становилось смотреть, как разрубали под землею их сочные коренья, как потом вчетвером мы тянули и не могли выдернуть надрубленный тополек. Он изо всех сил держался и не хотел умирать. Я подумал: видно, нужно им жить, если они так крепко держатся за жизнь. Но надо было рубить, и я рубил. Потом уже, когда было поздно, я узнал, что не надо было уничтожать их.

Я думал, что отростки вытягивают сок из старого тополя, а вышло наоборот. Когда я рубил их, старый тополь уже умирал. Когда распустились листья, я увидал (он расходился на два сука), что один сук был голый; и в то же лето он засох. Он давно уже умирал и знал это и передал свою жизнь в отростки.

От этого они так скоро разрослись, а я хотел его облегчить — и побил всех его детей.

ЧЕРЕМУХА

(Рассказ)

Одна черемуха выросла на дорожке из орешника и заглушала лещиновые кусты. Долго думал я — рубить или не рубить ее: мне жаль было. Черемуха эта росла не кустом, а деревом, вершка три в отрубе и сажени 4 в вышину, вся развилистая, кудрявая и вся обсыпанная ярким, белым, душистым цветом. Издалека слышен был ее запах. Я бы и не срубил ее, да один из работников (я ему прежде сказал вырубить всю черемуху) без меня начал рубить ее. Когда я пришел, уже он врубился в нее вершка на полтора, и сок так и хлюпал под топором, когда он попадал в прежнюю тяпку. «Нечего делать, видно, судьба»,— подумал я, взял сам топор и начал рубить вместе с мужиком.

Всякую работу весело работать; весело и рубить. Весело наискось глубоко всадить топор, и потом напрямик подсечь подкошенное, и дальше и дальше врубаться в дерево.

Я совсем забыл о черемухе и только думал о том, как бы скорее свалить ее. Когда я запыхался, я положил топор, уперся с мужиком в дерево и попытался свалить его.

Мы качнули: дерево задрожало листьями, и на нас закапало с него росой, и посыпались белые, душистые лепестки цветов.

В то же время, точно вскрикнуло что-то,— хрустнуло в средине дерева; мы налегли, и как будто заплакало,— затрещало в средине, и дерево свалилось. Оно разодралось у надруба и, покачиваясь, легло сучьями и цветами на траву. Подрожали ветки и цветы после падения и остановились.

«Эх! штука-то важная! — сказал мужик. — Живо жалко!» А мне так было жалко, что я поскорее отошел к другим рабочим.

КАК ХОДЯТ ДЕРЕВЬЯ

(Рассказ)

Раз мы вычищали на полубугре подле пруда заросшую дорожку, много нарубили шиповника, лозины, тополя, потом пришла черемуха. Росла она на самой дороге и была такая старая и толстая, что ей не могло быть меньше 10 лет. А пять лет тому назад, я знал, что сад был чищен. Я никак не мог понять, как могла тут вырасти такая старая черемуха. Мы срубили ее и прошли дальше. Дальше, в другой чаще, росла другая такая же черемуха, даже еще потолще. Я осмотрел ее корень и нашел, что она росла под старой липой. Липа своими сучьями заглушила ее, и черемуха протянулась аршин на пять прямым стеблем по земле; а когда выбралась на свет, подняла голову и стала цвести. Я срубил ее в корне и подивился тому, как она была свежа и как гнил был корень. Когда я срубил ее, мы с мужиками стали ее оттаскивать; но сколько мы ни тащили, не могли ее сдвинуть: она как будто прилипла. Я сказал: «Посмотри, не зацепили ли где?» Работник подлез под нее и закричал: «Да у ней другой корень, вот на дороге!» Я подошел к нему и увидал, что это была правда.

Черемуха, чтобы ее не глушила липа, перешла из-под липы на дорожку, за три аршина от прежнего корня. Тот корень, что я срубил, был гнилой и сухой, а новый был свежий. Она почуяла, видно, что ей не жить под липой, вытянулась, вцепилась сучком за землю, сделала из сучка

корень, а тот корень бросила. Тогда только я понял, как выросла та первая черемуха на дороге. Она то же, верно, сделала,— но успела уже совсем отбросить старый корень, так что я не нашел его.

ДЕРГАЧ И ЕГО САМКА

(Басня)

Дергач поздно свил в лугу гнездо, и в покос еще самка сидела на яйцах. Рано утром мужики пришли к лугу, сняли кафтаны, наточили косы и пошли друг за другом подрезать траву и класть рядами. Дергач вылетел посмотреть, что делают косцы. Когда он увидал, что один мужик махнул косой и разрезал пополам змею, он обрадовался, прилетел к дергачихе и сказал: «Не бойся мужиков; они пришли резать змей; нам давно от них житья нет». А дергачиха сказала: «Мужики режут траву, а с травой режут все, что ни попадется: и змею, и дергачиное гнездо, и дергачиную голову. Не добро чует мое сердце; а нельзя мне ни унести яиц, ни улететь с гнезда, чтобы не остудить их».

Когда косцы дошли до дергачиного гнезда, один мужик махнул косой и срезал дергачихе голову, а яйца положил за пазуху и отдал ребятам играть.

КАК ДЕЛАЮТ ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ

(Рассуждение)

Если взять надутый пузырь и опустить его в воду, а потом пустить, то пузырь выскочит на верх воды и станет по ней плавать. Точно так же, если кипятить чугун воды, то на дне, над огнем, вода делается летучею, газом; и как соберется пар, немножко водяного газа, он сейчас пузырем выскочит наверх. Сперва выскочит один пузырь, потом другой, а как нагреется вся вода, то пузыри выскакивают не переставая: тогда вода *кипит*.

Так же, как из воды выскакивают наверх пузыри, надутые летучею водой, потому что они легче воды,— так из воздуха выскочит на самый верх воздуха пузырь, на-

дутый газом — *водородом,* или горячим воздухом, потому что горячий воздух легче холодного воздуха, а водород легче всех газов.

Воздушные шары делают из водорода и из горячего воздуха. Из водорода шары делают вот как: сделают большой пузырь, привяжут его веревками к кольям и напустят в него водорода. Как только отвяжут веревку, пузырь полетит кверху, и летит до тех пор, пока не выскочит из того воздуха, который тяжелее водорода. А когда выскочит наверх, в легкий воздух, то начнет плавать по воздуху, как пузырь на воде. Из горячего воздуха делают воздушные шары вот как: сделают большой пустой шар с горлышком внизу, как перевернутый кувшин, и в горлышке приделают клок хлопка, и хлопок этот намочат в спирт и зажгут. От огня разогреется воздух в шаре и станет легче воздуха холодного, и шар потянет кверху, как пузырь из воды. И шар будет лететь до тех пор кверху, пока не придет в воздух легче горячего воздуха в шаре.

Почти сто лет тому назад, французы, братья Монгольфьеры, выдумали воздушные шары. Они сделали шар из полотна с бумагой, напустили в него горячего воздуха; шар полетел. Тогда они сделали другой шар побольше, подвязали под шар барана, петуха и утку и пустили. Шар поднялся и опустился благополучно. Потом уже подделали под шар лодочку и в лодочку сел человек. Шар взлетел так высоко, что скрылся из виду: полетал и потом спустился благополучно. Потом придумали наполнять шары водородом и стали летать еще выше и скорее.

Для того, чтобы летать на шару, подвязывают под него лодочку, и в эту лодочку садятся по двое, по трое и даже по восьми человек и берут с собою питье и еду.

Для того, чтобы спускаться и подниматься, когда хочешь, в шару сделан клапан, и этот клапан тот, кто летит, может за веревку потянуть и открывать и закрывать. Если шар слишком высоко поднимется и, кто летит, хочет спустить его, то он откроет клапан, газ выйдет, шар сожмется и станет спускаться. Кроме того, на шару всегда есть мешки с песком. Если сбросить мешок, то шару будет легче, и он пойдет кверху. Если кто летит, хочет спуститься и видит, что внизу неладно,— или река или лес, то он высыпает песок из мешков, и шар становится легче и опять поднимается.

Народ собрался смотреть на то, как я полечу. Шар был готов. Он подрагивал, рвался вверх на четырех канатах и то морщился, то надувался. Я простился с своими, сел в лодку, осмотрел, все ли мои припасы были по местам, и закричал: «Пускай!» Канаты подрезали, и шар поднялся кверху, сначала тихо,— как жеребец сорвался с привязи и оглядывался,— и вдруг дернул кверху и полетел так, что дрогнула и закачалась лодка. Внизу захлопали в ладоши, закричали и замахали платками и шляпами. Я взмахнул им шляпой и не успел опять надеть ее, как уж я был так высоко, что с трудом мог разобрать людей. Первую минуту мне стало жутко и мороз пробежал по жилам; но потом вдруг так стало весело на душе, что я забыл бояться. Мне уж чуть слышен был шум в городе. Как пчелы, шумел народ внизу. Улицы, дома, река, сады в городе виднелись мне внизу, как на картинке. Мне казалось, что я царь над всем городом и народом,— так мне весело было наверху. Я шибко поднимался кверху, только подрагивали веревки в лодке, да раз налетел на меня ветер, пéревернул меня два раза на месте; но потом опять не слыхать было, лечу ли я, или стою на месте. Я только потому замечал, что лечу кверху, что все меньше и меньше становилась подо мной картинка города и дальше становилось видно. Земля точно росла подо мной, становилась шире и шире, и вдруг я заметил, что земля подо мной стала, как чашка. Края были выпуклые,— на дне чашки был город. Мне веселее и веселее становилось. Весело и легко было дышать и хотелось петь. Я запел, но голос мой был такой слабый, что я удивился и испугался своему голосу.

Солнце стояло еще высоко, но на закате тянулась туча,— и вдруг она закрыла солнце. Мне опять стало жутко, и я, чтоб заняться чем-нибудь, достал барометр и посмотрел на него, и по нем узнал, что я поднялся уже на 4 версты. Когда я клал на место барометр, что-то затрепыхалось около меня, и я увидал голубка. Я вспомнил, что взял голубка затем, чтобы спустить его с записочкой вниз. Я написал на бумажке, что я жив и здоров, на 4-х верстах высоты, и привязал бумажку к шее голу-

бя. Голубь сидел на краю лодки и смотрел на меня своими красноватыми глазами. Мне казалось, что он просил меня, чтобы я не сталкивал его. С тех пор, как стало пасмурно, внизу ничего не было видно. Но нечего делать, надо было послать вниз голубя. Он дрожал всеми перышками, когда я взял его в руку. Я отвел руку и бросил его. Он, часто махая крыльями, полетел боком, как камень, книзу. Я посмотрел на барометр. Теперь я уже был на пять верст над землею и почувствовал, что мне воздуха мало, и я часто стал дышать. Я потянул за веревку, чтобы выпустить газ и спускаться, но ослабел ли я, или сломалось что-нибудь,— клапан не открывался. Я обмер. Мне не слыхать было, чтобы я поднимался, ничто не шевелилось, но дышать мне становилось все тяжелее и тяжелее. «Если я не остановлю шар,— подумал я,— то он лопнет, и я пропал». Чтобы узнать, поднимаюсь ли я, или стою на месте, я выбросил бумажки из лодки. Бумажки, точно камни, летели книзу. Значит, я, как стрела, летел кверху. Я изо всех сил ухватился за веревку и потянул. Слава богу, клапан открылся, засвистало что-то. Я выбросил еще бумажку,— бумажка полетела около меня и поднялась. Значит, я опускался. Внизу все еще ничего не было видно, только как море тумана расстилалось подо мной. Я спустился в туман: это были тучи. Потом подул ветер, понес меня куда-то, и скоро выглянуло солнце, и я увидал под собой опять чашку земли. Но не было еще нашего города, а какие-то леса и две синие полосы — реки. Опять мне радостно стало на душе и не хотелось спускаться; но вдруг что-то зашумело подле меня, и я увидал орла.

Он удивленными глазами поглядел на меня и остановился на крыльях. Я, как камень, летел вниз. Я стал скидывать балласт, чтобы задержаться.

Скоро мне стали видны поля, лес и у леса деревня, и к деревне идет стадо. Я слышал голоса народа и стада. Шар мой спускался тихо. Меня увидали. Я закричал и бросил им веревки. Сбежался народ. Я увидел, как мальчик первый поймал веревку. Другие подхватили, прикрутили шар к дереву, и я вышел. Я летал только 3 часа. Деревня эта была за 250 верст от моего города.

КОРОВА И КОЗЕЛ

(Сказка)

У старухи были корова и козел. Корова и козел вместе ходили в стадо. Корова все ворочалась, когда ее доили. Старуха вынесла хлеба с солью, дала корове и приговаривала: «Да стой же, матушка; на, на; еще вынесу, только стой смирно».

На другой вечер козел вперед коровы вернулся с поля, расставил ноги и стал перед старухой. Старуха замахнулась на него полотенцем, но козел стоял, не шевелился. Он помнил, что старуха обещала хлеба корове, чтобы стояла смирно. Старуха видит, что козел не принимается, взяла палку и прибила его.

Когда козел отошел, старуха опять стала кормить корову хлебом и уговаривать ее.

«Нет в людях правды! — подумал козел. — Я смирнее ее стоял, а меня прибили».

Он отошел к сторонке, разбежался, ударил в подойник, разлил молоко и зашиб старуху.

ВОРОН И ВОРОНЯТА

(Басня)

Ворон свил себе гнездо на острове, и когда воронята вывелись, он стал их переносить с острова на землю. Сперва он взял в когти одного вороненка и полетел с ним через море. Когда старый ворон вылетел на средину моря, он уморился, стал реже махать крыльями и подумал: теперь я силен, а он слаб, я перенесу его через море; а когда он станет велик и силен, а я стану слаб от старости, вспомнит ли он мои труды и будет ли переносить меня с места на место? И старый ворон спросил вороненка: «Когда я буду слаб, а ты будешь силен, будешь ли ты носить меня? Говори мне правду!» Вороненок боялся, что отец бросит его в море, и сказал: «Буду». Но старый ворон не поверил сыну и выпустил вороненка из когтей. Вороненок, как комок, упал книзу и потонул в море. Старый ворон один полетел через море назад на свой остров. Потом старый ворон взял другого вороненка и также понес его через море. Опять он уморился на сре-

дине моря и спросил сына, будет ли он его в старости переносить с места на место. Сын испугался, чтобы отец не бросил его, и сказал: «Буду».

Отец не поверил и этому сыну и бросил его в море. Когда старый ворон прилетел назад к своему гнезду, у него оставался один вороненок. Он взял последнего сына и полетел с ним через море. Когда он вылетел на средину моря и уморился, он спросил: «Будешь ли ты в моей старости кормить меня и переносить с места на место?» Вороненок сказал: «Нет, не буду». — «Отчего?» — спросил отец. «Когда ты будешь стар, а я буду большой, у меня будет свое гнездо и свои воронята, и я буду кормить и носить своих детей». Тогда старый ворон подумал: «Он правду сказал, за то потружусь и перенесу его за море». И старый ворон не выпустил вороненка, а из последних сил замахал крыльями и перенес на землю, чтобы он свил себе гнездо и вывел детей.

СОЛНЦЕ — ТЕПЛО

(Рассуждение)

Выйди зимой в тихий морозный день в поле или в лес и посмотри кругом себя и послушай: везде кругом снег, реки замерзли, сухие травки торчат из-под снега, деревья стоят голые, ничто не шевелится.

Посмотри летом: реки бегут, шумят; в каждой лужице лягушки кричат, бубулькают; птицы перелетывают, свистят, поют; мухи, комары вьются, жужжат; деревья, травы растут, махаются.

Заморозь чугун с водой — он окаменеет. Поставь замороженный чугун в огонь: станет лед трескаться, таять, пошевеливаться; станет вода качаться, бульки пускать; потом, как станет кипеть, загудит, завертится. То же делается и на свете от тепла. Нет тепла — все мертво; есть тепло — все движется и живет. Мало тепла — мало движенья; больше тепла — больше движенья; много тепла — много движенья; очень много тепла — и очень много движенья.

Откуда берется тепло на свете? Тепло от солнца.

Ходит солнце низко зимой, стороною, не упирает лучами в землю, и ничто не шевелится. Станет солнышко

ходить выше над головами, станет светить в припор к земле, отогревается все на свете и начнет шевелиться.

Станет снег осаживаться, станет отдувать лед на реках, польется вода с гор, поднимутся пары из воды в облака, пойдет дождь. Кто это все сделает? Солнце. Оттают семечки, выпустят ростки, зацепятся ростки за землю; из старых кореньев пойдут побеги, начнут расти деревья и травы. Кто это сделал? Солнце.

Встанут медведи, кроты; очнутся мухи, пчелы; выведутся комары, выведутся рыбы из яичек на тепле. Кто все это сделал? Солнце.

Разогреется в одном месте воздух, подымется, а на его место пойдет воздух похолоднее,— станет ветерок. Кто это сделал? Солнце.

Поднимутся облака, станут сходиться и расходиться,— ударит молния. Кто сделал этот огонь? Солнце.

Вырастут травы, хлеба, плоды, деревья; насытятся животные, напитаются люди, соберут корму и топлива на зиму; построят себе люди дома, построят чугунки, города. Кто все приготовил? Солнце.

Человек построил себе дом. Из чего он его сделал? Из бревен. Бревна вырублены из деревьев; деревья вырастило солнце.

Топится печка дровами. Кто вырастил дрова? Солнце.

Ест человек хлеб, картофель. Кто вырастил? Солнце. Ест человек мясо. Кто выкормил животных, птиц? Травы. А травы вырастило солнце.

Человек строит каменный дом из кирпича и известки. Кирпич и известка обожжены дровами. Дрова заготовило солнце.

Все, что людям нужно, что идет прямо на пользу, все это заготовляется солнцем, и во все идет много солнечного тепла. Потому и нужен всем хлеб, что его растило солнце и что в нем много солнечного тепла. Хлеб греет того, кто его ест.

Потому и нужны дрова и бревна, что в них много тепла. Кто закупит дров на зиму, тот закупит солнечного тепла; и зимой, когда захочет, то и зажжет дрова и выпустит тепло солнечное себе в горницу.

А когда есть тепло, то есть и движение. Какое ни на есть движение — все от тепла,— либо прямо от солнечного тепла, либо от тепла того, которое заготовило солнце: в угле, в дровах, и в хлебе, и в траве.

Лошади, быки возят, люди работают,—что их *двигает?* Тепло. А откуда они взяли тепло? Из корма. А корм заготовило солнце.

Водяные и ветряные мельницы вертятся и мелют. Кто их двигает? Ветер и вода. А ветер кто гонит? Тепло. А воду кто гонит? Тепло же. Оно подняло воду парами вверх, и без этого вода не падала бы книзу. Машина работает,— ее движет пар; а пар кто делает? Дрова. А в дровах тепло солнечное.

Из тепла делается движение, а из движения тепло. И тепло и движение от солнца.

ОТЧЕГО ЗЛО НА СВЕТЕ

(Басня)

Пустынник жил в лесу, и звери не боялись его. Он и звери говорили между собою и понимали друг друга.

Один раз пустынник лег под дерево, а ворон, голубь, олень и змея собрались ночевать к тому же месту. Звери стали рассуждать, отчего зло бывает на свете.

Ворон сказал: «Зло на свете все от голода. Когда поешь вволю, сядешь себе на сук, покаркаешь — все весело, хорошо, на все радуешься; а вот только поголодай день-другой, и все так противно станет, что и не смотрел бы на свет божий. И все тебя тянет куда-то, перелетаешь с места на место, и нет тебе покоя. А завидишь мясо, так еще тошнее сделается, так и бросишься без разбора. Другой раз и палками-то, и камнями в тебя кидают, и волки и собаки хватают, а ты все не отстаешь. И сколько так из-за голода пропадает нашего брата. Все зло от голода».

Голубь сказал: «А по мне, не от голода зло, а все зло от любви. Кабы мы жили по одному, нам бы горя мало. Одна голова не бедна, а и бедна, так одна. А то мы живем всегда парочками. И так полюбишь свою дружку, что нет тебе покоя — все о ней думаешь: сыта ли, тепла ли она? А как улетит куда-нибудь от тебя дружка, тут уж совсем пропадешь,— все думаешь: как бы ястреб не унес или люди не поймали бы; и сам полетишь ее искать, да и залетишь в беду,— либо под ястреба, или в силок. А если пропадет дружка, так самому уже ничто

не мило. Не ешь, не пьешь и только ищешь да плачешь. Сколько нас от этого пропадает! Все зло не от голода, а от любви».

Змея сказала: «Нет, зло не от голода и не от любви, а зло от злости. Кабы жили мы смирно, не злились бы,— нам бы все хорошо было. А то как сделается что-нибудь не по тебе, разозлишься,— тогда уж ничто не мило. Только и думаешь, как зло свое на ком выместить. Тут уж сама себя не помнишь, только шипишь да ползаешь, ищешь, кого бы укусить. Уже никого не жалеешь — до тех пор злишься, пока сама себя погубишь. Все зло на свете от злости».

Олень сказал: «Нет, не от злости, и не от любви, и не от голода все зло на свете, а зло от страха. Кабы можно было не бояться, все бы хорошо было. Ноги у нас резвые, силы много. От маленького зверя рогами отобьешься, от большого уйдешь. Да нельзя не бояться. Только хрустни в лесу ветка, зашурши листья, так весь и затрясешься от страха, забьется сердце, точно выскочить хочет, и летишь что есть духу. Другой раз заяц пробежит, птица трепещется или сухая ветка обломится, а ты думаешь — зверь, да и набежишь на зверя. А то бежишь от собаки,— набежишь на человека. Часто испугаешься и бежишь, сам не знаешь куда, и с размаху оборвешься под кручь и убьешься. И спишь-то одним глазом, слушаешь и боишься. Нет покоя. Все зло от страха».

Тогда пустынник сказал:

— Не от голода, не от любви, не от злобы, не от страха все наши мученья, а от нашего тела все зло на свете. От него и голод, и любовь, и злоба, и страх.

ГАЛЬВАНИЗМ

(Рассуждение)

Был один ученый итальянец Гальвани. У него была электрическая машина, и он показывал своим ученикам, что такое электричество. Он натирал крепко стекло шелком с мазью и потом к стеклу подводил медную шишечку, укрепленную в стекле, и из стекла перескакивала искра в медную шишечку. Он толковал им, что бывает такая же искра от сургуча и от янтаря. Показывал, как

перышки и бумажки иногда притягиваются электричеством, иногда отталкиваются, и отчего это бывает. Он много делал разных опытов с электричеством, и все это показывал ученикам.

Однажды у него заболела жена. Он позвал доктора и спросил, чем ее лечить. Доктор велел сделать ей суп из лягушек. Гальвани велел наловить съедобных лягушек. Ему наловили, убили их и положили к нему на стол.

Пока кухарка не приходила за лягушками, Гальвани продолжал показывать ученикам электрическую машину и пускать искры.

Вдруг он увидал, что мертвые лягушки на столе дрыгают ногами. Он стал присматриваться и заметил, что всякий раз, как он пустит искру из электрической машины, лягушки дрыгнут ногами. Гальвани набрал еще лягушек и стал над ними делать опыты. Всякий раз выходило так, что как пустит искру, так мертвые лягушки станут, как живые, шевелить ногами.

Гальвани и подумал, что живые лягушки не оттого ли шевелят ногами, что в них проходит электричество. А Гальвани знал, что электричество есть и в воздухе, что в сургуче, янтаре и стекле оно заметнее, но что оно есть в воздухе и что гроза и молния бывают от воздушного электричества.

Вот он и стал пытать, не будут ли мертвые лягушки двигать ногами и от воздушного электричества. Для этого он взял лягушек, снял с них шкуру, отрезал головы и передние лапы и подвесил их медными крючками к крыше под железный желоб. Он думал, что когда найдет гроза и в воздухе будет много электричества, то через медную проволоку электричество пройдет в лягушек, и они начнут шевелиться.

Только гроза проходила несколько раз, а лягушки не шевелились. Гальвани стал уже снимать их, да, снимаючи, тронул лягушечьей ногой о желоб,— и нога дрыгнула. Гальвани снял лягушек и стал пробовать так: он привязал к медному крючку железную проволоку и проволокой трогал лягушечью лапу,— и лапа дрыгала.

Вот Гальвани и решил, что все животные живы только оттого, что в них электричество и что электричество перескакивает от мозга в мясо и от этого животные движутся. Никто тогда еще не пробовал хорошенько этого дела и не знал, и все поверили Гальвани. Но в это время

другой ученый Вольта стал пробовать по-своему и показал всем, что Гальвани ошибся. Он попробовал трогать лягушку не так, как Гальвани, не медным крючком с железною проволокой, а либо медною проволокой с медным крючком, либо железной с железным крючком,— и лягушки не шевелились. Лягушки шевелились только тогда, когда Вольта трогал их железною проволокой, связанною с медной.

Вольта и подумал, что электричество не в мертвой лягушке, а в железе и меди. Он стал пробовать, и точно: как только сведет вместе железо и медь, так и делается электричество; а от электричества уже и дрыгает ногами мертвая лягушка. Вольта и стал пробовать, как бы делать электричество не так, как прежде его делали. Прежде электричество делали тем, что натирали стекло или сургуч. А Вольта стал делать его тем, что железо и медь сводил вместе. Он пробовал сводить вместе железо и медь и другие металлы и дошел до того, что из одного соединения металлов: серебра, платины, цинка, олова, железа — он производил электрические искры.

После Вольты придумали еще усилить электричество тем, что промеж металлов стали наливать разные жидкости — воду и кислоты. От этих жидкостей электричество стало еще сильнее, так что уж не нужно, как прежде делали, тереть, чтобы было электричество; а стоит только положить в одну чашку кусков разного металла и налить жидкостей, и в этой чашке будет электричество, и будет выходить искра из проволоки.

Когда придумано было это электричество, стали его прилагать к делу: придумали золотить и серебрить электричеством, придумали свет электрический и придумали электричеством на дальнем расстоянии с места на место передавать знаки.

Для этого кладут куски разных металлов в стаканчики; в них наливают жидкости. В стаканчиках набирается электричество, и это электричество проводят по проволоке в то место, куда хотят, а из того места проволоку проводят на землю. Электричество в земле бежит опять назад к стаканчикам и поднимается к ним из земли по другой проволоке; так что электричество между двух мест не переставая ходит кругом, как в кольце,— по проволоке в землю и назад по земле, и опять по проволоке, и опять по земле. Если по проволоке пустить электри-

чество и проволокою этой обмотать кусок железа, то железо это сделается магнитом и будет к себе притягивать другое железо.

Телеграф делают так: пустят электричество по проволоке, и проволокою этой обмотают железный столбик. А над столбиком приделан на перевесе железный молоточек. И пока электричество ходит по проволоке, железный столбик, обмотанный проволокой, притягивает к себе молоточек. Как только на другом конце — хоть за 100 верст — разведут концы проволоки врозь, электричество перестает ходить кругом, и железный столбик перестает быть магнитом и молоточек от него отпадает. Как сведут опять концы, так молоточек притягивается. И так можно с одной станции на другую постукивать молоточком. И по этим стукам уговорены знаки.

МУЖИК И ВОДЯНОЙ

(Басня)

Мужик уронил топор в реку; с горя сел на берег и стал плакать.

Водяной услыхал, пожалел мужика, вынес ему из реки золотой топор и говорит: «Твой это топор?»

Мужик говорит: «Нет, не мой».

Водяной вынес другой, серебряный топор.

Мужик опять говорит: «Не мой топор».

Тогда водяной вынес настоящий топор.

Мужик говорит: «Вот это мой топор».

Водяной подарил мужику все три топора за его правду.

Дома мужик показал товарищам топоры и рассказал, что с ним было.

Вот один мужик задумал то же сделать: пошел к реке, нарочно бросил свой топор в воду, сел на берег и заплакал.

Водяной вынес золотой топор и спросил: «Твой это топор?»

Мужик обрадовался и закричал: «Мой, мой!»

Водяной не дал ему золотого топора и его собственного назад не отдал — за его неправду.

ВОРОН И ЛИСИЦА

(Басня)

Ворон добыл мяса кусок и сел на дерево. Захотелось лисице мяса, она подошла и говорит:

— Эх, ворон, как посмотрю на тебя,— по твоему росту да красоте только бы тебе царем быть! И, верно, был бы царем, если бы у тебя голос был.

Ворон разинул рот и заорал что было мочи. Мясо упало. Лисица подхватила и говорит:

— Ах, ворон, коли бы еще у тебя и ум был, быть бы тебе царем.

КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК

(Быль)

1

Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин.

Пришло раз ему письмо из дома. Пишет ему старуха мать: «Стара я уж стала, и хочется перед смертью повидать любимого сынка. Приезжай со мной проститься, похорони, а там и с богом, поезжай опять на службу. А я тебе и невесту приискала: и умная, и хорошая, и именье есть. Полюбится тебе, может, и женишься и совсем останешься».

Жилин и раздумался: «И в самом деле: плоха уж старуха стала; может, и не придется увидать. Поехать; а если невеста хороша — и жениться можно».

Пошел он к полковнику, выправил отпуск, простился с товарищами, поставил своим солдатам четыре ведра водки на прощанье и собрался ехать.

На Кавказе тогда война была. По дорогам ни днем, ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских отъедет или отойдет от крепости, татары или убьют, или уведут в горы. И было заведено, что два раза в неделю из крепости в крепость ходили провожатые солдаты. Спереди и сзади идут солдаты, а в средине едет народ.

Дело было летом. Собрались на зорьке обозы за крепость, вышли провожатые солдаты и тронулись по дороге. Жилин ехал верхом, а телега с его вещами шла в обозе.

Ехать было 25 верст. Обоз шел тихо; то солдаты остановятся, то в обозе колесо у кого соскочит, или лошадь станет, и все стоят — дожидаются.

Солнце уже и за полдни перешло, а обоз только половину дороги прошел. Пыль, жара, солнце так и печет, а укрыться негде. Голая степь, ни деревца, ни кустика по дороге.

Выехал Жилин вперед, остановился и ждет, пока подойдет обоз. Слышит, сзади на рожке заиграли,— опять стоять. Жилин и подумал: «А не уехать ли одному, без солдат? Лошадь подо мной добрая, если и нападусь на татар — ускачу. Или не ездить?..»

Остановился, раздумывает. И подъезжает к нему на лошади другой офицер, Костылин, с ружьем, и говорит:

— Поедем, Жилин, одни. Мочи нет, есть хочется, да и жара. На мне рубаху хоть выжми. — А Костылин — мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с него так и льет. Подумал Жилин и говорит:

— А ружье заряжено?

— Заряжено.

— Ну, так поедем. Только уговор — не разъезжаться.

И поехали они вперед по дороге. Едут степью, разговаривают да поглядывают по сторонам. Кругом далеко видно.

Только кончилась степь, пошла дорога промеж двух гор в ущелье, Жилин и говорит:

— Надо выехать на гору, поглядеть, а то тут, пожалуй, выскочат из-за горы и не увидишь.

А Костылин говорит:

— Что смотреть? поедем вперед.

Жилин не послушал его.

— Нет,— говорит,— ты подожди внизу, а я только взгляну.

И пустил лошадь налево, на гору. Лошадь под Жилиным была охотницкая (он за нее сто рублей заплатил в табуне жеребенком и сам выездил); как на крыльях вынесла его на кручь. Только выскакал, глядь — а перед самым им, на десятину места, стоят татары верхами,— человек тридцать. Он увидал, стал назад поворачивать; и татары его увидали, пустились к нему, сами на скаку выхватывают ружья из чехлов. Припустил Жилин под кручь во все лошадиные ноги, кричит Костылину:

— Вынимай ружье! — а сам думает на лошадь свою: «Матушка, вынеси, не зацепись ногой, спотыкнешься — пропал. Доберусь до ружья, я им не дамся».

А Костылин, заместо того чтобы подождать, только увидал татар — закатился что есть духу к крепости. Плетью ожаривает лошадь то с того бока, то с другого. Только в пыли видно, как лошадь хвостом вертит.

Жилин видит — дело плохо. Ружье уехало, с одной шашкой ничего не сделаешь. Пустил он лошадь назад к солдатам — думал уйти. Видит, ему наперерез катят шестеро. Под ним лошадь добрая, а под теми еще добрее, да и наперерез скачут. Стал он окорачивать, хотел назад поворотить, да уж разнеслась лошадь, не удержит, прямо на них летит. Видит — близится к нему с красной бородой татарин на сером коне. Визжит, зубы оскалил, ружье наготове.

«Ну,— думает Жилин,— знаю вас, чертей, если живого возьмут, посадят в яму, будут плетью пороть. Не дамся же живой».

А Жилин хоть невелик ростом, а удал был. Выхватил шашку, пустил лошадь прямо на красного татарина, думает: «Либо лошадью сомну, либо срублю шашкой».

На лошадь места не доскакал Жилин, выстрелили по нем сзади из ружей и попали в лошадь. Ударилась лошадь оземь со всего маху,— навалилась Жилину на ногу.

Хотел он подняться, а уж на нем два татарина вонючие сидят, крутят ему назад руки. Рванулся он, скинул с себя татар,— да еще соскакали с коней трое на него, начали бить прикладами по голове. Помутилось у него в глазах и зашатался. Схватили его татары, сняли с седел подпруги запасные, закрутили ему руки за спину, завязали татарским узлом, поволокли к седлу. Шапку с него сбили, сапоги стащили, все обшарили, деньги, часы вынули, платье все изорвали. Оглянулся Жилин на свою лошадь. Она, сердечная, как упала на бок, так и лежит, только бьется ногами,— до земли не достает; в голове дыра, и из дыры так и свищет кровь черная,— на аршин кругом пыль смочила.

Один татарин подошел к лошади, стал седло снимать. Она все бьется,— он вынул кинжал, прорезал ей глотку. Засвистело из горла, трепанулась, и нар вон.

Сняли татары седло, сбрую. Сел татарин с красной бородой на лошадь, а другие подсадили Жилина к нему

на седло; а чтобы не упал, притянули его ремнем за пояс к татарину и повезли в горы.

Сидит Жилин за татарином, покачивается, тычется лицом в вонючую татарскую спину. Только и видит перед собой здоровенную татарскую спину, да шею жилистую, да бритый затылок из-под шапки синеется. Голова у Жилина разбита, кровь запеклась над глазами. И нельзя ему ни поправиться на лошади, ни кровь обтереть. Руки так закручены, что в ключице ломит.

Ехали они долго с горы на гору, переехали вброд реку, выехали на дорогу и поехали лощиной.

Хотел Жилин примечать дорогу, куда его везут,— да глаза замазаны кровью, а повернуться нельзя.

Стало смеркаться. Переехали еще речку, стали подниматься по каменной горе, запахло дымом, забрехали собаки.

Приехали в аул [1]. Послезли с лошадей татары, собрались ребята татарские, окружили Жилина, пищат, радуются, стали каменьями пулять в него.

Татарин отогнал ребят, снял Жилина с лошади и кликнул работника. Пришел ногаец скуластый, в одной рубахе. Рубаха оборванная, вся грудь голая. Приказал что-то ему татарин. Принес работник колодку: два чурбака дубовых на железные кольца насажены, и в одном кольце пробойчик и замок.

Развязали Жилину руки, надели колодку и повели в сарай: толкнули его туда и заперли дверь. Жилин упал на навоз. Полежал, ощупал в темноте, где помягче, и лег.

2

Почти всю эту ночь не спал Жилин. Ночи короткие были. Видит — в щелке светиться стало. Встал Жилин, раскопал щелку побольше, стал смотреть.

Видна ему из щелки дорога — под гору идет, направо сакля татарская, два дерева подле нее. Собака черная лежит на пороге, коза с козлятами ходит, хвостиками подергивают. Видит — из-под горы идет татарка молоденькая, в рубахе цветной, распояской, в штанах и сапогах, голова кафтаном покрыта, а на голове большой кувшин жестяной с водой. Идет, в спине подрагивает, перегиба-

[1] Аул — татарская деревня. (*Примеч. Л. Н. Толстого.*)

ется, а за руку татарчонка ведет бритого, в одной рубашке. Прошла татарка в саклю с водой, вышел татарин вчерашний с красной бородой, в бешмете шелковом, на ремне кинжал серебряный, в башмаках на босу ногу. На голове шапка высокая, баранья, черная, назад заломлена. Вышел, потягивается, бороду красную сам поглаживает. Постоял, велел что-то работнику и пошел куда-то.

Проехали потом на лошадях двое ребят к водопою. У лошадей храп мокрый. Выбежали еще мальчишки бритые, в одних рубашках, без порток, собрались кучкой, подошли к сараю, взяли хворостину и суют в щелку. Жилин как ухнет на них: завизжали ребята, закатились бежать прочь, только коленки голые блестят.

А Жилину пить хочется, в горле пересохло; думает — хоть бы пришли проведать. Слышит — отпирают сарай. Пришел красный татарин, а с ним другой, поменьше ростом, черноватенький. Глаза черные, светлые, румяный, бородка маленькая, подстрижена; лицо веселое, все смеется. Одет черноватый еще лучше: бешмет шелковый синий, галунчиком обшит. Кинжал на поясе большой, серебряный; башмачки красные, сафьянные, тоже серебром обшиты. А на тонких башмачках другие толстые башмаки. Шапка высокая, белого барашка.

Красный татарин вошел, проговорил что-то, точно ругается, и стал; облокотился на притолку, кинжалом пошевеливает, как волк исподлобья косится на Жилина. А черноватый,— быстрый, живой, так весь на пружинах и ходит,— подошел прямо к Жилину, сел на корточки, оскаливается, потрепал его по плечу, что-то начал часто-часто по-своему лопотать, глазами подмигивает, языком прищелкивает, все приговаривает: «корошо урус! корошо урус!»

Ничего не понял Жилин и говорит: «Пить, воды пить дайте!»

Черный смеется. «Корош урус»,— все по-своему лопочет.

Жилин губами и руками показал, чтоб пить ему дали.

Черный понял, засмеялся, выглянул в дверь, кликнул кого-то: «Дина!»

Прибежала девочка — тоненькая, худенькая, лет тринадцати и лицом на черного похожа. Видно, что дочь. Тоже — глаза черные, светлые и лицом красивая. Одета в рубаху длинную, синюю, с широкими рукавами и без пояса. На полах, на груди и на рукавах оторочено крас-

ным. На ногах штаны и башмачки, а на башмачках другие с высокими каблуками; на шее монисто, всё из русских полтинников. Голова непокрытая, коса черная, и в косе лента, а на ленте привешаны бляхи и рубль серебряный.

Велел ей что-то отец. Убежала и опять пришла, принесла кувшинчик жестяной. Подала воду, сама села на корточки, вся изогнулась так, что плечи ниже колен ушли. Сидит, глаза раскрыла, глядит на Жилина, как он пьет, как на зверя какого.

Подал ей Жилин назад кувшин. Как она прыгнет прочь, как коза дикая. Даже отец засмеялся. Послал ее еще куда-то. Она взяла кувшин, побежала, принесла хлеба пресного на дощечке круглой и опять села, изогнулась, глаз не спускает — смотрит.

Ушли татары, заперли опять дверь.

Погодя немного, приходит к Жилину ногаец и говорит:

— Айда, хозяин, айда!

Тоже не знает по-русски. Только понял Жилин, что велит идти куда-то.

Пошел Жилин с колодкой, хромает, ступить нельзя, так и воротит ногу в сторону. Вышел Жилин за ногайцем. Видит — деревня татарская, домов десять, и церковь ихняя, с башенкой. У одного дома стоят три лошади в седлах. Мальчишки держат в поводу. Выскочил из этого дома черноватый татарин, замахал рукой, чтоб к нему шел Жилин. Сам смеется, все говорит что-то по-своему, и ушел в дверь. Пришел Жилин в дом. Горница хорошая, стены глиной гладко вымазаны. К передней стене пуховики пестрые уложены, по бокам висят ковры дорогие; на коврах ружья, пистолеты, шашки — всё в серебре. В одной стене печка маленькая вровень с полом. Пол земляной, чистый, как ток, и весь передний угол устлан войлоками; на войлоках ковры, а на коврах пуховые подушки. И на коврах в одних башмаках сидят татары: черный, красный и трое гостей. За спинами у всех пуховые подушки подложены, а перед ними на круглой дощечке блины просяные и масло коровье расплущено в чашке, и пиво татарское — буза, в кувшинчике. Едят руками, и руки все в масле.

Вскочил черный, велел посадить Жилина в сторонке, не на ковер, а на голый пол, залез опять на ковер, угощает гостей блинами и бузой. Посадил работник Жилина

на место, сам снял верхние башмаки, поставил у двери рядком, где и другие башмаки стояли, и сел на войлок поближе к хозяевам; смотрит, как они едят, слюни утирает.

Поели татары блины, пришла татарка в рубахе такой же, как и девка, и в штанах; голова платком покрыта. Унесла масло, блины, подала лоханку хорошую и кувшин с узким носком. Стали мыть руки татары, потом сложили руки, сели на коленки, подули на все стороны и молитвы прочли. Поговорили по-своему. Потом один из гостей-татар повернулся к Жилину, стал говорить по-русски.

— Тебя,— говорит,— взял Кази-Мугамед,— сам показывает на красного татарина,— и отдал тебя Абдул-Мурату,— показывает на черноватого.—Абдул-Мурат теперь твой хозяин. — Жилин молчит.

Заговорил Абдул-Мурат, и все показывает на Жилина, и смеется, и приговаривает: «солдат урус, корошо урус».

Переводчик говорит: «Он тебе велит домой письмо писать, чтоб за тебя выкуп прислали. Как пришлют деньги, он тебя пустит».

Жилин подумал и говорит: «А много ли он хочет выкупа?»

Поговорили татары, переводчик и говорит:

— Три тысячи монет.

— Нет,— говорит Жилин,— я этого заплатить не могу.

Вскочил Абдул, начал руками махать, что-то говорит Жилину,— всё думает, что он поймет. Перевел переводчик, говорит: «Сколько же ты дашь?»

Жилин подумал и говорит: «Пятьсот рублей».

Тут татары заговорили часто, все вдруг. Начал Абдул кричать на красного, залопотал так, что слюни изо рта брызжут. А красный только жмурится да языком пощелкивает.

Замолчали они; переводчик и говорит:

— Хозяину выкупу мало пятьсот рублей. Он сам за тебя двести рублей заплатил. Ему Кази-Мугамед был должен. Он тебя за долг взял. Три тысячи рублей, меньше нельзя пустить. А не напишешь, в яму посадят, наказывать будут плетью.

«Эх,— думает Жилин,— с ними, что робеть, то хуже». Вскочил на ноги и говорит:

— А ты ему, собаке, скажи, что если он меня пугать хочет, так ни копейки ж не дам, да и писать не стану. Не боялся, да и не буду бояться вас, собак!

Пересказал переводчик, опять заговорили все вдруг. Долго лопотали, вскочил черный, подошел к Жилину.

— Урус,— говорит,— джигит, джигит урус!

Джигит, по-ихнему, значит «молодец». И сам смеется; сказал что-то переводчику, а переводчик говорит:

— Тысячу рублей дай.

Жилин стал на своем: «Больше пятисот рублей не дам. А убьете,— ничего не возьмете».

Поговорили татары, послали куда-то работника, а сами то на Жилина, то на дверь поглядывают. Пришел работник, и идет за ним человек какой-то, толстый, босиком и ободранный; на ноге тоже колодка.

Так и ахнул Жилин,— узнал Костылина. И его поймали. Посадили их рядом; стали они рассказывать друг другу, а татары молчат, смотрят. Рассказал Жилин, как с ним дело было; Костылин рассказал, что лошадь под ним стала и ружье осеклось и что этот самый Абдул нагнал его и взял.

Вскочил Абдул, показывает на Костылина, что-то говорит.

Перевел переводчик, что они теперь оба одного хозяина, и кто прежде выкуп даст, того прежде отпустят.

— Вот,— говорит Жилину,— ты все серчаешь, а товарищ твой смирный; он написал письмо домой, пять тысяч монет пришлют. Вот его и кормить будут хорошо и обижать не будут.

Жилин и говорит:

— Товарищ, как хочет; он, может, богат, а я не богат. Я,— говорит,— как сказал, так и будет. Хотите убивайте,— пользы вам не будет, а больше пятисот рублей не напишу.

Помолчали. Вдруг как вскочит Абдул, достал сундучок, вынул перо, бумаги лоскут и чернила, сунул Жилину, хлопнул по плечу, показывает: «пиши». Согласился на 500 рублей.

— Погоди еще,— говорит Жилин переводчику,— скажи ты ему, чтоб он нас кормил хорошо, одел-обул, как следует, чтоб держал вместе,— нам веселей будет, и чтобы колодку снял. — Сам смотрит на хозяина и смеется. Смеется и хозяин. Выслушал и говорит:

— Одежу самую лучшую дам: и черкеску, и сапоги, хоть жениться. Кормить буду, как князей. А коли хотят жить вместе — пускай живут в сарае. А колодку нельзя снять — уйдут. На ночь только снимать буду. — Подскочил, треплет по плечу. — Твоя хорош, моя хорош!

Написал Жилин письмо, а на письме не так написал, чтоб не дошло. Сам думает: «Я уйду».

Отвели Жилина с Костылиным в сарай, принесли им туда соломы кукурузной, воды в кувшине, хлеба, две черкески старые и сапоги истрепанные, солдатские. Видно, с убитых солдат стащили. На ночь сняли с них колодки и заперли в сарай.

3

Жил так Жилин с товарищем месяц целый. Хозяин все смеется. — Твоя, Иван, хорош,— моя, Абдул, хорош.— А кормил плохо,— только и давал, что хлеб пресный из просяной муки, лепешками печеный, а то и вовсе тесто непеченое.

Костылин еще раз писал домой, все ждал присылки денег и скучал. По целым дням сидит в сарае и считает дни, когда письмо придет, или спит. А Жилин знал, что его письмо не дойдет, а другого не писал.

«Где,— думает,— матери столько денег взять, за меня заплатить. И то она тем больше жила, что я посылал ей. Если ей пятьсот рублей собрать, надо разориться вконец. Бог даст — и сам выберусь».

А сам все высматривает, выпытывает, как ему бежать. Ходит по аулу, насвистывает; а то сидит, что-нибудь рукодельничает, или из глины кукол лепит, или плетет плетенки из прутьев. А Жилин на всякое рукоделье мастер был.

Слепил он раз куклу, с носом, с руками, с ногами и в татарской рубахе, и поставил куклу на крышу.

Пошли татарки за водой. Хозяйская дочь Динка увидала куклу, позвала татарок. Составили кувшины, смот-

рят, смеются. Жилин снял куклу, подает им. Они смеются, а не смеют взять. Оставил он куклу, ушел в сарай и смотрит, что будет?

Подбежала Дина, оглянулась, схватила куклу и убежала.

Наутро смотрит, на зорьке Дина вышла на порог с куклой. А куклу уж лоскутками красными убрала и качает, как ребенка, сама по-своему прибаюкивает. Вышла старуха, забранилась за нее, выхватила куклу, разбила ее, услала куда-то Дину на работу.

Сделал Жилин другую куклу, еще лучше,— отдал Дине. Принесла раз Дина кувшинчик, поставила, села и смотрит на него, сама смеется, показывает на кувшин.

«Чего она радуется?» — думает Жилин. Взял кувшин, стал пить. Думает, вода, а там молоко. Выпил он молоко, «хорошо»,— говорит. Как взрадуется Дина!

— Хорошо, Иван, хорошо! — и вскочила, забила в ладоши, вырвала кувшин и убежала.

И с тех пор стала она ему каждый день, крадучи, молока носить. А то делают татары из козьего молока лепешки сырные и сушат их на крышах,— так она эти лепешки ему тайком принашивала. А то раз резал хозяин барана,— так она ему кусок баранины принесла в рукаве. Бросит и убежит.

Была раз гроза сильная, и дождь час целый как из ведра лил. И помутились все речки, где брод был, там на три аршина вода пошла, камни ворочает. Повсюду ручьи текут, гул стоит по горам. Вот как прошла гроза, везде по деревне ручьи бегут. Жилин выпросил у хозяина ножик, вырезал валик, дощечки, колесо оперил, а к колесу на двух концах кукол приделал.

Принесли ему девчонки лоскутков,— одел он кукол: одна — мужик, другая — баба; утвердил их, поставил колесо на ручей. Колесо вертится, а куколки прыгают.

Собралась вся деревня: мальчишки, девчонки, бабы; и татары пришли, языком щелкают:

— Ай, урус! ай, Иван!

Были у Абдула часы русские, сломанные. Позвал он Жилина, показывает, языком щелкает. Жилин говорит:

— Давай, починю.

Взял, разобрал ножичком, разложил; опять сладил, отдал. Идут часы.

Обрадовался хозяин, принес ему бешмет свой старый, весь в лохмотьях, подарил. Нечего делать, взял,— и то годится покрыться ночью.

С тех пор прошла про Жилина слава, что он мастер. Стали к нему из дальних деревень приезжать: кто замок на ружье или пистолет починить принесет, кто часы. Привез ему хозяин снасть: и щипчики, и буравчики, и подпилочек.

Заболел раз татарин, пришли к Жилину: «Поди, полечи». Жилин ничего не знает, как лечить. Пошел, посмотрел, думает: «Авось поздоровеет сам». Ушел в сарай, взял воды, песку, помешал. При татарах нашептал на воду, дал выпить. Выздоровел на его счастье татарин. Стал Жилин немножко понимать по-ихнему. И которые татары привыкли к нему,— когда нужно, кличут: «Иван, Иван!»— а которые все, как на зверя, косятся.

Красный татарин не любил Жилина. Как увидит, нахмурится и прочь отвернется либо обругает. Был еще у них старик. Жил он не в ауле, а приходил из-под горы. Видал его Жилин только, когда он в мечеть приходил богу молиться. Он был ростом маленький, на шапке у него белое полотенце обмотано, бородка и усы подстрижены,— белые, как пух; а лицо сморщенное и красное, как кирпич. Нос крючком, как у ястреба, а глаза серые, злые и зубов нет — только два клыка. Идет, бывало, в чалме своей, костылем подпирается, как волк, озирается. Как увидит Жилина, так захрапит и отвернется.

Пошел раз Жилин под гору — посмотреть, где живет старик. Сошел по дорожке, видит садик, ограда каменная; из-за ограды—черешни, шепталы и избушка с плоской крышкой. Подошел он ближе; видит — ульи стоят, плетенные из соломы, и пчелы летают, гудят. И старик стоит на коленочках, что-то хлопочет у улья. Поднялся Жилин повыше, посмотреть, и загремел колодкой. Старик оглянулся — как визгнет; выхватил из-за пояса пистолет, в Жилина выпалил. Чуть успел он за камень притулиться.

Пришел старик к хозяину жаловаться. Позвал хозяин Жилина, сам смеется и спрашивает:

— Зачем ты к старику ходил?

— Я,— говорит,— ему худого не сделал. Я хотел посмотреть, как он живет.

Передал хозяин. А старик злится, шипит, что-то лопочет, клыки свои выставил, машет руками на Жилина.

Жилин не понял всего; но понял, что старик велит хозяину убить русских, а не держать их в ауле. Ушел старик.

Стал Жилин спрашивать хозяина: что это за старик? Хозяин и говорит:

— Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был. У него было три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, разорили деревню и семь сыновей убили. Один сын остался и передался русским. Старик поехал и сам передался русским. Пожил у них три месяца, нашел там своего сына, сам убил его и бежал. С тех пор он бросил воевать, пошел в Мекку — богу молиться. От этого у него чалма. Кто в Мекке был, тот называется хаджи и чалму надевает. Не любит он вашего брата. Он велит тебя убить; да мне нельзя убить,— я за тебя деньги заплатил; да я тебя, Иван, полюбил; я тебя не то что убить, я бы тебя и выпускать не стал, кабы слова не дал. — Смеется, сам приговаривает по-русски: «твоя, Иван, хорош, моя, Абдул, хорош!»

4

Прожил так Жилин месяц. Днем ходит по аулу или рукодельничает, а как ночь придет, затихнет в ауле, так он у себя в сарае копает. Трудно было копать от камней, да он подпилком камни тер, и прокопал он под стеной дыру, что впору пролезть. «Только бы,— думает,— мне место хорошенько узнать, в какую сторону идти. Да не сказывают никто татары».

Вот он выбрал время, как хозяин уехал; пошел после обеда за аул на гору,— хотел оттуда место посмотреть. А когда хозяин уезжал, он приказал малому за Жилиным ходить, с глаз его не спускать. Бежит малый за Жилиным, кричит:

— Не ходи! Отец не велел. Сейчас народ позову!

Стал его Жилин уговаривать.

— Я,— говорит,— далеко не уйду,— только на ту гору поднимусь: мне траву нужно найти — ваш народ лечить. Пойдем со мной; я с колодкой не убегу. А тебе завтра лук сделаю и стрелы.

Уговорил малого, пошли. Смотреть на гору — не далеко, а с колодкой трудно; шел, шел, насилу взобрался. Сел Жилин, стал место разглядывать. На полдни, за горой, лощина, табун ходит, и аул другой в низочке виден. От аула другая гора — еще круче, а за той горой еще гора. Промеж гор лес синеется, а там еще горы всё выше и выше поднимаются. А выше всех — белые, как сахар, горы стоят под снегом. И одна снеговая гора выше других шапкой стоит. На восход и на закат — всё такие же горы; кое-где аулы дымятся в ущельях. «Ну,— думает,— это все ихняя сторона». Стал смотреть в русскую сторону: под ногами речка, аул свой, садики кругом. На речке, как куклы маленькие, видно,— бабы сидят, полоскают. За аулом, пониже, гора, и через нее еще две горы, по ним лес; а промеж двух гор синеется ровное место, а на ровном месте, далеко-далеко, точно дым стелется. Стал Жилин вспоминать, когда он в крепости дома жил, где солнце всходило и где заходило. Видит: так точно, в этой долине должна быть наша крепость. Туда, промеж этих двух гор, и бежать надо.

Стало солнышко закатываться. Стали снеговые горы из белых — алые; в черных горах потемнело; из лощин пар поднялся, и самая та долина, где крепость наша должна быть, как в огне загорелась от заката. Стал Жилин вглядываться,— маячит что-то в долине, точно дым из труб. И так и думается ему, что это самое — крепость русская.

Уж поздно стало. Слышно — мулла прокричал. Стадо гонят — коровы ревут. Малый все зовет: «Пойдем», а Жилину и уходить не хочется.

Вернулись они домой. «Ну,— думает Жилин,— теперь место знаю; надо бежать». Хотел он бежать в ту же ночь. Ночи были темные — ущерб месяца. На беду, к вечеру вернулись татары. Бывало, приезжают они — гонят с собою скотину и приезжают веселые. А на этот раз ничего не пригнали, а привезли на седле своего убитого татарина, брата рыжего. Приехали сердитые, собрались все хоронить. Вышел и Жилин посмотреть. Завернули мертвого в полотно, без гроба, вынесли под чинары за

деревню, положили на траву. Пришел мулла, собрались старики, полотенцами повязали шапки, разулись, сели рядком на пятки перед мертвым.

Спереди мулла, сзади три старика в чалмах, рядком, а сзади их еще татары. Сели, потупились и молчат. Долго молчали. Поднял голову мулла и говорит:

— Алла! (значит бог) — Сказал это одно слово, и опять потупились и долго молчали; сидят, не шевелятся. Опять поднял голову мулла:

— Алла! — и все проговорили: «Алла» — и опять замолчали. Мертвый лежит на траве, не шелохнется, и они сидят как мертвые. Не шевельнется ни один. Только слышно, на чинаре листочки от ветерка поворачиваются. Потом прочел мулла молитву, все встали, подняли мертвого на руки, понесли. Принесли к яме. Яма вырыта не простая, а подкопана под землю, как подвал. Взяли мертвого под мышки, да под лытки, перегнули, спустили полегонечку, подсунули сидьмя под землю, заправили ему руки на живот.

Притащил ногаец камышу зеленого, заклали камышом яму, живо засыпали землей, сровняли, а в головы к мертвецу камень стоймя поставили. Утоптали землю, сели опять рядком перед могилой. Долго молчали.

— Алла! Алла! Алла! — Вздохнули и встали.

Роздал рыжий денег старикам, потом встал, взял плеть, ударил себя три раза по лбу и пошел домой.

Наутро видит Жилин — ведет красный кобылу за деревню, а за ним трое татар идут. Вышли за деревню, снял рыжий бешмет, засучил рукава,— ручищи здоровые,— вынул кинжал, поточил на бруске. Задрали татары кобыле голову кверху, подошел рыжий, перерезал глотку, повалил кобылу и начал свежевать — кулачищами шкуру подпарывает. Пришли бабы, девки, стали мыть кишки и нутро. Разрубили потом кобылу, стащили в избу. И вся деревня собралась к рыжему поминать покойника.

Три дня ели кобылу, бузу пили, покойника поминали. Все татары дома были. На четвертый день, видит Жилин, в обед куда-то собираются. Привели лошадей, убрались и поехали человек 10, и красный поехал: только Абдул дома остался. Месяц только народился, ночи еще темные были.

— Я,— говорит,— далеко не уйду,— только на ту гору поднимусь: мне траву нужно найти — ваш народ лечить. Пойдем со мной; я с колодкой не убегу. А тебе завтра лук сделаю и стрелы.

Уговорил малого, пошли. Смотреть на гору — не далеко, а с колодкой трудно; шел, шел, насилу взобрался. Сел Жилин, стал место разглядывать. На полдни, за горой, лощина, табун ходит, и аул другой в низочке виден. От аула другая гора — еще круче, а за той горой еще гора. Промеж гор лес синеется, а там еще горы всё выше и выше поднимаются. А выше всех — белые, как сахар, горы стоят под снегом. И одна снеговая гора выше других шапкой стоит. На восход и на закат — всё такие же горы; кое-где аулы дымятся в ущельях. «Ну,— думает,— это все ихняя сторона». Стал смотреть в русскую сторону: под ногами речка, аул свой, садики кругом. На речке, как куклы маленькие, видно,— бабы сидят, полоскают. За аулом, пониже, гора, и через нее еще две горы, по ним лес; а промеж двух гор синеется ровное место, а на ровном месте, далеко-далеко, точно дым стелется. Стал Жилин вспоминать, когда он в крепости дома жил, где солнце всходило и где заходило. Видит: так точно, в этой долине должна быть наша крепость. Туда, промеж этих двух гор, и бежать надо.

Стало солнышко закатываться. Стали снеговые горы из белых — алые; в черных горах потемнело; из лощин пар поднялся, и самая та долина, где крепость наша должна быть, как в огне загорелась от заката. Стал Жилин вглядываться,— маячит что-то в долине, точно дым из труб. И так и думается ему, что это самое — крепость русская.

Уж поздно стало. Слышно — мулла прокричал. Стадо гонят — коровы ревут. Малый все зовет: «Пойдем», а Жилину и уходить не хочется.

Вернулись они домой. «Ну,— думает Жилин,— теперь место знаю; надо бежать». Хотел он бежать в ту же ночь. Ночи были темные — ущерб месяца. На беду, к вечеру вернулись татары. Бывало, приезжают они — гонят с собою скотину и приезжают веселые. А на этот раз ничего не пригнали, а привезли на седле своего убитого татарина, брата рыжего. Приехали сердитые, собрались все хоронить. Вышел и Жилин посмотреть. Завернули мертвого в полотно, без гроба, вынесли под чинары за

деревню, положили на траву. Пришел мулла, собрались старики, полотенцами повязали шапки, разулись, сели рядком на пятки перед мертвым.

Спереди мулла, сзади три старика в чалмах, рядком, а сзади их еще татары. Сели, потупились и молчат. Долго молчали. Поднял голову мулла и говорит:

— Алла! (значит бог) — Сказал это одно слово, и опять потупились и долго молчали; сидят, не шевелятся. Опять поднял голову мулла:

— Алла! — и все проговорили: «Алла» — и опять замолчали. Мертвый лежит на траве, не шелохнется, и они сидят как мертвые. Не шевельнется ни один. Только слышно, на чинаре листочки от ветерка поворачиваются. Потом прочел мулла молитву, все встали, подняли мертвого на руки, понесли. Принесли к яме. Яма вырыта не простая, а подкопана под землю, как подвал. Взяли мертвого под мышки, да под лытки, перегнули, спустили полегонечку, подсунули сидьмя под землю, заправили ему руки на живот.

Притащил ногаец камышу зеленого, заклали камышом яму, живо засыпали землей, сровняли, а в головы к мертвецу камень стоймя поставили. Утоптали землю, сели опять рядком перед могилой. Долго молчали.

— Алла! Алла! Алла! — Вздохнули и встали.

Роздал рыжий денег старикам, потом встал, взял плеть, ударил себя три раза по лбу и пошел домой.

Наутро видит Жилин — ведет красный кобылу за деревню, а за ним трое татар идут. Вышли за деревню, снял рыжий бешмет, засучил рукава,— ручищи здоровые,— вынул кинжал, поточил на бруске. Задрали татары кобыле голову кверху, подошел рыжий, перерезал глотку, повалил кобылу и начал свежевать — кулачищами шкуру подпарывает. Пришли бабы, девки, стали мыть кишки и нутро. Разрубили потом кобылу, стащили в избу. И вся деревня собралась к рыжему поминать покойника.

Три дня ели кобылу, бузу пили, покойника поминали. Все татары дома были. На четвертый день, видит Жилин, в обед куда-то собираются. Привели лошадей, убрались и поехали человек 10, и красный поехал: только Абдул дома остался. Месяц только народился, ночи еще темные были.

«Ну,— думает Жилин,— нынче бежать надо», и говорит Костылину. А Костылин заробел.

— Да как же бежать? Мы и дороги не знаем.

— Я знаю дорогу.

— Да и не дойдем в ночь.

— А не дойдем — в лесу переночуем. Я вот лепешек набрал. Что ж ты будешь сидеть? Хорошо, пришлют денег, а то ведь и не соберут. А татары теперь злые за то, что ихнего русские убили. Поговаривают — на убить хотят.

Подумал, подумал Костылин.

— Ну, пойдем.

5

Полез Жилин в дыру, раскопал пошире, чтоб и Костылину пролезть, и сидят они — ждут, чтобы затихло в ауле.

Только затих народ в ауле, Жилин полез под стену, выбрался. Шепчет Костылину: «Полезай». Полез и Костылин, да зацепил камень ногой, загремел. А у хозяина сторожка была — пестрая собака, и злая-презлая; звали ее Уляшин. Жилин уже наперед прикормил ее. Услыхал Уляшин,— забрехал и кинулся, а за ним другие собаки. Жилин чуть свистнул, кинул лепешки кусок, Уляшин узнал, замахал хвостом и перестал брехать.

Хозяин услыхал, загайкал из сакли: «Гайть! Гайть! Уляшин!»

А Жилин за ушами почесывает Уляшина. Молчит собака, трется ему об ноги, хвостом махает.

Посидели они за углом. Затихло все; только слышно, овца перхает в закуте да низом вода по камушкам шумит. Темно; звезды высоко стоят на небе; над горой молодой месяц закраснелся, кверху рожками заходит. В лощинах туман, как молоко, белеется.

Поднялся Жилин, говорит товарищу: «Ну, брат, айда!»

Тронулись; только отошли, слышат — запел мулла на крыше: «Алла! Бесмилла! Ильрахман!» Значит — пойдет народ в мечеть. Сели опять, притаившись под стенкой. Долго сидели, дожидались, пока народ пройдет. Опять затихло.

— Ну, с богом! — Перекрестились, пошли. Прошли через двор под кручь к речке, перешли речку, пошли лощиной. Туман густой, да низом стоит, а над головой звезды виднешеньки. Жилин по звездам примечает, в какую сторону идти. В тумане свежо, идти легко, только сапоги неловки — стоптались. Жилин снял свои, бросил, пошел босиком. Попрыгивает с камушка на камушек да на звезды поглядывает. Стал Костылин отставать.

— Тише,— говорит,— иди: сапоги проклятые, все ноги стерли.

— Да ты сними, легче будет.

Пошел Костылин босиком — еще того хуже: изрезал все ноги по камням и все отстает. Жилин ему говорит:

— Ноги обдерешь — заживут, а догонят — убьют — хуже.

Костылин ничего не говорит, идет, покряхтывает. Шли они низом долго. Слышат — вправо собаки забрехали. Жилин остановился, осмотрелся, полез на гору, руками ощупал.

— Эх,— говорит,— ошиблись мы,— вправо забрали. Тут аул чужой, я его с горы видел; назад надо, да влево в гору. Тут лес должен быть.

А Костылин говорит:

— Подожди хоть немножко, дай вздохнуть,— у меня ноги в крови все.

— Э, брат, заживут; ты легче прыгай. Вот как!

И побежал Жилин назад, влево, в гору, в лес. Костылин все отстает и охает. Жилин шикнет-шикнет на него, а сам все идет.

Поднялись на гору. Так и есть — лес. Вошли в лес,— по колючкам изодрали все платье последнее. Напались на дорожку в лесу. Идут.

— Стой! — Затопало копытами по дороге. Остановились, слушают. Потопало, как лошадь, и остановилось. Тронулись они — опять затопало. Они остановятся — и оно остановится. Подполз Жилин, смотрит на свет по дороге — стоит что-то. Лошадь не лошадь, и на лошади что-то чудное, на человека не похоже. Фыркнуло — слышит. «Что за чудо!» Свистнул Жилин потихоньку,— как шаркнет с дороги в лес и затрещало по лесу, точно буря летит, сучья ломает.

Костылин так и упал со страху. А Жилин смеется, говорит:

— Это олень. Слышишь — как рогами лес ломит? Мы его боимся, а он нас боится.

Пошли дальше. Уж высожары спускаться стали, до утра недалеко. А туда ли идут, нет ли,— не знают. Думается так Жилину, что по этой самой дороге его везли и что до своих — верст десять еще будет; а приметы верной нет, да и ночь — не разберешь. Вышли на полянку. Костылин сел и говорит:

— Как хочешь, а я не дойду,— у меня ноги не идут.

Стал его Жилин уговаривать.

— Нет,— говорит,— не дойду, не могу.

Рассердился Жилин, плюнул, обругал его.

— Так я же один уйду,— прощай!

Костылин вскочил, пошел. Прошли они версты четыре. Туман в лесу еще гуще сел, ничего не видать перед собой, и звезды уж чуть видны.

Вдруг слышат, впереди топает лошадь. Слышно — подковами за камни цепляется. Лег Жилин на брюхо, стал по земле слушать.

— Так и есть,— сюда, к нам конный едет.

Сбежали они с дороги, сели в кусты и ждут. Жилин подполз к дороге, смотрит — верховой татарин едет, корову гонит, сам себе под нос мурлычет что-то. Проехал татарин. Жилин вернулся к Костылину.

— Ну, пронес бог,— вставай, пойдем.

Стал Костылин вставать и упал.

— Не могу,— ей-богу, не могу; сил моих нет.

Мужчина грузный, пухлый, запотел; да как обхватило его в лесу туманом холодным, да ноги ободраны,— он и рассолодел. Стал его Жилин силой поднимать. Как закричит Костылин:

— Ой, больно!

Жилин так и обмер.

— Что кричишь? Ведь татарин близко — услышит.— А сам думает: «Он и вправду расслаб; что мне с ним делать? Бросить товарища не годится».

— Ну,— говорит,— вставай, садись на закорки, снесу, коли уж идти не можешь.

Подсадил на себя Костылина, подхватил руками под ляжки, вышел на дорогу, поволок.

— Только,— говорит,— не дави ты меня руками за глотку, ради Христа. За плечи держись.

Тяжело Жилину,— ноги тоже в крови и уморился. Пагнется, подправит, подкинет, чтоб повыше сидел на нем Костылин, тащит его по дороге.

Видно, услыхал татарин, как Костылин закричал. Слышит Жилин, едет кто-то сзади, кличет по-своему. Бросился Жилин в кусты. Татарин выхватил ружье, выпалил,— не попал, завизжал по-своему и поскакал прочь по дороге.

— Ну,— говорит Жилин,— пропали, брат! Он, собака, сейчас соберет татар за нами в погоню. Коли не уйдем версты три,— пропали. — А сам думает на Костылина: «И черт меня дернул колоду эту с собой брать. Один я бы давно ушел».

Костылин говорит: — Иди один, за что тебе из-за меня пропадать.

— Нет, не пойду, не годится товарища бросать.

Подхватил опять на плечи, попер. Прошел он так с вёрсту. Все лес идет и не видать выхода. А туман уж расходиться стал, и как будто тучки заходить стали, не видать уж звезд. Измучился Жилин.

Пришел, у дороги родничок, камнем обделан. Остановился, ссадил Костылина.

— Дай,— говорит,— отдохну, напьюсь. Лепешек поедим. Должно быть, недалеко.

Только прилег он пить, слышит — затопало сзади. Опять кинулись вправо, в кусты, под кручь, и легли.

Слышат голоса татарские; остановились татары на том самом месте, где они с дороги свернули. Поговорили, потом зауськали, как собак притравляют. Слышат — трещит что-то по кустам, прямо к ним собака чужая чья-то. Остановилась, забрехала.

Лезут и татары — тоже чужие; схватили их, посвязали, посадили на лошадей, повезли.

Проехали версты три,— встречает их Абдул-хозяин с двумя татарами. Поговорил что-то с татарами, пересадили на своих лошадей, повезли назад в аул.

Абдул уж не смеется и ни слова не говорит с ними.

Привезли на рассвете в аул, посадили на улице. Сбежались ребята. Камнями, плетками бьют их, визжат.

Собрались татары в кружок, и старик из-под горы пришел. Стали говорить. Слышит Жилин, что судят про них, что с ними делать. Одни говорят: надо их дальше в горы услать, а старик говорит: «надо убить». Абдул

спорит, говорит: «я за них деньги отдал, я за них выкуп возьму». А старик говорит: «ничего они не заплатят, только беды наделают. И грех русских кормить. Убить,— и кончено».

Разошлись. Подошел хозяин к Жилину, стал ему говорить:

— Если,— говорит,— мне не пришлют за вас выкуп, я через две недели вас запорю. А если затеешь опять бежать,— я тебя как собаку убью. Пиши письмо, хорошенько пиши!

Принесли им бумаги, написали они письма. Набили на них колодки, отвели за мечеть. Там яма была аршин пяти, и спустили их в эту яму.

6

Житье им стало совсем дурное. Колодки не снимали и не выпускали на вольный свет. Кидали им туда тесто пепеченое, как собакам, да в кувшине воду спускали. Вонь в яме, духота, мокрота. Костылин совсем разболелся, распух, и ломота во всем теле стала; и все стонет или спит. И Жилин приуныл, видит — дело плохо. И не знает, как выбраться.

Начал он было подкапываться, да землю некуда кидать; увидал хозяин, пригрозил убить.

Сидит он раз в яме на корточках, думает об вольном житье, и скучно ему. Вдруг прямо ему на коленки лепешка упала, другая, и черешни посыпались. Поглядел кверху, а там Дина. Поглядела на него, посмеялась и убежала. Жилин и думает: «не поможет ли Дина?»

Расчистил он в яме местечко, наковырял глины, стал лепить кукол. Наделал людей, лошадей, собак, думает: «как придет Дина, брошу ей».

Только на другой день нет Дины. А слышит Жилин — затопали лошади, проехали какие-то, и собрались татары у мечети, спорят, кричат и поминают про русских. И слышит голос старика. Хорошенько не разобрал он, а догадывается, что русские близко подошли, и боятся татары, как бы в аул не зашли, и не знают, что с пленными делать.

Поговорили и ушли. Вдруг слышит — зашуршало что-то наверху. Видит: Дина присела на корточки, коленки

выше головы торчат, свесилась, монисты висят, болтаются над ямой. Глазенки так и блестят, как звездочки; вынула из рукава две сырные лепешки, бросила ему. Жилин взял и говорит:

— Что давно не бывала? А я тебе игрушек наделал. На вот! — Стал ей швырять по одной. А она головой мотает, не смотрит.

— Не надо,— говорит. Помолчала, посидела и говорит: — Иван! тебя убить хотят. — Сама себе рукой на шею показывает.

— Кто убить хочет?

— Отец, ему старики велят. А мне тебя жалко.

Жилин и говорит:

— А коли тебе меня жалко, так ты мне палку длинную принеси.

Она головой мотает,— что «нельзя». Он сложил руки, молится ей:

— Дина, пожалуйста! Динушка, принеси!

— Нельзя,— говорит,— увидят, все дома,— и ушла.

Вот сидит вечером Жилин и думает: «что будет?» Все поглядывает вверх. Звезды видны, а месяц еще не всходил. Мулла прокричал, затихло все. Стал уже Жилин дремать, думает: «побоится девка».

Вдруг на голову ему глина посыпалась; глянул кверху — шест длинный в тот край ямы тыкается. Потыкался, спускаться стал, ползет в яму. Обрадовался Жилин, схватил рукой, спустил — шест здоровый. Он еще прежде этот шест на хозяйской крыше видел.

Поглядел вверх,— звезды высоко на небе блестят; и над самою ямой, как у кошки, у Дины глаза в темноте светятся. Нагнулась она лицом на край ямы и шепчет: «Иван, Иван!» — а сама руками у лица все машет,— что «тише, мол».

— Что? — говорит Жилин.

— Уехали все, только двое дома.

Жилин и говорит:

— Ну, Костылин, пойдем, попытаемся последний раз; я тебя подсажу.

Костылин и слушать не хочет.

— Нет,— говорит,— уж мне, видно, отсюда не выйти. Куда я пойду, когда и поворотиться нет сил?

— Ну, так прощай,— не поминай лихом. — Поцеловался с Костылиным.

Ухватился за шест, велел Дине держать, полез. Раза два он обрывался,— колодка мешала. Поддержал его Костылин,— выбрался кое-как наверх. Дина его тянет ручонками за рубаху, изо всех сил, сама смеется.

Взял Жилин шест и говорит:

— Снеси на место, Дина, а то хватятся,— прибьют тебя.

Потащила она шест, а Жилин под гору пошел. Слез под кручь, взял камень вострый, стал замок с колодки выворачивать. А замок крепкий,— никак не собьет, да и неловко. Слышит, бежит кто-то с горы, легко попрыгивает. Думает: «верно, опять Дина». Прибежала Дина, взяла камень и говорит:

— Дай я.

Села на коленочки, начала выворачивать. Да ручонки тонкие, как прутики,— ничего силы нет. Бросила камень, заплакала. Принялся опять Жилин за замок, а Дина села подле него на корточках, за плечо его держит. Оглянулся Жилин, видит — налево за горой зарево красное загорелось, месяц встает. «Ну,— думает,— до месяца надо лощину пройти, до лесу добраться». Поднялся, бросил камень. Хоть в колодке,— да надо идти.

— Прощай,— говорит,— Динушка. Век тебя помнить буду.

Ухватилась за него Дина: шарит по нем руками, ищет — куда бы лепешки ему засунуть. Взял он лепешки.

— Спасибо,— говорит,— умница. Кто тебе без меня кукол делать будет? — И погладил ее по голове.

Как заплачет Дина, закрылась руками, побежала на гору, как козочка прыгает. Только в темноте слышно — монисты в косе по спине побрякивают.

Перекрестился Жилин, подхватил рукой замок на колодке, чтобы не брепчал, пошел по дороге,— ногу волочит, а сам все на зарево поглядывает, где месяц встает. Дорогу он узнал. Прямиком идти верст восемь. Только бы до лесу дойти прежде, чем месяц совсем выйдет. Перешел он речку,— побелел уже свет за горой. Пошел лощиной, идет, сам поглядывает: не видать еще месяца. Уж зарево посветлело и с одной стороны лощины все светлее, светлее становится. Ползет под гору тень, все к нему приближается.

Идет Жилин, все тени держится. Он спешит, а месяц еще скорее выбирается; уж и направо засветились макушки. Стал подходить к лесу, выбрался месяц из-за гор,— бело, светло совсем, как днем. На деревах все листочки видны. Тихо, светло по горам, как вымерло все. Только слышно — внизу речка журчит.

Дошел до лесу — никто не попался. Выбрал Жилин местечко в лесу потемнее, сел отдыхать.

Отдохнул, лепешку съел. Нашел камень, принялся опять колодку сбивать. Все руки избил, а не сбил. Поднялся, пошел по дороге. Прошел с версту, выбился из сил,— ноги ломит. Ступит шагов десять и остановится. «Нечего делать,— думает,— буду тащиться, пока сила есть. А если сесть, так и не встану. До крепости мне не дойти, а как рассветет,— лягу в лесу, переднюю, а ночью опять пойду».

Всю ночь шел. Только попались два татарина верхами, да Жилин издалека их услыхал, схоронился за дерево.

Уж стал месяц бледнеть, роса пала, близко к свету, а Жилин до края леса не дошел. «Ну,— думает,— еще тридцать шагов пройду, сверну в лес и сяду». Прошел тридцать шагов, видит — лес кончается. Вышел на край — совсем светло, как на ладонке перед ним степь и крепость, и налево, близехонько под горой, огни горят, тухнут, дым стелется и люди у костров.

Вгляделся — видит: ружья блестят, казаки, солдаты.

Обрадовался Жилин, собрался с последними силами, пошел под гору. А сам думает: «избави бог, тут, в чистом поле, увидит конный татарин; хоть близко, а не уйдешь».

Только подумал — глядь: налево, на бугре, стоят трое татар, десятины на две. Увидали его,— пустились к нему. Так сердце у него и оборвалось. Замахал руками, закричал что было духу своим:

— Братцы! выручай! братцы!

Услыхали наши,— выскочили казаки верховые. Пустились к нему — наперерез татарам.

Казакам далеко, а татарам близко. Да уж и Жилин собрался с последней силой, подхватил рукой колодку, бежит к казакам, а сам себя не помнит, крестится и кричит:

— Братцы! братцы! братцы!

Казаков человек пятнадцать было.

Испугались татары,— не доезжаючи, стали останавливаться. И подбежал Жилин к казакам.

Окружили его казаки, спрашивают: «кто он, что за человек, откуда?» А Жилин сам себя не помнит, плачет и приговаривает:

— Братцы! Братцы!

Выбежали солдаты, обступили Жилина; кто ему хлеба, кто каши, кто водки, кто шинелью прикрывает, кто колодку разбивает.

Узнали его офицеры, повезли в крепость. Обрадовались солдаты, товарищи собрались к Жилину.

Рассказал Жилин, как с ним все дело было, и говорит:

— Вот я и домой съездил, женился! Нет, уж, видно, не судьба моя.

И остался служить на Кавказе. А Костылина только еще через месяц выкупили за пять тысяч. Еле живого привезли.

МИКУЛУШКА СЕЛЯНИНОВИЧ

(Стихи-сказка)

Выезжал ли Вольга-свет с дружиною
По селам, городам за получкою,
С мужиков выбирать дани-выходы;
Выезжал ли сударь во чисто поле,—
Услыхал во чистом поле пахаря:
Слышно — пашет мужик да посвистыва(е)т,
Сдалека, слышно, сошка поскрипыва(е)т,
Сошники по камням, слышно, черкают,—
А не видно нигде в поле пахаря.
И поехал Вольга к тому пахарю —
Целый день ехал с утра до вечера,
А наехать не мог Вольга пахаря.
День другой ехал с утра до вечера,
А наехать не мог Вольга пахаря.
Слышно — пашет мужик, да посвистыва(е)т,
Сдалека, слышно, сошка поскрипыва(е)т,
Сошнички по камням, слышно, черкают,—
А не видно нигде в поле пахаря.
Третий день Вольга ехал до пабедья —
Наезжает Вольга в поле пахаря:
В поле пашет мужик, да понукива(е)т,

С края в край он бороздку отвалива(е)т,
Камни, корни сохой выворачива(е)т:
Как заедет мужик-от в один конец —
Со другого конца и не виднушко.
А у пахаря сошка кленовенька,
Сошники во той сошке булатные,
Захлеснуты гужочки шелковеньки,
А кобылка во сошке соловенька.
Взговорит ли Вольга тому пахарю:
«Гой, мужик-пахарек! Божья помощь те,—
Божья помощь пахать да крестьянствовать,
Широку борозду отворачивать
Да коренья, каменья вывертывать!»
Говорит ли мужик таковы слова:
«А спасибо, Вольга,— благодарствуем,—
Божья помощь, поди-тка, нам надобна.
Божья помощь — пахать да крестьянствовать.
Сам далеко ль едешь, со дружинушкой?
Далеко ль бог несет,— куда путь держишь?»
Взговорит ли Вольга таковы слова:
«А я еду, мужик, со дружинушкой
По селам-городам за получкою —
Выбирать с мужиков дани-выходы.
Ай, пойдем со мной во товарищах!»
Взял мужик, воткнул сошку в бороздочку,
Он гужочки шелковы взял выстегнул,
Взял из сошки кобылку да вывернул,
На кобылку ввалился, сел охлепью —
Со Вольгою поехал в товарищах.
Говорит ли мужик таковы слова:
«А не ладно, Вольга, я в бороздочке
Свою сошку оставил не убранну,
Как бы сошка с земельки повыдернуть,
С сошничков как бы землю повытряхнуть,
А и бросить сошка за ракитов куст...»
Посылал тут Вольга десять молодцов:
Велит сошку с земельки повыдернуть,
С сошничков велит землю повытряхнуть,
А и бросить сошка за ракитов куст.
Подъезжали ко сошке те молодцы,
Соскочили в борозду с добрых коней,
Разом брались за сошку кленовеньку.
От земли этой сошки поднять нельзя.

Они сошку за обжи вокруг вертят,
А не могут с земли сошку выдернуть,
Не могут с сошников землю вытряхнуть,—
А и бросить сошка за ракитов куст.
А и шлет ли Вольга всю дружинушку:
Велит сошку с земельки повыдернуть,
С сошничков велит земельку повытряхнуть,
А и бросить сошка за ракитов куст.
Вот за сошку бралась вся дружинушка,
Разом бралась за сошку кленовую,—
Только сошку за обжи вокруг вертят,
А не могут с земли сошку выдернуть,
Не могут с сошничков землю вытряхнуть,
А и бросить сошка за ракитов куст.
Подъезжал тут мужик, деревенщина:
Он слезал со кобылки соловенькой,
Подходил к своей сошке кленовенькой,
Брался ручкой одной да попёхивал,
Из земельки он сошку выдергивал,
С сошничков он земельку вытрёхивал,
Он палицей комлыжки соскребывал,
А и бросил сошка за ракитов куст.
На добрых коней сели,— поехали.
Выезжают они на дороженьку —
Мужикова кобылка ходой идет,
А Вольгин-от конь уж поскакивает;
Мужикова кобылка рысцою пошла,
А Вольгин-от уж конь оставаться стал.
Передом мужик едет, не тряхнется,—
Во всю прыть Вольга едет сугоною.
Мужику тут Вольга стал покрикивать,
Мужику колпаком стал помахивать:
«Ты, мужик-пахарек, ты постой, пожди,
За тобою, мужик, не угонишься».
На Вольгу тут мужик приоглянулся,
Стал кобылку свою окорачивать,—
И поехали шагом дорожкою.
Взговорит ли Вольга таковы слова:
«У тебя ли, мужик, лошадь добрая —
Кабы лошадь твоя да коньком была,—
За лошадку цена бы пятьсот рублей».
Говорит ли мужик таковы слова:
«А и глуп ты, Вольга, глупо сказыва(е)шь.

Я кобылочку взял из-под матери.
За сосунчика дал я пятьсот рублей;
А коньком бы была — ей и сметы нет».
Взговорит ли Вольга таковы слова:
«А и как тя, мужик, звать по имени —
Величать тебя как по изотчеству!»
Говорит ли мужик таковы слова:
«А я ржи напашу, во скирды сложу,
Домой-выволоку, дома вымолочу.
Да и пива сварю, мужиков сзову,
И почнут мужики тут покликивать:
«Гой, Микула-свет, ты Микулушка,
Свет Микулушка да Селянинович!»

ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ

Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев: не любящий брата пребывает в смерти. (*1 посл. Иоан. III, 14*)

А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое: как пребывает в том любовь божия? *(III, 17)*

Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиной. (*III, 18*)

Любовь от бога, и всякий любящий рожден от бога и знает бога. (*IV, 7*)

Кто не любит, тот не познал бога, потому что бог есть любовь. (*IV, 8*)

Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то бог в нас пребывает. (*IV, 12*)

Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в боге, и бог в нем. (*IV, 16*)

Кто говорит: я люблю бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить бога, которого не видит? *(IV, 20)*.

I

Жил сапожник с женой и детьми у мужика на квартире. Ни дома своего, ни земли у него не было, и кормился он с семьею сапожной работой. Хлеб был дорогой, а работа дешевая, и что заработает, то и проест. Была у сапожника одна шуба с женой, да и та износилась в лохмотья; и второй год собирался сапожник купить овчин на новую шубу.

К осени собрались у сапожника деньжонки: три рубля бумажка лежала у бабы в сундуке, а еще пять рублей двадцать копеек было за мужиками в селе.

И собрался с утра сапожник в село за шубой. Надел панковую бабью куртушку на вате на рубаху, сверху кафтан суконный, взял бумажку трехрублевую в карман, выломал палку и пошел после завтрака. Думал: «Получу пять рублей с мужиков, приложу своих три,— куплю овчин на шубу».

Пришел сапожник в село, зашел к одному мужику — дома нет, обещала баба на неделе прислать мужа с деньгами, а денег не дала; зашел к другому,— забожился мужик, что нет денег, только двадцать копеек отдал за починку сапог. Думал сапожник в долг взять овчины,— в долг не поверил овчинник.

— Денежки,— говорит,— принеси, тогда выбирай любые, а то знаем мы, как долги выбирать.

Так и не сделал сапожник никакого дела, только получил двадцать копеек за починку да взял у мужика старые валенки кожей обшить.

Потужил сапожник, выпил на все двадцать копеек водки и пошел домой без шубы. С утра сапожнику морозно показалось, а выпивши — тепло было и без шубы. Идет сапожник дорогой, одной рукой палочкой по мерзлым калмыжкам постукивает, а другой рукой сапогами валеными помахивает, сам с собой разговаривает.

— Я,— говорит,— и без шубы тёпел. Выпил шкалик; оно во всех жилках играет. И тулупа не надо. Иду, забывши горе. Вот какой я человек! Мне что? Я без шубы проживу. Мне ее век не надо. Одно — баба заскучает. Да и обидно — ты на него работай, а он тебя водит. Постой же ты теперь: не принесешь денежки, я с тебя шапку сниму, ей-богу, сниму. А то что же это? По двугривенному отдает! Ну что на двугривенный сделаешь? Выпить — одно. Говорит: нужда. Тебе нужда, а мне не нужда? У тебя и дом, и скотина, и все, а я весь тут; у тебя свой хлеб, а я на покупном,— откуда хочешь, а три рубля в неделю на один хлеб подай. Приду домой — а хлеб дошел; опять полтора рубля выложь. Так ты мне мое отдай.

Подходит так сапожник к часовне у повертка, глядит — за самой за часовней что-то белеется. Стало уж смеркаться. Приглядывается сапожник, а не может рассмотреть, что такое. «Камня, думает, здесь такого не было. Скотина? На скотину не похоже. С головы похоже на человека, да бело что-то. Да и человеку зачем тут быть?»

Подошел ближе — совсем видно стало. Что за чудо: точно, человек, живой ли, мертвый, голышом сидит, прислонен к часовне и не шевелится. Страшно стало сапожнику; думает себе: «Убили какие-нибудь человека, раздели, да и бросили тут. Подойди только, и не разделаешься потом».

И пошел сапожник мимо. Зашел за часовню — не видать стало человека. Прошел часовню, оглянулся, видит — человек отслонился от часовни, шевелится, как будто приглядывается. Еще больше заробел сапожник, думает себе: «Подойти или мимо пройти? Подойти — как бы худо не было: кто его знает, какой он? Не за добрые дела попал сюда. Подойдешь, а он вскочит да задушит, и не уйдешь от него. А не задушит, так поди вожжайся с ним. Что с ним, с голым, делать? Не с себя же снять, последнее отдать. Пронеси только бог!»

И прибавил сапожник шагу. Стал уж проходить часовню, да зазрила его совесть.

И остановился сапожник на дороге.

— Ты что же это,— говорит на себя,— Семен, делаешь? Человек в беде помирает, а ты заробел, мимо идешь. Али дюже разбогател? боишься, ограбят богатство твое? Ай, Сема, неладно!

Повернулся Семен и пошел к человеку.

II

Подходит Семен к человеку, разглядывает его и видит: человек *молодой, в силе, не видать на теле побоев*, только видно — измерз человек и напуган; сидит, прислонясь, и не глядит на Семена, будто ослаб, глаз поднять не может. Подошел Семен вплоть, и вдруг как будто очнулся человек, повернул голову, открыл глаза и взглянул на Семена. И с этого взгляда полюбился человек Семену. Бросил он наземь валенки, распоясался, положил подпояску на валенки, скинул кафтан.

— Будет,— говорит,— толковать-то! Одевай, что ли! Ну-ка!

Взял Семен человека под локоть, стал поднимать. Поднялся человек. И видит Семен — тело тонкое, чистое, руки, ноги не ломаные и лицо умильное. Накинул ему

Семен кафтан на плечи,— не попадет в рукава. Заправил ему Семен руки, натянул, запахнул кафтан и подтянул подпояскою.

Снял было Семен картуз рваный, хотел на голого надеть, да холодно голове стало, думает: «У меня лысина во всю голову, а у него виски курчавые, длинные». Надел опять. «Лучше сапоги ему обую».

Посадил его и сапоги валеные обул ему.

Одел его сапожник и говорит:

— Так-то, брат. Ну-ка, разминайся да согревайся. А эти дела все без нас разберут. Идти можешь?

Стоит человек, умильно глядит на Семена, а выговорить ничего не может.

— Что же не говоришь? Не зимовать же тут. Надо к жилью. Ну-ка, на вот дубинку мою, обопрись, коли ослаб. Раскачивайся-ка!

И пошел человек. И пошел легко, не отстает.

Идут они дорогой, и говорит Семен:

— Чей, значит, будешь?

— Я не здешний.

— Здешних-то я знаю. Попал-то, значит, как сюда, под часовню?

— Нельзя мне сказать.

— Должно, люди обидели?

— Никто меня не обидел. Меня бог наказал.

— Известно, все бог, да все же куда-нибудь прибиваться надо. Куда надо-то тебе?

— Мне все одно.

Подивился Семен. Не похож на озорника и на речах мягок, а не сказывает про себя. И думает Семен: «Мало ли какие дела бывают»,— и говорит человеку:

— Что ж, так пойдем ко мне в дом, хоть отойдешь мало-мальски.

Идет Семен, не отстает от него странник, рядом идет. Поднялся ветер, прохватывает Семена под рубаху, и стал с него сходить хмель, и прозябать стал. Идет он, носом посапывает, запахивает на себе куртушку бабью и думает: «Вот-те и шуба, пошел за шубой, а без кафтана приду да еще голого с собой приведу. Не похвалит Матрена!» И как подумает об Матрене, скучно станет Семену. А как поглядит на странника, вспомнит, как он взглянул на него за часовней, так взыграет в нем сердце.

III

Убралась Семена жена рано. Дров нарубила, воды принесла, ребят накормила, сама закусила и задумалась; задумалась, когда хлебы ставить: нынче или завтра? Краюшка большая осталась.

«Если, думает, Семен там пообедает да много за ужином не съест, на завтра хватит хлеба».

Повертела, повертела Матрена краюху, думает: «Не стану нынче хлебов ставить. Муки и то всего на одни хлебы осталось. Еще до пятницы протянем».

Убрала Матрена хлеб и села у стола заплату на мужнину рубаху нашить. Шьет и думает Матрена про мужа, как он будет овчины на шубу покупать.

«Не обманул бы его овчинник. А то прост уж очень мой-то. Сам никого не обманет, а его малое дитя проведет. Восемь рублей деньги не малые. Можно хорошую шубу собрать. Хоть не дубленая, а все шуба. Прошлую зиму как бились без шубы! Ни на речку выйти, ни куда. А то вот пошел со двора, все на себя надел, мне и одеть нечего. Не рано пошел. Пора бы ему. Уж не загулял ли соколик-то мой?»

Только подумала Матрена, заскрипели ступеньки на крыльце, кто-то вошел. Воткнула Матрена иголку, вышла в сени. Видит — вошли двое: Семен и с ним мужик какой-то без шапки и в валенках.

Сразу почуяла Матрена дух винный от мужа. «Ну, думает, так и есть загулял». Да как увидела, что он без кафтана, в куртушке в одной и не несет ничего, а молчит, ужимается, оборвалось у Матрены сердце. «Пропил, думает, деньги, загулял с каким-нибудь непутевым, да и его еще с собой привел».

Пропустила их Матрена в избу, сама вошла, видит — человек чужой, молодой, худощавый, кафтан на нем их-ний. Рубахи не видать под кафтаном, шапки нет. Как вошел, так стал, не шевелится и глаз не поднимает. И думает Матрена: недобрый человек — боится.

Насупилась Матрена, отошла к печи, глядит, что от них будет.

Снял Семен шапку, сел на лавку, как добрый.

— Что ж,— говорит,— Матрена, собери ужинать, что ли!

Пробурчала что-то себе под нос Матрена. Как стала у печи, не шевельнется: то на одного, то на другого посмотрит и только головой покачивает. Видит Семен, что баба не в себе, да делать нечего: как будто не примечает, берет за руку странника.

— Садись,— говорит,— брат, ужинать станем.

Сел странник на лавку.

— Что же, али не варила?

Взяло зло Матрену.

— Варила, да не про тебя. Ты и ум, я вижу, пропил. Пошел за шубой, а без кафтана пришел, да еще какого-то бродягу голого с собой привел. Нет у меня про вас, пьяниц, ужина.

— Будет, Матрена, что без толку-то языком стрекотать! Ты спроси прежде, какой человек...

— Ты сказывай, куда деньги девал?

Полез Семен в кафтан, вынул бумажку, развернул.

— Деньги — вот они, а Трифонов не отдал, завтра посулился.

Еще пуще взяло зло Матрену: шубы не купил, а последний кафтан на какого-то голого надел да к себе привел.

Схватила со стола бумажку, понесла прятать, сама говорит:

— Нет у меня ужина. Всех пьяниц голых не накормишь.

— Эх, Матрена, подержи язык-то. Прежде послушай, что говорят...

— Наслушаешься ума от пьяного дурака. Недаром не хотела за тебя, пьяницу, замуж идти. Матушка мне холсты отдала — ты пропил; пошел шубу купить — пропил.

Хочет Семен растолковать жене, что пропил он только двадцать копеек, хочет сказать, где он человека нашел,— не дает ему Матрена слова вставить: откуда что берется, по два слова вдруг говорит. Что десять лет тому назад было, и то все помянула.

Говорила, говорила Матрена, подскочила к Семену, схватила его за рукав.

— Давай поддевку-то мою. А то одна осталась, и ту с меня снял да на себя напер. Давай сюда, конопатый пес, пострел тебя расшиби!

Стал снимать с себя Семен куцавейку, рукав вывернул, дернула баба — затрещала в швах куцавейка. Схватила Матрена поддевку, на голову накинула и взялась за дверь. Хотела уйти, да остановилась: и сердце в ней расходилось — хочется ей зло сорвать и узнать хочется, какой-такой человек.

IV

Остановилась Матрена и говорит:

— Кабы добрый человек, так голый бы не был, а то на нем и рубахи-то нет. Кабы за добрыми делами пошел, ты бы сказал, откуда привел щеголя такого.

— Да я сказываю тебе: иду, у часовни сидит этот раздемши, застыл совсем. Не лето ведь, нагишом-то. Нанес меня на него бог, а то бы пропасть. Ну, как быть? Мало ли какие дела бывают! Взял, одел и привел сюда. Утиши ты свое сердце. Грех, Матрена. Помирать будем.

Хотела Матрена изругаться, да поглядела на странника и замолчала. Сидит странник — не шевельнется, как сел на краю лавки. Руки сложены на коленях, голова на грудь опущена, глаз не раскрывает и все морщится, как будто душит его что. Замолчала Матрена. Семен и говорит:

— Матрена, али в тебе бога нет?!

Услыхала это слово Матрена, взглянула еще на странника, и вдруг сошло в ней сердце. Отошла она от двери, подошла к печному углу, достала ужинать. Поставила чашку на стол, налила квасу, выложила краюшку последнюю. Подала нож и ложки.

— Хлебайте, что ль,— говорит.

Подвинул Семен странника.

— Пролезай,— говорит,— молодец.

Нарезал Семен хлеба, накрошил, и стали ужинать. А Матрена села об угол стола, подперлась рукой и глядит на странника.

И жалко стало Матрене странника, и полюбила она его. И вдруг повеселел странник, перестал морщиться, поднял глаза на Матрену и улыбнулся.

Поужинали; убрала баба и стала спрашивать странника:

— Да ты чей будешь?

— Не здешний я.

— Да как же ты на дорогу-то попал?

— Нельзя мне сказать.

— Кто ж тебя обобрал?

— Меня бог наказал.

— Так голый и лежал?

— Так и лежал нагой, замерзал. Увидал меня Семен, пожалел, снял с себя кафтан, на меня надел и велел сюда прийти. А здесь ты меня накормила, напоила, пожалела. Спасет вас господь!

Встала Матрена, взяла с окна рубаху старую Семенову, ту самую, что платила, подала страннику; нашла еще портки, подала.

— На вот, я вижу, у тебя и рубахи-то нет. Оденься да ложись где полюбится — на хоры али на печь.

Снял странник кафтан, одел рубаху и портки и лег на хоры. Потушила Матрена свет, взяла кафтан и полезла к мужу.

Прикрылась Матрена концом кафтана, лежит и не спит, все странник ей с мыслей не идет.

Как вспомнит, что он последнюю краюшку доел и на завтра нет хлеба, как вспомнит, что рубаху и портки отдала, так скучно ей станет; а вспомнит, как он улыбнулся, и взыграет в ней сердце.

Долго не спала Матрена и слышит — Семен тоже не спит, кафтан на себя тащит.

— Семен!

— А!

— Хлеб-то последний поели, а я не ставила. На завтра, не знаю, как быть. Нечто у кумы Маланьи попрошу.

— Живы будем, сыты будем.

Полежала баба, помолчала.

— А человек, видно, хороший, только что ж он не сказывает про себя.

— Должно, нельзя.

— Сём!

— А!

— Мы-то даем, да что ж нам никто не дает?

Не знал Семен, что сказать. Говорит: «Будет толковать-то». Повернулся и заснул.

V

Наутро проснулся Семен. Дети спят, жена пошла к соседям хлеба занимать. Один вчерашний странник в старых портках и рубахе на лавке сидит, вверх смотрит. И лицо у него против вчерашнего светлее.

И говорит Семен:

— Чего ж, милая голова: брюхо хлеба просит, а голое тело одежи. Кормиться надо. Что работать умеешь?

— Я ничего не умею.

Подивился Семен и говорит:

— Была бы охота. Всему люди учатся.

— Люди работают, и я работать буду.

— Тебя как звать?

— Михаил.

— Ну, Михайла, сказывать про себя не хочешь — твое дело, а кормиться надо. Работать будешь, что прикажу,— кормить буду.

— Спаси тебя господь, а я учиться буду. Покажи, что делать.

Взял Семен пряжу, надел на пальцы и стал делать конец.

— Дело не хитрое, гляди...

Посмотрел Михайла, надел также на пальцы, тотчас перенял, сделал конец.

Показал ему Семен, как наваривать. Также сразу понял Михайла. Показал хозяин и как всучить щетинку и как тачать, и тоже сразу понял Михайла.

Какую ни покажет ему работу Семен, все сразу поймет, и с третьего дня стал работать, как будто век шил. Работает без разгиба, ест мало; перемежится работа — молчит и все вверх глядит. На улицу не ходит, не говорит лишнего, не шутит, не смеется.

Только и видели раз, как он улыбнулся в первый вечер, когда ему баба ужинать собрала.

VI

День ко дню, неделя к неделе, вскружился и год. Живет Михайла по-прежнему у Семена, работает. И прошла про Семенова работника слава, что никто так чисто и крепко сапог не сошьет, как Семенов работник Михайла,

и стали из округи к Семену за сапогами ездить, и стал у Семена достаток прибавляться.

Сидят раз по зиме Семен с Михайлой, работают, подъезжает к избе тройкой с колокольцами возок. Поглядели в окно: остановился возок против избы, соскочил молодец с облучка, отворил дверцу. Вылезает из возка в шубе барин. Вышел из возка, пошел к Семенову дому, вошел на крыльцо. Выскочила Матрена, распахнула дверь настежь. Нагнулся барин, вошел в избу, выпрямился, чуть головой до потолка не достал, весь угол захватил.

Встал Семен, поклонился и дивуется на барина. И не видывал он людей таких. Сам Семен поджарый и Михайла худощавый, а Матрена и вовсе как щепка сухая, а этот — как с другого света человек: морда красная, налитая, шея как у быка, весь как из чугуна вылит.

Отдулся барин, снял шубу, сел на лавку и говорит:

— Кто хозяин сапожник?

Вышел Семен, говорит:

— Я, ваше степенство.

Крикнул барин на своего малого:

— Эй, Федька, подай сюда товар.

Вбежал малый, внес узелок. Взял барин узел, положил на стол.

— Развяжи,— говорит. Развязал малый.

Ткнул барин пальцем товар сапожный и говорит Семену:

— Ну, слушай же ты, сапожник. Видишь товар?

— Вижу,— говорит,— ваше благородие.

— Да ты понимаешь ли, какой это товар?

Пощупал Семен товар, говорит:

— Товар хороший.

— То-то хороший! Ты, дурак, еще не видал товару такого. Товар немецкий, двадцать рублей плачен.

Заробел Семен, говорит:

— Где же нам видать.

— Ну, то-то. Можешь ты из этого товара на мою ногу сапоги сшить?

— Можно, ваше степенство.

Закричал на него барин:

— То-то «можно». Ты понимай, ты на кого шьешь, из какого товару. Такие сапоги мне сшей, чтобы год носились, не кривились, не поролись. Можешь — берись,

режь товар, а не можешь — и не берись и не режь товару. Я тебе наперед говорю: распорются, скривятся сапоги раньше году, я тебя в острог засажу; не скривятся, не распорются до году, я за работу десять рублей отдам.

Заробел Семен и не знает, что сказать. Оглянулся на Михайлу. Толканул его локтем и шепчет:

— Брать, что ли?

Кивнул головой Михайла: «Бери, мол, работу».

Послушался Семен Михайлу, взялся такие сапоги сшить, чтобы год не кривились, не поролись.

Крикнул барин малого, велел снять сапог с левой ноги, вытянул ногу.

— Снимай мерку!

Сшил Семен бумажку в десять вершков, загладил, стал на коленки, руку об фартук обтер хорошенько, чтобы барский чулок не попачкать, и стал мерить. Обмерил Семен подошву, обмерил в подъеме; стал икру мерить, не сошлась бумажка. Ножища в икре как бревно толстая.

— Смотри, в голенище не обузь.

Стал Семен еще бумажку нашивать. Сидит барин, пошевеливает перстами в чулке, народ в избе оглядывает. Увидал Михайлу.

— Это кто ж,— говорит,— у тебя?

— А это самый мой мастер, он и шить будет.

— Смотри же,— говорит барин на Михайлу,— помни, так ешей, чтобы год проносились.

Оглянулся и Семен на Михайлу; видит — Михайла на барина и не глядит, а уставился в угол за барином, точно вглядывается в кого. Глядел, глядел Михайла и вдруг улыбнулся и просветлел весь.

— Ты что, дурак, зубы скалишь? Ты лучше смотри, чтобы к сроку готовы были.

И говорит Михайла:

— Как раз поспеют, когда надо.

— То-то.

Надел барин сапог, шубу, запахнулся и пошел к двери. Да забыл нагнуться, стукнулся в притолоку головой.

Разругался барин, потер себе голову, сел в возок и уехал.

Отъехал барин, Семен и говорит:

— Ну уж кремняст. Этого долбней не убьешь. Косяк головой высадил, а ему горя мало.

А Матрена говорит:

— С житья такого как им гладким не быть. Этакого заклепа и смерть не возьмет.

VII

И говорит Семен Михайле:

— Взять-то взяли работу, да как бы нам беды не нажить. Товар дорогой, а барин сердитый. Как бы не ошибиться. Ну-ка ты, у тебя и глаза повострее, да и в руках-то больше моего сноровки стало, на-ка мерку. Крои товар, а я головки дошивать буду.

Не ослушался Михайла, взял товар барский, разостлал на столе, сложил вдвое, взял нож и начал кроить.

Подошла Матрена, глядит, как Михайла кроит, и дивится, что такое Михайла делает. Привыкла уж и Матрена к сапожному делу, глядит и видит, что Михайла не по-сапожному товар кроит, а на круглые вырезает.

Хотела сказать Матрена, да думает себе: «Должно, не поняла я, как сапоги барину шить; должно, Михайла лучше знает, не стану мешаться».

Скроил Михайла пару, взял конец и стал сшивать не по-сапожному, в два конца, а одним концом, как босовики шьют.

Подивилась и на это Матрена, да тоже мешаться не стала. А Михайла все шьет. Стали полудновать, поднялся Семен, смотрит — у Михайлы из барского товару босовики сшиты.

Ахнул Семен. «Как это, думает, Михайла год целый жил, не ошибался ни в чем, а теперь беду такую наделал? Барин сапоги вытяжные на ранту заказывал, а он босовики сшил без подошвы, товар испортил. Как я теперь разделаюсь с барином? Товару такого не найдешь».

И говорит он Михайле:

— Ты что же это,— говорит,— милая голова, наделал? Зарезал ты меня! Ведь барин сапоги заказывал, а ты что сшил?

Только начал он выговаривать Михайле — грох в кольцо у двери, стучится кто-то. Глянули в окно: верхом кто-то приехал, лошадь привязывает. Отперли: входит тот самый малый от барина.

— Здорово!

— Здорово. Чего надо?

— Да вот барыня прислала об сапогах.

— Что об сапогах?

— Да что об сапогах! сапог не нужно барину. Приказал долго жить барин.

— Что ты!

— От вас до дома не доехал, в возке и помер. Подъехала повозка к дому, вышли высаживать, а он как куль завалился, уж и закоченел, мертвый лежит, насилу из возка выпростали. Барыня и прислала, говорит: «Скажи ты сапожнику, что был, мол, у вас барин, сапоги заказывал и товар оставил, так скажи: сапог не нужно, а чтобы босовики на мертвого поскорее из товару сшил. Да дождись, пока сошьют, и с собой босовики привези». Вот и приехал.

Взял Михайла со стола обрезки товара, свернул трубкой, взял и босовики готовые, щелкнул друг об друга, обтер фартуком и подал малому. Взял малый босовики.

— Прощайте, хозяева! Час добрый!

VIII

Прошел и еще год, и два, и живет Михайла уже шестой год у Семена. Живет по-прежнему. Никуда не ходит, лишнего не говорит и во все время только два раза улыбнулся: один раз, когда баба ему ужинать собрала, другой раз на барина. Не нарадуется Семен на своего работника. И не спрашивает его больше, откуда он; только одного боится, чтоб не ушел от него Михайла.

Сидят раз дома. Хозяйка в печь чугуны ставит, а ребята по лавкам бегают, в окна глядят. Семен тачает у одного окна, а Михайла у другого каблук набивает.

Подбежал мальчик по лавке к Михайле, оперся ему на плечо и глядит в окно.

— Дядя Михайла, глянь-ка, купчиха с девочками, никак, к нам идет. А девочка одна хромая.

Только сказал это мальчик, Михайла бросил работу, повернулся к окну, глядит на улицу.

И удивился Семен. То никогда не глядит на улицу Михайла, а теперь припал к окну, глядит на что-то. Поглядел и Семен в окно; видит — вправду идет женщина к его двору, одета чисто, ведет за ручки двух девочек в шубках, в

платочках в ковровых. Девочки одна в одну, разузнать нельзя. Только у одной левая ножка попорчена — идет, припадает.

Взошла женщина на крыльцо, в сени, ощупала дверь, потянула за скобу — отворила. Пропустила вперед себя двух девочек и вошла в избу.

— Здорово, хозяева!

— Просим милости. Что надо?

Села женщина к столу. Прижались ей девочки в колени, людей чудятся.

— Да вот девочкам на весну кожаные башмачки сшить.

— Что же, можно. Не шивали мы маленьких таких, да все можно. Можно рантовые, можно выворотные на холсте. Вот Михайла у меня мастер.

Оглянулся Семен на Михайлу и видит: Михайла работу бросил, сидит, глаз не сводит с девочек.

И подивился Семен на Михайлу. Правда, хороши, думает, девочки: черноглазенькие, пухленькие, румяненькие, и шубки и платочки на них хорошие, а все не поймет Семен, что он так приглядывается на них, точно знакомые они ему.

Подивился Семен и стал с женщиной толковать — рядиться. Порядился, сложил мерку. Подняла себе женщина на колени хроменькую и говорит:

— Вот с этой две мерки сними; на кривенькую ножку один башмачок сшей, а на пряменькую три. У них ножки одинакие, одна в одну. Двойни они.

Снял Семен мерку и говорит на хроменькую:

— С чего же это с ней сталось? Девочка такая хорошая. Сроду, что ли?

— Нет, мать задавила.

Вступилась Матрена, хочется ей узнать, чья такая женщина и чьи дети, и говорит:

— А ты разве им не мать будешь?

— Я не мать им и не родня, хозяюшка, чужие вовсе — приемыши.

— Не свои дети, а как жалеешь их!

— Как мне их не жалеть, я их обеих своею грудью выкормила. Свое было детище, да бог прибрал, его так не жалела, как их жалею.

— Да чьи же они?

Разговорилась женщина и стала рассказывать.

— Годов шесть,— говорит,— тому дело было, в одну неделю обмерли сиротки эти: отца во вторник похоронили, а мать в пятницу померла. Остались обмо́рушки эти от отца трех деньков, а мать и дня не прожила. Я в эту пору с мужем в крестьянстве жила. Соседи были, двор об двор жили. Отец их мужик одинокий был, в роще работал. Да уронили дерево как-то на него, его поперек прихватило, все нутро выдавило. Только довезли, он и отдал богу душу, а баба его в ту же неделю и роди двойню, вот этих девочек. Бедность, одиночество, одна баба была,— ни старухи, ни девчонки. Одна родила, одна и померла.

Пошла я наутро проведать соседку, прихожу в избу, а она, сердечная, уж и застыла. Да как помирала, завалилась на девочку. Вот эту задавила — ножку вывернула. Собрался народ — обмыли, опрятали, гроб сделали, похоронили. Всё добрые люди. Остались девчонки одни. Куда их деть? А я из баб одна с ребенком была. Первенького мальчика восьмую неделю кормила. Взяла я их до времени к себе. Собрались мужики, думали, думали, куда их деть, и говорят мне: «Ты, Марья, подержи покамест девчонок у себя, а мы, дай срок, их обдумаем». А я разок покормила грудью пряменькую, а эту раздавленную и кормить не стала: не чаяла ей живой быть. Да думаю себе, за что ангельская душка млеет? Жалко стало и ту. Стала кормить, да так-то одного своего да этих двух — троих грудью и выкормила! Молода была, сила была, да и пища хорошая. И молока столько бог дал в грудях было, что зальются, бывало. Двоих кормлю, бывало, а третья ждет. Отвалится одна, третью возьму. Да так-то бог привел, что этих выкормила, а своего по второму годочку схоронила. И больше бог и детей не дал. А достаток прибавляться стал. Вот теперь живем здесь на мельнице у купца. Жалованье большое, жизнь хорошая. А детей нет. И как бы мне жить одной, кабы не девчонки эти! Как же мне их не любить! Только у меня и воску в свечке, что они!

Прижала к себе женщина одною рукой девочку хроменькую, а другою рукой стала со щек слезы стирать.

И вздохнула Матрена и говорит:

— Видно, пословица не мимо молвится: без отца, матери проживут, а без бога не проживут.

Поговорили они так промеж себя, поднялась женщина идти; проводили ее хозяева, оглянулись на Михайлу. А он сидит, сложивши руки на коленках, глядит вверх, улыбается.

X

Подошел к нему Семен: что, говорит, ты, Михайла!

Встал Михайла с лавки, положил работу, снял фартук, поклонился хозяину с хозяйкой и говорит:

— Простите, хозяева. Меня бог простил. Простите и вы.

И видят хозяева, что от Михайлы свет идет. И встал Семен, поклонился Михайле и сказал ему:

— Вижу я, Михайла, что ты не простой человек, и не могу я тебя держать, и не могу я тебя спрашивать. Скажи мне только одно: отчего, когда я нашел тебя и привел в дом, ты был пасмурен, и когда баба подала тебе ужинать, ты улыбнулся на нее и с тех пор стал светлее? Потом, когда барин заказывал сапоги, ты улыбнулся в другой раз и с тех пор стал еще светлее? И теперь, когда женщина приводила девочек, ты улыбнулся в третий раз и весь просветлел. Скажи мне, Михайла, отчего такой свет от тебя и отчего ты улыбнулся три раза?

И сказал Михайла:

— Оттого свет от меня, что я был наказан, а теперь бог простил меня. А улыбнулся я три раза оттого, что мне надо было узнать три слова божии. И я узнал слова божьи; одно слово я узнал, когда твоя жена пожалела меня, и оттого я в первый раз улыбнулся. Другое слово я узнал, когда богач заказывал сапоги, и я в другой раз улыбнулся; и теперь, когда я увидал девочек, я узнал последнее, третье слово, и я улыбнулся в третий раз.

И сказал Семен:

— Скажи мне, Михайла, за что бог наказал тебя и какие те слова бога, чтобы мне знать.

И сказал Михайла:

— Наказал меня бог за то, что я ослушался его. Я был ангел на небе и ослушался бога.

Был я ангел на небе, и послал меня господь вынуть из женщины душу. Слетел я на землю, вижу: лежит одна жена — больна, родила двойню, двух девочек. Копошатся девочки подле матери, и не может их мать к грудям взять. Увидала меня жена, поняла, что бог меня по душу послал, заплакала и говорит: «Ангел божий! мужа моего только схоронили, деревом в лесу убило. Нет у меня ни сестры, ни тетки, ни бабки, некому моих сирот взрастить. Не бери ты мою душеньку, дай мне самой детей вспоить, вскормить, на ноги поставить! Нельзя детям без отца, без матери прожить!» И послушал я матери, приложил одну девочку к груди, подал другую матери в руки и поднялся к господу на небо. Прилетел к господу и говорю: «Не мог я из родильницы души вынуть. Отца деревом убило, мать родила двойню и молит не брать из нее души, говорит: «Дай мне детей вспоить, вскормить, на ноги поставить. Нельзя детям без отца, без матери прожить». Не вынул я из родильницы душу». И сказал господь: «Поди вынь из родильницы душу и узнаешь три слова: узнаешь, что есть в людях, и чего не дано людям, и чем люди живы. Когда узнаешь, вернешься на небо». Полетел я назад на землю и вынул из родильницы душу.

Отпали младенцы от грудей. Завалилось на кровати мертвое тело, придавило одну девочку, вывернуло ей ножку. Поднялся я над селом, хотел отнести душу богу, подхватил меня ветер, повисли у меня крылья, отвалились, и пошла душа одна к богу, а я упал у дороги на землю.

XI

И поняли Семен с Матреной, кого они одели и накормили и кто жил с ними, и заплакали они от страха и радости.

И сказал ангел:

— Остался я один в поле и нагой. Не знал я прежде нужды людской, не знал ни холода, ни голода, и стал человеком. Проголодался, измерз и не знал, что делать. Увидал я — в поле часовня для бога сделана, подошел к божьей часовне, хотел в ней укрыться. Часовня заперта была замком, и войти нельзя было. И сел я за часовней, чтобы укрыться от ветра. Пришел вечер, проголодался я и застыл и изболел весь. Вдруг слышу: идет человек

по дороге, несет сапоги, сам с собой говорит. И увидал я впервой смертное лицо человеческое после того, как стал человеком, и страшно мне стало это лицо, отвернулся я от него. И слышу я, что говорит сам с собой этот человек о том, как ему свое тело от стужи в зиму прикрыть, как жену и детей прокормить. И подумал: «Я пропадаю от холода и голода, а вот идет человек, только о том и думает, как себя с женой шубой прикрыть и хлебом прокормить. Нельзя ему помочь мне». Увидал меня человек, нахмурился, стал еще страшнее и прошел мимо. И отчаялся я. Вдруг слышу, идет назад человек. Взглянул я и не узнал прежнего человека: то в лице его была смерть, а теперь вдруг стал живой, и в лице его я узнал бога. Подошел он ко мне, одел меня, взял с собой и повел к себе в дом. Пришел я в его дом, вышла нам навстречу женщина и стала говорить. Женщина была еще страшнее человека — мертвый дух шел у нее изо рта, и я не мог продохнуть от смрада смерти. Она хотела выгнать меня на холод, и я знал, что умрет она, если выгонит меня. И вдруг муж ее напомнил ей о боге, и женщина вдруг переменилась. И когда она подала нам ужинать, а сама глядела на меня, я взглянул на нее — в ней уже не было смерти, она была живая, и я и в ней узнал бога.

И вспомнил я первое слово бога: «Узнаешь, что есть в людях». И я узнал, что есть в людях любовь. И обрадовался я тому, что бог уже начал открывать мне то, что обещал, и улыбнулся в первый раз. Но всего не мог я узнать еще. Не мог я понять, чего не дано людям и чем люди живы.

Стал я жить у вас и прожил год. И приехал человек заказывать сапоги такие, чтобы год носились, не порошились, не кривились. Я взглянул на него и вдруг за плечами его увидал товарища своего, смертного ангела. Никто, кроме меня, не видал этого ангела, но я знал его и знал, что не зайдет еще солнце, как возьмется душа богача. И подумал я: «Припасает себе человек на год, а не знает, что не будет жив до вечера». И вспомнил я другое слово бога: «Узнаешь, чего не дано людям».

Что есть в людях, я уже знал. Теперь я узнал, чего не дано людям. Не дано людям знать, чего им для своего

тела нужно. И улыбнулся я в другой раз. Обрадовался я тому, что увидал товарища ангела, и тому, что бог мне другое слово открыл.

Но всего не мог я понять. Не мог еще я понять, чем люди живы. И все жил я и ждал, когда бог откроет мне последнее слово. И на шестом году пришли девочки-двойни с женщиной, и узнал я девочек, и узнал, как остались живы девочки эти. Узнал и подумал: «Просила мать за детей, и поверил я матери,— думал, что без отца, матери нельзя прожить детям, а чужая женщина вскормила, взрастила их». И когда умилилась женщина на чужих детей и заплакала, я в ней увидал живого бога и понял, чем люди живы. И узнал, что бог открыл мне последнее слово и простил меня, и улыбнулся я в третий раз.

XII

И обнажилось тело ангела, и оделся он весь светом, так что глазу нельзя смотреть на него; и заговорил он громче, как будто не из него, а с неба шел его голос. И сказал ангел:

— Узнал я, что жив всякий человек не заботой о себе, а любовью.

Не дано было знать матери, чего ее детям для жизни нужно. Не дано было знать богачу, чего ему самому нужно. И не дано знать ни одному человеку — сапоги на живого или босовики ему же на мертвого к вечеру нужны.

Остался я жив, когда был человеком, не тем, что я сам себя обдумал, а тем, что была любовь в прохожем человеке и в жене его и они пожалели и полюбили меня. Остались живы сироты не тем, что обдумали их, а тем, что была любовь в сердце чужой женщины и она пожалела, полюбила их. И живы все люди не тем, что они сами себя обдумывают, а тем, что есть любовь в людях.

Знал я прежде, что бог дал жизнь людям и хочет, чтобы они жили; теперь понял я еще и другое.

Я понял, что бог не хотел, чтобы люди врозь жили, и затем не открыл им того, что каждому для себя нужно, а хотел, чтоб они жили заодно, и затем открыл им то, что им всем для себя и для всех нужно.

Понял я теперь, что кажется только людям, что они заботой о себе живы, а что живы они одною любовью. Кто в любви, тот в боге и бог в нем, потому что бог есть любовь.

И запел ангел хвалу богу, и от голоса его затряслась изба. И раздвинулся потолок, и встал огненный столб от земли до неба. И попадали Семен с женой и с детьми на землю. И распустились у ангела за спиной крылья, и поднялся он на небо.

И когда очнулся Семен, изба стояла по-прежнему, и в избе уже никого, кроме семейных, не было.

ДВА БРАТА И ЗОЛОТО

Жили в давнишние времена недалеко от Иерусалима два родные брата, старший Афанасий и меньшой Иоанн. Они жили на горе, недалеко от города, и питались тем, что им давали люди. Все дни братья проводили на работе. Работали они не свою работу, а работу бедных. Где были утружденные работой, где были больные, сироты и вдовы, туда ходили братья и там работали и уходили, не принимая платы. Так проводили братья врозь всю неделю и сходились только в субботу вечером к своему жилищу. Только воскресный день они оставались дома, молились и беседовали. И ангел господень сходил к ним и благословлял их. В понедельник они расходились каждый в свою сторону. Так жили братья много лет, и всякую неделю ангел господень сходил к ним и благословлял их.

В один понедельник, когда братья вышли на работу и разошлись уже в разные стороны, старшему брату, Афанасию, стало жаль расставаться с любимым братом и он остановился и оглянулся. Иоанн шел, потупив голову, в свою сторону и не глядел назад. Но вдруг Иоанн тоже остановился и, как будто увидав что-то, пристально, из-под руки, стал смотреть туда. Потом приблизился к тому, на что смотрел, потом вдруг прыгнул в сторону и, не оглядываясь, побежал под гору и на гору, прочь от того места, как будто лютый зверь гнался за ним. Удивился Афанасий и вернулся назад к тому месту, чтобы узнать, чего так испугался его брат. Стал подходить он

и видит, что-то блестит на солнце. Подошел ближе — на траве, как высыпана из меры, лежит куча золота, беремени на два. И еще больше удивился Афанасий и на золото и на прыжок брата.

«Чего он испугался и отчего он убежал? — подумал Афанасий. — В золоте греха нет, грех в человеке. Золотом можно зло сделать, можно и добро сделать. Сколько сирот и вдов можно прокормить, сколько голых одеть, сколько убогих и больных уврачевать на это золото! Мы теперь служим людям, но служба наша малая по нашей малой силе, а с этим золотом мы можем больше служить людям». Подумал так Афанасий и хотел сказать все это брату; но Иоанн ушел уж из слуха вон и только, как козявка, виднелся он уж на другой горе.

И снял Афанасий с себя одежу, нагреб в нее золота, сколько в силах унесть, взвалил на плечо и понес в город. Пришел в гостиницу, сдал гостинику золото и пошел за остальным. И когда принес все золото, то пошел к купцам, купил земли в городе, купил камней, лесу, нанял рабочих и стал строить три дома. И прожил Афанасий в городе три месяца, построил в городе три дома: один дом — приют для вдов и сирот, другой дом — больница для хворых и убогих, третий дом — для странников и нищих. И нашел Афанасий трех благочестивых старцев, и одного поставил над приютом, другого — над больницей, а третьего — над странноприимным домом. И осталось еще 3000 золотых монет у Афанасия. И отдал он каждому старцу по тысяче, чтобы на руки раздавать бедным. И стали наполняться народом все три дома, и стали люди хвалить Афанасия за все то, что он сделал. И радовался на это Афанасий, так что и не хотелось ему уходить из города. Но любил Афанасий брата своего и, распрощавшись с народом, не оставив себе ни одной монеты, в той же старой одеже, в какой он пришел, в той же и пошел назад к своему жилищу.

Подходит Афанасий к своей горе и думает: «Неправильно рассудил брат, когда прыгнул прочь от золота и убежал от него. Разве не лучше я сделал?»

И только подумал это Афанасий, как вдруг видит — стоит на пути его тот ангел, который благословлял их, и грозно глядит на него. И обомлел Афанасий и только сказал:

— За что, господи?

И открыл ангел уста и сказал:

— Иди отсюда. Ты недостоин жить с братом твоим. Один прыжок брата твоего стоит дороже тех твоих дел, которые ты сделал золотом твоим.

И стал Афанасий говорить о том, сколько бедных и странных он накормил, сколько сирот призрел. И ангел сказал ему:

— Тот дьявол, который положил это золото, чтобы соблазнить тебя, научил тебя и словам этим.

И тогда обличила Афанасия совесть его, и познал он, что не для бога делал он дела свои, и он заплакал и стал каяться.

Тогда отстранился ангел с дороги и открыл ему путь, на котором уже стоял Иоанн, ожидая брата. И с тех пор Афанасий не поддавался соблазну дьявола, рассыпавшего золото, и познал, что не золотом, а только трудом можно служить богу и людям.

И стали братья жить по-прежнему.

ИЛЬЯС

Жил в Уфимской губернии башкирец Ильяс. Остался Ильяс от отца небогатым. Отец только женил его год и сам помер. Было в то время именья у Ильяса 7 кобыл, 2 коровы и 2 десятка овец. Но Ильяс был хозяин и стал приобретать: с утра до вечера трудился с женою, раньше всех вставал и позже всех ложился и с каждым годом все богател. Прожил так в трудах Ильяс 35 лет и нажил большое именье.

Стало у Ильяса 200 голов лошадей, 150 голов рогатого скота и 1200 овец. Работники пасли табуны и стада Ильясовы, и работницы доили кобылиц и коров и делали кумыс, масло и сыр. Всего было много у Ильяса; и в округе все завидовали Ильясовой жизни. Люди говорили: «Счастливый человек Ильяс: всего у него много, ему и умирать не нужно». Стали Ильяса знать хорошие люди и с ним знакомство водить. И приезжали к нему гости издалека. И всех принимал и всех кормил и поил Ильяс. Кто бы ни пришел, всем был кумыс, всем был чай, и шерба, и баранина. Приедут гости, сейчас бьют барана или двух, а много наедет гостей, бьют и кобылу.

Детей у Ильяса было два сына и дочь. Женил Ильяс сыновей и выдал дочь замуж. Когда беден был Ильяс, сыновья работали с ним и сами стерегли табуны и овец, а как стали богаты, начали сыновья баловаться, а один стал пить. Одного, старшего, в драке убили, а у другого, меньшого, попала сноха гордая, и стал этот сын отца не слушаться, и пришлось Ильясу отделить его.

Отделил его Ильяс, дал ему дом и скотины, и убавилось богатство Ильясово. И скоро после этого напала болезнь на овец Ильясовых, и попадало много. Потом вышел голодный год — сено не родилось: поколело много скота в зиму. Потом косяк лучший киргизцы отбили, и стало Ильясово именье убывать. Стал Ильяс падать ниже и ниже. А сил стало меньше. И дошел к 70 годам Ильяс до того, что стал распродавать шубы, ковры, седла, кибитки, потом и скотину стал продавать последнюю, и сошел Ильяс на нет. И сам не видал, как ничего не осталось, и пришлось на старости лет идти с женою жить в люди. Только и осталось у Ильяса именья, что платье на теле, шуба, шапка и ичиги с башмаками, да жена, Шам-Шемаги, тоже старуха. Сын отделенный ушел в далекую землю, а дочь померла. И помочь старикам было некому.

Пожалел стариков их сосед Мухамедшах. Сам Мухамедшах был ни беден, ни богат, а жил ровно и человек был хороший. Вспомнил он хлеб-соль Ильясову, пожалел его и сказал Ильясу: «Приходи,— говорит,— ко мне, Ильяс, жить и с старухой. Лето по силе своей мне работай на бахчах, а зимой скотину корми, а Шам-Шемаги пусть кобыл доит и кумыс делает. Кормить, одевать буду вас обоих, и, чего вам нужно, вы скажите, я дам». Поблагодарил Ильяс соседа и стал жить с женою в работниках у Мухамедшаха. Сначала тяжело показалось, а после приобыкли, и стали старики жить и по силе работать.

Хозяину выгодно было таких людей держать, потому что старики сами хозяева были и все порядки знали и не ленились, по силе работали; только жалко бывало Мухамедшаху смотреть, как такие высокие люди на такую низкую ступень пали.

И случилось раз, приехали к Мухамедшаху сваты, далекие гости; пришел и мулла. Велел Мухамедшах поймать барана и убить. Ильяс освежевал барана и сварил и послал гостям. Поели гости баранины, напились чаю и взялись за кумыс. Сидят гости с хозяином на пуховых подушках, на коврах, пьют из чашек кумыс и беседуют, а Ильяс убрался с делами и прошел мимо двери. Увидал его Мухамедшах и говорит гостю:

— Видишь ты, этот старик прошел мимо двери?

— Видел,— говорит гость,— а что же в нем удивительного?

— А то в нем удивительного, что это наш первый богач был — Ильясом звать, может, ты слышал?

— Как не слыхать,— говорит гость,— видать не видал, а слава его далеко была.

— Так вот теперь ничего у него не осталось, и живет он у меня в работниках, и старуха его с ним же, кобыл доит.

Подивился гость, пощелкал языком, помотал головой и говорит:

— Да, видно, так счастье перелетает, как колесо; кого вверх поднимает, кого вниз опускает. Что же,— говорит гость,— тоскует, я чай, старик?

— Кто его знает, живет тихо, смирно, работает хорошо.

Гость и говорит:

— А можно поговорить с ним? Расспросить бы его про его жизнь.

— Что ж, можно! — говорит хозяин и кликнул за кибитку:

— Бабай (значит дедушка по-башкирски), заходи, выпей кумысу и старуху зови.

И вошел Ильяс с женою. Поздоровался Ильяс с гостями и хозяином, прочел молитву и присел на коленочки у двери; а жена прошла за занавеску и села с хозяйкой.

Подали Ильясу чашку с кумысом. Поздоровался Ильяс с гостями и хозяином, поклонился, отпил немного и поставил.

— А что, дедушка,— говорит ему гость,— скучно, я чай, тебе, глядя на нас, свое прежнее житье вспоминать,— как ты в счастье был и как ты теперь в горе живешь?

И усмехнулся Ильяс и сказал:

— Сказать мне тебе про счастье и несчастье, так ты не поверишь; спроси лучше бабу мою; она баба — что на сердце, то и на языке; она тебе всю правду об этом деле скажет.

И сказал гость за занавеску:

— Ну что ж, бабушка, скажи, как ты судишь про прежнее счастье и про теперешнее горе?

И сказала Шам-Шемаги из-за занавески:

— А вот как сужу: жили мы с стариком пятьдесят лет — счастья искали и не нашли, а только вот теперь второй год, как у нас ничего не осталось и мы в работниках живем, мы настоящее счастье нашли и другого нам никакого не надо.

Удивился гость, и удивился хозяин, привстал даже, откинул занавеску, чтобы видеть старуху. А старуха стоит, сложив руки, усмехается, на старика своего смотрит, и старик усмехается. Старуха еще раз сказала:

— Правду я говорю, не шучу: полвека счастья искали и, пока богаты были, все не находили; теперь ничего не осталось, в люди пошли жить,— такое счастье нашли, что лучше не надо.

— Да в чем же ваше счастье теперь?

— А вот в чем: были мы богаты, не было у нас с стариком часу покоя; ни поговорить, ни об душе подумать, ни богу помолиться. Сколько у нас заботы было! То гости к нам,— забота, кого чем угостить, чем подарить, чтобы не обессудили нас. То гости съедут, за работниками смотрим — они норовят отдохнуть да послаще съесть, а мы глядим, чтобы наше не пропадало,— грешим. То забота, как бы волк не зарезал жеребенка или теленка, как бы воры косяка не угнали. Спать ляжешь, не спится — как бы ягнят не передавили овцы. Пойдешь, ходишь ночью; только успокоишься,— опять забота, как корму на зиму запасти. Да мало того, и согласья у нас с стариком не было. Он говорит, так надо сделать, а я говорю этак, и начнем грешить и браниться. Так жили мы из заботы в заботу, из греха в грех и не видали счастливой жизни.

— Ну, а теперь?

— Теперь встанем мы с стариком, поговорим всегда по любви, в согласье, спорить нам не о чем, заботиться нам не о чем,— только нам и заботы, что хозяину служить. Работаем по силам, работаем с охотой, так, чтоб хозяину не убыток, а барыш был. Придем — обед есть, ужин есть, кумыс есть. Холодно — кизяк есть погреться и шуба есть. И есть, когда поговорить, и об душе подумать, и богу помолиться. Пятьдесят лет счастья искали, теперь только нашли.

Засмеялись гости.

А Ильяс сказал:

— Не смейтесь, братцы, не шутка это дело, а жизнь человеческая. И мы глупы были с старухой и плакали прежде, что богатство потеряли, а теперь бог открыл нам правду, и мы не для своей утехи, а для вашего добра вам ее открываем.

И мулла сказал:

— Это умная речь, и все точную правду сказал Ильяс, это и в Писании написано.

И перестали смеяться гости и задумались.

ГДЕ ЛЮБОВЬ, ТАМ И БОГ

Жил в городе сапожник Мартын Авдеич. Жил он в подвале, в горенке об одном окне. Окно было на улицу. В окно видно было, как проходили люди; хоть видны были только ноги, но Мартын Авдеич по сапогам узнавал людей. Мартын Авдеич жил давно на одном месте, и знакомства много было. Редкая пара сапог в околодке не побывала и раз и два у него в руках. На какие подметки подкипет, на какие латки положит, какие обошьет, а другой раз и новые головки сделает. И часто в окно он видал свою работу. Работы было много, потому что работал Авдеич прочно, товар ставил хороший, лишнего не брал и слово держал. Если может к сроку сделать — возьмется, а нет, так и обманывать не станет, вперед говорит. И знали все Авдеича, и у него не переводилась работа. Авдеич и всегда был человек хороший, но под старость стал он больше о душе своей думать и больше к богу приближаться. Еще когда Мартын у хозяина жил, померла у него жена. И остался после жены один мальчик — трех годов. Дети у них не жили. Старшие все прежде померли. Хотел сначала Мартын сынишку сестре в деревню отдать, потом пожалел — подумал: «Тяжело будет Капитошке моему в чужой семье расти, оставлю его при себе». И отошел Авдеич от хозяина и стал с сынишкой на квартире жить. Да не дал бог Авдеичу в детях счастья. Только подрос мальчик, стал отцу помогать, только бы на него радоваться, напала на Капитошку болезнь, слег мальчик, погорел недельку и помер.

Схоронил Мартын сына и отчаялся. Так отчаялся, что стал на бога роптать. Скука такая нашла на Мартына, что не раз просил у бога смерти и укорял бога за то, что он не его, старика, прибрал, а любимого единственного сына. Перестал Авдеич и в церковь ходить. И вот зашел раз к Авдеичу от Троицы земляк-старичок — уж восьмой год странствовал. Разговорился с ним Авдеич и стал ему на свое горе жаловаться.

— И жить,— говорит,— божий человек, больше неохота. Только бы помереть. Об одном бога прошу. Безнадежный я остался теперь человек.

И сказал ему старичок:

— Не хорошо ты говоришь, Мартын, нам нельзя божьи дела судить. Не нашим умом, а божьим судом. Твоему сыну судил бог помереть, а тебе — жить. Значит, так лучше. А что отчаиваешься, так это оттого, что ты для своей радости жить хочешь.

— А для чего же жить-то? — спросил Мартын.

И старичок сказал:

— Для бога, Мартын, жить надо. Он тебе жизнь дает, для него и жить надо. Когда для него жить станешь, ни о чем тужить не станешь, и все тебе легко покажется.

Помолчал Мартын и говорит:

— А как же для бога жить-то?

И сказал старичок:

— А жить как для бога, то нам Христос показал. Ты грамоте знаешь? Купи Евангелие и читай, там узнаешь, как для бога жить. Там все показано.

И запали эти слова в сердце Авдеичу. И пошел он в тот же день, купил себе Новый завет крупной печати и стал читать.

Хотел Авдеич читать только по праздникам, да как начал читать, так ему на душе хорошо стало, что стал каждый день читать. Другой раз так зачитается, что в лампе весь керосин выгорит, и все от книги оторваться не может. И стал так читать Авдеич каждый вечер. И что больше читал, то яснее понимал, чего от него бог хочет и как надо для бога жить, и все легче и легче ему становилось на сердце. Бывало, прежде, спать ложится, охает он и крехчет и все про Капитошку вспоминает, а теперь только приговаривает: «Слава тебе, слава тебе, господи! Твоя воля». И с той поры переменилась вся жизнь Авдеича. Бывало прежде, праздничным делом захаживал

и он в трактир чайку попить, да и от водочки не отказывался. Выпьет, бывало, с знакомым человеком и хоть не пьян, а все-таки выходил из трактира навеселе и говаривал пустое: и окрикнет и оговорит человека. Теперь все это само отошло от него. Жизнь стала его тихая и радостная. С утра садится за работу, отработает свое время, снимет лампочку с крючка, поставит на стол, достанет с полки книгу, разложит и сядет читать. И что больше читает, то больше понимает и то яснее и веселее на сердце.

Случилось раз, поздно зачитался Мартын. Читал он Евангелие от Луки. Прочел он главу шестую, прочел он стихи: «Ударившему тебя по щеке подставь и другую; и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними».

Прочел и дальше те стихи, где господь говорит:

«Что вы зовете меня: господи, господи! и не делаете того, что я говорю? Всякий приходящий ко мне, слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне, почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое».

Прочел эти слова Авдеич, и радостно ему стало на душе. Снял он очки, положил на книгу, облокотился на стол и задумался. И стал он примерять свою жизнь к словам этим. И думает сам с собой:

— Что, мой дом на камне или на песке? Хорошо, как на камне. И легко так-то, один сидишь, кажется, все и сделал, как бог велит, а рассеешься — и опять согрешишь. Все ж буду тянуться. Уж хорошо очень. Помоги мне господи!

Подумал он так, хотел ложиться, да жаль было оторваться от книги. И стал читать еще 7-ю главу. Прочел он про сотника, прочел про сына вдовы, прочел про ответ ученикам Иоанновым и дошел до того места, где богатый фарисей позвал господа к себе в гости, и прочел

о том, как женщина-грешница помазала ему ноги и омывала их слезами, и как он оправдал ее. И дошел он до 44-го стиха и стал читать:

«И обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты сию женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал; а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал; а она миром помазала мне ноги». Прочел он эти стихи и думает: *«Воды на ноги не дал, целования не дал, головы маслом не помазал...»*

И опять снял очки Авдеич, положил на книгу и опять задумался.

«Такой же, видно, как я, фарисей-то был. Тоже, я чай, только об себе помнил. Как бы чайку напиться, да в тепле, да в холе, а нет того, чтобы об госте подумать. Об себе помнил, а об госте и заботушки нет. А гость-то кто? Сам господь. Кабы ко мне пришел, разве я так бы сделал?»

И облокотился на обе руки Авдеич и не видал, как задремал.

— Мартын! — вдруг как задышало что-то у него над ухом.

Встрепенулся Мартын спросонок:

— Кто тут?

Повернулся он, взглянул на дверь — никого. Прикурнул он опять. Вдруг явственно слышит:

— Мартын, а Мартын! смотри завтра на улицу, приду.

Очнулся Мартын, поднялся со стула, стал протирать глаза. И не знает сам,— во сне или наяву слышал он слова эти. Завернул он лампу и лег спать.

Наутро до света поднялся Авдеич, помолился богу, истопил печку, поставил щи, кашу, развел самовар, надел фартук и сел к окну работать. Сидит Авдеич, работает, а сам все про вчерашнее думает. И думает надвое: то думает — померещилось, а то думает, что и вправду слышал он голос. «Что ж, думает, бывало и это».

Сидит Мартын у окна, и столько не работает, сколько в окно смотрит, и как пройдет кто в незнакомых сапогах, изогнется даже, выглядывает из окна, чтобы не одни ноги, а и лицо увидать. Прошел дворник в новых валенках, прошел водовоз, потом поравнялся с окном старый солдат николаевский в обшитых старых валенках

с лопатой в руках. По валенкам узнал его Авдеич. Старика звали Степанычем, и жил он у соседнего купца из милости. Положена ему была должность дворнику помогать. Стал против Авдеичева окна Степаныч счищать снег. Посмотрел на него Авдеич и опять взялся за работу.

— Вишь, одурел, видно, я со старости,— сам на себя посмеялся Авдеич. — Степаныч снег чистит, а я думаю, Христос ко мне идет. Совсем одурел, старый хрыч.

Однако стежков десяток сделал Авдеич, и опять тянет его в окно посмотреть. Посмотрел опять в окно, видит, Степаныч прислонил лопату к стене, и сам не то греется, не то отдыхает.

Человек старый, ломаный, видно, и снег-то сгребать силы нет. Подумал Авдеич: напоить его разве чайком, кстати и самовар уходить хочет. Воткнул Авдеич шило, встал, поставил на стол самовар, залил чай и постучал пальцем в стекло. Степаныч обернулся и подошел к окну. Авдеич поманил его и пошел отворить дверь.

— Войди, погрейся, что ль,— сказал он. — Озяб, чай.

— Спаси Христос, и то — кости ломят,— сказал Степаныч.

Вошел Степаныч, отряхнулся от снега, стал ноги вытирать, чтобы не наследить на полу, а сам шатается.

— Не трудись вытирать. Я подотру, наше дело такое, проходи, садись,— сказал Авдеич. — Вот чайку выпей.

И Авдеич налил два стакана и подвинул один гостю, а сам вылил свой на блюдечко и стал дуть.

Выпил Степаныч свой стакан, перевернул дном кверху, и на него положил огрызок, и стал благодарить. А самому, видно, еще хочется.

— Кушай еще,— сказал Авдеич и налил еще стакан и себе и гостю.

Пьет Авдеич свой чай, а сам нет-нет на улицу поглядывает.

— Али ждешь кого? — спросил гость.

— Жду кого? И сказать совестно, кого жду: жду не жду, а запало мне в сердце слово одно. Виденье или так, сам не знаю. Видишь ли, братец ты мой; читал я вчера Евангелие про Христа-батюшку, как он страдал, как по земле ходил. Слыхал ты, я чай?

— Слыхать слыхал,— отвечал Степаныч,— да мы люди темные, грамоте не знаем.

— Ну вот, читал я про самое то, как он по земле ходил, читаю я, знаешь, как он к фарисею пришел, а тот ему встречи не сделал. Ну так вот, читал, братец ты мой, я вчера про это самое и подумал: как Христа-батюшку честь честью не принял. Доведись, к примеру, мне или кому, думаю, и не знал бы, как принял. А он и приему не сделал. Вот подумал я так-то и задремал. Задремал я, братец ты мой, и слышу, по имени кличет; поднялся я, голос, ровно шепчет кто-то, жди, говорит, завтра приду. Да до двух раз. Ну вот, веришь ли, запало мне это в голову — сам себя браню, и все жду его, батюшку.

Степаныч покачал головой и ничего не сказал, а допил свой стакан и положил его боком, но Авдеич опять поднял стакан и налил еще.

— Кушай на здоровье. Ведь тоже думаю, когда он, батюшка, по земле ходил, не брезговал никем, а с простым народом больше водился. Все по простым ходил, учеников-то набирал все больше из нашего брата, таких же, как мы, грешные, из рабочих. Кто, говорит, возвышается, тот унизится, а кто унижается, тот возвысится. Вы меня, говорит, господом называете, а я, говорит, вам ноги умою. Кто хочет, говорит, быть первым, тот будь всем слуга. Потому что, говорит, блаженны нищие, смиренные, кроткие, милостивые.

Забыл свой чай Степаныч, человек он был старый и мягкослезный. Сидит, слушает, а по лицу слезы катятся.

— Ну, кушай еще,— сказал Авдеич. Но Степаныч перекрестился, поблагодарил, отодвинул стакан и встал.

— Спасибо тебе,— говорит,— Мартын Авдеич, угостил ты меня, и душу, и тело насытил.

— Милости просим, заходи другой раз, рад гостю,— сказал Авдеич.

Степаныч ушел, а Мартын слил последний чай, допил, убрал посуду и опять сел к окну за работу — строчить задник. Строчит, а сам все поглядывает в окно — Христа ждет, все о нем и об его делах думает. И в голове у него все Христовы речи разные.

Прошли мимо два солдата, один в казенных, другой в своих сапогах, прошел потом в чищеных калошах хозяин из соседнего дома, прошел булочник с корзиной. Все мимо прошли, и вот поравнялась еще с окном женщина в шерстяных чулках и в деревенских башмаках. Прошла она мимо окна и остановилась у простенка. За-

глянул на нее из-под окна Авдеич, видит: женщина чужая, одета плохо и с ребенком, стала у стены к ветру спиной и укутывает ребенка, а укутывать не во что. Одежа на женщине летняя, да и плохая. И из-за рамы слышит Авдеич, ребенок кричит, и она его уговаривает, никак уговорить не может. Встал Авдеич, вышел в дверь и на лестницу и кликнул:

— Умница! а умница! — Женщина услыхала и обернулась. — Что же так на холоду с ребеночком стоишь? Заходи в горницу, в тепле-то лучше уберешь его. Сюда вот.

Удивилась женщина. Видит, старик старый в фартуке, очки на носу, зовет к себе. Пошла за ним.

Спустились под лестницу, вошли в горницу, провел старик женщину к кровати.

— Сюда,— говорит,— садись, умница, к печке ближе — погреешься и покормишь младенца-то.

— Молока-то в грудях нет, сама с утра не ела,— сказала женщина, а все-таки взяла к груди ребенка.

Покачал головой Авдеич, пошел к столу, достал хлеб, чашку, открыл в печи заслонку, налил в чашку щей, вынул горшок с кашей, да не упрела еще, налил одних щей и поставил на стол. Достал хлеба, снял с крючка утирку и на стол положил.

— Садись,— говорит,— покушай, умница, а с младенцем я посижу, ведь у меня свои дети были — умею с ними нянчиться.

Перекрестилась женщина, села к столу и стала есть, а Авдеич присел на кровать к ребенку. Чмокал, чмокал ему Авдеич губами, да плохо чмокается, зубов нету. Все кричит ребеночек. И придумал Авдеич его пальцем пугать, замахнется-замахнется на него пальцем прямо ко рту и прочь отнимет. В рот не дает, потому палец черный, в вару запачкан. И засмотрелся ребеночек на палец и затих, а потом и смеяться стал. И обрадовался и Авдеич. А женщина ест, а сама рассказывает, кто она и куда ходила.

— Я,— говорит,— солдатка, мужа восьмой месяц угнали далеко, и слуха нет. Жила в кухарках, родила. С ребенком не стали держать. Вот третий месяц бьюсь без места. Проела все с себя. Хотела в кормилицы — не берут: худа, говорят. Ходила вот к купчихе, там наша бабочка живет, так обещала взять. Я думала совсем.

А она велела на той неделе приходить. А живет далеко. Изморилась и его, сердечного, замучила. Спасибо, хозяйка жалеет нас за-ради Христа на квартире. А то бы и не знала, как прожить.

Воздохнул Авдеич и говорит:

— А одежи-то теплой али нет?

— Пора тут, родной, теплой одеже быть. Вчера платок последний за двугривенный заложила.

Подошла женщина к кровати и взяла ребенка, а Авдеич встал, пошел к стенке, порылся, принес старую поддевку.

— На,— говорит,— хоть и плохая штука, а все пригодится завернуть.

Посмотрела женщина на поддевку, посмотрела на старика, взяла поддевку и заплакала. Отвернулся и Авдеич; полез под кровать, выдвинул сундучок, покопался в нем и сел опять против женщины.

И сказала женщина:

— Спаси тебя Христос, дедушка, наслал, видно, он меня под твое окно. Заморозила бы я детище. Вышла я, тепло было, а теперь вот как студено завернуло. И наставил же он, батюшка, тебя в окно поглядеть и меня, горькую, пожалеть.

Усмехнулся Авдеич и говорит:

— И то он наставил. В окно-то я, умница, неспроста гляжу.

И рассказал Мартын и солдатке свой сон, и как он голос слышал, что обещался нынешний день господь прийти к нему.

— Все может быть,— сказала женщина, встала, накинула поддевку, завернула в нее детище и стала кланяться и опять благодарить Авдеича.

— Прими, ради Христа,— сказал Авдеич и подал ей двугривенный — платок выкупить. Перекрестилась женщина, перекрестился Авдеич и проводил женщину.

Ушла женщина; поел Авдеич щей, убрался и сел опять работать. Сам работает, а окно помнит, как потемнеет в окне, сейчас и взглядывает, кто прошел. Проходили и знакомые, проходили и чужие, и не было никого особенного.

И вот, видит Авдеич: против самого его окна остановилась старуха, торговка. Несет лукошко с яблоками. Немного уж осталось, видно, все распродала, а через

плечо держит мешок щепок. Набрала, должно быть, где на постройке, к дому идет. Да, видно, оттянул ей плечо мешок; захотела на другое плечо переложить, спустила она мешок на панель, поставила лукошко с яблоками на столбике и стала щепки в мешке утрясать. И пока утрясала она мешок, откуда ни возьмись, вывернулся мальчишка в картузе рваном, схватил из лукошка яблоко и хотел проскользнуть, да сметила старуха, повернулась и сцапала малого за рукав. Забился мальчишка, хотел вырваться, да старуха ухватила его обеими руками, сбила с него картуз и поймала за волосы. Кричит мальчишка, ругается старуха. Не поспел Авдеич шила воткнуть, бросил на пол, выскочил в дверь, даже на лестницу спотыкнулся и очки уронил. Выбежал Авдеич на улицу: старуха малого треплет за вихры и ругает, к городовому вести хочет; малый отбивается и отпирается.

— Я,— говорит,— не брал, за что бьешь, пусти.

Стал их Авдеич разнимать, взял мальчика за руку и говорит:

— Пусти его, бабушка, прости его, ради Христа!

— Я его так прощу, что он до новых веников не забудет. В полицию шельмеца сведу.

Стал Авдеич упрашивать старуху:

— Пусти,— говорит,— бабушка, он вперед не будет. Пусти ради Христа!

Пустила его старуха, хотел мальчик бежать, но Авдеич придержал его.

— Проси,— говорит,— у бабушки прощенья. И вперед не делай, я видел, как ты взял.

Заплакал мальчик, стал просить прощенья.

— Ну, вот так. А теперь яблоко на, вот тебе.

И Авдеич взял из лукошка и дал мальчику.

— Заплачу, бабушка,— сказал он старухе.

— Набалуешь ты их так, мерзавцев,— сказала старуха. — Его так наградить надо, чтобы он неделю на задницу не садился.

— Эх, бабушка, бабушка,— сказал Авдеич. — По-нашему-то так, а по-божьему не так. Коли его за яблоко высечь надо, так с нами-то за наши грехи что сделать надо?

Замолчала старуха.

И рассказал Авдеич старухе притчу о том, как хозяин простил оброчнику весь большой долг его, а оброчник

пошел и стал душить своего должника. Выслушала старуха, и мальчик стоял слушал.

— Бог велел прощать,— сказал Авдеич,— а то и нам не простится. Всем прощать, а несмысленому-то и поготово.

Покачала головой старуха и вздохнула.

— Так-то так,— сказала старуха,— да уж очень набаловались они.

— Так нам, старикам, и учить их,— сказал Авдеич.

— Так и я говорю,— сказала старуха.— У меня самой их семеро было,— одна дочь осталась.

И стала старуха рассказывать, где и как она живет у дочери и сколько у ней внучат.

— Вот,— говорит,— сила моя уж какая, а все тружусь. Ребят, внучат жалко, да и хороши внучата-то; никто меня не встретит, как они. Аксютка, так та ни к кому и не пойдет от меня. Бабушка, милая бабушка, сердечная...— И совсем размякла старуха.

— Известно, дело ребячье. Бог с ним,— сказала старуха на мальчика.

Только хотела старуха поднимать мешок на плечи, подскочил мальчик и говорит:

— Дай я снесу, бабушка, мне по дороге.— Старуха покачала головой и взвалила мешок на мальчика.

И пошли они рядом по улице. И забыла старуха спросить у Авдеича деньги за яблоко. Авдеич стоял и все смотрел на них и слушал, как они шли и что-то все говорили.

Проводил их Авдеич и вернулся к себе, нашел очки на лестнице, и не разбились, поднял шило и сел опять за работу. Поработал немного, да уж стал щетинкой не попадать и видит: фонарщик прошел фонари зажигать. «Видно, надо огонь засвечать»,— подумал он, заправил лампочку, повесил и опять принялся работать. Докончил один сапог совсем; повертел, посмотрел: хорошо. Сложил струмент, смел обрезки, убрал щетинки, и концы, и шилья, снял лампу, поставил ее на стол и достал с полки Евангелие. Хотел он раскрыть книгу на том месте, где он вчера обрезком сафьяна заложил, да раскрылась в другом месте. И как раскрыл Авдеич Евангелие, так вспомнился ему вчерашний сон. И только он вспомнил, как вдруг послышалось ему, как будто кто-то шевелится, ногами переступает сзади его. Оглянулся Авдеич и видит: стоят

точно люди в темном углу — стоят люди, а не может разобрать, кто такие. И шепчет ему на ухо голос:

— Мартын! А Мартын. Или ты не узнал меня?

— Кого? — проговорил Авдеич.

— Меня,— сказал голос. — Ведь это я.

И выступил из темного угла Степаныч, улыбнулся и как облачко разошелся, и не стало его...

— И это я,— сказал голос.

И выступила из темного угла женщина с ребеночком, и улыбнулась женщина, и засмеялся ребеночек, и тоже пропали.

— И это я,— сказал голос.

И выступила старуха и мальчик с яблоком, и оба улыбнулись, и тоже пропали.

И радостно стало на душе Авдеича, перекрестился он, надел очки и стал читать Евангелие, там, где открылось. И наверху страницы он прочел:

— И взалкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня...

И внизу страницы прочел еще:

— Так как вы сделали это одному из сих братий моих, меньших, то сделали мне (Матфея 25 глава).

И понял Авдеич, что не обманул его сон, что, точно, приходил к нему в этот день Спаситель его и что, точно, он принял его.

ВРАЖЬЕ ЛЕПКО, А БОЖЬЕ КРЕПКО

Жил в старинные времена добрый хозяин. Всего у него было много, и много рабов служило ему. И рабы хвалились господином своим. Они говорили: «Нет под небом господина лучше нашего. Он нас и кормит и одевает хорошо, и работу дает по силам, никого словом не оскорбит и ни на кого зла не держит; не так как другие господа своих рабов хуже скотов мучают, и за вину и без вины казнят, и доброго слова не скажут. Наш — нам добра хочет, и добро делает, и доброе говорит нам. Нам лучшего житья не нужно».

Так хвалились рабы господином своим. И вот досадно стало дьяволу, что живут хорошо и по любви рабы с господином своим. И завладел дьявол одним из рабов господина этого, Алебом. Завладев им, велел ему соблазнять других рабов. И когда отдыхали все рабы и хвалили господина своего, поднял голос Алеб и сказал:

— Напрасно хвалитесь вы, братцы, добротою господина нашего. Начни угождать дьяволу, и дьявол добр станет. Мы нашему господину хорошо служим, во всем угождаем. Только задумает он что, мы то и делаем, мысли его угадываем. Как же ему с нами добрым не быть? А перестаньте-ка угождать да сделайте ему худо, и он такой же, как и все, будет, и за зло отплатит злом хуже, чем самые злые господа.

И стали другие рабы спорить с Алебом. И спорили и побились об заклад. Взялся Алеб рассердить доброго господина. Взялся с тем уговором, что если он не рас-

точно люди в темном углу — стоят люди, а не может разобрать, кто такие. И шепчет ему на ухо голос:

— Мартын! А Мартын. Или ты не узнал меня?

— Кого? — проговорил Авдеич.

— Меня,— сказал голос. — Ведь это я.

И выступил из темного угла Степаныч, улыбнулся и как облачко разошелся, и не стало его...

— И это я,— сказал голос.

И выступила из темного угла женщина с ребеночком, и улыбнулась женщина, и засмеялся ребеночек, и тоже пропали.

— И это я,— сказал голос.

И выступила старуха и мальчик с яблоком, и оба улыбнулись, и тоже пропали.

И радостно стало на душе Авдеича, перекрестился он, надел очки и стал читать Евангелие, там, где открылось. И наверху страницы он прочел:

— И взалкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня...

И внизу страницы прочел еще:

— Так как вы сделали это одному из сих братий моих, меньших, то сделали мне (Матфея 25 глава).

И понял Авдеич, что не обманул его сон, что, точно, приходил к нему в этот день Спаситель его и что, точно, он принял его.

ВРАЖЬЕ ЛЕПКО, А БОЖЬЕ КРЕПКО

Жил в старинные времена добрый хозяин. Всего у него было много, и много рабов служило ему. И рабы хвалились господином своим. Они говорили: «Нет под небом господина лучше нашего. Он нас и кормит и одевает хорошо, и работу дает по силам, никого словом не оскорбит и ни на кого зла не держит; не так как другие господа своих рабов хуже скотов мучают, и за вину и без вины казнят, и доброго слова не скажут. Наш — нам добра хочет, и добро делает, и доброе говорит нам. Нам лучшего житья не нужно».

Так хвалились рабы господином своим. И вот досадно стало дьяволу, что живут хорошо и по любви рабы с господином своим. И завладел дьявол одним из рабов господина этого, Алебом. Завладев им, велел ему соблазнять других рабов. И когда отдыхали все рабы и хвалили господина своего, поднял голос Алеб и сказал:

— Напрасно хвалитесь вы, братцы, добротою господина нашего. Начни угождать дьяволу, и дьявол добр станет. Мы нашему господину хорошо служим, во всем угождаем. Только задумает он что, мы то и делаем, мысли его угадываем. Как же ему с нами добрым не быть? А перестаньте-ка угождать да сделайте ему худо, и он такой же, как и все, будет, и за зло отплатит злом хуже, чем самые злые господа.

И стали другие рабы спорить с Алебом. И спорили и побились об заклад. Взялся Алеб рассердить доброго господина. Взялся с тем уговором, что если он не рас-

сердит, то решается своей праздничной одежи, а если рассердит, то обещали ему каждый отдать свою праздничную одежу и, кроме того, обещались защитить его от господина,— если закуют его в железо или в темницу посадят, то выпустить его. Побились об заклад, и на другое утро обещал Алеб рассердить хозяина.

Служил Алеб у хозяина в овчарне, ходил за племенными дорогими баранами. И вот наутро, когда пришел добрый господин с гостями в овчарню и стал им показывать своих любимых дорогих баранов, мигнул дьяволов работник товарищам:

— Смотрите, сейчас рассержу хозяина.

Собрались все рабы, смотрят в двери и через ограду, а дьявол взлез на дерево и смотрит оттуда во двор, как будет ему служить его работник. Походил хозяин по двору, показал гостям овец и ягнят и захотел показать лучшего своего барана.

— Хороши,— говорит,— и другие бараны, а вон тот, что с крутыми рогами, тому цены нет, он для меня глаза дороже.

Шарахаются от народа по двору овцы и бараны, и не могут рассмотреть гости дорогого барана. Только остановится этот баран, так дьяволов работник, как будто пенароком, пугнет овец, и опять все смешаются. Не могут разобрать гости, который бесценный баран. Вот наскучило это хозяину. Он и говорит:

— Алеб, друг любезный, потрудись ты, поймай осторожно лучшего барана с крутыми рогами и подержи его.

И только сказал это хозяин, бросился Алеб, как лев, в середину баранов и ухватил бесценного барана за волну. Ухватил за волну и тотчас перехватил одною рукой за заднюю левую ногу, поднял ее и прямо на глазах хозяина рванул ногу кверху, и хрустнула она, как лутошка. Сломал Алеб дорогому барану ногу ниже колена. Заблеял баран и упал на передние колена. Перехватил Алеб за правую ногу, а левая вывернулась и повисла, как плеть. Ахнули и гости и рабы все, и зарадовался дьявол, когда увидел, как умно сделал его дело Алеб. Стал чернее ночи хозяин, нахмурился, опустил голову и не сказал ни слова. Молчали гости и рабы... Ждали, что будет. Помолчал хозяин, потом отряхнулся, будто с себя скинуть что хочет, поднял голову и уставился в небо. Недолго смотрел он, и морщины разошлись на

лице, и он улыбнулся. Он поглядел на Алеба и сказал:

— О, Алеб, Алеб! твой хозяин велел тебе меня рассердить. Да мой хозяин сильнее твоего: и ты не рассердил меня, а рассержу же я твоего хозяина. Ты боялся, что я накажу тебя, и ты хотел быть вольным, Алеб, так знай же, что не будет тебе от меня наказания; а хотел ты быть вольным, так вот при гостях моих отпускаю тебя на волю. Ступай на все четыре стороны, возьми свою праздничную одежду.

И пошел добрый господин с гостями своими домой. А дьявол заскрежетал зубами, свалился с дерева и провалился сквозь землю.

ДЕВЧОНКИ УМНЕЕ СТАРИКОВ

Святая была ранняя. Только на санях бросили ездить. На дворах снег лежал, и по деревне ручьи текли. Натекла промежду двух дворов в проулке из-под навоза лужа большая. И собрались к этой луже две девчонки из разных дворов — одна поменьше, другая постарше. Обеих девчонок матери в новые сарафаны одели. На маленькой — синий, а на большенькой желтый с разводами. Обеих красными платками повязали. Вышли девочки после обедни к луже, показали друг дружке свои наряды и стали играть. И захотелось им побрызгаться в воде. Полезла было маленькая в башмачках в лужу, а старшенькая и говорит:

— Не ходи, Малаша,— мать заругается. Дай я разуюсь, и ты разуйся.

Разулись девчонки, подобрались и пошли по луже друг дружке навстречу. Вошла Малашка по щиколку и говорит:

— Глубоко, Акулюшка,— я боюсь.

— Ничего,— говорит,— глубже не будет. Иди прямо на меня.

Стали сходиться. Акулька и говорит:

— Ты, Малаша, смотри не брызжи, а потихонечку.

Только сказала, а Малашка бултых ногой по воде,— прямо на Акулькин сарафан брызнуло. Сарафан забрызгало, и на нос и в глаза попало. Увидала Акулька на сарафане пятна, раздосадовалась на Малашку, разругалась, побежала за ней, хотела побить. Испугалась Малашка,

видит, что беду наделала, выскочила из лужи, побежала домой. Шла мимо Акулькина мать, увидала — на дочке сарафан забрызган и рубаха запачкана.

— Где ты, подлая, изгваздалась?

— Меня Малашка нарочно забрызгала.

Схватила Акулькина мать Малашку, ударила ее по затылку. Завыла Малашка на всю улицу. Вышла Малашкина мать.

— За что бьешь мою? — стала соседку бранить. Слово за слово, разругались бабы. Повыскочили мужики, собралась на улице куча большая. Все кричат, никто друг друга не слушает. Бранились, бранились, один толкнул другого, совсем было завязалась драка, да вступилась старуха, Акулькина бабка. Вышла в середину мужиков, стала уговаривать:

— Что вы, родные. Такие ли дни? Надо радоваться, а вы такой грех затеяли.

Не слушают старуху, чуть самое с ног не сбили. И не уговорила бы их старуха, кабы не Акулька с Малашкой. Пока бабы перекорялись, затерла себе Акулька сарафанчик, вышла опять на проулок к луже. Подняла камешек и стала у лужи землю ковырять, чтобы на улицу воду спустить. Пока она ковыряла, подошла и Малашка, стала ей подсоблять, тоже щепкой канаву разводить. Мужики только драться начали, а у девчат по канавке вода пошла на улицу и в ручей. Пустили девчата в воду щепочку. Понесло щепочку на улицу, прямо на то место, где старуха мужиков разнимала. Бегут девчонки — одна с одного боку, другая с другого боку ручья.

— Держи, Малаша, держи! — кричит Акулька. Малаша тоже что-то сказать хочет, да не выговорит от смеха.

Бегут так девчата, на щепку смеются, как она по ручью ныряет. И вбежали прямо в середку мужиков. Увидала их старуха и говорит мужикам:

— Побойтесь вы бога! Вы, мужики, из-за этих самых девчат драться связались, а они давно все забыли — опять по любви вместе, сердечные, играют. Умней они вас!

Посмотрели мужики на девчат, и стыдно им стало. А потом засмеялись сами на себя мужики и разошлись по дворам.

«Аще не будете как дети, не войдете в царствие божие».

Тогда Петр приступил к нему и сказал: господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? *(Матф. XVIII, 21)*.

Иисус говорит ему: не говорю тебе до семи, но до седмижды семидесяти раз. *(22)*

Посему царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. *(23)*

Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. *(24)*

А как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. *(25)*

Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу. *(26)*

Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. *(27)*

Раб же тот, вышедши, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. *(28)*

Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе. *(29)*

Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. *(30)*

Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились и, пришедши, рассказали государю своему все бывшее. *(31)*

Тогда государь призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. *(32)*

Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? *(33)*

И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. *(34)*

Так и отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. *(35)*

Жил в деревне крестьянин Иван Щербаков. Жил хорошо; сам был в полной силе, первый на селе работник, да три сына на ногах: один женатый, другой жених, а

третий, подросток, с лошадьми ездил и пахать зачинал. Старуха Иванова была баба умная и хозяйственная, и сноха попалась смирная и работящая. Жить бы да жить Ивану с семьей. Только нерабочих ртов во дворе и было, что один старик отец больной (от удушья седьмой год на печи лежал). Всего было вдоволь у Ивана — 3 лошади с жеребенком, корова с подтелком, 15 овец. Бабы обували, обшивали мужиков и в поле работали; мужики крестьянствовали. Хлеба своего за новину переходило. Овсом подати и нужду всю справляли. Жить бы да жить Ивану с детьми. Да двор об двор жил с ним сосед Гаврило Хромой — Гордея Иванова сын. И завелась с ним у Ивана вражда.

Пока старик Гордей жив был и Ивана отец хозяйствовал, жили мужики по-соседски. Понадобится сито бабам или ушат, понадобится мужикам веретье или колесо сменить до времени, посылают из одного двора в другой и по-соседски помогают друг дружке. Забежит теленок на гумно — сгонят и только скажут: не пускай, мол, у нас ворох не убран. А того, чтобы прятать да запирать на гумне или в сарае или клепать друг на дружку, того и в заводе не было.

Так жили при стариках. А стали хозяйствовать молодые — пошло другое.

Затеялось все из пустого.

Занеслась у Ивановой снохи рано курочка. Стала молодайка собирать к святой яйца. Что ни день, то идет за яичком под сарай в тележный ящик. Только спугнули, видно, ребята курицу, и перелетела она через плетень к соседу и там снесла. Слышит молодайка, кудахтает курочка, думает: теперь недосуг, убраться надо в избе под праздник; ужотко зайду возьму. Пошла вечером под сарай к тележному ящику — нет яичка. Стала молодайка спрашивать свекровь, деверя,— не брали ли. Нет, говорят, не брали; а Тараска, деверь меньшой, говорит: твоя хохлатка на дворе у соседа снесла, там кудахтала и оттуда прилетела. Посмотрела молодайка на свою хохлатку, сидит рядом с петухом на перемете, уж глаза завела, спать собралась. И спросила бы у ней, где снесла, да не ответит, и пошла молодайка к соседям. Встречает ее старуха.

— Чего тебе, молодка, надо?

— Да что,— говорит,— баушка, моя курочка к вам нынче перелетала, не снесла ли она яичка где?

— И видом не видали. У нас свои, бог дал, давно несутся. Мы своих собрали, а нам чужих не надо. Мы, девушка, по чужим дворам яйца собирать не ходим.

Обидно стало молодайке, сказала слово лишнее, соседка еще два; и стали бабы ругаться. Шла Иванова жена с водой, тоже ввязалась. Выскочила Гаврилова хозяйка, стала соседку укорять, помянула, что было, да и то, чего не было, приплела. И пошла трескотня. Все вдруг кричат, норовят по два слова в раз выговорить. Да и слова-то все дурные. Ты такая, ты сякая, да ты воровка, шлюха, ты и старика свекра мором моришь, ты беспоставочная.

— А ты побирушка, сито мое продрала! Да и коромысло-то у тебя наше,— давай коромысло!

Ухватились за коромысло, воду пролили, платки сорвали, стали драться. Подъехал с поля Гаврило, вступился за свою бабу. Выскочил Иван с сыном, свалились в кучу. Иван мужик здоровый был, раскидал всех. Гавриле клок бороды выдрал. Сбежался народ, насилу розняли.

С того началось.

Завернул Гаврило свой клок бороды в грамотку и поехал в волостное судиться.

— Я,— говорит,— не затем ее растил, бороду-то, чтобы мне ее конопатый Ванька драл.

А жена его соседям хвалится, что они теперь Ивана засудят, в Сибирь сошлют. И пошла вражда.

Уговаривал их с печи старик еще с первого дня, да не послушали молодые. Говорил он им:

— Пустое вы, ребята, делаете и из пустого дело заводите. Ведь подумайте, все дело у вас из-за яйца завязалось. Подняли ребятишки яичко, ну и бог с ним; в одном яйце корысти нисколько. У бога про всех хватит. Ну, дурное слово сказала, а ты его поправь, научи, как лучше сказать. Ну, подрались — грешные люди. Бывает и это. Ну, подите попроститесь, да крышка всему. А на зло пойдете — вам хуже будет.

Не послушали молодые старика, думали, что все это старик не к делу говорит, а только по-стариковски брюзжит.

Не покорился Иван соседу.

— Я,— говорит,— ему бороды не рвал, он ее сам себе выщипал, а его сын мне пельки оборвал и всю рубаху на мне. Вот она.

И поехал Иван судиться. Судились они и у мирового и у волостного. Пока судились, пропал у Гаврилы из телеги шкворень. Поклепали Гавриловы бабы этим шкворнем Иванова сына:

— Мы,— говорят,— видели, как он ночью мимо окна к телеге подходил, а кума сказывала, он в кабак заезжал, там кабашнику шкворнем набивался.

Опять стали судиться. А дома что ни день, то брань, а то и драка. И ребята бранятся, у старших научаются, и бабы на речке сойдутся, не столько вальками бьют, сколько языками стрекочут, и все назло.

Сначала клепали мужики друг на дружку, а потом и вправду, чуть что плохо лежит, стали и таскать. И так и баб и ребят приучили. И стало житье их все хуже и хуже. Судились Иван Щербаков с Гаврилой Хромым и на сходках, и в волостном, и у мирового, так что и судьям всем надокучили; то Гаврило Ивана под штраф подведет или в холодную, то Иван Гаврилу. И что больше они друг дружке пакостили, то больше злились. Собаки схватятся: что больше дерутся, то больше остервеняются. Собаку сзади бьют, а она думает, что это ее та кусает, и еще пуще зарится. Так и эти мужики: поедут судиться, их накажут, того либо другого, штрафом или арестом, и за все это у них друг на дружку сердце разгорается. «Погоди ж, мол, я тебе все это выворочу». И шло так у них дело 6 годов. Только старик на печи все одно говорил. Начнет, бывало, усовещивать:

— Что вы, ребята, делаете? Бросьте вы все счеты, дело не упускайте, а на людей не злобьтесь, лучше будет. А что больше злобитесь, то хуже.

Не слушают старика.

Зашло дело на седьмом году о том, что на свадьбе стала сноха Иванова Гаврилу при народе срамить, стала его уличать, что он с лошадьми попался. Был Гаврило пьяный, не сдержал своего сердца, ударил бабу и зашиб так, что она неделю лежала, а баба тяжелая была. Обрадовался Иван, поехал с прошением к следователю. «Теперь,— думает,— развяжусь я с соседом, не миновать ему острога или Сибири». Да опять не вышло Иваново дело. Не принял следователь прошенья; освидетельствовали бабу: баба встала, и знаков нет. Поехал Иван к мировому, и тот переслал дело в волостное. Стал Иван хлопотать

в волости, писарю со старшиной полведра сладкой пропоил и выхлопотал, что присудили высечь Гавриле спину. Прочли Гавриле на суде решенье.

Читает писарь: «Суд постановил: наказать крестьянина Гаврилу Гордеева 20-ю ударами розог при волостном правлении». Слушает и Иван решенье и глядит на Гаврилу: что от него теперь будет? Выслушал Гаврило, побелел, как полотенце, повернулся, вышел в сени. Вышел за ним Иван, хотел к лошади, да услыхал,— говорит Гаврило:

— Ладно,— говорит,— он мою спину высечет, загорится она у меня, да и у него как бы больнее чего не загорелось.

Услыхал эти слова Иван, тотчас вернулся к судьям.

— Судьи праведные! Он меня спалить грозит. Прислушайте, при свидетелях сказал.

Позвали Гаврилу.

— Правда, ты говорил?

— Я ничего не говорил. Секите, коли ваша власть есть. Видно, мне одному за мою правду страдать, а ему все можно.

Хотел еще что-то сказать Гаврило, да затряслись у него и губы и щеки. И отвернулся к стенке. Испугались даже судьи, глядя на Гаврилу. Как бы, думают, он и впрямь чего худого над соседом или над собой не сделал.

И стал старичок судья говорить:

— А вот что, братцы: сойдитесь-ка вы лучше добром. Ты, брат Гаврило, разве хорошо сделал — тяжелую бабу ударил? Ведь хорошо, бог помиловал, а то какой бы грех сделал. Разве хорошо? Ты повинись да поклонись ему. А он простит. Мы это решение перепишем.

Услыхал это писарь и говорит:

— Это нельзя, потому что на основании сто семнадцатой статьи миролюбивое соглашение не состоялось, а состоялось решение суда, и решение должно войти в силу.

Но судья не послушал писаря.

— Будет,— говорит,— язык чесать-то. Первая статья, брат, одна: бога помнить надо, а помириться бог велел.

И стал судья опять уговаривать мужиков, да не уговорил. Не стал его Гаврило слушать.

— Мне,— говорит,— без году пятьдесят, у меня сын женатый, и бит я отродясь не был, а теперь меня коно-

патый Ванька под розги привел, да я же ему поклонись! Ну, да будет... Попомнит меня и Ванька!

Задрожал опять голос у Гаврилы. Не мог больше говорить. Повернулся и вышел.

От волости до двора 10 верст было, и вернулся Иван домой поздно. Уж бабы вышли скотину встречать. Отпряг он лошадь, убрался и вошел в избу. В избе никого не было. Ребята с поля не ворочались, а бабы скотину встречали. Вошел Иван, сел на лавку и задумался. Вспомнил он, как Гавриле решенье объявили и как он побелел и к стене повернулся. И защемило ему сердце. Примерил он к себе, кабы его высечь присудили. И жалко ему стало Гаврилы. И слышит он, закашлялся старик на печи, поворочался, спустил ноги и полез с печи. Сполз старик, протащился до лавки и сел. Уморился до лавки доползть, кашлял, кашлял старик, откашлялся, оперся на стол и говорит:

— Что ж? присудили?

Иван говорит:

— Двадцать розг присудили.

Помотал головой старик.

— Худо,— говорит,— Иван, ты делаешь. Ох, худо! Не ему, себе худо делаешь. Ну, выпорют ему спину, тебе-то полегчает, что ли?

— Вперед не будет,— сказал Иван.

— Чего не будет-то? Чем он хуже тебя делает?

— Как, чего он мне сделал? — заговорил Иван. — Он бабу бы до смерти убил, да он и теперь сжечь грозится. Что ж, ему кланяться за это?

Воздохнул старик и говорит:

— По всему ты, Иван, вольному свету ходишь и ездишь, а я на печи который год лежу, ты и думаешь, что ты все видишь, а я ничего не вижу. Нет, малый, тебе ничего не видно; тебе злоба глаза замстила. Чужие-то грехи перед собой, а свои за спиной. Что сказал: он худо делает! Кабы он один худо делал, зла бы не было. Разве зло промеж людьми от одного заводится? Зло промеж двоих. Его плохоту тебе видно, а свою не видать. Кабы он один был зол, а ты бы хорош, зла бы не было. Бороду-то ему кто выдрал? Копну-то испольную кто поднял? По судам-то кто его волочил? А все на него воротишь. Сам плохо живешь, оттого и худо. Не так я, брат, жил и не тому вас учил. Мы с стариком, с отцом его, разве так

жили? Мы жили как? — по-суседски. У него мука дошла, придет баба: дядя Фрол, муки надо! — Иди, мол, молодка, в амбар, насыпай, сколько надо. — У него некого с лошадьми послать: ступай, Ванятка, сведи его лошадей. — А у меня чего нехватка, иду к нему. — Дядя Гордей, того-то, того-то надо. — Бери, дядя Фрол! — Так у нас шло. И вам житье легкое было. А теперь что? Вот намедни солдат про Плевну сказывал. Что ж, у вас теперь война хуже Плевны этой. Разве это житье? А грех-то! Ты мужик, ты хозяин в дому. С тебя спросится. Ты чему своих баб да ребят учишь? Собачиться. Намеднись Тараска — и тот, сопляк, тетку Арину костит по-матери, а мать на него смеется. Разве это добро? Ведь с тебя спросится! Ты об душе-то подумай. Разве так надо? Ты мне слово — я два, ты мне плюху — я тебе две. Нет, малый, Христос по земле ходил, не тому нас, дураков, учил. Тебе слово, а ты смолчи,— его самого совесть обличит. Вот как он нас, батюшка, учил. Тебе плюху, а ты под другую подвернись: на, мол, бей, коли я того стою. А его совесть и зазрит. Он и смирится, и тебя послухает. Так-то он нам приказывал, а не гордыбачить. Что ж молчишь? Так ли я говорю?

Молчит Иван — слушает.

Закашлялся старик, насилу отплевался, опять стал говорить:

— Ты думаешь, Христос-то нас худому учил? Ведь все для нас же, для добра. Ты об земном житье-то своем подумай: что тебе лучше али хуже стало с тех пор, как эта Плевна у вас завелась? Ты посчитай-ка, что ты провел добра на суды, что ты проездил да прохарчил? У тебя сыновья-то какие орлы поднялись, тебе бы жить да жить, да в гору идти, а у тебя достаток убывать стал. А отчего? Все оттого. От гордости от твоей. Тебе надо с ребятами в поле ехать да самому рассеять, а тебя враг к судье али к стракулисту какому гонит. Не вовремя вспашешь, не вовремя посеешь, она, матушка, и не родит. Овес-то отчего ныне не родился? Ты когда сеял? Из города приехал. А что высудил? Себе на шею. Эй, малый, ты свое дело помни: ворочай с ребятами на пашне да в дому, а обидел тебя кто, так ты по-божьи прости, и по делу-то вольготнее тебе будет, и на душе-то легость у тебя всегда будет.

Молчит Иван.

— Ты вот что, Ваня! Послушай ты меня, старика. Поди ты, запряги чалого, поезжай ты тем же следом в правление, прикрой ты там все дела и поди ты наутро к Гавриле, попростись ты с ним по-божески, да к себе позови, завтра же праздник (дело было под рождество богородицы), поставь самоварчик, полштоф возьми и развяжи ты все грехи, чтоб и вперед их не было, и бабам и детям закажи.

Вздохнул и Иван, думает: «правду старик говорит», и отошло у него вовсе сердце. Только не знает, как дело это сделать, как помириться теперь.

И начал опять старик, точно угадал.

— Поди, Ваня, не откладывай. Туши огонь в начале, а разгорится — не захватишь.

Хотел еще что-то сказать старик, да не договорил: пришли бабы в избу, защекотали, как сороки. До них уж все вести дошли: и как Гаврилу присудили розгами высечь, и как он сжечь грозился. Все узнали и своего приплели, и уж с Гавриловыми бабами на выгоне опять побраниться успели. Стали рассказывать, как им Гаврилова сноха грозилась производителем. Производитель, мол, Гаврилову руку тянет. Он теперь все дело перевернет, а учитель, мол, уж другое прошенье к самому царю на Ивана писал, и в прошении все дела прописаны: и об шкворне, и об огороде, и половина усадьбы теперь к ним перейдет. Послушал их речи Иван, и застыло у него опять сердце, и раздумал мириться с Гаврилой.

У хозяина во дворе всегда дела много. Не стал с бабами говорить Иван, а встал и пошел из избы, пошел на гумно и в сарай. Пока убрался там да вернулся во двор, уже и солнышко зашло; подъехали и ребята с поля: они яровое под зиму надвоем пахали. Встретил их Иван, порасспросил про работу, подсобил убраться, отложил хомут разорванный починить, хотел еще убрать жерди под сарай, да уж вовсе смерклось. Оставил Иван жерди до завтра, а подкинул скотине корму, отворил ворота, выпустил Тараску с лошадьми на улицу ехать в ночное и опять запер ворота, заложил подворотню. «Теперь поужинать да и спать»,— подумал Иван, захватил хомут рваный и пошел в избу. И забыл он к тому времени и про Гаврилу, и про то, что отец говорил. Только взялся

за кольцо, входит в сени, слышит — из-за плетня ругается на кого-то сосед хриплым голосом. «На кой его дьявола! — кричит на кого-то Гаврило. — Убить его стоит!» Так и всплыло у Ивана от этих слов все прежнее зло на соседа. Постоял он, послушал, покуда Гаврило ругался. Затих Гаврило, пошел и Иван в избу. Вошел он в избу, в избе засветили огонь; молодайка в углу сидит за пряхой, старуха ужинать собирает, старший сын оборки вьет на лапти, второй у стола сидит с книжкой, Тараска в ночное убирается.

В избе все хорошо, весело, кабы не зазноба эта — сосед лихой.

Вошел Иван сердитый, сбросил кошку с лавки и баб разбранил, что у них лохань не на месте. И скучно стало Ивану; сел он, нахмурился и стал хомут чинить, и не идут у него из головы Гавриловы слова, как он на суде погрозился и как сейчас прокричал хриплым голосом про кого-то: «Убить его стоит!»

Собрала старуха Тараске ужинать; поел он, надел шубенку, кафтан, подпоясался, взял хлеба и пошел на улицу к лошадям. Хотел его старший брат проводить, да Иван сам встал и вышел на крыльцо. На дворе уж вовсе темно, черно стало, наволокло и поднялся ветер. Сошел Иван с крыльца, подсадил сынишку, пугнул за ним жеребенка и постоял, посмотрел, послушал, как поехал Тараска вниз по деревне, как съехался с другими ребятами и как все они выехали из слуха вон. Постоял, постоял Иван у ворот, и не выходят у него из головы Гавриловы слова: «Как бы у тебя больнее не загорелось».

«И себя,— думает Иван,— не пожалеет. Сушь стоит, да еще ветер. Зайдет где с задов, сунет огонь, да и был таков; сожжет, злодей, да и прав останется. Вот кабы накрыть его, уж не ушел бы!» И так запала эта Ивану думка в голову, что не пошел он назад на крыльцо, а прямо сошел на улицу и за ворота, за угол. «Дай обойду двор. Кто его знает». И пошел Иван тихой ступней вдоль ворот.

Только зашел он за угол, поглядел вдоль плетня, и покажись ему, что на том углу что-то мотнулось, как будто высунулось и опять спряталось за угол. Остановился Иван и притих,— слушает и смотрит: все тихо, только ветер листочки на лозине треплет и по соломе шуршит. То было темно, хоть глаз выткни, а то пригляделись гла-

за в темноте: и видит Иван весь угол, и соху, и застреху. Постоял он, посмотрел: «Нет никого».

«Видно, померещилось,— подумал Иван,— а все-таки обойду»,— и пошел крадучись вдоль сарая. Ступает Иван тихо, в лаптях, так что и сам своих шагов не слышит. Дошел до угла — глядь, на том конце что-то блеснуло у сохи и опять скрылось. Так и ударило Ивана в сердце, и остановился он. Только остановился он, на том же месте вспыхнуло ярче, и явственно видно — сидит на корточках к нему спиной человек в шапке и соломы пучок в руках разжигает. Забилось у Ивана сердце в груди, как птица, и напружился он весь и зашагал большими шагами. Сам под собой ног не слышит. «Ну,— думает,— теперь не уйдет, на месте захвачу!»

Не дошел Иван еще двух прогалков, как вдруг засветилось ярко-ярко, да уж не на том месте и не маленький огонек, а полымем вспыхнула солома под застрехой и на крышу несет, и Гаврило стоит, и всего его видно.

Как ястреб на жаворонка, бросился Иван на Хромого. «Скручу,— думает,— не уйдет теперь!» Да услыхал, видно, Хромой шаги, оглянулся и, откуда прыть взялась, заковылял, как заяц, вдоль сарая.

— Не уйдешь! — закричал Иван и налетел на него. Только он хотел ухватить его за шиворот, вывернулся у него из-под рук Гаврило, поймал его Иван за полу. Пола оборвалась, и упал Иван. Вскочил Иван: «Караул! держи!» — и побежал опять.

Пока он поднимался, Гаврило уже был у своего двора, но и тут Иван настиг его. И только хотел сцапать, как вдруг оглоушило его что-то по голове, как камнем ударило по темени: это Гаврило у двора поднял дубовый кол и, когда Иван подбегал к нему, со всего маху ударил его в голову.

Очумел Иван, посыпались у него искры из глаз, потом потемнело, и зашатался он. Когда он опомнился, Гаврилы не было; было светло, как днем, и со стороны его двора, как машина шла, гудело и трещало что-то. Иван повернулся и увидал, что задний сарай его полыхал весь, боковой сарай захватило, и огонь, и дым, и оскретки соломы с дымом гнало на избу.

— Что ж это, братцы! — вскрикнул Иван, поднял руки и хлопнул ими себя по ляжкам. — Ведь мне бы только

выдернуть из застрехи да затоптать! Что ж это, братцы! — повторил он.

Хотел закричать — дух захватило, голоса не было. Хотел бежать — ноги не двигались, одна за другую цеплялась. Пошел шагом — зашатался, опять дух захватило. Постоял, отдышался, опять пошел. Покуда он обошел сарай и дошел до пожара, боковой сарай весь полыхал, захватило уже и угол избы, и ворота, и из избы валил огонь, и ходу во двор не было. Народу сбежалось много, но делать нечего было. Соседи вытаскивали свое и сгоняли с дворов свою скотину. После Иванова занялся Гаврилин двор, поднялся ветер, перекинуло через улицу. Снесло половину деревни.

У Ивана только вытащили старика, да сами повыскочили в чем были, а то все осталось; кроме лошадей в ночном, вся скотина сгорела, куры погорели на насестях, телеги, сохи, бороны, бабьи сундуки, хлеб в закромах, все сгорело.

У Гаврилы скотину выгнали и кое-что повытаскали.

Горело долго, всю ночь. Иван стоял около своего двора, смотрел и только все приговаривал: «Что ж это, братцы! только бы выхватить да затоптать». Но когда завалился потолок в избе, он полез в самый жар, ухватил обгорелое бревно и потащил его из огня. Бабы увидали его и стали звать назад, но он вытащил бревно и полез за другим, да пошатнулся и упал на огонь. Тогда сын полез за ним и вытащил его. Опалил себе Иван и бороду и волосы, прожег платье и испортил руку, и ничего не чуял. «Это он с горя одурел»,— говорил народ. Стал пожар утихать, а Иван все стоял и только приговаривал: «Братцы, что ж это! только бы выхватить». К утру прислал за Иваном староста сына.

— Дядя Иван, твой родитель помирает, велел тебя звать проститься.

Забыл Иван и про отца и не понял, что ему говорят.

— Какой, — говорит,— родитель? Кого звать?

— Велел тебя звать — проститься, он у нас в избе помирает. Пойдем, дядя Иван,— сказал старостин сын и потянул его за руку. Иван пошел за старостиным сыном.

Старика, когда выносили, окинуло соломой с огнем и обожгло. Его снесли к старосте на дальнюю слободу. Слобода эта не сгорела.

Когда Иван пришел к отцу, в избе была только одна старушка старостина и ребята на печке. Все были на пожаре. Старик лежал на лавке с свечкой в руке и косился на дверь. Когда сын вошел, он зашевелился. Старуха подошла к нему и сказала, что пришел сын. Он велел позвать его ближе. Иван подошел, и тогда старик заговорил.

— Что, Ванятка,— сказал он,— говорил я тебе. Кто сжег деревню?

— Он, батюшка,— сказал Иван,— он, я и застал его. При мне он и огонь в крышу сунул. Мне бы только выхватить клок соломы с огнем да затоптать, и ничего бы не было.

— Иван,— сказал старик. — Моя смерть пришла, и ты помирать будешь. Чей грех?

Иван уставился на отца и молчал, ничего не мог выговорить.

— Перед богом говори: чей грех? Что я тебе говорил?

Тут только очнулся Иван и все понял. И засопел он носом и сказал:

— Мой, батюшка! — И пал на колени перед отцом, заплакал и сказал: —Прости меня, батюшка, виноват я перед тобой и перед богом.

Старик подвигал руками, перехватил в левую руку свечку и потащил правую ко лбу, хотел перекреститься, да не дотащил и остановился.

— Слава тебе, господи! Слава тебе, господи! — сказал он и скосил глаза опять на сына.

— Ванька! а Ванька!

— Что, батюшка?

— Что ж надо делать теперь?

Иван все плакал.

— Не знаю, батюшка,— сказал он. — Как теперь и жить, батюшка?

Закрыл глаза старик, помулявил губами, как будто с силами собирался, и опять открыл глаза и сказал:

— Проживете. С богом жить будете — проживете.

Помолчал еще старик, ухмыльнулся и сказал:

— Смотри ж, Ваня, не сказывай, кто зажег. Чужой грех покрой. Бог два простит.

И взял старик свечку в обе руки, сложил их под сердцем, вздохнул, потянулся и помер.

Иван не сказал на Гаврилу, — и никто и не узнал, от чего был пожар.

И сошло у Ивана сердце на Гаврилу, и дивился Гаврило Ивану, что Иван на него никому не сказал. Сначала боялся его Гаврило, а потом и привык. Перестали ссориться мужики, перестали и семейные. Пока строились, жили обе семьи в одном дворе, а когда отстроилась деревня и дворы разместили шире, Иван с Гаврилой остались опять соседями, в одном гнезде.

И жили Иван с Гаврилой по-соседски, так же, как жили старики. И помнит Иван Щербаков наказ старика и божье указанье, что тушить огонь надо в начале.

И если ему кто худое сделает, поровит не другому за то выместить, а поровит, как дело поправить; а если ему кто худое слово скажет, норовит не то что еще злее ответить, а как бы того научить, чтобы не говорить худого; и так и баб и ребят своих учит. И поправился Иван Щербаков и стал жить лучше прежнего.

ДВА СТАРИКА

Иоан. IV, 19. — Женщина говорит ему: господи! вижу, что ты пророк.

20. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме.

21. Иисус говорит ей: поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу.

22. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев.

23. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и истине; ибо таких поклонников отец ищет себе.

I

Собрались два старика богу молиться в старый Иерусалим. Один был богатый мужик, звали его Ефим Тарасыч Шевелев. Другой был небогатый человек Елисей Бодров.

Ефим был мужик степенный, водки не пил, табаку не курил и не нюхал, черным словом весь век не ругался, и человек был строгий и твердый. Два срока проходил Ефим Тарасыч в старостах и высадился без начета. Семья у него была большая: два сына и внук женатый, и все жили вместе. Из себя он был мужик здоровый, бородастый и прямой, и на седьмом десятке только стала седина в бороде пробивать. Елисей был старичок ни богатый, ни бедный, хаживал прежде по плотничной ра-

боте, а под старость стал дома жить и водил пчел. Один сын в добычу ходил, другой — дома. Человек был Елисей добродушный и веселый. Пивал и водку, и табак нюхал, и любил песни петь, но человек был смирный, с домашними и с соседями жил дружно. Из себя Елисей был мужичок невысокий, черноватенький, с курчавой бородкой и, по своему святому — Елисею-пророку, с лысиной во всю голову.

Давно пообещались старики и сговорились вместе идти, да все Тарасычу недосуг было: не перемежались у него дела. Только одно кончается, другое затевается: то внука женит, то из солдатства сына меньшого поджидает, а то избу затеял новую класть.

Сошлись раз старики праздником, сели на бревнах.

— Что ж,— говорит Елисей,— когда оброк отбывать пойдем?

Поморщился Ефим.

— Да погодить,— говорит,— надо, год нынче мне трудный вышел. Затеял я эту избу класть, думал, что-нибудь на сотню накину, а она уж в третью лезет. И то все не довел. Видно, уж до лета. На лето, коли бог даст, беспременно пойдем.

— На мой разум,— говорит Елисей,— откладывать нечего, идти надо нынче. Самое время — весна.

— Время-то время, да дело расчато, как его бросить?

— Разве у тебя некому? Сын дела поделает.

— Как поделает-то! Большак-то у меня не надежен — зашибает.

— Помрем, кум, будут жить и без нас. Надо и сыну поучиться.

— Так-то так, да все хочется при своем глазе дело свершить.

— Эх, милый человек! Дел всех никогда не переверпишь. Вот намеднись у меня бабы к празднику моют, убираются. И то надо и другое, всех дел не захватят. Старшая сноха, баба умная, и говорит: «Спасибо, говорит, праздник приходит, нас не дожидается, а то, говорит, сколько б ни делали, всего бы не переделали».

Задумался Тарасыч.

— Денег,— говорит,— много извел я в эту постройку; а в поход тоже не с пустыми руками идти. Деньги немалые — 100 рублей.

Засмеялся Елисей.

— Не греши,— говорит,— кум. Твой достаток против моего в десять раз, а ты про деньги толкуешь. Только скажи, когда выходить — у меня и нет, да будут.

Ухмыльнулся и Тарасыч.

— Вишь, богач какой объявился,— говорит,— где же возьмешь-то?

— Да дома поскребу — наберу сколько-нибудь; а чего не хватит — ульев с десяток с выставки соседу отдам. Давно уж просит.

— Роевщина хорошая будет, тужить будешь.

— Тужить?! Нет, кум! В жизнь ни о чем, кроме о грехах, не тужил. Дороже души ничего нет.

— Оно так, да все неладно, как по дому неуправка.

— А как у нас по душе-то неуправка будет, тогда хуже. А обреклись — пойдем! Право, пойдем.

II

И уговорил Елисей товарища. Подумал, подумал Ефим, наутро приходит к Елисею.

— Что ж, пойдем,— говорит,— правду ты говоришь. В смерти да в животе бог волен. Пока живы да силы есть, идти надо.

Через недельку собрались старики.

У Тарасыча были деньги дома. Взял он себе 100 рублей на дорогу, 200 рублей старухе оставил.

Собрался и Елисей; продал соседу 10 ульев с выставки, и приплод, сколько будет от 10 колодок, тоже соседу. Взял за все 70 рублей. Остальные 30 рублей по дому под метелочку у всех обобрал. Старуха свои последние отдала, на похоронки берегла; сноха свои дала.

Приказал Ефим Тарасыч все дела старшему сыну: и где сколько покосов взять, и куда навоз вывезти, и как избу выделать и покрыть. Всякое дело обдумал — все приказал. А Елисей только наказал старухе, чтоб от проданных ульев молодых особо сажать и соседу без обмана отдать, а про домашние дела и говорить не стал: само дело, мол, покажет, что и как делать надо. Сами хозяева, для себя сделаете, как лучше.

Собрались старики. Напекли домашних лепешек, пошили сумки, отрезали онуч новых, обули бахилки новые, взяли запасных лаптей и пошли. Проводили домашние их за околицу, распрощались, и пошли старики в путь-дорогу.

Вышел Елисей с веселым духом и как отошел от деревни, так все дела свои забыл. Только и думки у него, как бы дорогой товарищу угодить, как бы кому грубого слова не сказать, как бы в мире и любви до места дойти и домой вернуться. Идет Елисей дорогой и все сам про себя либо молитву шепчет, либо жития, какие знает, на память твердит. А сойдется на пути с человеком или на ночлег придет, со всяким норовит как бы поласковее обойтись да по-божьи слово сказать. Идет — радуется. Одного дела не мог сделать Елисей. Хотел бросить табак нюхать и тавлинку дома оставил, да скучно стало. Дорогой дал ему человек. И нет-нет, отстанет от товарища, чтоб его в грех не вводить, и понюхает.

Идет и Ефим Тарасыч хорошо, твердо, худого не делает и пустого не говорит, да нет у него легости на душе. Не выходит у него из головы забота про домашнее. Все поминает, что дома делается. Не забыл ли чего сыну приказать и так ли сын делает? Увидит по дороге — картофель садят или навоз везут, и думает: так ли по приказу его сын делает. Так бы, кажется, вернулся и все бы показал и сам сделал.

III

Шли пять недель старики, домашние лапти избили, уж новые покупать стали и пришли в хохлатчину. От дома шли, за ночлег и за обед платили, а пришли к хохлам, стали их наперебой к себе люди зазывать. И пустят, и покормят, и денег не берут, а еще на дорогу в сумки им хлеба, а то и лепешек накладут. Прошли так вольно старики сот семь; прошли еще губернию и пришли в неурожайное место. Пускать пускали и денег за ночлег не брали, а кормить перестали. И хлеба не везде давали, другой раз и за деньги не добьются. Прошлый год, рассказывал народ, не родилось ничего. Которые богаты были, разорились, все распродали; которые средственно жили — на нет сошли; а бедняки — так или уехали сов-

сем, или по миру ходят, или дома кое-как перебиваются. Зимой мякину или лебеду ели.

Ночевали раз старики в местечке, купили хлеба фунтов 15, переночевали и вышли до зорьки, чтоб подальше до жару уйти. Прошли верст 10 и дошли до речки, сели, зачерпнули воды в чашку, помочили хлебца, поели и переобулись. Посидели, отдохнули. Достал Елисей рожок. Покачал на него головой Ефим Тарасыч.

— Как,— говорит,— такую пакость не бросить!

Махнул рукой Елисей.

— Пересилил,— говорит,— меня грех, что сделаешь!

Поднялись, пошли дальше. Прошли еще верст десяток. Пришли в большое село, прошли все насквозь. И уж жарко стало. Уморился Елисей, захотелось ему и отдохнуть и напиться, да не останавливается Тарасыч. Тарасыч в ходьбе крепче был, и трудненько было Елисею за ним тянуться.

— Напиться бы,— говорит.

— Что ж, напейся. Я не хочу.

Остановился Елисей.

— Ты,— говорит,— не жди, я только забегу вон в хатку, напьюсь. Живой рукой догоню.

— Ладно,— говорит. И пошел Ефим Тарасыч один вперед по дороге, а Елисей повернул к хатке.

Подошел Елисей к хатке. Хатка небольшая, мазаная; низ черный, верх белый, да облупилась уж глина, давно, видно, не мазана, и крыша с одного бока раскрыта. Ход в хатку со двора. Вошел Елисей на двор; видит — у завалинки человек лежит безбородый, худой, рубаха в портки — по-хохлацки. Человек, видно, лег в холодок, да солнце вышло прямо на него. А он лежит и не спит. Окликнул его Елисей, спросил напиться — не отозвался человек. «Либо хворый, либо неласковый»,— подумал Елисей и подошел к двери. Слышит — в хате дитя плачет. Постучал Елисей кольцом. «Хозяева!» Не откликаются. Постучал еще посошком в дверь. «Крещеные!» Не шевелятся. «Рабы божии!» Не отзываются. Хотел Елисей уж и прочь идти, да слышит — из-за двери ровно охает кто-то. «Уж не беда ли какая-нибудь с людьми? Поглядеть надо!» И пошел Елисей в хату.

Повернул Елисей кольцо — не заперто. Отложил дверь, прошел через сенцы. Дверь в хату отперта. Налево печь; прямо передний угол; в углу божница, стол; за столом — лавка; на лавке в одной рубахе старуха простоволосая сидит, голову на стол положила, а подле ней мальчишка худой, как восковой весь, а брюхо толстое, старуху за рукав дергает, а сам ревмя ревет, чего-то просит. Вошел Елисей в хату. В хате дух тяжелый. Смотрит — за печью на кровати женщина лежит. Лежит ничком и не глядит, только хрипит и ногу то вытянет, то подтянет. И швыряет ее с боку на бок, и от нее-то дух тяжкий,— видно, под себя ходит и убрать ее некому. Подняла голову старуха, увидала человека.

— Чого,— говорит,— тобі треба? чого треба? Нема, чоловіче, нічого.

Понял Елисей, что она говорит, подошел к ней.

— Я,— говорит,— раба божия, напиться зашел.

— Нема, кажу, нема. Нема чего й взяти. Іди собі.

Стал Елисей спрашивать: «Что ж, и здорового у вас али никого нет женщину убрать?»

— Та нема нікого; чоловік на дворі помира, а ми туточки.

Замолчал было мальчик — чужого увидал, да как заговорила старуха, опять ухватил ее за рукав: «Хліба, бабусю! хліба»,— и опять заплакал.

Только хотел спросить Елисей старуху, ввалился мужик в хату, прошел по стенке и хотел на лавку сесть, да не дошел и повалился в угол у порога. И не стал подыматься, стал говорить. По одному слову отрывает, скажет — отдышится, другое скажет.

— І болість,— говорит,— напала, голодні. Ось з голоду помирають! — показал мужик головой на мальчика и заплакал.

Встряхнул Елисей сумку за плечами, выпростал руки, скинул сумку наземь, потом поднял на лавку и стал развязывать. Развязал, достал хлеб, ножик, отрезал ломоть, подал мужику. Не взял мужик, а показал на мальчика и на девочку,— им, мол, дай. Подал Елисей мальчику Почуял мальчик хлеб, потянулся, ухватил ломоть обеими ручонками, с носом в ломоть ушел. Вылезла из-за печки еще девочка, уставилась на хлеб. Подал и ей Елисей

Отрезал еще кусок и старухе дал. Взяла и старуха, стала жевать.

— Воды бы,— говорит,— принести, уста запеклись. Хотела,— говорит,— я — вчера ли, сегодня, уж и не помню — принести, упала, не дошла, и ведро там осталось, коли не взял кто.

Спросил Елисей, где колодезь у них. Растолковала старуха. Пошел Елисей, нашел ведро, принес воды, напоил людей. Поели ребята еще хлеба с водой, и старуха поела, а мужик не стал есть. «Не принимает, говорит, душа». Баба — та вовсе не поднималась и в себя не приходила, только металась на кровати. Пошел Елисей на село в лавку, купил пшена, соли, муки, масла. Разыскал топоришко, нарубил дров, стал печку топить. Стала ему девочка помогать. Сварил Елисей похлебку и кашу, накормил людей.

V

Поел мужик немножко, и старуха поела, а девочка с малышком и чашку всю вылизали и завалились обнявшись спать.

Стали мужик с старухой рассказывать, как все это с ними сталось.

— Жили мы,— говорят,— и допрежь того небогато, а тут не родилось ничего, стали с осени проедать, что было. Проели все — стали у соседей и добрых людей просить. Сперва давали, а потом отказывать стали. Которые бы и рады дать, да нечего. Да и просить-то совестно стало: всем должны — и деньгами, и мукой, и хлебом. Искал,— говорит мужик,— я себе работы — работы нет. Народ везде из-за корму в работу набивается. День поработаешь, да два так ходишь — работы ищешь. Стали старуха с девчонкой ходить в даль побираться. Подаяние плохое, ни у кого хлеба нет. Все-таки кормились кое-как, думали — пробьемся так до новины. Да с весны совсем подавать перестали, а тут и болезнь напала. Пришло совсем плохо. День едим, а два нет. Стали траву есть. Да с травы ли, али так, напала на бабу болезнь. Слегла баба, и у меня,— говорит мужик,— силы нет. И поправиться не с чего.

— Одна я,— говорит старуха,— билась, да из сил выбилась без еды и ослабла. Ослабла и девчонка, да и за-

робела. Посылали ее к соседям — не пошла. Забилась в угол и нейдет. Заходила соседка позавчера, да увидала, что голодные да больные, повернулась, да и ушла. У ней у самой муж ушел, а малых детей кормить нечем. Так вот и лежали — смерти ждали.

Отслушал их речи Елисей, да и раздумал в тот же день идти догонять товарища и заночевал тут. Наутро встал Елисей, взялся по дому за работу, как будто сам он и хозяин. Замесил с старухой хлеба, истопил печку. Пошел с девчонкой по соседям добывать, что нужно. Чего ни хватится — ничего нет, все проедено: ни по хозяйству, ни из одежи. И стал Елисей припасать то, что нужно: что сам сделает, а что купит. Пробыл так Елисей один день, пробыл другой, пробыл и третий. Справился малышок, ходить стал по лавке, к Елисею ластится. А девочка совсем повеселела, во всех делах помогает. Все за Елисеем бегает: «Діду! дідусю!» Поднялась и старуха, к соседочке прошла. Стал и мужик по стенке ходить. Лежала только баба, да и та на третий день очнулась и стала есть просить. «Ну,— думает Елисей,— не чаял я столько времени прогулять, теперь пойду».

VI

На четвертый день подошли розговены, и думает Елисей: «Дай уж разговеюсь с людьми, куплю им коечего для праздника, а на вечер и пойду». Пошел Елисей опять на село, купил молока, муки белой, сала. Наварили, напекли они с старухой, а наутро сходил Елисей к обедне, пришел, разговелся с людьми. Встала в этот день и баба, стала бродить. А мужик побрился, чистую рубаху надел — старуха выстирала,— пошел на село к богатому мужику милости просить. Заложены были богатому мужику и покос и пашня,— так пошел просить, не отдаст ли покоса и пашни до новины. Вернулся к вечеру хозяин скучный и заплакал. Не помиловал богатый мужик, говорит: «Принеси деньги».

Задумался опять Елисей. «Как им,— думает,— теперь жить? Люди косить пойдут, им нечего: покос заложен. Поспеет рожь — люди убирать примутся (да и родилась же она хорошо, матушка!), а им и приждать нечего: продана у них десятина ихняя богатому мужику. Уйду

я, они опять так же собьются». И разбился Елисей мыслями и не пошел с вечера — отложил до утра. Пошел спать на двор. Помолился, лег и не может заснуть: и идти-то надо — уж и так и денег и времени много провел, и людей жалко. «Всех, видно, не оделишь. Хотел им водицы принести да хлебца по ломтю подать, а она, вишь, куда хватила. Теперь уж — покос да пашню выкупи. А пашню выкупи,— корову ребятам купи да лошадь мужику снопы возить. Видно, запутлялся ты, брат Елисей Кузьмич. Разъякорился, и толков не найдешь!» Поднялся Елисей, взял кафтан из-под головы, развернул, достал рожок, понюхал, думал мысли прочистить, ан нет: думал, думал, ничего не придумал. И идти надо, и людей жалко. А как быть, не знает. Свернул кафтан под голову и опять лег. Лежал, лежал, уж и петухи пропели, и совсем засыпать стал. Вдруг ровно разбудил его кто. Видит он, будто одет он совсем, и с сумкой и с посохом, и надо ему в ворота пройти, а отложены ворота, только чтоб пролезть одному. И идет он в ворота и зацепил с одной стороны сумкой; хотел отцепить, зацепился с другой стороны онучей, и онуча развязалась. Стал отцеплять, ан зацепился не за плетень, а это девчонка держит, кричит: «Діду, дідуся, хліба!» Поглядел на ногу, а за онучу малышок держит, из окна старуха и мужик глядят. Проснулся Елисей, заговорил с собой в голос. «Выкуплю,— говорит,— завтра пашню и покос, и лошадь куплю и муки до новины, и корову ребятам куплю. А то пойдешь за морем Христа искать, а в самом себе потеряешь. Надо справить людей!» И заснул Елисей до утра. Проснулся Елисей рано. Пошел к богатому мужику — рожь выкупил, отдал деньги и за покос. Купил косу,— и та продана была,— принес домой. Послал мужика косить, а сам пошел по мужикам: отыскал у кабачника продажную лошадь с телегой. Сторговался, купил, купил и муки мешок, на телегу положил и пошел корову покупать. Идет Елисей и нагоняет двух хохлушек. Идут бабы, промеж себя балакают. И слышит Елисей, что говорят бабы по-своему, а разбирает, что про него говорят.

— Бач, оце його значала не пізнали, така думка: простий чоловік. Зайшов, кажуть, напиться, та і там і зажив. Чого, чого не накупав він ім. Сама бачила, як свого дні у шинкаря коняку з возом купив. Ні мабуть таки э люди на світі. Треба піти подивиться.

Услыхал это Елисей, понял, что его хвалят, и не пошел корову покупать. Вернулся к кабачнику, отдал деньги за лошадь. Запряг и поехал с мукой к хате. Подъехал к воротам, остановился и слез с телеги. Увидали хозяева лошадь — подивились. И думается им, что для них он лошадь купил, да не смеют сказать. Вышел хозяин, отворил ворота.

— Откуда,— говорит,— конь у тебя, дедушка?

— А купил,— говорит.— Дешево попалась. Накоси, мол, в ящик травки ей на ночь положить. Да и мешок сними.

Отпряг хозяин лошадь, снес мешок в амбар, накосил беремя травы, положил в ящик. Легли спать. Елисей лег на улице и туда с вечера свою сумку вынес. Заснул весь народ. Поднялся Елисей, увязал сумку, обулся, одел кафтан и пошел в путь за Ефимом.

VII

Отошел Елисей верст 5. Стало светать. Сел он под дерево, развязал сумку, стал считать. Сосчитал, осталось денег 17 р. 20 копеек. «Ну,— думает,— с этим за море не переедешь! А Христовым именем собирать — как бы греха больше не было. Кум Ефим и один дойдет, за меня свечку поставит. А на мне, видно, оброк до смерти останется. Спасибо, хозяин милостивый — потерпит».

Поднялся Елисей, встряхнул сумой за плечами и пошел назад. Только село то обошел кругом, чтоб его люди не видали. И домой скоро дошел Елисей. Туда шел — трудно казалось, через силу другой раз тянулся за Ефимом; а назад пошел, так ему бог дал, что идет и устали не знает. Идет играючи, посошком помахивает, по 70 верст в день уходит.

Пришел Елисей домой. Уж с поля убрались. Обрадовались домашние своему старику, стали расспрашивать: как и что, отчего от товарища отстал, отчего не дошел, домой вернулся? Не стал рассказывать Елисей.

— Да не привел,— говорит,— бог; растерял дорогой деньги и отстал от товарища. Так и не пошел. Простите ради Христа.

И отдал старухе остальные деньги. Расспросил Елисей про домашние дела: все хорошо, все дела переделали,

упущенья в хозяйстве нет, и живут все в мире и согласии.

Услыхали тем же днем и Ефимовы, что вернулся Елисей, пришли спрашивать про своего старика. И им то же сказал Елисей.

— Ваш,— говорит,— старик здорово пошел, разошлись мы,— говорит,— за три дня до Петрова дни; хотел я было догонять, да тут такие дела подошли: растерял я деньги и не с чем стало идти, так и вернулся.

Подивился народ: как так человек умный да так глупо сделал,— пошел и не дошел, только деньги провел? Подивились и забыли. И Елисей забыл. Взялся за работу по дому: заготовил с сыном дров на зиму, обмолотил с бабами хлеб, прикрыл сараи, убрал пчел, отдал 10 колодок пчел с приплодом соседу. Хотела его старуха утаить, сколько от проданных колодок отроилось, да Елисей сам знал, какие холостые, какие роились, и соседу вместо десяти семнадцать отдал. Убрался Елисей, услал сына на заработки, а сам засел на зиму лапти плести и колодки долбить.

VIII

Весь тот день, как остался Елисей в хате у больных людей, ждал Ефим товарища. Отошел он недалеко и сел. Ждал, ждал, соснул, проснулся, еще посидел — нет товарища. Все глаза проглядел. Уж солнце за дерево зашло,— нет Елисея. «Уж не прошел ли,— думает,— мимо меня, или не проехал ли (подвез кто), не приметил меня, пока я спал. Да нельзя же не видать ему. В степи далеко видно. Пойти назад,— думает,— а он вперед уйдет. Расстряпемся с ним, еще того хуже. Пойду вперед, на ночлеге сойдемся». Пришел в деревню, попросил десятского, чтобы, если придет такой старичок, отвести его в ту же хату. Не пришел на ночлег Елисей. Пошел дальше Ефим, спрашивал всех: не видали ли старичка лысенького? Никто не видал. Подивился Ефим и пошел один. «Сойдемся,— думает,— где-нибудь в Одессе и на корабле», — и перестал думать.

Сошелся дорогой с странником. Странник в скуфье, в подряснике и с длинными волосами, был и на Афоне и в другой раз идет в Иерусалим. Сошлись на ночлеге, разговорились и пошли вместе.

Дошли до Одессы хорошо. Трое суток прождали корабля. Богомольцев много дожидалось. Были с разных сторон. Опять порасспросил Ефим про Елисея — никто не видал.

Выправил Ефим билет заграничный — 5 рублей стало. Отдал 40 целковых за проезд туда и обратно, закупил хлеба, селедок на дорогу. Погрузили корабль, перевезли богомольцев, сел и Тарасыч с странником. Подняли якоря, отчалили, поплыли морем. День хорошо плыли; к вечеру поднялся ветер, пошел дождь, стало качать и корабль заливать. Взметался народ, стали бабы голосить, и из мужчин, которые послабее, стали по кораблю бегать, места искать. Нашел и на Ефима страх, только виду не показал: как где сел с прихода на полу, рядом с тамбовскими стариками, так и сидел всю ночь и день другой весь; только свои сумки держали и ничего не говорили. Затихло на третий день. На пятый день пристали к Царьграду. Которые странники высаживались на берег, ходили смотреть храм Софии-Премудрости, где теперь турки владеют; Тарасыч не высаживался, на корабле просидел. Только булки белой купил. Простояли сутки, опять поплыли морем. Останавливались еще у Смирны-города, у другого города Александрии и доплыли благополучно до Яфы-города. В Яфе высадка всем богомольцам: 70 верст пешеходу до Иерусалима. Тоже при высадке набрался страху народ: корабль высокий и с корабля вниз на лодки народ кидают, а лодку качает, того и гляди, не угодит в лодку, а мимо; человек двух замочило, а высадились все благополучно. Высадились, пошли пеши; на третий день к обеду дошли до Иерусалима. Стали за городом, на Русском подворье, билеты прописали, пообедали, пошли с странником по святыням. К самому гробу господню еще впуску не было. Пошли в патриарший монастырь, собрали туда всех поклонников, посадили женский пол и мужской пол особо. Велели разуться и сесть кругом. Вышел монах с полотенцем и стал всем ноги умывать; умоет, утрет и поцелует, и так всех обошел. Ефиму ноги обтер и поцеловал. Отстояли вечерню, заутреню, помолились, свечи поставили и подали поминанья за родителей. Тут и покормили и вино подносили. Наутро пошли в келью Марии Египетской, где она спасалась. Поставили свечи, молебен отслужили. Оттуда в Авраамов монастырь ходили. Видели Савеков сад — место, где Авраам сына заколоть

хотел богу. Потом ходили на то место, где Христос явился Марии Магдалине, и в церковь Якова, брата господня. Все места показывал странник и везде сказывал, сколько где денег подавать надо. К обеду вернулись на подворье, поели. И только стали укладываться спать, взахался странник, стал свою одежу перебирать — шарить.

— Вытащили,— говорит,— у меня портмонет с деньгами, двадцать три рубля,— говорит,— было: две десятирублевые и три мелочью.

Потужил, потужил странник, делать нечего — легли спать.

IX

Лег Ефим спать, и напало на него искушенье. «Не вытаскивали,— думает,— у странника денег; у него, думается, их не было. Нигде он не подавал. Мне приказывал подавать, а сам не давал, да и у меня рубль взял».

Подумает так Ефим и начнет сам себя укорять: «Что,— говорит,— мне человека судить, грешу я. Не стану думать». Только забудется, опять станет поминать, как странник на деньги приметлив и как он непохоже говорит, что у него портмонет вытащили. «И не было,— думает,— у него денег. Один отвод».

Наутро встали и пошли к ранней обедне в большой храм Воскресенья — к гробу господню. Не отстает странник от Ефима, с ним вместе идет.

Пришли к храму. Народу — странников-богомольцев, и русских, и всяких народов, и греков, и армян, и турок, и сириян — собралось много. Пришел Ефим в Святые ворота с народом. Повел их монах. Провел их мимо стражи турецкой к тому месту, где снят с креста спаситель и помазан и где 9 подсвечников больших горят. Все показывал и рассказывал. Поставил там свечку Ефим. Потом повели монахи Ефима на правую руку вверх по ступенькам на Голгофу, на то место, где крест стоял; там помолился Ефим. Потом показали Ефиму скважину, где земля до преисподней проселась; потом показывали то место, где прибивали руки и ноги Христа к кресту гвоздями; потом показали гроб Адама, где кровь Христа лилась на кости его. Потом пришли к камню, где сидел Христос, когда надевали на него терновый венец; потом — к столбу, к которому привязывали Христа, когда били его,

Потом видел Ефим камень с двумя дырами для ног Христа. Хотели еще что-то показать, да заторопился народ: заспешили все к самой пещере гроба господня. Отошла там чужая, началась православная обедня. Пошел Ефим с народом к пещере.

Хотел он отбиться от странника — все в мыслях грешит он на странника,— да не отстает от него странник, с ним вместе и к обедне ко гробу господню пошел. Хотели они поближе стать, не поспели. Стеснился народ так, что ни вперед, ни назад продора нет. Стоит Ефим, смотрит вперед, молится, а нет-нет и ощупает, тут ли кошель. Двоится у него в мыслях: первое думает — обманывает его странник; второе думает — коли не обманул, а вправду вытащили, так как бы и со мной того же не было.

X

Стоит так Ефим, молится и смотрит вперед, в часовню, где самый гроб и над гробом 36 лампад горят. Стоит Ефим, через головы смотрит, что за чудо! Под самыми лампадами, где благодатный огонь горит, впереди всех, видит, стоит старичок в кафтане сермяжном, блестит лысина во всю голову, как у Елисея Бодрова. «Похож,— думает,— на Елисея. Да нельзя же ему быть! Нельзя ему прежде меня поспеть. Корабль до нас за неделю отходил. Нельзя ему было упредить. А на нашем корабле не было. Я всех богомольцев видел».

Только подумал так Ефим, стал молиться старичок и поклонился три раза: раз наперед богу, а потом миру православному на обе стороны. И как повернул голову старичок на правую сторону, так и признал его Ефим. Самый он, Бодров, и есть — и борода черноватая, курчавая, и проседь на щеках, и брови, и глаза, и нос, и все обличье его. Самый он, Елисей Бодров.

Обрадовался Ефим, что товарища нашел, и подивился, как так Елисей наперед его поспел.

— Ай да Бодров,— думает,— куда наперед пролез! Видно, с человеком таким сошелся, что провел его. Дай на выходе найду его, своего странника в скуфье брошу и с ним стану ходить, авось и он меня проведет наперед.

И все смотрел Ефим, как бы не упустить ему Елисея. Да отошли обедни, зашатался народ, пошли

прикладываться, затеснились, отдавили в сторону Ефима. Опять напал на него страх, как бы, думает, кошель не вытащили? Прижал рукой кошель Ефим и стал продираться, только бы на простор выбраться. Выбрался на простор, ходил-ходил, искал-искал Елисея тут и в храме. Тут же в храме по кельям всякого народа много видел: которые тут же и едят, и пьют вино, и спят, и читают. И нет нигде Елисея. Вернулся Ефим на подворье,— не нашел товарища. В этот вечер странник не приходил. Пропал, и рубля не отдал. Остался Ефим один.

На другой день пошел опять Ефим к гробу господню с тамбовским стариком, на корабле с ним ехал. Хотел пролезть наперед, да опять отдавили его, и стал он у столба и молится. Поглядел наперед,— опять под лампадами у самого гроба господня на переднем месте стоит Елисей, руки развел, как священник у алтаря, и блестит лысина во всю голову. «Ну,— думает Ефим,— теперь уж не упущу его». Полез продираться наперед. Продрался — нет Елисея. Видно, ушел. И на третий день опять у гроба господня смотрит — в самом святом месте стоит Елисей на самом на виду, руки развел и глядит кверху, точно видит что над собой. И светится его лысина во всю голову. «Ну,— думает Ефим,— теперь уж не упущу его, пойду к выходу стану. Там уж не разминемся». Вышел Ефим, стоял-стоял, полден простоял: весь народ прошел — нет Елисея.

Пробыл шесть недель Ефим в Иерусалиме и побывал везде: и в Вифлееме, и в Вифании, и на Иордане, и на новую рубаху печать у гроба господня наложил, чтобы похорониться в ней, и воды из Иордана в стклянку взял, и земли и свечей с благодатным огнем взял, и в восьми местах поминанья записал, извел все деньги, только бы домой дойти. И пошел Ефим назад к дому. Дошел до Яфы, сел на корабль, приплыл в Одессу и пошел пешеходом домой.

XI

Едет Ефим один тем же путем. Стал к дому приближаться, опять напала на него забота, как без него дома живут. «В год,— думает,— воды много утечет. Дом целый век собираешь, а разорить дом недолго. Как-то без него

сын дела повел, как весна вскрылась, как скотина перезимовала, так ли избу выделали?» Дошел Ефим до того места, где он запрошлый год расстался с Елисеем. Народу и узнать нельзя. Где запрошлый год бедствовал народ, нынче все достаточно живут. Родилось хорошо в поле. Поправился народ, и прежнее горе забыли. Подходит вечерком Ефим к тому самому селу, где запрошлый год Елисей отстал. Только вошел в село, выскочила из-за хатки девочка в белой рубахе.

— Дід! дідко! до нас заходи.

Хотел Ефим пройти, да не пускает девочка, ухватила за полу, тащит к хате, а сама смеется.

Вышла на крыльцо и женщина с мальчиком, тоже манит:

— Заходи, мол, дедушка, поужинать — переночуешь.

Зашел Ефим. «Кстати,— думает,— про Елисея спрошу: никак, в эту самую хатку он тогда и напиться заходил».

Вошел Ефим, сняла с него женщина сумку, умыться подала, посадила за стол. Молока достала, вареников, каши — поставила на стол. Поблагодарил Тарасыч, похвалил людей за то, что они странников привечают. Покачала головой женщина.

— Нам,— говорит,— нельзя странников не привечать. Мы от странника жизнь узнали. Жили мы, бога забыли, и наказал нас бог так, что все только смерти ждали. Дошли летось до того, что все лежали — и есть нечего и больны. И помереть бы нам, да наслал нам бог такого же, вот как ты, старичка. Зашел он среди дня напиться, да увидал нас, пожалел, да и остался с нами. И поил, и кормил, и на ноги поставил, и землю выкупил, и лошадь с телегой купил, у нас кинул.

Вошла в хату старуха, перебила речь женщины.

— И сами мы не знаем,— говорит,— человек ли был, или ангел божий. Всех-то любил, всех-то жалел, и ушел — не сказался, и молить за кого бога — не знаем. Как теперь вижу: лежу я, смерти жду, смотрю — вошел старичок, немудрененький, так лысенький, воды напиться. Еще я подумала, грешная: что шляются? А он вон что сделал! Как увидал нас, сейчас сумочку долой, вот на этом месте поставил, развязал.

Вступилась и девочка.

— Нет,— говорит,— бабушка, он прежде сюда посередь хаты поставил сумку, а потом на лавку убрал.

И стали они спорить и все его слова и дела поминать: и где он сидел, и где спал, и что делал, и что кому сказал.

На ночь приехал и мужик-хозяин на лошади, тоже стал про Елисея рассказывать, как он у них жил.

— Не приди он к нам,— говорит,— мы бы все в грехах померли. Помирали мы в отчаянии, на бога и на людей роптали. А он нас и на ноги поставил, и через него мы и бога узнали, и в добрых людей уверовали. Спаси его Христос! Прежде как скоты жили, он нас людьми сделал.

Накормили, напоили люди Ефима, положили спать и сами легли.

Лежит Ефим и не спит, и не выходит у него из головы Елисей, как он видел его в Иерусалиме три раза в переднем месте.

«Так вот он где,— думает,— упередил меня! Мои труды приняты, нет ли, а его-то принял господь».

Наутро распрощались люди с Ефимом, наклали ему пирожков на дорогу и пошли на работу, а Ефим — в путь-дорогу.

XII

Ровно год проходил Ефим. На весну вернулся домой.

Пришел он домой к вечеру. Сына дома не было: в кабаке был. Пришел сын выпивши, стал его Ефим расспрашивать. По всему увидал, что замотался без него малый. Деньги все провел дурно, дела упустил. Стал его отец щунять. Стал сын грубиянить.

— Ты бы,— говорит,— сам поворочал, а то ты ушел ходить да еще деньги с собой унес все, а с меня спрашиваешь.

Рассерчал старик, побил сына.

Наутро вышел Ефим Тарасыч к старосте о сыне поговорить, идет мимо Елисеева двора. Стоит старуха Елисеева на крылечке, здоровается:

— Здорово, кум,— говорит,— здорово ли, касатик, сходил?

Остановился Ефим Тарасыч.

— Слава богу,— говорит,— сходил; твоего старика потерял, да, слышу, он домой вернулся.

И заговорила старуха — охотница была покалякать.

— Вернулся,— говорит,— кормилец, давно вернулся. Вскоре после успенья, никак. Уж и рады же мы были, что его бог принес! Скучно нам без него. Работа уж от него какая,— года его ушли. А все голова, и нам веселей. Уж и парень-то как радовался! Без него,— говорит,— как без света в глазу. Скучно нам без него, желанный, любим мы его, уж как жалеем.

— Что ж, дома, что ль, он теперь?

— Дома, родной, на пчельнике, рои огребает. Хороша,— баит,— роевщина. Такую бог дал силу пчеле, что старик и не запомнит. Не по грехам,— баит,— бог дает. Заходи, желанный, уж как рад-то будет.

Пошел Ефим через сени, через двор на пчельник к Елисею. Вошел на пчельник, смотрит — стоит Елисей без сетки, без рукавиц, в кафтане сером под березкой, руки развел и глядит кверху, и лысина блестит во всю голову, как он в Иерусалиме у гроба господня стоял, а над ним, как в Иерусалиме, сквозь березку, как жар горит, играет солнце, а вокруг головы золотые пчелки в венец свились, вьются, а не жалят его. Остановился Ефим.

Окликнула старуха Елисеева мужа.

— Кум,— говорит,— пришел!

Оглянулся Елисей, обрадовался, пошел куму навстречу, полегонечку пчел из бороды выбирает.

— Здорово, кум, здорово, милый человек... Хорошо сходил?

— Ноги сходили, и водицы тебе с Иордана-реки принес. Заходи, возьми, да принял ли господь труды...

— Ну и слава богу, спаси Христос.

Помолчал Ефим.

— Ногами был, да душой-то был ли, али другой кто...

— Божье дело, кум, божье дело.

— Заходил тоже я на обратном в хату, где ты отстал...

Испугался Елисей, заторопился:

— Божье дело, кум, божье дело. Что ж, заходи, что ли, в избу — медку принесу.

И замял Елисей речь, заговорил про домашнее.

Воздохнул Ефим и не стал поминать Елисею про людей в хате и про то, что он видел его в Иерусалиме. И понял он, что на миру по смерть велел бог отбывать каждому свой оброк — любовью и добрыми делами.

СВЕЧКА

Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам: не противься злому. (*Мф. V, 38, 39*)

Было это дело при господах. Всякие были господа. Были такие, что смертный час и бога помнили и жалели людей, и были собаки, не тем будь помянуты. Но хуже не было начальников, как из крепостных, как из грязи да попали в князи! И от них-то хуже всего житье было.

Завелся такой приказчик в господском имении. Крестьяне были на барщине. Земли было много, и земля была добрая; и воды, и луга, и леса, всего бы всем достало — и барину и мужикам, да поставил барин приказчиком своего дворового из другой вотчины.

Забрал приказчик власть и сел на шею мужикам. Сам он был человек семейный — жена и две дочери замужем — и нажил уж он денег: жить бы да жить ему без греха, да завидлив был и завяз в грехе. Началось с того, что стал он мужиков сверх дней на барщину гонять. Завел кирпичный завод, всех — и баб и мужиков — поморил на работе, а кирпич продавал. Ходили мужики к помещику в Москву жаловаться, да не вышло их дело. Ни с чем отослал мужиков и не снял воли с приказчика. Пронюхал приказчик, что ходили мужики жаловаться, и стал им за то вымещать. Еще хуже стало житье мужикам. Нашлись из мужиков неверные люди: стали приказчику на своего брата доносить и друг дружку подводить. И спутался весь народ, и обозлился приказчик.

Дальше да больше, и дожил приказчик до того, что стал его народ бояться, как зверя лютого. Проедет по деревне, так все от него, как от волка, хоронятся, кто

куда попало, только бы на глаза не попадаться. И видел это приказчик и еще пуще злился за то, что боятся его. И битьем и работой донимал народ, и много от него муки приняли мужики.

Бывало, что и изводили таких злодеев; и про этого стали поговаривать мужики. Сойдутся где в сторонке, кто посмелее и говорит: «Долго ли нам терпеть злодея нашего? Пропадать заодно — такого убить не грех!»

Собрались раз мужики в лесу до святой: лес господский послал приказчик подчищать. Собрались в обед, стали толковать.

— Как нам,— говорят,— теперь жить? Изведет он нас до корня. Замучил работой: ни дня, ни ночи ни нам, ни бабам отдыха нет. А чуть что не по нем, придерется, порет. Семен от его поронья помер. Анисима в колодках замучал. Чего ж еще нам дожидать? Приедет вот сюда вечером, станет опять озорничать,— только сдернуть его с лошади, пристукнуть топором, да и делу конец. Зарыть где, как собаку, и концы в воду. Только уговор: всем стоять заодно, не выдавать!

Говорил так Василий Минаев. Пуще всех он был зол на приказчика. Порол он его каждую неделю и жену у него отбил, к себе в кухарки взял.

Поговорили так мужики, и приехал на вечер приказчик. Приехал верхом, сейчас придрался, что не так рубят. Нашел в куче липку.

— Я,— говорит,— не велел рубить липы. Кто срубил? Сказывай, а то всех запорю!

Стал добираться, в чьем ряду липа. Показали на Сидора. Исколотил приказчик Сидору все лицо в кровь. Отхлестал и Василия татаркой за то, что куча мала. Поехал домой.

Сошлись опять вечером мужики, и стал говорить Василий:

— Эх, народ! Не люди, а воробьи. «Постоим, постоим»,— а пришло дело, все под застреху. Так-то воробьи против ястреба собирались: «Не выдавать, не выдавать, постоим, постоим!» А как налетел, все по крапиве. Так-то и ястреб ухватил, какого ему надо, поволок. Выскочили воробьи: «Чивик, чивик!» — не досчитываются одного. «Кого нет? Ваньки. Э, туда ему и дорога. Он того и стоит». Так-то и вы. Не выдавать, так не выдавать! Как он взялся за Сидора, вы бы сгрудились, да и покончили.

А то: «Не выдавать, не выдавать, постоим, постоим!» — а как налетел, так и в кусты.

Стали так говорить чаще и чаще, и совсем собрались мужики уходить приказчика. Повестил на страстной приказчик мужикам, чтобы готовились на святой барщину под овес пахать. Обидно это показалось мужикам, и собрались они на страстной у Василья на задворке и опять стали толковать.

— Коли он бога забыл,— говорят,— и такие дела делать хочет, надо и вправду его убить. Пропадать заодно!

Пришел к ним и Петр Михеев. Смирный был мужик Петр Михеев и не шел в совет с мужиками. Пришел Михеев, послушал их речи и говорит:

— Грех вы, братцы, великий задумали. Душу погубить — великое дело. Чужую душу погубить легко, да своей-то каково? Он худо делает — перед ним худое. Терпеть, братцы, надо.

Рассердился на эти речи Василий.

— Заладил,— говорит,— одно: грех человека убить. Известно — грех, да какого,— говорит,— человека? Грех человека доброго убить, а такого собаку и бог велел. Собаку бешеную убить надо, людей жалеючи. Не убить его — грех больше будет. Что он людей перепортит! А мы хоть и пострадаем, так за людей. Нам люди спасибо скажут. А слюни-то распусти, он всех перепортит. Пустое ты, Михеич, толкуешь. Что ж, разве меньше грех будет, как в Христов праздник все работать пойдем? Ты сам не пойдешь!

И заговорил Михеич.

— Отчего не пойти? — говорит. — Пошлют, и пахать поеду. Не себе. А бог узнает, чей грех, только нам бы его не забыть. Я,— говорит, — братцы, не свое говорю. Кабы нам показано было зло злом изводить, так бы нам и от бога закон лежал; а то нам другое показано. Ты станешь зло изводить, а оно в тебя перейдет. Человека убить не мудро, да кровь к душе липнет. Человека убить — душу себе окровенить. Ты думаешь — худого человека убил, думаешь — худо извел, ан глядь, ты в себе худо злее того посеял. Покорись беде, и беда покорится.

Так и не договорились мужики: разбились мыслями. Одни так думают по Васильевым речам, другие на Петровы речи соглашаются, чтобы не заводить греха, а терпеть.

Отпраздновали мужики первый день, воскресенье. На вечер приходит староста с земским с барского двора и сказывают — Михаил Семеныч, приказчик, велел назавтра наряжать мужиков, всем пахать под овес. Обошел староста с земским деревню, повестил всем назавтра выезжать пахать, кому за реку, кому от большой дороги. Поплакали мужики, а ослушаться не смеют, наутро выехали с сохами, принялись пахать. В церкви благовестят к ранней обедне, народ везде праздник справляет,— мужики пашут.

Проснулся Михаил Семеныч, приказчик, не рано, пошел по хозяйству; убрались, нарядились домашние — жена, дочь вдовая (к празднику приехала); запряг им работник тележку, съездили к обедне, вернулись; поставила работница самовар, пришел и Михаил Семеныч, стали чай пить. Напился Михаил Семеныч чаю, закурил трубку, позвал старосту.

— Ну что, мол, поставил мужиков на пахоту?

— Поставил, Михаил Семеныч.

— Что, все выехали?

— Все выехали, я их сам расставлял.

— Расставить-то расставил, да пашут ли? Поезжай посмотри, да скажи, что я после обеда приеду, чтоб десятину на две сохи выпахали, да чтоб пахали хорошо! Если огрех найду, я на праздник не посмотрю!

— Слушаю-с.

И пошел было староста, да Михаил Семеныч вернул его. Вернул его Михаил Семеныч, а сам мнется, хочет что-то сказать, да не знает как. Помялся, помялся, да и говорит:

— Да вот что, послушай ты еще, что они, разбойники, говорят про меня. Кто ругает и что говорит — все мне расскажи. Я их, разбойников, знаю, не любо им работать, только бы на боку лежать, лодырничать. Жрать да праздновать — это они любят, а того не думают, что пахоту пропустишь, опоздаешь. Так вот ты и отслушай от них речи, кто что скажет, все мне передай. Мне это знать надо. Ступай да смотри все расскажи, ничего не утаивай.

Повернулся староста, вышел, сел верхом и поехал к мужикам в поле.

Услыхала приказчица мужнины речи с старостой, пришла к мужу и стала его просить. Приказчица была

женщина смирная, и сердце в ней было доброе. Где могла, усмиряла мужа и застаивала перед ним мужиков.

Пришла она к мужу и стала просить.

— Друг ты мой, Мишенька,— говорит,— для великого дня, праздника господня, не греши ты ради Христа, отпусти мужиков.

Не принял Михаил Семеныч жениных речей, только засмеялся на нее.

— Али давно,— говорит,— по тебе плетка не гуляла, что ты больно смела стала,— не в свое дело вяжешься?

— Мишенька, друг ты мой, я сон про тебя видела нехороший, послушай ты меня, отпусти мужиков!

— То-то,— говорит,— я и говорю: видно, жиру много наела, думаешь, и плеть не проймет. Смотри!

Рассердился Семеныч, ткнул жену трубкой с огнем в зубы, прогнал от себя, велел обед подавать.

Поел Михаил Семеныч студню, пирога, щей со свининой, поросенка жареного, лапши молочной, выпил наливки вишневой, закусил сладким пирогом, позвал кухарку, посадил ее песни играть, а сам взял гитару и стал подыгрывать.

Сидит Михаил Семеныч с веселым духом, отрыгивается, на струнах перебирает и с кухаркой смеется. Вошел староста, поклонился и стал докладывать, что на поле видел.

— Ну что, пашут? Допашут урок?

— Уж больше половины вспахали.

— Огрехов нет?

— Не видал, хорошо пашут, боятся.

— А что, разборка земли хороша?

— Разборка земли мягкая, как мак рассыпается.

Помолчал приказчик.

— Ну, а что про меня говорят,— ругают?

Замялся было староста, да велел Михаил Семеныч всю правду говорить.

— Все говори, ты не свои слова, а ихние говорить будешь. Правду скажешь, я тебя награжу, а покроешь их, не взыщи, выпорю. Эй, Катюша, подай ему водки стакан для смелости.

Пошла кухарка, поднесла старосте. Поздравил староста, выпил, обтерся и стал говорить. «Все одно,— думает,— не моя вина, что не хвалят его; скажу правду, коли он велит». И осмелился староста и стал говорить:

— Ропщут, Михаил Семеныч, ропщут.

— Да что говорят? Сказывай.

— Одно говорят: он богу не верует.

Засмеялся приказчик.

— Это,— говорит,— кто сказал?

— Да все говорят. Говорят, он, мол, нечистому покорился.

Смеется приказчик.

— Это,— говорит,— хорошо. Да ты порознь расскажи, что кто говорит. Васька что говорит?

Не хотелось старосте сказывать на своих, да с Василием у них давно вражда шла.

— Василий,— говорит,— пуще всех ругает.

— Да что говорит-то? Ты сказывай.

— Да и сказать страшно. Не миновать,— говорит,— ему беспокаянной смерти.

— Ай, молодец,— говорит. — Что ж он зевает-то, не убивает? Видно, руки не доходят? Ладно,— говорит,— Васька, посчитаемся мы с тобой. Ну, а Тишка-собака, тоже, я чай?

— Да все худо говорят.

— Да что говорят-то?

— Да повторять-то гнусно.

— Да что гнусно-то? Ты не робей сказывать.

— Да говорят, чтоб у него пузо лопнуло и утроба вытекла.

Обрадовался Михаил Семеныч, захохотал даже.

— Посмотрим, у кого прежде вытекет. Это кто же? Тишка?

— Да никто доброго не сказал, все ругают, все грозятся.

— Ну, а Петрушка Михеев что? что он говорит? Тоже, говняк, ругается, я чай?

— Нет, Михайло Семеныч, Петра не ругается.

— Что ж он?

— Да он из всех мужиков один ничего не говорил. И мудреный он мужик! Подивился я на него, Михаил Семеныч!

— А что?

— Да что он сделал! И все мужики дивятся.

— Да что сделал-то?

— Да уж чудно очень. Стал я подъезжать к нему. Он на косой десятине у Туркина верха пашет. Стал я

подъезжать к нему, слышу — поет кто-то, выводит тонко, хорошо так, а на сохе промеж обжей что-то светится.

— Ну?

— Светится, ровно огонек. Подъехал ближе, смотрю — свечка восковая пятикопеечная приклеена к распорке и горит, и ветром не задувает. А он в новой рубахе ходит, пашет и поет стихи воскресные. И заворачивает и отряхает, а свечка не тухнет. Отряхнул он при мне, переложил палицу, завел соху, все свечка горит, не тухнет!

— А сказал что?

— Да ничего не сказал. Только увидал меня, похристосовался и запел опять.

— Что же, говорил ты с ним?

— Я не говорил, а подошли тут мужики, стали ему смеяться: вон, говорят, Михеич ввек греха не отмолит, что он на святой пахал.

— Что ж он сказал?

— Да он только сказал: «На земле мир, в человецех благоволение!» — опять взялся за соху, тронул лошадь и запел тонким голосом, а свечка горит и не тухнет.

Перестал смеяться приказчик, поставил гитару, опустил голову и задумался.

Посидел, посидел, прогнал кухарку, старосту и пошел за занавес, лег на постель и стал вздыхать, стал стонать, ровно воз со снопами едет. Пришла к нему жена, стала его разговаривать; не дал ей ответа. Только и сказал:

— Победил он меня! Дошло теперь и до меня!

Стала его жена уговаривать:

— Да ты поезжай, отпусти их. Авось ничего! Какие дела делал, не боялся, а теперь чего ж так оробел?

— Пропал я,— говорит,— победил он меня.

Крикнула на него жена:

— Заладил одно: «Победил, победил». Поезжай, отпусти мужиков, вот и хорошо будет. Поезжай, я велю лошадь оседлать.

Привели лошадь, и уговорила приказчица мужа ехать в поле отпустить мужиков.

Сел Михаил Семеныч на лошадь и поехал в поле. Выехал в околицу, отворила ему ворота баба, въехал в деревню. Как только увидал народ приказчика, похоронились все от него, кто во двор, кто за угол, кто на огороды.

Проехал всю деревню приказчик, подъехал к другим выездным воротам. Ворота заперты, а сам с лошади отворить не может. Покликал, покликал приказчик, чтоб ему отворили, никого не докликался. Слез сам с коня, отворил ворота и стал в воротищах опять садиться. Вложил ногу в стремя, поднялся, хотел на седло перекинуться, да испугалась лошадь свиньи, шарахнулась в частокол, а человек был грузный, не попал на седло, а перевалился пузом на частокол. Один был только в частоколе кол, завостренный сверху, да и повыше других. И попади он пузом прямо на этот кол. И пропорол себе брюхо, свалился наземь.

Приехали мужики с пахоты; фыркают, нейдут лошади в ворота. Поглядели мужики — лежит навзничь Михаил Семеныч, руки раскинул, и глаза остановились, и нутро все на землю вытекло! и кровь лужей стоит, — земля не впитала.

Испугались мужики, повели лошадей задами, один Петр Михеич слез, подошел к приказчику, увидал, что помер, закрыл ему глаза, запряг телегу, взвалил с сыном мертвого в ящик и свез к барскому дому.

Узнал про все дела барин и от греха отпустил мужиков на оброк.

И поняли мужики, что не в грехе, а в добре сила божия.

СКАЗКА ОБ ИВАНЕ-ДУРАКЕ И ЕГО ДВУХ БРАТЬЯХ: СЕМЕНЕ-ВОИНЕ И ТАРАСЕ-БРЮХАНЕ, И НЕМОЙ СЕСТРЕ МАЛАНЬЕ, И О СТАРОМ ДЬЯВОЛЕ И ТРЕХ ЧЕРТЕНЯТАХ

I

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был богатый мужик. И было у богатого мужика три сына: Семен-воин, Тарас-брюхан и Иван-дурак, и дочь Маланья-векоуха, немая. Пошел Семен-воин на войну, царю служить, Тарас-брюхан пошел в город к купцу, торговать, а Иван-дурак с девкою остался дома работать, горб наживать. Выслужил себе Семен-воин чин большой и вотчину и женился на барской дочери. Жалованье большое было и вотчина большая, а всё концы с концами не сводил: что муж соберет, все жена-барыня рукавом растрясет; все денег нет. И приехал Семен-воин в вотчину доходы собирать. Приказчик ему и говорит:

— Не с чего взять; нет у нас ни скотины, ни снасти, ни лошади, ни коровы, ни сохи, ни бороны; надо всего завести — тогда доходы будут.

И пошел Семен-воин к отцу.

— Ты,— говорит,— батюшка, богат, а мне ничего не дал. Отдели мне третью часть, я в свою вотчину переведу.

Старик и говорит:

— Ты мне в дом ничего не подавал, за что тебе третью часть давать? Ивану с девкой обидно будет.

А Семен говорит:

— Да ведь он дурак, а она векоуха немая; чего им надо?

Старик и говорит:

— Как Иван скажет.

А Иван говорит:

— Ну что ж, пускай берет.

Взял Семен-воин часть из дома, перевел в свою вотчину, опять уехал к царю служить.

Нажил и Тарас-брюхан денег много — женился на купчихе, да все ему мало было, приехал к отцу и говорит:

— Отдели мне мою часть.

Не хотел старик и Тарасу давать часть.

— Ты,— говорит,— нам ничего не подавал, а что в доме есть, то Иван нажил. Тоже и его с девкой обидеть нельзя.

А Тарас говорит:

— На что ему, он дурак; жениться ему нельзя, никто не пойдет, а девке немой тоже ничего не нужно. Давай,— говорит,— Иван, мне хлеба половинную часть; я снасти брать не буду, а из скотины только жеребца сивого возьму,— тебе он пахать не годится.

Засмеялся Иван.

— Ну что ж,— говорит,— я пойду обротаю.

Отдали и Тарасу часть. Увез Тарас хлеб в город, увел жеребца сивого, и остался Иван с одной кобылой старой по-прежнему крестьянствовать — отца с матерью кормить.

II

Досадно стало старому дьяволу, что не поссорились в дележе братья, а разошлись по любови. И кликнул он трех чертенят.

— Вот видите,— говорит,— три брата живут: Семен-воин, Тарас-брюхан и Иван-дурак. Надо бы им всем перессориться, а они мирно живут: друг с дружкой хлеб-соль водят. Дурак мне все дела испортил. Подите вы втроем, возьмитесь за троих и смутите их так, чтобы они друг дружке глаза повыдрали. Можете ли это сделать?

— Можем,— говорят.

— Как же вы делать будете?

— А так,— говорят,— сделаем: разорим их сперва, чтоб им жрать нечего было, а потом собьем в одну кучу, они и передерутся.

— Ну, ладно,— говорит,— я вижу — вы дело знаете; ступайте и ко мне не ворочайтесь, пока всех троих не смутите, а то со всех троих шкуру спущу.

Пошли чертенята все в болото, стали судить, как за дело браться; спорили, спорили, каждому хочется полегче работу выгадать, и порешили на том, что жеребий кинуть, какой кому достанется. А коли кто раньше других отделается, чтоб приходил другим подсоблять. Кинули жеребий чертенята и назначили срок, опять когда в болоте собраться, узнать, кто отделался и кому подсоблять идти.

Пришел срок, и собрались по уговору чертенята в болоте. Стали толковать, как у кого дела. Стал рассказывать первый чертенок — от Семена-воина.

— Мое дело,— говорит,— ладится. Завтра,— говорит,— мой Семен домой к отцу придет.

Стали его товарищи спрашивать:

— Как ты,— говорят, — сделал?

— А я,— говорит,— первым делом храбрость такую на Семена навел, что он обещал своему царю весь свет завоевать, и сделал царь Семена начальником, послал его воевать индейского царя. Сошлись воевать. А я в ту же ночь в Семеновом войске весь порох подмочил и пошел к индейскому царю из соломы солдат наделал видимо-невидимо. Увидали Семеновы солдаты, что на них со всех сторон соломенные солдаты заходят,— заробели. Велел Семен-воин палить: пушки, ружья не выходят. Испугались Семеновы солдаты и побежали, как бараны. И побил их индейский царь. Осрамился Семен-воин, отняли у него вотчину и завтра казнить хотят. Только мне на день и дела осталось, из темницы его выпустить, чтобы он домой убежал. Завтра отделаюсь, так сказывайте, кому из двух помогать приходить?

Стал и другой чертенок, от Тараса, рассказывать про свои дела.

— Мне,— говорит,— помогать не нужно. Мое дело тоже на лад пошло, больше недели не проживет Тарас. Я,— говорит,— первым делом отрастил ему брюхо и навел на него зависть. Такая у него зависть на чужое добро сделалась, что, что́ ни увидит, все ему купить хочется. Накупил он всего видимо-невидимо на все свои деньги и все еще покупает. Теперь уж стал на заемные покупать. Уж много на шею набрал и запутался так, что не распутается. Через неделю сроки подойдут отдавать, а я из всего товара его навоз сделаю — не расплатится и придет к отцу,

Стали спрашивать и третьего чертенка, от Ивана.

— А твое дело как?

— Да что,— говорит,— мое дело не ладится. Наплевал я ему первым делом в кувшин с квасом, чтобы у него живот болел, и пошел на его пашню, сбил землю, как камень, чтоб он не осилил. Думал я, что он не вспашет, а он, дурак, приехал с сохой, начал драть. Кряхтит от живота, а сам все пашет. Изломал я ему одну соху — поехал дурак домой, переладил другую, подвои новые подвязал и опять принялся пахать. Залез я под землю, стал за сошники держать, не удержишь никак — налегает на соху, а сошники вострые: изрезал мне руки все. Почти все допахал, одна только полоска осталась. Приходите,— говорит,— братцы, помогать, а то, как мы его одного не осилим, все наши труды пропадут. Если дурак останется да крестьянствовать будет, они нужды не увидят, он обоих братьев кормить будет.

Пообещал чертенок от Семена-воина назавтра приходить помогать, и разошлись на том чертенята.

III

Вспахал Иван весь пар, только одна полоска осталась. Приехал допахивать. Болит у него живот, а пахать надо. Выхлестнул гужи, перевернул соху и поехал пахать. Только завернулся раз, поехал назад — ровно за корень зацепило что-то — волочет. А это чертенок ногами вокруг рассохи заплел — держит. «Что за чудо! — думает Иван. — Корней тут не было, а корень». Запустил Иван руку в борозду, ощупал — мягкое. Ухватил что-то, вытащил. Черное, как корень, а на корне что-то шевелится. Глядь — чертенок живой.

— Ишь ты,— говорит,— пакость какая!

Замахнулся Иван, хотел о приголовок пришибить его, да запищал чертенок:

— Не бей ты меня,— говорит,— а я тебе что хочешь сделаю.

— Что ж ты мне сделаешь?

— Скажи только, чего хочешь.

Почесался Иван.

— Брюхо,— говорит,— болит у меня — поправить можешь?

— Могу,— говорит.

— Ну, лечи.

Нагнулся чертенок в борозду, пошарил, пошарил когтями, выхватил корешок-тройчатку, подал Ивану.

— Вот,— говорит,— кто ни проглотит один корешок, всякая боль пройдет.

Взял Иван, разорвал корешки, проглотил один. Сейчас живот прошел.

Запросился опять чертенок.

— Пусти,— говорит,— теперь меня, я в землю проскочу — больше ходить не буду.

— Ну что ж,— говорит,— бог с тобой!

И как только сказал Иван про бога — юркнул чертенок под землю, как камень в воду, только дыра осталась. Засунул Иван два остальных корешка в шапку и стал допахивать. Запахал до конца полоску, перевернул соху и поехал домой. Отпряг, пришел в избу, а старший брат, Семен-воин, сидит с женой — ужинают. Отняли у него вотчину,— насилу из тюрьмы ушел и прибежал к отцу жить.

Увидал Семен Ивана.

— Я,— говорит,— к тебе жить приехал; корми нас с женой, пока место новое выйдет.

— Ну что ж,— говорит,— живите.

Только хотел Иван на лавку сесть — не понравился барыне дух от Ивана. Она и говорит мужу:

— Не могу я,— говорит,— с вонючим мужиком вместе ужинать.

Семен-воин и говорит:

— Моя барыня говорит, от тебя дух не хорош — ты бы в сенях поел.

— Ну что ж,— говорит. — Мне и так в ночное пора — кобылу кормить.

Взял Иван хлеба, кафтан и поехал в ночное.

IV

Отделался в эту ночь чертенок от Семена-воина и пришел по уговору Иванова чертенка искать — ему помогать дурака донимать. Пришел на пашню; поискал, поискал товарища — нет нигде, только дыру нашел. «Ну, думает, видно, с товарищем беда случилась, надо на

его место становиться. Пашня допахана — надо будет дурака на покосе донимать».

Пошел чертенок в луга, напустил на Иванов покос наводок; затянуло весь покос грязью. Вернулся на зорьке Иван из ночного, отбил косу, пошел луга косить. Пришел Иван, стал косить; махнет раз, махнет другой — затупится коса, не режет, точить надо. Бился, бился Иван.

— Нет,— говорит,— пойду домой, отбой принесу да и хлеба ковригу. Хоть неделю пробьюсь, а не уйду, пока не выкошу.

Услыхал чертенок — задумался.

— Калян,— говорит,— дурак этот, не проймешь его. Надо на другие штуки подниматься.

Пришел Иван, отбил косу, стал косить. Залез чертенок в траву, стал косу за пятку ловить, носком в землю тыкать. Трудно Ивану, однако выкосил покос — осталась одна делянка в болоте. Залез чертенок в болото, думает себе:

«Хоть лапы перережу, а не дам выкосить».

Зашел Иван в болото; трава — смотреть — не густая, а не проворотить косы. Рассердился Иван, начал во всю мочь махать; стал чертенок подаваться — не поспевает отскакивать; видит — дело плохо, забился в куст. Размахнулся Иван, шаркнул по кусту, отхватил чертенку половину хвоста. Докосил Иван покос, велел девке грести, а сам пошел рожь косить.

Вышел с крюком, а кургузый чертенок уж там, перепутал рожь так, что на крюк нейдет. Вернулся Иван, взял серп и принялся жать — выжал всю рожь.

— Ну, теперь,— говорит,—надо за овес браться.

Услыхал кургузый чертенок, думает: «На ржи не донял, так на овсе дойму, дай только утра́ дождаться». Прибежал чертенок утром на овсяное поле, а овес уже скошен: Иван его ночью скосил, чтоб меньше сыпался. Рассердился чертенок.

— Изрезал,— говорит,— меня и замучил дурак. И на войне такой беды не видал! Не спит, проклятый, за ним не поспеешь! Пойду,— говорит,— теперь в копны, прогною ему все.

И пошел чертенок в ржаную копну, залез между снопами — стал гноить: согрел их и сам согрелся и задремал.

А Иван запряг кобылу и поехал с девкой возить. Подъехал к копне, стал кидать на воз. Скинул два снопа,

сунул — прямо чертенку в зад; поднял — глядь: на вилах чертенок живой, да еще кургузый, барахтается, ужимается, соскочить хочет.

— Ишь ты,— говорит,— пакость какая! Ты опять тут?

— Я,— говорит,— другой, то мой брат был. А я,— говорит,— у твоего брата Семена был.

— Ну,— говорит,— какой ты там ни будь, и тебе то же будет! — Хотел его об грядку пришибить, да стал его просить чертенок.

— Отпусти,— говорит,— больше не буду, а я тебе что хочешь сделаю.

— Да что ты сделать можешь?

— А я,— говорит,— могу из чего хочешь солдат наделать.

— Да на что их?

— А на что,— говорит,— хочешь их поверни; они все могут.

— Песни играть могут?

— Могут.

— Ну что ж,— говорит,— сделай.

И сказал чертенок:

— Возьми ты вот сноп ржаной, тряхни его о землю гузом и скажи только: «Велит мой холоп, чтоб был не сноп, а сколько в тебе соломинок, столько бы солдат».

Взял Иван сноп, тряхнул оземь и сказал, как велел чертенок. И расскочился сноп, и сделались солдаты, и впереди барабанщик и трубач играют. Засмеялся Иван.

— Ишь ты,— говорит,— как ловко! Это,— говорит,— хорошо — девок веселить.

— Ну,— говорит чертенок,— пусти же теперь.

— Нет,— говорит,— это я из старновки делать буду, а то даром зерно пропадает. Научи, как опять в сноп поворотить. Я его обмолочу.

Чертенок и говорит:

— Скажи: «Сколько солдат, столько соломинок. Велит мой холоп, будь опять сноп!»

Сказал так Иван, и стал опять сноп.

И стал опять проситься чертенок.

— Пусти,— говорит,— теперь.

— Ну что ж!

Зацепил его Иван за грядку, придержал рукой, сдернул с вил.

— С богом,— говорит. И только сказал про бога —

юркнул чертенок под землю, как камень в воду, только дыра осталась.

Приехал Иван домой, а дома и другой брат, Тарас, с женой сидят — ужинают. Не расчелся Тарас-брюхан, убежал от долгов и пришел к отцу. Увидал Ивана.

— Ну,— говорит,— Иван, пока я расторгуюсь, корми нас с женой.

— Ну что ж,— говорит,— живите.

Снял Иван кафтан, сел к столу.

А купчиха говорит:

— Я,— говорит,— с дураком кушать не могу: от него,—говорит,— пóтом воняет.

Тарас-брюхан и говорит:

— От тебя,— говорит,— Иван, дух не хорош — поди в сенях поешь.

— Ну что ж,— говорит.

Взял хлеба, ушел на двор.

— Мне, — говорит,— кстати в ночное пора — кобылу кормить.

V

Отделался в эту ночь и от Тараса чертенок — пришел по уговору товарищам помогать — Ивана-дурака донимать. Пришел на пашню, поискал, поискал товарищей — нет никого, только дыру нашел. Пошел на луга — в болоте хвост нашел, а на ржаном жниве и другую дыру нашел. «Ну, думает, видно, над товарищами беда случилась, надо на их место становиться, за дурака приниматься».

Пошел чертенок Ивана искать. А Иван уж с поля убрался, в роще лес рубит.

Стало братьям тесно жить вместе, велели дураку себе на избы лес рубить, новые дома строить.

Прибежал чертенок в лес, залез в сучья, стал мешать Ивану деревья валить. Подрубил Иван дерево как надо, чтоб на чистое место упало, стал валить — дурóм пошло дерево, повалилось, куда не надо, на суках застряло. Вырубил Иван рочаг, начал отворачивать — насилу свалил дерево. Стал Иван рубить другое — опять то же. Бился, бился, насилу выпростал. Взялся за третье — опять то же. Думал Иван хлыстов полсотни срубить, и десятка не срубил, а уж ночь на дворе. И замучался Иван. Валит от него пар, как туман по лесу пошел, а он

все не бросает. Подрубил он еще дерево, и заломило ему спину, так что мочи не стало; воткнул топор и присел отдохнуть. Услыхал чертенок, что затих Иван, обрадовался. «Ну, думает, выбился из сил — бросит; отдохну теперь и я». Сел верхом на сук и радуется. А Иван поднялся, вынул топор, размахнулся да как тяпнет с другой стороны, сразу затрещало дерево — грохнулось. Не спопашился чертенок, не успел ног выпростать, сломался сук и защемил чертенка за лапу. Стал Иван очищать — глядь: чертенок живой. Удивился Иван.

— Ишь ты,— говорит,— накость какая! Ты опять тут?

— Я,— говорит,— другой. Я у твоего брата Тараса был.

— Ну, какой бы ты ни был, а тебе то же будет!

Замахнулся Иван топором, хотел его обухом пристукнуть. Взмолился чертенок.

— Не бей,— говорит,— меня, я тебе что хочешь сделаю.

— Да что ж ты сделать можешь?

— А я,— говорит,— могу тебе денег сколько хочешь наделать.

— Ну что ж,— говорит,— наделай!

И научил его чертенок.

— Возьми ты,— говорит,— листу дубового с этого дуба и потри в руках. Наземь золото падать будет.

Взял Иван листьев, потер — посыпалось золото.

— Это,— говорит,— хорошо, когда на гулянках с ребятами играть.

— Пусти же,— говорит чертенок.

— Ну что ж! — взял Иван рочаг, выпростал чертенка. — Бог с тобой! — говорит. — И как только сказал про бога — юркнул чертенок под землю, как камень в воду, только дыра осталась.

VI

Построили братья дома и стали жить порознь. А Иван убрался с поля, пива наварил и позвал братьев гулять. Не пошли братья к Ивану в гости.

— Не видали мы,— говорят,— мужицкого гулянья.

Угостил Иван мужиков, баб и сам выпил — захмелел и пошел на улицу в хороводы. Подошел Иван к хороводам, велел бабам себя величать.

— Я,— говорит,— вам того дам, чего вы в жизнь не видали. — Посмеялись бабы и стали его величать. Отвеличали и говорят:

— Ну что ж, давай.

— Сейчас, — говорит,— принесу. — Ухватил севалку, побежал в лес. Смеются бабы: «То-то дурак! » И забыли про него. Глядь: бежит Иван назад, несет севалку, полну чего-то.

— Оделять, что ли?

— Оделяй.

Захватил Иван горсть золота — кинул бабам. Батюшки! Бросились бабы подбирать; выскочили мужики, друг у дружки рвут, отнимают. Старуху одну чуть до смерти не задавили. Смеется Иван.

— Ах вы, дурачки,— говорит,— зачем вы бабушку задавили. Вы полегче, а я вам еще дам. — Стал еще швырять. Сбежался народ, расшвырял Иван всю севалку. Стали просить еще. А Иван говорит:

— Вся. Другой раз еще дам. Теперь давайте плясать, играйте песни.

Заиграли бабы песни.

— Не хороши,— говорит,— ваши песни.

— Какие же,— говорят,— лучше?

— А я,— говорит,— вот вам покажу сейчас.

Пошел на гумно, выдернул сноп, обил его, поставил на гузо, стукнул.

— Ну,— говорит,— сделай холоп, чтоб был не сноп, а каждая соломинка — солдат.

Расскочился сноп, стали солдаты; заиграли барабаны, трубы. Велел Иван солдатам песни играть, вышел с ними на улицу. Удивился народ. Поиграли солдаты песни, и увел их Иван назад на гумно, а сам не велел никому за собой ходить, и сделал опять солдат снопом, бросил на одонье. Пришел домой и лег спать в закуту.

VII

Узнал наутро про эти дела старший брат Семен-воин, приходит к Ивану.

— Открой ты мне,— говорит,— откуда ты солдат приводил и куда увел?

— А на что,— говорит,— тебе?

— Как на что? С солдатами все сделать можно. Можно себе царство добыть.

Удивился Иван.

— Ну? Что ж ты,— говорит,— давно не сказал? Я себе сколько хочешь наделаю. Благо мы с девкой много насторновали.

Повел Иван брата на гумно и говорит:

— Смотри же, я их делать буду, а ты их уводи, а то коли их кормить, так они в один день всю деревню слопают.

Обещал Семен-воин увести солдат, и начал Иван их делать. Стукнет по току сноном — рота; стукнет другим — другая; наделал их столько, что все поле захватили.

— Что ж, будет, что ли?

Обрадовался Семен и говорит:

— Будет. Спасибо, Иван.

— То-то,— говорит. — Коли тебе еще надо, ты приходи, я еще наделаю. Соломы нынче много.

Сейчас распорядился Семен-воин войском, собрал их как следует и пошел воевать.

Только ушел Семен-воин, приходит Тарас-брюхан — тоже узнал про вчерашнее дело, стал брата просить:

— Открой мне, откуда ты золотые деньги берешь? Кабы у меня такие вольные деньги были, я бы к этим деньгам со всего света деньги собрал.

Удивился Иван.

— Ну! Ты бы давно,— говорит,— мне сказал. Я тебе сколько хочешь натру.

Обрадовался брат:

— Дай мне хоть севалки три.

— Ну что ж,— говорит,— пойдем в лес, а то лошадь запряги — не унесешь.

Поехали в лес; стал Иван с дуба листья натирать. Насыпал кучу большую.

— Будет, что ли?

Обрадовался Тарас.

— Пока будет,— говорит. — Спасибо, Иван.

— То-то,— говорит. — Коли тебе еще надо, приходи, я натру еще — листу много осталось.

Набрал Тарас-брюхан денег воз целый и уехал торговать.

Уехали оба брата. И стал Семен воевать, а Тарас торговать. И завоевал себе Семен-воин царство, а Тарас-брюхан наторговал денег кучу большую.

Сошлись братья вместе и открылись друг другу: откуда у Семена солдаты, а у Тараса деньги.

Семен-воин и говорит брату:

— Я,— говорит,— царство себе завоевал, и мне жить хорошо, только у меня денег нехватка — солдат кормить.

А Тарас-брюхан говорит:

— А я,— говорит,— нажил денег бугор большой, только одно,— говорит,— горе — караулить денег некому.

Семен-воин и говорит:

— Пойдем,— говорит,— к брату Ивану,— я велю ему еще солдат наделать — тебе отдам твои деньги караулить, а ты вели ему мне денег натереть, чтоб было чем солдат кормить.

И поехали они к Ивану. Приезжают к Ивану. Семен и говорит:

— Мне мало, братец, моих солдат, сделай мне,— говорит,— еще солдат, хоть копны две переделай.

Замотал головой Иван.

— Даром,— говорит,— не стану больше тебе солдат делать.

— Да как же,— говорит,— ты обещал?

— Обещал,— говорит,— да не стану больше.

— Да отчего ж ты, дурак, не станешь?

— А оттого, что твои солдаты человека до смерти убили. Я намедни пашу у дороги: вижу, баба по дороге гроб везет, а сама воет. Я спросил: «Кто помер?» Она говорит: «Мужа Семеновы солдаты на войне убили». Я думал, что солдаты будут песни играть, а они человека до смерти убили. Не дам больше.

Так и уперся, не стал больше делать солдат.

Стал и Тарас-брюхан просить Ивана-дурака, чтоб он ему еще золотых денег наделал.

Замотал головой Иван.

— Даром,— говорит,— не стану больше тереть.

— Да как же, ты,— говорит,— обещал?

— Обещал,— говорит,— да не стану больше.

— Да отчего же ты, дурак, не станешь?

— А оттого, что твои золотые у Михайловны корову отняли.

— Как отняли?

— Так отняли. Была у Михайловны корова, ребята молоко хлебали, а намедни пришли ее ребята ко мне молока просить. Я и говорю им: «А ваша корова где?» Говорят: «Тараса-брюхана приказчик приезжал, мамушке три золотые штучки дал, а она ему и отдала корову, нам теперь хлебать нечего». Я думал, ты золотыми штучками играть хочешь, а ты у ребят корову отнял. Не дам больше!

И уперся дурак, не дал больше. Так и уехали братья.

Уехали братья и стали судить, как им своему горю помочь. Семен и говорит:

— Давай вот что сделаем. Ты мне денег дай — солдат кормить, а я тебе половину царства с солдатами отдам — твои деньги караулить.

Согласился Тарас. Поделились братья, и стали оба царями и оба богаты.

VIII

А Иван дома жил, отца с матерью кормил, с немой девкой в поле работал.

Только случилось раз, заболела у Ивана собака дворная старая, опаршивела, стала издыхать. Пожалел ее Иван — взял хлеба у немой, положил в шапку, вынес собаке, кинул ей. А шапка продралась, и выпал с хлебом один корешок. Слопала его с хлебом собака старая. И только проглотила корешок, вскочила собака, заиграла, залаяла, хвостом замахала — здорова стала.

Увидали отец с матерью, удивились.

— Чем ты,— говорят,— собаку вылечил?

А Иван и говорит:

— У меня два корешка были — от всякой боли лечат, так она и слопала один.

И случилось в это время, что заболела у царя дочь, и повестил царь по всем городам и селам — кто вылечит ее, того он наградит, и если холостой, за того и дочь замуж отдаст. Повестили и у Ивана в деревне.

Позвали отец с матерью Ивана и говорят ему:

— Слышал ты, что царь повещает? Ты сказывал, что

у тебя корешок есть, поезжай, вылечи царскую дочь. Ты навек счастье получишь.

— Ну что ж,— говорит.

И собрался Иван ехать. Одели его, выходит Иван на крыльцо, видит — стоит побирушка косорукая.

— Слышала я,— говорит,— что ты лечишь? Вылечи мне руку, а то и обуться сама не могу.

Иван и говорит:

— Ну что ж!

Достал корешок, дал побирушке, велел проглотить. Проглотила побирушка и выздоровела, сейчас стала рукой махать. Вышли отец с матерью Ивана к царю провожать, услыхали, что Иван последний корешок отдал и нечем царскую дочь лечить, стали его отец с матерью ругать.

— Побирушку,— говорят,— пожалел, а царскую дочь не жалеешь!

Жалко стало Ивану и царскую дочь. Запряг он лошадь, кинул соломы в ящик и сел ехать.

— Да куда же ты, дурак?

— Царскую дочь лечить.

— Да ведь тебе лечить нечем?

— Ну что ж,— говорит и погнал лошадь.

Приехал на царский двор и только ступил на крыльцо — выздоровела царская дочь.

Обрадовался царь, велел звать к себе Ивана, одел его, нарядил.

— Будь,— говорит,— ты мне зятем.

— Ну что ж,— говорит.

И женился Иван на царевне. А царь вскоре помер. И стал Иван царем. Так стали царями все три брата.

IX

Жили три брата — царствовали.

Хорошо жил старший брат Семен-воин. Набрал он со своими соломенными солдатами настоящих солдат. Велел он по всему своему царству с десяти дворов по солдату поставлять, и чтобы был солдат тот и ростом велик, и телом бел, и лицом чист. И набрал он таких солдат много и всех обучил. И как кто ему в чем поперечит, сейчас

посылает этих солдат и делает все, как ему вздумается. И стали его все бояться.

И житье ему было хорошее. Что только задумает и на что только глазами вскинет, то и его. Пошлет солдат, а те отберут и принесут и приведут все, что ему нужно.

Хорошо жил и Тарас-брюхан. Он свои деньги, что забрал от Ивана, не растерял, а большой прирост им сделал. Завел он у себя в царстве порядки хорошие. Деньги держал он у себя в сундуках, а с народу взыскивал деньги. Взыскивал он деньги и с души, и с водки, и с пива, и со свадьбы, и с похорон, и с проходу, и с проезду, и с лаптей, и с онуч, и с оборок. И что ни вздумает, все у него есть. За денежки к нему всего несут и работать идут, потому что всякому деньги нужны.

Не плохо жил и Иван-дурак. Как только похоронил тестя, снял он все царское платье — жене отдал в сундук спрятать,— опять надел посконную рубаху, портки и лапти обул и взялся за работу.

— Скучно,— говорит,— мне: брюхо расти стало, и еды и сна нет.

Привез отца с матерью и девку немую и стал опять работать.

Ему и говорят:

— Да ведь ты царь!

— Ну что ж,— говорит,— и царю жрать надо.

Пришел к нему министр, говорит:

— У нас,— говорит,— денег нет жалованье платить.

— Ну что ж,— говорит,— нет, так и не плати.

— Да они,— говорит,— служить не станут.

— Ну что ж,— говорит,— пускай,— говорит,— не служат, им свободнее работать будет; пускай навоз вывозят, они много его нанавозили.

Пришли к Ивану судиться. Один говорит:

— Он у меня деньги украл.

А Иван говорит:

— Ну что ж! значит, ему нужно.

Узнали все, что Иван — дурак. Жена ему и говорит:

— Про тебя говорят, что ты дурак.

— Ну что ж,— говорит.

Подумала, подумала жена Иванова, а она тоже дура была.

— Что же мне,— говорит,— против мужа идти? Куда иголка, туда и нитка.

Посняла царское платье, положила в сундук, пошла к девке немой работе учиться. Научилась работать, стала мужу подсоблять.

И ушли из Иванова царства все умные, остались одни дураки. Денег ни у кого не было. Жили — работали, сами кормились и людей добрых кормили.

X

Ждал, ждал старый дьявол вестей от чертенят о том, как они трех братьев разорили,— нет вестей никаких. Пошел сам проведать; искал, искал, нигде не нашел, только три дыры отыскал. «Ну, думает, видно, не осилили — надо самому приниматься».

Пошел разыскивать, а братьев на старых местах уже нет. Нашел он их в разных царствах. Все три живут-царствуют. Обидно показалось старому дьяволу.

— Ну,— говорит,— возьмусь-ка я сам за дело.

Пошел он прежде всего к Семену-царю. Пошел он не в своем виде, а оборотился воеводой — приехал к Семену-царю.

— Слышал я,— говорит,— что ты, Семен-царь, воин большой, а я этому делу твердо научен, хочу тебе послужить.

Стал его расспрашивать Семен-царь, видит — человек умный, взял на службу.

Стал новый воевода Семена-царя научать, как сильное войско собрать.

— Первое дело — надо,— говорит,— больше солдат собрать, а то,— говорит,— у тебя в царстве много народа дурно гуляет. Надо,— говорит,— всех молодых без разбора забрить, тогда у тебя войска впятеро против прежнего будет. Второе дело — надо ружья и пушки новые завести. Я тебе такие ружья заведу, что будут сразу по сту пуль выпускать, как горохом будут сыпать. А пушки заведу такие, что они будут огнем жечь. Человека ли, лошадь ли, стену ли — все сожжет.

Послушался Семен-царь воеводы нового, велел всех подряд молодых ребят в солдаты брать, и заводы новые завел; наделал ружей, пушек новых и сейчас же на соседнего царя войной пошел. Только вышло навстречу войско, велел Семен-царь своим солдатам пустить по нем пулями и огнем из пушек; сразу перекалечил, пережег

половину войска. Испугался соседний царь, покорился и царство свое отдал. Обрадовался Семен-царь.

— Теперь,— говорит,— я индейского царя завоюю.

А индейский царь услыхал про Семена-царя и перенял от него все его выдумки, да еще свои выдумал. Стал индейский царь не одних молодых ребят в солдаты брать, а и всех баб холостых в солдаты забрал, и стало у него войска еще больше, чем у Семена-царя, а ружья и пушки все от Семена-царя перенял, да еще придумал по воздуху летать и бомбы разрывные сверху кидать.

Пошел Семен-царь войной на индейского царя, думал, как и прежнего, повоевать, да — резала коса, да нарезалась. Не допустил царь индейский Семенова войска до выстрела, а послал своих баб по воздуху на Семеново войско разрывные бомбы кидать. Стали бабы сверху на Семеново войско, как буру на тараканов, бомбы посыпать; разбежалось все войско Семеново, и остался Семен-царь один. Забрал индейский царь Семеново царство, а Семен-воин убежал куда глаза глядят.

Обделал этого брата старый дьявол и пошел к Тарасу-царю. Оборотился он в купца и поселился в Тарасовом царстве, стал заведенье заводить, стал денежки выпускать. Стал купец за всякую вещь дорого платить, и бросился весь народ к купцу деньги добывать. И завелось у народа денег так много, что все недоимки выплатили и в срок все подати подавать стали.

Обрадовался Тарас-царь. «Спасибо, думает, купцу, теперь у меня денег еще прибавится, житье мое еще лучше станет». И стал Тарас-царь новые затеи затевать, зачал себе новый дворец строить. Повестил народу, чтоб везли ему лес, камень и шли работать, назначил за все цены высокие. Думал Тарас-царь, что по-прежнему за его денежки повалит к нему народ работать. Глядь, весь лес и камень к купцу везут, и весь рабочий народ к нему валит. Прибавил Тарас-царь цену, а купец еще накинул. У Тараса-царя денег много, а у купца еще больше, и перебил купец царскую цену. Стал дворец царский; не строится. Затеян был у Тараса-царя сад. Пришла осень. Повещает Тарас-царь, чтоб народ шел к нему сад сажать,— не выходит никто, весь народ купцу пруд копает. Пришла зима. Задумал Тарас-царь мехов собольих купить на шубу новую. Посылает покупать, приходит посол, говорит:

— Нету соболей — все меха у купца, он дороже дал и из соболей ковер сделал.

Понадобилось Тарасу-царю себе жеребцов купить. Послал покупать, приходят послы: все жеребцы хорошие у купца, ему воду возят пруд наливать. Стали все дела царские, ничего ему не делают, а все делают купцу, а ему только купцовы деньги несут, за подати отдают.

И набралось у царя денег столько, что класть некуда, а житье плохое стало. Перестал уж царь затеи затевать; только бы уж как-нибудь прожить, и того не может. Во всем стесненье стало. Стали от него и повара, и кучера, и слуги к купцу отходить. Стало уж и еды недоставать. Пошлет на базар купить что — ничего нет: все купец перекупил, а ему только денежки за подати несут.

Рассердился Тарас-царь и выслал купца за границу. А купец на самой на границе сел — все то же делает: все так же за купцовы денежки от царя тащат все к купцу. Совсем плохо царю стало, по целым дням не ест, да еще слух прошел, что купец хвалится, что он у царя и жену его купить хочет. Заробел царь Тарас и не знает, как быть.

Приезжает к нему Семен-воин и говорит:

— Поддержи,— говорит,— меня: меня индейский царь повоевал.

А Тарасу-царю самому уж узлом к гузну дошло.

— Я,— говорит,— сам два дни не ел.

XI

Обделал старый дьявол обоих братьев и пошел к Ивану. Оборотился старый дьявол в воеводу, пришел к Ивану и стал его уговаривать, чтоб он у себя войско завел.

— Царю,— говорит,— не годится без войска жить. Ты мне прикажи только, а я соберу из твоего народу солдат и войско заведу.

Отслушал его Иван.

— Ну что ж,— говорит,— заведи, да песни их научи играть половчее, я это люблю.

Стал старый дьявол по Иванову царству ходить, солдат по воле собирать. Объявил, чтоб шли все лбы брить,— каждому штоф водки и красная шапка будет.

Посмеялись дураки.

— Вино,— говорят,— у нас вольное, мы сами курим, а шапки нам бабы какие хочешь, хоть пестрые сошьют, да еще с махрами.

Так и не пошел никто. Приходит старый дьявол к Ивану.

— Нейдут,— говорит,— твои дураки охотой — надо их силóм пригонять.

— Ну что ж,— говорит,— пригоняй силóм.

И повестил старый дьявол, чтоб шли все дураки в солдаты записываться, а кто не пойдет, того Иван смерти предаст.

Пришли дураки к воеводе и говорят:

— Говоришь ты нам, что, коли мы в солдаты не пойдем, нас царь смерти предаст, а не сказываешь, что с нами в солдатстве будет. Сказывают, и солдат до смерти убивают.

— Да, не без того.

Услыхали это дураки, уперлись.

— Не пойдем,— говорят. — Уж лучше пускай дома смерти предадут. Ее и так не миновать.

— Дураки вы, дураки! — говорит старый дьявол. — Солдата еще убьют ли, нет ли, а не пойдешь — Иван-царь наверно смерти предаст.

Задумались дураки, пошли к царю Ивану-дураку спрашивать:

— Проявился,— говорят,— воевода, велит нам всем в солдаты идти. «Коли пойдете, говорит, в солдаты, там вас убьют ли, нет ли, а не пойдете, так вас царь Иван наверно смерти предаст». Правда ли это?

Засмеялся Иван.

— Как же,— говорит,— я один вас всех смерти предам? Кабы я не дурак был, я бы вам растолковал, а то я и сам не пойму.

— Так мы,— говорят,— не пойдем.

— Ну что ж,— говорит,— не ходите.

Пошли дураки к воеводе и отказались в солдаты идти.

Видит старый дьявол — не берет его дело; пошел к тараканскому царю, подделался.

— Пойдем,— говорит,— войной, завоюем Ивана-царя. У него только денег нет, а хлеба и скота и всякого добра много.

Пошел тараканский царь войною. Собрал войско большое, ружья, пушки наладил, вышел на границу, стал в Иваново царство входить.

Пришли к Ивану и говорят:

— На нас тараканский царь войной идет.

— Ну что ж,— говорит,— пускай идет.

Перешел тараканский царь с войском границу, послал передовых разыскивать Иваново войско. Искали, искали — нет войска. Ждать-пождать — не окажется ли где? И слуха нет про войско, не с кем воевать. Послал тараканский царь захватить деревни. Пришли солдаты в одну деревню — выскочили дураки, дуры, смотрят на солдат, дивятся. Стали солдаты отбирать у дураков хлеб, скотину; дураки отдают, и никто не обороняется. Пошли солдаты в другую деревню — все то же. Походили солдаты день, походили другой — везде все то же; всё отдают — никто не обороняется и зовут к себе жить.

— Коли вам, сердешные,— говорят,— на вашей стороне житье плохое, приходите к нам совсем жить.

Походили, походили солдаты, видят — нет войска; а все народ живет, кормится и людей кормит, и не обороняется, и зовет к себе жить.

Скучно стало солдатам, пришли к своему тараканскому царю.

— Не можем мы,— говорят,— воевать, отведи нас в другое место; добро бы война была, а это что — как кисель резать. Не можем больше тут воевать.

Рассердился тараканский царь, велел солдатам по всему царству пройти, разорить деревни, дома, хлеб сжечь, скотину перебить.

— Не послушаете,— говорит,— моего приказа, всех,— говорит,— вас расказню.

Испугались солдаты, начали по царскому указу делать. Стали дома, хлеб жечь, скотину бить. Все не обороняются дураки, только плачут. Плачут старики, плачут старухи, плачут малые ребята.

— За что,— говорят,— вы нас обижаете? Зачем,— говорят,— вы добро дурно губите? Коли вам нужно, вы лучше себе берите.

Гнусно стало солдатам. Не пошли дальше, и все войско разбежалось.

Так и ушел старый дьявол — не пронял Ивана солдатами.

Оборотился старый дьявол в господина чистого и приехал в Иваново царство жить: хотел его, так же как Тараса-брюхана, деньгами пронять.

— Я,— говорит,— хочу вам добро сделать, уму-разуму научить. Я,— говорит,— у вас дом построю и заведенье заведу.

— Ну что ж,— говорят,— живи.

Переночевал господин чистый и наутро вышел на площадь, вынес мешок большой золота и лист бумаги и говорит:

— Живете вы,— говорит,— все, как свиньи,— хочу я вас научить, как жить надо. Стройте мне,— говорит,— дом по плану по этому. Вы работайте, а я показывать буду и золотые деньги вам буду платить.

И показал им золото. Удивились дураки: у них денег в заводе не было, а они друг дружке вещь за вещь меняли и работой платили. Подивились они на золото.

— Хороши,— говорят,— штучки.

И стали господину за золотые штучки вещи и работу менять. Стал старый дьявол, как и у Тараса, золото выпускать, и стали ему за золото всякие вещи менять и всякие работы работать. Обрадовался старый дьявол, думает: «Пошло мое дело на лад! Разорю теперь дурака, как и Тараса, и куплю его с потрохом со всем». Только забрались дураки золотыми деньгами, роздали всем бабам на ожерелья, все девки в косы вплели, и ребята уж на улице в штучки играть стали. У всех много стало, и не стали больше брать. А у господина чистого еще хоромы наполовину не отстроены и хлеба и скотины еще не запасено на год, и повещает господин, чтоб шли к нему работать, чтоб ему хлеб везли, скотину вели; за всякую вещь и за всякую работу золотых много давать будет.

Нейдет никто работать и не несут ничего. Забежит мальчик или девочка, яичко на золотой променяет, а то нет никого — и есть ему стало нечего. Проголодался господин чистый, пошел по деревне — себе на обед купить. Сунулся в один двор, дает золотой за курицу — не берет хозяйка.

— У меня,— говорит,— много и так.

Сунулся к бобылке — селедку купить, дает золотой.

— Не нужно мне,— говорит,— милый человек, у меня,— говорит,— детей нет, играть некому, а я и то три штучки для редкости взяла.

Сунулся к мужику за хлебом. Не взял и мужик денег:

— Мне не нужно,— говорит. — Нешто ради Христа,— говорит,— так погоди, я велю бабе отрезать.

Заплевал даже дьявол, убежал от мужика. Не то что взять ради Христа, а и слышать-то ему это слово — хуже ножа.

Так и не добыл хлеба. Забрались все. Куда ни пойдет старый дьявол, никто не дает ничего за деньги, а все говорят:

— Что-нибудь другое принеси, или приходи работать, или ради Христа возьми.

А у дьявола нет ничего, кроме денег, работать неохота; а ради Христа нельзя ему взять. Рассердился старый дьявол.

— Чего,— говорит,— вам еще нужно, когда я вам деньги даю? Вы за золото всего купите и всякого работника наймете.

Не слушают его дураки.

— Нет,— говорят,— нам не нужно: с нас платы и податей никаких нейдет — куда же нам деньги?

Лег, не ужинавши, спать старый дьявол.

Дошло это дело до Ивана-дурака. Пришли к нему, спрашивают:

— Что нам делать? Проявился у нас господин чистый: есть, пить любит сладко, одеваться любит чисто, а работать не хочет и Христа ради не просит и только золотые штучки всем дает. Давали ему прежде всего, пока не забрались, а теперь не дают больше. Что нам с ним делать? Как бы не помер с голода.

Отслушал Иван.

— Ну что ж,— говорит,— кормить надо. Пускай по дворам, как пастух, ходит.

Нечего делать, стал старый дьявол по дворам ходить.

Дошла очередь и до Иванова двора. Пришел старый дьявол обедать, а у Ивана девка немая обедать собирала. Обманывали ее часто те, кто поленивее. Не работамши, придут раньше к обеду, всю кашу поедят. И исхитрилась девка немая лодырей по рукам узнавать: у кого мозоли на руках, того сажает, а у кого нет, тому объедки дает.

Полез старый дьявол за стол, а немая девка ухватила его за руки, посмотрела — нет мозолей, и руки чистые, гладкие, и когти длинные. Замычала немая и вытащила дьявола из-за стола.

А Иванова жена ему и говорит:

— Не взыщи, господин чистый, золовка у нас без мозолей на руках за стол не пускает. Вот, дай срок, люди поедят, тогда доедай, что останется.

Обиделся старый дьявол, что его у царя с свиньями кормить хотят. Стал Ивану говорить:

— Дурацкий,— говорит,— у тебя закон в царстве, чтобы всем людям руками работать. Это вы по глупости придумали. Разве одними руками люди работают? Ты думаешь, чем умные люди работают?

А Иван говорит:

— Где нам, дуракам, знать, мы все поровим больше руками да горбом.

— Это оттого, что вы дураки. А я,— говорит,— научу вас, как головой работать; тогда вы узнаете, что головой работать спорее, чем руками.

Удивился Иван.

— Ну,— говорит,— недаром нас дураками зовут!

И стал старый дьявол говорить:

— Только не легко,— говорит,— и головой работать. Вы вот мне есть не даете оттого, что у меня нет мозолей на руках, а того не знаете, что головой во сто раз труднее работать. Другой раз и голова трещит.

Задумался Иван.

— Зачем же ты,— говорит,— сердешный, так себя мучаешь? Разве легко, как голова затрещит? Ты бы уж лучше легкую делал работу — руками да горбом.

А дьявол говорит:

— Затем я себя и мучаю, что я вас, дураков, жалею. Кабы я себя не мучал, вы бы век дураками были. А я головой поработал, теперь и вас научу.

Подивился Иван.

— Научи,— говорит,— а то другой раз руки уморятся, так их головой переменить.

И обещался дьявол научить.

И повестил Иван по всему царству, что проявился господин чистый и будет всех учить, как головой работать, и что головой можно выработать больше, чем руками,— чтоб приходили учиться.

Была в Ивановом царстве каланча высокая построена, и на нее лестница прямая, а наверху вышка. И свел Иван туда господина, чтобы ему на виду быть.

Стал господин на каланчу и начал оттуда говорить. А дураки собрались смотреть. Дураки думали, что господин станет на деле показывать, как без рук головой работать. А старый дьявол только на словах учил, как не работамши прожить можно.

Не поняли ничего дураки. Посмотрели, посмотрели и разошлись по своим делам.

Простоял старый дьявол день на каланче, простоял другой — все говорил. Захотелось ему есть. А дураки и не догадались хлебца ему на каланчу принесть. Они думали, что если он головой может лучше рук работать, так уж хлеба-то себе шутя головой добудет. Простоял и другой день старый дьявол на вышке — все говорил. А народ подойдет, посмотрит-посмотрит и разойдется. Спрашивает и Иван:

— Ну, что господин, начал ли головой работать?

— Нет еще,— говорят,— все еще лопочет.

Простоял еще день старый дьявол на вышке и стал слабеть; пошатнулся раз и стукнулся головой об столб. Увидал один дурак, сказал Ивановой жене, а Иванова жена прибежала к мужу на пашню.

— Пойдем,— говорит,— смотреть: говорят, господин зачинает головой работать.

Подивился Иван.

— Ну? — говорит.

Завернул лошадь, пошел к каланче. Приходит к каланче, а старый дьявол уж вовсе с голоду ослабел, стал пошатываться, головой об столбы постукивать. Только подошел Иван, спотыкнулся дьявол, упал и загремел под лестницу торчмя головой — все ступеньки пересчитал.

— Ну,— говорит Иван,— правду сказал господин чистый, что другой раз и голова затрещит. Это не то что мозоли, от такой работы желваки на голове будут.

Свалился старый дьявол под лестницу и уткнулся головой в землю. Хотел Иван подойти посмотреть, много ли он работал, вдруг расступилась земля, и провалился старый дьявол сквозь землю, только дыра осталась. Почесался Иван.

— Ишь ты,— говорит,— паксеть какая! Это опять он! Должно, батька тем — здоровый какой!

Живет Иван и до сих пор, и народ весь валит в его царство, и братья пришли к нему, и их он кормит. Кто придет, скажет:

— Корми нас.

— Ну что ж,— говорит,— живите — у нас всего много.

Только один обычай у него и есть в царстве: у кого мозоли на руках — полезай за стол, а у кого нет — тому объедки.

ТРИ СТАРЦА

> А молясь, не говорите лишнего, как язычники: ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им: ибо знает отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него. *(Матф. VI, 7, 8)*

Плыл на корабле архиерей из Архангельска-города в Соловецкие. На том же корабле плыли богомольцы к угодникам. Ветер был попутный, погода ясная, не качало. Богомольцы — которые лежали, которые закусывали, которые сидели кучками — беседовали друг с дружкой. Вышел и архиерей на палубу, стал ходить взад и вперед по мосту. Подошел архиерей к носу, видит, собралась кучка народа. Мужичок показывает что-то рукой в море и говорит, а народ слушает. Остановился архиерей, посмотрел, куда показывал мужичок: ничего не видно, только море на солнце блестит. Подошел поближе архиерей, стал прислушиваться. Увидал архиерея мужичок, снял шапку и замолчал. Увидал и народ архиерея, тоже сняли шапки, почтенье сделали.

— Не стесняйтесь, братцы,— сказал архиерей. — Я тоже послушать подошел, что ты, добрый человек, рассказываешь.

— Да вот про старцев нам рыбачок рассказывал,— сказал один купец посмелее.

— Что про старцев? — спросил архиерей, подошел к борту и присел на ящик. — Расскажи и мне, я послушаю. Что ты показывал?

— Да вот островок маячит,— сказал мужичок и показал вперед в правую сторону. — На этом самом островке и старцы живут, спасаются.

— Где же островок? — спросил архиерей.

— Вот по руке-то моей извольте смотреть. Вон облачко, так полевее его вниз, как полоска, виднеется.

Смотрел, смотрел архиерей, рябит вода на солнце, и не видать ему ничего без привычки.

— Не вижу,— говорит. — Так какие же тут старцы на острове живут?

— Божьи люди,— ответил крестьянин. — Давно уж я слыхал про них, да не доводилось видеть, а вот запрошлым летом сам видел.

И стал опять рассказывать рыбак, как ездил он за рыбой, и как прибило его к острову к этому, и сам не знал, где он. Поутру пошел ходить и набрел на земляночку и увидал у земляночки одного старца, а потом вышли и еще два; покормили и обсушили его и помогли лодку починить.

— Какие же они из себя? — спросил архиерей.

— Один махонький, сгорбленный, совсем древний, в ряске старенькой, должно, годов больше ста, седина в бороде уж зеленеть стала, а сам все улыбается и светлый, как ангел небесный. Другой ростом повыше, тоже стар, в кафтане рваном, борода широкая, седая с желтизной, а человек сильный: лодку мою перевернул, как ушат, не успел я и подсобить ему,— тоже радостный. А третий высокий, борода длинная до колен и белая как лунь, а сам сумрачный, брови на глаза висят, и нагой весь, только рогожкой опоясан.

— Что ж они говорили с тобой? — спросил архиерей.

— Все больше молча делали, и друг с дружкой мало говорят. А взглянет один, а другой уж понимает. Стал я высокого спрашивать, давно ли они живут тут. Нахмурился он, что-то заговорил, рассердился точно, да древний маленький сейчас его за руку взял, улыбнулся,— и затих большой. Только сказал древний «помилуй нас» и улыбнулся.

Пока говорил крестьянин, корабль еще ближе подошел к островам.

— Вот теперь вовсе видно стало,— сказал купец. — Вот извольте посмотреть, ваше преосвященство,— сказал он, показывая.

Архиерей стал смотреть. И точно, увидал черную полоску — островок. Посмотрел, посмотрел архиерей и пошел прочь от носу к корме, подошел к кормчему.

— Какой это островок,— говорит,— тут виднеется?

— А так, безыменный. Их много тут.

— Что, правда,— говорят,— тут старцы спасаются?

— Говорят, ваше преосвященство, да не знаю, правда ли. Рыбаки,— говорят,— видали. Да тоже, бывает, и зря болтают.

— Я желаю пристать к острову—повидать старцев,— сказал архиерей. — Как это сделать?

— Кораблем подойти нельзя,— сказал кормчий. — На лодке можно, да надо старшóго спросить.

Вызвали старшóго.

— Хотелось бы мне посмотреть этих старцев,— сказал архиерей. — Нельзя ли свезти меня?

Стал старшóй отговаривать. — Можно-то можно, да много времени проведем, и, осмелюсь доложить вашему преосвященству, не стоит смотреть на них. Слыхал я от людей, что совсем глупые старики эти живут, ничего не понимают и ничего и говорить не могут, как рыбы какие морские.

— Я желаю,— сказал архиерей. — Я заплачу за труды, свезите меня.

Нечего делать, распорядились корабельщики, переладили паруса. Повернул кормчий корабль, поплыли к острову. Вынесли архиерею стул на нос. Сел он и смотрит. И народ весь собрался к носу, все на островок глядят. И у кого глаза повострее, уж видят камни на острове и землянку показывают. А один уж и трех старцев разглядел. Вынес старшóй трубу, посмотрел в нее, подал архиерею. «Точно,— говорит,— вот на берегу, поправей камня большого, три человека стоят».

Посмотрел архиерей в трубу, навел куда надо; точно, стоят трое: один высокий, другой пониже, а третий вовсе маленький; стоят на берегу, за руки держатся.

Подошел старшóй к архиерею. — Здесь, ваше преосвященство, остановиться кораблю надо. Если уж угодно, так отсюда на лодке вы извольте съездить, а мы тут на якорях постоим.

Сейчас распустили тросо, кинули якорь, спустили парус — дернуло, зашаталось судно. Спустили лодку, соскочили гребцы, и стал спускаться архиерей по лесенке. Спустился архиерей, сел на лавочку в лодке, ударили гребцы в весла, поплыли к острову. Подплыли как камень кинуть; видят — стоят три старца: высокий — нагой, рогожкой опоясан, пониже — в кафтане рваном, и древненький сгорбленный — в ряске старенькой; стоят все трое, за руки держатся.

Причалили гребцы к берегу, зацепились багром. Вышел архиерей.

Поклонились ему старцы, благословил он их, поклонились они ему еще ниже. И начал им говорить архиерей.

— Слышал я,— говорит,— что вы здесь, старцы божии, спасаетесь, за людей Христу-богу молитесь, а я здесь, по милости божьей, недостойный раб Христов, его паству пасти призван; так хотел и вас, рабов божиих, поучать и вам, если могу, поучение подать.

Молчат старцы, улыбаются, друг на дружку поглядывают.

— Скажите мне, как вы спасаетесь и как богу служите,— сказал архиерей.

Воздохнул средний старец и посмотрел на старшего, на древнего; нахмурился высокий старец и посмотрел на старшего, на древнего. И улыбнулся старший, древний старец и сказал: «Не умеем мы, раб божий, служить богу, только себе служим, себя кормим».

— Как же вы богу молитесь? — спросил архиерей.

И древний старец сказал: «Молимся мы так: трое вас, трое нас, помилуй нас».

И как только сказал это древний старец, подняли все три старца глаза к небу и все трое сказали: «Трое вас, трое нас, помилуй нас!»

Усмехнулся архиерей и сказал:

— Это вы про святую троицу слышали, да не так вы молитесь. Полюбил я вас, старцы божии, вижу, что хотите вы угодить богу, да не знаете, как служить ему. Не так надо молиться, а слушайте меня, я научу. Не от себя буду учить вас, а из божьего писания научу тому, как бог повелел всем людям молиться ему.

И начал архиерей толковать старцам, как бог открыл себя людям: растолковал им про бога отца, бога сына и бога духа святого и сказал:

— Бог сын сошел на землю людей спасти и так научил всех молиться. Слушайте и повторяйте за мной.

И стал архиерей говорить: «Отче наш». И повторил один старец: «Отче наш», повторил и другой: «Отче наш», говорил и третий: «Отче наш». — «Иже еси на небеси». Повторили и старцы: «Иже еси на небесех». Да запутался в словах средний старец, не так сказал; не выговорил и высокий, нагой старец: ему усы рот заросли —

не мог чисто выговорить; невнятно прошамкал и древний беззубый старец.

Повторил еще раз архиерей, повторили еще раз старцы. И присел на камушек архиерей, и стали около него старцы, и смотрели ему в рот, и твердили за ним, пока он говорил им. И весь день до вечера протрудился с ними архиерей; и десять, и двадцать, и сто раз повторял одно слово, и старцы твердили за ним. И путались они, и поправлял он их, и заставлял повторять сначала.

И не оставил архиерей старцев, пока не научил их всей молитве господней. Прочли они ее за ним и прочли сами. Прежде всех понял средний старец и сам повторил ее всю. И велел ему архиерей еще и еще раз сказать ее, и еще повторить, и другие прочли всю молитву.

Уж смеркаться стало, и месяц из моря всходить стал, когда поднялся архиерей ехать на корабль. Простился архиерей с старцами, поклонились они ему все в ноги. Поднял он их и облобызал каждого, велел им молиться, как он научил их, и сел в лодку и поплыл к кораблю.

И плыл к кораблю архиерей, и все слышал, как старцы в три голоса громко твердили молитву господню. Стали подплывать к кораблю, не слышно уж стало голоса старцев, но только видно было при месяце: стоят на берегу, на том же месте, три старца — один поменьше всех посередине, а высокий с правой, а средний с левой стороны. Подъехал архиерей к кораблю, взошел на палубу, вынули якорь, подняли паруса, надуло их ветром, сдвинуло корабль, и поплыли дальше. Прошел архиерей на корму и сел там и все смотрел на островок. Сначала видны были старцы, потом скрылись из вида, виднелся только островок, потом и островок скрылся, одно море играло на месячном свете.

Улеглись богомольцы спать, и затихло все на палубе. Но не хотелось спать архиерею, сидел он один на корме, глядел на море, туда, где скрылся островок, и думал о добрых старцах. Думал о том, как радовались они тому, что научились молитве, и благодарил бога за то, что привел он его помочь божьим старцам, научить их слову божию.

Сидит так архиерей, думает, глядит в море, в ту сторону, где островок скрылся. И рябит у него в глазах — то тут, то там свет по волнам заиграет. Вдруг видит, блестит и белеется что-то в столбе месячном: птица ли

чайка или парусок на лодке белеется. Пригляделся архиерей. «Лодка,— думает,— на парусе за нами бежит. Да скоро уж очень нас догоняет. То далеко, далеко было, а вот уж и вовсе виднеется близко. И лодка не лодка, на парус не похоже. А бежит что-то за нами и нас догоняет». И не может разобрать архиерей, что такое: лодка не лодка, птица не птица, рыба не рыба. На человека похоже, да велико очень, да нельзя человеку середь моря быть. Поднялся архиерей, подошел к кормчему:

— Погляди,— говорит,— что это?

— Что это, братец? Что это? — спрашивает архиерей, а уж сам видит — бегут по морю старцы, белеют и блестят их седые бороды, и, как к стоячему, к кораблю приближаются.

Оглянулся кормчий, ужаснулся, бросил руль и закричал громким голосом:

— Господи! Старцы за нами по морю, как по суху, бегут! — Услыхал народ, поднялся, бросились все к корме. Все видят: бегут старцы, рука с рукой держатся — крайние руками машут, остановиться велят. Все три по воде, как по суху, бегут и ног не передвигают.

Не успели судна остановить, как поравнялись старцы с кораблем, подошли под самый борт, подняли головы и заговорили в один голос:

— Забыли, раб божий, забыли твое ученье! Пока твердили — помнили, перестали на час твердить, одно слово выскочило — забыли, все рассыпалось. Ничего не помним, научи опять.

Перекрестился архиерей, перегнулся к старцам и сказал:

— Доходна до бога и ваша молитва, старцы божии. Не мне вас учить. Молитесь за нас, грешных!

И поклонился архиерей в ноги старцам. И остановились старцы, повернулись и пошли назад по морю. И до утра видно было сиянье с той стороны, куда ушли старцы.

КАК ЧЕРТЕНОК КРАЮШКУ ВЫКУПАЛ

Выехал бедный мужик пахать, не завтракамши, и взял с собой из дома краюшку хлеба. Перевернул мужик соху, отвязал сволока, положил под куст; тут же положил краюшку хлеба и накрыл кафтаном. Уморилась лошадь, и проголодался мужик. Воткнул мужик соху, отпряг лошадь, пустил ее кормиться, а сам пошел к кафтану пообедать. Поднял мужик кафтан — нет краюшки; поискал, поискал, повертел кафтан, потряс — нет краюшки. Удивился мужик. «Чудное дело,— думает. — Не видал никого, а унес кто-то краюшку». А это чертенок, пока мужик пахал, утащил краюшку и сел за кустом послушать, как будет мужик ругаться и его, черта, поминать.

Потужил мужик.

— Ну, да,— говорит,— не умру с голоду! Видно, тому нужно было, кто ее унес. Пускай ест на здоровье!

И пошел мужик к колодцу, напился воды, отдохнул, поймал лошадь, запряг и стал опять пахать.

Смутился чертенок, что не навел мужика на грех, и пошел сказаться набольшому черту. Явился к набольшему и рассказал, как он у мужика краюшку унес, а мужик заместо того, чтобы выругаться, сказал: «На здоровье!» Рассердился набольший дьявол.

— Коли,— говорит,— мужик в этом деле верхà над тобою взял, ты сам в этом виноват: не умел. Если,— говорит,— мужики, а за ними и бабы такую повадку возьмут, нам уж не при чем и жить станет. Нельзя этого дела

так оставить! Ступай,— говорит,— опять к мужику, заслужи эту краюшку. Если ты в три года сроку не возьмешь верха́ над мужиком, я тебя в святой воде выкупаю!

Испугался чертенок, побежал на землю, стал придумывать, как свою вину заслужить. Думал, думал и придумал. Обернулся чертенок добрым человеком и пошел к бедному мужику в работники. И научил он мужика в сухое лето посеять хлеб в болоте. Послушался мужик работника, посеял в болоте. У других мужиков все солнцем сожгло, а у бедного мужика вырос хлеб густой, высокий, колосистый. Прокормился мужик до́ нови, и осталось еще много хлеба. На лето научил работник мужика посеять хлеб на горах. И выпало дождливое лето. У людей хлеб повалялся, попрел и зерна не налило, а у мужика на горах обломный хлеб уродился. Осталось у мужика еще больше лишнего хлеба. И не знает мужик, что с ним делать.

И научил работник мужика затереть хлеб и вино курить. Накурил мужик вина, стал сам пить и других поить. Пришел чертенок к набольшему и стал хвалиться, что заслужил краюшку. Пошел набольший посмотреть.

Пришел к мужику, видит — созвал мужик богачей, вином их угощает. Подносит хозяйка вино гостям. Только стала обходить, зацепилась за стол, пролила стакан. Рассердился мужик, разбранил жену.

— Ишь,— говорит,— чертова дура! разве это помои, что ты, косолапая, такое добро наземь льешь?

Толканул чертенок набольшего локтем: «Примечай,— говорит,— как он теперь не пожалеет краюшки».

Разбранил хозяин жену, стал сам подносить. Приходит с работы бедный мужик, незваный; поздоровался, присел, видит — люди вино пьют; захотелось и ему с устали винца выпить. Сидел-сидел, глотал-глотал слюни,— не поднес ему хозяин; только про себя пробормотал: «Разве на всех вас вина напасешься!»

Понравилось и это набольшему черту. А чертенок хвалится: «Погоди, то ли еще будет».

Выпили богатые мужики, выпил и хозяин. Стали они все друг к дружке подольщаться, друг дружку хвалить и масленые облыжные речи говорить.

Послушал, послушал набольший,— похвалил и за это. «Коли,— говорит, — от этого питья так лисить будут да друг дружку обманывать, они у нас все в руках бу-

дут». — «Погоди,— говорит чертенок,— что дальше будет; дай они по другому стаканчику выпьют. Теперь они, как лисицы, друг перед дружкой хвостами виляют, друг дружку обмануть хотят, а погляди, сейчас как волки злые сделаются».

Выпили мужики по другому стаканчику, стала у них речь погромче и погрубее. Вместо масленых речей стали они ругаться, стали друг на дружку обозляться, сцепились драться, исколупали друг дружке носы. Ввязался в драку и хозяин, избили и его.

Поглядел набольший, и понравилось ему и это.

— Это,— говорит, — хорошо.

А чертенок говорит: «Погоди, то ли еще будет! Дай они выпьют по третьему. Теперь они как волки остервенились, а дай срок, по третьему выпьют, сейчас как свиньи сделаются».

Выпили мужики по третьему. Рассолодели совсем. Бормочут, кричат сами не знают что и друг дружку не слушают. Пошли расходиться — кто порознь, кто по двое, кто по трое, — повалялись все по улицам. Вышел провожать гостей хозяин, упал носом в лужу, измазался весь, лежит как боров, хрюкает.

Еще пуще понравилось это набольшему.

«Ну,— говорит,— хорошо питье ты выдумал, заслужил краюшку. Скажи ж ты мне,— говорит,— как ты это питье сделал? Не иначе ты сделал, как напустил туда сперва лисьей крови: от нее-то мужик хитрый, как лисица, сделался. А потом — волчьей крови: от нее-то он обозлился, как волк. А под конец подпустил ты, видно, свиной крови: от нее-то он свиньей стал».

— Нет,— говорит чертенок,— я не так сделал. Я ему всего только и сделал, что хлеба лишнего зародил. Она, эта кровь звериная, всегда в нем живет, да ей ходу нет, когда хлеба с нужду рожается. Тогда он и последней краюшки не жалел, а как стали липки от хлеба оставаться, стал он придумывать, как бы себя потешить. И научил я его потехе — вино пить. А как стал он божий дар в вино курить для своей потехи, поднялась в нем и лисья, и волчья, и свиная кровь. Теперь только бы вино пил, всегда зверем будет.

Похвалил набольший чертенка, простил его за краюшку хлеба и у себя в старших поставил.

КАЮЩИЙСЯ ГРЕШНИК

> И сказал Иисусу: помяни меня, господи, когда приидешь в царствие твое. — И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. (*Лук. XXIII, 42, 43*)

Жил на свете человек 70 лет, и прожил он всю жизнь в грехах. И заболел этот человек и не каялся. И когда пришла смерть, в последний час заплакал он и сказал: «Господи! как разбойнику на кресте, прости мне!» Только успел сказать — вышла душа. И возлюбила душа грешника бога, и поверила в милость его, и пришла к дверям рая.

И стал стучаться грешник и проситься в царство небесное.

И услыхал он голос из-за двери:

— Какой человек стучится в двери райские? и какие дела совершил человек этот в жизни своей?

И отвечал голос обличителя, и перечислил все грешные дела человека этого, и не назвал добрых дел никаких.

И отвечал голос из-за двери:

— Не могут грешники войти в царство небесное. Отойди отсюда.

И сказал человек:

— Господи! голос твой слышу, а лица не вижу и имени твоего не знаю.

И отвечал голос:

— Я — Петр-апостол.

И сказал грешник:

— Пожалей меня, Петр-апостол, вспомни слабость человеческую и милость божию. Не ты ли был ученик Христов, не ты ли из самих уст его слышал учение его и

видел пример жизни его? А вспомни, когда он тосковал и скорбел душою и три раза просил тебя не спать, а молиться, и ты спал, потому глаза твои отяжелели, и три раза он застал тебя спящим. Так же и я.

— А вспомни еще, как обещал ему самому до смерти не отречься от него и как ты три раза отрекся от него, когда повели его к Каиафе. Так же и я.

— И вспомни еще, как запел петух и ты вышел вон и заплакал горько. Так же и я. Нельзя тебе не впустить меня.

И затих голос за дверьми райскими.

И, постояв недолго, опять стал стучаться грешник и проситься в царство небесное.

И послышался из-за дверей другой голос и сказал:

— Кто человек этот? и как жил он на свете?

И отвечал голос обличителя, и опять повторил все худые дела грешника, и не назвал добрых дел никаких.

И отвечал голос из-за двери:

— Отойди отсюда: не могут такие грешники жить с нами вместе в раю.

И сказал грешник:

— Господи, голос твой слышу, но лица твоего не вижу и имени твоего не знаю.

И сказал ему голос:

— Я — царь и пророк Давид.

И не отчаялся грешник, не отошел от двери рая и стал говорить:

— Пожалей меня, царь Давид, и вспомни слабость человеческую и милость божию. Бог любил тебя и возвеличил пред людьми. Все было у тебя — и царство, и слава, и богатство, и жены, и дети, а увидел ты с крыши жену бедного человека, и грех вошел в тебя, и взял ты жену Урия, и убил его самого мечом амонитян. Ты, богач, отнял у бедного последнюю овечку и погубил его самого. То же делал и я.

— И вспомни потом, как ты покаялся и говорил: «Я сознаю вину свою и сокрушаюсь о грехе своем». Так же и я. Нельзя тебе не впустить меня.

И затих голос за дверьми.

И, постояв недолго, опять стал стучаться грешник и проситься в царство небесное. И послышался из-за дверей третий голос и сказал:

— Кто человек этот? и как прожил он на свете?

И отвечал голос обличителя, и в третий раз перечислил худые дела человека, и не назвал добрых.

И отвечал голос из-за двери:

— Отойди отсюда: не могут грешники войти в царство небесное.

И отвечал грешник:

— Голос твой слышу, но лица не вижу и имени твоего не знаю.

И отвечал голос:

— Я — Иоанн Богослов, любимый ученик Христа.

И обрадовался грешник и сказал:

— Теперь нельзя не впустить меня: Петр и Давид впустят меня за то, что они знают слабость человеческую и милость божию. А ты впустишь меня потому, что в тебе любви много. Не ты ли, Иоанн Богослов, написал в книге своей, что бог есть любовь и что кто не любит, тот не знает бога? Не ты ли при старости говорил людям одно слово: «Братья, любите друг друга!» Как же ты теперь возненавидишь и отгонишь меня? Или отрекись от того, что сказал ты сам, или полюби меня и впусти в царство небесное.

И отворились врата райские, и обнял Иоанн кающегося грешника и впустил его в царство небесное.

ЗЕРНО С КУРИНОЕ ЯЙЦО

Нашли раз ребята в овраге штучку с куриное яйцо, с дорожкой посредине и похоже на зерно. Увидал у ребят штучку проезжий, купил за пятак, повез в город, продал царю за редкость.

Позвал царь мудрецов, велел им узнать, что за штука такая — яйцо или зерно? Думали, думали мудрецы — не могли ответа дать. Лежала эта штучка на окне, влетела курица, стала клевать, проклевала дыру; все и увидали, что зерно. Пришли мудрецы, сказали царю: «Это — зерно ржаное».

Удивился царь. Велел мудрецам узнать, где и когда это зерно родилось. Думали, думали мудрецы, искали в книгах — ничего не нашли. Пришли к царю, говорят:

— Не можем дать ответа. В книгах наших ничего про это не написано; надо у мужиков спросить, не слыхал ли кто от стариков, когда и где такое зерно сеяли.

Послал царь, велел к себе старого мужика привести. Разыскали старика старого, привели к царю. Пришел старик, зеленый, беззубый, насилу вошел на двух костылях.

Показал ему царь зерно, да не видит уже старик; кое-как половину разглядел, половину руками ощупал.

Стал его царь спрашивать:

— Не знаешь ли, дедушка, где такое зерно родилось? Сам на своем поле не севал ли хлеба такого? Или на своем веку не покупывал ли где такого зерна?

Глух был старик, насилу-насилу расслышал, насилу-насилу понял. Стал ответ держать.

— Нет,— говорит,— на своем поле хлеба такого сеять не севал, и жинать не жинал, и покупывать не покупывал. Когда покупали хлеб, все такое же зерно мелкое было, как и теперь. А надо,— говорит,— у моего батюшки спросить: может, он слыхал, где такое зерно рожалось.

Послал царь за отцом старика, велел к себе привести. Нашли и отца старикова, привели к царю. Пришел старик старый на одном костыле. Стал ему царь зерно показывать. Старик еще видит глазами, хорошо разглядел. Стал царь его спрашивать:

— Не знаешь ли, старичок, где такое зерно родилось? Сам на своем поле не севал ли хлеба такого? Или на своем веку не покупывал ли где такого зерна?

Хоть и крепонек на ухо был старик, а расслышал лучше сына.

— Нет,— говорит,— на своем поле такого зерна сеять не севал и жинать не жинал. А покупать не покупывал, потому что на моем веку денег еще и в заводе не было. Все своим хлебом кормились, а по нужде — друг с дружкой делились. Не знаю я, где такое зерно родилось. Хоть и крупнее теперешнего и умолотнее наше зерно было, а такого видать не видал. Слыхал я от батюшки,— в его время хлеб лучше против нашего раживался, и умолотней и крупней был. Его спросить надо.

Послал царь за отцом стариковым. Нашли и деда, привели к царю. Вошел старик к царю без костылей; вошел легко; глаза светлые, слышит хорошо и говорит внятно. Показал царь зерно деду. Поглядел дед, повертел.

— Давно,— говорит,— не видал я старинного хлебушка.

Откусил дед зерна, пожевал крупинку.

— Оно самое,— говорит.

— Скажи же мне, дедушка, где такое зерно родилось? На своем поле не севал ли ты такой хлеб? Или на своем веку где у людей не покупывал ли?

И сказал старик:

— Хлеб такой на моем веку везде раживался. Этим хлебом,— говорит,— я век свой кормился и людей кормил.

И спросил царь:

— Так скажи же мне, дедушка, покупал ли ты где такое зерно, или сам на своем поле сеял?

Усмехнулся старик.

— В мое время,— говорит,— и вздумать никто не мог такого греха, чтобы хлеб продавать, покупать. А про деньги и не знали: хлеба у всех своего вволю было. Я сам такой хлеб сеял, и жал, и молотил.

И спросил царь:

— Так скажи же мне, дедушка, где ты такой хлеб сеял и где твое поле было?

И сказал дед:

— Мое поле было — земля божья. Где вспахал, там и поле. Земля вольная была. Своей землю не звали. Своим только труды свои называли.

— Скажи же,— говорит царь,— мне еще два дела: одно дело — отчего прежде такое зерно рожалось, а нынче не родится? А другое дело — отчего твой внук шел на двух костылях, сын твой пришел на одном костыле, а ты вот пришел и вовсе легко; глаза у тебя светлые, и зубы крепкие, и речь ясная и приветная? Отчего, скажи, дедушка, эти два дела сталися?

И сказал старик:

— Оттого оба дела сталися, что перестали люди своими трудами жить,— на чужое стали зариться. В старину не так жили: в старину жили по-божьи; своим владали, чужим не корыстовались.

МНОГО ЛИ ЧЕЛОВЕКУ ЗЕМЛИ НУЖНО

I

Приехала из города старшая сестра к меньшей в деревню. Старшая за купцом была в городе, а меньшая за мужиком в деревне. Пьют чай сестры, разговаривают. Стала старшая сестра чваниться — свою жизнь в городе выхвалять: как она в городе просторно и чисто живет и ходит, как она детей наряжает, как она сладко ест и пьет и как на катанья, гулянья и в театры ездит.

Обидно стало меньшей сестре, и стала она купеческую жизнь унижать, а свою крестьянскую возвышать.

— Не променяю я,— говорит,— своего житья на твое. Даром что серо живем, да страху не знаем. Вы и ночище живете, да либо много наторгуете, либо вовсе проторгуетесь. И пословица живет: барышу наклад — большой брат. Бывает и то: нынче богат, а завтра под окнами находишься. А наше мужицкое дело вернее: у мужика живот тонок, да долог, богаты не будем, да сыты будем.

Стала старшая сестра говорить:

— Сытость-то какая — со свиньями да с телятами! Ни убранства, ни обращенья! Как ни трудись твой хозяин, как живете в навозе, так и помрете, и детям то же будет.

— А что ж,— говорит меньшая,— наше дело такое. Зато твердо живем, никому не кланяемся, никого не боимся. А вы в городу́ все в соблазнах живете; нынче хорошо, а завтра подвернется нечистый — глядь, и соблазнит хозяина твоего либо на карты, либо на вино, либо на кралю какую. И пойдет все прахом. Разве не бывает?

Слушал Пахом — хозяин — на печи, что бабы балакают.

— Правда это,— говорит,— истинная. Как наш брат сызмальства ее, землю-матушку, переворачивает, так дурь-то в голову и не пойдет. Одно горе — земли мало! А будь земли вволю, так я никого, и самого черта, не боюсь!

Отпили бабы чай, побалакали еще об нарядах, убрали посуду, полегли спать.

А черт за печкой сидел, все слышал. Обрадовался он, что крестьянская жена на похвальбу мужа навела: похваляется, что, была б у него земля, его и черт не возьмет.

«Ладно, думает, поспорим мы с тобой; я тебе земли много дам. Землей тебя и возьму».

II

Жила рядом с мужиками барынька небольшая. Было у ней сто двадцать десятин земли. И жила прежде с мужиками смирно — не обижала. Да нанялся к ней солдат отставной в приказчики и стал донимать мужиков штрафами. Как ни бережется Пахом, а либо лошадь в овсы забежит, либо корова в сад забредет, либо телята в луга уйдут — за всё штраф.

Расплачивается Пахом и домашних ругает и бьет. И много греха от этого приказчика принял за лето Пахом. Уж и рад был, что скотина на двор стала,— хоть и жалко корму, да страху нет.

Прошел зимой слух, что продает барыня землю и что ладит купить ее дворник с большой дороги. Услыхали мужики, ахнули. «Ну, думают, достанется земля дворнику, замучает штрафами хуже барыни. Нам без этой земли жить нельзя, мы все у ней в кругу». Пришли мужики к барыне миром, стали просить, чтоб не продавала дворнику, а им отдала. Обещали дороже заплатить. Согласилась барыня. Стали мужики ладить миром всю землю купить; сбирались и раз и два на сходки — не сошлось дело. Разбивает их нечистый, никак не могут согласиться. И порешили мужики порознь покупать, сколько кто осилит. Согласилась и на это барыня. Услыхал Пахом, что купил у барыни двадцать десятин сосед и она ему половину денег на года рассрочила. Завидно стало

Пахому: «Раскупят, думает, всю землю, останусь я ни при чем». Стал с женой советовать.

— Люди покупают, надо,— говорит,— и нам купить десятин десяток. А то жить нельзя: одолел приказчик штрафами.

Обдумали, как купить. Было у них отложено сто рублей, да жеребенка продали, да пчел половину, да сына заложили в работники, да еще у свояка занял, и набралась половина денег.

Собрал Пахом деньги, облюбовал землю, пятнадцать десятин с лесочком, и пошел к барыне торговаться. Выторговал пятнадцать десятин, ударил по рукам и задаток дал. Поехали в город, купчую закрепили, деньги половину отдал, остальные в два года обязался выплатить.

И стал Пахом с землей. Занял Пахом семян, посеял покупную землю; родилось хорошо. В один год выплатил долг и барыне и свояку. И стал Пахом помещиком: свою землю пахал и сеял, на своей земле сено косил, со своей земли колья рубил и на своей земле скотину кормил. Выедет Пахом на свою вечную землю пахать или придет всходы и луга посмотреть — не нарадуется. И трава-то, ему кажется, растет, и цветы-то цветут на ней совсем иные. Бывало, проезжал по этой земле — земля как земля, а теперь совсем земля особенная стала.

III

Живет так Пахом, радуется. Все бы хорошо, только стали мужики у Пахома хлеб и луга травить. Честью просил, все не унимаются: то пастухи упустят коров в луга, то лошади из ночного на хлеба зайдут. И сгонял Пахом и прощал, все не судился, потом наскучило, стал в волостное жаловаться. И знает, что от тесноты, а не с умыслом делают мужики, а думает: «Нельзя же и спускать, этак они все вытравят. Надо поучить».

Поучил так судом раз, поучил другой, оштрафовали одного, другого. Стали мужики-соседи на Пахома сердце держать; стали другой раз и нарочно травить. Забрался какой-то ночью в лесок, десяток липок на лыки срезал. Проехал по лесу Пахом — глядь, белеется. Подъехал — лутошки брошены лежат, и пенушки торчат. Хоть бы из куста крайние срезал, одну оставил, а то подряд, злодей,

все счистил. Обозлился Пахом: «Ах, думает, вызнать бы, кто это сделал; уж я бы ему выместил». Думал, думал, кто: «Больше некому, думает, как Семке». Пошел к Семке на двор искать, ничего не нашел, только поругались. И еще больше уверился Пахом, что Семен сделал. Подал прошение. Вызвали на суд. Судили, судили — оправдали мужика: улик нет. Еще пуще обиделся Пахом; с старшиной и с судьями разругался.

— Вы,— говорит,— воров руку тянете. Кабы сами по правде жили, не оправляли бы воров.

Поссорился Пахом и с судьями и с соседями. Стали ему и красным петухом грозиться. Стало Пахому в земле жить просторней, а в миру теснее.

И прошел в то время слух, что идет народ на новые места. И думает Пахом: «Самому мне от своей земли идти незачем, а вот кабы из наших кто пошли, у нас бы просторнее стало. Я бы их землю на себя взял, себе в круг пригнал; житье бы лучше стало. А то все теснота».

Сидит раз Пахом дома, заходит мужик прохожий. Пустили ночевать мужика, покормили, разговорились — откуда, мол, бог несет? Говорит мужик, что идет снизу, из-за Волги, там в работе был. Слово за слово, рассказывает мужик, как туда народ селиться идет. Рассказывает, поселились там ихние, приписались в общество, и нарезали им по десять десятин на душу.

— А земля такая,— говорит,— что посеяли ржи, так солома — лошади не видать, а густая, что горстей пять — и сноп. Один мужик,— говорит,— совсем бедный, с одними руками пришел, а теперь шесть лошадей, две коровы.

Разгорелось у Пахома сердце. Думает: «Что ж тут в тесноте бедствовать, коли можно хорошо жить. Продам здесь и землю и двор; там я на эти деньги выстроюсь и заведенье все заведу. А здесь в этой тесноте — грех один. Только самому все путем вызнать надо».

Собрался на лето, пошел. До Самары плыл по Волге вниз на пароходе, потом пеший верст четыреста прошел. Дошел до места. Все так точно. Живут мужики просторно, по десять десятин земли на душу нарезано, и принимают в общество с охотой. А коли кто с денежками, покупай, кроме надельной, в вечную, сколько хочешь, по три рубля самой первой земли; сколько хочешь, купить можно!

Разузнал все Пахом, вернулся к осени домой, стал все распродавать. Продал землю с барышом, продал двор свой, продал скотину всю, выписался из общества, дождался весны и поехал с семьей на новые места.

IV

Приехал Пахом на новые места с семейством, приписался в большое село в общество. Попоил стариков, бумаги все выправил. Приняли Пахома, нарезали ему на пять душ надельной земли пятьдесят десятин в разных полях, кроме выгона. Построился Пахом, скотину завел. Земли у него одной душевой против прежнего втрое стало. И земля хлебородная. Житье против того, что на старине было, вдесятеро лучше. И пахотной земли и кормов вволю. Скотины сколько хочешь держи.

Сначала, покуда строился да заводился, хорошо показалось Пахому, да обжился — и на этой земле тесно показалось. Посеял первый год Пахом пшеницу на душевой — хороша уродилась. Разохотился он пшеницу сеять, а душевой земли мало. И какая есть — не годится. Пшеницу там на ковыльной или залежной земле сеют. Посеют год, два и запускают, пока опять ковылем прорастет. А на такую землю охотников много, на всех и не хватает. Тоже из-за нее споры; побогаче кто — хотят сами сеять, а бедняки отдают купцам за подати. Захотел Пахом побольше посеять. Поехал на другой год к купцу, купил земли на год. Посеял побольше — родилось хорошо; да далеко от села — верст за пятнадцать возить надо. Видит — в округе купцы-мужики хуторами живут, богатеют. «То ли дело,— думает Пахом,— коли бы тоже в вечность землицы купить да построить хутор. Все бы в кругу было». И стал подумывать Пахом, как бы земли в вечность купить.

Прожил так Пахом три года. Снимал землю, пшеницу сеял. Года вышли хорошие, и пшеница хороша рожалась, и деньги залежные завелись. Жить бы да жить, да скучно показалось Пахому каждый год в людях землю покупать, из-за земли воловодиться: где хорошенькая землица есть, сейчас налетят мужики, всю разберут; не поспел укупить, и не на чем сеять. А то купил на третий год с купцом пополам выгон у мужиков; и вспахали уж, да засудились

мужики, так и пропала работа. «Кабы своя земля была, думает, никому бы не кланялся, и греха бы не было».

И стал Пахом разузнавать, где купить земли в вечность. И попал на мужика. Были куплены у мужика пятьсот десятин, да разорился он и продает задешево. Стал Пахом ладить с ним. Толковал, толковал — сладился за тысячу пятьсот рублей, половину денег обождать. Совсем уж было поладили, да заезжает раз к Пахому купец проезжий на двор покормить. Попили чайку, поговорили. Рассказывает купец, что едет он из дальних башкир. Там, рассказывает, купил у башкирцев земли тысяч пять десятин. И стало всего тысяча рублей. Стал расспрашивать Пахом. Рассказал купец.

— Только,— говорит,— стариков ублаготворил. Халатов, ковров раздарил рублей на сто, да цибик чаю, да попоил винцом, кто пьет. И по двадцать копеек за десятину взял. — Показывает купчую. — Земля,— говорит,— по речке, и степь вся ковыльная.

Стал расспрашивать Пахом, как и что.

— Земли,— говорит купец,— там не обойдешь и в год: все башкирская. А народ несмышленый, как бараны. Можно почти даром взять.

«Ну,— думает Пахом,— что ж мне за мои тысячу рублей пятьсот десятин купить да еще долг на шею забрать. А тут я за тысячу рублей чем завладаю!»

V

Расспросил Пахом, как проехать, и только проводил купца, собрался сам ехать. Оставил дом на жену, сам собрался с работником, поехал. Заехали в город, купили чаю цибик, подарков, вина — все, как купец сказал. Ехали, ехали, верст пятьсот отъехали. На седьмые сутки приехали на башкирскую кочевку. Все так, как купец говорил. Живут все в степи, над речкой, в кибитках войлочных. Сами не пашут и хлеба не едят. А в степи скотина ходит и лошади косяками. За кибитками жеребята привязаны, и к ним два раза в день маток пригоняют; кобылье молоко доят и из него кумыс делают. Бабы кумыс болтают и сыр делают, а мужики только и знают — кумыс и чай пьют, баранину едят да на дудках играют. Гладкие все,

веселые, все лето празднуют. Народ совсем темный, и по-русски не знают, а ласковый.

Только увидали Пахома, повышли из кибиток башкирцы, обступили гостя. Нашелся переводчик. Сказал ему Пахом, что он об земле приехал. Обрадовались башкирцы, подхватили Пахома, свели его в кибитку хорошую, посадили на ковры, подложили под него подушек пуховых, сели кругом, стали угощать чаем, кумысом. Барана зарезали и бараниной накормили. Достал Пахом из тарантаса подарки, стал башкирцам раздавать. Одарил Пахом башкирцев подарками и чай разделил. Обрадовались башкирцы. Лопотали, лопотали промеж себя, потом велели переводчику говорить.

— Велят тебе сказать,— говорит переводчик,— что они полюбили тебя и что у нас обычай такой — гостю всякое удовольствие делать и за подарки отдаривать. Ты нас одарил; теперь скажи, что тебе из нашего полюбится, чтоб тебя отдарить?

— Полюбилась мне,— говорит Пахом,— больше всего у вас земля. У нас,— говорит,— в земле теснота, да и земля выпаханная, а у вас земли много и земля хороша. *Я такой и не видывал.*

Передал переводчик. Поговорили, поговорили башкирцы. Не понимает Пахом, что они говорят, а видит, что веселы, кричат что-то, смеются. Затихли потом, смотрят на Пахома, а переводчик говорит:

— Велят,— говорит,— они тебе сказать, что за твое добро рады тебе сколько хочешь земли отдать. Только рукой покажи какую — твоя будет.

Поговорили они еще и что-то спорить стали. И спросил Пахом, о чем спорят. И сказал переводчик:

— Говорят одни, что надо об земле старшину спросить, а без него нельзя. А другие говорят, и без него можно.

VI

Спорят башкирцы, вдруг идет человек в шапке лисьей. Замолчали все и встали. И говорит переводчик:

— Это старшина самый.

Сейчас достал Пахом лучший халат и поднес старшине и еще чаю пять фунтов. Принял старшина и сел на

первое место. И сейчас стали говорить ему что-то башкирцы. Слушал, слушал старшина, кивнул головой, чтоб они замолчали, и стал говорить Пахому по-русски.

— Что ж,— говорит,— можно. Бери, где полюбится. Земли много.

«Как же я возьму, сколько хочу,— думает Пахом.— Надо же как ни есть закрепить. А то скажут твоя, а потом отнимут».

— Благодарим вас,— говорит,— на добром слове. Земли ведь у вас много, а мне немножко надо. Только бы мне знать, какая моя будет. Уж как-нибудь все-таки отмерять да закрепить за мной надо. А то в смерти-животе бог волен. Вы, добрые люди, даете, а придется — дети ваши отнимут.

— Правда твоя,— говорит старшина,— закрепить можно.

Стал Пахом говорить:

— Я вот слышал, у вас купец был. Вы ему тоже землицы подарили и купчую сделали; так и мне бы тоже.

Все понял старшина.

— Это все можно,— говорит.— У нас и писарь есть, и в город поедем, и все печати приложим.

— А цена какая будет? — говорит Пахом.

— Цена у нас одна: тысяча рублей за день.

Не понял Пахом.

— Какая же это мера — день? Сколько в ней десятин будет?

— Мы этого,— говорит,— не умеем считать. А мы за день продаем; сколько обойдешь в день, то и твое, а цена дню тысяча рублей.

Удивился Пахом.

— Да ведь это,— говорит,— в день обойти, земли много будет.

Засмеялся старшина.

— Вся твоя! — говорит.— Только один уговор: если назад не придешь в день к тому месту, с какого возьмешься, пропали твои деньги.

— А как же,— говорит Пахом,— отметить, где я пройду?

— А мы станем на место, где ты облюбуешь, мы стоять будем, а ты иди, делай круг; а с собой скребку возьми и, где надобно, замечай, на углах ямки рой, дернички клади, потом с ямки на ямку плугом проедем. Какой

хочешь круг забирай, только до захода солнца приходи к тому месту, с какого взялся. Что обойдешь, все твое.

Обрадовался Пахом. Порешили наране выезжать. Потолковали, попили еще кумысу, баранины поели, еще чаю напились; стало дело к ночи. Уложили Пахома спать на пуховике, и разошлись башкирцы. Обещались завтра на зорьке собраться, до солнца на место выехать.

VII

Лег Пахом на пуховики, и не спится ему, все про землю думает. «Отхвачу, думает, палестину большую. Верст пятьдесят обойду в день-то. День-то нынче что год; в пятидесяти верстах земли-то что будет. Какую похуже — продам или мужиков пущу, а любенькую отберу, сам на ней сяду. Плуга два быков заведу, человека два работников принайму; десятинок полсотни пахать буду, а на остальной скотину нагуливать стану».

Не заснул всю ночь Пахом. Перед зарей только забылся. Только забылся — и видит он сон. Видит он, что лежит будто он в этой самой кибитке и слышит — наружу гогочет кто-то. И будто захотелось ему посмотреть, кто такой смеется, и встал он, вышел из кибитки и видит — сидит тот самый старшина башкирский перед кибиткой, за живот ухватился обеими руками, закатывается, гогочет на что-то. Подошел он и спросил: «Чему смеешься?» И видит он, будто это не старшина башкирский, а купец намеднишний, что к ним заезжал, об земле рассказывал. И только спросил у купца: «Ты давно ли тут?» — а это уж и не купец, а тот самый мужик, что на старине снизу заходил. И видит Пахом, что будто и не мужик это, а сам дьявол, с рогами и с копытами, сидит, хохочет, а перед ним лежит человек босиком, в рубахе и портках. И будто поглядел Пахом пристальней, что за человек такой? И видит, что человек мертвый и что это — он сам. Ужаснулся Пахом и проснулся. Проснулся. «Чего не приснится», — думает. Огляделся; видит в открытую дверь — уж бело становится, светать начинает. «Надо, думает, будить народ, пора ехать». Поднялся Пахом, разбудил работника в тарантасе, велел запрягать и пошел башкирцев будить.

— Пора,— говорит,— на степь ехать, отмерять.

Повставали башкирцы, собрались все, и старшина пришел. Зачали башкирцы опять кумыс пить, хотели Пахома угостить чаем, да не стал он дожидаться.

— Коли ехать, так ехать,— говорит,— пора.

VIII

Собрались башкирцы, сели — кто верхами, кто в тарантасы, поехали. А Пахом с работником на своем тарантасике поехали и с собой скребку взяли. Приехали в степь, заря занимается. Въехали на бугорок, по-башкирски — на шихан. Вылезли из тарантасов, послезали с лошадей, сошлись в кучку. Подошел старшина к Пахому, показал рукой.

— Вот,— говорит,— вся наша, что глазом окинешь. Выбирай любую.

Разгорелись глаза у Пахома: земля вся ковыльная, ровная как ладонь, черная как мак, а где лощинка — так разнотравье, трава по груди.

Снял старшина шапку лисью, поставил на землю.

— Вот,— говорит,— метка будет. Отсюда пойди, сюда приходи. Что обойдешь, все твое будет.

Вынул Пахом деньги, положил на шапку, снял кафтан, в одной поддевке остался, перепоясался потуже под брюхо кушаком, подтянулся, сумочку с хлебом за пазуху положил, баклажку с водой к кушаку привязал, подтянул голенища, взял скребку у работника, собрался идти. Думал, думал, в какую сторону взять,— везде хорошо. Думает: «Все одно: пойду на восход солнца». Стал лицом к солнцу, размялся, ждет, чтобы показалось оно из-за края. Думает: «Ничего времени пропускать не стану. Холодком и идти легче». Только брызнуло из-за края солнце, вскинул Пахом скребку на плечо и пошел в степь.

Пошел Пахом ни тихо, ни скоро. Отошел с версту; остановился, вырыл ямку и дернички друг на дружку положил, чтоб приметней было. Пошел дальше. Стал размина́ться, стал и шагу прибавлять. Отошел еще, вырыл еще другую ямку.

Оглянулся Пахом. На солнце хорошо видно шихан, и народ стоит, и у тарантасов на колесах шины блестят

гадывает Пахом, что верст пять прошел. Согреваться ал, снял поддевку, вскинул на плечо, пошел дальше. ошел еще верст пять. Тепло стало. Взглянул на солнышко — уж время об завтраке.

«Одна упряжка прошла,— думает Пахом. — А их четре в дню, рано еще заворачивать. Дай только разуюсь». рисел, разулся, сапоги за пояс, пошел дальше. Легко идти стало. Думает: «Дай пройду еще верст пяток, тогда влево загибать стану. Место-то хорошо очень, кидать жалко. Что дальше, то лучше». Пошел еще напрямик. Оглянулся — шихан уж чуть видно, и народ, как мураши, на нем чернеется, и чуть блестит что-то.

«Ну,— думает Пахом,— в эту сторону довольно забрал; надо загибать. Да и разопрел — пить хочется». Остановился, вырыл ямку побольше, положил дернички, отвязал баклажку, напился и загнул круто влево. Шел он, шел, трава пришла высокая, и жарко стало.

Стал Пахом уставать; поглядел он на солнышко, видит — самый обед. «Ну, думает, отдохнуть надо». Остановился Пахом, присел. Поел хлебца с водой, а ложиться не стал: думает — ляжешь, да и заснешь. Посидел немного, пошел дальше. Сначала легко пошел. От еды силы прибавилось. Да уж жарко очень стало, да и сон клонить стал; однако все идет, думает — час терпеть, а век жить.

Прошел еще и по этой стороне много, хотел уж загибать влево, да глядь — лощинка подошла сырая; жаль бросать. Думает: «Лен тут хорош уродится». Опять пошел прямо. Захватил лощинку, выкопал ямку за лощиной, загнул второй угол. Оглянулся Пахом на шихан: от тепла затуманилось, качается что-то в воздухе и сквозь мару чуть виднеются люди на шихане — верст пятнадцать до них будет. «Ну,— думает Пахом,— длинны стороны взял. надо эту покороче взять». Пошел третью сторону, стал шагу прибавлять. Посмотрел на солнце — уж оно к полднику подходит, а по третьей стороне всего версты две прошел. И до места все те же верст пятнадцать. «Нет, думает, хоть кривая дача будет, а надо прямиком поспевать. Не забрать бы лишнего. А земли и так уж много». Вырыл Пахом поскорее ямку и повернул прямиком к шихану.

Идет Пахом прямо на шихан, и тяжело уж ему стало. Разопрел и ноги босиком изрезал и отбил, да и подкашиваться стали. Отдохнуть хочется, а нельзя,— не поспеешь дойти до заката. Солнце не ждет, все спускается да спускается. «Ах, думает, не ошибся ли, не много ли забрал? Что, как не поспеешь?» Взглянет вперед на шихан, взглянет на солнце: до места далеко, а солнце уж недалеко от края.

Идет так Пахом, трудно ему, а все прибавляет да прибавляет шагу. Шел, шел — все еще далеко; побежал рысью. Бросил поддевку, сапоги, баклажку, шапку бросил, только скребку держит, ей попирается. «Ах, думает, позарился я, все дело погубил, не добегу до заката». И еще хуже ему от страха дух захватывает. Бежит Пахом, рубаха и портки от пота к телу липнут, во рту пересохло. В груди как мехи кузнечные раздуваются, а в сердце молотком бьет, и ноги как не свои — подламываются. Жутко стало Пахому, думает: «Как бы не помереть с натуги».

Помереть боится, а остановиться не может. «Столько, думает, пробежал, а теперь остановиться — дураком назовут». Бежал, бежал, подбегает уж близко и слышит: визжат, гайкают на него башкирцы, и от крика ихнего у него еще пуще сердце разгорается. Бежит Пахом из последних сил, а солнце уж к краю подходит, в туман зашло: большое, красное, кровяное стало. Вот-вот закатываться станет. Солнце близко, да и до места уж вовсе не далеко. Видит уж Пахом, и народ на шихане на него руками машет, его подгоняют. Видит шапку лисью на земле и деньги на ней видит; видит и старшину, как он на земле сидит, руками за пузо держится. И вспомнился Пахому сон. «Земли, думает, много, да приведет ли бог на ней жить. Ох, погубил я себя, думает, не добегу».

Взглянул Пахом на солнце, а оно до земли дошло, уж краюшком заходить стало и дугой к краю вырезалось. Наддал из последних сил Пахом, навалился наперед телом, насилу ноги поспевают подставляться, чтоб не упасть. Подбежал Пахом к шихану, вдруг темно стало. Оглянулся — уж зашло солнце. Ахнул Пахом. «Пропали, думает, мои труды». Хотел уж остановиться, да слышит, гайкают всё башкирцы, и вспомнил он, что снизу ему кажет, что

зашло, а с шихана не зашло еще солнце. Надулся Пахом, взбежал на шихан. На шихане еще светло. Взбежал Пахом, видит — шапка. Перед шапкой сидит старшина, гогочет, руками за пузо держится. Вспомнил Пахом сон, ахнул, подкосились ноги, и упал он наперед, руками до шапки достал.

— Ай, молодец! — закричал старшина. — Много земли завладел!

Подбежал работник Пахомов, хотел поднять его, а у него изо рта кровь течет, и он мертвый лежит.

Пощелкали языками башкирцы, пожалели.

Поднял работник скребку, выкопал Пахому могилу, ровно насколько он от ног до головы захватил — три аршина, и закопал его.

КРЕСТНИК

Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб; а я говорю вам: не противься злому. (*Матф. V, 38, 39*)

Мне отмщение. Я воздам. (*Римл. XII, 19*)

I

Родился у бедного мужика сын. Обрадовался мужик, пошел к соседу звать в кумовья. Отказался сосед: неохота к бедному мужику в кумовья идти. Пошел бедный мужик к другому, и тот отказался.

Всю деревню исходил, нейдет никто в кумовья. Пошел мужик в иную деревню. И попадается ему навстречу прохожий человек. Остановился прохожий человек.

— Здравствуй,— говорит,— мужичок; куда бог несет?

— Дал мне,— говорит мужик,— господь детище: во младости на посмотрение, под старость на утешение, а по смерти на помин души; а по бедности моей никто в нашей деревне в кумовья нейдет. Иду кума искать.

И говорит прохожий человек:

— Возьми меня в кумовья.

Обрадовался мужик, поблагодарил прохожего человека и говорит:

— Кого же в кумы звать?

— А в кумы,— говорит прохожий человек,— позови купеческую дочь. Поди в город, на площади каменный дом с лавками, у входа в дом проси купца, чтоб отпустил дочь в крестные матери.

Усумнился мужик.

— Как мне,— говорит,— нареченный кум, к купцу-богачу идти? Побрезгает он мной, не отпустит дочь.

— Не твоя печаль. Ступай — проси. К завтраму, к утру, изготовься,— приду крестить.

Воротился бедный мужик домой, поехал в город к купцу. Поставил лошадь на дворе. Выходит сам купец.

— Чего надо? — говорит.

— Да вот, господин купец: дал мне господь детище: по младости на посмотрение, под старость на утешение, а по смерти на помин души. Пожалуй, отпусти дочь свою в крестные.

— А когда у тебя крестины?

— Завтра утром.

— Ну, хорошо, ступай с богом, завтра к обедне придет.

На другой день приехала кума, пришел и кум, окрестили младенца. Только окрестили младенца, вышел кум, и не узнали, кто он; и не видали с тех пор.

II

Стал младенец возрастать на радость родителям: и силен, и работящ, и умен, и смирен. Стал мальчик десяти годов. Отдали его родители грамоте учиться. Чему другие пять лет учатся, в один год выучился мальчик. И нечего ему учить стало.

Пришла святая неделя. Сходил мальчик к крестной матери, похристосовался, воротился домой и спрашивает:

— Батюшка и матушка, где живет мой крестный? Я бы к нему пошел, похристосовался.

И говорит ему отец:

— Не знаем мы, сынок любезный, где твой крестный живет. Мы сами о том тужим. Не видали его с тех пор, как он тебя окрестил. И не слыхали про него, и не знаем, где живет, не знаем, и жив ли он.

Поклонился сын отцу, матери.

— Отпусти меня,— говорит,— батюшка с матушкой, моего крестного искать. Хочу его найти, с ним похристоваться.

Отпустили сына отец с матерью. И пошел мальчик искать своего крестного.

III

Вышел мальчик из дому и пошел путем-дорогой. Прошел половину дня, встречается ему прохожий человек. Остановился прохожий.

— Здравствуй,— говорит,— мальчик, куда бог несет?

И сказал мальчик:

— Ходил я,— говорит,— к матушке крестной христосоваться, пришел домой, спросил у родителей: где живет мой крестный? хотел с ним похристосоваться. Сказали мне родители: не знаем мы, сынок, где живет твой крестный. С тех пор как окрестили тебя, ушел он от нас, и ничего мы про него не знаем и не знаем, жив ли он. И захотелось мне повидать своего крестного; так вот иду искать его.

И сказал прохожий человек:

— Я твой крестный.

Обрадовался мальчик, похристосовался с крестным.

— Куда ж ты,— говорит,— батюшка крестный, теперь путь держишь? Если в нашу сторону, так приходи в наш дом, а если к себе домой, так я с тобой пойду.

И сказал крестный:

— Недосуг мне теперь в твой дом идти: мне по деревням дело есть. А к себе домой я назавтра буду. Тогда приходи ко мне.

— Как же я тебя, батюшка, найду?

— А вот иди все на восход солнца, все прямо, придешь в лес, увидишь среди леса — полянка. Сядь на этой полянке, отдохни и гляди, что там будет. Выйдешь из лесу, увидишь сад, а в саду палаты с золотой крышей. Это мой дом. Подойди к воротам. Я тебя сам там встречу.

Сказал так крестный и пропал из глаза крестника.

IV

Шел мальчик, как велел ему крестный. Шел, шел, приходит в лес. Вышел на полянку и видит, среди полянки сосна, а на сосне укреплена на суку веревка, а на веревке привешен чурбан дубовый, пуда в три. А под чурбаном корыто с медом. Только подумал мальчик, зачем тут мед поставлен и чурбан привешен, затрещало в лесу, и видит, идут медведи: впереди медведица, за ней пестун годовалый и позади еще трое медвежат маленьких. Потянула медведица в себя носом и пошла прямо к корыту, а медвежата за ней. Сунула медведица морду в мед, позвала медвежат, подскочили медвежата, припали к корыту. Откачнулся чурбан недалеко, вернулся назад,

толкнул медвежат. Увидала это медведица, оттолкнула чурбан лапой. Откачнулся подальше чурбан, опять назад пришел, ударил в середину медвежат — кого по спине, кого по голове. Заревели медвежата, отскочили прочь. Рыкнула медведица, ухватила обеими лапами чурбан над головой, махнула его от себя прочь. Улетел высоко чурбан, подскочил пестун к корыту, уткнул морду в мед, чавкает, стали и другие подходить. Не успели подойти, прилетел чурбан назад, ударил пестуна по голове, убил его до смерти. Заревела пуще прежнего медведица, как схватит чурбан да пустит его изо всех сил вверх,— взлетел чурбан выше сука, даже веревка ослабла. Подошла медведица к корыту, и все медвежата за ней. Летел, летел чурбан кверху, остановился, пошел книзу. Что ниже, то шибче расходится. Разошелся шибко, налетел на медведицу, как чебурахнет ее по башке,— перевернулась медведица, подергала ногами и издохла. Разбежались медвежата.

V

Подивился мальчик и пошел дальше. Приходит к большому саду, а в саду высокие палаты с золотой крышей. И у ворот стоит крестный, улыбается. Поздоровался с сыном крестным, ввел его в ворота и повел по саду. И во сне не снилось мальчику такой красоты и радости, какая в этом саду была.

Ввел крестный мальчика в палаты. Палаты еще лучше. Провел крестный мальчика по всем горницам: одна другой лучше, одна другой веселее, и привел его к запечатанной двери.

— Видишь ли,— говорит,— эту дверь? Замка на ней нет, только печати. Отворить ее можно, да не велю я тебе. Живи ты и гуляй, где хочешь и как хочешь; всеми радостями радуйся, только один тебе заказ: в эту дверь не входи. А если и войдешь, так помни, что ты в лесу видел.

Сказал это крестный и ушел. Остался крестник один и стал жить. И так ему весело и радостно было, что думалось ему, что прожил он тут только три часа, а прожил он тут тридцать лет. И как прошло тридцать лет, подошел крестник к запечатанной двери и подумал:

«Отчего не велел мне крестный входить в эту горницу? Дай пойду посмотрю, что там такое?»

Толкануд дверь, отскочили печати, отворилась дверь. Вошел крестник и видит — палаты больше всех и лучше всех, и в середине палат стоит золотой престол. Походил, походил крестник по палатам и подошел к престолу, вошел по ступеням и сел. Сел и видит — у престола жезл стоит. Взял крестник в руки жезл. Только что взял в руки жезл, вдруг отвалились все четыре стены в палатах. Поглядел кругом себя крестник и видит весь мир и все, что в миру люди делают. Посмотрел прямо — видит море, корабли плавают. Посмотрел вправо — видит: чужие, не христианские народы живут. Посмотрел в левую сторону — христианские, да не русские живут. Посмотрел в четвертую сторону — наши русские живут. «Дай,— говорит,— посмотрю, что у нас дома делается, хорошо ли у нас хлеб родился?» Посмотрел на поле на свое, видит, крестцы стоят. Стал он считать крестцы, много ли хлеба, и видит, едет на поле телега и сидит в ней мужик. Думал крестник, что родитель его едет ночью снопы поднимать. Смотрит: это Василий Кудряшов, вор, едет. Подъехал к копнам, стал накладывать. Досадно стало крестнику. Закричал он: «Батюшка, снопы с поля крадут!»

Проснулся отец в ночном. «Приснилось мне,— говорит,— что снопы крадут: дай поеду посмотрю». Сел на лошадь — поехал.

Приезжает на поле, увидал Василия, скричал мужиков. Избили Василия. Связали, повели в острог.

Поглядел еще крестник на город, где его крестная жила. Видит, замужем она за купцом. И лежит она, спит, а муж ее встал, идет к любовнице. Закричал крестник купчихе: «Вставай, твой муж худыми делами занялся».

Вскочила крестная, оделась, разыскала, где ее муж, посрамила, избила любовницу и мужа от себя прогнала.

Поглядел еще крестник на свою мать и видит, лежит она в избе, и влез в избу разбойник и стал сундук ломать.

Проснулась мать, закричала. Увидал разбойник, схватил топор, замахнулся на мать, хочет ее убить.

Не сдержался крестник, как пустит жезлом в разбойника, прямо в висок ему попал, убил на месте.

Только убил крестник разбойника, опять затворились стены, стали опять палаты, как были.

Отворилась дверь, входит крестный. Подошел крестный к сыну своему, взял его за руку, свел с престола и говорит:

— Не послушал ты моего приказания: одно худое дело сделал — отворил запрещенную дверь; другое худое дело сделал — на престол взошел и в руки мой жезл взял; третье худое дело сделал — много зла на свете прибавил. Коли бы ты еще час посидел, ты бы половину людей перепортил.

И ввел крестный опять крестника на престол, взял в руки жезл. И опять отвалились стены, и все видно стало.

И сказал крестный:

— Смотри теперь, что ты своему отцу сделал: Василий теперь год в остроге просидел, всем злодействам научился и остервенел совсем. Смотри, вон он у отца твоего двух лошадей угнал и, видишь, ему уж и двор запаливает. Вот что ты своему отцу сделал.

Только увидал крестник, что загорелся отцов двор, закрыл от него это крестный, велел смотреть в другую сторону.

— Вот,— говорит,— муж твоей крестной уж год теперь, как бросил жену, с другими на стороне гуляет, а она с горя пить стала, а любовница его прежняя совсем пропала. Вот что ты с своей крестной сделал.

Закрыл и это крестный, показал на его дом. И увидал он свою мать: плачет она о своих грехах, кается, говорит: «Лучше бы меня тогда разбойник убил,— не наделала бы я столько грехов».

— Вот что ты своей матери сделал.

Закрыл и это крестный и показал вниз. И увидал крестник разбойника: держат разбойника два стража перед темницей. И сказал ему крестный:

— Этот человек девять душ загубил. Ему бы надо самому свои грехи выкупать, а ты его убил, все грехи его на себя снял. Теперь тебе за все его грехи отвечать. Вот что ты сам себе сделал. Медведица раз чурбан толканула — медвежат потревожила; другой раз толканула — пестуна убила, а третий раз толканула — сама себя погубила. То же и ты сделал. Даю тебе теперь сроку на

тридцать лет. Иди в мир выкупай разбойниковы грехи. Если не выкупишь, тебе на его место идти.

И сказал крестник:

— Как же мне его грехи выкупить?

И сказал крестный:

— Когда в мире столько же зла изведешь, сколько завел, тогда и свои и разбойниковы грехи выкупишь.

И спросил крестник:

— Как же в мире зло изводить?

Сказал крестный:

— Иди ты прямо на восход солнца, придет поле, на поле люди. Примечай, что люди делают, и научи их тому, что знаешь. Потом иди дальше, примечай то, что увидишь; придешь на четвертый день к лесу, в лесу келья, в келье старец живет, расскажи ему все, что было. Он тебя научит. Когда все сделаешь, что тебе старец велит, тогда свои и разбойниковы грехи выкупишь.

Сказал так крестный и выпустил крестника за ворота.

VII

Пошел крестник. Идет и думает: «Как мне на свете зло изводить? Изводят на свете зло тем, что злых людей в ссылки ссылают, в тюрьмы сажают и казнями казнят. Как же мне делать, чтобы зло изводить, а на себя чужих грехов не снимать?» Думал, думал крестник, не мог придумать.

Шел, шел, приходит к полю. На поле хлеб вырос — хороший, густой, и жать пора. Видит крестник, зашла в этот хлеб телушка, и увидали люди, посели верхами, гоняют по хлебу телушку из стороны в сторону. Только хочет телушка из хлеба выскочить, наедет другой, испугается телушка, опять в хлеб; опять за ней скачут по хлебу. А на дороге стоит баба, плачет: «Загоняют они,— говорит,— мою телушку».

И стал крестник говорить мужикам:

— Зачем вы так делаете? Вы выезжайте все вон из хлеба. Пусть хозяйка свою телушку покличет.

Послушались люди. Подошла баба к краю, начала кликать: «Тпрюси, тпрюси, буреночка, тпрюси, тпрюси!..» Насторожила телушка уши, послушала, послушала, побежала к бабе, прямо ей под подол мордой,— чуть с

ног не сбила. И мужики рады, и баба рада, и телушка рада.

Пошел крестник дальше и думает: «Вижу я теперь, что зло от зла умножается. Что больше гоняют люди зло, то больше зла разводят. Нельзя, значит, зло злом изводить. А чем его изводить — не знаю. Хорошо, как телушка хозяйку послушала, а то как не послушает, как ее вызвать?»

Думал, думал крестник, ничего не придумал, пошел дальше.

VIII

Шел, шел, приходит к деревне. Попросился в крайней избе ночевать. Пустила хозяйка. В избе никого нет, только одна хозяйка моет.

Вошел крестник, влез на печку и стал глядеть, что хозяйка делает; видит — вымыла хозяйка избу, стала стол мыть. Вымыла стол, стала вытирать грязным ручником. Станет в одну сторону стирать — не вытирается стол. От грязного ручника полосами грязь по столу. Станет в другую сторону стирать — одни полосы сотрет, другие сделает. Станет опять вдоль вытирать — опять то же. Начкает грязным ручником; одну грязь сотрет, другую наляпит. Поглядел, поглядел крестник, говорит:

— Что ж ты это, хозяюшка, делаешь?

— Разве не видишь,— говорит,— к празднику мою. Да вот никак стол не домою, все грязно, измучилась совсем.

— Да ты бы,— говорит,— ручник выполоскала, а тогда б стирала.

Сделала так хозяйка, живо вымыла стол.

— Спасибо,— говорит,— что научил.

Наутро распрощался крестник с хозяйкой, пошел дальше. Шел, шел, пришел в лес. Видит — гнут мужики ободья. Подошел крестник, видит — кружатся мужики, а обод не загибается.

Поглядел крестник, видит — кружится у мужиков стуло, нет в нем державы. Посмотрел крестник и говорит:

— Что это вы, братцы, делаете?

— Да вот ободья гнем. И два раза парили, измучились совсем,— не загибаются.

— Да вы, братцы, стуло-то укрепите, а то вы с ним вместе кружитесь.

Послушались мужики, укрепили стуло, пошло у них дело на лад.

Переночевал у них крестник, пошел дальше. Весь день и ночь шел, перед зарей подошел к гуртовщикам, прилег он около них. И видит: уставили гуртовщики скотину и разводят огонь. Взяли сухих веток, зажгли, не дали разгореться, наложили на огонь сырого хворосту. Зашипел хворост, затух огонь. Взяли гуртовщики еще суши, зажгли, опять навалили хворосту сырого, опять затушили. Долго бились, не разожгли огня.

И сказал крестник:

— Вы не спешите хворост накладывать, а прежде разожгите хорошенько огонь. Когда жарко разгорится, тогда уж накладывайте.

Сделали так гуртовщики; разожгли сильно, наложили хворост. Занялся хворост, разгорелся костер. Побыл с ними крестник и пошел дальше. Думал, думал крестник, к чему он эти три дела видел,— не мог понять.

IX

Шел, шел крестник, прошел день. Приходит в лес, в лесу — келья. Подходит крестник к келье, стучится. Спрашивает из кельи голос:

— Кто там?

— Грешник великий, иду чужие грехи выкупать.

Вышел старец и спрашивает:

— Какие такие чужие грехи на тебе?

Рассказал ему все крестник: и про отца крестного, и про медведицу с медвежатами, и про престол в запечатанной палате, и про то, что ему крестный велел, и про то, как он на поле мужиков видел, как они весь хлеб стоптали и как телушка к хозяйке сама вышла.

— Понял я,— говорит,— что нельзя зло злом изводить, а не могу понять, как его изводить надо. Научи меня.

И сказал старец:

— А скажи мне, что ты еще по дороге видел?

Рассказал ему крестник про бабу, как она мыла, и про мужиков, как они ободья гнули, и про пастухов, как они огонь разводили.

Выслушал старец, вернулся в келью, вынес топоришко щербатый.

– Пойдем,— говорит.

Отошел старец на поприще от кельи, показал на дерево.

– Руби,— говорит.

Срубил крестник, упало дерево.

– Руби теперь натрое.

Разрубил крестник натрое. Зашел опять в келью старец, принес огня.

— Сожги,— говорит,— эти три чурака.

Развел крестник огонь, сжег три чурака, остались три головешки.

— Зарой в землю наполовину. Вот так.

Зарыл крестник.

– Видишь, под горой река, носи оттуда воду во рту, поливай. Эту головешку поливай так, как ты бабу учил. Эту поливай, как ты ободчиков научил. А эту поливай, как ты пастухов научил. Когда прорастут все три и из головешек три яблони вырастут, тогда узнаешь, как в людях зло изводить, тогда и грехи выкупишь.

Сказал это старец и ушел в свою келью. Думал, думал крестник, не мог понять, что ему сказал старец. А стал делать, как ему велено.

X

Пошел крестник к реке, набрал полон рот воды, вылил на головешку, пошел еще и еще: сто раз сходил, пока землю около одной головешки смочил. Потом еще: полил другие две. Уморился крестник, захотелось ему есть. Пошел в келью у старца пищи попросить. Отворил дверь, а старец мертвый на лавочке лежит. Осмотрелся крестник, нашел сухариков, поел; нашел и заступ и стал старцу могилу копать. Ночью воду носил, поливал, а днем могилу копал. Только выкопал могилу, хотел хоронить, пришли деревни люди, старцу пищи принесли.

Узнали люди, что старец помер и благословил крестника на свое место. Похоронили люди старца, оставили крестнику хлеба; обещались принести еще и ушли.

И остался крестник на старцевом месте жить. Живет крестник, кормится тем, что ему люди носят, и повеленное

дело делает — во рту из реки воду носит, головешки поливает.

Прожил так крестник год, и стало к нему много людей ходить. Прошла про него слава, что живет в лесу святой человек, спасается, ртом из-под горы воду носит, горелые пни поливает. Стало к нему много народу ходить. Стали и богатые купцы ездить, ему подарки возить. Не брал ничего себе крестник, кроме нужды, а что ему давали, то другим бедным раздавал.

И стал так жить крестник: половину дня воду во рту носит, головешки поливает, а другую половину отдыхает и народ принимает.

И стал думать крестник, что так ему велено жить, этим самым зло изводить и грехи выкупать.

Прожил так крестник и другой год, ни одного дня не пропустил, чтобы не полить, а все не проросла ни одна головешка.

Сидит он раз в келье, слышит — едет мимо него человек верхом и песни поет. Вышел крестник, посмотрел, что за человек. Видит — человек сильный, молодой. Одежда на нем хорошая, и лошадь и седло под ним дорогие.

Остановил его крестник и спросил, что он за человек и куда едет.

Остановился человек.

— Я,— говорит,— разбойник, езжу по дорогам, людей убиваю: что больше людей убью, то веселей песни пою.

Ужаснулся крестник, думает: «Как в таком человеке зло извести? Хорошо мне тем говорить, которые ко мне ходят, сами каются. А этот злом хвалится». Ничего не сказал крестник, пошел прочь да подумал: «Как теперь быть, повадится этот разбойник здесь ездить, напугает он народ, перестанут ко мне люди ходить. И им пользы не будет, да и мне тогда как жить будет?»

И остановился крестник. И стал разбойнику говорить:

— Сюда,— говорит,— ко мне люди ходят не злом хвалиться, а каяться и грехи отмаливать. Покайся и ты, если бога боишься; а не хочешь каяться, так уезжай отсюда и не приезжай никогда, меня не смущай и народ от меня не отпугивай. А если не послушаешь, покарает тебя бог.

Засмеялся разбойник.

— Не боюсь,— говорит,— я бога и тебя не послушаю. Ты мне не хозяин. Ты,— говорит,— своим богомольством

рмишься, а я разбоем кормлюсь. Всем кормиться надо. Ты баб, что к тебе ходят, учи, а меня учить нечего. А за то, что ты мне про бога помянул, я завтра лишних двух людей убью. И тебя бы нынче убил, да не хочется руки марать. А впредь не попадайся.

Погрозил так разбойник и уехал. И не проезжал больше разбойник, и жил крестник по-прежнему спокойно. Прожил так крестник восемь лет, и скучно ему стало.

XI

Полил раз ночью крестник свои головешки, пришел к келью отдохнуть и сидит, глядит на тропочку, скоро ли народ придет. И не пришел в этот день ни один человек. Просидел крестник один до вечера, и скучно ему стало, и задумался он о своей жизни. Вспомнил он, как разбойник его укорил за то, что он своим богомольством кормится. И оглянулся крестник на свою жизнь: «Не так, думаю, я живу, как мне старец велел. Старец мне епитимью наложил, а я из нее хлеб да славу людскую сделал. И так соблазнился на нее, что скучно мне, когда ко мне народ не ходит. А когда ходит народ, то я только и радуюсь тому, как они мою святость прославляют. Не так жить надо. Запутался я славой людскою. Прежних грехов не выкупил, а новые нажил. Уйду я в лес, в другое место, чтоб меня народ не нашел. Стану один жить так, чтобы старые грехи выкупать, а новых не наживать».

Подумал так крестник и взял мешочек сухарей и заступ и пошел прочь от кельи к оврагу, чтобы в глухом месте себе земляночку выкопать — от людей укрыться.

Идет крестник с мешочком и с заступом, наезжает на него разбойник. Испугался крестник, хотел бежать, да догнал его разбойник.

— Куда идешь? — говорит.

Рассказал ему крестник, что хочет он от народа уйти в такое место, чтобы никто к нему не ходил. Удивился разбойник.

— Чем же ты,— говорит,— теперь кормиться будешь, когда к тебе люди ходить не будут?

И не подумал об этом прежде крестник, а как спросил его разбойник, вспомнил он и про пищу.

— А чем бог даст,— говорит.

Ничего не сказал разбойник, поехал дальше.

«Что ж,— думает крестник,— я ему ничего про его жизнь не сказал! Может, он теперь покается. Нынче он как будто помягче, и не грозится убить». И прокричал крестник вслед разбойнику:

— А все ж тебе покаяться надо. От бога не уйдешь.

Повернул лошадь разбойник. Выхватил нож из-за пояса, замахнулся на крестника. Испугался крестник, убежал в лес.

Не стал его догонять разбойник, только сказал:

— Два раза простил тебя, старик, в третий не попадайся — убью!

Сказал так и уехал. Пошел вечером крестник головешки поливать, глядь — одна ростки пустила. Яблонька из нее растет.

XII

Скрылся от людей крестник и стал один жить. Вышли у него сухари. «Ну, думает, теперь корешков поищу». Только пошел искать, видит — на суку мешочек с сухарями висит. Взял его крестник и стал кормиться.

Только вышли сухари, опять другой мешочек на том же суку нашел. И жил так крестник. Только одно у него горе было — разбойника боялся. Как заслышит разбойника, так спрячется, думает: «Убьет он меня, так и не успеешь грехов выкупить».

Прожил так еще десять лет. Яблонька одна росла, а две головешки как были головешками, так и оставались.

Встал раз рано крестник, пошел свое дело исполнять, смочил землю у головешек, уморился и присел отдохнуть. Сидит, отдыхает и думает: «Согрешил я — стал смерти бояться. Захочет бог, так и смертью грехи выкупишь». Только подумал так, вдруг слышит — едет разбойник, ругается. Услыхал крестник и думает: «Кроме бога, ни дого, ни доброго ни от кого мне не будет»,— и пошел разбойнику навстречу. Видит: едет разбойник не один, везет за собой на седле человека. А у человека и рук и рот завязаны. Молчит человек, а разбойник на него ругается. Подошел крестник к разбойнику, стал перед лошадью.

— Куда ты,— говорит,— этого человека везешь?

— А везу в лес. Это купцов сын. Не сказывает он, где отцовские деньги спрятаны. Буду я его до тех пор пороть, пока он скажет.

И хотел разбойник проехать. Да не пустил крестник, схватил лошадь за узду.

— Отпусти,— говорит,— этого человека.

Рассердился разбойник на крестника, замахнулся на него.

— Иль,— говорит,— и тебе того же хочется? Я тебе обещал, что убью. Пусти.

Не испугался крестник.

— Не пущу,— говорит.— Не боюсь я тебя, я только бога боюсь. А бог не велит пускать. Отпусти человека.

Нахмурился разбойник, выхватил нож, перерезал веревки, пустил купцова сына.

— Убирайтесь,— говорит,— вы оба, не попадайтесь в другой раз.

Соскочил купцов сын, побежал. Хотел разбойник проехать, да остановил его еще крестник; стал ему еще говорить, чтобы бросил он свою дурную жизнь. Постоял разбойник, выслушал все, ничего не сказал и уехал.

Наутро пошел крестник поливать головешки. Глядь, другая проросла,— тоже яблонька растет.

XIII

Прошло еще десять лет. Сидит раз крестник, ничего ему не хочется, ничего не боится, и радуется в нем сердце. И думает себе крестник: «Какая людям от бога благодать! А мучают они себя понапрасну. Жить бы да жить им в радости». И вспомнил он про все зло людское, как они себя мучают. И жалко ему стало людей. «Напрасно, думает, я так живу; пойти надо сказать людям, что я знаю».

Только подумал он и слышит — едет разбойник. Простил он его и думает: «С этим что и говорить, не пойдет».

Подумал сперва так, а потом передумал, вышел на дорогу. Едет разбойник пасмурный, в землю смотрит. Поглядел на него крестник, и жалко ему стало, подбежал к нему, ухватил его за колено.

— Брат милый,— говорит,— пожалей свою душу! Ведь в тебе дух божий. Мучаешься ты, и других мучаешь, и еще хуже мучаться будешь. А бог тебя как любит, какую тебе благодать припас! Не губи ты себя, братец. Перемени свою жизнь.

Нахмурился разбойник, отвернулся.

— Отстань,— говорит.

Обхватил крестник еще крепче разбойника за колено и слезами заплакал.

Поднял глаза разбойник на крестника. Смотрел, смотрел, слез с лошади и пал перед крестником на колена.

— Победил,— говорит,— ты меня, старик. Двадцать лет я с тобой боролся. Осилил ты меня. Не властен я теперь над собой. Делай со мной, что хочешь. Когда ты меня,— говорит,— в первый раз уговаривал, я только больше озлился. А задумался я,— говорит,— над твоими речами только тогда, когда ты от людей уходил и узнал, что тебе самому от людей ничего не нужно.

И вспомнил крестник, что тогда только баба стол вымыла, когда ручник выполоскала: перестал он о себе заботиться, очистил сердце и стал другие сердца очищать.

И сказал разбойник:

— А повернулось во мне сердце тогда, когда ты смерти не побоялся.

И вспомнил крестник, что тогда только ободчики ободья загибать стали, когда стуло утвердили: перестал он смерти бояться, утвердил свою жизнь в боге и покорилось непокорное сердце.

И сказал разбойник:

— А растаяло во мне вовсе сердце, только когда ты пожалел меня и заплакал передо мною.

Обрадовался крестник, повел с собой разбойника к тому месту, где головешки были. Подошли они, а из последней головешки тоже яблоня выросла. И вспомнил крестник, что тогда загорелись сырые дрова у пастухов, когда разжегся большой огонь. Разгорелось в нем сердце и разожгло другое.

И обрадовался крестник тому, что он теперь грехи выкупил.

Сказал это все разбойнику и помер. Похоронил его разбойник, стал жить, как велел ему крестник, и так людей учить.

РАБОТНИК ЕМЕЛЬЯН И ПУСТОЙ БАРАБАН

Жил Емельян у хозяина в работниках. Идет раз Емельян по лугу на работу, глядь — прыгает перед ним лягушка; чуть-чуть не наступил на нее. Перешагнул через нее Емельян. Вдруг слышит: кличет его кто-то сзади. Оглянулся Емельян, видит — стоит красавица девица и говорит ему:

— Что ты, Емельян, не женишься?

— Как мне, девица милая, жениться? Я весь тут, нет у меня ничего, никто за меня не пойдет.

И говорит девица:

— Возьми меня замуж!

Полюбилась Емельяну девица.

— Я,— говорит,— с радостью, да где мы жить будем?

— Есть,— говорит девица,— о чем думать! Только бы побольше работать да поменьше спать — а то везде и одеты и сыты будем.

— Ну, что ж,— говорит,— ладно. Женимся. Куда ж пойдем?

— Пойдем в город.

Пошел Емельян с девицей в город. Свела его девица в домишко небольшой, на краю. Женились и стали жить.

Ехал раз царь за город. Проезжает мимо Емельянова двора, и вышла Емельянова жена посмотреть царя. Увидал ее царь, удивился: «Где такая красавица родилась?» Остановил царь коляску, подозвал жену Емельяна, стал ее спрашивать:

— Кто,— говорит,— ты?

— Мужика Емельяна жена,— говорит.

— Зачем ты,— говорит,— такая красавица, за мужика пошла? Тебе бы царицей быть.

— Благодарю,— говорит,— на ласковом слове. Мне и за мужиком хорошо.

Поговорил с ней царь и поехал дальше. Вернулся во дворец. Не идет у него из головы Емельянова жена. Всю ночь не спал, все думал он, как бы ему у Емельяна жену отнять. Не мог придумать, как сделать. Позвал своих слуг, велел им придумать. И сказали слуги царские царю:

— Возьми ты,— говорят,— Емельяна к себе во дворец в работники. Мы его работой замучаем, жена вдовой останется, тогда ее взять можно будет.

Сделал так царь, послал за Емельяном, чтобы шел к нему в царский дворец, в дворники, и у него во дворе с женой жил.

Пришли послы, сказали Емельяну. Жена и говорит мужу:

— Что ж,— говорит,— иди. День работай, а ночью ко мне приходи.

Пошел Емельян. Приходит во дворец; царский приказчик и спрашивает его:

— Что ж ты один пришел, без жены?

— Что ж мне,— говорит,— ее водить: у нее дом есть.

Задали Емельяну на царском дворе работу такую, что двоим впору. Взялся Емельян за работу и не чаял все кончить. Глядь, раньше вечера все кончил. Увидал приказчик, что кончил, задал ему на завтра вчетверо.

Пришел Емельян домой. А дома у него все выметено, прибрано, печка истоплена, всего напечено, наварено. Жена сидит за станом, ткет, мужа ждет. Встретила жена мужа; собрала ужинать, накормила, напоила; стала его про работу спрашивать.

— Да что,— говорит,— плохо: не по силам уроки задают, замучают они меня работой.

— А ты,— говорит,— не думай об работе и назад не оглядывайся и вперед не гляди, много ли сделал и много ли осталось. Только работай. Все вовремя поспеет.

Лег спать Емельян. Наутро опять пошел. Взялся за работу, ни разу не оглянулся. Глядь — к вечеру все готово, засветло пришел домой ночевать.

Стали еще и еще набавлять работу Емельяну, и все к сроку кончает Емельян, ходит домой ночевать. Прошла неделя. Видят слуги царские, что не могут они черной

работой донять мужика; стали ему хитрые работы задавать. И тем не могут донять. И плотницкую, и каменную, и кровельную работу — что ни зададут, — все делает к сроку Емельян, к жене ночевать идет. Прошла другая неделя. Позвал царь своих слуг и говорит:

— Или я вас задаром хлебом кормлю? Две недели прошло, а все ничего я от вас не вижу. Хотели вы Емельяна работой замучать, а я из окна вижу, как он каждый день идет домой, песни поет. Или вы надо мной смеяться вздумали?

Стали царские слуги оправдываться.

— Мы,— говорят,— всеми силами старались его сперва чёрной работой замучать, да ничем не возьмешь его. Всякое дело как метлою метет, и устали в нем нет. Стали мы ему хитрые работы задавать, думали, у него ума не достанет; тоже не можем донять. Откуда что берется! До всего доходит, все делает. Не иначе как либо в нем самом, либо в жене его колдовство есть. Он нам и самим надоел. Хотим мы теперь ему такое дело задать, чтобы *нельзя было ему сделать*. Придумали мы ему велеть в один день собор построить. Призови ты Емельяна и вели ему в один день против дворца собор построить. А не построит он, тогда можно ему за ослушание голову отрубить.

Послал царь за Емельяном.

— Ну,— говорит,— вот тебе мой приказ: построй ты мне новый собор против дворца на площади, чтоб к завтрему к вечеру готово было. Построишь — я тебя награжу, а не построишь — казню.

Отслушал Емельян речи царские, повернулся, пошел домой. «Ну, думает, пришел мой конец теперь». Пришел домой к жене и говорит:

— Ну,— говорит,— собирайся, жена: бежать надо куда попало, а то ни за что пропадем.

— Что ж,— говорит,— так заробел, что бежать хочешь?

— Как же,— говорит,— не заробеть? Велел мне царь завтра в один день собор построить. А если не построю, грозится голову отрубить. Одно остается — бежать, пока время.

Не приняла жена этих речей.

— У царя солдат много, повсюду поймают. От него не уйдешь. А пока сила есть, слушаться надо.

— Да как же слушаться, когда не по силам?

— И... батюшка! не тужи, поужинай да ложись: поутро вставай пораньше, все успеешь.

Лег Емельян спать. Разбудила его жена.

— Ступай,— говорит,— скорей достраивай собор; вот тебе гвозди и молоток: там тебе на день работы осталось.

Пошел Емельян в город, приходит — точно, новый собор посередь площади стоит. Немного не кончен. Стал доделывать Емельян, где надо: к вечеру все исправил.

Проснулся царь, посмотрел из дворца, видит — собор стоит. Емельян похаживает, кое-где гвоздики приколачивает. И не рад царь собору, досадно ему, что не за что Емельяна казнить, нельзя его жену отнять.

Опять призывает царь своих слуг:

— Исполнил Емельян и эту задачу, не за что его казнить. Мала,— говорит,— и эта ему задача. Надо что похитрей выдумать. Придумайте, а то я вас прежде его расказню.

И придумали ему слуги, чтобы заказал он Емельяну реку сделать, чтобы текла река вокруг дворца, а по ней бы корабли плавали. Призвал царь Емельяна, приказал ему новое дело.

— Если ты,— говорит,— в одну ночь мог собор построить, так можешь ты и это дело сделать. Чтобы завтра было все по моему приказу готово. А не будет готово, голову отрублю.

Опечалился еще пуще Емельян, пришел к жене сумрачный.

— Что,— говорит жена,— опечалился, или еще новое что царь заказал?

Рассказал ей Емельян.

— Надо,— говорит,— бежать.

А жена говорит:

— Не убежишь от солдат, везде поймают. Надо слушаться.

— Да как слушаться-то?

— И... — говорит,— батюшка, ни о чем не тужи. Поужинай да спать ложись. А вставай пораньше, все будет к поре.

Лег Емельян спать. Поутру разбудила его жена.

— Иди,— говорит,— ко дворцу, все готово. Только у пристани, против дворца, бугорок остался; возьми заступ, сровняй.

Пошел Емельян; приходит в город; вокруг дворца ре-
, корабли плавают. Подошел Емельян к пристани про-
а дворца, видит — неровное место, стал ровнять.

Проснулся царь, видит — река, где не было; по реке рабли плавают, и Емельян бугорок заступом ровняет. аснулся царь; и не рад он и реке и кораблям, а досадно ему, что нельзя Емельяна казнить. Думает себе: «Нет такой задачи, чтоб он не сделал. Как теперь быть?»

Призвал слуг своих, стал с ними думать.

— Придумайте,— говорит,— мне такую задачу, чтобы не под силу было Емельяну. А то, что мы ни выдумывали, он все сделал, и нельзя мне у него жены отобрать.

Думали, думали придворные и придумали. Пришли к царю и говорят:

— Надо Емельяна позвать и сказать: поди туда — не знай куда, и принеси того — не знай чего. Тут уж ему нельзя будет отвертеться. Куда бы он ни пошел, ты скажешь, что он не туда пошел, куда надо; и чего бы он ни принес, ты скажешь, что не то принес, чего надо. Тогда его и казнить можно и жену его взять.

Обрадовался царь.

— Это,— говорит,— вы умно придумали.

Послал царь за Емельяном и сказал ему:

— Поди туда — не знай куда, принеси того — не знай чего. А не принесешь, отрублю тебе голову.

Пришел Емельян к жене и говорит, что ему царь сказал. Задумалась жена.

— Ну,— говорит,— на его голову научили царя. Теперь умно делать надо.

Посидела, посидела, подумала жена и стала говорить мужу:

— Идти тебе надо далеко, к нашей бабушке к старинной, мужицкой, солдатской матери, надо ее милости просить. А получишь от нее штуку, иди прямо во дворец, и я там буду. Теперь уж мне их рук не миновать. Они меня силой возьмут, да только ненадолго. Если все сделаешь, как бабушка тебе велит, ты меня скоро выручишь.

Собрала жена мужа, дала ему сумочку и дала веретенце.

— Вот это,— говорит,— ей отдай. По этому она узнает, что ты мой муж.

Показала жена ему дорогу. Пошел Емельян, вышел за город, видит — солдаты учатся. Постоял, посмотрел

Емельян. Поучились солдаты, сели отдохнуть. Подошел к ним Емельян и спрашивает:

— Не знаете ли, братцы, где идти туда — не знай куда, и как принести того — не знай чего?

Услыхали это солдаты и удивились.

— Кто,— говорят,— тебя послал искать?

— Царь,— говорит.

— Мы сами,— говорят,— вот с самого солдатства ходим туда — не знай куда, да не можем дойти, и ищем того — не знай чего, да не можем найти. Не можем тебе пособить.

Посидел Емельян с солдатами, пошел дальше. Шел, шел, приходит в лес. В лесу избушка. В избушке старая старуха сидит, мужицкая, солдатская мать, кудельку прядет, сама плачет и пальцы не во рту слюнями, а в глазах слезами мочит. Увидала старуха Емельяна, закричала на него:

— Чего пришел?

Подал ей Емельян веретенце и сказал, что его жена прислала. Сейчас помягчала старуха, стала спрашивать. И стал Емельян сказывать всю свою жизнь, как он на девице женился, как перешел в город жить, как его к царю в дворники взяли, как он во дворце служил, как собор построил и реку с кораблями сделал и как ему теперь царь велел идти туда — не знай куда, принести того — не знай чего.

Отслушала старушка и перестала плакать. Стала сама с собою бормотать:

— Дошло, видно, время. Ну, ладно,— говорит,— садись, сынок, поешь.

Поел Емельян, и стала старуха ему говорить:

— Вот тебе,— говорит,— клубок. Покати ты его перед собой и иди за ним, куда он катиться будет. Идти тебе будет далеко, до самого моря. Придешь к морю, увидишь город большой. Войди в город, просись в крайний двор ночевать. Тут и ищи того, что тебе нужно.

— Как же я, бабушка, его узнаю?

— А когда увидишь то, чего лучше отца, матери слушают, оно то и есть. Хватай и неси к царю. Принесешь к царю, он тебе скажет, что не то ты принес, что надо. А ты тогда скажи: «Коли не то, так разбить его надо», да ударь по штуке по этой, а потом снеси ее к реке,

разбей и брось в воду. Тогда и жену вернешь, и мои слезы осушишь.

Простился с бабушкой, пошел Емельян, покатил клубок. Катил, катил — привел его клубок к морю. У моря город большой. С краю высокий дом. Попросился Емельян в дом ночевать. Пустили. Лег спать. Утром рано проснулся, слышит — отец поднялся, будит сына, посылает дров нарубить. И не слушается сын.

— Рано еще,— говорит,— успею.

Слышит — мать с печки говорит:

— Иди, сынок, у отца кости болят. Разве ему самому идти? Пора.

Только почмокал губами сын и опять заснул. Только заснул, вдруг загремело, затрещало что-то на улице. Вскочил сын, оделся и выбежал на улицу. Вскочил и Емельян, побежал за ним смотреть, что то такое гремит и чего сын лучше отца, матери послушался.

Выбежал Емельян, видит — ходит по улице человек, носит на пузе штуку круглую, бьет по ней палками. Она-то и гремит; ее-то сын и послушался. Подбежал Емельян, стал смотреть штуку. Видит: круглая, как кадушка, с обоих боков кожей затянута. Стал он спрашивать, как она зовется.

— Барабан,— говорят.

— А что же он — пустой?

— Пустой,— говорят.

Подивился Емельян и стал просить себе эту штуку. Не дали ему. Перестал Емельян просить, стал ходить за барабанщиком. Целый день ходил и, когда лег спать барабанщик, схватил у него Емельян барабан и убежал с ним. Бежал, бежал, пришел домой в свой город. Думал жену повидать, а ее уж нет. На другой день ее к царю увели.

Пошел Емельян во дворец, велел об себе доложить: пришел, мол, тот, что ходил туда — не знай куда, принес того — не знай чего. Царю доложили. Велел царь Емельяну завтра прийти. Стал просить Емельян, чтобы опять доложили.

— Я,— говорит,— нынче пришел, принес, что велел, пусть ко мне царь выйдет, а то я сам пойду.

Вышел царь.

— Где,— говорит,— ты был?

Он сказал.

— Не там,— говорит. — А что принес?

Хотел показать Емельян, да не стал смотреть царь.

— Не то,— говорит.

— А не то,— говорит,— так разбить ее надо, и черт с ней.

Вышел Емельян из дворца с барабаном и ударил по нем. Как ударил, собралось все войско царское к Емельяну. Емельяну честь отдают, от него приказа ждут. Стал на свое войско из окна царь кричать, чтобы они не шли за Емельяном. Не слушают царя, все за Емельяном идут. Увидал это царь, велел к Емельяну жену вывести и стал просить, чтоб он ему барабан отдал.

— Не могу,— говорит Емельян. — Мне,— говорит,— его разбить велено и оскретки в реку бросить.

Подошел Емельян с барабаном к реке, и все солдаты за ним пришли. Пробил Емельян у реки барабан, разломал в щепки, бросил его в реку — и разбежались все солдаты. А Емельян взял жену и повел к себе в дом.

И с тех пор царь перестал его тревожить. И стал он жить-поживать, добро наживать, а худо — проживать.

Незаконченное

Наброски



ФРАГМЕНТЫ НЕЗАВЕРШЕННЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ РОМАНОВ

[РОМАН О ВРЕМЕНИ ПЕТРА I] [1]

[ПЕРЕХОД ВЛАСТИ ОТ СОФЬИ К ПЕТРУ]

I

Князь В. В. Голицын уж двенадцать лет был первый человек в русском царстве. При царе Федоре Алексеиче и потом при царевне Софье он правил, как хотел, русским царством, только не назывался царем, а богатства и власти было столько же, сколько у царя — что хотел, то и делал. Он был и хитер и разумен, но пришло время, и почуял он, что конец его царству. Меньшой царь Петр Алексеевич подрос, женился, и стали около него люди поговаривать, что не все одному князю с царевной царствовать именем старшего царя Ивана (царь Иван был больной и убогий), что пора подрезать царевне с ее князем крылья, пора настоящему царю в свою власть вступить.

Василий Васильевич ждал этого, но и ждал, что царевна Софья не допустит до этого меньшого брата. Так и случилось. Когда вернулся летом из Крымского похода князь Василий Васильич и меньшому царю наговорили, что князь Василий Васильич в походе понапрасну погубил много казны и народа, царевна заспорила, велела раздавать походным людям большие награды, а князь Василий Васильич стал еще больше подбивать царевну. Он ей говорил:

— Хоть бы знать, государыня, кому служил. Тогда бы и знали, за что ждать награды, а за что наказанье. Выходит дело на то, что мы, воеводы,— и до последнего

[1] Квадратными скобками обозначен редакторский текст.

ратника, пот и кровь проливали, животы покладали, думали заслужить ласковое слово, а заслужили — и ласковое слово от тебя — на том бьем челом — и гнев, откуда не ждали. А вас с братом кто же судить будет.

От таких слов в царевне разгоралось сердце. Она говорила:

— Мы семь лет правим царством, мы царство взяли, оно шаталось. Кабы не мы, всех бы, и братишку-то мого с его матерью и дядями, всех бы побили, если бы не наша была заступа. И мы царство так подняли, что оно в большей славе стало, чем было при отце нашем и деде, и за то нам теперь хотят поперечить, нашим слугам в наградах отказывают. Так мы же не посмотрим на брата. Да и что, и разве брат наш — он знает, что делать. Всем ворочает мачеха, злая змея подколодная, с братьями да с твоим братцем Борисом.

Отвечает Голицын:

— Государыня Софья-царевна. Не от нас установлено царствовать после родителя сыну. Старшему сыну обычай был царствовать после отца. Стало быть, точный наследник царя Алексея один есть Иван Алексеич. Если ж Иван Алексеич по божьему гневу убогий, надо его отстранять и меньшого поставить на царство.

А Ивана избрали народом, стало быть, он им годился. Выбрать надо одно: или царство меньшому отдать, а тебе и Ивану постричься, или Петру указать, что не царь он, а брат он царя, так, как братом царя был при Федоре брат его младший.

И нахмурила черные брови царевна и ударила по столу пухлой ладонью.

— Не бывать ей царицей, мужичке, задушу с медвежонком медведицу злую. Ты скажи, князь Василий,— ума в тебе много,—как нам дело начать. Ты сам знаешь какое.

Усмехнулся проныра старик и, как девица красная, очи потупил.

— Не горазд я, царевна, на выдумки в царских палатах, как испортить невесту, царя извести, это дело не наше. В ратном поле служить, с злым татарином биться в степи обгорелой, недоесть, недоспать, в думе думать с послами, бог мне дал, и готов тем служить до упаду. А что хитрые мудрости, крамолы ладить в царских хоромах, у меня нет ума, и того бог мне не дал. Если думу подумать

о царстве, народе, о казне государевой, о послах, воеводах, под Азов воевать, строить храмы, мосты — я готов, а на дело в хоромах есть стрельцы, есть Леонтий Романыч, твой близкий слуга Шакловитой. Я ж устал, и жену, и детей уж давно я не видел. Поживу своим домом пока, как в скиту, а когда что велишь, я готов на всяк час. Когда примешь.

Так прожил, как в скиту, князь Василий Голицын с Петрова дни до первого спаса. Приходили к нему от царевны послы, говорили ему неподобные речи — что хотят извести мать-царицу с Петром, ее сыном, князь Василий молчал и советовал дело оставить. Покориться сходнее, говорил князь Василий, что ж, сошлют в монастырь, отберут награжденья, земли, дворы, золотые. И без них можно жить.

Еще месяц прошел, по Москве все бурлило. Меньшой царь испугался, уехал ко Троице, и приказы пришли, чтобы ко Троице шли бы все ратные люди.

Князь Василий все ждал, не вступался в смятенье. Уж не раз удавалось ему отсидеться от смуты и к тому притулиться, чья вверху была сила. Так он ждал и теперь и не верил, чтоб верх взяла матери царской Нарышкиной сила. А случилося так.

Как у барки навесит купец тереза на подставки и, насыпав в кадушку зерно, на лоток кладет гири, десять гирей положит, не тянет, одну бросит мерку, вдруг все зерно поднимает, и тяги и силы уж нету в кадке, пальцем работник ее колыхает.

Так сделалось с князем, чего он не думал. Весы поднялись, и в себя он почуял в воздухе легким. Вместо той тяги, что чуял в себе. Чуял допрежде того, что с великой силою никто его тягу поднять не поднимет, своротить не своротит, почуял, что он, как соломка, сбившись с крыши, качается ветром.

Слышал про то князь Василий, что ездила к Троице царевна с братом мириться, что к брату ее не пустили, слышал, что Романыча Шакловитого взяли стрельцы, заковали и к Троице свезли, как заводчика-вора, слышал, что ратные люди и немцы, солдаты к Троице ушли, что бояре туда, что ни день, отъезжают, слышал все это Василий Васильич Голицын-князь и знал еще многое, хоть и не слышал. Знал он, что кончилась сила его. Знал потому, что последние дни было пусто в богатых хоромах.

Непротолчно, бывало, стоят дожидают дьяки, дворяне, бояре в его... передней. А теперь никого не бывало, и холопы его — их до тысячи было, уж не те, что-то видно на лицах, и вчера спросил конюха, его нету, сказали, ушел и другие бежали. Только видел в те дни он любимого сына, невестку брюхатую да старуху Авдотью, жену распостылую.

I

Как на терезах, твердо — не двинется — сидит на земле положенная гиря и также сидит, пока на другой лоток в насыпку зерно сыплют работники, и вдруг от горсти зерна поднимается и колышется без силы от пальца ребенка, так точно после шести лет силы при царе Федоре и шести лет при царевне Софии, когда князь Василий Васильич Голицын чувствовал себя первым человеком в царстве, и все просили милости, он награждал и наказывал, и богатству его не было сметы, так после двенадцати лет, ничего не сделав, вдруг князь Василий Васильич почувствовал, что нет больше в ней силы, что он, так крепко сидевший, что ничто, казалось, не могло поколебать его, что он висит на воздухе и, как соломинка, выбившаяся из-под крыши, мотается по ветру и вот-вот оторвется и полетит незнамо куда, и никто об ней не подумает. И, как главное ядовитое зло при житейском горе, сильнее всего мучала князя та вечная злая мысль: когда же сделалось, когда началось мое горе. И в чем оно, горе. Когда я все тот же, все те же во мне силы, те же года, то же здоровье, те же дети, жена, те же мысли. Или нет горя, или я сшел с ума, что вижу, чего нет.

Василий Васильич жил в подмосковном селе Медведково и ждал. Он ждал, но сам знал, что ждет того, что не может случиться. Он ждал, как ждет человек перед умирающим близким. Он ждет, чтоб свершилось то, что быть должно, но, чтоб были силы ждать, утешает себя надеждой. Так ждал князь Василий в селе Медведково конца борьбы между сестрой царевной и братом Петром. Он называл для себя эту борьбу [борьбой] между царевной и царем, но он знал, что ни царевна, ни царь не боролись, а боролись за царя бояре — Черкасский, Б. Го-

лицын, Стрешнев и др. и за царевну стрельцы, Шакловитый, Змеев, Неплюев. Что же он не вступал в борьбу? Отчего не становился в ряды с ними, а уехал в Подмосковную и сидел праздно. Он боролся и прежде не раз, но теперь на другой стороне он видел новую силу, он видел, что невидимая сила спустила весы, и с его стороны тяжести перекатывались на другую. На той стороне была неправда. Правды нет никогда в делах правительства. Он довольно долго был сам правителем, чтобы знать это. Что же, правда была в выборе Годунова, Шуйского, Владислава, Дмитрия, Михаила. Правда была разве в выборе Петра одного, Нарышкиных, в выборе Ивана и Петра и Софьи, и какая же правда была теперь в участии Петра в правлении с Иваном? Или Иван-царь, или убогий монах, а один Петр-царь. Не правда была, а судьба. И рука судьбы видна была в том, что творилось. Руку судьбы — это знал князь Василий — чтоб узнать, есть верный знак: руку судьбы обозначают толпы не думающих по-своему. Они сыплются на одну сторону весов тысячами, тьмами, а что их посылает? — они не знают. Никто не знает. Но сила эта та, которой видоизменятся правительства. Теперь эти недумающие орудия судьбы сыпались на ту, враждебную сторону весов. Князь Василий видел это и понял, что его царство кончилось. Прозоровский ездил к Троице заступить за царевну и сам остался там. Патриарх тоже. Сама царевна ездила, и те люди, которые на смерть пошли бы за нее, выехали к ней и вернули ее. На той стороне была судьба, не право, князь Василий знал это. Право больше было на стороне Ивана, старшего в роде. Петр был младший брат только. А при Иване, как при Феодоре, должны были быть бояре — правители, и кому же, как не ему, князю Василию, быть этим правителем? Но когда судьба склоняет весы на одну сторону, другая сторона, чтоб удержать весы, употребляет средства, губящие право, и тем еще больше губит себя. При начале борьбы право было ровное, но теперь слабая сторона погубила свое право, и чем слабее она становилась, тем сильнее неправда ее становилась видна. Перекачнись весы на нашу сторону, думал князь Василий, и ясно бы стало, что Петр с злодеями, с пьяными конюхами задумали погубить старшего брата Ивана, благодет[ельницу]-правительницу и хотели убить спасшую царство от смутов и главного труженика князя Василия, и мало было

плахи для извергов. Теперь перекачнулись весы туда и ясно, как день, выступало неправо Софьи, называвшейся государыней, ее развратных любовников, которые правили царством и все под видом управления за старшего брата, безответного дурака и убогого. Мало того, теперь, что поправить весы: и другое страшное дело выступало наружу — Софья подговаривала стрельцов к бунту, и Шакловитый собирался убить молодого царя.

Князь Василий знал все это, но, хитрый старик, он не дотрогивался до весов, чтоб уравнять их, никто не видал, чтоб он приложил к ним руку. Он удалился от всего, после того как немец Гордон, тот немец, который в землю кланялся ему, просил отпуска, тот немец, который, как раб, служил ему шесть лет, пришел спросить, что делать? Из Троицы, от младшего царя пришел приказ идти с полком к Троице. Князь Василий сказал не ходить к Троице, и на другой день ушли к Троице. Князь Василий понял, что немец и другие с ним сделали это — немец бережет только свою шкуру — не потому, что он нашел, что то право, а потому, что к Троице идти было под гору, а оставаться — идти было на гору. Князь Василий понял это и с тех пор уехал в Медведково и только ждал. Каждый день летали его послы в Москву. Он знал, что делалось, и видел, что все больше и больше перевешивало и что он, как соломинка, вьется и вот оторвется, полетит по ветру. Он послал сына в Москву узнать про царевну и жил один в своей комнате. Он сидел за столом и думал. Думал уже о том, как его обвинят и как он оправдается. И чем больше он думал, тем больше он обвинял их. И ясны были ему все их вины.

Но, как это бывает с человеком в несчастии, он возвращался к своему прошедшему и искал в нем того, в чем упрекнуть себя, и, как у всякого человека, особенно правителя, было много дел, за которые и церковь, и суд, и молва могли осудить его,— и казнь Самойловича, и казни других, и казна присвоенная,— он не замечал этих дел. Одно было, что заставляло его вскакивать, старика, ударять жилистой рукой по золотному столу: это было воспоминание о толстой, короткой, старой женщине, румяненой, беленой, с черными сурьмленными бровями, злым и чувственным видом и с волосами на усах и бородавкой под двойным подбородком. Если б этого не было! Ах, если б этого не было! — говорил он себе.

Он встал на свои длинные ноги, закинул длинные руки назад, отчего спина стала еще сутуловатее, и вышел в крестовую. Там гудел голос попа домового, читавшего псалтырь.

II

Хуже всего эти последние дни было для князя Василия то, что жизнь его, до сих пор такая полная, необходимая, вдруг стала не нужна никому. За все эти двенадцать лет он не помнил дня, который бы не был полон необходимыми делами — делами, которые он один мог исполнить: быть у царя и царевны, быть в посольском приказе, подписывать, приказывать, смотреть войска, давать, отказывать в наградах и еще много и много. Так что часто он тяготился этой вечной работой и думал: «Когда это кончится и я буду свободен»,— и завидовал своему брату и другим боярам, которые жили в свое удовольствие. Теперь он был свободен, в последние шесть дней ни один человек не приехал к нему в Медведково,— его забыли. Без него могли жить люди по-старому. Он чувствовал себя свободным, и эта тишина и свобода мучали, ужасали его. Он придумывал, чем бы ему занять свои дни. Пробовал читать. Все было такое чуждое, далекое. Пробовал говорить с женой, невесткой, с любимцем Засекиным, все как будто жалели его и говорили только о том, о чем он не хотел говорить. Чтоб наполнить пустоту жизни, он целый день ел, целый день пил, то спрашивал брусничного, то клубничного меду, то варенья, то леденца, и живот болел уж у него. После шести дней сын поехал в Москву проведать, и в это самое утро, как сговорились, один за другим приезжали гости к князю Василию. Но гости были не веселые; ни один не привозил хороших вестей.

Как тереза, он висел, но ждал. Ждут весны и ждут ветра в затишье. Он ждал ветра и знал, что не будет, но когда он думал, он думал не как стоять, а как поплывет, и он думал, не как оправдает, а как обвинит. А он знал, что не будет ветра. Посыпались под гору. Он был один, и ему было жутко. Полон дом людей — Карла, шуты, но он был один. Он встал рано, как всегда. Мылся. Карла держал мыло, зачесал расческой на лоб, расправил, пошел к обедне, позавтракал и сел в комнату у окна ждать. При-

плахи для извергов. Теперь перекачнулись весы туда и ясно, как день, выступало неправо Софьи, называвшейся государыней, ее развратных любовников, которые правили царством и все под видом управления за старшего брата, безответного дурака и убогого. Мало того, теперь, что поправить весы: и другое страшное дело выступало наружу — Софья подговаривала стрельцов к бунту, и Шакловитый собирался убить молодого царя.

Князь Василий знал все это, но, хитрый старик, он не дотрогивался до весов, чтоб уравнять их, никто не видал, чтоб он приложил к ним руку. Он удалился от всего, после того как немец Гордон, тот немец, который в землю кланялся ему, просил отпуска, тот немец, который, как раб, служил ему шесть лет, пришел спросить, что делать? Из Троицы, от младшего царя пришел приказ идти с полком к Троице. Князь Василий сказал не ходить к Троице, и на другой день ушли к Троице. Князь Василий понял, что немец и другие с ним сделали это — немец бережет только свою шкуру — не потому, что он нашел, что то право, а потому, что к Троице идти было под гору, а оставаться — идти было на гору. Князь Василий понял это и с тех пор уехал в Медведково и только ждал. Каждый день летали его послы в Москву. Он знал, что делалось, и видел, что все больше и больше перевешивало и что он, как соломинка, вьется и вот оторвется, полетит по ветру. Он послал сына в Москву узнать про царевну и жил один в своей комнате. Он сидел за столом и думал. Думал уже о том, как его обвинят и как он оправдается. И чем больше он думал, тем больше он обвинял их. И ясны были ему все их вины.

Но, как это бывает с человеком в несчастии, он возвращался к своему прошедшему и искал в нем того, в чем упрекнуть себя, и, как у всякого человека, особенно правителя, было много дел, за которые и церковь, и суд, и молва могли осудить его,— и казнь Самойловича, и казни других, и казна присвоенная,— он не замечал этих дел. Одно было, что заставляло его вскакивать, старика, ударять жилистой рукой по золотному столу: это было воспоминание о толстой, короткой, старой женщине, румяненой, беленой, с черными сурьмленными бровями, злым и чувственным видом и с волосами на усах и бородавкой под двойным подбородком. Если б этого не было! Ах, если б этого не было! — говорил он себе.

Он встал на свои длинные ноги, закинул длинные руки назад, отчего спина стала еще сутуловатее, и вышел в крестовую. Там гудел голос попа домового, читавшего псалтырь.

II

Хуже всего эти последние дни было для князя Василия то, что жизнь его, до сих пор такая полная, необходимая, вдруг стала не нужна никому. За все эти двенадцать лет он не помнил дня, который бы не был полон необходимыми делами — делами, которые он один мог исполнить: быть у царя и царевны, быть в посольском приказе, подписывать, приказывать, смотреть войска, давать, отказывать в наградах и еще много и много. Так что часто он тяготился этой вечной работой и думал: «Когда это кончится и я буду свободен»,— и завидовал своему брату и другим боярам, которые жили в свое удовольствие. Теперь он был свободен, в последние шесть дней ни один человек не приехал к нему в Медведково,— его забыли. Без него могли жить люди по-старому. Он чувствовал себя свободным, и эта тишина и свобода мучали, ужасали его. Он придумывал, чем бы ему занять свои дни. Пробовал читать. Все было такое чуждое, далекое. Пробовал говорить с женой, невесткой, с любимцем Засекиным, все как будто жалели его и говорили только о том, о чем он не хотел говорить. Чтоб наполнить пустоту жизни, он целый день ел, целый день пил, то спрашивал брусничного, то клубничного меду, то варенья, то леденца, и живот болел уж у него. После шести дней сын поехал в Москву проведать, и в это самое утро, как сговорились, один за другим приезжали гости к князю Василию. Но гости были не веселые; ни один не привозил хороших вестей.

Как тереза, он висел, но ждал. Ждут весны и ждут ветра в затишье. Он ждал ветра и знал, что не будет, но когда он думал, он думал не как стоять, а как поплывет, и он думал, не как оправдает, а как обвинит. А он знал, что не будет ветра. Посыпались под гору. Он был один, и ему было жутко. Полон дом людей — Карла, шуты, но он был один. Он встал рано, как всегда. Мылся. Карла держал мыло, зачесал расческой на лоб, расправил, пошел к обедне, позавтракал и сел в комнату у окна ждать. При-

ехал Змиев — брюхатый, потом сын о Мазепе, о Борисе, о взятии Шакловитого. Потом Сашка Гладкий.

Василий Васильич не сдается, но молчит — *моложавый сухой старик.* Карлик сидит, молчит, ноги болтаются. Сын болтун, добродетельный, себя одурманивает. Говорит о праве. Василий Васильич молчит, в душе смеется.

Жена узнает, что делает В. В. Он пьет, ест, ласкает девок. Она видит, что это плохо. — Сон ей. «Прости». — Он тебя стыдится. Невестка — *жадная, завистливая, живая.* — Проваливается свекровь — бабища твердая, здоровая. Кормит грудью обеих. В. В. *просыпается.* Щетинин, верный друг, и слуга его ворочают.

Всю сентябрьскую длинную ночь не спалось князю Борису Алексеевичу Голицыну. Всю ночь он ворочался, трещал тесовой кроватью за перегородкой в келье Троицкого келаря, отца Авраамия. Только забрезжилась заря, он тяжело вздохнул, поднялся, перегнувшись, достал расшитые шелками чеботы, надел шелковые на очхуре шаровары и, вздев кафтан на широкие плечи, стал перед образом спасителя и, сложив широкие руки перед животом, нагнул большую кудрявую голову.

— Господи отец, научи твое чадо творити волю твою, господи сын Иисус Христос, научи мя уподобиться тебе, господи, дух святый, вселися в меня и через меня твори волю свою. Пресвятая богородица, ангел хранитель, Борис и Глеб, угодник Сергий, заступите за меня, научите, что делать буду... — Так он сказал и вспомнил все свои мерзости, пьянство, обжорство, любострастье и ту беду, которая теперь одолевала его душу.

Тринадцать лет прожил он дядькой при царевиче Петре Алексеевиче и только думал отслужить свою службу и уйти в монастырь спасать душу и к пятидесяти годам откачнуться от всей суеты житейской. Он ждал только того, чтобы женился, возмужал царь и стал править царством, а вышло не то: стали вздоры меж царской семьи: Софья-царевна стала мутить, и нельзя было князю Борису уйти в монастырь.

Все смешалось в царской семье. Царевна связалась с братом двоюродным Васильем Васильевичем, настроила Ивана-царя и Петра-царя забросила, и народ весь был

в смущенье. Не хотел сперва князь Борис мешаться в это дело, да нельзя было оставить, а другого никого не было. Слово за словом, дело за делом, замешался он так, что совсем расстроились царь Петр с царевной, и бросил Петр Москву и уехал к Троице. И вот четвертую неделю жил царь Петр в Троице и шла борьба промеж молодого царя и царевны. У молодого царя никого не было, и за всяким делом приходили к князю Борису: что написать, что сказать, кого куда послать. И стал князь Борис вместо монаха первым человеком при царе. И во всем удача была князю Борису. Царевну оставляли понемногу и бояре и стрельцы и немецкие полки, и с помощью угодника, чего не чаял никто, ни князь Борис, вся сила сошлась к Троице, и стал одним царем Петр Алексеич и одним дельцом князь Борис Алексеич. Тяжело было князю Борису чувствовать на себе всю тяжесть власти. Сколько греха, сколько соблазна! А пуще всего, на той стороне был старший брат Василий Васильевич и дошло дело до того, что не миновать было Василию Васильевичу плахи. И всему зачин и коновод был он, князь Борис. Подумал он, вспомнил все это, нагнул еще ниже голову, и лицо и шея его налились кровью и на глаза выступили слезы. Он прочел все молитвы, поклонился три раза в землю и кликнул холопа, калмыка, Федьку и велел подать умываться.

Прошел месяц с тех пор, как молодой царь Петр Алексеевич переехал из Москвы в Троице-Сергиевскую лавру, и за ним переехали молодая и старая царицы — жена и мать Петра Алексеевича; и по одному, и по нескольку стали переезжать из Москвы в Лавру бояре, немцы, стрелецкие сотники и головы. Во всем народе был страх: не знали, кого слушаться. В Москве оставался царь Иван Алексеич и царевна Софья Алексевна. При них ближним боярином был князь Василий Васильич Голицын. В Лавре был царь Петр Алексеич с матерью царицей; при них был ближний боярин, князь Борис Алексеич Голицын.

Во всех приказах в Москве сидели судьи от царевны Софьи Алексевны и судили, приказывали, казнили и награждали по указам царевны Софьи и князя Василья Васильича.

От царевны Софьи Алексевны и князя Василья Васильича читались указы стрельцам, немцам, солдатам, воеводам, дворянам, чтобы под страхом казни не смели ослушаться, не смели бы слушать указов из Лавры.

От царя Петра Алексеевича читались указы из Лавры, чтоб под страхом казни не смели слушаться царевны Софьи Алексевны, чтоб стрельцы, немцы, солдаты шли к Троице, чтоб воеводы высылали запасы туда же.

Уже семь лет весь народ слушался указов царевны Софьи Алексевны и Василья Васильича и слушался их в делах не малых: и войны воевали, и послов принимали, и грамоты писали, и жаловали бояр и стрельцов и деньгами, и землями, и вотчинами, и в ссылки ссылали, и пытали, и казнили людей немало. И патриарх, и царь Иван Алексеич, и сам Петр Алексеевич, меньшой царь, не спорили с царевной.

Царь Петр Алексеевич никогда народом не правил и мало входил во все дела, только слышно было про него, что он связался с немцами, пьет, гуляет с ними, постов не держит и утешается ребяческими забавами: в войну играет, кораблики строит. Кого было слушаться? Народ не знал и был в страхе. Страх был и от угрозы казни — от царевны ли, от царя ли,— но еще больше страх был от стрельцов. Только семь лет тому назад били и грабили стрельцы всех, кого хотели, и теперь тем же хвалились.

Как устанавливают тереза перед амбаром, полным зерна, когда уж собрался народ для того, чтоб начать работу — грузить хлеб на барку; как ждет хозяин, глядя на стрелку, скоро ли она остановится, а она медленно качается, переходя то в ту, то в другую сторону, так теперь остановились на мгновение весы русского народа. Но вот тереза установились, чуть, как дышит, пошевеливается стрелка, и покачивается коромысло. Хозяин кинул гири на одну сторону, и на другую посыпалось зерно в кадушку. Выравнивают, стребают, высыпают в мешки, взваливают на плечи, стучат ноги по намостьям, встречаются порожние с нагруженными; покряхтывает, опускаясь, барка, и закипела работа.

Так весь август 1689 года стояли, уравниваясь, весы правительства русского народа. Сначала были слухи, что Нарышкины и Борис Голицын мутят народ, хотят погубить царевну Софью, которая законно царствовала семь

ет; потом стал слух, что царевна Софья с Васильем Голицыным мутит народ. Потом пришло время, что никто не царствовал. Царевна Софья приказывала и грозила казнью, если не сде[лают], то царь Петр приказывал делать напротив и грозил.

В начале сентября весы выравняло, и вдруг началась работа,— началось то время, которое называется царствованием Петра Великого.

7 сентября к вечерне ударил большой колокол соборной Троицкой церкви, и в ясном осеннем воздухе тихого вечера звонко раздался благовест. Но кроме звона колокола и слов молитвы, слышались другие звуки; кроме монахов, по заведенному порядку в черных рясах и клобуках, шедших с разных сторон из келий к церковной службе, много было в монастыре других людей, думавших не о молитве. Монастырь был полон народа! В царских хоромах был царь с царицами и со всеми придворными. В обеих гостиницах было полно народа — бояре, стольники, генералы, полковники, немцы и свои. У игумена келаря стояли бояре. Все кельи простых монахов были заняты. На слободе тоже было полно народа. За воротами стрельцы и приезжие стояли обозом, как в поход. Беспрестанно то проходили офицеры в не виданном платье, то пробегал стольник в красном кафтане за какой-нибудь царской посылкой, то боярин в бобровой атласной шубе и шапке выходил на крыльцо избы и приказывал, что-то кричал громким голосом. Несколько десятков баб за воротами выли. Вой и плач этот, переливаясь на разные голоса, то словами, то пеньем, то воплем, не переставал ни на минуту. Это были стрельчихи из Москвы, матери, жены, дети тех стрельцов, которых одних привозили из Москвы, а другие сами пришли с повинною. Стрельцов этих допрашивали все утро, а после полдней привезли стрелецкого приказа окольничего, Федора Леонтьевича Шакловитого,— того самого боярина Федора Леонтьевича, который не раз бывал в Лавре, пожертвовал иконостас в придел рожества богородицы. Его вчера допрашивали без пытки, а теперь, в самые вечерни, повели на воловий монастырский двор, где за три дня монастырские плотники тесали и устанавливали подыбу для пытки. Двое монахов, старичок с красным носом и курчавой седой бородкой и толстый опухший монах, приостановились у входа в церковные двери и

шептали о том, что происходило на воловьем дворе. По плитам двора послышались быстрые легкие шаги тонких сапог, и, оглянувшись, они увидали подходящего келаря отца Авраамия. Отец Авраамий был еще не старый человек, с сухим, длинным и бледным рябым лицом и черными, глубоко ушедшими, блестящими глазами. На нем была длинная из черного сукна ряса и мантия, волочившаяся до земли. Клобук был надвинут на самые брови, волоса, запрятанные за уши, и редкие, по рябинам разбросанные волоса бороды были не расчесаны. Все в нем говорило о строгости монашеской жизни; но движения его — быстрые, порывистые, особенно легкая, быстрая походка и взгляд быстрый, твердый, внимательный и прожигающий,— выказывали силу жизни, несвойственную, как будто неприличную, монаху. Когда он подошел к церковным дверям, оба монаха низко, медленно поклонились ему. Он ответил таким же поклоном и спросил: «Что?» — хотя никто не говорил ему ничего. Старичок с красным лицом сказал: «Отец Пафнутий сказывал: пытать повели Федора Леонтьевича».

Отец Авраамий вздрогнул, как будто мороз пробежал у него по спине, и, подняв руку, хотел перекреститься, но в это мгновенье с воловьего двора послышался страшный, сначала тихий, потом усиливающийся стон, перешедший в рев. Отец Авраамий побледнел, и рука его остановилась.

— Волы ревут, их на двор не пускают,— сказал толстый монах, слегка улыбаясь.

Отец Авраамий повернулся лицом к церкви и быстро стал креститься, гибко кланяясь в пояс и читая молитвы, и потом так же быстро разогнулся, оглянулся на заходящее на западную башню солнце и скорыми, легкими шагами прошел в храм, где уже зажигали свечи и готовились к службе. Он прошел на клирос, достал книгу и стал читать, крестясь и молясь.

Бояре допрашивали все утро окольничего Шаклови того в хоромах, после обеда приказали свести его на монастырский воловий двор, в подклеть монастырских воловщиков, где был устроен застенок. Для бояр справу у двери были поставлены две лавки с суконными полавочниками, и на них сидели ближние бояре — четверо,

по два на лавке. На одной сидел, в горлатной черно-
бурьей шапке с темно-зеленым бархатным верхом и в
вишневой бархатной собольей шубе, распахнутой на ат-
ласном зеленом кафтане, маленький сухой старичок, с
красным, как будто ошпаренным, лицом и белой седой
бородой, усами, бровями и волосами. Он беспрестанно
играл свои маленькие красные ручки и переставлял
ноги в своих красных сапожках. Глаза стальные, серые
быстро перебегали на лица тех, кого допрашивали, и на
лица товарищей.

Это был почетнейший боярин, известный щеголь —
Михаил Алегукович, князь Черкасский. Рядом с ним си-
дел толстый, грузный боярин лет сорока, сутуловатый от
полноты и с ушедшей небольшой головой в плечи. Он
тоже нарядно был одет, как и Черкасский, но лицо его
не выражало той живости и подвижности, которая была
на лице его товарища. Этот, напротив, оперши руки на
колена, нахмурившись, смотрел прямо в одно место свои-
ми маленькими заплывшими глазами, и цвет кожи его за
исключением и на пульсах рук был того нежного белого цвета,
который бывает только у людей неломаных и холеных.
Это был князь Федор Юрьевич Ромодановский.

На другой лавке сидели: Голицын, князь Борис Алек-
сеевич, дядька молодого царя, и Лев Кирилыч Нарыш-
кин, его дядя. Голицын был высокий, молодцеватый
мужчина с ранней проседью в рыжеватой бороде и с
красивыми, но расписанными красными полосами щека-
ми и носом и с большими, открытыми, добрыми глазами.
Он был одет в польский желтый кафтан, и на голове его
была маленькая шапка, которую он, почесывая голову,
переворачивал то с той, то с другой стороны. Жилистая
шея его была раскрыта, даже пуговица на рубашке рас-
стегнута, и то он все распахивал, как будто ему было
жарко. Он почесывал голову, покачивал ею, прищелкивал
языком и, видимо, волновался. Лев Кирилыч был высо-
кий, стройный, чернобровый, черноглазый, с румяными
щеками и глазами красавец. Он имел одно из тех непо-
коящих красивых лиц, которые невольно притягивают
к себе внимание. Он и говорил больше всех, и больше
всех спрашивал, и к нему обращались подсудимые, и на
него вопросительно взглядывал дьяк, пристроившийся на
скамейке у двери и писавший на своих коленах.

Перед боярами стоял бывший окольничий и начальник стрелецкого приказа Федор Леонтьевич Шакловитый. Его только сняли с дыбы, и на голой, мускулистой, длинной белой спине его, перекрещиваясь и сливаясь, лежали багрово-синие рубцы от ударов кнута, руки его, оттопыренные локтями назад, с веревочными, обшитыми войлоком, петлями, за которые держал палач, имели странное положение; плечи неестественно были подняты кверху. Все красивое, мужественное тело его съежилось и дрожало. Горбоносое красивое лицо его с мелко кудрявыми волосами и свалявшейся короткой бородой было бледно, зубы стучали друг об друга, и глаза до половины были закрыты.

— Читай,— сказал Лев Кирилыч дьяку.

— Советовал ли с царевной погубить государя царя и великого князя Петра Алексеевича?

Шакловитый только вчера был взят. Вчера еще он садился верхом у своего двора на серого аргамака; пять человек держальников-дворян окружали его лошадь, держали узду и стремя, и в руках, ногах была сила и гибкость, а в душе чувствовалась сила, которой, казалось, ничто сломить не может, и вот тот же он, с тоской в спине, в вывороченных плечах и в сердце, которое ныло больнее вывихнутого левого плеча, стоял перед всеми ненавистными людьми,— теми, которые, он знал, месяц тому боялись его, подлащивались к нему, и у него что-то спрашивали, а он не мог говорить, потому что стоны только стояли в его душе. Как бы он открыл рот, он бы застонал, как баба.

Он опустился, охая, где стоял, на землю.

— Дайте поесть, ради бога. Я второй день...

— Советовал ли? — повторил дьяк.

— Советовал, ничего не утаю, все скажу, есть дайте...

Бояре заспорили. Одни хотели еще пытать его — Нарышкин и Ромодановский,— другие настаивали на том, чтоб дать ему есть и привести стрельцов для очной ставки. Они громко кричали, особенно Голицын и Нарышкин.

— Ты дело говори,— кричал Голицын на Нарышкина. — Я твоих наговоров не боюсь; чего же его пытать еще? Все сказал.

Шакловитый смотрел с завистью на кричащих бояр. Голицын пересилил.

— Приведите стрельцов,— сказал старший боярин, князь Черкасский.

В дверях зазвенели кандалы, и между стрельцами впереди и сзади взошли закованные два человека. Это были Семен Черный и Обросим Петров.

Семен Черный был коренастый человек с нависшими бровями и бегающими, ярко-черными глазами в синих белках, цыган с виду.

Обросим Петров был тот самый стрелецкий урядник, который был главный зачинщик в стрельцах, как говорили, и который сперва один отбился саблей от пятнадцати стрельцов, бросившихся на него, чтобы взять его, и который потом, когда видно стало всем, что царская сторона пересилит, сам отдался в руки стрельцам. По молодечеству ли его, потому ли, что он сам отдался, потому ли, что такая судьба его была, его,— Оброську Петрова, как его теперь звали, и Обросима Никифорыча, как его прежде звали на стрелецкой слободе,— его знали все в народе, и толпа народа собралась, когда его из Москвы, окованного, привезли к воротам Лавры. Он был преступник, изменник — все знали это, но он занимал всех больше даже самого Федора Леонтьевича.

— Оброську, Обросима везут,— кричали в народе, когда его везли.

— Ишь орлина какой! Ничего не робеет. Глянь-ка, глянь-ка, тоже на угодника молится.

Так и теперь, когда ввели Обросима Петрова в кандалах, в одной рубашке распояскою, невольно все, от двух палачей до бояр, все смотрели на него. Обросим, не глядя ни на кого, оглянул горницу, увидал икону и неторопливо положил на себя три раза со лба под грудь и на концы обоих широких плеч пристойное крестное знамение, гибко поклонился в пояс образу, встряхнул длинными мягкими волосами, которые, сами собою загибаясь вокруг красивого лица, легли по сторонам, также низко поклонился боярам, дьяку, палачам, потом Федору Леонтьевичу и, сложив руки перед животом, остановился молча перед боярами, сложив сочные румяные губы в тихое выраженье, похожее на улыбку, не вызывающую, не насмешливую, но кроткую и спокойную. Изогнутый красивый рот с ямочками в углах давал ему всегда против воли это выражение кроткой и спокойной улыбки.

Дьяк прочел ему вопросы, в которых он должен был уличать Федора Леонтьевича. Обросим внимательно выслушал, и когда дьяк кончил, он вздохнул и начал говорить. Еще прежде чем разобрали и поняли бояре, и дьяки, и палач, и Федор Леонтьевич, что он говорил, все уже верили ему и слушали его так, что в застенке слышался только его звучный, извивающийся, певучий и ласковый голос.

— Как перед богом батюшкой,— начал он неторопливо и не останавливаясь,— так и перед вами, судьи-бояре, не утаю ни единого слова, ни единого дела. С богом спорить нельзя. Он правду видит. Спрашиваете, что мне сказывал Федор Леонтьевич восьмого числа августа прошлого года. Было то дело в воскресенье, пришли мы к двору царевниному, он меня позвал и говорит: «Обросим, ты нынче поди, брат».

И Обросим рассказал ясно, просто и живо все, что было делано и говорено.

Ясно было, что всегда и во всем на службе он был передовым человеком, стараясь наилучше исполнять возлагаемые на него поручения, что начальство так и смотрело на него, что он сомневался и представлял начальству сомнения в законности действий, но потом увлекся делом и, как и во всем, что он делал, был последователен и решителен. Точно так же, когда он узнал, что царевна отреклась от них, он решил, что спасения нет, и отдался.

Когда Федор Леонтьевич, поевши, стал противуречить, Обросим посмотрел на него долго и сказал:

— Федор Леонтьевич, что же путать. Ведь дело как в зеркале видно. Разве мы себя справим, что вилять будем. Я говорю, как перед богом, потому знаю, что мой смертный час пришел.

После того, как он все рассказал и Шакловитый сознался во всем и повторил свое уверение написать завтра, когда он опамятуется, все, что он говорил и делал, бояре для подтверждения речей Обросима велели пытать его.

У Обросима дрогнуло лицо, когда он услыхал приказ, и он побледнел, но не сказал ни слова. Он только перекрестился. Он знал вперед, что ему не избежать пытки, но он обдумал уже то, что пытка будет легче, если он скажет всю истину, и на дыбе и под кнутом ему придется повторять только то, что он все уже сказал. Вся длин-

ная речь, такая простая и последовательная, была им загодя внимательно обдумана и приготовлена.

Когда палач стал надевать ему на руки петли, Обросим нагнулся к его уху и проговорил:

— Дядя Филат! Все помирать будем, пожалей.

И оттого ли, что он это сказал, оттого ли, что он был силен на боль, он не издал ни одного звука, стона во время пытки и только повторял то, что все уже им сказано. Когда его сняли, с рубцами на спине и выломанной одной рукой, лицо его было то ж. Так же расходились мягкие волной волоса по обеим сторонам лба, тоже как бы кроткая, спокойная улыбка была на губах, только лицо было серо-бледное и глаза блестели более прежнего.

В то время, как повели Черного на дыбу, к дверям застенка подошел молодой человек в стольничьем дорожном платье и стал что-то на ухо шептать Голицыну. Голицын вскочил и вместе с молодым человеком поспешно вышел из застенка.

Молодой человек был царицы Марфы Матвеевны брат, Андрей Апраксин, ближний стольник царя Петра Алексеевича. Он только что приехал из опасного в то время поручения князя Бориса Алексеича Голицына к двоюродному брату Василию Васильичу. Василий Васильич Голицын, главный заводчик смуты, как все говорили, не ехал к Троице и сидел в своем селе Медведках под Москвой. Князь Борис Алексеич давно разошелся с братом. Они ненавидели друг друга, но дело доходило уже до того, что Голицыну, Василию Васильичу, как говорили Лопухины и Нарышкины, не миновать пытки и казни, и Борис Алексеич хотел спасти род свой от сраму и, хоть не любил брата, хотел спасти его. Но спасти его было трудно. Было опасно послать кого-нибудь с вестью к Василию Васильичу Голицыну. Послать письмо,— могли перехватить и замешать самого Бориса Алексеича в дело враги его — Нарышкины, Лопухины, Долгорукие. Врагов было много у Бориса Алексеича, потому что он был дядька царя, и до сих пор царь Петр Алексеич делал все только по его совету. Послать верного человека, умного, который бы на словах все передал, было некого. Все боялись ехать. На счастье, юноша честный, добрый, Андрей Апраксин, которого особенно любил, ласкал и учил князь

Борис Алексеич, сам вызвался поехать. Андрей Апраксин знал, что это было опасно, но он был обязан князю Василию Васильичу, и мысль, что он делает опасное дело только потому, что он не так, как другие, в опасности бросает друга, радовало его, как вообще радует молодых людей мысль о том, что они делают хорошее и трудное дело, которое не всякий бы сделал. Он был у Василия Васильича в Медведках и передал ему слова Бориса Алексеича, что одно средство спастись — это приехать самому и скорее, покуда не велят взять силой, в Лавру. И, несмотря на то, что князь Василий Васильич не соглашался, Андрею Апраксину удалось уговорить его, и теперь Апраксин только что приехал в Лавру вместе с князем Васильем Васильичем и прибежал сказать Борису Алексеичу, что князь Василий Васильич уже подъезжает к воротам Лавры.

— Вот, довел-таки,— думал Борис Алексеевич про своего родню Василья Васильича,— довел до того, что и не выпростаешь его. Ведь посылал я ему три раза, чтоб ехал. Тогда бы приехал, остался бы первым человеком, а теперь с какими глазами я скажу царю, что он не виноват, когда Федька (после пытки Борис Алексеич в первый раз сам для себя назвал Шакловитого уже не Федором Леонтьевичем, а Федькою), когда Федька прямо сказал, что он знал про все и говорил стрельцам: «Что ж не уходили царицу». — Ах, народ! — проговорил Борис Алексеевич, крякнув, и остановился, задумавшись. Он вспомнил живо братца своего Василья Васильича, вспомнил, как передавали ему люди, что Василий Васильич называл его не иначе, как пьяницей, вспомнил, как с молодых ногтей они с ним равнялись в жизни и как во всем в жизни Василий Васильич был счастливее его: и на службе, и в милости царей, и в женитьбе — красавицу жену его, Авдотью Ивановну, он вспомнил — и в детях. У Василья Васильича была жена, дети. Он еще при царе Федоре Алексеиче был первым человеком, а теперь семь лет прямо царствовал, с тех пор как связался с царевной. А у него, Бориса Алексеевича, ничего не было: жена померла, детей не было, и во всей службе своей, что ж он выслужил? Кравчего, да две вотчины в четыреста дворов, да и тех ему не нужно было. В нем про-

спулось чувство той сопернической злобы, которая бывает только между родными.

— Так нет же, вот он погубить меня хотел, а я спасу его,— сказал себе Борис Алексеевич и быстрыми шагами, не видя никого и ничего, пошел, куда надо было.

Как это бывает в минуты волнения, ноги сами вели его туда, куда надо было, в царские хоромы. Борис Алексеич уже целый месяц был в том натянутом положении, в каком находится лошадь, когда тяжелый воз, в который она запряжена, разогнался под крутую гору. Только поспевай, убирай ноги. И старая ленивая лошадь летит, поджав уши и подняв хвост, точно молодой и горячий конь. То же было с Борисом Алексеевичем. Царица больше всех, больше, чем брату родному, верила ему, царь Петр Алексеевич слушался его во всем. И так с первого шага 7 августа из Преображенского, когда уехали все в Троицу, все делалось приказами Бориса Алексеевича. И что дальше шло время, то труднее, сложнее представлялись вопросы и, чего сам за собой не знал Борис Алексеевич (как и никогда ни один человек не знает, на что он способен и не способен), ни одна трудность не останавливала его, и, к удивлению и радости и ужасу своему, в начале сентября он чувствовал, что в нем сосредоточивалась вся сила той борьбы, которая велась между Троицей и Москвою.

Труд не тяготил его: его поддерживала любовь к своему воспитаннику Петру, на которого он любовался и любил, не как отец сына, но как нянька любит воспитанника, и дружба с царицей Натальей Кириловной, которая любила Бориса Алексеевича и покорялась ему во всем и любовь которой, слишком простая и откровенная, стесняла иногда Бориса Алексеевича. Одно стесняло Бориса Алексеевича, это то, что ему надо было пить меньше, чем обыкновенно. Хотя он и был один из тех питухов, которые никогда не валятся с вина и про которых сложена поговорка: пьян, да умен — два угодья в нем,— он знал ту степень трезвости, когда он был вял и нерешителен, и знал ту степень пьянства, когда он становился слишком добр, а этого нельзя было, и он старался пить все это время меньше, чем сколько ему хотелось.

Теперь, во все время этого своего управления всем делом, он был смущен и затруднялся именно потому, что

дело теперь — защита Василья Васильича — было личное его. Не доходя до царя, он, в сенях встретив Карлу, послал его за вином, и истопник принес ему бутылку ренского вина и кубок. Он только что вылил всю бутылку и выпил, когда дверь отворилась и высокий, длинный белокурый юноша в темно-зеленом кафтане быстро, ловко и тихо вышел из двери с двумя стамесками в руках и, увидав князя Бориса Алексеевича, низко поклонился и хотел бежать дальше.

— Куда, Алексашка? — сказал Борис Алексеевич.

— В мастерскую, приказал наточить, да такую круглую спросить, выбирать пазы,— отвечал Алексашка, показывая стамески и звеня по ней крепким ногтем пальца.

— Что делает?

— Столярничает.

— С кем?

— Франц Иваныч да Федор Матвеич.

Борис Алексеевич уже хотел входить, когда в другую дверь вышла старушка, мамка царицына, поклонилась низко Борису Алексеевичу и сказала:

— Царица к себе зовет. Уж она сама не в себе, золотко мое, серебряный. Приди, отец, скажи ей слово.

Борис Алексеевич понял, что из окна уже видели его, и царица Наталья Кириловна, находившаяся все время в ужасе, звала к себе. Нечего делать. Он пошел.

В царицыной горнице стояли две верховные боярыни М. В. и А. И. и она, царица, в собольей шапочке с белым и в телогрее черной, между ними. Белое пухлое лицо было заплакано, глаза, кроткие, тихие, смотрели умоляюще, маленькие пухлые ручки сжаты были, как когда молятся; несмотря на толщину ее живота, заставлявшую ее всегда ходить выгнувшись назад и высоко носить голову, она нагибалась вперед.

Не успел Борис Алексеевич поклониться иконам и ей, как она уже начала говорить. Лица двух боярынь имели то же выраженье.

— Что ж ты, князь, не пришел сказать. Ведь измучал. Что злодеи наши, что мое дитя милое, я вдова бессчастная. Всю ты мне правду скажи, на кого ж и надеяться, что не на тебя, друг ты наш верный, слуга неизменный; один ты остался. Что сказал злодей?

— Не печалься, была печаль, теперь миновала, все рассказал; все злодеи побраты, все змея подколодная, Софья-царевна, подговаривала.

— Ну, слава богу. Да ты что ж пришел, не дождамшись, один?

— Князь Василий Васильич приехал.

Лицо царицы, доброе, вдруг изменилось.

— Чего он? Он обманет. Ты уж защити.

— То-то, я пришел спросить царя, принять ли его и когда?

— Батюшка, ты обдумай, наше дело женское. Ведь он колдун. Поди к нему, и я приду.

Когда князь Борис вышел, Наталья Кириловна пошла к невестке, шившей кошелек, и стала целовать ее. Евдокия была весела, счастлива. Она бы желала таких смут каждый день. Муж был с ней, спал с ней каждую ночь. И нынче — радость: наверно узнала, что она брюхата: ребенок затрепыхался, и она сказала свекрови. Наталья Кириловна пришла к ней поцеловать ее и порадоваться. Она от нее забирала радость. И от дочери, красавицы Наташеньки. Наташенька низала бисер, вышивала воздухи.

Борис Алексеевич вошел к царю. Царь — огромное длинное тело, согнутое в три погибели, держал между ног чурку и строгал; голова рвалась, дергалась вместе с губами налево.

— Ну, что ж, так теперь,— сказал он, показывая выстроганное высокому немцу.

— Ничаво, латно,— сказал немец.

Царь смотрел на Бориса Алексеевича и, видимо, не видал его, а слушал немца.

— Ну, а у тебя,— он обратился к Федору Матвеичу.

Тот только кончил строгать и владил конец в паз.

— Экой черт ловкий, лучше моего.

Федор Матвеич — полузакрытые глаза, тонкие, ловкие руки и кротость.

— Ну что? Отпытали? — спросил царь.—Что говорят?

— Много говорят, все скажу завтра. Теперь вот что, князь Василий Васильич приехал. Надо принять его.

Лицо царя затряслось больше. Он помнил только, что Василий Васильич не дал ему пушек, и за то не люби его.

— Что ж мне с ним говорить?

— Да пустить к руке, потому...

В это время отворилась дверь, и дядя царя, Нарыш кин, вбежал в горницу бледный и с трясущейся нижне челюстью.

— Вишь, ловок! К руке пустить. Знаю, что убежа из заметки [?], чтоб здесь намутить. Как же, твои хит рости. Не к руке его, а туда же, где братья мои от стрель цов, благо в руках.

— Да ты чего ж. Погоди еще, когда царь велит. На с тобой спорить непригоже.

— Пьяная твоя морда.

Вошла царица.

— Хоть ты скажи сыну. Если его пустят, он поги бит — всех.

— Как Борис Алексеевич скажет, так и быть.

— Да уж ты никогда мою руку не потянешь, теб чужой ближе брата, он своих-то небось жалеет, измен щика не выдаст.

— Погоди обзывать изменщиком-то.

— А, правнук изменничий.

— Будет, говорю,— вдруг крикнул Борис Алексеевич наступая на него, и сжал кулаки. — Убью сукина сы на. — И к царю: — Велишь уйти, так уйду, ссылай.

Царь смотрел то на того, то на другого, голова его тряслась больше прежнего; вдруг движенье Борис Алексеевича быстро сообщилось ему.

— Молчать! — крикнул он на дядю. — Кому велю го ворить, тот говори.

Нарышкин умолк.

— Ну, матушка, приказывай, что делать.

Наталья Кириловна посмотрела на Бориса Алексее вича умильно.

— Все бы сделал Борис Алексеевич, да его, да ее н могу к своему детищу пустить. Пущай его станет на по сад, а там бояр позовем, обсудим.

— Так и быть,— сказал царь.

— А он уйдет. Стрельцам прикажи.

— Так и сделаю.

Борис Алексеевич поклонился и пошел к воротам, у которых ждал Василий Василич.

Только что ударили в большой колокол к вечерне, накануне праздника рожества богородицы, к воротам Троице-Сергиевского монастыря, звеня уздовыми цепями конных и громыхая колесами колымаг и телег, подъехал длинный поезд — из Москвы. В передней карете, окруженной конными людьми в богатых уборах, сидел главный боярин и печати оберегатель Василий Васильевич, князь Голицын, с молодым сыном. Навстречу от ворот монастырских вышел урядник стрелецкий и, узнав, кто приехал, побежал в калитку, вывел с собой сотника и вместе с ним вышел в калитку.

В карете стукнуло, дернулось слюдяное оконце и опустилось. Худая белая рука с длинными пальцами легла на окно, и вслед за рукой высунулось и знакомое сотнику бритое, продолговатое, моложавое с усиками лицо — главного боярина и оперлось подбородком, под которым оставалась невыбритая борода, на белую, худую, с синими жилами руку. Сотник подошел к окну и, сняв с лисьей опушкой суконную шапку, в пояс поклонился.

— Что ж ворота не отпираешь,— сказал тонким женским голосом князь Василий Васильевич.

— Ворота приказаны полковнику, сейчас к нему побежали.

— Разве ты не знаешь меня?

— Когда же князь Василья Васильича не знать,— отвечал сотник, улыбаясь и вглядываясь в лицо боярина и в лицо его сына в глубине кареты. Лицо боярина было такое же, как всегда, тихое, тонкое и задумчивое, только оно серо показалось сотнику, от пыли ли, залегшей слева вдоль по прямому длинному носу, или от чего другого, и открытые большие глаза казались блестящее обыкновенного и быстро перебегали с лица сотника на лица стрельцов и толпы дворян, стрельцов, солдат, монахов, собиравшейся все больше и больше у ворот. Раза два он втягивал в себя дух, как будто хотел сказать что-то, но не говорил. По лицу сына сразу видно было, что он был не в себе. Лицо его было похоже на лицо отца, но было много красивее, не столько потому, что оно было моложе, сколько потому, что это было почти то же лицо,

но без того выдающегося вперед подбородка и рта, над которым лежал длинный звериный лисий нос. Это было то же лицо, но как будто выпрямленное и оттого привлекательное. Молодой князь, видимо, старался не смотреть и не показывать волнения; но он не мог мгновенья усидеть смирно: то он облокачивался назад на подушки за спиной, то вытягивался прямо, оборачивался то к тому, то к другому окну, то застегивал, то расстегивал пуговицу на кафтане у шеи. Лицо его было красно, брови нахмурены, и дыхание, слышно, давило его.

— А что Федор... здеся? — спросил Василий Васильевич, не глядя на сотника.

— Нынче на разусвете привезли,— отвечал сотник.

— Повели пытать,— прибавил стрелец, стоявший близко.

Василий Васильевич будто не слыхал слов стрельца, принял руку и, подозвав своего человека, стал приказывать что-то. Но в это время калитка отворилась, народ расступился, и вышел полковник стрелецкий и дьяк. Дьяк подошел к окну, поклонился, снял шапку и проговорил:

— Государь и великий князь, самодержец... Петр Алексеевич не приказал тебе, боярину Василию Васильевичу, князь Голицыну, быть в монастыре, а приказал тебе ехать и стать на посаде и ждать его царского указа, а оттуда никуда не отбывать.

Голицын, приподняв шапку, поклонился и приказал своему человеку везть на посад к посадскому человеку, где он знает двор получше.

Люди хотели трогаться, когда к окну подошел полковник и, низко кланяясь, сказал: князь Борис Алексеевич приказывал подождать — сам к тебе выйти хотел.

Лицо Василья Васильевича вспыхнуло огнем при словах полковника.

— Пошел,— крикнул он. — Мне его видеть незачем, я не к нему... — видно, с трудом он подавил ругательство, просившееся в прибавку к упоминанию о враге,— а к царю приехал, пошел!

Человек, сидевший на козлах, замахал кнутом передовому, зачмокал. Карета тронулась, закачалась, повернулась и покатилась к посаду. За каретой пошли стрельцы.

В сентябре 1694 года под Москву было собрано войско. Войско состояло из стрельцов московских, солдатских, рейтарских, драгунских полков, из нового царского потешного войска, собранного в Преображенском селе и в Семеновском и обученного немецкому строю, и еще из служилых помещиков, собранных по двадцати двум городам. Помещикам были посланы строгие приказы, и большая половина явилась к сроку.

Под Москвой, за Симоновым монастырем, была на Москве-реке, против деревни Кожуховой, построена земляная крепость, и, когда царь Петр вернулся из Архангельска, войска одна половина вышла из Семеновского села, заняла крепость и назвалась «поляки», а другая половина вышла из Преображенского и назвалась «русские», и началась потешная война. «Русские» — с ними был царь, а воеводой был Федор Юрьевич Ромодановский, нападали, а «поляки» — у них воевода был Бутурлин боярин Иван Иванович — отбивались. Конный полк служилых людей помещиков был с «русскими».

Дворянский полк служилых людей был собран по-старому. Как и в старину, по записке в разрядной книге выехали кто с какой сбруей, с какими людьми и на скольких конях был назначен.

Дворяне знали, что вызывают не на настоящую службу, а на потешную войну, и не в Крым, а в Москву, и потому съехалось много и съехались в щегольской сбруе.

Любовался народ и на новые царские полки, и на затеи новые, на разубранных рыцарей и коней, и на шута с полком, и на Карлов, и на золотую карету, когда войска проходили Москву, но больше всех любовался народ на помещичий полк, когда на серых аргамаках, залитых серебром с позвонками на поводьях и залитых чеканным серебром уздах, проходили старики и молодые стольники-дворяне с саблями, пистолетами, а кто и с саадаком и колчанами, в собольих и лисьих шапках и цветных атласных кафтанах и зипунах.

Дворянский полк стоял на краю леса, верстах в двух от Кожухова. В Кожухове стоял царь, придворные бояре и потешные преображенцы, кругом стояли рейтары, драгуны, стрельцы. Дворянский полк стоял на краю. Кошевой обоз стоял в лесу, а перед лесом на лугу рядком

стояли табором палатки дворянские. У каждой палатки были плетеные и вырытые кухни. У кухонь хлопотали холопи. В палатках гуляли дворяне. Потешная война уже шла третью неделю, бились тупыми копьями, палили холостыми зарядами из ружей и пушек, палили и бомбами, только нечиненными, подкапывались под крепость и закатывали бочки с порохом, выезжали в чистое поле и топтались лошадьми. Было и побито и ранено человек с десяток, а потешная война все не кончалась, и говорили, что до зимы царь продержит войска и будут биться.

5 октября дан был роздых всему войску. Любимец царский Лефорт-немец счелся именинником и в Кожухове угощал царя и приближенных. С утра началась пальба из пушек и ружей в Кожухове у двора того дома, где гулял царь.

Погода была ясная, тихая, паутина нитками и клубками летала по полю, и в полдни тепло стало, как летом.

У дворян по полку шло свое гулянье. Собирались друг к дружке в таборы. Третья палатка с края у самого лесочка была палатка князя Щетинина, Ивана Лукича. В Серпуховской разрядной книге было записано про Ивана Лукича: «Кн. Иван, князь Луки сын Щетинин служит с 176 года 27 лет, был на службах и ранен. Крестьян за ним 127 дворов. На государевой службе будет на аргамаке с саблей, да пара пистолей, 10 лошадей простых, с огневым боем, с пищалями 20 человек, да в кошу 7 человек». А выехал князь Щетинин не один, а самдруг с сыном Аникитой на аргамаке, да не с десятью челядинцами, а с двадцатью. Князь Лука Иванович был старый воин и охотник. И когда другие дарили воевод, да отлынивали от службы, он первый приезжал и привозил лишнее против списка. Князь Лука Иванович любил и повоевать, и погулять, и похвастать, а пуще всего любил угостить. Холопи его забегались в это утро, угощая гостей. В таборе Луки Ивановича перебывало человек двадцать, и все уходили пьяные, и теперь (уж время шло к обеду) еще сидели гости, пили мед старый. Лука Иванович хвалился своими медами. Гости сидели на коврах, перед ними стояла на двух чурках лавка. А на лавке лежали сиги копченые, сельди и стояли чашки деревянные. А в чашки то и дело ковшом подливали мед из ведра сам хозяин, его сын и Федотка-холоп, любимец княжеской.

Гостей было пять. Почетным гостем старик стольник князь Хованский Иван Иванович, тяжелой, рябой старик. Он сидел на подушке, поджав одну ногу, и поддерживал рукой коленку другой. Кафтан синий был расстегнут в вороте и рубашка тоже, и то его толстую красную шею точно давило, он все поднимал бороду и отворачивал ворот. Выпуклые глаза его, налитые кровью, перебегали с того, который кончил говорить, на того, который начинал говорить, и он хмурился, если тот, кто говорил, хмурился, и улыбался, если тот, кто говорил, смеялся. Когда же два вместе или больше начинали говорить, он смеялся, мотал головой и махал рукой. Послушать было чего. Гости выпили и заспорили. Главными спорщиками были хозяин и молодой солдат из новых потешных. Он был дьячий сын — Щепотев и был сват молодому хозяйскому сыну. Женаты были на родных сестрах. Щепотева руку держал Ерлоков, старик подьячий. А с хозяином заодно были Левашовы два брата, один — дворянин, а другой стольник.

Молодой Щетинин только слушал, а не говорил. Ему нельзя было говорить при отце, а видно было, что хотелось. Спор зашел о лошадях.

Князь Лука Иванович хвастал аргамаком, а Щепотев не верил, и Ерлоков поддакивал, говорил, что от конницы в бою проку мало.

Князю Луке Ивановичу было лет шестьдесят, но как и смолоду, так и теперь, он был огневый; и всегда-то он говорил так скоро, что без привычки трудно понять его, и всегда он и руками махал, и вскакивал, и в лицах показывал, что рассказывает, а когда выпьет, да еще раздразнят его, так он пыхал, как порох.

— Что в коннице,— закричал он, схватив своей жилистой с синими узловатыми жилками маленькой вогнутой рукой за длинный рукав дьякова кафтана. Он нахмурил свои черные тонкие брови, и соколиный загнутый нос еще круче загнулся над выставленной нижней челюстью. — В прах те расшибу; вот какой толк. Выводи на меня четырех с ружьями, я всех собью и на аркане любого увезу. Эх вы, горюны.

Щепотев помотал своей широкой головой и посмеялся.

— С одним попробуй, князь.

— С одним? Выходи.

— Ладно.

— Никитка,— крикнул князь Иван Лукич сыну,— вели весть аргамака,— нет, сам веди. Сейчас стопчу.

Молодой князь был похож на отца, только был много красивей его. Те же были огненные глаза, тот же нос, но прямее, только с малой горбинкой, и рот такой, что, когда он улыбался промежду усов и бороды, которая росла у него черная, не сплошная, а оставляя просвет под концами губ, нельзя было не улыбаться и весело стало смотреть. Он был и выше ростом и статнее отца.

Он взглянул на Щепотева, похмурился — видно, не нравилось ему, что Щепотев дразнил отца, взглянул на отца и вышел из палатки.

Левашовы два брата сидели молча. Они были крупные, крупные, толстокостные ребята. Старшему было лет сорок, и он был потолще; и руки, и носы, и зубы у них длинные, угловатые и крепкие.

Старший обтер рукавом редкие усы и сказал, опустив зрачки:

— Попытать надо.

Когда привели лошадь, князь Иван Лукич уж забыл про нее, он рассказывал, как под Чигирином он сбил двух лошадей.

Дело стало за спором. Князь Лука Иваныч был выпивши [1].

---

[1] На полях рукописи — другой вариант конца:

В это утро у князя Ивана Лукича случилось несчастье с тем самым сыном любимым, которого он привез с собой.

Рано утром к князю Ивану Лукичу зашел в гости сосед Еким Антоныч Ерлоков, сосед, и привел с собой зятя, Щепотева молодого. Щепотев уж два года был записан в потешные и был преображенским солдатом. Иван Лукич велел расстелить ковры, достать из ямы бочонок меду и поил гостей. Случилось так, что, о чем бы ни заговорили, Щепотев спорил с хозяином. Стали говорить о конях. Князь Иван Лукич, всегда огневый, когда бывал под хмельком, пыхал, как порох. Он велел привесть аргамака и хотел показать его удаль. Когда князь Иван Лукич стал садиться, он был пьян, стар, осклизнулся по стремени, оборвался и упал. Щепотев засмеялся. Молодой князь, не говоря ни слова, замахнулся копьем [и] ратовищем, расшиб в кровь голову Щепотеву. Щепотев выхватил тесак, хотел драться. Его удержали. Тогда Щепотев ушел в Кожухово, и через час времени за молодым Щетининым пришли по государеву приказу преображенские потешные двое и десять стрельцов, связали молодому князю руки и отвели его в Кожухово.

[I]

От леса и до Кожухова и за Кожухово и направо к самой реке сплошь стояли войска. С вечера был туман, поутру туман сел на землю, и, откуда ни взялись, паутины понеслись по воздуху, садились, ложились, заплетались на жнивье, на кусты, на полынь, на шапки, кафтаны, носы людей, на спины лошадей, на козлы ружей. Золотые маковки на Симоновом монастыре, на соборах в Кремле горели огнем, река на загибе у Кожухова точно серебром политая стояла, не шелохнулась. Голоса песни слышны были издалека со всех сторон, а в Кожухове самом гремели пушки. Палили раз за разом из толстых пушек и раскатами пускали дробь из ружей. Рассыпят дробь и,— раз, раз,— хлопнет какой отсталый солдат. И закричат много голосов, и дым синий клубится, стелется над деревней и перевертывается, не зная, куда убраться и собраться.

В Кожухове, слышно было, гулял любимец царский Лефорт Франц Иванович и угощал на именинах царя и всех придворных; и по всему войску на этот день не было службы.

II

Обоз московского полку стоял на полубугре у лесочка и в лесочке, верстах в двух от Кожухова.

У края леса на чистом [месте] рядком стояли шатры боярские, у кого из хвороста плетенные, натрушенные сеном, у кого полотняные, у кого войлочные кибитки. Побочь шатра у каждого была кухня в земле и шалашики для дворни, спереди на лужку стояли варки с конями или ходили спутанные лошади. Позади в лесочке стояли телеги, воза с повозками крытыми и крытые коврами, кожами, циновками; другие телеги — с креслами и хребтугами. У этих телег стояли кони. Другие лошади спутанные или по воле ходили по лесу. Тут же были вырыты ямы, и в ямах стояли бочки, бочонки с квасом, пивом, медами.

С старика сразу весь хмель [со]скочил, и он на том же аргамаке поехал к свату, к стольнику Хованскому-князю, уговорил его ехать с собой просить за сына и с тремя людьми, держальниками своими, да с пятью за Хованским поехал просить милости за сына,

Князь Иван Лукич Щетинин стоял на лучшем месте против колодца. Шатер у него был войлочный, он сам привез его себе из похода. Кухня была плетеная, и повозок за ним стояло шестеро.

Дворов было немного за князем Иваном Лукичом, а и в деревне у него и на Москве он живал, как от трехсот дворов. Всего было много, и гостям он всегда рад был и голодных и трезвых не отпускал от себя.

В походах встречались знакомые друзья, те, которые ввек не увидались бы.

К Василию Лукичу собрались в этот [день] сосед Хованский-князь, Левашовы двое и сват Курбатов — дьяк с сыном, преображенским солдатом.

Пообедали и стали пить. Иван Лукич спорил с Курбатовым Василием Ефимовичем. Василий Ефимыч говорил, что немецкий строй лучше русского, Иван Лукич спорил.

— Ты, братец, ты с пером знаешь как управляться, я тебе указывать не буду, а в ратное дело ты не суйся, дружок.

Василий Ефимович говорил:

— Почему ж именно дело это управлять я не могу. Именно. Дело ума. Немец ученее тебя, он и придумал. Кто же зелье выдумал, наш, что ли? Кто пищаль приладил, наш, что ли? нет.

— Того дня именно видал, анамесь, разлетелись, разбеглись наши конные, как изделали залпу из ружья немецкого, все и осели. Так, что ли, князь? — обратился Курбатов к Хованскому-князю.

Хованский-князь сидел прямо, смотрел на Курбатова. Из себя был человек особистый, грузный.

— Твое здоровье,— сказал он.

— Так, что ли? — повторил Курбатов.

— Я тебе вот что скажу. Как проявились немцы, стали им пропуск давать, не стало строенья на земле, и все к матери. — И князь Хованский сморщился, махнул рукой. — Потому в книгах писано, тебе, я чай, известно: «От чуждого чуждое поядите».

Курбатов поджал губы и опять распустил их, чтоб выпить меду. Выпив, сказал:

— Без ума жить нельзя. Теперь все по планту разнесут, и видно.

— Да чего по планту,— сказал Щетинин.

— А того, что не твого ума дело.

— Моего, не моего. (Меж них была враждебность, обыкновенная между сватами.) Ты пузо-то отрастил небось не на немца, а на русского.

— Нет слова, а когда царь умнее нас с тобой.

Щетинин вспыхнул, красное лицо в белой бороде.

— Царь! — сказал он. — Быть ему здорову,— и выпил.

— Царь млад! — Хованский махнул отчаянно рукой.

— А и млад, не млад, нам его не судить, нам за него богу молить, что он нас кормит, нас учит, дураков. Ты сына отдал и думаешь: бяда. Да скажи мне царь-батюшка: отдай сына. Возьми. Сейчас двоих отдам. Любого, а то всех бери. Я ни живота, ни дети не пожалею, да не к тому речь. Ты говоришь,— тебе немцы наболтали, а ты и брешешь, что в московском полку силы нет. Ну выходи кто,— ей, Демка, давай аргамака.

Демка побежал к повозке. Аргамак ел овес, куснул Демку и, когда понял, повернулся, взмыл хвостом и заиграл с визгом.

— Накладывай седло.

— Да с кем же ты биться будешь? — сказал Курбатов, подсмеиваясь.

— Выходи, кто хочет. Да пей же. Кушай, князь, Гришка, подноси (сыну). — Сын поднес.

Старое и новое

I

В конце 1693 года[1] ефремовский помещик князь Иван Лукич Щетинин получил приказ государев явиться на службу под Москву к новому году, 1-му сентября с теми людьми, лошадьми и с тем оружием, с каким он записан был в разрядном Ефремовском списке.

В Ефремовском разрядном списке Иван Лукич был записан так: «Князь Иван, княж Луки сын Щетинин, служит с 176 года, 27 лет, был на службах и ранен, крестьян за ним 132 двора. На государевой службе

[1] Начало года было в сентябре. (*Примеч. Л. Н. Толстого.*)

будет на аргамаке в саадаке [1], с саблей да пара пистолей. С ним будет 8 лошадей простых; да с огневым боем, с пищалями 10 человек, да к кошу [2] 7 человек».

Был слух, что собирают войско опять в Крым на татар, и много помещиков отписывались больными и отплачивались деньгами, чтоб не идти в поход. Но князь Иван Лукич, хоть и много было дела в деревне, хоть и конны не все еще свезены были, как получил приказ, так стал собираться, приказал свое именье старшему сыну с княгиней и день в день, в срок пришел к Москве с своими лошадьми, людьми и обозом. И привел с собой князь Иван Лукич, мало того, вполне всех людей и лошадей по списку, но лишним привел своего середнего любимого сына Никиту на аргамаке с саблей, ружьем и пистолетами. Молодой князь Никишка, как его звал отец, за то и был любимцем отца, что такой же был удалый, как и отец, и, хоть только весною женат, упросил отца взять его в поход с собою. В Москве старый и молодой князь явились на смотр в Преображенское село к Ромодановскому-князю.

И Ромодановский хотел записать Щетининых в роту к немцу Либерту, но князь Иван Лукич через холопа князя Федор Юрьича Ромодановского упросил не записывать к немцу, а записать к боярину князю Борис Алексеевичу Голицыну и послал через холопа в гостинец князю Федору Юрьевичу выношенного белого сокола.

В Москве князь Иван Лукич простоял три недели у свата князя Ивана Ивановича Хованского и с сыном ходил к родным и знакомым на площадь и на Красное Крыльцо и видел патриарха и царя Ивана Алексеевича и потом видел, как царь Петр Алексеич возвращался из Архангельска. 23 сентября в воскресенье они ходили смотреть, как солдатские полки, подьячие и стольники конные прошли через Москву в полном уборе с знаменами и пушками, с своим воеводой боярином И. И. Бутурлиным. Через три дни, слышно было, что Иван Иванович Бутурлин будет называться Польской король, и все его войско — поляки и что с ним-то будет война; воевать будет Ромодановский Федор Юрьевич с потешными войсками и с дворянскими ротами, с теми, в которые записаны

---

[1] лук и стрелы. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

[2] в обозе. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

были Щетинины, отец с сыном. 26-го в праздник Иоанна Богослова велено было собраться всем в Преображенское село под Москвою.

Оттуда пошли все в поход, тоже через Москву. Щетининым с людьми пришлось ехать за ротой Тихона Никитича Стрешнева, а позади их ехала рота князя Лыкова. Ратных людей было так много, что, когда шли по середине Мясницкой улицы, то вперед поглядишь, до самого Китая-города все конные во всю улицу, а назад поглядишь,—конца не видно. Старый князь, хоть и двадцать три года не был в Москве — с тех пор как его сослали в вотчины при царе Алексее Михайловиче, все, что он видел в Москве и теперь в войске, было ему не в диковину. Хоть и было нового много теперь, чего он не видывал прежде, он уже прожил шесть десятков и видал всячину. Старому умному человеку ничто не удивительно. Старый умный человек видал на своем веку много раз, как из старого переделывают новое, и как то, что было новое, опять сделается старое, потому в новом видит не столько то, почему оно лучше старого, не ждет, как молодые, что это будет лучше, а видит то, что перемена нужна человеку. Но для Никишки Щетинина все, что он видел в Москве, было удивительно, и Клекоток, село отцовское, где он родился и вырос и был первым человеком, казалось все серее и меньше и хуже, чем дольше он был в Москве. Теперь у него глаза разбегались. Их было в роте сто двадцать дворян, а рот таких дворянских в их войске было двадцать, и, куда он ни смотрел,— вперед ли, назад ли, вокруг себя,— редкие были хуже убраны, чем он с отцом, половина была им ровня, а большая половина были много лучше их. Они с отцом ехали в середине первого ряда. Под отцом был приземистый, толстоногий, короткошеий чубарый Бахмат. Бахмат этот была первая лошадь по Ефремову. Никишка по первозимью прошлого года забил с него двух волков, не было ему устали, и скакал он хоть и не так прытко с места, как тот аргамак, который был под ним, но скакал ровно, не сдавая на сорок верст. Но Бахмат хорош был в Клекотке, а тут под отцом не было в нем виду. Даже сам отец — хоть молодцеватее его и не было старика, мелок казался наравне с Хованским-князем, который ехал рядом на тяжелом сером, в яблоках, польском коне, в тяжелой узде с серебряной наузой, с махрами и гремячими цепями в поводьях.

Аргамак белесо-буланый, на котором ехал сам Никишка, казался мельче, глядя кругом. Особенно вперед себя на Бориса Алексеевича Голицына, который ехал впереди лошади на две на белом фаре в тигровом чепраке и с золотыми махрами. Сам Борис Алексеевич был в собольей шубе, крытой синим бархатом, и золотая сабля гремела у ног. Но не столько князь Борис Алексеевич, сколько один из его держальников. Их было двенадцать, сколько на этого держальника, было завидно Никишке. На коротких стременах, на буром ногайском коне, с карабином золоченым, удал был.

Когда вышли за Симонов монастырь, увидали поле и мост на реке. У моста стояли пушки и палили на ту сторону; с той стороны палили тоже. Закричали что-то, потом в дыму велели скакать, и Борис Алексеевич отвернул в сторону, и все поскакали, смяли стрельцов и перескочили за мост.

Тогда закричали назад, и видно было, как стрельцы пошли в крепость. После поля стали табором у Кожухова. Подъехал обоз, и Щетинины стали в повозках у леска рядом с повозками Хованского-князя. На другой день опять была война. И так шла эта война три недели. 6 октября [в] воскресенье дали войскам роздых.

[АЗОВСКИЕ ПОХОДЫ]

Старое и новое

«То царей мало что один, три — с царевной было, а теперь ни одного у нас, сирот, на Москве не осталось. Закатилася наша, солнушко, забубенная головушка. Теперь, я чаю, уж в Воронеже буровит. Ох, подумаю, Аниките Михайлычу нашему воеводство на Воронеже не полюбится. Разожжет его там наше Питер-дитятко».

Так говорил Головин Федор Алексеевич, у себя в дому угощая гостей — Лефорта Франца Яковлича, Репнина-старика, князь Иван Борисыча и Голицыных двух: князь Борис Алексеича и князь Михаила Михайлыча.

Дом Головина был большой, деревянный, новый — на Яузе. Головин зачал строить его после похода в Китай. И в Москве не было лучше дома и по простору, и

угодьям, и по внутреннему убранству. Федор Алексеевич много из Китая привез штофов, дорогих ковров, посуды и разубрал всем дом. А Аграфена Дмитревна, мать Федора Алексеевича — она была из роду Апраксина,— собрала дом запасами из Ярославской да из Казанских вотчин. Подвалы полны были запасами и медами, и к каждому розговенью пригоняли скотину и живность из вотчин.

Гости сидели в большой горнице, обитой по стенам коврами. Дверь тоже завешана была ковром. В переднем углу на полстены в обе стороны прибиты были иконы в золоченых окладах, и в самом углу висела резная серебряная лампада. Два ставца с посудой стояли у стены. У ставцов стояли четыре молодца, прислуга. За одним столом, крытым камчатной скатертью, сидели гости за чаем китайским в китайской посуде, с ромом,— на другом столе стояли закуски, меды, пиво и вина. Выпита была вторая бутылка рому.

Гости были шумны и веселы. Князь Репнин, старший гость, невысокий старичок, сидел в красном углу под иконами. Красное лицо его лоснилось от поту, блестящие глазки мигали и смеялись и все-таки беспокойно озирались, соколий носок посапывал над белыми подстриженными усами, и он то и дело отпивал из китайской чашки чай с ромом и сухой маленькой ручкой ласкал свою белую бороду. Он был шибко пьян, но пьянство у него было тихое и веселое. Рядом с ним, половина на столе, облокотив взъерошенную голову с красным, налитым вином лицом на пухлую руку, половина на лавке, лежала туша Бориса Алексеича Голицына, дядьки царя. Он громко засмеялся, открыв белые сплошные зубы, и лицо его еще побагровело от смеха, и белки глаз налились кровью.

— Да уж разожжет! — закричал он, повторяя слова хозяина. — Наш Питер-дитятко, ох — и орел же...

И Борис Алексеич опрокинул в рот свою чашку и подал ее хозяину и, распахнув соболий кафтан от толстой красной шеи, как будто его душило, отогнулся на лавку и упер руки в колена.

Другой Голицын, Михаил Михайлыч, худощавый черноватый мужчина с длинным красивым лицом, помоложе других, сидел нахмуренный и сердито подергивал себя за ус. Он пил наравне с другими, но видно было, что хмель не брал его и он был чем-то озабочен. Он взглянул

на двоюродного брата Бориса Алексеича и опять нахмурился. Веселее и разговорчивее и трезвее всех был Франц Яковлевич и хозяин. Франц Яковлевич не по одному кацему мундиру, обтянутым лосинам и ботфортам на ногах и бритому лицу и парику в завитках отличался от других людей. И цвет лица его, белый, с свежим румянцем на щеках, и звук его голоса, не громкий, но явственный, и говор его русский, не совсем чистый, и обращенье к нему хозяина и других гостей, снисходительное и вместе робкое, и в особенности его отношение ко всем этим людям, сдержанное и нераспущенное, отличали его от других. Он был высок, строен, худощавее всех других. Рука его была с кольцом и очень бела. Он приятно улыбнулся при словах хозяина, но, взглянув на Голицына, когда тот вскрикнул, тотчас же отвернулся презрительно.

Хозяин, среднего роста, статный красавец лет сорока, без одного седого волоса, с высоко поднятой головой и выставленной грудью (ему неловко было сгорбиться) и с приятной свободой и спокойствием в движеньях и светом и ясностью на округлом лице, соблюдал всех гостей, но особенно и чаще обращал свою всегда складную, неторопливую речь звучным волнистым голосом к Францу Яковличу.

I

Из Воронежа, к Черкасску на кораблях, на стругах, на бударах, вниз по Дону бежало царское войско. Войско с запасами хлебными и боевыми шло в поход под Азов.

Всех стругов с войсками и запасами было тысяча триста. Если б все струги шли в нитку один за другим, они бы вытянулись на пятьдесят верст; а так как они шли на три части и далеко друг от друга, то передние уж близко подходили к Черкасску, а задние недалеко отошли от Воронежа. Впереди всех шли солдатские полки на сто одиннадцати стругах; за ними плыли потешные два полка с Головиным-генералом, в третьих плыл Шеин-боярин, над всеми воевода, со всеми войсковыми запасами.

Позади всех, на неделю вперед пустив войска на стругах, плыл сам царь в тридцати вновь построен-

ных кораблях с приказами, казною и начальными людьми.

В Николин день, 9 мая, на половине пути у Хопра царь догнал и обогнал середний караван,— тот самый, в котором плыли его два любимые потешные полка, Преображенский и Семеновский. В караване этом было семьдесят семь стругов. Впереди всех шли семь стругов с стрелецким Сухарева полком по сто тридцать человек на каждом, позади — Дементьева, Озерова, Головцына, Мокшеева, Батурина стрелецкие полки на двадцати девяти стругах; за ними шел Семеновский полк на восьми стругах, а за ними с казною два струга, два судейских, один дьячий, один духовницкий, два бомбардирских, один дохтурский, три немца Тимермана с разрывными запасами, за ними — с больными девять стругов, за ними генеральские два струга и, позади всех, тринадцать стругов Фамендина-полка, и на них по сто человек Преображенского полка, всех тысяча двести.

В Преображенском полку большая половина была новобранцы. Собрали их на святках в Москве из всяких людей, одели в мундиры темно-зеленые и обучили солдатскому строю. Новобранцы были больше боярские холопы, но были и посадские люди и дворяне бедные. Прежние солдаты прозвали новобранцев обросимами и на плыву отпихнули обросимов на особые струги. Обросимы плыли позади всех.

На заднем струге плыли прапорщик-немец, сержант Безхвостов и сто шесть человек солдат-обросимов. Всю ночь они плыли на гребле, чуть не утыкаясь носом в корму передового струга.

Накануне была первая гроза. В полдень был гром и молния, и во всю короткую ночь прогромыхивало за горами правого берега, и молонья освещала темную воду и спящих солдат вповалку на нового леса палубе и гребцов, стоя равномерно качавшихся и правильно взрывающих воду. В ночь раза два принимался накрапывать дождь, теплый, прямой и редкий. К утру на небе стояли прозрачные тучи, и на левой стороне, на востоке, каймою отделялось чистое небо, и на этой кайме поднялось красное солнце, взошло выше, за редкие тучи, но скоро рассыпало эти тучи, сначала серыми клубами, как дым, а потом белыми курчавыми облаками разогнало эти тучи

по широкому небу и, светлое, не горячее, ослепляющее, пошло все выше и выше по чистому голубому небу.

Дело было к завтраку. С рассвета гребла все та же вторая смена, шестнадцать пар по восемь весел со стороны. И уж намахались солдатские руки и спины, набо лели груди, налегая на веслы. Пора было сменить, и уж не раз покрикивали гребцы лоцману. Лоцман был выбор ный из них же, обросимов, широкоплечий, приземистый солдат Алексей Щепотев.

— Пора смену, Алексей, что стоишь.

Но Алексей в одной рубахе и портках, в шляпе, поглядывал, щуря на золотое солнце свои небольшие глаза, казавшиеся еще меньше от оспенных шрамов, опять вперед, на загиб Дона, на струги, бежавшие впереди; и только всем задом чуть поворачивал руль и не отвечал.

— Вишь, черт, у его небось ж... не заболит поворачивать-то,— говорили солдаты, раскачиваясь, занося весла.

Из рубленой каюты на корме вышел немец-капитан в чулках, башмаках и зеленом расстегнутом кафтане. Огляделся.

— Алексе,— сказал он,— которы смен?

— Вторая, Ульян Иваныч.

— Надо сменить. А парус не можно? — спросил немец.

— Не возьмет, Ульян Иваныч, вон видишь — на Черноковом струге пытались, да спустили опять,— сказал Щепотев, указывая вперед на дальние струги, загибавшие опять вперед по Дону.

— Ну сменяй.

— Позавтракали, что ль? — спросил Алексей.

— А то нет,— отвечали с носу, прожевавши хлеб.

— Смена! — крикнул Алексей негромко, и сразу подняли веслы гребцы, и зашевелились на сырой палубе, потягиваясь, поднимаясь, застучали ноги, и шестнадцать человек гребцов подошли на смену, и один старшой подошел на смену лоцмана.

— Ну, разом, ребята! берись!

Стукнули глухо о дерево борта ясеневые, уж стертые, весла, ударили по воде, но заплескали неровно.

— Но, черти! заспались, разом!

Тихий голос запел: «Вы далече, вы далече... во чистом поле»,— весла поднялись, остановились и разом стукнули по дереву борта, плеснули по воде, и дернулся

вперед струг, так что качнулся Ульян Иваныч, закуривавший трубку у выхода из каюты, и Алексей Щепотев, переходивший в это время к носу, скорее сделал шаг вперед, чтоб не свихнуться. Алексей с сменой, снявшейся с гребли, прошел к носу. И все стали разуваться и мыться, доставая ведром на веревке из-под носа журчавшую воду.

Позавтракав, сидя кругом котла с кашей, каждый с своей ложкой, люди помолились на восток и расселись, разлеглись по углам на кафтанах, кто работая иглой, чиня портища, кто шилом за башмаками, кто повалясь на брюхе на скрещенные руки, кто сдвинувшись кучкой, разговаривая и поглядывая на берега, на деревню, мимо которой шли и где, видно, народ шел к обедне, кто в отбивку от других сидя и думая, как думается на воде. Алексей Щепотев лег на своем местечке у самого носа на брюхо и глядел то вниз на смоленый нос, как он пер по воде и как вода, струясь, разбегалась под ним, то вперед, на лодку и правило переднего струга, как они шагов за сто впереди струили воду. Кругом его шумел народ, смеялись, храпели, ругались, весело покрикивали гребцы, еще свежие на работе и еще только разогревшиеся и развеселившиеся от работы. На берегу, близко, слышен был звон, и солдаты перекрикивались с народом из села. Он не смотрел, не слушал и не думал, и не вспоминал, а молился богу. И не об чем-нибудь он молился богу. Он и не знал, что он молится богу, а он удивлялся на себя. Ему жутко было. Кто он такой? Зачем он, куда он плывет? Куда равномерное поталкивание весел с этим звуком, куда несет его? И зачем и кто куда плывут? И что бы ему сделать с собой? Куда бы девать эту силу, какую он чует в себе? С ним бывала эта тоска прежде и проходила только от водки. Он перевернулся.

— Мельников! — крикнул он,— что ж, помолить именинника-то,— сказал он солдату Николаю Мельникову.

— Вот дай пристанем,— отвечал Мельников.

Алексей встал и сел на корточки, оглядываясь. Два немца-офицера сидели у входа в каюту на лавке и пили пиво, разговаривая и смеясь. Кучка сидела около рассказчика-солдата.

Алексей подошел к ним, послушал. Один рассказывал, как два татарские князя, отец с сыном, поссорились за жену. Алексей опять лег.

— Быть беде со мной,— подумал он. — Это бес меня мучает.

Вдруг позади, далеко, послышалась пальба. «Бум, бум»,— прогудели две пушки. Остановили, и бум — прогудела еще пушка, и еще три сразу. Все поднялись и столпились к корме. Но видеть ничего нельзя было. Недавно только загнули колено, и в полверсте плесо упиралось в ту самую деревню, какую прошли, и загибалось налево. Солдаты судили, кто палит: одни говорили — князь какой празднует, другие смеялись — турки. Немцы тоже подошли, говорили по-своему. У старшего немца была трубка, он смотрел в нее.

— Одевайтесь! — крикнул Ульян Иваныч. — Это величество царь!

Солдаты побежали одеваться. Офицеры тоже. Когда Щепотев в чулках, башмаках, в суконном зеленом камзоле вышел на палубу, сзади, уж пройдя деревню, видно было судно с тремя парусами. На переднем струге тоже засуетились. Немцы с переднего подошли к корме, с заднего к носу, и переговаривались. Солдаты одевали, чистили, подметали струг. От генерала пришло приказанье одеть солдат и приготовить ружья к пальбе холостыми зарядами. На воде, впереди, показалась лодка; в ней сидели гребцы и гребли вверх. В лодке сидел маленький генерал в шляпе немецкой и камзоле и с ним еще два офицера. Их приняли на струг, это был Головин Автоном Михайлыч. Он приехал встречать царя. Когда увидали, что корабли шли парусом, попробовали выставить свой, но ветерок был сбоку, и парус заплескивался. Солдаты встали в строй в три шеренги, ротный командир стал сбоку, генерал с стряпчим впереди. Гребцы налегали на весла и искашивались, смотрели из-за спин на приближавшийся корабль. За кораблем первым виден был второй и третий. Корабль первый догнал на выстрел и весь был виднешенек на широком плесе с своими тремя парусами, с рубленой горенкой на палубе и с пестрым народом. Корабль был крутобокий, черный, высокий. С боков под палубой высовывались пушки. Корабль догонял скоро, но на новом повороте, видно было, стали за поласкиваться паруса. Видно стало: зашевелился народ, стали убирать паруса, упал передний малый парус, потом большой свалился набок, и его стащили. Видно, высунулись длинные весла, и опять корабль стал нагонять

струги. Все виднее и виднее становилось. Уже струг стал забирать влево, чтоб дать дорогу кораблю справа, но корабль все шел прямо за ним; уже видны были веревки на мачтах, видна была фигура на корабле: половина человечья, с руками над головой, как будто держит загиб носа, и с рыбьим хвостом, прилипшим к смоленой спайке, уж видно, как вода разбегалась под истопом. Уже слышно стало, кроме своих ударов весел, как там, на том корабле, *налегали, ломили враз по шестнадцать весел.* Шагах в пятидесяти под кораблем забурчала вода, и нос круто поворотил направо, и стал виден народ на палубе. Много стояло народа.

— Тот царь, этот царь?

Только стали признавать царя со струга, как вдруг опять выпалили из пушек, так что оглушило на струге, и закачалась под ним вода, и дымом застлало вид.

— Пали,— закричал генерал, и со струга стали вверх палить солдаты; отозвались на другом, переднем, и далеко впереди пошла стрельба. Когда дым разошелся, корабль сравнялся до половины струга. На носу, высоко над стругом, стояли три человека, два высоких, один низкий. Один из высоких, в желтом польском кафтане, в чулках и башмаках, стоял ближе всех к борту, поставив одну ногу на откос и, упершись на нее левой рукой, снял правой шляпу с черноволосой головы, замахал ею и закричал:

— Здорово, ребята!

Это был царь. Кто и никогда не видал его, как Щепотев, все сейчас узнали его. Солдаты закричали:

— Здорово!

Царь бросил шляпу, и она упала в воду. Он засмеялся и вскочил, повернулся и что-то стал говорить своим.

Щепотев не видал ничего больше, он бросил ружье на палубу и, быстро перекрестившись, шарахнулся головой вниз в воду в то место, где упала шляпа; когда он вынырнул, на корабле и на струге перестали грести. Он отряхнул волоса, оглянулся, увидал шляпу и, взяв в зубы за самый край поля, вразмашку поплыл к кораблю. У веревочной лестницы внизу уж стоял молодой красавец, *денщик царский, чтоб принять шляпу.* Щепотев ухватил рукой за лестницу, другой перехватил шляпу и, как будто не видя Александра, махал шляпой по направлению к царю, который, перегнувшись через борт,

смеялся, глядя на мокрого толсторожего солдата. Вдруг лицо царя передернулось; он сощурил один глаз и потянулся всей головой и шеей в одну сторону и совсем другим голосом закричал на денщика:

— Куда полез! А, Алексашка! Пусти его.

Алексашка подхватил под руку Щепотева и, давая ему дорогу, как кошка живо влез наверх.

— И то посмотреть водолазную собаку,— сказал он царю.

Лицо царя все еще было сердито, он еще дергал шеей, видно раздосадованный тем, что его заставили ждать; но лицо красавца Алексашки не изменилось, он как будто не видел, что царь сердится. Когда Щепотев вылез, царь осмотрел его. Широкие плечи, толстые кости, красная шея и умная смелая рожа Щепотева, видно, понравились царю. Он потрепал его по голове.

— Молодец, дать ему рубль и водки.

Щепотев почувствовал сильный запах вина от царя, и вдруг на него нашла смелость. Он фыркнул, как собака, и сказал:

— А как же я от своего струга отстану.

Царь опять посмотрел на него.

— Ты из каких?

— Из дворян, государь, только дворов-то у меня только свой один был, и тот развалился.

В это время на корабль лез генерал Головин, и царь пошел к нему, обнял его, показал на одного из своих: «Иван тут!» Братья поцеловались. Царь ушел в рубку, и корабль тронулся мимо струга.

Щепотеву дали водки. Щепотев покричал своим и сел на палубе, выжимая платье. У царя шло гулянье. Через час Щепотева позвали в рубку. Все были пьяны. Головин лежал под столом. На ногах были царь и З[отов].

— Ну, рассказывай,— сказал царь.

Щепотев начал.

II

Когда Алексей ударился головой об воду и зашумело у него в ушах и засаднило в носу, он не забывал, где корабль и где струг, чтобы не попасть ни под тот, ни другой; и под водой повернулся влево и, не достав до дна,

опять услыхал, как забулькала [вода] у него в ушах, и стал подниматься до тех пор, пока свежо стало голове. Он поднялся и оглянулся. Вправо от него выгнутой смоляной стеной с шляпками гвоздей бежал зад корабля, влево буровили воду струговые весла, шляпа чуть пошевеливалась и черпала одним краем прозрачную воду. Алексей отряхнул волоса, втянул и выплюнул воду и по-собачьи подплыл к шляпе, чуть за край поля закусил ее белыми сплошными зубами. Кто-то что-то закричал с корабля. Алексей набрал воздуху в свою толстую бычачью грудь, выпростал плечи из воды и, оскалив стиснутые на поле шляпы зубы, вразмашку, да еще пощелкивая ладонью по воде, поплыл за кораблем. Промахав сажен десять, Алексей оглянулся и увидал, что он не отставал, но и ничего не наверстывал. Те же шляпки гвоздей были подле него и веслы впереди. Тогда он вдруг перевернулся вперед плечом и наддал, так что сравнялся с веслами. На корабле закричали опять, подняли весла и скинули веревочную лестницу.

Не выпуская из зуб шляпу и обливая лестницу и бок корабля водою с платья, Алексей влез, как кошка, по продольным веревкам, не ступая на поперечные, и, прыжком перекинувшись через борт, обмял еще на себе штаны, выдавливая воду, отряхнулся, как собака из воды, и, переложив шляпу на ладони обеих рук, остановился, оскаливаясь и отыскивая глазами царя. Хоть и мельком он видел царя на носу, хоть и много стояло теперь перед ним господ, бояр и генералов, Алексей сразу увидал, что царя не было. Высокий ловкий щеголь в темно-зеленом с красной подбивкой мундире, с веселым лицом и длинной шеей, подошел, точно плыл, такой тихой, легкой поступью и хотел взять шляпу.

— Ну, молодец! — сказал щеголь слово ласково, весело, как рублем подарил. Но Алексей перехватил шляпу в одну руку и отвел ее прочь, не давая.

— Ты бы сам достал, а я сам царю подам,— сказал Щепотев.

Господа засмеялись. Один из них, особистее всех, с большой головой и большим горбатым носом, с окладистой бородой, в атласном синем кафтане, окликнул щеголя:

— Александр,— сказал он,— оставь, не замай, сам отдаст, государь пожалует.

— Не замай, отдаст, Федор Алексеич.

— Государь-то с Артамон Михайлычем занят,— отвечал щеголь Александр, улыбаясь и тихим приятным голосом и неслышными легкими шагами отошел к корме и кликнул двух корабельщиков, чтоб затерли воду, какую налил Алексей.

— А ты царя знаешь, что ли? — спросил боярин.

Алексею жутко становилось. И, как всегда с ним бывало, на него находила отчаянность, когда бывало жутко. Он сказал:

— А солнце ты знаешь?

Боярин покачал головой, засмеялся, и другие засмеялись.

— Вот он, царь!— сказал Алексей, узнав его тотчас же.

Царь как будто насилу удерживался, чтоб не бежать, такими быстрыми шагами шел из-под палатки по палубе, прямо к ним. За царем пошли было, но отстал генерал Головин, Автоном Михайлыч с братом.

Алексей прежде с струга видел царя и признал его, но теперь, в те несколько мгновений, пока царь своим иноходным бегом прошел те десять шагов, которые были до него, он рассмотрел его совсем иначе. Алексей был теперь в том раздраженном состоянии души, когда человек чувствует, что совершается в один миг вся его жизнь, и когда обдумает человек в одну секунду больше, чем другой раз годами.

Пока шел царь, он оглядел его всего и запомнил так, что, покажи ему потом одну ногу царскую, он бы узнал ее. Заметил он в лице скулы широкие и выставленные, лоб крутой и изогнутый, глаза черные, не блестящие, но светлые и чудные, заметил рот беспокойный, всегда подвижный, жилистую шею, белизну за ушами большими и неправильными, заметил черноту волос, бровей и усов, подстриженных, хотя и малых, и выставленный широкий, с ямкой, подбородок, заметил сутуловатость и нескладность, костлявость всего стана, огромных голеней, огромных рук, и нескладность походки, ворочающей всем тазом и волочащей одну ногу, заметил больше всего быстроту, неровность движений и больше всего такую же неровность голоса, когда он начал говорить. То он басил, то срывался на визгливые звуки. Но когда царь засмеялся и не стало смешно, а страшно, Алексей понял и затвердил царя навсегда.

В то время как царь шел к нему, Алексей смотрел на него всего и, кроме того, думал о том, как и что сказать ему. Одно он понял, увидав царя, что ему нужно сказать что-нибудь почуднее и такое, что бы поманило царю, такое, чтобы сказать о себе, что он из солдат отличен. Царь засмеялся тем смехом, от которого страшно стало Алексею, когда боярин Федор Алексеич сказал ему, что солдат не отдал шляпу денщику и сказал: ты сам слазяй.

Царь подошел, взял, рванул шляпу, тряхнул с нее воду и мокрую надел на голову.

— Спасибо, малый,— сказал он, ударив Алексея ладонью *по мокрой голове,— она мне дорога — дареная.* Что ж Алексашке не отдал? Алексашка! — крикнул царь.

Александра не было видно, но не успел царь сказать: «Алексашка»,— как он уже был тут, подойдя неслышными шагами, и, улыбаясь, подтвердил слова Федора Алексеича.

— Ну, чем тебе жаловать за шляпу? — сказал царь.

Щепотев в ту же минуту сказал:

— Нам не в привычку нырять, нам и спасибо царское — жалованье большое.

В то время как Алексей говорил это, он почувствовал запах вина из желудка царя и, оскалив зубы, прибавил:

— *Если хочешь жаловать, вели водки дать.*

Царь не засмеялся, а нахмурился и пристальней посмотрел на широкую, здоровенную, умную и веселую рожу солдата, на его красную бычачью шею и на весь стан, короткий и сбитый. Ему понравился солдат, и задумался о нем, оттого нахмурился.

— Ты из каких?

— Из попов,— проговорил Алексей и засмеялся, но не смел и захрипел.

Все засмеялись.

— А где ж ты, поп, нырять выучился?

Все засмеялись громче.

— На Муроме свой дворишко был.

— А грамоте учился?

— Знаю.

— Зачем же ты в солдаты попал?

— От жены, государь.

— А что от жены?

Алексей переставил ноги половчей, приподнял плечи и руки, как будто хотел засунуть большие пальцы за кушак, но кушака не было, опустил их назад; но все-таки стал так, что, видно, он сбирался, не торопясь, по порядку рассказывать.

— Женили меня родители, да попалась б..., я ее грозить [?], а она хуже, я ее ласкать, а она еще пуще, я ее учить, а она еще того злее; я ее бросил, а она того и хотела.

От волнения ли, от холоду ли сохнувшего на нем платья, Алексей начал дрожать и скулами и коленками, говоря эти слова. Лицо его стало сизое. Царь захохотал и оглянулся. То самое, что он [хотел] приказать, было готово: Александр принес ведро водки и, зачерпнув ковшом, держал его. Царь мигнул ему. Александр поднес Алексею. Алексей перекрестился, поклонился царю, выпил, крякнул и продолжал:

— С тоски загулял, пришел в Москву и записался в обросимы.

— А жена же где?

— Жена на Москве в Преображенском. Начальные люди уж вовсе отбили. Пропадай она совсем. Нет хуже жены. Потому...

Царь, как будто его дернуло что-то, повернулся и, ударив по плечу Головина, Автонома Михайлыча, стал говорить ему, что солдат этот малый хорош, что он его себе возьмет. Автоном Михайлыч отвечал, что он пошлет спросить про него у капитана и тогда пришлет царю. Царь дернулся, как будто выпрастывая шею из давившего галстука. Александр был уж тут.

— А то прикажи, государь, я его тут оставлю, а тебе Автоном Михайлыч весть про него пришлет.

Алексея провел к корме Александр и сдал его другим денщикам.

— Царь его при себе оставляет,— сказал он,— дайте ему переменниться, ребята. А там его рухлядишку пришлют.

Очнувшись на другое утро от вина, которого поднесли ему, Алексея одели в новый кафтан и портки и башмаки и послали его к царю.

---

[1]

17 марта 1629 года у избранного на царство после московской смуты царя Михаила Федоровича родился сын Алексей. 12 июля 1645 по смерти отца воцарился царь Алексей Михайлович. В 1648 году молодой царь сочетался браком с девицею Марьею Ильиничною Милославской. Двадцать один год прожил царь Алексей Михайлович с женою, царицею, в мире, любви и согласии. И бог благословил их детьми. Живых было десять, все были живы и здоровы. В 1669 скончалась царица Марья Ильинична. Четыре сына и шесть царевен остались после матери. Старшему царевичу Алексею Алексеевичу было 15 лет, второму, Федору, 8 лет, третьему, Симеону, 4 года, меньшому, Иоанну, 3 года. Царевне Марфе 17, Анне 14, Софье 12, Катерине 11, Марье 9, Федосье 7 лет. Наследником царства был объявлен царевич Алексей и уж принимал послов и помогал отцу. Старшая сестра Марфа тоже была на возрасте. За малолетними было кому ухаживать. Были живы три царевны — Ирина, Анна, Татьяна Михайловны, тетки, любимые сестры царские.

Сам царь был не стар, хотя и толст брюхом и, казалось, ему шутя дожить надо, пока он сына женит, к царству приготовит и всю семью на ноги поставит. Но пословица говорит: седина в бороду, бес в ребро. Царь был не стар, жил в неге и в соблазне от человекоугодников и льстецов и попал в сети врагу.

Не прошло года после смерти жены, как он сошелся в любовь с 18-летней незамужней девкой и через два года, чтобы прикрыть грех, женился на ней. Женился он на ней 22 января, а в мае она родила незаконного сына. От царя ли был этот сын или от кого другого, никто не знал. Свел его с этой девкой Артамон Матвеев, бывший подьячий сын, голова стрелецкий. Девку звали Наталья, а потом уж по отцу стали называть ее Кириловой, а по прозвищу Нарышкиной, а никто не знает теперь, какого она истинно была роду. Говорили одни, что прозвище ей было Ярыжкина и что была она в такой нищете, что в лаптях ходила, что Матвеев, заехав раз в Михайловской уезд в деревню Киркину, увидал в деревне — девчонка плачет. Подозвал ее и узнал, что плачет она о

том, что девка у них в доме удавилась. Он пожалел девчонку, посадил ее с собой и привез жене. Другие говорили, что она была наложницей Матвеева самого и что потом уже он подманил на нее царя, приворотил его к ней и женил на ней. Потом уже, как вышла она в царицы, стали говорить, что она роду Нарышкиных, Кирилы Полуехтыча, стрелецкого полуголовы дочь. Вернее всего то, что была она в родстве с Нарышкиными и с Матвеева женой, а потом уже, как стала в славе, то принята в дочери Нарышкину.

Как бы ни было, шла она замуж не честью, и вместо с мачехой пошли беды за бедами на царскую семью. Как только померла царица Марья Ильинична и связался с Натальей царь Алексей Михайлович, помер у него четырехлетний сынок, Симеон, прошло еще полгода, захворал и помер Алексей Алексеич, больший сын, наследник.

Немного время прошло, и, надежа и царя и народа, захворали оба наследника, оба царевича — и Федор и Иоанн. Стали у них пухнуть десны — языки и глаза гноиться. То были все дети здоровые, а то вдруг заболели все четыре, мужеска пола дети, наследники царству, а девицы-царевны все остались здоровы.

Два царевича померли, а два остались хворые. Федор был старше и перемогся, а Иоанн так испортился, что язык у него не ворочался, полон был рот слюни и глаза вытекли, так что он глазами плохо видел.

Недолго пожил после того и царь Алексей Михайлович. Через четыре года после женитьбы на молодой жене схоронили и его. Было ему 47 лет от роду, был мужчина сильный, здоровый, так что ему бы надо еще тридцать лет жить, а вдруг свернулся и помер, и остались царевны, два больные царевича и молодая мачеха с своим четырехлетним сыном.

Как только умер царь Алексей Михайлович, мачеха с своим благодетелем Артамоном утаили от бояр то, что царь благословил Федора на царство, подкупили стрельцов и уговаривали бояр объявить помимо законных царевичей Федора и Иоанна царем четырехлетнего ее мальчика Петра. Бояре не согласились, и на царство вступил Федор. После вступления на царство Федора всех родных Натальи судили и сослали в ссылки, а Артамона, ее благодетеля, судили в отраве царя Алексея Михайловича и

сослали в Пустозерск, самое же мачеху Федор оставил при себе и с ее сыном.

Недолго процарствовал и Федор, и не дал ему бог наследников. Родился от него царевич, но скоро опять помер и с матерью. Царь женился другой раз на Марфе Матвеевне Апраксиной и через три месяца и сам помер.

Остался поперек дороги мачехе один законный наследник Иоанн.

В то время солдатских наборов еще не бывало. Служили дворяне с поместьев, казаки, да, кроме того, набирали по городам вольных людей, ловких к стрельбе, записывали по полкам и называли стрельцами. Стрельцов таких было в Москве двадцать два полка, а в каждом полку по тысяче человек. Начальниками в полках стрелецких были десятники, пятидесятники, сотники, полуголовы и головы, головы или полковники. Голов сажали из дворян, дьяков и из немцев.

2

На святой, в то время как царь Федор Алексеевич умирал и с часу на час ждали его смерти, 23 февраля на красную горку, в Стрелецкой слободе в Грибоедовом полку в приходе Казанской богородицы у Калужских ворот венчали две свадьбы. Народ был весь на улице, которые родные, соседи и ближние смотрели свадьбу в церкви (церковь была рубленая, еловая, в два придела и битком набита была народом), [которые] толклись у церкви, поджидая свадьбу, которые постарше сидели на приступочках и у ворот, и, сошедшись по двое и по трое, которые молодые ребята играли за церковью на кладбище. В кабаке на площади стон стоял от пьяного народа. У съезжей избы с каланчою на другой стороне площади никого не было. Только караульный стоял на каланче.

[СЕВЕРНАЯ ВОЙНА]

В 1708-м году пасха приходилась [4] апреля. Весна была ранняя и дружная, и на страстной еще начали пахать. Ржи вскрылись из-под снега зеленые и ровные, без вымочек. Зазеленелась осенняя травка, стала пробивать

новая, скотину уже выпустили на выгоны, и мужики поехали пахать и свою и господскую и радовались на мягкую и рассыпчатую разделку земли под овсяный посев. Бабы и девки на мужицких и на барских дворах развешивали по плетням платье и мыли в не сбежавшей еще снеговой воде порты, холсты, кадушки, столы и лавки, готовясь к празднику. Было тепло, светло, весело. Птица еще не разобралась по местам и все еще летела над полями, лесами и болотами. На выгоне кричали ягнята, в поле ржали жеребята, отыскивая маток; чижи, жаворонки, щеглята, пеночки со свистом и песнями перелетали с места на место. Бабочки желтые и красные порхали над зеленеющими травками, пчела шла на раките и носила уже поноску. Молодой народ работал и веселился, старые люди и те выползли на солнышко и тоже, поминая старину, хлопотали по силе мочи. Если и было у людей горе, болезни, немощь и смерть, их не видно было, и в полях и в деревне все были радостны и веселы.

В чистый четверг ввечеру вернулся домой в Ясную Поляну молодой мужик Василий, Меньшовской барщины, из Воздремы под засекой. Он был там в работниках и бондарях и там услыхал о приезде Крапивенского воеводы с наборщиком. Воевода с наборщиком ехали забирать рекрут старых наборов.

Василий видел, как на барской двор въехали на шести тройках с солдатами. Дядя Савелий ходил на барский двор и узнал, зачем приехали. Он был сват Васильеву отцу Анисиму, велел Василью бежать домой и дать слух. Василий, как был босиком, в обед бросился бежать, да не дорогой, чтоб не остановили, а пробежал задворками на пчельник, с пчельника в засеку, да засекой чертой к Ясной Поляне. Прибежал он в полдни. Дома никого не было, кроме баб. Мужики пахали. Он побежал в поле, нашел своих у Черного верха. Отец его Анисим и брат Семен пахали. Увидав Василья, все мужики, пахавшие вблизи, побросали сохи и окружили Василья. Василий рассказал, что видел и слышал. Василий был двадцати одного года, года два женатый. Он был второй сын Анисима и любимый. Начальство и всегда было страшно мужикам, но теперь было особенно страшно. С 1705 по 1708 [год] было пять наборов солдат и рабочих, и с пяти наборов должно было сойти с двадцати трех дворов Ясной Поляны шесть человек, а из их деревни поставп-

ли только двоих. Одного дворового поставила Бабоедиха, да одного Василий Лукич Карцов, а четыре было в недоимке. В прошлом году наезжал комиссар, да Бабоедиха отдарила его и не поставила, с Карцова не следовало, с Абремовой взять было нечего, а с Дурновской и Меньшовской тогда взяли двух, Сергея Лизунова да Никифора, но один Сергей ушел, и теперь были в деревне; поэтому теперь и Меньшовским и Дурновским должно было прийтись плохо. Рассчитывали мужики, что беглых возьмут, да за укрывательство передерут всех, да еще остальных четырех ни из кого, как из них возьмут.

Земля тогда вся была чересполосная, и мужики разных барщин пахали вместе. В Чертовом верху, куда прибежал Василий, пахали Меньшовских четыре, Дурновских — двое и Бабоедихиных восемь сох. Мужики уткнули сохи, завернули лошадей, которые и борозды не дошли, и собрались все около Анисима.

I

Деревня Ясная Поляна Тульской губернии Крапивенского уезда, которая теперь, в 1879 году, принадлежит мне и 290 душам временнообязанных крестьян, 170 лет тому назад, то есть в 1709 году, в самое бурное время царствования Петра I, мало в чем была похожа на теперешнюю Ясную Поляну. Только бугры, лощины остались на старых местах, а то все переменилось. Даже и две речки — Ясенка и Воронка, которые протекают по земле Ясной Поляны, и те переменились — где переменили теченье, где обмелели, а где выбили бучилы, где было мелко, и везде обеднели водой. Где были леса, стали поля, где было не пахано, все теперь разодрано, давно выпахано и опять заброшено. Заповедная казенная засека, которая на полкруга окружает землю Ясной Поляны, теперь вся порублена. Осталось мелколесье там, где были нетронутые засечные леса, только заруба вилась по краям, чтобы не давать ходу татарам. Где теперь три дороги перерезают землю Ясной Поляны, одна старая, обрезанная на тридцать сажен и усаженная ветлами по плану Аракчеева, другая — каменная, построенная прямее на моей па-

мяти, третья — железная, Московско-Курская, от которой не переставая почти доносятся до меня свистки, шум колес и вонючий дым каменного угля,— там прежде, за 170 лет, была только одна Киевская дорога и та не деланная, а проезжанная и, смотря по времени года, переменявшаяся, особенно по засеке, которая не была еще прорублена, по которой прокладывали дорогу то в одном, то в другом месте. Народ переменился еще больше, чем произрастения земли, воды и дороги. Теперь я один помещик, у меня каменные дома, пруды, сады; деревня, в которой считается 290 душ мужчин и женщин, вся вытянута в одну слободу по большой Киевской дороге. Тогда в той же деревне было 137 душ, пять помещиков, и у двух помещиков свои дворы были, и стояли дворы эти в середине своих мужиков, и деревня была не на том месте, где теперь, а крестьянские и помещичьи дворы как расселились, кто где сел, так и сидели на том месте над прудом, которое теперь называется селицами, и на котором, с тех пор как я себя помню, сорок лет сеют без навоза, и где на моей памяти находили в земле кубышки с мелкими серебряными деньгами. Теперь у мужиков каменные и деревянные, в две связи, избы, есть крытые в зачес и все почти белые, и живут мужики малыми семьями, тогда избы были маленькие, шесть, семь аршин с сенцами и клетью, все топились по-черному, а семьи были большие, по двадцать и больше душ в одном дворе. Племянники жили с дядями, братья двоюродные не делились. Помещики не позволяли делиться, а сгоняли в один двор как можно больше народа. Старые помещики и их приказчики и старосты говаривали, что мужиков надо, как пчелиные рои, сажать покрупнее. Пускай ссорятся и дерутся промеж себя, а все как большая семья, что большой рой, всегда против малой семьи заберет силу и есть с чего потянуть, да и для роя посуда одна. Кроме того и подати тогда и солдатчину, которую только стали отбывать, раскладывали еще не по душам, а по дворам. Теперь мужики ходят в сапогах, картузах, и бабы в ситцах и плисах, тогда, кроме самодельных рубах, кафтанов и шуб, других не знали. Мужики носили летом только шляпы черепениками, а зимой треухи и малахаи. Шубы шили без сборок, а с двумя костышками на спине, онучи были черные, лапти липовые. Бабы носили кики деревянные с назатыльниками и с бисерными подвесками. Вместо

серег носили пушки гусиные, занавески и рубахи, шитые шерстями на плечах.

Заработки теперь у мужиков везде, и на дорогах, и в Туле, и у помещиков; и у всякого бедного мужика в году перейдет через руки рублей пятьдесят серебром, а у богатого двести и триста; тогда заработков за деньги нигде никаких не было. Все занимались землею, лесом в засеке, и только и деньги бывали, когда продаст мужик на базаре в Туле овцу, корову, лошадь, хлеба или меду, у кого были пчелы. И у кого деньги были рублей пятьдесят, тот считался богачом и зарывал деньги в землю. Теперь в Казенной засеке разделены леса по участкам, просеки поделаны и караул строгий, так что не только лесом, но и за орехи и за грибы баб ловят и штрафы с них берут, а прежде подзасечные и помещики и мужики в Казенный лес как в свой ездили за лесом. Караул был малый, и за штоф водки любых дерев нарубить можно было. Теперь хлеб не родится и по навозу, а для скотины корму в полях уж мало стало, и скотину стали переводить, много полей побросали, и народ стал расходиться по городам в извозчики и мастеровые, а тогда, где ни брось, без навоза раживался хлеб, особенно по расчищенным из-под лесу местам, и у мужиков и у помещиков хлеба много было. Кормов для скотины было столько, что, хоть и помногу и мужики и помещики держали скотины, кормов никогда не выбивали.

В то время во всей России вольных не было, только нечто где на севере в Олонецкой, Архангельской, Пермской, Вятской губерниях, да и в Сибири, да в Черкасах, как тогда называли Малороссию, а в средней России все были либо помещичьи, либо дворцовые, те же помещичьи, только помещик их был царь или царица, или царевна, либо монастырские. Однодворцы тогда еще назывались крестьянами. Они были дворяне,— такие, которые жили одним двором. В то время вольным людям житье было хуже помещичьих. Вольные люди часто записывались за помещиков по своей воле. И в Ясной Поляне мужики все были господские. Помещиков в Ясной Поляне тогда, [в] 1708 году, было пять. Самый значительный был капитан Михаил Игнатьич Бабоедов. У него было дворовых людей тридцать две души да крестьян сто пять душ в одиннадцати дворах. Двор у него был большой на горе с краю под двумя соснами. И дом на двух срубах в две

связи липовые с высоким крыльцом. Сам он не жил дома, а был на службе в полку, а дома жила его жена Анна Федоровна с детьми, а хозяйствовал всем староста, Филип Июдинов Хлопков. Одиннадцать дворов его сидели по ск сторону оврага одной слободой, задом к пруду, проти барского двора.

Второй помещик был Федор Лукич Карцов. У этого было дворовых десять душ и мужиков шестьдесят [в] шести дворах. Дворы сидели за оврагом к лесу в другой большой слободе улицей, и в ряду и перемежку с ними сидели еще семь дворов мелкопоместных: Меньшого, Михаила Трофимовича четыре двора (помещик не жил), два двора вдовы Дурновой и один двор Абремовой вдовы. И вдова и крестьяне жили в одном дворе.

[КНЯЗЬ ФЕДОР ЩЕТИНИН]

Война кончилась. Войска стояли на юге России. Командующим войсками был назначен известный своим счастьем и успехом по службе князь Федор Мещеринов. Ему было тридцать четыре года, а он уж был генерал-лейтенант, генерал-адъютант и командующий войсками, из некоторого приличия только перед старыми полными генералами не названный главнокомандующим.

Как у всякого человека, быстро идущего вперед по избранной дороге, [у князя] были враги и были страстные поклонники. Но враги ничего не могли сказать против Мещеринова, кроме того, что он молод, и хотя умен, но не так умен и образован, как можно бы желать в его положении; но никогда Мещеринов не поставил себя в такое положение, где бы заметен был недостаток ума или образования. Для того, что он делал, было всегда у него достаточно ума и образования.

Говорили, что он ушел так далеко благодаря своему искательству в властных людях; но никто не мог сказать, чтобы искательство его было не благородно. Он любил сильных мира сего, и его любили. И он не виноват был, что его дружбы были в этом сильном кругу. В унижении себя перед кем-либо никто не мог уличить его. Говорили, что он любил веселье и женщин; но он сам первый говорил это. Говорили, что он умел показывать лицом товар своих заслуг, что была театральность в его действиях; но он сам говорил, что он любит величие, и он никогда не мог быть смешон; а если были люди, находившие смешное в его величии, то их смех был слишком тонкий, чтоб сообщаться массам, и казался смехом зависти.

Страстные поклонники говорили, что он был великий человек, очевидно призванный к великому. Но все — те которые так или иначе думали, должны были соглашаться в том, что человек этот независимо от своих свойств как янтарь независимо от своих свойств, имел еще какую-то помимочную силу, очевидно сообщавшуюся всем людям, приходившим с ним в сношение.

Войска — вся масса оживлялась, узнавая, что он приезжает или назначается начальником, наружность, лицо, голос его, звук его имени действовали возбудительно. Молодые офицеры, солдаты с особенным удовольствием делали ему честь, когда он с красивым конвоем впереди и сзади коляски проезжал по улицам. Когда он говорил в толпе начальствующих, окружающие прислушивались к его голосу и приписывали значение каждому его слову. Когда его неподвижное красивое лицо вдруг изменялось в улыбку, улыбка эта сообщалась невольно. Когда офицеры и солдаты, проходя мимо дворца, который он занимал, видели съезд карет, свет в окнах и звук музыки, они с удовольствием без малейшей зависти думали о том, что наш князь веселится. Его везде, где он начальствовал, называли наш князь.

Утренние доклады кончились. Два генерала и адъютант с портфелем, излишне раскланиваясь в дверях, ушли наконец. Князь посидел, облокотив лоб на руку. В голове его происходила всегда занимавшая несколько времени перемена, как в органе валов. Все утро у князя не было мысли, кроме дела. Теперь же вал дела работы вынулся и заменился другим, валом удовольствия. Князь встал, заложив руки назад, и выглянул в приемную. С адъютантом сидел Никитин. Никитин, служащий у князя же по гражданской части, игрок, светский, умный, бойкий, все знающий, услужливый человек с неясным прошедшим, но человек высшего круга. Его-то и нужно было князю.

— А, Никитин! — Он подозвал его к себе, подал два пальца руки. — Ну что дела?

Горбоносое тонкое лицо Никитина, сангвиническое, но худое, с мелкими жилками, как и всегда, выражало веселую, энергическую насмешку над всем, с чем он имел дело.

— Дела безделья, князь? — сказал он, пожимая два пальца так же весело и просто, как если бы ему с покло

ном были протянуты обе руки. — Дела вот как. Завтра у вас репетиция. Madame Синивин — Зюлейка и делает костюм. Она будет прелестна. Иванов — Арабом.

— Ну, Иванов, по мне, хоть Самоедом. Так зовите их завтра обедать ко мне. Нынче у меня официальный. Если хотите, приезжайте.

— Благодарю, князь, если позволите, не приеду.

— Все карты.

— И карты, и нежная страсть...

Князь улыбнулся и попросил адъютанта велеть подавать коляску.

Он ехал к начальнику города и к женщине, которая ему уже надоела. Сининская была та женщина, самая блестящая в городе, которую он выбрал, но которая, странно ему казалось, выбрала не его, но одного женатого полковника командира Семена Щетинина, одного из тех дюжинных героев последней войны, которые из отставки поступили на службу и что-то там в глубине армии делали, хлопотали и добились той маленькой военной репутации, которая так дорого стоит и так мало дает.

Князь Мещеринов не признавался себе — это было бы унизительно,— но он ненавидел Щетинина за эту женщину и теперь с помощью Никитина, знавшего весь свет и все умеющего, добивался того, чтобы у Сининской занять место Щетинина.

Князь знал Щетинина, как своего подчиненного, но никогда не любил его. В Щетинине было что-то неясное и жесткое, для князя Щетинин был из того же круга, как и Мещеринов, был также военный и также честолюбив; но во всем есть оттенки: Щетинин был дальше от князя, чем его адъютант Ефремов из мелких дворян, именно потому, что Щетинин мог думать, что он имеет те же честолюбивые помыслы, как и князь, и в особенности потому, что Щетинин мог думать, что он того же круга, как и князь, тут и была огромная разница. Может быть, что Щетинины были древняя фамилия, может быть, они были хорошей породы. Это надо было исследовать, то же, что Мещериновым дала Екатерина сорок тысяч десятин и что с тех пор они друзья двора, это несомненно, и положение другое. Князь не позволил бы себе сказать, что он не любит Щетинина, это было бы низко; но две недели тому назад он подписал бумагу, подсунул назначение Щетинину бригадным и был рад этому. Если бы он дал

себе труд подумать, чему он рад, он нашел бы, что он рад тому, что Щетинин заслужил другого, но ему дали (зная, что ему приятно), и он подписал.

Он оделся и вышел садиться. Князю доложили о Щетинине.

— Зачем не вовремя? — но благодаря этому чувству, чтобы быть благородным, он принял.

КНЯЗЬ ФЕДОР ЩЕТИНИН

1 часть

I

Уже прошло два года, с тех пор как князь Федор Щетинин оставил свой дом, семью и тихую, занятую жизнь и не для честолюбия, не для выгоды, не для славы бросил все и поступил опять в военную службу тем же чином подполковника, которым он вышел. Он поступил тогда на службу только потому, что, прочтя в газетах о том, какие оскорбительные условия были предложены в России, он почувствовал себя оскорбленным, ничего не мог делать, думать; и, когда приехал в Москву из деревни и увидал друзей и знакомых и почувствовал, что то чувство оскорбления было не в нем одном, а во всей России, он понял, что ему нельзя жить по-прежнему, вернулся домой, объявил своей жене решение поступить в военную службу, перенес слезы, отчаянье, угрозы семьи, подал прошение и уехал на войну; прошло два года, война уже кончилась. Имя Федора Щетинина знало все войско, знала и Россия, когда читала дневник войны, и уже начинала забывать его. Федор Щетинин был генерал-майор с золотою саблей и тремя чинами, Владимиром с мечом и звездой, которым он не гордился, и Георгием за взятие батареи, которым он гордился. Война уж кончилась шесть месяцев, и большинство людей, вступивших на службу, как Щетинин, только для войны, повышли в отставку, но он оставался на службе и даже не побывал дома. Он был начальником бригады в войсках, стоявших еще на границе. Командующий войсками был сильный по богатству, знатности, придворным связям—князь Михайла Острожский.

Острожский, молодой красавец, сильный по связям, холостяк, богач, независимый начальник края, жил царем в маленьком и прелестном южном городке, окружив себя блестящей военной самовластной роскошью, и жизнь для главных лиц войска, особенно после трудов, лишений и опасностей войны, была для молодых военных волшебно обворожительная.

Красивейшие женщины края под разными предлогами столпились в городке, и жизнь города была ряд гуляний, балов, музыки, обеды, все это с военным блеском, военно-веселой беспечностью и военной самовластностью.

II

Было время уборки винограда. Солнце только что ало поднялось из-за гор, и застанные ими отрывки не то облак, не то тумана тревожно носились в голубом небе, не зная, куда деться: наверх ли уйти? лечь ли, прицепиться на землю? или бежать заодно всем туда, к молочной полосе, залегшей за морем на западе. А солнце обливало где блестящим лаком росу и зелень и чуть крапинами чернеющие от сырости росы дороги, виноградники, где крыши домов, и разводило свои блестящие дорожки по морю, рябившемуся от легкого ветра. Городок шумел уж городскими звуками. Князь Федор Щетинин в военном сюртуке и с Георгием в петлице, в военной фуражке, тем неверным, но молодецким шагом, которым ходят только военные, [шел] мимо решетки сада к большому дому, в котором была его квартира. Не доходя до дома, он остановился, как будто движенье ходьбы нарушало тот трудный ход мысли, которым была занята его голова. Он постоял, поднял голову, вздохнул, крякнул и, подняв голову, пошел скорее и решительнее. Когда он завернул на свой двор, и денщик-кучер, мывший коляску, и адъютант, стоявший на крыльце, увидали его, лицо князя Федора приняло то обычное красивое выражение твердости и таившейся за ней веселой доброты, которое привыкли его подчиненные видеть неизменным в траншеях и на парадах, только с той разницей, что под огнем преобладало выражение твердости, а на парадах, обедах и балах преобладало выражение веселой доброты. Теперь было больше твердости и даже строгости. Князь Федор знал, что и кучер, и денщик, и адъютант особенно, зна-

ли, откуда он шел, знали, что он шел от любовницы, у которой провел ночь, и это заставляло его строже смотреть на них.

— Здравствуйте, Василий Игнатьич. — Он сказал адъютанту. — Что нового? Пойдемте.

Он провел в кабинет.

— Сейчас я приду. — Пошел в спальню. Умылся, переоделся и вышел оттуда свежий, как утро.

Адъютант подал бумаги и заметил, что та бумага, которая должна была неприятно подействовать, не обратила его внимания.

— Князь просит вас самих приехать,— сказал адъютант. (Князь означал князя Острожского.)

— Да я пойду к нему; ну что наши обозные,— и князь Федор перевел разговор на другое.

Когда адъютант ушел, князь Федор сел за кофе и взял было книгу. Но денщик принес письма. Пробежав четыре письма, князь Федор открыл третье и стал читать. Это было письмо от жены. Она писала:

«Милый друг!

Я пишу тебе последний раз. Я не могу и не хочу больше этого выносить...»

Князь покажет, чего я могу ждать. И что же скажут все? Я неспособен. Карьера моя погибла, если я приму это. Вы это знаете. Не могла бы быть ошибка, случайность. Я знаю, что это не случайно. Мерзости смотра. Я вижу план оскорбления.

— Вы можете видеть, что вам угодно, я не виноват.

— Позвольте, князь. Я договорю прежде. Я бы молчал, но причина не в службе, вне ее совсем видна.

— Какая причина, вероятно, ревность к госпоже Гранди. — Улыбка высоты.

— Да, она. Вы думаете со мной (сила тонкой мысли не выражена вдруг) действовать тем же путем. С какой-то высоты мнимой делать просто ничтожность, давая чувствовать, что что-то есть высокое. Я знаю, что ничего нет. Вся высота есть придворная, и это просто низко.

Собака показала силу энергии.

— Вон, сию минуту вон,— я говорю.

— Я все сказал, прощайте.

«Назначается: генерал-майор князь Федор Щетинин 1-й командиром 2-й бригады. Полковник Невировский — начальником штаба при войсках 2-й армии».

Когда князь Федор Щетинин прочел эти слова, широкое, красивое, бледное лицо его вдруг изменилось, и он, схватив судорожно костыль, поднял, упираясь, свое большое тело и стал, хромая, ходить по комнате.

Он ходил, то останавливаясь и опираясь задом на костыль с гладкой слоновой ручкой, надвигая шапкой брови над выпуклыми, блестящими, остановившимися глазами и большим и безымянным пальцем левой руки загибая в рот курчавый душистый ус, кусал его, то пожимая широкими сутуловатыми плечами и стараясь нарочно улыбнуться; но привычная твердая улыбка, так тепло и мягко освещавшая его еще молодое военное лицо, только мелькала, как молния, и лицо выражало горе, злобу и отчаяние.

И он опять начинал ходить, хромая и кусая усы. Он остановился, подошел к большому письменному столу, на котором вокруг большой, изящно вылитой бронзовой чернильницы с орлом, распустившим бронзовые крылья, расставлены, разложены были ценные изящные принадлежности письма, три портрета и две сафьянные с золотым обрезом книжечки. Он взял одну, расстегнул застежку и стал читать. Костыль его упал, загремел, и он вздрогнул, как нервная женщина. В книжке он читал свои же мысли, записанные им крупным своим особенным, но четким почерком.

Он перелистывал. Ему попались слова: «Если неприятельская цепь занимает»... — не то. Дальше было: «Женщина простит все, но не равнодушие, тогда»... — не то. «Мы думаем знать, тогда как орудия знания даны нам не полные»... И это было не то, но его заняла самая мысль, написанная им и забытая. Он читал дальше: «Пример круг. Мы знаем лучше всего, ребенок простолюдин; а то, что составляет его сущность, невыразимо». Да,— сказал он, вспомнив, и ему стало приятно, и лицо успокоилось. Он поднял костыль. Перевернул дальше и нашел то, что искал. Было написано, «спокойствие, — calme»... и дальше: «Помни три вещи: 1) Жизнь есть тот день и час, который ты живешь. Волнение погубило этот час, и ты сделал невозвратимую величайшую потерю».

— Да что ж, если я не могу быть покоен. Чтоб быть покойным, я должен высказать *ему* все.

«2-е,— читал он дальше. — Посмотри на то, что тебя мучит, так, как будто это не с тобой, а с другим случилось». — Вздор. Не могу.

«3-е. Подобное тому, что тебя мучит теперь, было с тобой прежде. Но вспомни теперь о том, что в прошедшем так мучало тебя, и ты»... — Он не дочитал. Он попытался вспомнить худшие минуты из своей жизни: отношения с отцом, смерть матери, раздор, бывший с женой. Все это было ничто в сравнении с этим. Тут есть виновник. Один — *он*. Он положил книгу. Сложил свои большие с сильными, длинными пальцами руки перед грудью, наклонил голову, прочел «Отче наш» и пожал пуговку звонку. Когда вошел генеральский красавец денщик, лицо князя Федора приняло обычное выражение твердой мягкости.

— Никита, одеваться, пожалуйста. Мундир. И коляску.

Через полчаса он ехал по городу, гремя по мостовой на паре рысаков к дому командующего войсками. Это был тот *он*, который был всему виной.

Молодые офицеры весело делали честь своему любимому герою последней войны. Да и у князя Федора было одно из тех лиц, которое весело встретить юноше, весело, что эта юная фигура ответит им поклоном.

Кучер осадил, часовые у крыльца заторопились, сделали фрунт, откинув ружья, и Федор Щетинин, отвечая рукой, с палкой вышел из коляски.

— Дома князь?

— Пожалуйте.

Дом был дворец. Пройдя галереей, князь Федор вошел в кабинет; высокий, но ниже его генерал, в широком сертуке с Георгием на шее, встал и, приветливо улыбаясь, обратил свое красное, в душистых бакенбардах окаймленное лицо к входившему. Привлекательное, мягкое, благородное и осторожное было в этом лице, которое было бы очень просто, если бы не обстановка роскоши и власти. Что-то было напоминающее добрую, учтивую, выхоленную и благородной породы собаку. Лицо и фигура входившего напоминали волка с его длинными голенями, широким лбом и умными навыкате глазами.

Как только эти два человека увидали друг друга, во взглядах их произошла борьба. Начальник, очевидно, хотел, чтобы отношения были те же, как всегда, ласковые, приличные. Князь Федор хотел решительного объяснения и выхода из этих отношений. Одну минуту на его лице отразилась улыбка начальника; но вдруг лицо вытянулось, нахмурилось, нижняя губа дрогнула и стала искать левый ус.

— Очень рад вас видеть, князь,— сказал начальник, медленно опускаясь в кресло и вытянутой рукой берясь за край стола, как будто для того, чтобы придержаться, садясь, и потом подать ее.

— Князь, я прочел приказы и приехал сказать вам...

Князь кончиками пальцев как бы ощупывал кончики бакенбард и приподнял брови с спокойным удивлением.

— ...сказать вам, что я не того ожидал и что,— губа дрогнула,— хотя официально я не имею никакого права ничего требовать, но что мера неофициальных гадостей, которые мне делаются, переполнена и что я считаю своим долгом высказать это все тому, кто их делает.

— Вы разумеете меня, князь,— с нахмуренными бровями, не сердитым, но таким, как будто он говорил: «сердиться и оскорбляться я не могу, но должен показать, что я не позволяю».

— Вас! — Волк вдруг оскалился.

— Я знаю, что есть мир официальный, в котором все правы, я про него говорить не хочу, но есть другой мир частных людей, и я говорю не с командующим войсками, а с князем П. Б., и я вам в этом качестве говорю, что вы поступили со мной нечестно.

— В качестве начальника вашего я должен отдать вас под суд, но в качестве П. Б. я прошу вас удалиться и прислать мне извинение,— сказалось само собою, он не думал, но как птица-соловей поет по-соловьиному, так он нечаянно говорил как главнокомандующий.

— Но не прежде, чем я выскажу все, что я имею сказать.

Кн. Б. стоял, и рука его стучала нервно по столу, лицо выражало высоту, до которой нельзя достать.

— Я был в отставке, когда началась война, я поступил не для честолюбия, а потому, что долг каждого человека был жертвовать собой. Как я служил, знает вся армия, и государь, и товарищи, и начальники — не вы,

который приехал после. Я бы сказал: свидетели моей службы — пять чинов, золотая сабля, Георгий и три раны, если бы не знал, что чины и ордена дают не по заслугам, а раны — случай, и что я только требовал по статуту Георгия, получил его, когда я заслужил его три раза; но, правда, это не к делу (отвечая на его движенье). Дело в том, что на службе в мирное время теперь, когда все, что сидело, спрятавши под хвост голову,— служба возможна только на войне. Я отдался весь службе. Я призван на то. Я все принесу в жертву. (Еще злобнее, дрожит губа именно потому, что чувствует — это не к делу.) Я имею права на повышение. И это первый случай.

ДЕКАБРИСТЫ

I

Спорное дело «о завлажении Пензенской губернии Краснослободского уезда помещиком, отставным гвардии поручиком, Иваном Апыхтиным, 4000 десятин земли у соседних казенных крестьян села Излегощи» было в первой инстанции, уездном суде, по ходатайству выборного от крестьян Ивана Миронова решено в пользу крестьян, и огромная дача земли, частью под лесами, частью же под пашнями, расчищенными крепостными Апыхтина, поступила в 1815 году во владение крестьян, и крестьяне в 1816 году посеяли эту землю и сняли с нее урожай. Выигрыш этого неправильного дела крестьянами удивил всех соседей и даже самих крестьян. Этот успех крестьян объяснялся только тем, что Иван Петрович Апыхтин, человек самый кроткий, смирный и неохотник судиться, в этом деле уверенный в своей правоте, не принял никаких мер против действий крестьян. Иван же Миронов, поверенный крестьян, по ремеслу горшечник, сухой, горбоносый, грамотный мужик, бывший и головою и ходивший сборщиком податей, собрав с мужиков по пятьдесят копеек с души, умно распределил эти деньги подарками и ловко вел все дело. Но тотчас же после решения уездного суда Апыхтин, увидав опасность, дал доверенность ловкому дельцу, вольноотпущенному Илье Митрофанову, подал апелляцию в Палату на решение уездного суда. Илья Митрофанов так ловко вел дело, что, несмотря на все происки поверенного крестьян Ивана Миронова, несмотря на значительные денежные подарки из собранной с крестьян по пятидесяти копеек с души суммы, розданные

им членам Палаты, дело в губернии было перерешено в пользу помещика, и земля вновь должна была отойти от крестьян, о чем поверенному их и было объявлено. Поверенный Иван Миронов объявил на сходке крестьянам, что губернские господа потянули руку помещика и дело «всё спутали», так что землю опять хотят отобрать, но что дело помещика не выгорит, потому что у него уж прошение в Сенат написано, и есть такой человечек, который обещал верно в Сенате все дело исправить, и что тогда уж землю навсегда закрепят за мужиками; только бы они теперь собрали еще по рублю с души. Крестьяне решили деньги собрать и опять приказать все дело Ивану Миронову. Собрав деньги, Миронов уехал в Петербург.

Когда в 1817 году на страстной — она приходилась поздно — пришло время пахать, излегощинские мужики на сходке стали толковать, пахать ли им в нынешнем году спорную землю, и, несмотря на то, что к ним постом еще приезжал от Апыхтина приказчик с приказом не пахать земли и сходиться с князем по согласию об посеянной ржи в бывшей спорной, а теперь апыхтинской земле, мужики именно потому, что у них было посеяно в спорной земле озимое и что Апыхтин о нем хотел, не желая их обидеть, с ними полюбовно сходиться, решили спорную землю пахать и захватывать прежде всякой другой земли.

В самый тот день, как мужики выехали пахать на Берестовскую дачу в чистый четверг, Иван Петрович Апыхтин, говевший на страстной неделе, поехал рано утром в церковь села Излегощи, куда он был прихожанин, и там, ничего не зная об этом, дружелюбно беседовал со старостой церковным. Иван Петрович исповедовался с вечера и дома слушал всенощную; поутру сам прочел правила и в восемь часов выехал из дому. К обедне его ждали. Стоя в алтаре, где он обыкновенно стаивал, Иван Петрович более размышлял, чем молился, и был за то недоволен собою. Он, как и многие люди того времени, да и всех времен, чувствовал себя в неясности относительно веры. Ему было уже за пятьдесят два года, он никогда не пропускал исполнения обрядов, посещения церкви и говения раз в году; он, говоря с своей единственной дочерью, наставлял ее в правилах веры; но если бы его спросили, точно ли он верит, он бы не знал, что ответить. И в особенности нынче он чувствовал себя размягченным и, стоя

в алтаре, вместо того, чтобы молиться, думал о том, как странно все устроено на свете: вот он уже почти старик, говеет, может быть, сороковой раз в жизни, и вот он знает, что все, и домашние его и все вот в церкви, все смотрят на него как на образец, берут пример с него, и он чувствует себя обязанным показывать этот пример в отношении религии, а он сам ничего не знает, и вот, вот ему уже умирать придется, а, хоть убей его, он не знает, правда ли то, в чем он другим показывает пример. И странно ему и то было, как все считают,— он это видел,— что старые люди тверды и знают, что нужно и что не нужно (так он всегда думал о стариках), а вот он и стар и решительно не знает и так же легкомыслен, как он был двадцати лет; но только прежде он не скрывал, а теперь скрывает это. Как в детстве ему приходило в голову во время службы запеть петухом, так и теперь ему такие же глупости забегают в голову, а он, старик, степенно склоняется к земле, прикасаясь старыми косточками руки к плитам пола, и отец Василий, видимо, робеет служить при нем и возбуждаем к усердию его усердием. «А если бы он знал, какие глупости у меня в голове бродят? Но грех, грех, надо молиться»,— сказал он себе, когда началась служба; и, вслушиваясь в смысл ектеньи, стал молиться. И действительно, скоро он перенесся чувством в молитву и стал вспоминать свои грехи и все, в чем он каялся.

Благовидный старик, плешивый, с густыми седыми волосами, в шубе с новой белой заплаткой на половине спины, ровно шагая вывернутыми лаптями, войдя в алтарь, поклонился ему низко, встряхнул волосами и прошел за алтарь ставить свечи. Это был церковный староста Иван Федотов, один из лучших мужиков села Излегощи. Иван Петрович знал его. Вид этого строгого, твердого лица навел Ивана Петровича на новый ход мыслей. Это был один из тех мужиков, которые хотели отнять у него землю, и один из лучших, один из редких богатых, семейных хлебосевцев, которым нужна была земля и которые умели с ней управиться и было чем. Его строгий вид, его степенный поклон, его равномерная походка, аккуратность его одежды — онучи, точно чулки, облипали его ноги, и обортки симметрично скрещивались как на той, так и на другой ноге,— весь его вид как будто выражал укор, враждебность на землю,

«Да, вот я просил прощенья у жены, у Маши (дочери), у няни, у Володи-камердинера, а вот у кого надо было просить прощенья и простить их»,— подумал Иван Петрович и решил попросить прощенья у Ивана Федотова после заутрени.

Так он и сделал.

В церкви было мало народа. Народ весь, по обычаю, отговел на первой и на четвертой неделе. Теперь же было только человек десять мужиков и баб, не успевших отговеть раньше, несколько старушек мужицких, причетников и дворовых апыхтинских и богатых соседей Чернышевых. Была тут старушка, родственница Чернышевых, жившая у них, и дьяконица-вдова, та самая, сына которой Чернышевы, по своей доброте, воспитали и вывели в люди и который служил теперь чиновником в Сенате. Между заутреней и обедней народу в церкви осталось еще меньше. Мужики и бабы вышли наружу. Оставались обе салопницы, сидя в уголку беседовавшие между собою и поглядывавшие на Ивана Петровича с видимым желанием поздороваться с ним и поговорить, и два лакея: его лакей в ливрее и чернышевский лакей, приехавший с старушкой. Эти оба тоже о чем-то оживленно шептались, в то время как Иван Петрович выходил из алтаря, и тотчас же, увидав его, почтительно замолкли. Еще была женщина в высокой кичке с бисерными наличниками и белой шубе, в которой она, закрывая кричавшего больного ребенка, старалась успокоить его; и еще сгорбленная старуха, тоже в кичке, но с шерстяными наличниками и белым платком, завязанным по-старушечьи, и в сером чупруне с петушками на спине, которая, стоя на коленах посередине церкви и обращаясь к старому образу между решетчатых окон, на котором висело с красными концами новое полотенце, молилась так усердно, торжественно и страстно, что нельзя было не обратить на нее внимания. Не подходя еще к старосте, который, стоя у шкапчика, переминал остатки свеч в комок воска, Иван Петрович остановился посмотреть на эту молящуюся старуху. Старуха молилась очень хорошо. Она стояла на коленях так прямо, как только можно было стоять прямо по направлению к образу, все члены ее были математически симметричны, ноги сзади упирались носками лаптей в камен-

ный пол под одним и тем же углом, тело было загнуто назад, насколько позволял горб спины, руки совершенно правильно сложены под животом, голова закинута назад, и лицо, с выражением стыдливой жалостливости, сморщенное, с тусклым взглядом, прямо обращено к иконе с полотенцем. Постояв неподвижно в таком положении минуту или меньше, но какое-то твердо определенное время, она, тяжело вздыхая, отнимала правую руку, с размахом заносила ее выше кички, дотрогиваясь сложенными перстами до темени, и так же широко клала крест на живот и на плечи, и, размахиваясь назад, опускалась головой на правильно положенные на землю руки, и опять поднималась и опять делала то же.

«Вот молится,— подумал, глядя на нее, Иван Петрович,— не так, как мы, грешные; вот вера, хоть я и знаю, что она молится на свой образок, или на свое полотенце, или свой убор на образе, как и все они. Но хорошо. Ну что ж? — сказал он сам себе,— у каждого своя вера: она молится на образок, а я вот считаю нужным попросить прощенья у мужика».

И он направился к старосте, невольно оглядывая церковь, чтобы знать, кто увидит его предполагаемый поступок, в одно и то же время нравившийся ему и стыдивший его. Ему неприятно было, что старушки-салопницы, как он называл их, увидят, но более всего неприятно было, что увидит Мишка, его лакей; в присутствии Мишки — он знал его бойкий, шутовской ум — он даже чувствовал, что не в силах будет подойти к Ивану Федотову. И он поманил к себе пальцем Мишку.

— Что прикажете?

— Поди, пожалуйста, брат, принеси мне еще коврик из коляски, а то сыро ногам.

— Слушаю-с.

И когда Мишка ушел, Иван Петрович тотчас же подошел к Ивану Федотову. Иван Федотов заробел, как точно виноватый, при приближении барина. Робость и торопливость движений составляли странное противуречие с его строгим лицом и кудрявыми стальными волосами и бородой.

— Свечу прикажете десятикопеечную? — заговорил он, поднимая конторку и вскидывая только изредка своими большими прекрасными глазами на барина.

— Нет, мне не свеча, Иван. А я прошу тебя простить

меня, ради Христа, если я в чем обидел. Простите, ради Христа,— повторил Иван Петрович и низко поклонился.

Иван Федотов совсем заробел, заторопился, но наконец понял, усмехнулся нежной улыбкой.

— Бог простит,— сказал он. — Обиды, кажется, от тебя не видали. Бог простит, обиды не видали,— поспешно повторил он.

— Все-таки...

— Бог простит, Иван Петрович. Так десятикопеечных две?

— Да, две.

— Вот ангел, точно, что ангел. У мужика подлого и то прощенья просит. О, господи! право, ангелы,— заговорила дьяконица в черном старом капоте и черном платке. — И точно, что мы понимать должны.

— А, Парамоновна! — обратился к ней Иван Петрович. — Что? или говеешь тоже? Прости тоже, Христа ради.

— Бог простит, батюшка, ангел ты мой, благодетель ты мой милостивый; дай ручку поцеловать.

— Ну, полно, полно; ты знаешь, я не люблю... — сказал Иван Петрович, улыбаясь, и пошел в алтарь.

Обедня, как и обыкновенно, служилась в Излегощинском приходе, отошла скоро, тем более что причастников было мало. В то время как после «Отче наш» царские двери закрылись, Иван Петрович выглянул в северные двери, чтобы кликнуть Мишку снять шубу. Увидав его движение, священник сердито мигнул дьякону, дьякон выбежал почти, вызывая лакея Михайла Михайловича. Иван Петрович был в довольно хорошем расположении духа, но эти услужливость и выражение уважения от священника, служившего обедню, опять расстроили его; тонкие, изогнутые, бритые губы его изогнулись еще больше, и добрые глаза засветились насмешкой. «Точно я генерал его»,— подумал он, и тотчас же вспомнились ему слова немца-гувернера, которого он раз привел с собой в алтарь смотреть русскую службу; как этот немец насмешил его и рассердил жену, сказав: «Der Pop war ganz böse, das ich ihm alles nachgesehen hatte» [1]. Вспомнилось

[1] Поп был очень зол на то, что я все наблюдал за ним *(нем.)*.

и то, как молодой турок отвечал, что бога нет, потому что он съел последний кусок. «А я причащаюсь»,— подумал он и, нахмурившись, положил поклон. И, сняв медвежью шубу, в одном синем фраке с светлыми пуговицами и белом высоком галстухе и жилете и узких панталонах на сапогах без каблуков, с вострыми носками, пошел своей тихой, скромной и легкой походкой прикладываться к местным образам. И опять и тут он встречал ту же угодливость других причастников, уступавших ему место.

«Как будто говорят: «après vous, s'il en reste» [1],— думал он, боком делая земные поклоны с тою неловкостью, которая происходила оттого, что надо было найти ту середину, при которой не было бы неуваженья и не было бы ханжества. Наконец двери отворились. Он прочел за священником молитву, повторяя «яко разбойника», ему завесили галстух воздухом, и он принял причастие и теплоту в древнем ковшичке, положив новые двугривенные на древние тарелочки, отслушал последние молитвы, приложился к кресту и, надев шубу, пошел из церкви, принимая поздравления и испытывая приятное чувство окончания. Выходя из церкви, он опять столкнулся с Иваном Федотовым.

— Спасибо, спасибо,— отвечал он на поздравления.— Что ж, скоро пахать? Пашете?

— Ребята поехали, поехали ребята,— отвечал Иван Федотов, еще более, чем обыкновенно, заробев. Он предполагал, что Иван Петрович знал, куда поехали пахать излегощинские. — Пожалуй, сыро. Сыро, пожалуй. Время еще раннее. Раннее еще время.

Иван Петрович зашел к памятнику отца и матери поклониться и, подсаженный, сел в коляску.

«Ну, слава богу»,— сказал он себе, покачиваясь на мягких круглых рессорах, и глядя на весеннее небо с расходившимися облаками, на обнаженную землю и белые пятна нестаявшего снега и на туго скрученный хвост пристяжной, и вдыхая весенний свежий воздух, особенно приятный после воздуха церкви.

«И слава богу, что причастился, и слава богу, что можно табачку понюхать». И он достал табакерку и долго держал табак в щепоти, улыбаясь, и этой рукой, не распуская щепоть, приподнимал шапку в ответ на низкие

[1] после вас, если останется *(франц.)*

поклоны встречавшегося народа, в особенности баб, мывших столы и лавки перед дверьми, в то время как коляска большой рысью крупного шестерика шлюпала и погромыхивала по грязи улицы в Излегощах.

Иван Петрович продержал щепоть с табаком, предвкушая удовольствие нюханья, не только вдоль всего села, но и до въезда до дурного моста под горой, на который, видимо, не без заботы спускал кучер; он подобрал вожжи, уселся лучше и крикнул на форейтора держать на ледок. Когда объехали мост мимо, логом, и выехали из проломившегося льда и грязи, Иван Петрович, глядя на двух чибисов, поднявшихся в логу, понюхал и, почувствовав свежесть, надел перчатку, закутался, утопил подбородок в высокий галстух и сказал себе почти вслух: «Славно», что он тайно от всех сам себе говорил, когда ему было хорошо.

В ночь выпал снежок, и когда Иван Петрович ехал еще в церковь, снег не сошел, но был мягок; теперь же, хотя солнца все не было, снег уж весь съело сыростью, и по большой дороге, по которой надо было ехать три версты до поворота в Чириково, только по прошлогодней травке, параллельно росшей по проезженным колеям, белел снежок; по черной же дороге лошади шлепали по липкой грязи. Но добрым, своего завода, кормленым, крупным лошадям нипочем было влачить коляску, и она точно сама катилась и по травке, где оставляла черные следы, и по грязи, нисколько не задерживаясь. Иван Петрович приятно думал; он думал о доме, о жене и дочери. «Маша встретит на крыльце и с восторгом. Она будет видеть во мне такую святость. Странная, милая девочка, только очень уж она все к сердцу принимает. И роль важности и знания всего того, что делается на этом свете, которую я должен играть перед нею, уже очень становится для меня серьезна и смешна. Если бы она знала, что я ее боюсь,— подумал, улыбаясь, он. — Ну, Като (жена) нынче, верно, будет в духе, нарочно будет в духе, и день будет хороший. Не так, как на прошлой неделе из-за Прошкинских талек. Удивительное существо. И как я боюсь ее... Ну, что ж делать, она сама не рада». И он вспомнил знаменитый анекдот о теленке: как помещик, поссорившись с женою, сел у окна и увидал скачущего теленка: «Женил бы тебя!» — сказал помещик; и опять улыбнулся, по своей привычке всякое затруднение,

недоразумение разрешая шуткою, большею частью относившеюся к нему самому.

На третьей версте, у часовни, форейтор взял влево на проселок, и кучер крикнул на него за то, что так круто поворотил, что коренных толкнуло дышлом; и коляска покатилась почти всю дорогу под гору. Не доезжая дома, форейтор оглянулся на кучера и что-то указал, кучер оглянулся на лакея и указал. И все они поглядывали в одну сторону.

— Что вы смотрите? — спросил Иван Петрович.

— Гуси,— сказал Михайло.

— Где?

Как ни щурился, он ничего не видел.

— Да вот они. Вон лес, а там тучка, так в промежку извольте смотреть.

Иван Петрович ничего не видел.

— Да уж пора. Нынче, как бишь... неделю не доездят до благовещения.

— Так точно.

— Ну, пошел!

У ложка Мишка слез с запяток и ощупал дорогу, опять влез, и коляска благополучно въехала на плотину пруда в саду, поднялась по аллее, проехала погреб, прачечную, с которой капала вода по всем швам, и ловко подкатила и стала у крыльца. Со двора только что отъезжала бричка Чернышевых. Из дома тотчас же выскочили люди: мрачный старик Данилыч с бакенбардами, Николай, брат Михайлы, и мальчик Павлушка, и за ними девочка с черными большими глазами и красными, голыми выше локтя, руками и такою же голой шеей.

— Марья Ивановна, Марья Ивановна! Куда вы? Вот мамашу обеспокоите. Успеете... — говорил сзади голос толстой Катерины.

Но девочка не слушала и, как ожидал отец, схватила его за руку и, глядя на него особенным взглядом:

— Ну, что, причастился, папенька? — точно со страхом спросила она.

— Причастился. Ты точно боялась, что я такой грешник, что мне не дадут причастия.

Девочка, видимо, огорчилась шуткой отца в такую торжественную минуту. Она вздохнула и, идя за ним, держала его руку и целовала.

— Кто это приехал?

— Это молодой Чернышев. Он в гостиной.
— Маменька встала? Что она?
— Маменьке нынче лучше. Она сейчас выйдет.

В проходной комнате Ивана Петровича встретили няня Евпраксея, приказчик Андрей Ильич и землемер, живший, чтобы отвести землю. Все поздравляли Ивана Петровича. В гостиной сидели Луиза Карловна Тругони, десять лет друг дома, гувернантка-эмигрантка, и молодой человек, шестнадцати лет, Чернышев с гувернером-французом.

II

2 августа 1817 года в 6-м Департаменте Правительствующего Сената было решено спорное дело о земле между экономическими крестьянами села Излегощи и князем Чернышевым в пользу крестьян и против Чернышева. Решение это было неожиданным и важным несчастным событием для Чернышева. Дело это тянулось уже пять лет. Затеянное поверенным богатого трехтысячного села Излегощи, оно было выиграно в уездном суде крестьянами, но когда, по совету купленного у князя Салтыкова дворового человека, ходатая по делам, Ильи Митрофанова, князь Чернышев взялся за это дело в губернии, он его выиграл и, сверх того, излегощинские крестьяне были наказаны тем, что шесть человек из них, грубивших землемеру, были посажены в острог. После этого князь Чернышев, по свойственной ему добродушной и веселой беспечности, совершенно успокоился, тем более что он твердо знал, что он никакой земли у крестьян не «завлаживал» (как было сказано в прошении крестьян). Если была завлажена земля, то его отцом, а с тех пор прошло более сорока лет. Он знал, что крестьяне села Излегощи живут хорошо и без этой земли, не нуждаются в ней и с ним живут хорошими соседями, и не мог понять, из чего они на него взбесились. Знал, что он никого не обижал и не хотел обижать, со всеми всегда жил в любви и только того и желал, и потому не верил, чтобы его хотели обидеть; он ненавидел сутяжничество и потому не хлопотал о деле в Сенате, несмотря на советы и увещания своего дельца Ильи Митрофанова; пропустив срок апелляции, он проиграл дело в Сенате, и так проиграл его, что ему предстояло разорение. От него, по

указу Сената, не только отрезывалось пять тысяч десятин земли, но за неправильное владение этой землею взыскивалось сто семь тысяч в пользу крестьян. У князя Чернышева было восемь тысяч душ, но все имения были заложены, много было долгов, и это решение Сената разоряло его со всем его большим семейством. У него были сын и пять дочерей. Он хватился, когда уже было поздно хлопотать в Сенате. По словам Ильи Митрофанова, было одно спасенье — подать прошение на Высочайшее имя и перевести дело в Государственный Совет. Для этого было нужно лично просить кого-нибудь из министров и из членов Совета и даже, еще бы лучше, самого государя. Сообразив все это, граф Григорий Иванович поднялся осенью 1817 года из своего любимого Студенца, где он жил безвыездно, со всем семейством в Москву. Он ехал в Москву, а не в Петербург потому, что в этот год осенью государь со всем двором, со всеми высшими сановниками и с частью гвардии, в которой служил и сын Григория Ивановича, должен был прибыть в Москву для закладки храма Спасителя в память избавления России от нашествия французов.

Еще в августе, тотчас же по получении ужасного известия о решении Сената, князь Григорий Иванович собрался в Москву. Вперед был послан дворецкий для приготовления собственного дома на Арбате, и посланы были обозы с мебелью, людьми, лошадьми, экипажами и провизией. В сентябре князь со всем семейством на своих лошадях в семи экипажах приехал в Москву и поселился в своем доме. Родные, знакомые, приезжие из губернии и из Петербурга стали собираться в Москву в сентябре; самая жизнь московская с ее увеселениями, приезд сына, выезды дочерей и успех старшей дочери Александры, одной блондинки из всех черных Чернышевых, так заняли и развлекли князя, что он, несмотря на то, что проживал здесь, в Москве, то, что, может быть, только и останется ему, когда он заплатит все,— забывал о деле и тяготился и скучал, когда Илья Митрофанов говорил ему о деле, и ничего еще не предпринял для успеха своего дела. Иван Миронович Баушкин, главный поверенный мужиков, с таким рвением ведший в Сенате дело против князя, знавший все ходы и подходы к секретарям и столоначальникам и так искусно распределивший в Петербурге собранные с мужиков десять тысяч

рублей в виде подарков, теперь тоже прекратил свою деятельность и вернулся в село, где на собранные деньги в свое награждение и на оставшееся от подарков купил рощу у соседнего помещика и устроил в ней избу-контору. Дело теперь в высшей инстанции было кончено и должно было идти само собою.

Из всех замешанных в это дело не могли его забыть только те шесть мужиков, которые сидели седьмой месяц в остроге, и их оставшиеся без домохозяев семьи. Но делать было нечего, они сидели в Краснослободском остроге, а семьи их старались управляться без них. Просить некого было. И сам Иван Мироныч говорил, что за это дело он взяться не может, что это дело не мирское и не гражданское, а уголовное. Мужики сидели, и никто не хлопотал о них, но одна семья Михаила Герасимова, именно: его старуха Тихоновна, не могла примириться с мыслью, что ее золото, старик Герасимыч, сидит с бритой головой в остроге. Тихоновна не могла оставаться спокойною. Она просила Мироныча хлопотать; Мироныч отказал ей. Тогда она решила сама идти богу молиться за старика. Она год тому назад уже обещалась идти к угоднику и все, за недосугом и за нежеланием поручить молодым невесткам хозяйство, откладывала до другого года. Теперь, когда случилась беда и Герасимыча посадили в острог, ей вспомнилось обещание, она махнула рукой на хозяйство и вместе с дьяконицею их села собралась на богомолье. Сперва они зашли в уезд к старику, где он сидел в остроге, снесли ему рубахи, и оттуда через губернский город они пошли к Москве. Дорогой Тихоновна рассказала свое горе, и дьяконица посоветовала ей просить царя, который, как слышно, будет в Пензе, рассказывая ей, какие были случаи помилования. Придя в Пензу, странницы узнали, что в Пензу уже приехал — но не царь, а царский брат, великий князь Николай Павлович. При выходе из собора в Пензе Тихоновна протеснилась вперед, пала на колени и стала просить за хозяина; великий князь был удивлен, губернатор рассердился, и старуху взяли в часть; через день ее выпустили, и Тихоновна пошла дальше, к Троице. У Троицы Тихоновна отговела и исповедовалась у отца Паисия. На духу она рассказала ему свое горе и каялась в том, что подавала прошение царскому брату. Отец Паисий сказал ей, что греха тут нет и что в правом деле и царя не грех про-

сить, и отпустил ее. И в Хатькове она была у блаженной, и блаженная велела ей просить самого царя. Тихоновна на обратном пути вместе с дьяконицей зашла в Москву к угодникам. Тут она узнала, что царь в Москве, и Тихоновна подумала, что, видно, так бог велит просить царя. Надо было только написать прошение.

В Москве странницы пристали на постоялом дворе. Они попросились почевать, их пустили. После ужина дьяконица легла на печи, а Тихоновна, положив под голову котомку, легла на лавке и заснула. Наутро, еще до света, Тихоновна встала, разбудила дьяконицу, и только дворник окликнул ее, когда она выходила на двор.

— Рано поднялась, баушка,— оговорил он ее.

— Пока дойдем, кормилец, и заутреня,— отвечала Тихоновна.

— С богом, баушка.

— Спаси Христос,— сказала Тихоновна, и странницы пошли к Кремлю.

Отстояв заутреню и обедню и приложившись к святыням, старухи, с трудом отыскивая дорогу, пришли к двору Чернышевых. Дьяконица сказала, что старушка барыня крепко наказывала ей побывать и всех странных принимает. — «Там и человечка найдем насчет прошения»,— сказала дьяконица, и странницы пошли плутать по улицам, расспрашивая дорогу. Дьяконица была раз, да забыла. Раза два чуть не раздавили их, кричали на них, бранили их; раз полицейский взял дьяконицу за плечи и толкнул, запрещая им идти по той улице, по которой они шли, и направляя их в лес переулков. Тихоновна не знала, что их согнали с Воздвиженки именно потому, что по этой улице должен был ехать тот самый царь, о котором она не переставая думала и которому намеревалась написать и подать прошение.

Дьяконица, как всегда, шла тяжело и жалостно; Тихоновна, как обыкновенно,— легко и бодро, шагами молодой женщины. У самых ворот странницы остановились. Дьяконица не узнавала двора: стояла новая изба, которой не было прежде; но, оглядев колодец с насосами в углу двора, дьяконица признала двор. Собаки залаяли и бросились на старух с палками.

— Ничего, тетки, не тронут. У, вы, подлые! — крикнул дворник на собак, замахиваясь метлою. — Вишь, сами деревенские, а на деревенских зарятся. Сюда обходи. Завязнешь. Не дает бог морозу.

Но дьяконица, заробевшая от собак, жалостно приговаривая, присела у ворот на лавочку и просила дворника проводить. Тихоновна привычно поклонилась дворнику и, опершись на клюку, расставив туго обтянутые онучами ноги, остановилась подле нее, как всегда, спокойно глядя перед собою и ожидая подходившего к ним дворника.

— Вам кого? — спросил дворник.

— Али не признал, кормилец? Егором звать, никак?— сказала дьяконица. — От угодников, да вот зашли к сиятельной.

— Излегощинские? — сказал дворник. — Старого дьякона будете? Как же! Ничего, ничего. Идите в избу. У нас принимают, никому отказа нет. А эта чья же будет?

Он указал на Тихоновну.

— Излегощинская же Герасимова, была Фадеева; знаешь, я чай? — сказала Тихоновна. — Тоже излегощинская.

— Как же! Да что, сказывали, вашего в острог, что ли, посадили?

Тихоновна ничего не ответила, только вздохнула и подкинула сильным движением на спину котомку и шубу.

Дьяконица расспросила, дома ли старая барыня, и, узнав, что дома, просила доложить ей. Потом спросила про сына, который вышел в чиновники и служил по милости князя в Петербурге. Дворник ничего не умел ей ответить и направил их в избу людскую по мосткам, шедшим через двор. Старухи вошли в избу, полную народом, женщинами, детьми, старыми и молодыми, дворовыми, и помолились на передний угол. Дьяконицу тотчас же узнали прачка и горничная старой барыни и тотчас же обступили ее с расспросами, сняли с нее котомку и усадили за стол, предлагая ей закусить. Тихоновна между тем, перекрестившись на образа и поздоровавшись со всеми, стояла у двери, ожидая привета. У самой двери, у первого окна сидел старик и шил сапоги.

— Садись, бабушка, что стоишь. Садись вот тут, котомку-то сними,— сказал он.

— И так не повернешься, куда садиться-то. Проводи ее в черную избу,— отозвалась какая-то женщина.

— Вот так мадам от Шальме,— сказал молодой лакей, указывая на петушков на спине чупруна Тихоновны,— и чулочки-то и башмачки!

Он показывал на ее онучи и лапти — обновки для Москвы.

— Тебе бы, Параша, такие-то.

— А в черную, так в черную; пойдем, я тебя провожу. — И старик, воткнув шило, встал; но, увидав девчонку, крикнул ей, чтобы она провела старушку в черную избу.

Тихоновна не только не обратила внимания на то, что говорили вокруг нее и про нее, но не видела и не слыхала. Она, с тех пор как вышла из дому, была проникнута чувством необходимости потрудиться для бога и другим чувством — она сама не знала, когда западшим ей в душу — необходимости подать прошение. Уходя из чистой избы людской, она подошла к дьяконице и сказала, кланяясь:

— Об деле-то о моем, матушка Парамоновна, ты не забудь, ради Христа. Спроси, нет ли человечка.

— А это чего старухе надо?

— Да вот обида есть, прошение ей люди присоветовали царю подать.

— Прямо к царю ее и весть,— сказал шутник-лакей.

— Э, дура, вот дура-то неотесанная,— сказал старик сапожник. — Вот возьму тебя колодкой отжучу, не погляжу на твой фрак, узнаешь, как на старых людей зубоскалить.

Лакей начал браниться, но старик, не слушая его, увел Тихоновну в черную.

Тихоновна рада была, что ее выслали из приспешной, и свели в черную, кучерскую. В приспешной все было слишком чисто, и народ все был чистый, и Тихоновне было не по себе. В черной кучерской было похожее на крестьянскую избу, и Тихоновне было вольнее. Черная была еловая восьмиаршинная темная изба с большой печью, нарами и полатями и затоптанным грязью, намощенным новым полом. В избе, в то время как вошла в нее Тихоновна, была кухарка, белая, румяная, жирная дворовая женщина, с засученными рукавами ситцевого платья, с трудом передвигавшая ухватом горшок в печи;

потом молодой малый — кучер, учившийся на балалайке, и старик с небритой мягкой белой бородой, сидевший на нарах, с босыми ногами, и, держа моток шелку в губах, шивший что-то тонкое и хорошее, и лохматый черный молодой человек, в рубашке и синих штанах, с грубым лицом, который, жуя хлеб, сидел на лавке у печи, облокотив голову на обе, утвержденные на коленах, руки.

Босая Настька с блестящими глазками вбежала своими легкими босыми ногами вперед старухи, оторвала влипшую от пара дверь и пропищала своим тонким голоском:

— Тетушка Марина! Симоныч вот старушку прислал, велит накормить. Они с нашей стороны, с Парамоновной ходили к угодникам. Парамоновну чаем поят, Власьевна за ней посылала...

Словоохотливая девочка еще долго бы не остановилась говорить; слова так и лились у нее, и, видно, ей весело было слушать свой голос. Но запотевшая у печи Марина, не успевая все своротить зацепившийся за под горшок со щами, сердито крикнула на нее.

— Ну тебя совсем, будет болтать; какую еще старуху кормить? тут своих не накормишь. Прострели тебя! — крикнула она на горшок, который чуть не упал, сдвинувшись с места, за которое зацепился.

Но, успокоившись теперь насчет горшка, она оглянулась и, увидав благовидную Тихоновну с ее котомкой и в ее правильном деревенском наряде, истово кладущую кресты и низко кланяясь на передний угол, тотчас же устыдилась своих слов, и, как бы опомнившись от замучивших ее хлопот, хватилась за грудь, где, ниже ключицы, пуговки застегивали ее платье, поверила, застегнуто ли оно, и хватилась за голову, и подтянула сзади узел платка, покрывавшего ее намасленную голову, и остановилась, упершись на ухват, дожидаясь приветствия благовидной старухи. Поклонившись последний раз низко богу, Тихоновна обернулась и поклонилась на три стороны.

— Бог помочь, здравствуйте,— сказала она.

— Милости просим, тетенька! — сказал портной.

— Спасибо, бабушка, снимай котомку. Вот сюда-то вот,— сказала стряпуха, указывая на лавку, где сидел лохматый человек. — Посторонись, что ли. Как застыл, право!

Лохматый, еще сердитее нахмурившись, приподнялся, подвинулся и, продолжая жевать, не спускал глаз с старухи. Молодой кучер поклонился и, перестав играть, стал подвинчивать струны своей балалайки, глядя то на старуху, то на портного, как бы не зная, как обратиться с старухой: уважительно, как ему казалось, надо, потому что старуха была в том самом наряде, в каком ходила его бабушка и мать дома (он был переросший форейтор, взятый из мужиков), или подтрунивая, как ему хотелось и казалось сообразно с его теперешним положением, синей поддевкой и сапогами. Портной поджал один глаз и, казалось, улыбался, подтянув шелк во рту на одну сторону, и тоже смотрел. Марина взялась ухватом за другой горшок, но и занятая делом оглядывала старуху, как она бодро и ловко снимала котомку и, стараясь никого не зацепить, укладывала ее под лавку. Настька подбежала к ней и помогла ей: вынула из-под лавки сапоги, мешавшие котомке.

— Дядюшка Панкрат,— обратилась она к угрюмому человеку,— я сюда сапоги. Ничего?

— А черт их дери, хоть в печь брось,— сказал угрюмый человек, бросая их в другой угол.

— Вот умница, Настька,— сказал портной,— дорожного человека упокоить надо, так-то.

— Спаси Христос, деушка. Так ладно,— сказала Тихоновна. — Тебя только, миленький, потревожили,— обратилась она к Панкрату.

— Ничего,— сказал Панкрат.

Тихоновна села на лавку, сняв чупрун и оправив рукава из-под поддевки и бережно сложив его, начала разуваться. Прежде она развязала оборочки, ею же самою нарочно для богомолья гладко ссученные, потом размотала бережно поярковые белые онучи и, бережно размяв, сложила на котомку. Когда она разувала другую уже ногу, у неловкой Марины опять зацепился горшок и выплеснулся, и опять она стала бранить кого-то, цепляя ухватом.

— Видно, выгорел под-то, деушка, надо бы подмазать,— сказала Тихоновна.

— Когда тут мазать! Нетолченая труба; двое хлебов в день ставишь, одни вынимай, а другие затевай.

По случаю жалобы Марины на хлебы и на выгоревший под портной заступился за порядки чернышевского

дома и рассказал, что приехали вдруг в Москву, что всю избу построили в три недели и печь склали и что дворни до сотни человек, всех кормить надо.

— Известное дело. Хлопоты. Заведенье большое,— подтвердила старуха.

— Откуда бог несет, бабушка? — обратился портной.

И тотчас же Тихоновна, продолжая разуваться, рассказала, откуда она и куда ходила и как идет домой. Про прошение же она ничего не сказала. Разговор не прерывался. Портной узнал все про старуху, а старуха — все про неловкую торопливую Марину: что ее муж солдат, а она взята в кухарки, что сам портной шьет кафтаны выездные кучерам, что девчонка на побегушках у ключницы, сирота, а что лохматый угрюмый Панкрат в прислугах у приказчика Ивана Васильевича. Когда Панкрат вышел из избы, хлопнув дверью, портной рассказал, что он и так грубый мужик, а нынче вовсе груб потому, что вчера он разбил у приказчика штучки на окошках и его нынче сечь хотят на конюшне. «Вот приедет Иван Васильевич, и поведут сечь. Кучеренок был из деревенских взят в фолеторы, да вырос, и теперь только ему и дела, что убирать лошадей да на балалайке отмахивать. Да не мастер...»

ТРУЖДАЮЩИЕСЯ И ОБРЕМЕНЕННЫЕ

Возьмите иго мое на себе и научитеся от мене, яко кроток есмь и смирен сердцем.

Матвея 11 г. 29 стих

Глава 1-я. Родится молодой князь, и в то же время родится ему слуга

Князь Николай Иванович Горчаков был старший сын князя Ивана Федоровича, сына князя Федора Васильевича, сына Василья Дмитриева, сына Дмитрия Петровича, сына Петра Ивановича, сына Ивана Федоровича князя Перемышльского, по прозванию Горчака, и был старший в роде древнего и знаменитого рода князей Горчаковых, Черниговских. Князь Николай Иванович родился в 1731 году в царствование императрицы Елисаветы Петровны. Он был записан в Преображенский полк. Но, не имея охоты к службе, он, ненавидя немцев, по смерти своего родителя в 1754 году вышел в отставку секундмайором, разделился с братьями, женился и переехал из Петербурха в доставшуюся ему по разделу с братьями вотчину — село Вяземское в триста душ, в Московской губернии в 350 верстах от Москвы. Мать князя, вдова Ивана Федоровича, урожденная княжна Мордкина, поселилась на житье у любимого старшего сына Николая. Но, после того как она женила меньших сыновей своих, братьев Николая, Петра и Павла, она разделила и свое именье между сыновьями, оставив себе малую часть для пожертвований в монастырь, в который она желала вступить, она исполнила давнишнее свое желание и постриглась в инокини в Хатьков монастырь под именем матери Амфилогии.

«Тебе, Николушка, меня не нужно теперь,— говорила она сыну. — Живи, как при мне жил, не забывай бога,

и бог тебя не оставит. А я за тебя буду богу молиться, и благословенье мое всегда будет над тобой и над женушкой твоей, и она добрая. Молода, горяча, но она баба добрая, ты ее наставляй и учи. А когда, бог даст, дети будут, то я крестить буду старшего мальчика, и вот тебе вотчина моя Неручи на зубок старшему сыну. А монастырь уж ты не забывай и мне, и игуменье, и сестрам помогай, и бог тебя не оставит».

И так старая княгиня еще не в старых годах, 45 лет, простилась с сыном и уехала в монастырь с одной вдовой да двумя крепостными девками.

Жизнь князя Николая Ивановича была спокойная и счастливая. Зимы он жил в Москве в своем доме на Устретенке, а постом ворочался в свое село Вяземское. Княгиня была женщина здоровая, добрая, хотя и горячая, именье у них было достаточное и с каждым годом увеличивалось по степенной жизни и разумному хозяйству князя Николая Ивановича. Родные братья и двоюродные любили и уважали старшего в роду князя и съезжались к нему гостить по праздникам и в Москве и в деревне. И во всех делах ему бывал успех за все эти первые десять лет деревенской жизни, с 1752 по 1762 год. И сам он не забывал приказа матушки, был усерден к храму божию, построил церковь у себя в отчине, принимал странных и не забывал монастыри. К матушке в монастырь каждую осень посылал обозы и сам с женою два раза в году ездил.

Перемена царствования, смерть Елисаветы Петровны и восшествие на престол Петра III и потом Екатерины прошло для них незаметно. От царей милостей они не получали и не ждали. И из родни их был в случае тогда один князь Иван Романович, двоюродный Николая Ивановича, женатый на Суворовой. Одно только было горе князя с княгиней, бог не давал им наследника. На другой год женитьбы дал им бог сына, Михаила, но ребенок умер, потом родилась дочь Наталья. Потом опрокинули княгиню в карете, спуская с Мценской горы. Она выкинула и долго после болела, и казалось, что их желанья не могли уже исполниться. Но они не отчаивались и продолжали и сами молиться о том богу, и посылать богатые милостыни в монастыри, прося монахов и монахинь замолить о них бога. И бог исполнил их молитву. Мать Амфилогия рассказывала, что это прямо была милость

божия по молитвам святого юродивого Кирилушки, который и замолил бога за них и прямо предсказал не только рождение сына, но и судьбу его и его родителей. Мать Амфилогия, скончавшаяся схимницею уж в 1813 году, 105 лет от рождения и пережившая не только сыновей, но внуков и правнуков, видевшая на своих глазах совершившуюся судьбу того внука, которого она вымаливала у бога, ясно потом поняла, когда уж свершилось, значение слов юродивого, но для князя Николая Ивановича и княгини предсказание это было темно.

Это было великим постом в Хатьковском монастыре в келии у матери Амфилогии. Князь с княгиней по обещанию своему пришли из своей вотчины пешие в монастырь и, несмотря на то, что у княгини все ноги были в крови, всю дорогу не садились в едущую сзади карету. После молебни угоднику они переехали в Хатьков, и, отслушав обедню и отслужив еще молебни родителям преподобного, они вошли в келию к матушке и сидели за чаем, когда в келию вошел босой в одной рубахе Кирилушка с можжевельниковыми ветками в руках. Он всегда ходил летом с цветами, зимой — с ветками. Увидав князя с княгиней, он пошел за перегородку, где стоял кувшин с водой. Помочил ветки и подпрыскал и мужа и жену. «Полюбил вас, слава богу,— сказала шепотом княгиня-монахиня. — Только кого полюбит — брызгает».

— Вот, Кирилушка, бог не дает им сына,— сказала инокиня юродивому,— помолись за них.

— Не тужи, старуха-волнуха,— заговорил юродивый. — Николашке сын Вася. У Аннушки Вася. У меня внучек. Не тужи, деушка,— обратился он к молодой княгине, гладя ее веткой по голове,— свекровь не обижай, а сын будет Васюточка маленькой, маленькой,— заговорил, все утончая и утончая голос,— а потом большой, большой, большой станет. — И он все грубее и грубее делал голос. — Только не видать тебе его близко. Далеко, далеко. Вот Николашка увидит. Увидит, да зажмурится. Вот так.

Он сам зажмурился. Но, открыв один глаз и увидав, что князь Николай Иванович не зажмурился, вдруг рассердился и, сняв с себя шапку кожаную, послушническую, надвинул на князя так, чтобы закрыть ему глаза.

— Маленькой, маленькой. Большой, большой.

И точно, через полтора [года] княгиня родила сына, крупного здорового мальчика с большими волосами и с двумя макушками. И родился мальчик в рубашечке. Много было на этой радости послано даров монастырям и заложен в селе Вяземском в память этого храм святителю Николаю с приделом во имя Василья. Припоминая слова юродивого, мальчика назвали Васильем, и крестили его дядя князь Алексей Иваныч и бабушка мать Амфилогия, в последний раз для этого случая выехавшая из своего монастыря. На крестины в мае месяце съехались родные князя и княгини. Хотя новый дом, построенный князем, уж вчерне был готов, съезд был такой, что все гости не могли поместиться в домах и конторе, и для князя Павла Ивановича была разбита турецкая палатка недалеко от дома подле рощи.

В то самое время как гости, съехавшиеся на крестины, еще пировали у князя, в одну ночь к палатке, в которой жил князь Павел Иванович, ночью подкинули младенца. Калмык, живший в прислугах у князя и чесавший ему голову, услыхал у двери в балаган, что что-то шуршит, и, тихо оставив засыпавшего князя, вышел посмотреть. Кто-то босыми ногами побежал по дороге к лесу. Калмык хотел уж назад вернуться. Вдруг запищало что-то у него под ногами. Глядь, младенец, голый, как есть, в дерюжке завернут. Калмык взял мальчика, хотел внести его в балаган, да вспомнил, что князь чуток на сон и сердит, коли разбудят его, да раздумал и, разбудив казачка, велел ему князю голову чесать, а сам понес мальчика в земскую избу и, разбудив земского, показал ему и рассказал, как было дело. Земской позвал караульщика, старосту, и стали судить, чей бы был ребенок и как князю сказать, как бы беды не было.

Ни креста на ребенке не было и ни рубашонки, ничего, и пуповина, видно, недавно откушена и завязана ничонкой из рубахи. Мужики судили, чей бы такой был ребенок, староста говорил, что по дерюжке — не с их стороны, а с зареченской из Пашутина должен быть, потому что только там пошло это новое заведение ткать дерюжки из оческов, а у них нету. (Пашутина была вольная деревня за рекой.) Земской говорил, что надо завтра к бабке сходить, она узнает чей. Калмык рассказывал, как он чуть не наступил на мальчика. А между тем ребенок лежал на коннике, куда его положил кал-

мык, и, разметавшись в дерюжке, громко стал кричать. Земщиха, из-за перегородки давно уже слышавшая их разговор, закричала оттуда на них.

— Бога в вас нет! — закричала она вдруг. — Что ребеночка-то бросили? Завтра разберетесь, а теперь надо его покормить. — И она, накинув шубенку, вошла в горницу и унесла к себе ребенка, а мужа послала за молоком.

У земщихи детей не было, ребеночек был здоровый, хороший. Она положила его на кровать. Достала чугун с теплой водой. Стростила воду в корыте, вымыла ребенка, обернула его в старую рубаху, наскребла каши тупиком в горшке и стала жевать эту кашу с молоком и изо рта кормить ребенка.

Наутро, прежде еще [чем] встал князь, староста с земским и приказчиком пошли к бабке, и бабка на воде отгадала им, что ребенок пашутинской и что родила его девка Арина, Федота Фоканова дочь. Земской с приказчиком пришли в волостную избу и послали за Федотом. Федот был мужик не молодой, у него уже было два сына женатых, и жил он хорошо. Девка его, Аришка, была первая плясунья и хороводница по деревне, и старик про нее ничего не знал. Знал только, что она вчера дома не ночевала. А с подругами вместе лен мяли на мельнице.

— Пакости у меня такой в дому не бывало, у меня и снохи со двора не ходят, а как на улицу без спроса пойдут, так я их в яму сажаю, а дочь и того строже матери учить приказываю. Если же правда, я ее, суку, до смерти запорю.

Когда привели девку, то по лицу сейчас видно было, что она виновата. Она вся осунулась и стала такая, что краше в гроб кладут. Когда стали девку спрашивать, она недолго отпиралась и скоро во всем созналась. Только сколько ее ни стращали, ни на кого не показала. Рассказала все девка так:

— «Пошла я с девками на толчею и почуяла к вечеру, что мне родить. Я пошла с девками домой, отошла от мельницы, и тут у дяди Егора в овин и родила. Я и сама не знала, что со мной. Только глянула на него, он ворочается. Я хотела его задушить, совсем уж было села на него, да он закричал. Мне его жалко стало, я его и повила. Потом думаю, что мне с ним делать, пропала моя головушка. Думаю себе, убегу от него, и

побежала прочь ко двору. И далеко отошла, и все слышу, он кричит, как ярочка плачет. Отбегу, отбегу, уши заткну, а он все кричит. И сама до двора добежала задами, а все его слышу. Опрокинулась я назад бежать, прибегла к овину, а он лежит, не шевелится и не пикнет. Схватила я его, завернула в дерюжку, в которой лен приносила, и побегла сама не знаю куда. Уже смерклось, только слышу, вода на заставках шумит. Прибегла я к воде. А *он* тут глянет на меня, как захохочет: — кидай,— говорит,— сюда ко мне. — Я испугалась, перекрестилась, и ну бежать. Бежала сама не помню куда и прибегла к барскому двору. А *он* за мной. Оглянулась, а *он тут*. Я в лес, тут у бани бросила и побегла домой».

Все это она рассказала, а про прежнее ничего не сказала. Только и говорила, что «не знаю», «не помню». И только просила делать с ней, что хотят, а не погубить ребеночка.

— Научилась тоже,— сказал князь. — Ну, а чей,— призналась?

Все рассказал пашутинской Федотка, Корчагина Ивана сын. Он у Скурятихи бондарничал.

Князь покачал головой.

Волостный голова велел отвести ее старику домой и ребенка велел взять от земского. Старик в волостной избе все молчал и ничего не сказал ни дочери, ни голове и молча отвел дочь домой и привязал ее к сохе на дворе. И матери велел уйти и не выходить к нему, потом взял кнут и бил кнутом дочь до тех пор, что она кричать перестала. Тогда он кликнул старуху, пособил ей отвязать затянувшиеся узлы, запряг телегу, насыпал овес и поехал сеять.

Князь Николай Иванович очень огорчился, узнав о пакостном деле, и хотел скрыть его от домашних. Но на княгининой половине все уже узнали от калмычонка, и промежду много было смеху над князем Павлом, как ему мальчика девка подкинула. Старушка княгиня монахиня сказала сыну и невестке, что мальчишку этого, может, на счастье подкинули, что его отдавать не надо, а записать за собой, что он, может быть, слугой будет ее крестнику, а что только надо грех прикрыть.

Князь так и сделал по совету матери, он позвал из-за реки Федота, выговорил ему за то, что слабо смотрит за девками, и сказал, что мальчика он возьмет себе, а

девку выкупит у Скурятихи и выдаст за малого. И он тотчас же послал Прохора к Пулхерии Ивановне торговать девку и к однодворцу, чтобы он пришел к нему.

Федот поблагодарил князя и, молча вздыхая, пошел домой; за мальчика не стоял, а девку обещал отдать замуж за вдовца Игната. Игнат был бедный, смирный мужик и прежде еще сватал девку. Князь послал за Игнатом, обещал ему кобылу, и Игнат согласился взять девку и отдать мальчика.

Мальчика окрестили Васильем же. Калмык с земчихой были восприемниками, и мальчик остался на попечении у земчихи. Она выпаивала его на соске. Аринка ходила проведывать. А девка скоро выздоровела, и к осени ее просватали за вдовца Игната в той же деревне Пашутиной, и к покрову она вышла замуж.

Глава 2-я. Как Васька обидел молодого князя и как Ваську сослали к матери

После Михайлы родился у князя еще сын Василий, потом Александр и еще две дочери — Пелагея и Наталья. Когда пришло время учиться, приставили к князю Михайле молодого попа Евграфа и привезли из Москвы по желанию княгини француза Жубера и, чтобы не скучно было ему одному учиться, с ним вместе посадили учиться земчихина приемыша,— и Ваську, и воспитывавшихся у князя двух сирот родных. Васенька отличался от всех детей и добротой и еще больше остротой к учению. Поп Евграф дивился на него и говорил, что ему учение слишком легко дается. Он прошел в год часослов и псалтырь и девяти лет читал так хорошо своим тонким нежным голоском, что все заслушивались его. И мамка его, Анна Ивановна, всегда садилась его слушать и плакала. На службах церковных, которые, кроме обедни, каждый день служили в доме князя, он, приметив, что родитель его подпевал, стал также подпевать, и голос у него был нежный и приятный. Васька тоже учился хорошо. И его из товарищей больше всех любил молодой князь Василий. Девяти лет он уже читал и писал по-французски и так часто говорил с своим Эрнест Егорычем, что князь Николай Иванович, мало знавший по-французски, уж не понимал его.

Девяти же лет Васеньку возили к бабушке, и ему очень полюбилось у нее. Полюбилась ему тишина, чистота кельи, доброта и ласка бабушки и добрых старушек монахинь и великолепие служб. Тишину движений монахинь, выходивших с клироса и становившихся полукругом, их поклоны игуменье и их стройное пение. Бабушка же и Гавриловна, ее послушница, и другие монахини полюбили мальчика, так что не могли нарадоваться на него. Бабушка не отпускала от себя внука, и по зимам маленький князек больше жил в монастыре, чем дома. Монахини и учили его. Княгиня-мать поторопилась уехать домой, потому что боялась того, чего желала бабушка, чтобы мальчик не слишком полюбил эту жизнь и не пожелал, войдя в возраст, уйти от мира в монашество.

СТО ЛЕТ

КОРНЕЙ ЗАХАРКИН И БРАТ ЕГО САВЕЛИЙ

В 1723 году жил в Мценском уезде в деревне Сидоровой в Брадинском приходе одинокий мужик Корней Захаркин. Есть пословица — один сын — не сын, два сына — полсына, три сына — сын. Так и было с стариком Захаром, отцом Корнея и Савелья. Было у него три сына — Михайло, Корней и Савелий, а под старость его остался у него один средний Корней: Михайлу убило деревом, Савелья отдали в солдаты, и солдатка сбежала, и остался старик с одним сыном. Но когда старик помер, Корней остался в доме совсем один с женой, тремя девчонками и старухой матерью.

Дом при старике Захаре был богатый, были пчелы, семь лошадей, двадцать овец, две коровы и телка.

Но после старика дом стал опускаться. Как ни бился Корней, он не мог поддержать дома. Год за годом из семи продал четырех лошадей, оставил трех, коровы выпали, продал половину овец, чтобы купить корову, пчелы перевелись. Помещик их был Нестеров. Он жил в новом городе Петербурге при царе в большой чести, поместий у него было много, и со всех у него был положен оброк: сидоровские платили, кроме хлеба, ржи, овса, подвод, баранов, кур, яиц, по десяти рублей с тягла. Кроме десяти рублей помещичьих, сходило казенных с тягла до двух рублей, кроме того, разоряли мужиков подводы и солдатский постой. Так что одинокому мужику было трудно тянуть, и, как ни бился Корней, он опустил отцовский дом и еле-еле вытягивал против людей. Он был

нелюбимый сын у отца. Отец не любил его за то, что был угрюмый и грубый мужик. Работа все та же была, как и при отце, с утра до поздней ночи, когда не было ночного или караулов, а когда бывали караулы, ночное или подводы, то приходилось и день и ночь работать. Работа была все одна, больше работать нельзя было, но и работой он не скучал, но тяжело было то, что и работать, и обдумывать, и собирать всякую вещь надо было ему же. Бывало, соберет и обдумает старик, а теперь все один и один. Тяжело ему было то, что не мог поддержать отцовского дома. С тех пор как опустился его дом и перевел он пчел и лишнюю скотину,— он уже лет семь жил все в одной поре, не прибавлялось у него достатку [и] не убавлялось. Был он с домашними сыт, одет, обут, была крыша над головой и тепло в избе, но подняться никак не мог. Но он не роптал и за то благодарил бога. Грешил он только тем, что скучал о том, что не давал бог ему ребят. Жена носила уже седьмое брюхо, и не помнил он рабочей поры, чтобы она была без люльки, и все были девочки. Четверых бог прибрал, и три были живы. Хоть и избывала их жена его, он не обижался на них, но скучал тем, что нечего приждать было. Состареешься, дома некому передать, кроме как зятя в дом принять,— думал он,— и хоть и знал, что грех загадывать, часто думал об этом и всякий раз, как жена родит, спрашивал у бабки, что родила, и плевал, и махал рукой, когда узнавал, что опять девка.

Мужицкая работа самая тяжелая бывает от Ильина дни и до Успенья. В эту пору трудно бывало Корнею, особенно как случится, что в эту пору жена не проста. Так случилось и в этом году. Все надо было обдумать и повсюду поспеть. Еще покосы не докошены и не довожены, поспевает рожь. Только возьмутся за рожь, уж овес сыплется, а пар надо передвоить, семена намолотить, и сеять, и гречиху убирать. Случилось в этом году — еще ненастье постояло неделю, отбило от работ, и еще круче свалилось все в одно время. Корней все не отставал от людей. Рожь у него была свожена и расставлена для молотьбы, пар передвоен, овса нежатого оставалось пол-осьминника на дальнем поле. Торопился он свозить последний овес с ближнего поля, куда хотели скотину пускать. Возил он весь день с Марфой и прихватил ночи. Ночь была месячная, видная, и он до-

возил бы весь, кабы на второй после ужина поездке жена не отказалась. Она в поле, подавая снопы из копны, начала мучаться. Корней сам наклал, увязал один воз, а на другую, пустую телегу посадил ее и свез ее домой. Дома послал мать за бабкой, а сам отпряг и поехал в ночное. Ему в этот день был черед стеречь ночное с соседом Евстигнеем. И с вечера заходил повещать выборной.

Спутав своих двух замученных лошадей и пустив их, Корней пересчитал с Евстигнеем всех лошадей, помолился богу и подошел к мужикам, лежавшим под шубами и кафтанами над лощиной у пашни, и сел у огонька, который развели мужики. Чередные караульщики с дубинами, покрикивая, ходили около лошадей в лощине, а остальные уже спали. Не спал только старик и Щербач.

Один из мужиков, карауливших лошадей, лежавших под тулупами, поднялся, почесался и подошел к огню и присел на корточки. Они говорили про солдат. Весь этот месяц шли [?] солдаты.

— Мало ли их пропадает. Теперь сказывают, в Перми что их сгорело. Пришли на такое место, что из земли огонь полыхает. Все и погорели,— сказал этот мужик.

Мужик этот был сосед Корнею, звали его Юфан Щербач. Он был мужик большой, здоровый, рыжий. Два зуба у него были выбиты, оттого и звали его Щербатым.

— Куда уж он их, сердешных, не водил, царь-то. И то сказывают, что не заправский он царь, а подмененный. В Стекольном городу.

— Буде пустое болтать, чего не знаешь,— сказал Евстигней. — Верно служивый сказывал, вчера стояло у меня в дому шесть человек и набольший — капрал — называется. У тех суда зачесаны виски, а у этого длинные, здесь как вальки. А человек ученый. Я его про нашего барина спрашивал. Он знает, да говорит, он нынче в беде. Как бы, говорит, вас у него не отобрали.

— А нам что же, отберут, за другим запишут,— сказал Евстигней. — Все одно подати платить.

— Ну, все разница.

— Да мы и не видали этого. Что ж, обиды нет.

Поговорив так, Щербатый отошел, и остался один Корней с Евстигнеем. Дядя Евстигней был крестный отец Корнея. Он был мужик богатый. У него было три сына: два женаты на тягле. Сам он был мужичонка маленький,

седенькой, с длинными волосами и редкой бородкой — мужичонка смирный, разговорчивый и умный. Он знал, что Корней доваживал овес.

— Довозил, что ли? — спросил он.

— Остались семь крестцов,— махнув рукой, сказал Корней.

Он хотел было сказать отчего, но вспомнил, что говорить про это не годится, что родильница хуже мучается, когда люди знают, и сказал, что лошади стали.

— Заморил совсем, перемены нет: и возить, и пахать, и скородить; из хомута не выходят, сердечные. Все один. Так вот и живешь, крестный. Люди уже отсеялись, а я еще не зачинал, да хлеб в поле. Эх, крестный, плохая моя жизнь,— и Корней насупился, глядя на огонь.

Редко ему доходило так тошно, как нынче. И так в избу не заходил бы. Крики, визг, девчонки эти, та — убилась, та — хлеба просит, а теперь в самую нужную пору еще родит — гляди, опять девчонку, да сляжет, как с тем брюхом. Не то, что помога, а обуза. — Плохая моя жизнь,— повторил он. — Головешка одна, сколько ни чади, и та затухнет. А вот все не хочется дом упускать.

— То-то, я чай, жил старик, убил бы его, а нет, купил бы,— сказал Евстигней.

Корней оглянулся на старика.

— Нет, крестный, что ж, я против родителя никогда не грубил,— сказал он. — И при родителе трудно бывало, вся, бывало, работа на мне, да я этим не брезговал. Хоть он меня и не любил против Михайлы или Савелья, никогда не верстал, а я грубить не мог.

— Пуще всего, милый, родителей поминай. Родительское благословенье во всяком деле спорину дает. А ты не тужи, бог труды любит.

— Да не работа, забота сушит, дядюшка. Все как будто не хочется дом упустить, а что же сделаешь один. Бьешься как рыба об лед, а толку нет ничего. Все-то я распродал, пчел перевел, кобылу продал, а и приждать-то нечего. Одне девки растут. От них помоги не приждешь.

— А ты вот что, Корней, ты малый крепкий и не дурак, ты не греши. Так-то сказывал божий человек летось, у нас ночевал, про святого отца, что ли. Был такой-то, на навозе, говорит, десять годов лежал, весь в гною, тело все сопрело, червь напал на него, так его Макарка

беспятый, нечистый значит, смущал: «Пожалься, говорит, на бога, тебе, говорит, легче будет терпеть»,— на грех его смущал, так он, значит, не поддался ему, говорит: бог, говорит, дал, бог, говорит, и взял. А богатый допрежь того был. Скота, говорит, тысячи, что ли, было. Семья тоже была, сыновья, жена — все померли. Он говорит Макарке беспятому,— ты, говорит, меня не наущай на бога обижаться. Когда, говорит, мне бог достатки посылал, я, говорит, не брезговал, примал, надо и теперь, говорит, примать, чего посылает,— терпеть, говорит, надо. Так-то сказывал хорошо, бабы наши наплакались, слушамши. Так-то, Корнеюшка, терпеть надо.

Корней, начавший переобуваться и парить на огне подвертку, бросил переобуваться и, повернувшись к старику, слушал его. Старики мало спят и любят говорить. Евстигней разговорился, он покачал головой, задумавшись, и опять начал:

— Ну, то святые отцы, я тебе про себя скажу. Тоже не завсегда и мы хорошо жили. Вот теперь ребята подросли, благодарю бога. — Старик перекрестился, повернувшись на восход,— а то тоже нужду видали. Ох, и видали же нужду. Про Андрея Ильича слыхал ли? Ну вот то-то. Были мы тогда Вяземского-князя. Он приказчиком у него был. Грузный, брюхо — во, на тройке не увезешь. Было дело еще при том царю, при Лексее Михалыче. Забунтовали на низу. Какой-то Степан Тимофеич проявился. У нас только слухи были, что за старую веру поднимается народ. Вот и случись, у нас в дому заночевали двое незнамо какие люди. Схватили их уж в Рагожином, во дворах, свезли во Мценский, позвал меня Андрей Ильич. А он на меня давно серчал, что я у него собаку убил. Я был годов тридцати, так же, как ты — одинокий, без родителя остался, Егор еще и женат не был. Позвал, сказывай, говорит, что прохожие люди с тобой говорили. — А чего говорили? Поужинали, покалякали об Степане Тимофеиче, что он город взял какой-то, больше и речи не было, и легли, наутро проводил я их за ворота. С богом! Спасибо. Я сказываю. — Нет, говорит, что еще говорили, все сказывай, а то разорю. Ты и так, мол, не работник. Возьму в двор и бабу, а брата в солдаты отдам. Говори. — Да что говорить? Ничего не знаю. — Сказывай, запорю. — Все я сказал. — Утаиваешь! Розог! — Повели меня в ригу. — Ложись. — Лег. Принялись

пороть. Двое держат, двое стегают. Наше вам, наше вам. Только поворачиваешься. — Сказывай. — Чего сказывать? Ничего больше не знаю. — Клади еще, наше вам. Так-то отбузовали, что на кафтане снесли. Мало того. Не скажешь, говорит, дом твой разорю. Да это бы ничто. Побои не на мне — на нем остались. Нет, собака, разорил ведь. Взял во двор. Послали жену кирпич бить, а меня в болото канаву копать, дом разнесли, чисто сделали, горно обжигал, сам топил. Так-то, собака, мучал нас три года. Что ж, прошло время, сам же помиловал, отошло у него сердце. Да и тягол мало стало. Бежало много народа, опять построился, завелся, твой отец, кум, помогнул. Вот жив же.

Корней покачал головой.

— Известно дело, дядюшка. Разве я ропщу. Так ослабнешь другой раз. А то известно, мне грех жаловаться. Что ж, слава богу, ни холоден, ни голоден. Жить можно.

— А вот ты баил, тебя отец с братьями не верстал. Не моги родителев судить. Грех. Дороже всего родителей поминать. Тому человеку всегда счастье.

— Да я, дядюшка, не то, что с попреком. Я сам знаю, что мне до Савелья далеко. Тот малый был и ловкий, и обходителен, и ухватист. Родитель-покойник серчал, что я не пошел в службу, а Савелья взяли. Ведь это не моя причина. Матушка меня жалела, а батюшка его. Я отцовского приказа не ослушивался. Пришел тогда выборный, сказывать, что с нашего двора ставить одного, а везти обех, который годится. Нас обех батюшка повез. Только приехал он, пошел батюшка в воеводскую, а Савелий мне и говорит: «Ты, говорит, Корней, не тужи. Я охотой пойду. Я тут не жилец. Мне постыла эта жизнь. Я охотой, говорит».

Как ввели нас в Приказ, только крикнули Захаркиных. Он вперед сунулся. Я, говорит, охотой иду. А, чай, помнишь, малый-то был какой статный, бравый, смелый. Воевода и говорит: «Ай, молодец. Вот так солдат будет, таких царю нужно. Меть!» С той поры батюшка на меня и серчать стал. Ты, говорит, его с бабой своей упросил. А я ничем не причинен. Он сам захотел. Пожалел меня с малыми детьми. Ну да и поминаю я его. Кажется, приди он вот, скажи: Корней, полезай в огонь, для меня нужно. Полезу.

— Что ж, нет слухов?

— Нет, то говорили, что он бежал и за женой присылал, что она к нему ушла, а теперь как в воду кануло, шестой год. Либо помер.

В это время лошади шарахнулись, и мужики закричали.

Старик неохотно слушал разговоры Феофана; он поднялся, оглядел звезды.

— Уж не рано,— сказал он. Воздохнул, повернулся к стороне и помолился, и лег, укрываясь с головой тулупом. Корней сделал то же.

— Вот,— подумал он,— умный-то человек слово скажет — дороже денег. Складно как рассказал крестный про святого отца, что на навозе прел. Есть что послушать, а это что, зубы чесать.

И он потянулся, зевнул и только стал засыпать, как услыхал, что собака дяди Евстигнея не путем брешет,— бросается к дороге.

I часть. I глава

В 1723 году в конце царствования Петра I, в тогдашней огромной Московской губернии в двухстах верстах от Москвы, в пятнадцати верстах от Мценска в деревенской глуши у одинокого мужика Онисима родился сын. Онисим Марков жил один со старухой матерью и еще не старой женой, от которой до сих пор у него все рожались девочки.

Онисим был второй сын у отца, а всех было трое. Старшего в первый набор отдали в солдаты. Отец умер, и скоро после смерти отца меньшой брат бежал, и Онисим остался один с женою и матерью. Онисим был мужик черный и грубый, и голос и обхожденье у него были грубые. Ростом он был большой, широкоплечий, волоса были кудрявые, всегда лохматые, и борода небольшая, такая кудрявая, что ее пальцами разобрать нельзя было. Брови у него всегда бывали нахмурены, и нос большой, с горбом. Во хмелю он был еще сумрачнее и сердитее, и пьяного его все боялись. Говорить он много не любил и всегда бывал за работой. И редко кто против него мог сработать. Старуха Кириловна, мать Онисимова, еще работала и помогала ему, а жена Марфа была баба и

работящая и умная. Но, несмотря на это, как расстроился их дом после смерти отца, так и не мог подняться. Пословица говорит про одинокого: что одна курушка в поле сколько ни чади, не миновать загаснуть, так и Онисимов дом только курился. Но Онисим не давал ему загаснуть. Были они в то время господские, князя Вяземского, и платили на князя оброк по пяти рублей с дыма, по три осьмины ржи, две четверти овса, две подводы в Москву, полбарана, шесть кур, полсотни яиц, семь талек пряжи льняной и две посконной. Уже восемь лет так бился Онисим, не давал загаснуть своей курушке, но и не мог разжечь ее. Прокормится с семьей, оденется, отбудет подводы господские и государевы, доставит оброк и только, только заткнет все дыры, а подняться уже не с чем — ни из коров пустить другую на зиму, ни из лошадок прибавить к двум, которых он держал. То овин поставить на место сгоревшего, то двор покрыть, то лошадь увели, то коровы пали, то хлеб не родился. Только одно дело поправит, другое разладится, так что подняться все и не с чем. Все ровно с одинаким достатком.

Жил Онисим один уже восемь лет. Была у него одна изба старая, сени и клеть плетневая с рундуком, дворишка крытый. Овин на задворках, две лошади и стригун, коровенка, пять овчонок, две телеги, сани, соха, борона да бабьи пожитки.

В прошлом 22-м году рожь вовсе не родилась, и кое-как прокормились, где взаймы взял пять осьмин, где овсом, но скотину не продали. В нынешнем, 23-м году урожай был хорош, и озимое, и яровое, и сено родилось, так что Онисим надеялся долг отдать, прокормиться и пустить на зиму лишние две головы.

Только уборка в нынешнем году задержалась. Спожинками пошли дожди, и хлеб отбился от рук. С Успенья опять стало ведро. В то время как родился у него сын, Онисим доваживал последние снопы с поля.

Онисим в этот день до зори приехал из ночного. Бабы уже были вставши, и издалека еще он увидал в тумане дым из своей избы. Изба его была вторая с края. Бабы ставили хлебы. Марфа выбежала, отворила ворота, и Онисим тотчас же пошел с бабой мазать и запрягать обе телеги. Запряжомши, он вошел в избу, закусил, взял кафтан и выдвинул лошадей на улицу. Марфа, ходившая к соседке за солью, забежала в избу одеться и, приказав

матушке-свекрови девчонок и надевая на ходу кафтан, выбежала из сеней, подошла к телеге и вскинула в ящик веревку. Увидав ее, Онисим тронул передовую чалую кобылу. Марфа, хоть и кругла уже была, но, живо ухватившись за грядку и подпрыгивая одной ногой по дороге, пока приладилась другой стать на чеку, вскочила, взвалилась в новую, лубком обтянутую, заднюю телегу и взялась за вилы. Но, только что отъехали, Марфа закричала:

— Митюха! Постой. Вилы забыли.

— На дворе, в санях! — крикнул муж.

Баба сбегала и принесла вилы, и они поехали рысью. И они выехали за околицу. Но как ни рано они выехали — еще солнушко не выходило из-за Барсуков,— а уж за околицей навстречу им попался дядя Нефед с сыном на четвером.

— Не сыра? Дядя Нефед! — крикнул Онисим.

— Сверху росно, а суха, не, ладна,— отвечал Нефед, хворостиной отгоняя близко набежавшую на него лошадь Марфы.

Заворотив с дороги на свою пашню, Онисим выскочил из телеги, завернул за оглоблю подласого мерина и, поддвинув чалую к самым крестцам, перевернул, ощупал сноп и — господи благослови — скидал верхние снопа, которые были сыры, и стал укладывать сплющившиеся от дождя снопы волотью внутрь, гузом наружу,— тяжелые снопы. Марфа подтаскивала из другого крестца знакомые ей, ею нажатые, ею навязанные снопы. Как только ящик был полон, Онисим влез на телегу, и Марфа, достав вилы из задней телеги, подтаскивала ловко сноп за снопом, подкидывала ему так скоро, что он не успевал с ними разбираться.

— Будет, что ли?

— На уж, всю забирай.

И Марфа, взяв вилы из другой телеги, всадила их под свясла, дала последние шесть снопов, подлезла под ось, достала веревку и перекинула. Увязав воз, Онисим спрыгнул, завернул чалую и подвел подласого к другой копне.

Другую копну Марфа также перекидала почти всю, но вдруг остановилась и оперлась на вилы, вложив локоть в развилину.

— Кидай, что ль? — крикнул муж. — Аль умираешь.

— Держи,— крикнула баба, вдруг тряхнув головой, чтобы поправить кичку, и докидала последние снопы.

Опять они увязали и другой воз и вывели лошадей по неровной пашне на прибитую, усыпанную зернами дорогу. Солнце уже взошло, и со всех сторон мужики, которые накладывали, которые выезжали, которые уже увозили снопы. Выехав на дорогу, они попали в обоз. Впереди ехали Макарычева возы, сзади рысью догнал их Савоська.

Савоська рассказывал двум шедшим с ним мужикам, как вчерась приезжал на барский двор воеводский писарь описывать. Дмитрий подошел к ним, послушал, но, заметив, что подласый щиплет из воза, он большими шагами пошел мимо воза, поднял выбившиеся колосья, глянул искоса на Марфу из-под черных насупленных бровей. Она была красна и потна, как будто в самую жару, и шла неровно.

— Полезай на воз, что ль? — сказал Онисим.

Марфа, не отвечая, взялась за снопы.

— Эй, Митюха, останови мерина-то, бабу посадить.

— Тпруу. — И почти на ходу Онисим подсунул перебиравшую по веревке руками бабу и, когда она скрылась от него вверху, пошел к передней лошади.

— Вишь, бабу-то жалеешь,— крикнул Митюха.

— Нельзя же.

Когда они своротили с слободы проулком на гумно и подъехали к одному конченному круглому овсяному, другому ржаному и третьему начатому одонью, Марфе отлегло, она встала на возу, развязала и, приняв вилы, стала скидывать мужу на одонье. Когда она скинула последний сноп, высоко держа его над головой и осыпая свое потное лицо зернами, гремевшими, как дождь, по новому лубку телеги, она почувствовала, что мочи ее нет больше, и упала в телегу, как только лошадь двинулась. Девчонка старшая вышла на гумно и вынесла кувшинчик квасу. Онисим напился и передал жене. Марфа смочила свои пересмяклые губы и напилась и опять взялась за работу. Она отогнала лошадь, дергавшую колосья из одонья, и закрутила ее и хотела взяться за другую, но опять дернулась и охнула.

— Я до двора пойду, Митя. Неможется мне.

— Э! Дуй тебя горой! Поди, да матушку пошли,— сказал Онисим,— докидать надо.

И Марфа побрела по тропинке через гумно ко двору. Проходя мимо току, Марфа подмела раскиданные ворошки и загнала кур. Потом зашла в конопи и подняла яичко. Кириловны не было в избе, она пошла на речку с бельем.

— Поди, матушку посылай и Машку возьми,— сказала Марфа девчонке и села на лавку против печки.

Когда старуха пришла, Марфе опять полегчило, и она хотела опять идти на гумно. Но свекровь не велела ей.

— Ты хоть хлебушки вынь, а уж, видно, я съезжу. А коли что, ты за Сидоровной Машку пошли.

Во вторую поездку Онисим взял с собой мать.

Они сели в одну телегу с матерью.

— Самая пора нужная, а она рожать! Такое мое счастье.

— А ты, Онисимушка, не греши,— сказала мать. — Все от бога. А ты как думаешь? Ведь и ей не легко. Значит, богу они нужны, коли родятся.

— На кой их ляд. Девок-то.

— А грех! Разве она виновата. Так бог дает. Другой и с ребятами мучается, а другой от девок. Вот Петра зятя принял, лучше сына почитает, так-то.

— Думали, сыра, а она так провяла. Только теперь не упустить,— сказал Онисим про рожь.

С старухой накладывать дело шло не так споро, как с Марфой. И они до обеда провозились с другой поездкой.

Когда они с матерью вернулись с возом из другой поездки, Дунька выбежала им навстречу.

— Бабушка, поди к мамушке. Она умирает. Я за Сидоровной бегала, да она в Пашутино ушла.

Старуха слезла на улице и пошла в избу, а Онисим один повел воза на гумно.

— Где же бабы-то? — крикнул ему сосед, вывершивавший свое одонье.

— Недосуг! — отвечал Дмитрий. «Ему хорошо, как сам-шесть, а одному и одонья не скласть. Небось не придет подсобить».

— Эй, Максим, поди дяде Онисима поскидай возато,— как бы отвечая на его мысли, сказал сосед сыну. — Ничего. Обедать-то еще рано, а мы всю привезли.

— Ну спаси тебя бог,— сказал Онисим и стал развязывать воз.

— Что кум? Али опять крестить?

— Да видно, что так.

— То-то пословица: всем бы молодец, да девичий отец.

Дмитрий нахмурился и, не отвечая, стоя на возу, заваливал снопами Максимку так, что он не успевал разбираться.

Оставшись одна, Марфа достала хлебы, но вдвинуть назад кочергу не могла. Она даже не могла подойти к окну, чтобы позвать девочку, она легла и более не вставала, пока у ней не родился ребенок. На нее нашел было страх, но, помолившись на образа, она успокоилась. «Быть живой — буду жива и без бабки». Когда боли отпустили ее и ребеночек закричал, она взяла его, осмотрела и, увидав, что мальчик, еще раз помолилась богу и хотела вставать, но ослабела и, застонав, упала на спину.

— Матушка-свекровушка, жалостливая сударушка, приди, помоги мне, горькой. Чтобы не пропало мое дитятко, под сердцем ношенное, у бога моленное.

Только что она стала завывать, как услыхала шаги, и свекровь, запыхавшись, приговаривая, вошла в избу. Девчонка хотела прошмыгнуть в отворенную дверь, но бабушка стукнула ее по голове и прогнала.

— Дитятко ты мое, болезная ты моя касатушка. О-ох, милая моя.

Увидав, что бог простил уже ее, старуха взялась за дело, повила ребенка, снесла на лавку, постлала соломки, вымыла и потом убрала и дрожавшую всем телом невестку и свела ее в клеть и там положила на полу, подстлав ей шубу.

— Ты, матушка, пошли Митрия-то за попом. Еще нынче окрестить можно,— сказала родильница,— ей хотелось окрестить и хотелось больше всего, чтобы муж узнал, что мальчик. Старуха послушалась ее и, убрав невестку и отдав ей спеленутого ребеночка, пошла на гумно. Дмитрий, вывершив одонье, обивал его греблом.

— Ну, Митюха, молись богу,— сказала старуха.

— Аль малого родила?

— Молись богу, говорю, да ступай за попом. Сынишку родила.

— Вре? — сказал Дмитрий, но, сказав это, перекрестился. — Вишь ты! Ну, не чаял,— сказал он, улыбаясь.

И живо отпряг лошадей и повел их, чтобы пустить на выгон.

— Что ж, аль плох?

— Все лучше, Митюха, окрестить. Да и поп-то, сказывали, у Баскачихи. Еще солнышко высоко.

— Ишь ты! Не чаял,— все твердил про себя Дмитрий, покачивая [головой и] не переставая ухмыляться.— Что ж, матушка, хорош малый-то?

— Хорош! в чем душа держится,— отвечала старуха. — И хорошие мрут, и плохие живут. Как бог даст да матушка-владычица. В христианскую веру привести надо, а там что бог даст. Ты девок-то вот избываешь, а они живут, а малого-то и рад бы оживить, да как господь бог не захочет, ничего не сделаешь. То-то ты не греши, Митюха. Что же, ты лошадь-то выдвинул бы к воротам.

— Дай срок, матушка, пообедать. Тоже намотался, есть хочется.

Хоть и понял Дмитрий умные слова матери, не велевшей ему загадывать, но он не мог удержаться от радости и все шел, ухмылялся. И, остановившись в сенях против клети, откуда он слышал писк ребеночка, он окликнул жену.

— Марфа! А Марфа! Малый, что ль?

— Сыночек, Митюха. Сыночка бог дал,— отвечал ему жалостный, тихий голос Марфы.

— Ишь ты! Не чаял. За попом еду. Дай пообедаю только, брюхо подвело,— и он прошел в избу.

Мать хлопотала наскоро собрать ему пообедать. В избе было все не прибрано еще.

Мать подала сыну щей свекольных, забеленных молоком. Он поел, подозвал Дуньку и, лаская, покормил ее. И, вылезши из-за стола и помолившись богу, переобулся, надел новый кафтан, подпоясался, взял новую шляпу и вышел собираться. Наложив соломки в ящик телеги и застелив веретями, он пошел на гумно к дяде Нефеду.

— Я к тебе, кум. Приведи сына в христианскую веру.

— Когда же крестить?

— Да вот к куме зайду, да и за попом. Нынче, коль поедет.

— Что же; ладно.

— Спаси тебя Христос,— отвечал он, поклонившись, и пошел к куме.

МОЯ ЖИЗНЬ

5 мая 1878. — Я родился в Ясной Поляне, Тульской губернии, Крапивенского уезда, 1828 года 28 августа. Это первое и последнее замечание, которое я делаю о своей жизни не из своих воспоминаний. Через три месяца мне будет пятьдесят лет, и я думаю, что стою на зените своей жизни. Я буду описывать не мои соображения о том, что привело меня к тому и внешнему и душевному состоянию, в котором я нахожусь, а последовательно те впечатления, которые я пережил в эти пятьдесят лет. Я не буду делать догадок и предположений о том, как то и то действовало на меня и какое имело влияние, я буду описывать то, что я чувствовал, невольно избирая то, что оставило более сильные отпечатки в моей памяти.

Теперешнее свое положение, с точки которого я буду оглядывать и описывать свою жизнь, я избрал потому, что я нахожусь только теперь, не более, как год, в таком душевном состоянии спокойствия, ясности и твердости, в каком я до сего никогда в жизни не был.

с 1828 по 1833

Вот первые мои воспоминания. Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться. Надо мной стоят нагнувшись кто-то, я не помню кто, и все это в полутьме, но я помню, что двое,

и крик мой действует на них: они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. Им кажется, что это нужно (то есть то, чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком противным для самого меня, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы и жалость над самим собою. Я не знаю и никогда не узнаю, что такое это было: пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдирал руки или это пеленали меня, уже когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишаи, собрал ли я в одно это воспоминание, как то бывает во сне, много впечатлений, но верно то, что это было первое и самое сильное мое впечатление жизни. И памятно мне не крик мой, не страданье, но сложность, противуречивость впечатления. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и меня мучают. Им меня жалко, и они завязывают меня, и я, кому все нужно, я слаб, а они сильны.

Другое воспоминание радостное. Я сижу в корыте, и меня окружает странный, новый, не неприятный кислый запах какого-то вещества, которым трут мое голенькое тельце. Вероятно, это были отруби, и, вероятно, в воде и корыте меня мыли каждый день, но новизна впечатления отрубей разбудила меня, и я в первый раз заметил и полюбил мое тельце с видными мне ребрами на груди, и гладкое темное корыто, и засученные руки няни, и теплую парную стращенную воду, и звук ее, и в особенности ощущение гладкости мокрых краев корыта, когда я водил по ним ручонками. Странно и страшно подумать, что от рождения моего и до трех, четырех лет, в то время, когда я кормился грудью, меня отняли от груди, я стал ползать, ходить, говорить, сколько бы я ни искал в своей памяти, я не могу найти ни одного воспоминания, кроме этих двух. Когда же я начался? Когда начал жить? И почему мне радостно представлять себя тогда, а бывало страшно, как и теперь страшно многим, представлять себя тогда, когда я опять вступлю в то состояние смерти, от которого не будет воспоминаний, выразимых словами. Разве я не жил тогда, эти первые года, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить, спал, сосал грудь и целовал грудь, и смеялся, и радовал мою мать? Я жил, и блаженно жил. Разве не тогда

я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и $^1/_{100}$ того. От пятилетнего ребенка до меня только шаг. А от новорожденного до пятилетнего страшное расстояние. От зародыша до новорожденного — пучина. А от несуществования до зародыша отделяет уже не пучина, а непостижимость. Мало того, что пространство и время и причина суть формы мышления и что сущность жизни вне этих форм, но вся жизнь наша есть большее и большее подчинение себя этим формам и потом опять освобождение от них.

Следующие воспоминания мои относятся уже к четырем, пяти годам, но и тех очень немного, и ни одно из них не относится к жизни вне стен дома. Природа до пяти лет — не существует для меня. Все, что я помню, все происходит в постельке, в горнице, ни травы, ни листьев, ни неба, ни солнца не существует для меня. Не может быть, чтобы не давали мне играть цветами, листьями, чтобы я не видал травы, чтобы не защищали меня от солнца, но лет до пяти-шести нет ни одного воспоминания из того, что мы называем природой. Вероятно, надо уйти от нее, чтобы видеть ее, а я был природа.

Следующее за корытцем воспоминание есть воспоминание *Еремевны*. «Еремевна» было слово, которым на детей, пугали. И вероятно, уже давно пугали, но мое во поминание о ней такое: я в постельке, и мне весело хорошо, как и всегда, и я бы не помнил этого, но вдру няня или кто-то из того, что составляло мою жизнь, что-т говорит новым для меня голосом и уходит, и мне дел ется, кроме того, что весело, еще и страшно. И я вспом наю, что я не один, а кто-то еще такой же, как я (эт вероятно, моя годом младшая сестра Машенька, с кот рой наши кроватки стоят в одной комнатке), и вспом наю, что есть положок у моей кроватки, и мы вместе сестрою радуемся и пугаемся тому необыкновенному, чт случилось с нами, и я прячусь в подушки, и прячусь выглядываю в дверь, из которой жду чего-то нового веселого. И мы смеемся, и прячемся, и ждем. И вот я ляется кто-то в платке и в чепце, все так, как я никогд не видал, но я узнаю, что это — та самая, кто всегда мной (няня или тетка, я не знаю), и эта кто-то говори грубым голосом, который я узнаю, что-то страшное пр дурных детей и про Еремевну. Я визжу от страха и р

дости и точно ужасаюсь и радуюсь, что мне страшно, и хочу, чтобы тот, кто меня пугает, не знал, что я узнал ее. Мы затихаем, но потом опять нарочно начинаем перешептываться, чтобы вызвать опять Еремевну.

Подобное воспоминанию Еремевны есть у меня другое, вероятно позднейшее по времени, потому что более ясное, но навсегда оставшееся для меня непонятным. В воспоминании этом играет главную роль немец Федор Иванович, наш учитель, но я знаю наверно, что еще я не нахожусь под его надзором, следовательно это происходит до пяти лет. И это первое мое впечатление Федор Ивановича. И происходит это так рано, что я еще никого — ни братьев, ни отца, никого не помню. Если и есть у меня представление о каком-нибудь отдельном лице, то только о сестре, и то только потому, что она одинаково со мной боялась Еремевны. С этим воспоминанием соединяется у меня тоже первое представление о том, что в доме у нас есть верхний этаж. Как я забрался туда, сам ли зашел, кто меня занес, я ничего не помню, но помню то, что нас много, мы все хороводом держимся рука за руку, в числе держащихся есть чужая женщина (почему-то мне помнится, что это прачка), и мы все начинаем вертеться и прыгать, и Федор Иванович прыгает, слишком высоко поднимая ноги и слишком шумно и громко, и я в одно и то же мгновение чувствую, что это нехорошо, развратно, и замечаю его и, кажется, начинаю плакать, и все кончается.

Вот все, что я помню до пятилетнего возраста. Ни своих нянь, теток, братьев, сестру, ни отца, ни комнат, ни игрушек, я ничего не помню. Воспоминания более определенные начинаются у меня с того времени, как меня перевели вниз к Федору Ивановичу и к старшим мальчикам.

При переводе моем вниз к Федору Ивановичу и мальчикам я испытал в первый раз и потому сильнее, чем когда-либо после, то чувство, которое называют чувством долга, называют чувством креста, который призван нести каждый человек. Мне было жалко покидать привычное (привычное от вечности), грустно было, поэтически грустно, расставаться не столько с людьми, с сестрой, с няней, с теткой, сколько с кроваткой, с положком, с подушкой, и страшна была та новая жизнь, в которую я вступал. Я старался находить веселое в той новой жизни,

которая предстояла мне, я старался верить ласковым речам, которыми заманивал меня к себе Федор Иванович, старался не видеть того презрения, с которым мальчики принимали меня, меньшого, к себе, старался думать, что стыдно было жить большому мальчику с девочками и что ничего хорошего не было в этой жизни наверху с няней, но на душе было страшно грустно, и я знал, что я безвозвратно терял невинность и счастие, и только чувство собственного достоинства, сознание того, что я исполняю свой долг, поддерживало меня. Много раз потом в жизни мне приходилось переживать такие минуты на распутьях жизни, вступая на новые дороги, я испытывал тихое горе о безвозвратности утраченного. Я все не верил, что это будет, хотя мне и говорили про то, что меня переведут к мальчикам, но, помню, халат с подтяжкой, пришитой к спине, который на меня надели, как будто отрезал меня навсегда от верха, и я тут в первый раз заметил не всех тех, с кем я жил наверху, но главное лицо, с которым я жил и которую я не помнил прежде. Это была тетенька Татьяна Александровна. Помню невысокую, плотную, черноволосую, добрую, нежную, жалостливую. Она надевала на меня халат, обнимая подпоясывала и целовала, и я видел, что она чувствовала то самое, что и я, что жалко, ужасно жалко, но должно. В первый раз я почувствовал, что жизнь не игрушка, а трудное дело. Не то ли я почувствую, когда буду умирать: я пойму, что смерть или будущая жизнь не игрушка, а трудное дело.

1833—1834

Воспоминаний уже много. Вызывая одни другие, они встают в моем воображении.

Жизнь моя того года очевиднее, чем настоящая жизнь, слагается из двух сторон: одна — привычная, составляющая как бы продолжение прежней, не имевшей начала, жизни, и другая, новая жизнь, то радующая своей новизной и притягивающая, то ужасающая, то отталкивающая, но все-таки притягивающая.

Я просыпаюсь, и постели братьев, самые братья вставшие или встающие, Федор Иванович в халате, Николай (наш дядька), комната, солнечный свет, истопник рукомойники, вода, то, что я говорю и слышу,— все толь

ко перемена сновидения. Я хотел сказать, что сновидения ночи более разнообразны, чем сновидения дня, но это несправедливо. Все так ново для меня и такое изобилие предметов, подлежащих моему наблюдению, что то, что я вижу, та сторона предмета, которую я вижу днем, так же необычайно нова для меня и странна, как и те сновидения, которые представляются мне ночью. И основой для тех и других видений служит одно и то же. Как ничего нового — не того, что я воспринял днем, я не могу видеть во сне, так и ничего нового я не могу видеть днем. Только иначе перемешивая впечатления, я узнаю новое. Одна разница. Сновидения сладки, спокойны, даже страх, ужас, горе сновидений имеют сладость и успокоение: я весь во власти чуждой силы, но я живу и предаюсь ей — нет борьбы, искания и раскаяния или угрозы раскаяния, а в своей маленькой жизни я уже чувствую ее. Нет тоже в сновидении ничего нового по сущности своей, ничего такого, что против воли моей влекло бы меня туда, куда я не хочу, таких образов, которые бы были злы и вместе с тем законны. Во сне нет ужасного, нелюбовного. Если есть ужасное, то оно просто ужасно, но оно не зло.

Впечатления дневной жизни того времени делились для меня на две стороны: привычное и новое. Привычное была вся семья.

Комментарии

1

Рассказы и фрагменты незавершенных романов, составляющие этот том, относятся к 70-м годам – «переходному» периоду, который предшествовал коренному перелому в мировоззрении и творчестве Толстого, и ко времени непосредственно после перелома.

«Острая ломка всех «старых устоев» деревенской России обострила его внимание, углубила его интерес к происходящему вокруг него, привела к перелому всего его миросозерцания»,— писал В. И. Ленин в статье «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение» [1]. Сам Толстой в одном из писем 1906 года заметил, что «душевный переворот» произошел в нем «25 лет тому назад» и открыл ему «смысл и назначение нашей истинной жизни и всю преступность, жестокость, мерзость той жизни, которую мы ведем, люди богатых классов, строя наше глупое матерьяльное внешнее благополучие на страданиях, забитости, унижении наших братий» [2].

Перелом обозначил окончательный разрыв с идеологией дворянского класса, к которому Толстой принадлежал по рождению и воспитанию, и полный переход на позиции патриархального крестьянства.

Социально-философские, этические, эстетические искания в 70-е годы достигают у писателя мучительного напряжения. Ощу-

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 39.

[2] Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. в 90-та томах, т. 76, с. 75–76. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием лишь тома и страницы.

щение творческого перепутья, овладевшее Толстым после «Войны и мира», определило характер всей его деятельности на целое десятилетие.

В 70-е годы Толстому становится вполне ясен переломный характер современной ему эпохи. Сознание того, что «все переворотилось и только укладывается», что это — самый важный вопрос для всякого человека думающего и чувствующего,— владеет им неотступно. Перед писателем с трагической остротой встает проблема выбора пути; поиски смысла жизни приводят к пересмотру прежних решений. Одновременно с очевидностью раскрываются новые неисчислимые бедствия, принесенные пореформенным временем трудовому народу, и прежде всего русскому мужику, судьба которого особенно волновала Толстого.

Сосредоточенность творческого труда, характерная для предшествующих семи лет, отданных «Войне и миру», сменяется непрерывно оттесняющими друг друга страстными увлечениями то народной школой, то историческими романами из разных эпох русской жизни, то романом о современности — «Анной Карениной», то планами автобиографического сочинения (будущей «Исповеди»).

Характеризуя в одном из писем 1872 года современную ему литературу, Толстой отмечает в ней «упадок поэтического творчества всякого рода». Он называет этот упадок «смертью с залогом возрождения в народности» и там же признается, что надеется участвовать в том «выплывании», какое станет возможно после настоящего сближения искусства с запросами и вкусами народа (т. 61, с. 274—275). С огромным увлечением отдается он созданию литературы для народа — сначала детских рассказов, вошедших в «Азбуку» и затем в «Русские книги для чтения», а впоследствии так называемых «народных рассказов».

Произведения, написанные Толстым специально для народного чтения, составляют основное содержание данного тома.

В разделе «Незаконченное. Наброски» широко представлены фрагменты незавершенных исторических романов, над которыми писатель трудился в начале и в конце 70-х годов.

Проблемы народного образования, подъема национальной культуры в 60—70-е годы горячо обсуждались в русском обществе, на страницах периодических изданий и в литературных произведениях. Революционные демократы и народники надеялись, в частности, этим путем осуществить революционное просвещение и воспитание народа; консерваторы рассчитывали, сосредоточив контроль над народным образованием в руках помещиков и церкви, противодействовать таким образом распространению «рево-

люционной заразы»; либералы пытались отделаться от решени кардинальных социальных проблем эпохи передачей народу эл ментарных знаний. Толстой занял в этой борьбе свою, сложну и противоречивую позицию. В статье «О народном образовании (1874) он горячо отстаивал не только необходимость народны школ, но и право народа самому решать свою судьбу, в часто сти — «великое дело своего умственного развития». Одновремен он категорически возражал против идеи о возможности и нужно сти воспитывать и развивать народ. Его педагогическая программ призывала обратиться к основам народного (то есть патриархал но-крестьянского) миросозерцания и опираться только на ни Она оказалась, таким образом, направленной и против консерва тивной «петербургской педагогии» министра просвещения Д. Тол стого, и против «хождения в народ» передовой интеллигенции.

Однако практическая и, в особенности, литературная работа Толстого, связанная с его увлечением народными школами, была очень далека от пассивной позиции, прокламированной в статье «О народном образовании».

Открывая вновь свою Яснополянскую школу и содействуя организации школ по всей округе, он мечтал «спасти тех тонущих там Пушкиных, Остроградских, Филаретов, Ломоносовых», которые «кишат в каждой школе» (т. 61, с. 130). Он был переполнен безграничной любовью к «маленьким мужичкам», как именовал он крестьянских детей. Любовь эта и проявилась в «Азбуке», над которой Толстой трудился с огромным упорством в 1871—1872 годах и затем в 1875 году, когда, откладывая работу на «Анной Карениной», писал «Новую азбуку» и переделывал «Кни ги для чтения».

Убедившись в том, что за десять лет, протекших после пре кращения журнала «Ясная Поляна», «не вышло ни одной книж ки... которую бы можно было дать в руки крестьянскому маль чику» (т. 61, с. 284—285), Толстой своими детскими рассказами восполнял этот пробел. С «Азбукой» он связывал самые «гордые мечты», полагая, что несколько поколений русских детей, от мужицких до царских, будут учиться по ней и получат из нее первые поэтические впечатления. «Написав эту Азбуку, мне можно будет спокойно умереть»,— делился он в 1872 году своими мыс лями с А. А. Толстой (т. 61, с. 269).

Своей «Азбукой» Толстой не открыл наилучший способ обу чения грамоте или простейший путь усвоения четырех действий арифметики. Но помещенными там рассказами он действительно создал целую литературу для детского чтения. Многие из этих рассказов и поныне входят во все хрестоматии и буквари: «Филип-

пок», «Три медведя», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Кавказский пленник», рассказы о Бульке и др.

Известный русский педагог профессор С. А. Рачинский справедливо писал автору «Азбуки» и «Книг для чтения»: «Нет в мире литературы, которая могла бы похвалиться чем-либо подобным» [1].

В четырех «Русских книгах для чтения» сравнительно немного произведений оригинальных. В большинстве случаев — это вольные переложения русских, индийских, арабских, персидских, турецких, немецких сказок, переделки басен Эзопа, реже — отдаленно напоминающие источник — пересказы произведений новой литературы.

При выборе источников и создании своих собственных рассказов Толстой неизменно исходил из того, чтобы сюжет их был прост, но занимателен и чтобы они представляли поучительный или познавательный интерес. В высшей степени характерно, что использованы были, главным образом, произведения древнегреческой литературы (образцы которой Толстой с таким восторгом перечитывал в это время в подлинниках, специально изучив для этой цели греческий язык) и устного поэтического творчества разных народов. Здесь нашел писатель источник «истинно прекрасного и простого прекрасного» (т. 61, с. 247). Примечательно и то, что в основу некоторых рассказов («Солдаткино житье», «Как мальчик рассказывал про то, как его в лесу застала гроза» и др.) положены сочинения учеников Яснополянской школы, о которых с таким восхищением отзывался Толстой раньше в статье «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят?».

Выпуская в 1872 году «Азбуку», Толстой отмечал факты заимствования разных сюжетов для своих рассказов. В дальнейшем исследователи, в особенности В. С. Спиридонов [2], проделали огромную работу, конкретизируя, уточняя эти авторские указания. За редким исключением, все источники маленьких шедевров Толстого установлены. Сопоставляя теперь источники с текстами Толстого, легко убедиться, что всякий раз, заимствуя контуры сюжета, Толстой создавал свой рассказ, свою басню, свою быль, свою сказку, свою былину. Не случайно, помещая рассказы «Азбуки» в «Русских книгах для чтения», он обозначал лишь жанр произведений и совсем не упоминал о заимствованиях.

«Русские книги для чтения», при многообразии их содержания, поражают своим стилевым единством. При этом рассказы для

[1] «Письма Толстого и к Толстому». М. — Л., 1928, с. 216.

[2] См. его комментарии в т. 21 Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого (М., 1957), с. 607—671.

детского чтения явились трудной даже для Толстого школой освоения нового художественного стиля. Это была огромная лаборатория, в которой всякий художественный материал, переплавляясь, приобретал качества, усвоенные Толстым из народной поэзии и народной жизни. Эти качества: «определенное, ясное и красивое и умеренное»— он стал теперь считать обязательными для искусства вообще.

В детских рассказах воплотил Толстой овладевшие им в начале 70-х годов мечты о произведении «чистом, изящном, где не было бы ничего лишнего, как вся древняя греческая литература, как греческое искусство» [1].

Писательская взыскательность к своему труду, вообще в высшей степени свойственная Толстому, в процессе работы над детскими рассказами привела к тщательному обдумыванию и взвешиванию буквально каждого слова.

Получив в 1876 году письмо детского писателя Е. В. Львова с высокой оценкой рассказов, помещенных в «Русских книгах для чтения», Толстой отвечал, что эти рассказы и басни «есть просеянное из в 20 раз большего количества приготовленных рассказов, и каждый из них был переделываи по 10 раз» и стоил ему «большего труда, чем какое бы ни было» из его писаний. Главная трудность, по словам Толстого, состояла в том, чтобы «было просто, ясно, не было бы ничего лишнего и фальшивого». В том же письме он с законной гордостью заявлял: «...я знаю, как думает народ и народный ребенок, и знаю, как говорить с ним... я и любовью и трудом приобрел это знание» (т. 62, с. 250).

Рассказ «Кавказский пленник», напечатанный в 1872 году в журнале «Заря», а затем вошедший в «Четвертую русскую книгу для чтения», Толстой рассматривал как «образец тех приемов и языка», которыми он будет «писать для больших» (т. 61, с. 278).

Стилевое богатство последующего творчества Толстого, создателя «Анны Карениной» и «Воскресения», «Смерти Ивана Ильича» и «Хаджи-Мурата», «Власти тьмы» и «Плодов просвещения», конечно, не укладывается в рамки того по необходимости упрощенного художественного строения, какое являют рассказы для детского чтения.

Но художественные принципы, выработанные в рассказах «Азбуки» («надо, чтобы все было красиво, коротко, просто, и, главное,— ясно»), несомненно, оказали затем воздействие не только на стиль «народных рассказов», но также на стиль «Анны Карениной», незавершенных исторических романов и других про-

[1] Толстая С. А. Дневники, в 2-х томах, т. 1. М., 1978, с. 499.

изведений позднейшего периода деятельности Толстого. Стремительное развитие драматического сюжетного действия, бо́льшая, сравнительно с «Войной и миром», простота и ясность языка, его лаконизм — в этих отличительных чертах стиля «Анны Карениной» и «Воскресения» явственно чувствуется художественная школа, пройденная в начале 70-х годов автором маленьких рассказов для крестьянских детей. Эстетические принципы, провозглашенные Толстым в конце творческого пути в трактате «Что такое искусство?», в значительной мере уже были реализованы, по справедливому замечанию В. В. Стасова, рассказами «Азбуки» [1].

2

Летом 1879 года в Ясной Поляне гостил олонецкий сказитель былин В. П. Щеголенок. Толстой с его слов записал много легенд и рассказов, в том числе легенду, давшую основу рассказу «Чем люди живы» [2]. Этот рассказ, напечатанный в 1881 году в журнале «Детский отдых», открывает серию так называемых «народных рассказов», занявших существенное место в творчестве Толстого 80-х годов, особенно после того, как в 1884 году было основано народное книгоиздательство «Посредник».

Книжки «Посредника» выходили огромными по тому времени тиражами, стоили очень дешево и призваны были вытеснить из народного чтения низкопробную лубочную литературу. Положительная роль, сыгранная в этом отношении «Посредником», бесспорна. О задачах и требованиях «Посредника» Толстой писал в 1886 г.: «Направление ясно, выражение в художественных образах учения Христа, его 5 заповедей; характер — чтобы можно было прочесть эту книгу старику, женщине, ребенку, и чтоб и тот, и другой заинтересовались, умилились и почувствовали бы себя добрее» (т. 63, с. 326).

Идейный смысл народных рассказов противоречив в той же мере, в какой «кричащими противоречиями» отмечена этика Толстого вообще. С одной стороны, ей свойствен высокий и подлинный гуманизм. В рассказах (например, в лучшем из них — «Чем люди живы») настойчиво выражается мысль о том, что добро не только справедливее, но и выгоднее зла, что жадность отврати-

---

[1] См.: «Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка. 1878—1906». Л., 1929, с. 380.

[2] Подробно о взаимоотношениях Толстого и Щеголенка см.: В. Калугин. «Олонецкой губернии былинщик» в гостях у Толстого. — «Прометей», т. 12. М., 1980, с. 92—112.

тельна, а помощь другому в беде прекрасна и необходима, что любовные отношения между людьми должны быть нормой человеческой нравственности. В сказочной форме в них воплощены настроения и чаяния широких народных масс, стремившихся избавиться от всех ужасов буржуазной системы, от власти денег, войн, мечтавших о «справедливом» строе, при котором не отнимали бы у бедняка корову ради того, чтобы у Тараса-«брюхана» было побольше денег, чтобы не убивали людей ради достижения корыстолюбивых, захватнических планов Семена-«воина», чтобы в обществе не было тунеядцев («у кого мозоли на руках — полезай за стол, а у кого нет — тому объедки»). По-своему в этих рассказах выражен протест против несправедливого социального строя [1].

Справедлива и глубока характеристика народных рассказов, данная Л. М. Леоновым в «Слове о Толстом»: «Остается впечатление, что при помощи этих маленьких, на один глоток, сказаний Толстой стремился утолить извечную человеческую жажду правды и тем самым начертать подобие религиозно-нравственного кодекса, способного разрешить все социальные, международные, семейные и прочие, на века вперед, невзгоды, скопившиеся в людском обиходе от длительного нарушения ими некоей божественной правды» [2].

С другой стороны — и в наибольшей степени — эти рассказы отражают иллюзорность представлений Толстого о путях к достижению справедливого социального строя. Поэтому в «Сказке об Иване-дураке...», например, доказывается, что стоит только царю-дураку Ивану и его народу отказаться от денег, войска, заняться одним крестьянским физическим трудом, как установится та счастливая жизнь, о которой мечтает трудовой народ. Критика собственности превращается в проповедь отказа от материальных благ вообще («Ильяс»); непротивление злу преподносится как единственное средство борьбы со злом («Свечка»).

---

[1] Не удивительно, что царская цензура неоднократно запрещала переиздание рассказов Толстого для народного чтения. Так, в 1887 г. циркуляром Главного управления по делам печати были запрещены отдельные издания следующих рассказов: «Чем люди живы», «Где любовь, там и бог», «Три старца», «Много ли человеку земли нужно», «Зерно с куриное яйцо», «Два старика», «Упустишь огонь — не потушишь», «Девчонки умнее стариков», «Вражье лепко, а божье крепко», «Ильяс», «Два брата и золото», «Свечка». В последующие годы запрещения не прекращались. (О цензурной истории «Сказки об Иване-дураке...» см. в комментариях.)

[2] Леонов Л. М. Слово о Толстом. — «Литературное наследство», т. 69, кн. 1, с. 11.

Какой бы источник ни использовал в это время художник — древнерусский письменный или легендарный устный,— он всегда преобразует его в соответствии с принципами своей философии. Изменяя сюжеты церковно-учительной литературы («Прологов» и «Патериков»), Толстой сообщает им антицерковную направленность, устраняет ссылки на божью волю, проявляющуюся в поступках героя, и подчеркивает нравственную силу живущего «во Христе»; преобразуя фольклорный материал, настойчиво вносит в него свои мысли о непротивлении злу насилием.

Традиции древней учительной литературы и устного народного творчества причудливо переплетаются в содержании и стиле народных рассказов. От первой идут евангельские эпиграфы, вся форма рассказа — притчи с религиозно-нравственной сентенцией в конце («Понял я теперь, что кажется только людям, что они заботой о себе живы, а что живы они одною любовью».— «Чем люди живы»; «И понял Авдеич, что не обманул его сон, что, точно, приходил к нему в этот день Спаситель его и что, точно, он принял его». —«Где любовь, там и бог»; «И поняли мужики, что не в грехе, а в добре сила божия».— «Свечка»). Внимательное изучение источников народных рассказов (см. о них в комментариях к каждому рассказу) показывает, что в конечном счете древняя учительная литература, а не устное народное творчество представляла в основном материал для сюжетных заимствований.

Вместе с тем не только в языке, простом и выразительном, сказалось проникновение в стиль народных рассказов фольклорной традиции. Здесь и широкое использование жанра сказки с ее небывалыми превращениями и чудесами, и типично фольклорные художественные приемы: троичность, традиционный зачин («Жил в деревне», «Жил в городе» и т. п.) и концовка («И стали жить-поживать», «И стал он жить-поживать, добро наживать»), пословицы и поговорки и т. п.

Великое искусство Толстого-реалиста дает о себе знать и в народных рассказах. Чувство правды жизни требовало от художника показа реальных сторон действительности. И потому Толстой писал П. И. Бирюкову в 1885 году, имея в виду предложение В. Г. Черткова сглаживать изображение темных сторон жизни: «Нельзя и не должно скрывать лжи, неверности и дурное» (т. 63, с. 283). Следуя этому принципу, Толстой рисует безысходную бедность в семье сапожника Семена («Чем люди живы»), эгоистическую жизнь «хозяйственного мужика» Ильяса («Ильяс»), злоключения сапожника Мартына («Где любовь, там и бог»), неприглядную жизнь крестьян, у которых из-за куриного яйца разгорелась жестокая вражда («Упустишь огонь — не потушишь»), голодную

украинскую деревню («Два старика»), дикую жадность, собственнические инстинкты «выбившегося в люди» Пахома («Много ли человеку земли нужно») и т. д. В портретных характеристиках, пейзажах, диалогах — множество тех метких реалистических деталей, которые являют уменье Толстого — скупыми средствами, часто одним словом, создавать неповторимый художественный образ.

Простоту, сжатость описаний Толстой считал непременным условием в рассказах для народа. Чтобы рассказ был понятен, он должен быть безыскусен, прост. Поэтому каждая стилистическая деталь вносится в повествование с учетом того, что читателями будут простые, а слушателями часто неграмотные люди.

Высокое достоинство рассказов — в их простом, сжатом, строгом, чеканном слоге. Говорить художественно и в то же время лаконично, просто — большое искусство, и замечательные образцы именно этого искусства дал Толстой в своих рассказах для народа.

Однако в целом стремление писателя упростить художественную форму, если произведение предназначается для народа, имело противоречивые последствия. Прелесть простоты языка, экономия изобразительных средств, которые так высоко ценил Толстой в поздний период творчества и которые считал необходимым условием народной литературы, сочетаются в этих рассказах с нарочитым упрощением художественной формы.

Приемы, выработанные в период создания рассказов для народа, составили часть богатейшего разнообразия стиля позднего Толстого, в котором новые требования писателя к искусству соединились с многолетним писательским опытом великого художника. И на этом пути многостороннего, а не узкотенденциозного искусства Толстой создал в поздний, послепереломный период своего творчества подлинно народные произведения.

3

И в начале, и в конце 70-годов Толстой много и увлеченно работал над историческими романами. В разделе «Незаконченное. Наброски» широко представлены фрагменты этих незавершенных романов.

Закончив в 1868 году печатание «Войны и мира», Толстой не возвратился к замыслу «Декабристов», который привел его к созданию романа-эпопеи об Отечественной войне 1812 года. Творческое воображение художника волновали другие исторические темы: то «взятие Киевской суни Владимиром» — сюжет для эпопеи; то

драма: «Меншиков женит Петра II на дочери, его изгнание и смерть» (т. 48, с. 344); то история подпоручика Мировича, пытавшегося в 1764 году освободить из Шлиссельбургской крепости Иоанна Антоновича [1]. То рисуется план романа о былинных богатырях — с главным героем Ильей Муромцем; то вдруг мелькнул (23 февраля 1870 г.) «тип женщины, замужней, из высшего общества, но потерявшей себя» [2] — зерно будущей «Анны Карениной». Но постепенно творческие интересы сосредоточиваются на времени Петра I.

В «мучительных», по словам самого писателя, размышлениях о задуманном романе из эпохи Петра I присутствовали, как всегда у Толстого, «дерзкие замыслы невозможного или непосильного и недоверие к себе» и «упорная внутренняя работа» (т. 61, с. 242). Примечательно, что предварительная «глубокая пахота того поля», на котором художник «принужден сеять», сопровождалась не только напряженными раздумьями о будущем, но и строгой переоценкой созданного ранее. Только что законченный роман «Война и мир» представляется Толстому «многословной дребеденью». Начинаются поиски иных художественных принципов; заново определяются цели и стимулы литературной работы.

Отправив в конце сентября 1872 года раздел «Арифметика» для четвертой книги «Азбуки», Толстой признавался: «...последние дни насилу, насилу удерживал потребность начать свою настоящую работу» (т. 61, с. 323). «Настоящая работа» — это задуманный в 1870 году роман о Петре I и его эпохе.

24 февраля 1870 года С. А. Толстая отмечала в своем дневнике: «Сейчас, утром, он написал своим частым почерком целый лист кругом. Действие начинается в монастыре, где большое стечение народа и лица, которые потом будут главными» [3]. Письма и записные книжки самого Толстого за этот период рассказывают об интенсивном чтении разнообразных исторических источников.

Интерес к истории, характерный для всего творческого пути Толстого, никогда не становился у него самодовлеющим. В изумление приводили его слова драматурга А. Н. Островского о том,

---

[1] Анна Иоанновна объявила в 1740 г. годовалого сына своей племянницы наследником русского престола, а спустя год вступившая на престол Елизавета Петровна арестовала всю семью Иоанна Антоновича.

[2] Толстая С. А. Дневники, в 2-х томах, т. 1, с. 497.

[3] Там же. По-видимому, запись относится к фрагменту, рассказывающему о переходе власти от царевны Софьи к Петру (см. с. 395—418 наст. тома), или к несохранившемуся фрагменту, по содержанию близкому к этому отрывку.

что «Козьма Минин» написан белыми стихами, чтобы «стать в отдаление» (т. 62, с. 150). Толстой не умел и не хотел становиться в отдаление.

К художественному постижению эпохи конца XVII — начала XVIII века Толстой пришел, размышляя над современностью и всем ходом русской истории. «Весь узел русской жизни сидит тут»,— заметил он о Петровском времени в самом начале работы над романом (т. 61, с. 349). «Вы говорите,— возражал Толстой своей двоюродной тетке,— время Петра не интересно, жестоко. Какое бы оно ни было, в нем начало всего. Распутывая моток, я невольно дошел до Петрова времени,— в нем конец» (т. 61, с. 291). Как справедливо пишет М. Б. Храпченко, «слова эти ясно показывают, что замысел нового романа из эпохи Петра I находился в известной преемственной связи с творческой концепцией «Войны и мира» [1].

Петр I упрочил то феодальное государство, которое во второй половине XIX века пошло на слом с удивительной быстротой. Петр I стремился, часто тщетно, привить России ту европейскую цивилизацию, которая после реформы 1861 года обернулась в глазах Толстого «пугалом» (по словам В. И. Ленина) буржуазного прогресса. Клубок исторических противоречий, которые с таким обостренным вниманием наблюдал Толстой в современной ему действительности, распутываясь, уводил к Петровской эпохе.

Оценивая историческую роль Петра, Толстой заметил в записной книжке 1870 года, что тогда «сила и истина были на стороне преобразователей, а защитники старины были пена, мираж». С другой стороны, по мысли Толстого, «открыв себе путь к орудиям европейской цивилизации, не нужно было брать цивилизацию, а только ее орудия, для развития своей цивилизации. Это и делает народ» (т. 48, с. 123).

«Старое и новое»— так озаглавлены два фрагмента начатого романа. Столкновение старого и нового составляет, в сущности, идейный стержень всех отрывков.

Была и еще одна — полемическая — цель в обращении Толстого к эпохе Петра. То новое, что в 60—70-е годы стало для России неизбежностью капиталистического развития, отрицалось им в корне. В современной жизни, в отличие от Петровского времени, не старое, а новое представлялось ему пеной, миражем. Этому новому он надеялся противопоставить исконные основы крестьянского быта, которые всегда были и, по мнению Толстого, должны

---

[1] Храпченко М. Б. Лев Толстой как художник, изд. 4-е. М., 1978, с. 161.

всегда остаться неизменными. Эта линия замысла особенно ясно воплотилась во фрагментах, относящихся к концу 70-х годов.

Роман о Петровской эпохе создан не был. От работы над ним, очень напряженной, остались лишь тридцать пять фрагментов (двадцать один относится к 1872—1873 гг., четырнадцать — к 1879 г.). В их число находятся замечательные по художественной силе отрывки.

По большей части это писавшиеся все время заново начала произведения. Работа над ними шла одновременно с кропотливым и пристальным изучением источников, многочисленными выписками из книг, архивных материалов и т. п. «Когда я пишу историческое, я люблю быть до малейших подробностей верным действительности»,— говорил о своем труде Толстой (т. 73, с. 353).

Первые (по времени создания) отрывки рисуют один из драматических моментов русской истории, «перелом жизни»,— переход власти от Софьи к Петру. Выразительное сравнение с весами (терезами), которые вдруг от горсти зерна покачнулись в другую сторону, точно определяет историческую ситуацию. В центре повествования — князь Василий Васильич Голицын, на своей судьбе горько испытавший это движение весов истории, повисший в воздухе, как «соломинка, выбившаяся из-под крыши» и мотающаяся по ветру.

Глубокое проникновение в суть исторического хода событий (отнюдь не теория фатализма) чувствуется в словах, сказанных здесь о Голицыне, не вступавшем в борьбу с Петром: «...теперь на другой стороне он видел новую силу, он видел, что невидимая сила спустила весы, и с его стороны тяжести перекатывались на другую». Эта невидимая сила — неизбежный ход истории, осуществляемый народом, который «поднялся за младшего царя» (т. 17, с. 164), результат действия «толп не думающих по-своему». Ход событий сильнее предначертаний отдельных людей — эта мысль, определявшая историческую концепцию «Войны и мира», развивается и в отрывках романа о начале петровского царствования.

Толстой, правда, не считает теперь, как в 1870 году, что на стороне преобразователей была истина. «На той стороне была неправда. Правды нет никогда в делах правительства». В этих думах, приписанных Голицыну, явственно виден сам автор, который скоро придет к отрицанию всякой власти, всякого правительства, как «неправедных» — антинародных.

Всеобщей смутой захвачены все — и те, что катятся под гору, как Василий Голицын или взявшие сторону Софьи зачинщики стрелецкого бунта, и те, что с Петром идут в гору. В отрывке, рас-

сказывающем о том, как «всю сентябрьскую длинную ночь не спалось князю Борису Алексеевичу Голицыну», дядьке и ближайшему сподвижнику молодого царя, есть фраза, которая затем станет символическим началом «Анны Карениной» («Все смешалось в царской семье»).

Другая группа фрагментов незавершенного романа открывается событиями, происходившими через пять лет после перехода власти к Петру. Это — Кожуховский потешный поход 1694 года. Историческое брожение не улеглось. Теперь уже в лагере царя идет спор — между боярами, состоящими на службе у Петра, — о пользе и вреде немцев (то есть иностранцев), взявших силу. Великолепные диалоги и сцены, психология бывалых, опытных и молодых, горячих приверженцев Петра — в центре повествования.

В 1873 году был создан еще один цикл — приуроченный ко времени Азовских походов. Молодой царь, увлеченный строительством флота в Воронеже; большое собрание видных гостей в доме боярина Федора Алексеевича Головина, их разговоры о царе, невысказываемая, но очевидная неприязнь аккуратного и корректного Франца Яковлевича Лефорта к диким выходкам Бориса Алексеевича Голицына, и, наконец, сам Азовский поход, с замечательным эпизодом: смышленый, смелый солдат Алексей Щепотев бросается в воду за царской шляпой и затем разговаривает с царем. Здесь впервые выступает во весь рост фигура Петра, привлекательная и страшная одновременно.

На фрагментах об Азовском походе прекратилась в 1873 году работа над романом о времени Петра. Когда же в 1879 году писатель вернулся к этой эпохе, его волновали другие исторические конфликты: «...самозванцы, разбойники, раскольники» (т. 62, с. 477), то есть столкновение Петра не с боярами, а с народом, история крестьянских движений, народные беды и народное сопротивление.

В этой связи возник интерес Толстого к такому противоречивому явлению Петровской эпохи, как стрелецкое движение. Одно из начал, написанное в стиле народного сказа, Толстой озаглавил «Стрельцы», очевидно, намереваясь развернуть далее историю стрелецкого бунта. В других, избрав местом действия Ясную Поляну в «самое бурное время царствования Петра I» (разгар Северной войны, 1709 г.), он живописует милые его сердцу подробности деревенского быта и намечает столкновение крестьян с представителями царской власти, приехавшими взять не выданных в свое время рекрутов и наказать за укрывательство беглых. «Рассчитывали мужики, что беглых возьмут, да за укрывательство передерут всех, да еще остальных четырех ни из кого, как из них, возь-

мут». Здесь же автор высказывает нескрываемое предпочтение тому укладу деревенской жизни, который существовал тогда, сто семьдесят лет тому назад, когда у крестьян не было больших домов, но зато они жили большими семьями, когда мужики не ходили в сапогах и картузах, а бабы в ситцах и плисах, но деревня не знала денежных заработков. По стилю и содержанию эти фрагменты очень близки к началам других исторических романов, которые Толстой пытался писать в 1877—1879 годах, и к народным рассказам, созданным уже в 80-е годы.

В этот период, в преддверии перелома в мировоззрении, когда окончательно утверждалось резко критическое отношение Толстого к антинародной государственности вообще, фигура преобразователя России Петра, естественно, перестала его интересовать.

«В 1879 г. Толстого занимает уже не процесс преобразований, но их итог, и не случайно в набросках романа «Сто лет» действие начинается в самые последние годы правления Петра. Петровское время становится не самодовлеющей темой, а точкой отсчета» [1].

Существует большая литература по вопросу о том, почему не написал Толстой свой роман о Петре. Сам Толстой говорил, что эпоха, которую он взялся изображать, слишком была отдалена от его времени и проникновение в души тогдашних людей оказалось ему трудно. Но трудности этого рода, даже если они и существовали в столь большой мере, блестяще преодолены в тех довольно многочисленных набросках, которые были созданы. Великолепно очерчена в них психология хитрого властителя, фаворита царевны Софьи, оставшегося вдруг не у дел, В. В. Голицына; образ мыслей и отношения с двоюродным братом Б. А. Голицына; характеры предводителей стрельцов Федора Шакловитого и Обросима Петрова, образы монахов, бояр, солдата Щепотева и др. Трудности, очевидно не меньшие, испытал Толстой в свое время и при работе над «Войной и миром». Поиски удовлетворяющего начала длились тогда тоже немногим более года — ровно столько, сколько занят был Толстой в 1872—1873 годах новым историческим романом. Но тогда замысел, находившийся в полном соответствии с избранным материалом, преодолел его сопротивление. Теперь, как будто к радости самого автора, жизненный материал «Анны Карениной», романа о современности, неожиданно, но круто и резко оттеснил роман о Петре. Едва начав «Анну Каренину», Толстой иронически отзывается о своих занятиях эпохой

---

[1] Панченко А. М. «Народная модель» истории в набросках Толстого о Петровской эпохе. — Сб. «Л. Н. Толстой и русская литературно-общественная мысль». Л., 1979, с. 66.

Петра («вызывал духов из того времени») и с восторгом о новом произведении («вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман... очень живой, горячий и законченный, которым я очень доволен...» — т. 62, с. 16).

Петровское время и, главное, саму личность Петра Толстой стал оценивать критически. По воспоминаниям С. А. Берса, Толстой говорил, что «вся эпоха эта сделалась ему несимпатичной. Он утверждал, что личность и деятельность Петра I не только не заключали в себе ничего великого, а, напротив того, все качества его были дурные» [1]. Здесь и кроется главная причина незавершенности романа о времени Петра. «Человеческие начала, изображению которых писатель придавал такое важное значение как составной части исторического повествования, отходили на задний план, стушевывались. Не желая, по-видимому, писать обличительный исторический роман, Толстой отказывается от осуществления своего замысла, вступившего в столкновение с реальным материалом истории» [2].

Исторические интересы, вновь захватившие писателя после окончания «Анны Карениной», влекли его к повествованию об исконных, неизменных свойствах русского крестьянства. В марте 1877 года С. А. Толстая записала в дневнике знаменательные слова Толстого: «...теперь мне так ясно, что в новом произведении я буду любить мысль русского народа в смысле *силы завладевающей*. И сила эта у Льва Николаевича представляется в виде постоянного переселения русских на новые места на юге Сибири, на новых землях к юго-востоку России, на реке Белой, в Ташкенте и т. д.» [3].

В эту пору разные периоды русской истории представлялись Толстому материалом для художественного воплощения его мысли. Сначала — первые годы царствования Николая I и русско-турецкая война 1829 года («[Князь Федор Щетинин]»); затем годы, предшествовавшие восстанию декабристов, и само восстание («Декабристы»); потом середина XVIII века («Труждающиеся и обремененные») и, наконец, русская жизнь в течение целого века — с последних лет царствования Петра I до восстания декабристов («Сто лет»). Крестьянский быт в его сопоставлении и столкновении с жизнью «господской», «простая жизнь в столкновении с высшей» — в центре всех отрывков, созданных в это вре-

---

[1] Берс С. А. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом. Смоленск, 1894, с. 46.

[2] Храпченко М. Б. Лев Толстой как художник, изд. 4-е. М., 1978, с. 164.

[3] Толстая С. А. Дневники, в 2-х томах, т. 1, с. 502

мя. Не удивительно, что многие темы, затронутые, например, в вариантах романа «Декабристы», перейдут затем в пьесу «Плоды просвещения», роман «Воскресение», статью «Стыдно» (против телесных наказаний) [1]. В «Труждающихся и обремененных» история жизни предка писателя князя Василия Горчакова, сосланного в Сибирь за подделку векселя, должна была рассказать о безнравственности князя и противопоставить ему слугу Василия, незаконнорожденного крестьянского сына. В началах же романа «Сто лет» («Корней Захаркин и брат его Савелий») видны те безграничная любовь и уважение автора к крестьянскому труду, к нелегким условиям деревенской жизни, которые ранее проявлялись столь прямо лишь в незаконченных рассказах начала 60-х годов из крестьянского быта («Идиллия», «Тихон и Маланья» и др.) и в повествовании о чете Парменовых в «Анне Карениной», а затем, начиная с 80-х годов, стали одним из центральных мотивов всего творчества Толстого, художественного и публицистического.

В начатом теперь романе один из главных персонажей — крестьянин, за брата пошедший в рекруты (как Платон Каратаев в черновиках «Войны и мира» и затем солдат Авдеев в «Хаджи-Мурате»). Здесь же рисуется идеальный женский образ — крестьянки Марфы, жены Корнея (в других вариантах Онисима или Митюхи).

История (последние годы царствования Петра) напоминает о себе лишь крамольными разговорами о Петре как «подмененном царе», слухами про его походы в Пермь, где «из земли огонь полыхает» и много солдат погорело, да рассказами старого крестьянина о разинском бунте и о том, как его пороли за «каляканье» с прохожим о Степане Тимофеиче.

Работая в конце 70-х годов над романом о декабристах, Толстой собирался, как и в 1860 году, выразить свое восхищение нравственной высотой этих людей. Однако основная тенденция задуманного произведения крайне ограничивала возможности действительного отражения эпохи декабрьского восстания. Толстой предполагал воплотить ту мысль, что «нет виноватых», и надеялся смотреть на исторических лиц, никого не осуждая: ни заговорщиков, ни царя, ни владельца крепостных, ни крестьян, вступивших в тяжбу с помещиком, грозившую тому разорением,—«всех

---

[1] Полностью фрагменты напечатаны в т. 17 Полн. собр. соч., с. 256—299. Историю создания и детальный анализ этих фрагментов см. в комментариях М. А. Цявловского (там же, с. 469—528) и в статье Н. Н. Гусева «Работа Л. Н. Толстого над незаконченным романом «Декабристы» в 1878—1879 годах». —«Известия Академии наук СССР», Отделение литературы и языка, 1960, т. XIX, вып. 5,

понимать и только описывать»[1]. Эта тенденция соответствовала настроению, владевшему тогда Толстым, его упорным поискам решения социальных конфликтов в отвлеченных истинах религии и морали. Но исторический материал, который писатель изучал (как всегда, с тщательным вниманием), разрушал «христианскую» концепцию. Так с особенной настойчивостью добивался Толстой получить хранившуюся в строгой тайне записку Николая I о ритуале казни декабристов. Когда же В. В. Стасов прислал нужный документ, стало ясно, на какое утонченно продуманное зверство способен был тот Николай Павлович, которого Толстой собирался не осуждать.

Не удивительно, что, вернувшись к декабристской теме много лет позднее, в годы первой русской революции, Толстой хотя так и не создал роман о декабристах, но намеревался резко осудить Николая I, его самодержавный деспотизм и противопоставить ему декабристов, «лучших русских людей». Негодование против коронованного злодея Толстой излил тогда в повести «Хаджи-Мурат» и рассказе «За что?».

Свои задачи в романе «Сто лет» писатель формулирует в сентенциях, очень близких к идеям «Исповеди». Он собирается смотреть на исторических лиц, частных и государственных, лишь с «общечеловеческой точки зрения — борьбы похоти и совести» в их жизни. Предметом исторического сочинения становится история этой борьбы в течение ста лет жизни русского народа. Но для этого не нужен был исторический роман. Вопрос о «смысле жизни, не уничтожаемом смертью», естественнее было ставить в морально-философском трактате; а о борьбе «похоти и совести» — в назидательных притчах. Оставив работу над историческими романами, Толстой обращается к «Исповеди», затем — к антицерковным трактатам, временно прекращает художественную работу, чтобы затем вернуться к ней в виде народных рассказов (первый из них, «Чем люди живы», относится к 1881 г.). Предвестием «Исповеди» явилось начатое в 1878 году сочинение, озаглавленное «Моя жизнь».

Одновременно росла сокрушительная сила обличений Толстого — в статье 1882 года о московской переписи и начатом тогда же большом трактате «Так что же нам делать?».

В 70-е годы было сформулировано программное для философии и эстетики Толстого разграничение между «историей-наукой» и «историей-искусством». Для той истории, какой был занят писатель в «Войне и мире» и в начатых исторических романах,

[1] Толстая С. А. Дневники, в 2-х томах, т. 1, с. 506.

«нужно знание *всех* подробностей жизни, нужно искусство — дар художественности, нужна любовь»; *«история-искусство,* как и всякое искусство, идет не вширь, а вглубь, и предмет ее может быть описание жизни всей Европы и описание месяца жизни одного мужика в XVI веке» (т. 48, с. 125—126).

Относящиеся к 1877—1879 годам отрывки незавершенных исторических романов — замечательные документы, характеризующие творчество Толстого в один из кризисных моментов его биографии.

Новая азбука и Русские книги для чтения. — В 1872 году вышла в четырех книгах «Азбука», не имевшая успеха и не оправдавшая тех надежд, какие возлагал на нее автор. В *ноябре 1874 года Толстой взялся за переработку* «Азбуки» для нового издания. Он заново написал собственно «Азбуку», назвав ее в печати «Новая азбука», а материалы, входившие в отделы для русского чтения, решил выделить в отдельные «Русские книги для чтения».

В январе 1875 года работа была закончена. Для «Новой азбуки» и «Русских книг для чтения» было создано еще более ста рассказов и сказок, среди них такие известные, как «Филипок» и «Три медведя». На последней странице вышедшей в середине мая «Новой азбуки» было напечатано объявление: «Печатаются и в непродолжительном времени поступят в продажу по значительно удешевленной цене следующие после Азбуки *Книги для чтения,* рекомендованные для школ Ученым комитетом Министерства народного просвещения». На отпечатанных позднее (в сентябре — октябре) экземплярах сообщалось о том, что «Книги для чтения» вышли и продаются во всех книжных магазинах Москвы и Петербурга.

«Новая азбука» была одобрена и рекомендована для школ Ученым комитетом Министерства народного просвещения (на основании отзыва, подготовленного поэтом А. Н. Майковым). Печать встретила ее в общем сочувственно. Появились, правда, две отрицательные рецензии: Н. В. Шелгунова в журнале «Дело» и С. Миропольского в «Народной школе». Шелгунов в статье «Вперед или назад?» критиковал рассказы Толстого за «сухость»: «...вы не найдете ни одной оживляющей игривой мысли, ни иронии, ни шутки, ни смеха, ни задушевности, точно с вами беседует засохший школьный учитель». Миропольский, в сущности, повторил отзыв Шелгунова: «Прочтите «Новую азбуку»— какая *сухая, тяжелая,* бесцветная речь, как на всем лежит печать насильственной работы».

Но среди деятелей народного образования «Новая азбука» и особенно «Русские книги для чтения» вызвали полное одобрение. Особо отмечался прекрасный язык рассказов для детей, написанных Толстым: «...он так сжат и прост и изящен, как будто бы для автора не существовало никаких стеснений» (цит. по кн.: Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. М., 1963, с. 206—207). В декабре 1875 г. уже было отпечатано второе издание «Новой азбуки» — тиражом, по тем временам чрезвычайно большим (48 тыс. экз.). Всего при жизни Толстого она переиздавалась двадцать восемь раз. «Русские книги для чтения» в 1876 году также вышли новым изданием (при жизни Толстого первая и вторая книги выдержали по двадцать восемь изданий, третья — двадцать пять изданий и четвертая — двадцать четыре издания).

Чем люди живы. — Рассказ начат в январе 1881 года. Работа продолжалась, с перерывами, в течение почти всего года. Опубликован впервые в журнале «Детский отдых», 1881, № 12 (цензурное разрешение 18 ноября 1881 г.; журнал издавался братом С. А. Толстой П. А. Берсом и В. К. Истоминым). В 1882 году был выпущен «Обществом распространения полезных книг», с иллюстрациями В. Шервуда. «Посредником» рассказ напечатан в 1885 году (первая книжка, выпущенная этим издательством). В 1886 году рисунки к нему сделал Н. Н. Ге (альбом вышел в том же году в двух изданиях: одно — на плотной бумаге в картоне, другое, дешевое — на более тонкой бумаге и в обложке). По воспоминаниям И. М. Ивакина, Толстой сказал: «Когда я увидал работу Николая Николаевича, для меня ожила и моя-то собственная работа, я ее как будто сызнова стал переживать» («Литературное наследство», т. 69, кн. 2, с. 79).

В основу рассказа положена легенда «Архангел», записанная Толстым в 1879 году со слов олонецкого сказителя былин В. П. Щеголенка (т. 48, с. 207). История легенды тесно связана с древней русской письменностью, с «Прологом», где сказание помещено под 21 ноября и носит название «О судех божиих неиспытаемых». Этот книжный источник послужил основой и для народных легенд. Под названием «Ангел» легенда вошла в сборник «Народные русские легенды», составленный А. Н. Афанасьевым (М., 1859).

Толстой работал над рассказом очень напряженно (сохранилось тридцать три рукописи и корректуры). Первоначально действие легенды, названной «Ангел на земле», происходило в поморской деревне, и лишь в пятой редакции появилась русская дерев-

ия центральной полосы, а главными лицами вместо рыбака и его жены стали сапожник Семен с женой Матреной.

«Чем люди живы»— первый рассказ, появившийся после четырехлетнего перерыва: завершив «Анну Каренину», Толстой работал над «Декабристами», другими историческими романами, «Исповедью», но ничего не публиковал. Рассказ вызвал живой интерес у критиков и современников.

20 января 1882 года В. В. Стасов написал Толстому: «Мне до страсти хотелось сказать Вам, до какой степени я пришел в восхищение от Вашей легенды «Чем люди живы» в «Детском отдыхе». Уже один язык выработался у Вас до такой степени простоты, правды и совершенства, какую я находил еще только в лучших созданиях Гоголя» («Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка. 1878—1906». Л., 1929, с. 61). Свое суждение Стасов изложил и в печати («Гражданин», 1882, № 10—11). В более позднем письме Стасов заметил, что рассказ ему нравится —«только кроме сверхъестественных, так сказать, волшебных сцен» («Переписка», с. 65).

В той же газете «Гражданин» (1882, № 54 и 55) с консервативно-церковных позиций критиковал рассказ К. Н. Леонтьев, оспоривший толстовское понимание христианства. Выбрав к своей легенде из Послания Иоанна восемь эпиграфов и все на тему о любви, Толстой оставил без внимания все, что в тех же апостольских посланиях говорится «о наказаниях, о страхе, о покорности властям, родителям, мужу, господам». В том же 1882 году Леонтьев перепечатал статью из «Гражданина» в своей брошюре «Наши новые христиане Ф. М. Достоевский и гр. Лев Толстой».

Леонтьеву резко возразил Н. С. Лесков в статье «Граф Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский как ересиархи (Религия страха и религия любви)», появившейся в следующем году («Новости и биржевая газета», 1883, № 1, 3 от 1, 3 апреля). Лесков защищал Толстого от обвинений в «ереси» и «одностороннем демократизме». Редактор славянофильской газеты «Современные известия» Н. П. Гиляров-Платонов назвал статью Леонтьева «фарисейской» («Русский архив», 1882, № 11).

Большая рецензия появилась в «Русской мысли» (принадлежит, вероятно, редактору журнала, С. А. Юрьеву). Здесь опять особо отмечался народный язык легенды: «Судя по новому рассказу, годы, прошедшие со времени появления «Анны Карениной», не пронеслись для ее автора даром... Язык писателя окреп еще более, стал трезвее и мужественнее; он поражает своею библейскою простотой. Кроме того, в нем видны явные следы сильного влияния народной речи, у которой автор умеет заимствовать меткость и выразительность ее оборотов». Подчеркивал рецензент и

тот очевидный факт, что авторский взгляд на вещи стал совсем близок крестьянскому: «Между писателем и крестьянином полное внутреннее согласие» («Русская мысль», 1882, № 3, с. 333—336).

Два брата и золото. — Написан в конце февраля 1885 года. Источником рассказа явилась старинная легенда, помещенная в «Прологе»: «Повесть святого Феодора, епископа Едесского, о столпнице дивнем иже во Едессе». Толстой сохранил основную мысль сказания (отрицание богатства), но сильно ослабил его религиозный, аскетический элемент.

В марте 1885 года В. Г. Чертков обратился к И. Е. Репину с просьбой нарисовать картинки к рассказу. «Репин симпатичнейший человек,— писал Чертков Толстому 23 марта. — Он очень сочувствует Вашим мыслям... Ваш рассказ о братьях и золоте ему очень понравился и, когда нужно, он охотно сделает к нему и вообще подобным рассказам большие крашеные картины» (т. 85, с. 158).

В письме от 30—31 марта 1885 года Чертков прислал Толстому подробный отзыв о рассказе. Ссылаясь на впечатление, какое он произвел на крестьян — кучеров и мастеров, когда был прочитан им вслух, Чертков писал, что в рассказе «чего-то существенного недостает»: у читателя неизбежно возникает симпатия к Афанасию, который на случайно найденные деньги стал творить добрые дела, а истратив все, ушел из города в той же старой одежде, ничем для себя не воспользовавшись. Суровый приговор ангела становится непонятным, как непонятен и ужас другого брата перед найденным случайно золотом. В ответном письме от начала апреля Толстой сообщил Черткову, что «немного поправил» рассказ в связи с его замечаниями (см. т. 85, с. 159—162).

Впервые «Два брата и золото» опубликован в сборнике «Царь Крез и учитель Солон и другие рассказы», выпущенном «Посредником» в начале 1886 года, и тогда же издан открытым листом с картиной И. Е. Репина.

Илья с. — Рассказ написан во второй половине марта 1885 года в Крыму, куда Толстой приехал, сопровождая своего друга Л. Д. Урусова, больного туберкулезом.

В первоначальном варианте герой рассказа — татарин, но затем действие перенесено в столь хорошо знакомые Толстому башкирские степи. В конце марта рукопись была передана В. Г. Черткову для издания «Посредником», 18 мая рассказ был еще раз исправлен. Он должен был служить пояснительным текстом к кар-

тине, но рисунок еще не был сделан, и впервые рассказ появился в 1886 году в сборнике «Царь Крез и учитель Солон и другие рассказы». В том же году издан и на листе как текст под рисунком А. Д. Кившенко.

Где любовь, там и бог. — Рассказ написан во второй половине марта 1885 года. 17 мая Толстой «окончательно поправил» его в корректуре. В начале июня вышел в свет отдельной брошюрой в издательстве «Посредник», с рисунками А. Д. Кившенко на обложке.

Представляет собою переделку напечатанного анонимно в петербургском журнале «Русский рабочий» (1884, № 1) рассказа «Дядя Мартын», являющегося, в свою очередь, обработанным переводом рассказа французского писателя Рубена Сайяна «Le père Martin». Номер «Русского рабочего» прислал Толстому В. Г. Чертков: мысль рассказа, писал Чертков, «до такой степени важна и дорога, что желательно передать ее возможно трогательнее и убедительнее» (т. 85, с. 155). Текст перед отправлением в печать переделывался и переписывался несколько раз. Источник преобразился: устранены сентиментальный тон и внешние эффекты, добавлены многочисленные реальные подробности, в частности, живая уличная сцена — торгующая яблоками старуха и мальчуган, пытающийся утащить у нее яблоко.

Посылая Черткову корректуру рассказа, Толстой заметил: «Мне это очень нравится» (т. 85, с. 204). После публикации рассказа (и другого — «Упустишь огонь — не потушишь») Н. Н. Страхов в письме к Толстому сообщил восторженный отзыв И. С. Аксакова: «На него повеяло таким духом, что он уже отказывается судить об Вас» («Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870—1894». СПб., 1914, с. 322).

В среде радикально настроенных журналистов рассказ, как и другие издания «Посредника», был встречен отрицательно. «По *гр. Л. Толстому выходит,— писал рецензент газеты «Русское дело»*,— будто нравственное совершенство достигается не через постепенное тяжкое воспитание и упорную душевную борьбу, а является плодом единичного, чуть ли не мгновенного уразумения истины...» («Русское дело», 1886, № 18, 23 августа).

Вражье лепко, а божье крепко. — Рассказ написан в первой половине апреля 1885 года, исправлен в мае того же года. Вышел в свет в феврале 1886 года в издательстве «Посредник» на листе с картиной И. Е. Репина, которому рассказ «страшно» по-

нравился, и тогда же — в сборнике «Царь Крез и учитель Солон и другие рассказы».

Источник рассказа не установлен. Возможно, что Толстой, живя среди башкир в самарской степи, слышал предание, близкое по теме к его рассказу.

Девчонки умнее стариков. — Рассказ написан в первой половине апреля 1885 г. Выпущен в свет «Посредником» в ноябре того же года как текст к картине, выполненной К. А. Савицким.

Упустишь огонь — не потушишь. — Сюжет рассказа записан Толстым в Дневнике от начала марта 1884 года: «Мужик вышел вечером на двор и видит: вспыхнул огонек под застрехой. Он крикнул. Человек побежал прочь от застрехи. Мужик узнал своего соседа-врага и побежал за ним. Пока он бегал — крыша занялась, и двор и деревня сгорели» (т. 49, с. 61). Эпизод, изображенный в рассказе (в ссоре один мужик вырвал у другого клок бороды и, завернув его в «грамотку», принес в волостной суд), имеет реальную основу. 21 мая 1884 года Толстой отметил в Дневнике: «Резунова старуха приносила выдранную Тарасом косу в платочке» (там же, с. 96).

Первая редакция рассказа относится к 11 апреля 1885 года. 10 мая, после многочисленных изменений, рассказ сдан в типографию и затем еще поправлен в корректуре. Вышел в свет в начале июня 1885 года в издательстве «Посредник»; издание повторено в следующем, 1886 году, с рисунками К. А. Савицкого.

В июле 1885 года свой отзыв о рассказе высказал Н. Н. Страхов, который остался неудовлетворен чрезмерной сжатостью повествования: «Если главная сила должна содержаться в изображении души человеческой, то тут у Вас можно указать пропуски и большие пятна. Сказать, что один мужик поджег у другого дом, а тот простил ему и так его этим удивил, что они стали друзьями,— такой рассказ не будет иметь никакой силы. Но если я рассказываю про Ивана, как про знакомого, и описываю все, что с ним делалось, то могу очень увлечь. В Вашем рассказе есть много бесподобного; но пробелы большие; например, конец вовсе скомкан. Как они встречались, как затихала в том и другом злоба — это любопытно и трогательно, а этого нет» («Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», с. 323).

Два старика. — Рассказ написан в конце мая — начало июня 1885 года. 2 июня Толстой известил В. Г. Черткова: «Я меж-

ду другими делами написал один рассказец хороший из записанных мною тем. Жду Ге и попрошу его сделать рисунки» (т. 85, с. 211). Источником рассказа послужила записанная в 1879 году со слов В. П. Щеголенка легенда «Два странника» (т. 48, с. 208—209). Действие рассказа происходит на Украине (поэтому Толстой и «ждал» Н. Н. Ге, жившего постоянно на хуторе в Черниговской губернии и хорошо знавшего быт, нравы и природу Украины). Мысль, положенная в основу легенды, встречается в древней русской литературе (например, в «Путешествии» игумена Даниила; см. т. 25, с. 704). Возможно, что прав Н. Н. Гусев, называющий в числе источников рассказ «Странник и домосед» («Домашняя беседа для народного чтения», 1859, вып. 38), подписанный Г. Ш. (Г. Ширяев) и представляющий собой пересказ легенды со слов «старца» Саровской пустыни Иллариона (Н. Н. Гусев. Л. Н. Толстой. Материалы к биографии с 1881 по 1885 год. М., 1970, с. 411—412).

3 июля рассказ был отправлен для издания в «Посреднике». Исправленный затем в корректурах, вышел в свет отдельной брошюрой в октябре 1885 года с рисунками А. Д. Кившенко на обложке.

•

Свечка. — Рассказ написан в конце мая — июне 1885 г. и в начале июля отправлен в «Посредник» для печатания. 17—18 июня Толстой заметил в письме В. Г. Черткову: «Я написал еще рассказ *для вас и, кажется, лучше прежних*» (т. 85, с. 229). Чертков, однако, возразил против «грубого конца» рассказа: «Эта ужасная смерть приказчика как раз после того, как он сознал торжество добра над злом и признал себя побежденным, это буквальное исполнение дурных пожеланий крестьян о «беспокаянной смерти» и о том, чтобы у него «пузо лопнуло и утроба вытекла», все это ужасно тяжело напоминает мне ветхозаветный рассказ о пророке, отомстившем смертью детям, смеявшимся над ним, который всегда поражал меня своей несправедливою жестокостью» (т. 85, с. 277). Чертков приложил к письму два варианта окончания «Свечки» — один, составленный им самим, другой — сотрудницей «Посредника» А. М. Калмыковой. В ответном письме Толстой послал свой измененный, «добрый» конец рассказа, с которым тот и был опубликован, под названием «Свечка, или Как добрый мужик пересилил злого приказчика», в «Книжках Недели», 1886, № 1, и в отдельном издании «Посредника». В том же письме Черткову Толстой, однако, признавался: «...целый вечер думал о «Свечке» и начинал писать и написал другой конец. Но все это не годится и не может годиться. Вся история написана в виду этого конца. Вся

она груба и по форме и по содержанию, и так я ее слышал, так ее понял, и иною она не может быть — чтобы не быть фальшивою» (т. 85, с. 276). В части 12 «Сочинений гр. Л. Н. Толстого» (М., 1886) Толстой восстановил первоначальную редакцию, после чего этот текст перепечатывался и в «Посреднике».

Об источнике рассказа Толстой говорил: «Я слышал его от пьяных мужиков, с которыми мне пришлось ехать из Тулы. Он мне понравился именно своею грубою простотою — так и пахнет мужицкими лаптями» (И. М. Ивакин. Записки. — «Литературное наследство», т. 69, кн. 2, с. 49). О том же писал биограф Толстого, П. И. Бирюков: «Лев Николаевич говорил мне, что сюжет его рассказал ему пьяный мужик и что он от себя почти ничего не добавил» (см. т. 85, с. 278).

О том, что содержание рассказа противоречит отчасти теории непротивления злу, писала и критика тех лет. Н. К. Михайловский в статье «Еще о гр. Л. Н. Толстом» («Северный вестник», 1886, № 6) заметил: в рассказе «Свечка» торжествует, в сущности, не подвиг добра, а недоброе слово другого мужика, чтоб у злого управляющего «пузо лопнуло и утроба вытекла»; в другом рассказе — «Вражье лепко, а божье крепко» на волю отпущен «злой» работник Алеб, прощенный добрым хозяином.

Сотрудница «Посредника», Е. П. Свешникова, также напечатала рецензию, где критиковала содержание «Свечки»: «Для простого читателя этот рассказ является как поддержкой грубому суеверию, так и поводом к жестокому заключению о приказчике: так ему и надо!» («Воспитание и образование», 1886, № 10, с. 201—202).

Сказка об Иване-дураке... — Первая редакция сказки написана около 20 сентября 1885 года, «сразу, вечером»; завершена работа над сказкой в конце октября того же года. Опубликована в части 12 «Сочинений гр. Л. Н. Толстого» (М., 1886). В отдельном издании «Посредника» появилась в том же году.

Сказка не имеет в своей основе какого-нибудь определенного источника и лишь использует распространенные в народных сказках образы Ивана-дурака и его хитрых братьев. «Мне эта сказка нравится», — заметил Толстой в письме В. Г. Черткову (т. 85, с. 270).

По словам Толстого, приводимым П. И. Бирюковым (П. И. Бирюков. Биография Л. Н. Толстого, т. 3. М., 1923, с. 23), в старшем брате Семене-воине воплощено критическое отношение к войнам; Тарас-брюхан (в некоторых рукописях — кулак) — это прообраз капиталистического строя, а единый закон Иванова царст-

ва: «У кого мозоли на руках — полезай за стол, а у кого нет — тому объедки»— будет служить вечным обличением паразитизма привилегированных классов.

«Сказка об Иване-дураке...» в издании «Посредника» была сильно искажена цензурой, а ее второе издание арестовано. Комитет духовной цензуры дал о ней следующий отзыв: «Сказка об Иване-дураке проводит, можно сказать, принципиально мысли о возможности быть царству без войны, без денег, без науки, без купли и продажи, даже без царя, который по крайней мере ничем не должен отличаться от мужика,— мысли о единственно полезном и законном труде — мозольном. Здесь, в этой сказке, прямо осмеиваются современные условия жизни: политические (необходимость содержать войска), экономические (значение денег) и социальные (значение умственного труда)» (т. 25, с. 717). Запрещения перепечатки «Сказки» повторялись в 1892 и 1893 годах. В 1892 году сказка даже вызвала особое распоряжение, касающееся прежних изданий: воспрещение «розничной продажи сказки на улицах, площадях и других публичных местах, а равно чрез ходебщиков и офеней» (т а м ж е).

Как и многие народные рассказы, «Сказка» не была одобрена прежними литературными друзьями Толстого. Н. Н. Страхов 26 октября 1885 года жаловался в письме Толстому, что сказка «опечалила» его и он «два дня ходил раненый»: «Голое нравоучение в рассказе потому нехорошо, что оно уничтожает интерес рассказа». Идеальной мечте Толстого о справедливом социальном строе, его уверенности в том, что такой строй должен установиться, Страхов противопоставил исторические факты тогдашней жизни: «Вы доказываете, что государством, войной, торговлею жить нельзя, а Франция, Англия, Германия живут; вы пишете, что враг ушел бы из мирной страны, а англичане и не думают уходить из Индии» («Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», с. 325—327).

Н. К. Михайловский в своем «Дневнике читателя» («Северный вестник», 1886, № 6 и 7) выразил несогласие с осуждением в сказке умственного труда и апологией труда физического. Отношение «тараканцев» к завоевателям Михайловский критиковал, ссылаясь на «Войну и мир» и рассуждения ее создателя о «дубине народной войны». По мнению критика, законы чести — выше законов совести.

Известная деятельница народного образования Х. Д. Алчевская в книге «Что читать народу?» отозвалась о сказке Толстого: «Не сочувствуя этому издевательству над умственным трудом, считаем совершенно излишним вводить народную сказку в на-

родную библиотеку» («Что читать народу?», т. 2. СПб., 1889, с. 104).

Позднее, в статье «Герои «оговорочки», В. И. Ленин высмеял статью меньшевика В. А. Базарова (псевдоним Руднева) «Л. Н. Толстой и русская интеллигенция», появившуюся в журнале «Наша Заря», 1910, № 10, где автор, ссылаясь на «Сказку об Иване-дураке...», возражал против «резкой критики», которую вызвало учение о непротивлении злу «со стороны радикальной интеллигенции» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 92).

Три старца. — Работа над легендой относится к январю — февралю 1886 года. В январе Толстой читал рассказ гостившему у него художнику Н. Н. Ге. «Удивительная вещь!» — отозвался Н. Н. Ге («Литературное наследство», т. 69, кн. 2, с. 79). Опубликована легенда в журнале «Нива», 1886, № 13 (цензурное разрешение 26 марта), с подзаголовком «Народное сказание»; одновременно помещена в части 12 «Сочинений гр. Л. Н. Толстого». На сохранившейся корректуре С. А. Толстая зачеркнула помету синим карандашом «год какой?» и поставила «1886». Для издания в «Посреднике» рассказ был запрещен.

Легенду о трех старцах Толстой, по-видимому, слышал от В. П. Щеголенка, хотя среди сказаний и легенд, записанных со слов Щеголенка, этой легенды нет. Несомненно, что услышал тогда Толстой больше, чем записал. Сюжет сказания принадлежит к числу очень распространенных и широко известен как в устных, так и в письменных источниках. В древнерусских рукописях XVI века находится восходящее к западноевропейской учительной литературе «Сказание о явлениях святому Августину, епископу Ионийскому», по содержанию близкое рассказу Толстого. «Сказание» записано А. М. Курбским, который слышал его на Руси от многих, в частности, от Максима Философа (Грека). Высокий авторитет Максима Грека в среде старообрядцев способствовал сохранению этой «сказки» на Волге. Отсюда — подзаголовок рассказа Толстого «Из народных сказок на Волге».

Легенда подтверждала излюбленную мысль Толстого — о добром деле и скромном подвижничестве, никак не связанных с официальной, церковной догматикой. Верный своей манере преображения источников, Толстой, работая над рассказом, ослаблял элемент чудесного. По легенде, старцев, бегущих по воде, впрямь увидали люди, стоявшие на палубе. У Толстого в первоначальном наброске архиерей поднял голову на шум: «И поклонился архиерей в землю старцам и весь народ на корабле» (т. 25, с. 588).

В окончательном тексте рассказа не вполне ясно: видит ли архиерей сон или все происходит на самом деле.

Как чертенок краюшку выкупал. — В феврале 1886 года, читая сборник А. Н. Афанасьева «Народные русские легенды», Толстой нашел там множество сюжетов для своих народных рассказов, «но все в обломках... Если составить как следует эти обломки, то что может выйти!..» («Литературное наследство», т. 69, кн. 2, с. 81).

А. Н. Афанасьев приводит в сборнике две легенды о винокурении — белорусскую и татарскую. «В народных стихах и легендах пьянству произносится строгое осуждение, как такому пороку, который потемняет человеку рассудок и вызывает его на всевозможные грехи и преступления» (А. Н. Афанасьев. Народные русские легенды. М., 1859, с. 180). И хотя Толстой не считал, что все бедствия народные (голод, болезни, преступления) происходят от пьянства, пропаганду против «греха винокурения» он считал нужной и вел ее, поощряя общества трезвости и создавая литературные произведения на эту тему (комедия «Первый винокур, или Как чертенок краюшку заслужил», статьи «Для чего люди одурманиваются?» и «Праздник просвещения»).

В рассказе Толстой объединил оба варианта легенды и пересказал ее живым разговорным языком, мало похожим на язык источника. Конец был написан новый, в сущности, опровергающий легенду: виноват не черт, подмешивающий в вино звериной крови, а сами мужики, научившиеся курить вино. Фантастика народной легенды заменилась прямым нравственным поучением, взывающим к личной ответственности каждого человека.

Опубликован рассказ в изданной «Посредником» книге: «Три сказки Льва Толстого». М., 1886.

В том же году на основе рассказа была создана пьеса для народного театра «Первый винокур, или Как чертенок краюшку заслужил» (см. т. 11 наст. изд.).

Кающийся грешник. — В феврале 1886 года, говоря о сюжетах, найденных в сборнике А. Н. Афанасьева «Народные русские легенды», Толстой заметил: «Я уж кой-чем воспользовался, написал три маленьких вещицы и одну большую» («Литературное наследство», т. 69, кн. 2, с. 81). «Маленькие вещицы» — это «Как чертенок краюшку выкупал», «Кающийся грешник» и «Зерно с куриное яйцо»; «большая» — «Крестник».

Источником рассказа «Кающийся грешник» послужила «Повесть о бражнике», заимствованная из рукописи XVIII столетия,

по восходящая к старинной повести XVII века — «Притча о бражнике». Толстой снял упоминание о главном грехе человека, просящегося в рай,— бражничестве. Сначала грехи подробно перечислялись: «В молодости пил и пьянствовал, в карты играл и развратничал. Жену в гроб загнал. Детей разогнал и под старость жил с любовницами. Никого не любил, кроме своего тела и денег. Копил деньги и деньги в рост давал, никого не жалел и с бедной, с сироты, с вдовы последнюю рубашку и крест с шеи тянул» (т. 25, с. 586). Все это было зачеркнуто: вероятно, Толстой решил, что такого грешника, даже и покаявшегося перед смертью, нельзя прощать: притча потеряла бы всякую убедительность.

Рассказ опубликован в части 12 «Сочинений гр. Л. Н. Толстого», вышедшей в апреле 1886 года.

Зерно с куриное яйцо. — Рассказ написан в феврале — марте 1886 года. Опубликован в изданной «Посредником» книге «Три сказки Льва Толстого», вышедшей в начале мая того же года.

Источником рассказа послужила легенда, записанная в Архангельской губернии и напечатанная в предисловии к сборнику А. Н. Афанасьева «Народные русские легенды» (см. «Литературное наследство», т. 69, кн. 2, с. 469). Толстой в точности сохранил сюжетную основу легенды, изменил лишь сравнение (в легенде — «зерно величиной с воробьиное яйцо») и сильно развил конец. В легенде стосемидесятилетний старик отвечает на вопрос царя, почему он ходит легче сына и внука: «Оттого, что жил по-божьему: своим владел, чужим не корыстовался». В пересказе Толстого появился диалог о купле-продаже зерна и, главное,— высказано мужицкое представление о труде на земле: «Земля вольная была. Своей землю не звали. Своим только труды свои называли».

В 1906 году, составляя «Круг чтения», Толстой поместил сюда «Зерно с куриное яйцо» («недельное чтение»). В архиве сохранилась гранка с несколькими авторскими исправлениями для этого издания.

Много ли человеку земли нужно. — Рассказ написан в феврале — марте 1886 года. Опубликован в журнале «Русское богатство», 1886, № 4, и одновременно в изданной «Посредником» книге «Три сказки Льва Толстого».

Можно предположить, что тема рассказа связана с чтением Толстым в подлиннике греческого историка Геродота и с пребыванием в самарских степях, где писатель близко узнал быт башкир. Предание об объезде или обеге земли, кончающееся смертью,

находится и в некоторых украинских народных сказках (см. т. 25, с. 697).

6 апреля 1886 года в Московском университете состоялось публичное чтение этого и некоторых других рассказов (читал профессор Н. И. Стороженко). С. А. Толстая описывала этот вечер: «Молодежи было пропасть, студенты все». Особенно дружные аплодисменты были после рассказа «Много ли человеку земли нужно»: «...впечатление такое, что *стиль* замечательно строгий, сжатый, ни слова лишнего, все верно, метко, как аккорд; содержания много, слов мало и удовлетворяет до конца» (Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. М., 1936, с. 361—362).

Сохранился цензурный документ, посвященный разбору части 12 «Сочинений гр. Л. Н. Толстого», куда вошел и рассказ «Много ли человеку земли нужно». Летом 1886 года в Московском цензурном комитете обязанности цензора временно исполнял губернский секретарь К. Воронин. Он составил подробный доклад об этом томе в связи с «новым направлением» писательской деятельности Толстого. Критикуя запрещенные публицистические сочинения Толстого с их «идеями отрицания» («Исповедь», «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?»), цензор безусловно одобрял моральную проповедь, заключенную в рассказах для народного чтения (опубл. в кн.: Л. Д. Опульская. Л. Н. Толстой. Материалы к биографии с 1886 по 1892 год. М., 1979, с. 24).

Крестник. — Рассказ написан в феврале — марте 1886 года. Опубликован в «Книжках Недели», 1886, № 4, с подзаголовком «Народное сказание»; с правкой Толстого — в части 12 «Сочинений гр. Л. Н. Толстого». М., 1886. В издании «Посредника» рассказ был запрещен (до 1906 г.): «Духовная цензура дала отзыв, что не знает книги безбожнее этой!» (т. 85, с. 422).

Источниками рассказа послужили заимствованные из сборника А. Н. Афанасьева народные легенды «Крестный отец», «Грех и покаяние», а также апокрифическая (то есть не канонизированная в церковно-учительной литературе) «Повесть о сыне крестном, како господь крестил младенца убогого человека». Установлено, что для четвертой главки рассказа материалом послужил фольклорный сюжет («Медведь и чурбан»), записанный в Башкирии (И. И. Грибушин. Народные сюжеты в рассказах Л. Н. Толстого. — В кн.: «Русская литература 1870—1890 гг.». Свердловск, 1978, с. 110—111).

В многочисленных широко распространенных фольклорных сказаниях о грешнике финал иной: великий грешник кается в грехах, ему назначается неисполнимая епитимья, но он убивает

другого, еще более тяжкого грешника и тем заслуживает отпущение грехов. В разных вариантах легенды грешник убивает жестокого пана, кулака-мироеда, купца, царя-людоеда, неправедного судью, барского приказчика, который колотит по могилам, сзывая мертвецов на панщину, и т. д. (ср. в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» легенду «О двух великих грешниках»). В сборнике Афанасьева конец легенды либо изменен по цензурным соображениям, либо (более вероятно) приведен устный вариант письменных сказаний, распространенных в древней учительной литературе. Здесь грешник получает прощение после того, как «удаляется в непроходимые леса и, затворившись в пещере, день и ночь трудится богу» (А. Н. Афанасьев. Народные русские легенды, с. 188). Толстой написал свой конец: мальчик не убивает другого разбойника, но обращает его к добру.

Работник Емельян и пустой барабан. — Сказка написана в мае 1886 года (16 мая Толстой читал ее вслух в Ясной Поляне; см.: Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. 1828—1890. М., 1958, с. 636). Представляет собою переделку народной сказки «Пустой барабан», напечатанной в книге «Сказки и предания Самарского края. Собраны и записаны Д. Н. Садовниковым». СПб., 1884.

Замысел написать для «Посредника» антивоенную сказку связан, несомненно, с той встречей, какая произошла у Толстого в апреле 1886 года на пути из Москвы в Ясную Поляну — с девяностопятилетним солдатом, служившим при Александре I и Николае I. Рассказом об этой встрече начат памфлет «Николай Палкин», созданный в то же время.

Опубликована сказка была в 1891 году М. Элпидиным в Женеве, с примечанием: «Из народных сказок, созданных на Волге в отдаленные от нас времена, восстановил Лев Толстой». В 1892 году С. А. Толстая пыталась поместить сказку в собрании сочинений; по требованию цензуры сказка была изъята из уже сверстанного тома. В том же году в научно-литературном сборнике «Помощь голодающим» «Работник Емельян и пустой барабан» был напечатан, но по всему тексту «царь» заменен «воеводой», «царица»—«княгиней», «придворные»—«слугами», «царский дворец»—«палатами», «солдаты»—«стрельцами». В словах о «мужицкой солдатской матери» изъято слово «солдатская».

В 1899 году В. Г. Чертков издал сказку в Англии, включив ее в антивоенный сборник: Л. Н. Толстой. Николай Палкин. Работник Емельян и пустой барабан. Дорого стоит.

«Посреднику» удалось напечатать сказку лишь в 1906 году.

Фрагменты незавершенных исторических романов

[Роман о времени Петра I]. — При жизни Толстого не печаталось. Впервые опубликовано в 1936 году в т. 17 Юбилейного собрания сочинений.

Припявшись за роман о Петре I, Толстой, как и при работе над «Войной и миром», стал собирать исторические материалы. Десятки книг перечислены в его дневниках, записных книжках, письмах того времени. В архиве сохранились выписки из многих книг (напечатаны в т. 17, с. 386—444). В январе 1873 года С. А. Толстая отметила в своем дневнике: «Он записывает в разные записные книжечки все, что может быть нужно для верного описания нравов, привычек, платья, жилья и всего, что касается обыденной жизни, особенно народа и жителей вне двора и царя. А в других листах записывает все, что приходит в голову касательно типов, движения, поэтических картин и проч. Эта работа мозаичная. Он вникает до таких подробностей, что вчера вернулся с охоты особенно рано и допытывался по разным материалам, не ошибка ли, что написано, будто высокие воротники носились при коротких кафтанах» (Толстая С. А. Дневники, в 2-х томах, т. 1, с. 500). Особенно внимательно читал Толстой пять томов «Истории царствования Петра Великого» Н. Г. Устрялова (вышли в 1858—1859 гг.), назвав этот труд «вполне добросовестным».

Несколько раньше С. А. Толстая писала брату С. А. Берсу: «Левочка сидит, обложенный кучею книг, портретов, картин и нахмуренный читает, делает отметки, записывает» (Берс С. А. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом. Смоленск, 1894, с. 45).

Но сразу же у Толстого возникли разногласия с историческими сочинениями. Относительно «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева (в 29-ти томах, выходили в 1851—1879 гг.) он сделал характерную, замечательную запись: «Все, по истории этой, было безобразие в допетровской России: жестокость, грабеж, правеж, грубость, глупость, неуменье ничего сделать... Читаешь эту историю и невольно приходишь к заключению, что рядом безобразий совершилась история России. Но как же так ряд безобразий произвели великое, единое государство?» Затем Толстой перечисляет разные стороны исторической жизнедеятельности народа (начиная от того, «кто и как кормил хлебом весь этот народ», и кончая воссоединением Украины с Россией) (т. 48, с. 124). В письме к П. Д. Голохвастову Толстой признавался, что испытывает «озлобление» против фальши историков, рисующих события петровского времени «с пошлой европейской, героичной точки зрения» (т. 62, с. 5).

Д е к а б р и с т ы.— При жизни Толстого не печаталось. Лишь один фрагмент (вместе с тремя главами начатого в 1860 г. романа) был опубликован в 1884 году в сборнике «XXV», посвященном двадцатипятилетию Литературного фонда. К замыслу романа о декабристах, оставленного в 1860 году, Толстой вернулся в 1878 году. В январе 1878 года он сообщил А. А. Толстой, что «весь погружен в чтение из времен 20-х годов» и не может «выразить то наслажденье», которое испытывает, «воображая себе это время. Странно и приятно думать, что то время, которое я помню, 30-е года,— уж история. Так и видишь, что колебание фигур на этой картине прекращается и всё устанавливается в торжественном покое истины и красоты...» (т. 62, с. 383—384). В феврале того же года Толстой ездил в Москву, чтобы увидеться с оставшимися в живых декабристами (М. И. Муравьевым-Апостолом, П. Н. Свистуновым), а также собрать нужные книги и рукописные материалы. Встретился он здесь и с дочерью Н. М. Муравьева — С. Н. Бибиковой, которая «пропасть рассказывала и показывала» (т. 83, с. 242). Позднее он виделся еще с дочерью К. Ф. Рылеева — А. К. Пущиной и декабристом А. П. Беляевым. Из Петербурга были получены архивные документы, в частности дело о крестьянах-переселенцах из Тамбовской губернии в Оренбургский край. В деле упоминается село Излегощи, ставшее местом действия в начатом романе. Материалы следственного дела декабристов находились в те времена под строгим запретом и, конечно, остались недоступными Толстому.

В трех записных книжках Толстого сделано множество заметок к роману. Побывав в Ясной Поляне в конце февраля 1879 года, Н. Н. Страхов писал: «Вот где творятся чудеса — я уверен, что новое его произведение будет настоящим чудом... Действие должно происходить между 1816 и 1836 годами. Он сам говорил, что никогда работа так не занимала его, как эта» («Прометей», т. 12. М., 1980, с. 18).

Когда в 1884 году появились отрывки незаконченного романа, В. В. Стасов написал Толстому: «По-моему, эти немногие страницы — родные сестрицы всего самого совершенного, что есть и в «Войне и мире», и в «Анне Карениной» («Переписка», с. 68).

М о я ж и з н ь. — Работа над воспоминаниями начата в мае 1878 года. В Дневнике Толстого 22 мая отмечено: «Начал писать *«свою жизнь»* (т. 48, с. 70). Написанный отрывок опубликован впервые в сборнике «Русским матерям» (М., 1892), под названием: «Первые воспоминания (Из неизданных автобиографических заметок Л. Н. Толстого)».

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Рассказы из «Новой азбуки»

Три медведя 7
Как дядя Семен рассказывал про то, что с ним в лесу было 9
Корова 10
Филипок 11

Первая русская книга для чтения

Муравей и голубка 13
Слепой и глухой 13
Черепаха и орел 13
Подкидыш 14
Голова и хвост змеи 14
Камень 14
Эскимосы 15
Хорек 16
Как тетушка рассказывала о том, как она выучилась шить 16
Тонкие нитки 17
От скорости сила 17
Лев и мышь 17
Пожарные собаки 18
Обезьяна 18
Как мальчик рассказывал про то, как его не взяли в город 19
Лгун 19
Как в городе Париже починили дом 20
Осел и лошадь 20
Как мальчик рассказывал про то, как его в лесу застала гроза 20
Галка и голуби 21

Мужик и огурцы 21
Баба и курица 22
Старый дед и внучек 22
Дележ наследства 22
Куда девается вода из моря? 23
Лев, медведь и лисица 23
Как мальчик рассказывал о том, как он дедушке нашел пчелиных маток 23
Собака, петух и лисица 24
Море 25
Лошадь и конюх 25
Пожар 25
Лягушка и лев 26
Слон 26
Обезьяна и горох 27
Как мальчик рассказывал о том, как он перестал бояться слепых нищих 27
Дойная корова 27
Китайская царица Силинчи 28
Стрекоза и муравьи 28
Мышь-девочка 28
Курица и золотые яйца 29
Лицунюшка 30
Волк и старуха 31
Котенок 31
Ученый сын 32
Как научились бухарцы разводить шелковичных червей 32
Мужик и лошадь 33
Как тетушка рассказывала бабушке о том, как ей разбойник Емелька Пугачев дал гривенник . 34
Визирь Абдул 36
Как вор сам себя выдал 36
Ноша 37
Косточка 37
Два купца 38
Сан-готардская собака 39
Рассказ мужика о том, за что он старшего брата своего любит 39
Как я в первый раз убил зайца 40
Мальчик с пальчик 41
Дурень 44
Святогор-богатырь 50

Девочка и грибы 52
Осел в львиной шкуре 53
Какая бывает роса на траве 53
Курица и ласточка 53
Индеец и англичанин 53
Олень и ланчук 54
Жилетка 54
Лисица и виноград 55
Удача 55
Работницы и петух 56
Самокрутка 56
Рыбак и рыбка 57
Осязание и зрение 57
Лисица и козел 58
Как мужик убрал камень 58
Собака и ее тень 59
Шат и Дон 59
Журавль и аист 59
Судома 60
Садовник и сыновья 60
Сова и заяц 61
Волк и журавль 61
Орел 62
Утка и месяц 62
Медведь на повозке 63
Волк в пыли 63
Лозина 64
Мышь под амбаром 65
Как волки учат своих детей 65
Зайцы и лягушки 66
Как тетушка рассказывала о том, как у нее был ручной воробей — Живчик 66
Три калача и одна баранка 68
1000 золотых 68
Петр I и мужик 69
Бешеная собака 70
Две лошади 71
Лев и собачка 72
Ровное наследство 73
Три вора 73
Отец и сыновья 74

Отчего бывает ветер? 75
Для чего ветер? 75
Самые лучшие груши 77
Волга и Вазуза 77
Теленок на льду 78
Золотоволосая царевна 79
Сокол и петух 80
Тепло. I 80
Тепло. II 81
Тепло. III 82
Шакалы и слон 82
Магнит 83
Цапля, рыбы и рак 84
Как дядя рассказывал про то, как он ездил верхом 85
Еж и заяц 87
Два брата 88
Водяной и жемчужина 89
Уж 90
Воробей и ласточки 92
Камбиз и Псаменит 92
Акула 93
Отчего потеют окна и бывает роса? 95
Архиерей и разбойник 96
Ермак 98
Сухман 104

Третья русская книга для чтения

Царь и сокол 109
Лисица 110
Строгое наказание 110
Дикий и ручной осел 110
Заяц и гончая собака 111
Олень 111
Зайцы 111
Собака и волк 112
Царские братья 112
Сленой и молоко 113
Русак 113
Волк и лук 115
Как мужик гусей делил 115
Комар и лев 116
Яблони 116
Лошадь и хозяева 117

Клопы 118
Старик и смерть 119
Как гуси Рим спасли 119
Отчего в морозы трещат деревья? 120
Сырость. I 120
Сырость. II 121
Разная связь частиц 122
Лев и лисица 122
Праведный судья 122
Олень и виноградник 125
Царский сын и его товарищи 125
Галчонок 128
Как я выучился ездить верхом 129
Топор и пила 131
Солдаткино житье 131
Кот и мыши 136
Лед, вода и пар 136
Перепелка и перепелята 138
Булька 138
Булька и кабан 139
Фазаны 141
Мильтон и Булька 143
Черепаха 143
Булька и волк 145
Что случилось с Булькой в Пятигорске 146
Конец Бульки и Мильтона 148
Птицы и сети 149
Чутье 149
Собаки и повар 151
Основание Рима 151
Бог правду видит, да не скоро скажет 153
Кристаллы 160
Волк и коза 162
Поликрат Самосский 162
Вольга-богатырь 164

Четвертая русская книга для чтения

Царь и рубашка 169
Камыш и маслина 169
Волк и мужик 170
Два товарища 172
Прыжок 172
Дуб и орешник 174

Вредный воздух 174
Дурной воздух 176
Волк и ягненок 176
Удельный вес 177
Лев, волк и лисица 178
Царское новое платье 178
Лисий хвост 179
Шелковичный червь 180
Царь и слоны 183
Охота пуще неволи 184
Наседка и цыплята 190
Газы. I 190
Газы. II 192
Лев, осел и лисица 193
Старый тополь 193
Черемуха 194
Как ходят деревья 195
Дергач и его самка 196
Как делают воздушные шары 196
Рассказ аэронавта 198
Корова и козел 200
Ворон и воронята 200
Солнце — тепло 201
Отчего зло на свете 203
Гальванизм 204
Мужик и водяной 207
Ворон и лисица 208
Кавказский пленник 208
Микулушка Селянинович 230

Чем люди живы 234
Два брата и золото 254
Ильяс 257
Где любовь, там и бог 262
Вражье ленко, а божье крепко 273
Девчонки умнее стариков 276
Упустишь огонь — не потушишь 278
Два старика 291
Свечка 309
Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане, и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах 317

Три старца 342
Как чертенок краюшку выкупал 348
Кающийся грешник 351
Зерно с куриное яйцо 354
Много ли человеку земли нужно 357
Крестник 370
Работник Емельян и пустой барабан 385

НЕЗАКОНЧЕННОЕ. НАБРОСКИ

Фрагменты незавершенных исторических романов

[Роман о времени Петра I] 395
[Князь Федор Щетинин] 449
Декабристы 459
Труждающиеся и обремененные 477
Сто лет 485
Моя жизнь 498

Комментарии 504

Толстой Л. Н.

Т 53 Собрание сочинений. В 22-х т. — М.: Худож. лит., 1978. —

Т. 10. Повести и рассказы. 1872—1886. Коммент. Л. Д. Опульской. 1982. 543 с.

В том входят рассказы из «Новой Азбуки» и четырех «Русских книг для чтения», «народные рассказы»: «Чем люди живы», «Зерно с куриное яйцо», «Два старика» и др., а также фрагменты незавершенных исторических романов Толстого.

Т $\frac{4702010100\text{-}294}{028(01)\text{-}82}$ подписное

Р1

Лев Николаевич

Толстой

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том 10

Редактор *К. Нещименко*

Художественный редактор
Г. Масляненко

Технический редактор
Л. Синицына

Корректоры
М. Миримская, С. Свиридов

ИБ № 2011

Сдано в набор 28.05.80. Подписано в печать 02.11.81. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 28,56+1 вкл.=28,61. Усл. кр.-отт. 29,45. Уч.-изд. л. 28,27+ +1 вкл.=28,32. Тираж 1 000 000 экз. Изд. № II-836. Заказ 1347. Цена 2 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15